

ACADÉMIE DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE

h

R  
Revue  
des  
ÉTUDES  
sud - est  
européennes

TOME I  
1963 - N° 34

ÉDITIONS DE L'ACADÉMIE DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE

La «REVUE DES ÉTUDES SUD-EST EUROPÉENNES» paraît en quatre fascicules (deux à quatre livraisons) par an, totalisant 600 à 800 pages.

Les articles seront remis dactylographiés en trois exemplaires. Les collaborateurs sont priés de ne pas dépasser les limites de 25–30 pages dactylographiées, pour les articles, et de 5 à 8 pages pour les comptes rendus.

La correspondance, les manuscrits et les publications (livres, revues, etc.) envoyés pour comptes rendus seront adressés à l'INSTITUT D'ÉTUDES SUD-EST EUROPÉENNES, Bucarest, raionul 30 Decembrie, str. I.C. Frimu 9, pour la «REVUE DES ÉTUDES SUD-EST EUROPÉENNES».

ACADÉMIE DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE  
INSTITUT D'ÉTUDES SUD-EST EUROPÉENNES

R  
Revue  
des  
ÉTUDES  
sud - est  
européennes

TOME I

1963

N° 3-4

ÉDITIONS DE L'ACADÉMIE DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE

## Comptes rendus

- PETAR GUBERINA, Le problème de la diphtongaison en vegliote (*H. Mihădescu*); IORDAN ZAIĀMOV, Местните имена в Пирдопско (*H. Mihădescu*); KONSTANTIN POPOV, Местните имена в Белослатинско (*H. Mihădescu*); ŽARKO MULJAČIĆ, O imenu grada Dubrovnika (*H. Mihădescu*); TACHE PAPAĀAGI, Dictionarul dialectului aromîn, general și etimologic. Dictionnaire aroumain (macédo-roumain), général et étymologique (*H. Mihădescu*) . . . . . 579
- DURO BASLER et DURO JANEKOVIĆ, Paleolitisko nalaziste Lusčič u Kulasima (*Fl. Mogoșanu*); IORGU STOIAN, Tomitana. Contribuții epigrafice la istoria cetății Tomis (*M. Nasta*); V. BEŠEVLIEV, Les inscriptions protobulgares (*N. Bănescu*); E. E. LIPŠITZ, Очерки истории византийского общества и культуры. VIII — первая половина IX века (*Gheorghe Cronf*); SILVIU DRAGOMIR, Vlahii din nordul Peninsulei Balcanice în evul mediu (*Libiu P. Marcu*); JOSEF MACŪREK, Valaši v západnick Karpatech v 15.—18. století (*Tr. Ionescu-Nișcov*); CARL GÖLLNER, «Turcica». Die europäischen Türkendrucke des XVI. Jahrhunderts (*Dinu A. Dumitrescu*); Cartea românească de învățătură, 1646; Îndreptarea legii, 1652, etc. (*Valentin Al. Georgescu*); D. G. SÉRÉMÉTIS, Ἡ δικαιοσύνη ἐπὶ Καποδίστρια. Α'. Πρώτη περίοδος 1828—1829. Μετ' ἀνεκδότων ἐγγράφων (*Gheorghe Cronf*); IVAN KATARGIEV, Серската област 1780—1879. Економски, политички и културен преглед (*S. Iancovici*); A. BOURMOV, Таен централен Български Комитет (*Tr. Ionescu-Nișcov*) . . . . . 590
- BERTRAND BOUVIER, Volkslieder aus einer Athos-Handschrift des 17. Jahrhunderts (*Gheorghe Ciobanu*); M. VALSA, Le Théâtre grec moderne de 1453 à 1900 (*Ariadna Camariano-Cioran*); Ραэџии Văcărești. Versuri alese (*Ariadna Camariano-Cioran*); VYLKO NOVAK, Die Erforschung der slovenischen Volksdichtung in den Jahren 1920—1959 (*Ovidiu Papadima*); IANIS KORDATOS, Histoire de la littérature néo-grecque de 1453 à 1961 (*Maria Marinescu-Himu*) . . . . . 624
- Известия на Географския институт, Sofia (*Vintilă Mihădescu*) . . . . . 637
- Notices bibliographiques . . . . . 639

## У ИСТОКОВ РОМАНСКОГО АРТИКЛЯ

Р. Г. ПИОТРОВСКИЙ

(Ленинград)

### 1. ЗАДАЧИ И МЕТОДИКА РАБОТЫ

Как известно, романский артикль развился из анафорического применного употребления латинских указательных местоимений *ille* и *ipse*. Это развитие (см. рис. 1) предусматривает замену трехчленной схемы (тип I) латинской детерминации имени четырехчленной прото-романской и старороманской схемой (тип II). Образование четырехчленной схемы в свою очередь связано с появлением нового компонента — протоартикля, который в старороманских языках превращается в артикль.

В предыдущих работах обсуждались вопросы, связанные с развитием схемы I (превращение варианта а) в вариант б))<sup>1</sup>, а также проблемы формирования варианта б) в схеме II<sup>2</sup>.

Цель настоящей статьи — рассмотреть употребление протоартикля, то есть того нового компонента схемы II (вариант а) ), который отличает ее от предшествующей ей латинской схемы I и из которого впоследствии разовьется определенный артикль.

---

<sup>1</sup> См. Р. Г. Пиотровский, *Формирование артикля в романских языках (выбор формы)*, М.—Л., 1960, стр. 5—49.

<sup>2</sup> См. R. G. Piotrovskij, *Z počátku galorománské ho členu určitého*, в «Časopis pro moderní filologii», t. XL (1958), стр. 37—41; Р. Г. Пиотровский, *О происхождении галлороманского артикля*, в *Научные доклады высшей школы. «Филологические науки»*, 1959, № 3, стр. 45—60; В. Е. Михайлова и Р. Г. Пиотровский, *Топонимика, статистика и история языка, в Друга Республiканська Ономастична нарада*, Київ, 1962, стр. 5—8.

«Поведение» протоартикля, то есть частого, но нерегулярного употребления указательных или определительных местоимений при существительных, исследуется в двух синхронных срезах. Первый срез (ранний период употребления протоартикля) относится к IV—VI (в книжных стилях VII) вв., второй срез охватывает основной период протоартиклевого употребления, который начинается с VII в. и заканчивается вместе с возникновением определенного артикля (VIII в. в Галлоромании, VIII—IX вв. в Италии, IX в. в Ибероромании, X—XI вв. в Балканоромании) <sup>3</sup>.

При исследовании материала используются следующие методы лингвистического анализа:

1. Метод лингвистических моделей
2. Дистрибутивный анализ
3. Статистика

Как известно, употребление протоартикля падает на хронологический разрыв, существующий между последними памятниками латинской разговорной речи и первыми документами, отражающими романскую народную речь. Поэтому приходится пользоваться косвенными свидетельствами позднелатинских документов, относящихся к канцелярско-деловому и литературно-повествовательному (религиозному) стилю. Но и эти памятники не дают достаточного материала для «сквозного» использования современных методов лингвистического анализа. Поэтому мы вынуждены будем прибегать и к прямому наблюдению над фактами, а также к приемам гипотетической реконструкции, стилевой и стилистической интерпретации текстов <sup>4</sup>.

## 2. ХРОНОЛОГИЯ ПРОТОАРТИКЛЯ И ЕГО КОМПОЗИЦИОННО-СИНТАКСИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

2.1. *Ранний период.* На первых порах частое употребление указательных местоимений при существительных еще не давало заметного ослабления семантики этих местоимений. Об этом говорит тот факт, что анафорические указательные местоимения выступают в качестве эквивалентов лексических сопроводителей. Так, например, в «Муломедицине» (V в.) местоименное сопровождение тематически важных существительных перемежается с детерминацией последних при помощи лексических сопроводителей — ограничительных прилагательных, имен

<sup>3</sup> См. Р. Г. Пиотровский, *Формирование . . .*, стр. 142, табл. 15.

<sup>4</sup> О различении понятий «стилевой» и «стилистический» см. Р. Г. Пиотровский, *Очерки по стилистике французского языка*, 2 изд., Л., 1960, стр. 26, примеч.

собственных или существительных в родительном падеже. Ср. отрывок, где говорится о диагностике злокачественной одышки у скота:

... *de morbo qui appellatur maleos ... quem et alii (hunc morbum) suspirium dixerunt. Non dubito et alios hunc morbum ex pluribus signis ... aliis nominibus vocare incaute. Morbus verissime vocatur maleos. Ex quo morbo contagium patiuntur iumenta ... Morbus maleos ... corruptione sanguinis et spiritui oritur ... Est ... maleus morbus nequam et incurabilis (Mulom. 51);*

... *monasterium ... ad praedictum locum ... in superscripto loco ... in eodem monasterio ... in eodem loco (Gr. Magn., 3,58); ... in Gonae insula ... praefata insula ... huius insula (Gr. Magn., 1, 50);* у Григория Турского (VI в.):

... *in mari Rubrum ... de hoc maris ... Rubrum marem ... de mare Rubrum ... ipsum mare ... ab ipso mari (G. T., HF, I, 10).*

Консервативный стиль позднелатинских документов сохранял эквивалентное употребление местоименных сопроводителей, а также детерминирующих анафорических прилагательных и позже. Ср. в документе 643 г. из Бобьо (Италия):

*posterquam alia fundavit monasteria accedens monasterium construisse perhibetur ... In quo monasterio ... ipsum monasterium ... abba eiusdem monasterii ... ad honorem dei et ipsius monasterii ... eidem monasterio ... ab ipso monasterio ... in eodem monasterio ... praedictum monasterium ... post mortem patri monasterii ipse debeat in eodem monasterio ordinari ... in eodem monasterio ... in superscripto monasterio (CDL, II, 50—56), N 312;*

*basileca ... ad supradicta basileca ... ad ipsa basileca ... (Меровингская грамота VII в., цит. Muller-Taylor, 196). Отдельные случаи такого употребления встречаются даже в итало-латинских документах XII в. Ср. : ... et 10 vallone apendine cala a 10 Forno, et recte ferit ad humare Malbrantati et per dicta flumaria ad hirto ferit a 10 vallone de li Caniteli, et praedicto vallone ad hirto esse supra la serra de li Palumbe a la crista custa (док. нач. XII в., Калабрия—цит. Pei, HL, 181); или в сицилийском документе 1111 г.: ecclesia. . . dicta ecclesia. . . la ecclesia (цит. Avolio, 131).*

2.2. *Основной период.* Если в канцелярско-деловом стиле сильно-указательное употребление местоименных сопроводителей сохраняется вплоть до середины VII в., то в разговорной речи процесс ослабления указательности и подчеркнутой анафоричности местоименных сопроводителей шел полным ходом, очевидно, уже в начале VI века. Об этом свидетельствуют данные тех памятников, которые в какой-то мере ориентируются на народно-разговорный обиход. Так, например, «Пу-

тешестве Этерии» не знает взаимозаменяемости указательно-местоименных сопроводителей и прилагательных-детерминативов. Наоборот, (в этом памятнике) на каждом шагу встречается употребление местоименных сопроводителей ей иопределятельных предложений, которые несут подчеркнуто-анафорическую функцию.

Во-первых, эти пояснительные предложения отсылают читателя к предыдущему изложению: *ita infra nos videbantur esse illi montes, quos primitus via ascenderamus* (Peregr. 3, 9) — ссылка 1,1: *sex tamen montes illi* и на 2,5: *toti illi montes* и др.: *quia necesse... erat ad vallis illius, quam superius dixi, caput exire* (4,4) — ссылка на 1,1: *montes... faciebant vallem infinitam ingens... per vallem illa quam dixi ingens* и 2,3: *caput ipsius vallis*. В обоих случаях интервалы между упоминаниями тематических существительных *montes* и *vallis* настолько велики, что анафорическая сила слабеего *ille* не может их соединить, и поэтому рассказчица прибегает к более сильной лексической анафоре. Аналогичные примеры см. Peregr. 4, 4; 4, 5; 5, 1 и др.

Во-вторых, сопроводительные определятельные предложения связывают важные с точки зрения рассказчицы существительные со вторым «подстрочным» контекстом — священным писанием. Прием указывает на то, что далекая анафора не может быть осуществлена при помощи одного указательного местоимения.

Ср. — *Mons... in cuius summitate est hic locus, ubi descendit maiestas Dei, sicut scriptum est* (2,4 — ср. 3,3) — ссылка на Ветхий завет — 3 гл. Исхода — ср. 3,3; 4,1; 4,5; 5,1 и др.

В канцелярско-деловых памятниках это плеонастическое употребление местоимений появляется лет через сто, сто пятьдесят. Так, в раннесредневековых документах Италии: *fines... ipsas fines... sed et fines illas quas superius nominavimus* (док. 627 г., Бобьо—цит. CDL, I, 593, N 297); *res pro ipsa omnem suprascripta* (док. 747 г., Лукка—цит. Politzer, 15), *recipet Ecclesia Sancti Martini Casa Willuli, Casa Galpertuli, in loco... cum fundamentas suas, terris... omnia et in omnibus ad ipsas suprascriptas casas* pertenentes и т.д. (док. 754 г., Лукка, цит. Muratori, 230—231) и др.

В Мерovingских грамотах (Галлия VII в.): *vir Magnoaldus agentis industri viro Drogone filio... ipsi agentis memorato Magnoaldo... ipsi agenti predicto Drogone* и т.д. (Право, дарованное аббатству в Туссонвале — цит. Muller-Taylor, 199).

Это параллельное употребление указательных местоимений и лексических сопроводителей ясно показывает, что указательные способности детерминативов утрачены и для подчеркнутой отсылки к



предыдущему употреблению существительного необходима особая лексическая анафора.

Об утрате указательных возможностей у местоименных проводителей говорят также и следующие факты:

1. Местоименные проводители *hic*, *ille*, *ipse* утрачивают способность к выражению пространственной соотнесенности обслуживаемого ими существительного с участниками диалога (в письменных памятниках — автор и читатель). Об этом свидетельствует известное безразличие в выборе проводителя. Например, Григорий Турский предпочитает обычно местоимение *hic*; в «Путешествии Этерии» чаще всего используются *ille* и *ipse*. Иногда при одном и том же существительном наблюдается чередование детерминативов без каких-либо видимых причин<sup>5</sup>. Ср. прив. выше пример *Theodosio... hic Theodosius... Theodosius ille* (G.T., HF, I, 42—43) или *constituimus in honore Domini... et gloriosi patroni nostri Dionisii Mercatum Et sciatis nostri Missi ex hoc Mercato... ut ipse Mercadus... in illo Mercado quem in honore Sancti Dionysii constitumus* (док. 629 г., Ломбардия — цит. CDL, II, 40—42 N 308).

2. При употреблении местоименных проводителей в начале предложения они снабжаются усилительными частицами *autem*, *ergo*, *enim* и т.д.

Ср. *Hic autem locus ubi se montes aperiebant, iunctus est cum eo loco, quo sunt memoriae concupiscentiae. In eo ergo loco* и т.д. (Peregr. I, 2) или — *faciebant vallem... per valle illa*, (1, 1), но в 2,1: *Vallis autem ipsa ingens est valde, a vatem Ipsam ergo vallam nos traversare habebamus* (2, 2); ср. также у Григория Турского: *Huius quadrapisimo tertio regni anno natus est Abraham. Hic est Abraham initium fidei nostrae... Hic ergo Abraham accepit signum circumcisiones* (G.T.HF, I, 7).

Хотя в начале предложения указательное местоимение и сохраняет собственное ударение, предохраняющее его от синкопы, однако, в смысловом отношении оно оказывается слишком слабым, чтобы выполнять анафорическое задание — точнее, служить для синтаксико-композиционного скрепления отдельных частей повествования.

3. В позднелатинских памятниках широко используются не вышедшие формы указательных местоимений, образованные путем наращивания на старые формы усилительной частицы *esse*. Ср. уже в «Путеше-

<sup>5</sup> В целом ведущими формами местоименного сопровождения в поздней народной латыни были местоимения *ille* и *ipse*. Подробнее о соперничестве различных местоименных форм при формировании романского артикля см.: Р. Г. Пиотровский, *Формирование...*, стр. 35—49, 93.

ствии Этерии»: *ait novis ipse sanctus presbyter: ecce ista fundamenta in giro colliculo isto* и т.д. (Peregr. 14, 2), ср. также 14,3 (оба примера в прямой речи!).

Это семантическое усиление местоименных сопроводителей при помощи различных частиц и, особенно, их плеонастическое употребление бесспорно знаменует новый этап в развитии местоименного сопровождения. Указательные местоимения, употребленные без усилительных частиц, выпадают из общей системы лексически «сильных» и экспрессивно заостренных определителей существительных и группируются в класс особых отличных от указательных местоимений «ослабленных» сопроводителей. Этот класс сопроводительных форм и составляет категорию *протоартикля*.

Сравнение позднелатинских памятников различных жанров показывает, что в народно-разговорной речи анафорический протоартикль утвердился в конце V и начале VI веков<sup>6</sup>. В течение VI и первой половины VII веков протоартикль проникает и в книжные стили.

Само собой понятно, что применительно к поздней латыни понятие протоартикля является в достаточной степени условной (хотя и вполне разумной) лингвистической абстракцией. Дело в том, что провести границу между «протоартиклевым» употреблением и чисто местоименным использованием сопроводителей обычно бывает очень трудно. Имеется большое количество контекстов, которые показывают, с какой легкостью осуществлялся в этот период переход от протоартиклевого значения сопроводителя к местоименной его семантике и обратно. Об этом, например, свидетельствуют интервалы в употреблении местоименных сопроводителей при одном и том же существительном, выступающем в роли тематического субъекта. Ср. *hoc autem referente sancto episcopo* (= d'un saint évêque) de Arabia cognovimus... *Qui tamen sanctus episcopus* (= le saint évêque) nobis Ramessen occurrere degnatus est... *hoc nobis ipse sanctus episcopus* (= le saint évêque) retulit (Peregr. 8,3—4). Существительное здесь достаточно детерминировано, а регулярное употребление ослабляет указательно-анафорическую силу местоименного сопроводителя, который начинает восприниматься как «лишняя» служебная частица. Поэтому рассказчица при следующем упоминании существительного опускает сопроводитель: *Ac sic ergo aliquo biduo ibi tenuit nos sanctus episcopus* (= le saint évêque — 9,1). Однако, в следующей фазе, как бы опасаясь, что

<sup>6</sup> Случаи серийного приименного употребления указательных местоимений встречаются и в более ранних памятниках — в «Метаморфозах» Апулея, в Итале и Вульгате. Однако, как правило, они выполняют здесь не анафорическое задание, но служат для подчеркивания прилагательного-эпитета или другого определения.

существительное потеряет свою детерминированность, рассказчица снова вводит детерминатив, усиленный частицей *autem*: *Ipsae autem sanctus episcopus* (= ce saint évêque) *ex monacho est* (9,2). Ср. другие аналогичные примеры: *Bricius... At vero hic Bricius... Bricium... Cui Bricius... Bricionem diaxonem... Brici* и т. д. (G. T., H. F, 11, 1). *Si servus talem culpam fecerit ... pro illicitam rem quod servus penetravit solidi quadriginta ... Et si ipse servus fuga lapsus fuerit ... pro ipso servo ... ipsum servum ... nam quadriginta solidi componat pro culpa quam servus fecit. Et si spolia homini sepulti, servus de sepultura tulerit ...* (Leges Grimoaldi, 668 — цит. CDL, II, 309, N 337).

Это интервальное употребление местоименных сопроводителей встречается даже в поздних испано-латинских документах: ... *et alturas vineas non vendimus in ipsa cartula* (речь идет о самом документе) ... *in cartula, que ... kartula vendicionis ... in hanc cartula vendicionis, que ...* (док. 1061 г., Леон, — цит. Pidal, 30).

2.3. *Композиционно-синтаксические функции протоартикла.* Как уже указывалось, протоартикл обычно употребляется с существительным, являющимся тематическим субъектом повествования и нуждающимся поэтому в особом выделении. Как только обслуживаемое протоартиклом существительное перестает быть тематическим субъектом, то есть уходит с первого плана повествования, местоименный сопроводитель, как правило, исчезает. Ср., например, в «Путешествии Этерии»:

*In eo ergo loco est nunc ecclesia... quae ecclesia... ipsius ecclesiae, ... ipsi ecclesiae* (Peregr. 3,3—4), но вот рассказчица обращается к описанию жизни монахов: *occiderunt etiam et alii presbiteri.. statim sancti monachi arbusculas ponunt... sancti illi... illi sancti* (3,4—3,7) — описание церкви уходит на второй план и исчезают, поэтому, местоименные сопроводители: *sola ecclesia... exiremus de ecclesia... foras hostium ecclesiae* (3,4—3,7). Ср. также в притче о божественном освобождении города Батанис:

*pervenit ad civitatem, cuius nomen in scripturas postium legimus id est Batanis... Ipsa civitas... vidi in eadem civitatem martyria plurima... episcopus ipsius civitatis ... Nam ipsa civitas aliam aquam penitus non habet ... girant civitatem istam ... Domine Jesu, tu promiseras, nobis, ne aliquis hostium ingrederetur civitatem istam* (19,1—5). Но вот внимание рассказчицы обращается к персам, осадившим город и желающим отвести от него воду. Существительное *civitas* сразу же теряет местоименный сопроводитель. Зато этот сопроводитель переходит к новому тематическому субъекту этого отрывка — *aqua*:

*Nam ipsa civitas aliam aquam penitus non habet nunc nisi eam, quae de palatio exit... de ipsa aqua... Persae averterunt ipsam aquam a civitate... Illa autem aqua... ita siccata est in ea hora, ut nec ipsi haberent vel una die quod biberent, qui obsedebant civitatem, sicut tamen et usque in hodie apparet (19,5—19,7).*

Таковы композиционно-синтаксические особенности употребления протоартикла в ранний и основной периоды его использования. Перейдем теперь к рассмотрению вопроса о его дистрибуции или, иными словами, о его сочетаемости с определенными разрядами существительных.

### 3. СОЧЕТАЕМОСТЬ ПРОТОАРТИКЛЯ

3.1. *Понятийно-грамматическая модель предметности.* Прежде, чем рассматривать дистрибуцию протоартикла, необходимо построить общую понятийно-грамматическую и лексикологическую модель имени существительного. Модель эта строится из предположения, что во всех языках существительное, как часть речи имеет предметное значение. При этом само значение предметности неоднородно и функционирует в языке в различных аспектах. Здесь следует различать:

1. Общепонятийное значение существительного, при котором имя, обозначая понятие в полном его охвате, представляет последнее как сумму единичных предметов (или частных видов понятия): лат. *tructae minores sunt quam salmones* = фр. *les truites sont plus petites que les saumons* = «форели меньших размеров чем лососи». Для представления общепонятийного значения мы можем использовать следующую формулу:

$$A = \sum_{i=1}^{i=n} A_i, \text{ то есть } A = A_1 + A_2 + \dots + A_m + A_{m+1} + \dots + A_n, \text{ где } A \text{ —}$$
 общее понятие,  $A_1, A_2, A_m$  и т.д. — единичные предметы или видовые понятия,  $\sum$  — знак суммирования.

2. Индивидуально-видовое значение, которое может указать:

а) на отдельный предмет (группу отдельных предметов): лат. *video tructam, tructa haec magna est* = фр. *je vois une truite la (cette) truite est grande* «я вижу форель, эта форель больших размеров»;

б) на частное видовое понятие, входящее в систему общеродового понятия: ср. лат. *ex omnibus tructis tructa salmonea maxima est* = фр. *de toutes les truites la truite saumonée est la plus grande* «из всех форелей лососевая форель самая крупная».

Индивидуально-видовой аспект предметности сам распадается на два подтипа (специеса). Речь может идти:

а) об одном из многих, специально не отмеченном предмете (виде понятия), — неопределенный специес индивидуальной видовой предметности ( $A_m$ );

б) об определенном, выделенном среди других подобных ему, предмете (виде) — определенный специес.

Противопоставление специесов  $A_m$  и  $A_1$  подчинено новому принципу — степени определенности предмета.

3. Валоративное значение ( $\alpha$ ), при котором существительное представляет предметность как материал понятия без указания на его объем или количество — лат. *tivus hic abundat tructa* = фр. *dans ce guisseau il y a de truite* «в этом ручье водится форель» — указывая на качественное своеобразие данного понятия (субстанция), отличающее его от других понятий (субстанций).

4. Иллюзорное значение ( $\alpha'$ ) — *cauda tructae* = фр. *la queue de truite* «хвост форели». В данном случае контрольное существительное не обозначает реальной «массовидной» или сферической предметности (предметность заложена в существительном «хвост»). Существительное «форель» выступает лишь как различительный признак, противопоставляющий «хвост форели» другим видам рыбьих хвостов, например, «хвосту селедки»<sup>7</sup>.

Различные виды артикля служат средством выражения указанных аспектов предметности. Одновременно следует подчеркнуть, что различные тематические группы имен существительных в силу своего значения ориентируются на разные аспекты предметности. Так, например, существительные, обозначающие отдельные предметы, живые существа и другиечисляемые имена, чаще всего дают индивидуально-видовое употребления ( $A_m$ ,  $A_1$ ). Существительные отвлеченного значения выступают обычно в общепонятийном ( $A$ ) или иллюзорном ( $\alpha'$ ) значениях. Существительные, обозначающие вещество, ориентируются на валоративный аспект ( $\alpha$ ).

Отсюда следует, что, изучая сочетаемость протоартикля с различными тематическими разрядами существительных, мы сможем определить его понятийное значение. Выявление понятийного значения протоартикля служит одновременно средством интерпретации выше-

<sup>7</sup> При построении настоящей модели используется опыт изучения семантики романского артикля. См. G. Guillaume, *Le problème de l'article et sa solution dans la langue française*, Париж 1919; R. Paul, *Flexiunea nominală internă în limba română*, Бухарест, 1932; F. Maillard et R. Valin, *Nom et article*, «Vox Romanica», XVIII, 1 (1959), стр. 31 и сл.; R. Piotrovski, *Intrebuintarea articolului la scriitorii români*, «Studii și cercetări lingvistice», Omagiului Al. Graur cu prilejul împlinirii a 60 de ani, XI, 3 (1960), стр. 625—626.

приведенной модели на повднелатинском и протороманском языковом материале.

3.2. *Статистика сочетаемости протоартикля.* Результаты статистического обследования сочетаемости протоартикля в позднелатинских памятниках литературно-повествовательного (религиозного) стиля, обобщенные в таблице 1, показывают, что местоименные сопроводители чаще всего употребляются при существительных, обозначающих местоположение (*locus*) и временные отрезки (*dies, hora*). Довольно часто протоартикль сопровождает существительные, обозначающие числяемые предметы.

Сходную картину дают различные деловые памятники VI—X вв. Италии, Галлии и Испании. Здесь в сопровождении местоименных детерминативов чаще всего употребляются:

1. Названия лиц — *ancilla* (*Lex Salica*-VIII в., XXV, 138; *comitessa* (док. 1032 г., Леон-цит. *Monaci*, 13); *mancipius* (*Ed. Rothari*, 643 г. — CDL, II, 189 — 290, NN 279 и 281 или док. 907 г., Португалия — цит. *Monaci*, 8); *presbyter* (*Regula Chrodegangi*, 29 — цит. *Muller-Taylor*, 243-244); *senior* (там же); *servus* (*Lex Salica*, XXV, 139); *vir* (Меров. док. VII в. — цит. *Muller-Taylor*, 196) и др.; детерминативы часто употребляются и при некоторых именах собственных, например: *Benedicta*, *Salomon* (док. 870 г., Клуни — *Ch Cl*, I, 18-19); *Bricus* (*G. T.*, HF, II, 1); *Drogus*; *Magnoaldus* (Меров. док. VII в. — цит. *Muller-Taylor*, 119) и т. д.

2. Названия животных: *caballus* (*Lex Salica*, XXVII, 145—152 и *Ed. Rothari*, 643 г. — CDL, II, 311 — 312 N 339); *iumentum* (*Mulo-medicina*, 52 — 53); *taurus* (*Lex Salica*, III, 19).

3. Топографические термины, названия строений и земельных владений — *casale* (док. 761 г., Сполетто — цит. CDL, V, 123 N[763 или док. 742 г., Бенвенуто — цит. CDL, 83 сл. № 543); *castellus* (док. VIII в., Франция — цит. *Pei*, 197 N 56); *ecclesia* (док. 650 г., Кремона — цит. CDL, II, 483, N 320); *mercatus* (док. 629 г., Ломбардия — цит. CDL, II, 40 — 42, N 308); *molinus* (док. 905 г., Астурия — цит. *Monaci*, 6); *monasterius* (док. 686 г., Ломбардия — цит. CDL, III, II, N 352); *rivus* (док. 780 г., Астурия — цит. *Monaci*, 3); *telloneus* или *teloneus* (VIII в., Франция — цит. *Pei*, 198); *terra* или *terrula* (док. 898 г., Астурия — цит. *Monaci*, 6); *vallis* (док. 978 г., Кастилия — цит. *Pid*, 353); *via* или *bia* (док. 1010 г., Салерно — цит. *Muratori*, 319); *villa* (док. 907 г. Португалия, — цит. *Monaci*, 8) и др. Сюда же примыкают

и топонимы, например: *illa Casa da Turre* (док 754 г., Лукка — цит. Muratori, 230—231) или *illa Браппа* (док. 780 Астурия — цит. Монаси, 3).

4. Существительные, обозначающие сам документ, как *carta* или *cartula* (док. 704 г., Бенвенуто — CDL, III, 56, N 372, ср. также Pei, 197—198).

Таблица 1

Статистика употребления протоартикла при отдельных существительных

		Вульгата (IV в)	Путешес- ствие Этерии (VI в.)	История франков (VII в.)
1.	<i>dies</i>	18	9	9
2.	<i>hora</i>	5	7	—*
3.	<i>locus</i>	19	24	—
4.	<i>momentus</i>	6	—	—
5.	<i>nox</i>	12	—	8
6.	<i>tempus</i>	8	4	10
7.	<i>terra</i>	10	—	—
8.	<i>civitas</i>	—	ок.20	3
9.	<i>filius</i>	2	—	—
10.	<i>mens</i>	—	8	—
11.	<i>Pater vester</i>	9	—	—
12.	<i>puerulus</i>	4	—	—
13.	<i>servus</i>	6	—	—
14.	<i>vallis</i>	—	ок.20	—
15.	<i>aqua, caput, colliculus, ec- clesia, episcopus, epistola fons, pars, porta, presby- terus, puteus, spelunca, ur- ceus, via, vicus</i>	—	—	каждое слово от 5 до 10 раз каждое

\* Прочерки указывают или на отсутствие данных или на то, что данное существительное в памятнике не употребляется.

Кроме этих групп счисляемых имен, обозначающих единичные предметы, с местоименными сопроводителями могут употребляться также:

1. Существительные, служащие для обозначения событий, о которых рассказывается в документе, или отвлеченные понятия, представленные в ограниченном объеме ( $A_1$ ). Ср. уже в Вульгате: *gratia Dei ... exudantiam illam gratiae .. gratia illa ... gratia illa* и т. д. (Vulg., Ad Rom., 5, 15—21) или в более поздних памятниках: *fides Petri* (т.е. не вера вообще, но определенное, католическое вероисповедание) ... *Nos enim illam fidem praedictam tenemus .. Si quis autem contra hanc fidem aut sapit aut credit .. Sed unam eademque fidem ..* (док

584 г. Венеция — цит. CDL, I, 46 — 47, N 14) или *fecit omicidia de illa comitessa . . . et non habuit ille unde pariare ipso omicidio . . . fecit ipse homicidio et rogarunt ipsos homines* и т. д. (в док. 1032 г., Леон — цит. Монаси, 13).

Аналогичное употребление дают существительные *consilio* (Ed. Rothari, 643 г. — цит. CDL, II, 124, N 9); *festivitate* (VIII в., Франция — цит. Pei, 197 — 198); *gualdus* (док. 772 г., Сполетто — цит. CDL, V, 767, N 964); *testimonia* (Lex Salica, LVI, 361); *vindicione* или *venditione* (Меров. док. VII в. — цит. Muller-Taylor, 206 или док. 704 г., Бенвенуто — цит. CDL, III, 56, N 372) и др.

2. Несчисляемые существительные собирательного или вещественного значения.

Ср. в Регуле Хродеганга (769—770 гг., Мец): *calceamenta . . . et illa calceamenta . . . quod ille episcopus annis singulis ad illum clerum reddere consuevit* и дальше: *vestimenta . . . illa vestimenta; lignum . . . illum lignum* (Migne, 89, 1113); *metallum . . . dum ipsum metallum inventu fuerit, postea mittite cum ipso in fornace* (Compositiones ad tingenda musiva, VIII в. Лукка — цит. Battisti, 221); *illa pellis* (De tinctio Pellis Prasiuis, VIII в., Италия — цит. Muller-Taylor, 213 сл.).

Во всех приведенных случаях вещественное существительное также выступает в ограниченном объеме ( $A_1$ ), обозначая либо предмет, сделанный или состоящий из данного вещества (ср. *illum metallum* = 'кусок металла'), либо определенное количество последнего (*illa calceamenta . . . quod episcopus . . . reddere consuevit*).

Таким образом, исходя из частого употребления имени с указательными местоимениями, эти разряды можно разделить на две категории. Первую образуют существительное локального и временного значения, с которыми детерминативы употребляются особенно часто — почти регулярно. Во вторую входят остальные, перечисленные выше разряды, с которыми указательные местоимения употребляются от случая к случаю в зависимости от той роли, которую играет лицо, предмет или явление, обозначаемое существительным в повествовании.

3.3. *Семантика протоартикля*. Исходя из результатов статистического анализа (см. 32), можно сделать вывод, что истоки употребления определенного артикля, а следовательно и его значения, следует искать в сочетаниях указательного местоимения с именами локально-временного значения.

Однако, такое предположение сразу же наталкивается на сопротивление материала.



Во-первых, романские языки уже начиная с первых памятников предпочитают употреблять при локально-временных существительных не артикль, а указательное местоимение. Ср. стфр. *Maximilien, chirex eret a cels dis soure ragiens* (Eul., 12); *Enz ne verrat passer cest premier meis, Que...* (R., 83); *esa noch* (Çid, 3018 и 3044). Аналогично в современных языках: фр. *ce jour-là, ce temps-là*; исп. *aquelis poche*.

Употребление артикля при существительных этого типа встречается сравнительно редко, причем артикль здесь обычно близок по значению к указательному местоимению. Ср. стфр. *Quant li jurz (=cist jourz) passet* (Al., 51); аналогичное ср. в *Passion*, 40 и 193; или стисп. *grant fue el dia*<sup>8</sup> *al cort del Campeador* (Çid, 2479)<sup>9</sup>.

Во-вторых, в ряде случаев латинские сочетания указательное местоимение + временное существительное сливаются в одно слово, переходя при этом в класс наречий. Ср. уже в латыни *hoc die > hodie > стфр. huī*, исп. *hoу* или *hoc anno > стфр. oan*, исп. *hogaño*, порт. *ogano*; *hac hora > порт. agora*; *ipsa hora > исп. isora*, сард. *issara*; *hac nocte > порт. ontem*; *hac ista die > рум. молд. astăzi > azi*.

Идиоматизация сочетаний указательных местоимений с существительными временного значения широко представлена в имперской латыни. Ср.:

*Si iumento lingua incisa fuerit, consueto lingua(m) fibulis, deinde vino lavato; his diebus (=несколько дней спустя) gallam contundito minutatim, ex eo imponito, usque dum sanum fiat* (Mulom., 176,7) или *cum ante hos dies (=недавно) coniugem et filium amiserim...* и т.д. (CIL, VI, 2120, 16—156 г. НЭ); *nam et ante hos annos (=былое время) cum recessissent a via ...* (Vulg., Judith., 5, 22).

Наконец, даже в тех случаях, когда такая идиоматизация не имела места, само значение и употребление указанных латинских словосочетаний не создавало благоприятных для развития артикля. Дело в том, что локально-временные существительные в пределах даже небольшого рассказа имели обычно при каждом своем употреблении различную предметную соотнесенность. Ср., например, в «Путешествии Этерии»:

*peruenimus ad quendam locum (1-е значение) ubi sex... montes. . aperiebant ...* *Hic autem locus (1-е значение), ubi se montes aperiebant iunctus est cum eo loco (2-е значение), quo sunt memoriae con-*

<sup>8</sup> Или в другом издании см. — *aquel dia* — см. А. Велло, *Obras completas, II, Poeta del Cid*, Сант-Яго (Чили), 1881.

<sup>9</sup> А. Тоблер, *Vermischte Beiträge zur französischen Grammatik*, Leipzig, 1906—1921, II, стр. 52.

*cupiscentiae ... eo ergo loco* (2-е значение) ... *de eo loco* (2-е значение) *ad montem Dei* и т.д. (I, 1—2) ... *Haec est autem vallis, in qua factus est vitulus; qui locus* (3-е значение) *usque in hodie ostenditur ... in ipso loco* (3-е значение). *Haec ergo vallis ipsa est, in cuius capite ille locus* (4-е значение) *est, ubi sanctus Moyses cum pasceret pecora ...* (2, 2) и т.д.

Таким образом, локально-временные существительные не образовывали целостного ряда повторяющихся употреблений с единой предметной соотнесенностью. А раз так, то у местоименного сопроводителя здесь сохранились указательные или подчеркнуто-анафорические функции и не вырабатывалось артиклевого значения. Становится ясным также, почему в романских языках при локально-временных существительных сохраняется употребление указательных местоимений или указательно-анафорического артикля. Если же у указательного местоимения, употребляющегося в комбинации с существительным локально-временного значения, и происходит ослабление значения, то это местоимение не превращается в артикль, но поглощается существительным (примеры см. выше стр. 297).

Следовательно, формирование артикля происходит на основе все более регулирующегося употребления детерминативов при существительных, входящих в разряды второй категории. При этом существительное, обслуживаемое протоартиклем, должно было отвечать двум условиям: 1) оно должно находиться на первом плане повествования, 2) его предметный объем должен быть равен  $A_1$ .

Если существительное, предметный объем которого равен  $A_1$ , не является одним из тематических субъектов повествования (первый план) или перестает им быть, местоименный сопроводитель не употребляется или перестает употребляться (ср. выше).

С другой стороны, существительное может быть тематическим субъектом повествования, однако, если его предметный объем не равен  $A_1$ , сопроводитель все равно отсутствует.

Так, не употребляется протоартикль при существительных, обозначающих общее понятие (вне зависимости от того, конкретное оно или абстрактное):

*Hinc etenim contra christianos (A) prima odiorum germina pullularunt. . . Ab illis enim diebus christiani (A) apud civitatem Romanam esse coeperunt . . . Tertius post Neronem persecutionem in christianos (A) Traianus movet. (G.T., HF, I, 24—27) — объем понятия существительного christiani равен A. Quae res . . . odium (A) generavit. Unde et inflammati*

*invidia* (A), *triginta eum argenteis Ismahelitis in Aegypto transeuntibus vindedirunt* (G.T., HF, I, 9). Во всех выделенных случаях объем понятия существительных равен A.

Равным образом не получают местоименный сопроводитель и имена, обозначающие нерасчленимую массу (объем понятия =  $\alpha$ ), независимо от их синтаксической позиции и роли в общем повествовании. Ср. *Ut unciam laseris* ( $\alpha$ ) *toto tempore utaris: laser* ( $\alpha$ ) *in spatiosum doliolum vitreum mittis et nucleos* ( $\alpha$ ) ... (Apicius, *De re coquinaria*, V в. — цит. Diaz, 50 — 51) или — *Ostenderunt etiam et illum locum, ubi eis pluit manna* ( $\alpha$ ) (Peregr. 5,5).

Наконец, употреблению местоименных сопроводителей оказывают сопротивление существительные типа *Singularia tantum* (*sol, terra* = планета, *deus, Dominus, diabolus, Filius Dei* и др.)<sup>10</sup>. Нерасчленимость предметного значения у существительных, совпадение понятийного (A), валоративного ( $\alpha$ ) и индивидуально-видового (A<sub>1</sub>) аспектов в семантике существительных этого типа (A = A<sub>1</sub> =  $\alpha$ ) препятствует употреблению анафорического протоартикла.

Ср. ... *locus Choreb... ubi ei locutus est Deus dicens ... ad offerendum Deo ... sanctus Moyses acciperet a Domino ... legem ... rubus, de quo locutus est Dominus Moysi in igne* (Peregr. 4, 1—6); *per heremum ambulatur ... heremi ... heremi* (Peregr. 6,2—5); или *Credo, sanctum Spiritum a Patre e Filio processisse non minorem et quasi ante non esset, sed aequalem et semper cum Patre et Filio coaeternum deum ...* (G. F., HF, I, введ.).

Употребление артикла в современных романских языках косвенно связано с синтаксическими функциями обслуживаемого им существительного. Эта зависимость обнаруживается также в эпоху формирования артикла и является прямой производной от основной смысловой функции протоартикла — т.е. от анафорического выделения тематического субъекта повествования. Действительно, существительные, обозначающие тематический субъект повествования, чаще всего выступают в роли подлежащего или различных видов дополнений, но редко выполняют функции дополнения-определения, обстоятельства или преди-

<sup>10</sup> Существительные этого типа оказывают сопротивление лишь определительно-анафорическому употреблению местоимений. Вообще же сочетание их с указательными местоимениями вполне допустимо. Местоимение имеет в этом случае эминентное значение. Ср. в Вульгате: *an tu sis Christus ille Filius ille Dei* (Vulg., Matth., 26, 63) или в Житии Вандрегизелия (конец VII в., монаст. Фонтенель — Галлия): *pro amore ipsius sancti Dei* (цит. Muller-Taylor, 226).

катива. В связи с этим и местоименный сопроводитель чаще всего употребляется при подлежащих и дополнениях. Употребление этих же существительных в функции дополнения-определения, предикатива или обстоятельства часто бывает связано с потерей данным словом функций тематического субъекта, отходом на второй план повествования, а иногда и утратой определенного специеса индивидуально-видовой предметности ( $A_1 > \alpha$  или  $\alpha^\circ$ ). Вполне закономерно, что существительное в этом случае лишается местоименного сопроводителя.

Особенно отчетливо эти синтаксические тенденции в употреблении сопроводителей прослеживаются в языке «Путешествия Этерии», ориентированном на разговорную речь того периода. Ср. *Peregri. 1,1 — 2,4: montes illi... faciebant vallem infinitam...* (первое упоминание о долине — неполная предикация) *et trans vallem* (существительное *vallem* хотя уже приобрело специес  $A_1$ , однако еще не стало тематическим субъектом повествования — отсюда его употребление в предложной конструкции без сопроводителя) *apparebat mons sanctus Dei Syna* (тематический субъект — об отсутствии здесь протоартикла см. ниже)... Но вот существительное *vallis* выдвигается на первый план повествования: *{Vallis} autem ipsa* (подлежащее) *ingens est valde... Ipsam ergo vallem* (прямое дополнение) *nos transversare habebamus...* *Haec est autem vallis ingens et planissima* (существительное *vallis*, употребляясь в предикативе, перестает одновременно быть тематическим субъектом, для выражения которого автор использует местоимение *haec*, анафорически заменяющее группу *ipsa vallis*)... *Haec est autem vallis* (аналогичное употребление) *in qua... illuc denuo ad illud caput vallis...* (тематическим субъектом становится существительное *caput*, которое и получает детерминатив). Ср. также в деловой документации: ... *postquam alia fundavit monasteria accedens monasterium* ( $A_1$ ) *construisse perhibetur...* *In quo monasterio* ( $A_1$ )... *ipsum monasterium*  $A_1$ ... *pater monasterii* ( $A_1$ )... *praedictum monasterium* ( $A_1$ ) *a patre monasterii* ( $A_1$ )... *post mortem patri monasterii* ( $A_1$ ) *ipse debeat in eodem monasterio* ( $A_1$ ) *ordinari* (док. 643 г., Бобьо — цит. CDL, II, 50—56, N 312).

На первый взгляд может показаться, что использование протоартикла подчиняется тем же закономерностям, которые будут регулировать употребление артикла в старороманский (а в отношении иберороманских языков и в среднероманский) период, отличаясь от последнего лишь количественной стороной. Однако, исследование позднелатинских памятников вскрывает и качественные различия между протоартиклом и собственно артиклом.

На это, в частности, указывают некоторые случаи неупотребления сопровождающего при нарицательныхчисляемых существительных, выступающих в функции тематического субъекта повествования.

Так, например, в «Путешествии Этерии» существительное, употребляющееся во фразеологиях *mons Syna*, *mons Dei*, никогда не принимает сопровождающего, хотя, как правило, выступает в качестве тематического субъекта повествования (восхождение на Синайскую гору являлось одной из задач паломничества Этерии). Ср. *trans vallem arparebat mons sanctus Dei Syna ... de eo loco primitus videtur mons Dei ... ad montem Dei... montis Dei ... montem Domini... montem Dei ... montis Dei ... a monte Dei ... ad montem Dei ... montis Dei ... monti Dei ... Moyses fuit in montem ... montis ... ad montem ... monti Dei ... in monte Dei ... ad montem Dei ... in montem Dei... a monte Dei ... ad montem Dei ... ad montem Dei sanctum Syna* (главы 1—9).

Но вот рассказчица разъясняет, что *mons Dei* вовсе не гора, но горный массив, включающий несколько вершин, из которых одна — средняя и самая высокая и называется Синайской горой. Ср. *Mons autem ipse per giro quidem unus esse videtur, intus ... plures sunt ..., sed totum mons Dei appellatur, specialis autem ille, in cuius summitate est hic locus, ubi descendit maiestas Dei... in medio illorum omnium est* (Peregr. 2,4).

Отныне существительное *mons* используется для обозначения этой самой высокой, поднимающейся над остальными вершинами массива, горы. Употребление протоартикли<sup>1</sup> при существительном становится почти регулярным: *ipse ille medianus... altior est omnibus ... ille medianus, qui specialis Syna dicitur ... ad montem Dei ... ingressi sumus montem ... illius mediani, qui est specialis Syna ... mons ... iuxta montem illum ... in ipsa summitate montis illius mediani... in ipso monte ... ipse mons sanctus Syna totus ... ipsius montis ... montis ipsius mediani ... istum medianum ... hic medianus ...* (Peregr. 2,4—3,9).

Романские языки в обоих случаях дали бы употребление определенного артикли: стфр. *Li Deu munz — Li munz halçur*; исп. *el monte de Dios — el alto monte*.

Как же объяснить это различие в употреблении протоартикли и артикли? Обращаемся к предметной характеристике и контекстным связям существительного *mons*. В обоих случаях (*mons Dei*, *altior mons*) объем его предметного значения =  $A_1$ . Иное дело узкоконтекстное осмысление существительного *mons*. В первом случае существительное

*mons (Dei, Syna)*, обозначая гору (горный массив), хорошо известную и рассказчице и ее слушательницам еще из Библии, представляет ее вне всякой связи со сходными предметами (горами или горными массивами) данного ряда. *Mons* указывает на всем известную, единственно возможную в данном контексте — поскольку она является целью путешествия — гору. Таким образом, сочетание *mons Dei, mons Syna* рассматривается здесь как узкоконтекстное *Singularia tantum*.

Как только обнаружилась неоднородность понятия *mons Dei*, включающего несколько однородных предметов, слово *mons* прилагается к одному из них. Этот последний особо отмечен автором и противопоставлен другим предметам этого «малого» ряда, возникшего внутри данного контекста.

Эти изменения в узкоконтекстном режиме существительного не влияют на употребление определенного артикля в романских языках. Поскольку предметный объем форм *mons Dei* и *altior mons*, несмотря на различия в их предметной соотнесенности, равен  $A_1$ , наш воображаемый романский перевод дал бы в обоих случаях употребление определенного артикля.

Иное дело протоартикл. Как мы могли убедиться, на его употребление влияет изменение конкретной соотнесенности предметного объема имени внутри данного контекста. Пока существительное *mons* имело значение внутриконтэкстного *Singularia tantum*, местоименный сопроводитель отсутствовал. Как только форма *mons* стала прилагаться к одному из членов внутриконтэкстного ряда однородных предметов, появляется протоартикл.

Ср. аналогичный пример из того же «Путешествия Этерии»: ... *peruenimus ad mansionem, quae erat iam super mare* (речь идет о Красном море, омывающем берега Синая) ... *incipitur denuo totum iam iuxta mare ambulari ... iuxta mare ... quingentos passus de mari* (Peregr. 6,2—3), но *Egyptum autem et Palestinam et mare rubrum et mare illud Parthenicum* (3, 11).

Влияние внутриконтэкстного режима существительного на употребление протоартикля обнаруживается также в использовании местоименного сопроводителя при именах собственных. Оставляя в стороне эминентно-эмфатическое (тип *Nero ille luxoriosus*) и структурно-оформляющее (тип *huic Iacob*) употребления протоартикля, обратимся к его определительно-анафорическому и противопоставительному использованию при именах собственных.

Предметно-смысловая структура имени собственного, как известно, отличается от имени нарицательного отсутствием общепонятного и валоративного аспектов. Имя собственное обычно функционирует в определенном специесе индивидуально-видового значения ( $A_1$ ) с точной предметной соотносительностью.

Однако, предмет (человек, животное, географический пункт и т.п.), обозначенный именем собственным, может быть сопоставлен и противопоставлен другим предметам, носящим такое же имя собственное (Иван первый, Иван второй, Иван третий и т.д. — т.е.  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_3$  ...  $A_m$ , при этом  $A_1 + A_2 + A_3 + \dots + A_m$  не суммируется в понятие  $A$ ). Это сопоставление производится не по внутренним свойствам предметов (их валоративности), но по их внешнему признаку-наименованию. В современных романских языках имена собственные, в силу этих особенностей своей структуры (т.е. отсутствия противопоставления  $A_1 : A$ ), обычно не дают употребления артикля.

Иное дело протоартиклъ. В поздней и средневековой латыни его употребление при именах собственных встречается не реже, чем при нарицательных, и внешне ничем от него не отличается: он ставится при тех же именах собственных, которые выступают в качестве тематического субъекта высказывания. Ср. у Григория Турского: ... *Theodosio collegam imperii facit. Hic Theodosius omnem spem suam atque fiduitatem in Dei misericordiam ponit ...* (G.T., HF, I, 42); *In loco ergo Gratiani Theodosius ille, qui totam spem in Deum posuerat, totum suscepit imperium* (G.T. HF, I, 43). Ср. HF, 1,7; HF, II, I и др.

Прежде чем говорить о механизме употребления местоименного сопроводителя при повторяющемся субъектном имени собственном, употребленном вне связи с другими именами собственными, рассмотрим случаи, когда имя собственное с детерминативом выступает в соседстве с другими антропонимами или топонимами. Здесь возможны два случая.

Во-первых, два разных предмета (лица), выступающих в контексте, имеют одно и то же имя. Ср. ... *et rectum pergente in Pullo Minore, et trabersante ipso Pullo* (т.е. Pullo Minore в отличие от Pullo Majore) *et rectum pergente in alio Majore et per ipso Pullo* (т.е. Pullo Majore, в отличие от P. Minore) *saliente usque bia qui* и т.д. (док. 1010 г., Салерно — цит. Muratori, 319) или *Erat autem illic Maria Magdalina, et altera illa Maria, sedentes ex adverso sepulcri* (Cod. Bezae, Matth., 27,61, ср. также 29,1). Здесь местоименный сопроводитель вместе с прилагательным-эпитетом служит средством внутриконтэкстного противопоставления одного предмета другому.

Во-вторых, детерминированное имя собственное может употребляться рядом с другими именами собственными, обозначающими предметы той же валоративности. Так, например в испано-латинском документе от 27.II.1011 г. (Кастилия) названия населенных пунктов, в которых находятся наделы и постройки, передаваемые одним феодалом другому, идут без местоименных сопроводителей: *et illa ereditatem de Sancta Maria qui est in ipsa villa Lobeira et in Kanozeto et in Rrama et in Fredas ... terras et Kassas et ortales et mazanares cum pratis* и т.д. Местоименным сопроводителем снабжается лишь один топоним, называющий населенный пункт, до границ которого тянутся указанные наделы: *de illa via qui discurrit de Fredas ad illa cote de illa Lopeira ... et de parte Kanozeto de Kanaliella Espessa usque ad ipsa Lopeira* (цит. Pid., 327). В этом контексте имена собственные группируются в один предметный ряд благодаря тому, что все они служат для обозначения населенных пунктов (*villa*) — т.е. предметов одной валоративности. Среди предметов, образовавших этот ситуативный, внутриконтекстный ряд, один (*Lopeira*) особо подчеркивается и выделяется (автору важно не столько указать, в каких пунктах имеются постройки и наделы, передаваемые по договору, сколько очертить границы этих наделов — они тянутся до самой Лопейры!). Ср. аналогичное в итальянском документе 936 г., цит. LN, 8, (1946), стр. 35 *voluit ipse Paldefrit comes sacramentum tollere ... in ea racione ut si ipse Paldefrit comes, aut eius heredes* и т.д. — Пальдефрит противопоставляется некоему *domno Leoni* (последнее имя собственное употребляется без сопроводителя).

Итак, в приведенных примерах мы снова имеем дело с внутриконтекстным сопоставлением и противопоставлением однородных предметов. Средством выражения этого противопоставления является протоартикуль.

Что касается серийного употребления сопроводителя при одиночном имени собственном (*Theodosio ... hic Theodosius ... Theodosius ille*), то оно отражает еще одну особенность протоартикуля, по сравнению с артиклем. Прямого сопоставления и противопоставления данного лица с другими лицами, обозначенными этим же или другими именами, здесь нет, поскольку о них в данном отрезке контекста ничего не говорится. Тем не менее возможность противопоставления здесь имеется. Имя собственное, обозначая тот или иной предмет (в данном случае лицо), выступает в качестве эквивалента имени нарицательного, которым обычно обозначаются предметы этого ряда. Особенно отчетливо такое соотношение обнаруживается в примерах следующего типа: *agentis inlustri viro Drogone filio ... Interrogatum est ipsius viro Dro-*



*gone ... ipsi Drogo (=viro Drogo) ... ipsi Drogus (=vir Drogus)* (Права, дарованные аббатству в Туссонвале — цит. Muller-Taylor, 199), или *in colonia ... in ipso loco colonia ... in ipsa colonia (= loco colonia)* (док. 760 г., Къеза — цит. CDL, V, 82, N 745).

Схема этого логико-семантического соотношения выглядит следующим образом:

$$\text{vir } (A = A_1 \div A_2 \div \dots \div A_n)$$

*Drogus = vir (A<sub>1</sub>).*

Само собой разумеется, что хотя это косвенное противопоставление единичного предмета всему понятийному ряду и является условием употребления детерминатива при имени собственном, оно отодвинуто здесь на второй план. В примерах последнего типа основная функция детерминатива заключается в передаче подчеркнуто-экспрессивной анафоры. Характерно, что контекст в этих случаях обычно содержит какое-либо указание на эмоциональную оценку лица (или предмета), обозначенного данным именем. Ср. *Theodosio ... Hic Theodosio omnem spem suam atque fidutiam in Dei misericordiam ponit* (G.T. HF, 42); *agentis inlustri viro Drogone ... ipsi Drogus* (цит. CDL, V, 82, N 745); *Huius quadragesimo tertio regni anno natus est Abraham. Hic est Abraham initium fidei nostrae ... Hic ergo Abraham accepit signum circumcisiones ... Hunc Abraham ...* и т.д. (G.T. HF, 1, 7) и др.

Подведем итог.

1. Анафорическое указательно-местоименное сопровождение существительного, утвердившееся в позднелатинской и протороманской речи (от IV до IX—XI вв.), является основным источником формирования романского артикля.

2. На первом этапе своего развития (до VI—VII вв.) указательно-местоименные сопроводители употребляются наравне с possessивными, относительно-местоименными и лексическими детерминативами существительного. Эта эквивалентность свидетельствует о том, что первые полностью сохраняют еще свою местоименность.

3. В период между концом V в. и серединой VII вв. происходит первое значительное ослабление указательного значения местоименных сопроводителей, о чем свидетельствует, в частности, их плеонастическое употребление рядом с другими приименными детерминативами. В результате этих функционально-смысловых изменений образуется новая, отличная от указательных местоимений категория — протоартикль.

4. В своем значении и употреблении протоартикль имеет ряд особенностей, с одной стороны, сближающих его с латинским указа-

тельным местоимением и романским артиклем, а с другой стороны, — отличающих его от этих категорий. Среди особенностей протоартикли основными являются следующие:

а) Протоартикли подобно указательному местоимению служат для выделения существительных, находящихся в центре внимания собеседников или повествователя и слушателя (тематический субъект повествования).

б) Протоартикли употребляются часто серийно (это отличает его от указательного местоимения), но не регулярно (это отличает его от артикли).

в) Подобно указательному местоимению и старороманскому определенному артикли протоартикли употребляются обычно причисляемых существительных, предметный объем которых равен  $A_1$ . Употребление протоартикли при существительных отвлеченного, вещественного значения или *Singularia tantum* предусматривает «дробление» предметной однородности, характерной для этих разрядов ( $A$  или  $\alpha$ ) и выделение индивидуально-видовой формы в определенном специсе ( $A_1$ ).

г) Поскольку существительное, выполняющее функции тематического субъекта повествования, выступает обычно в предложении как подлежащее или дополнение, протоартикли чаще всего взаимодействуют именно с этими членами предложения.

д) Обычно анафорический протоартикли является средством выражения определенности обслуживаемого им существительного, точнее, — показателем тождественности предметного содержания данного употребления имени с предыдущими употреблениями последнего. Аналогичное значение присуще и старороманскому артикли. Однако, в отличие от артикли, протоартикли не потерял семантических связей с указательным местоимением. В определенных положениях у протоартикли может восстанавливаться сильноанафорическое и дейктическое значение, присущее указательному местоимению.

е) В связи с отступлением дейктического значения, у протоартикли как и у романского артикли отсутствует указание на пространственную соотнесенность предмета с участниками диалога.

ж) Протоартикли выражает не общелогическую соотнесенность предмета со всем понятием ( $A_1 : A$ ), но подобно указательному местоимению служит средством конкретно-ситуативного (внутриконтекстного) противопоставления одного предмета другим предметам, упомянутым в этом же контексте ( $A_1 : A_2 \dots A_m$ ). Такое противопоставление в целом не свойственно романскому артикли.

в) Протоартикуль сохраняет остаточные экспрессивные оттенки. Об этом свидетельствует частое использование протоартикуля при именах собственных.

В работе используются следующие библиографические сокращения:

- Al = Sankt Alexis, *Altfranzösische Legendendichtung des XI. Jahrhunderts*, hgg. von G. Rohlf, Галле, 1950.
- Avolio = C. Avolio, *Introduzione allo studio del dialetto siciliano*, Ното, 1882.
- Battisti = C. Battisti, *Avviamento allo studio del latino volgare*, Бари, 1949.
- Ch Cl = *Recueil des chartes de l'abbaye de Cluny*, ed. A. Bernard — A. Bruel, I—III, П., 1874—1884.
- CDL = *Codice diplomatico langobardo dal 568 al 774 con note storiche, osservazioni e dissertazioni*, ed. C. Troya, I—V, Неаполь, 1852.
- Cid = Menéndez Pidal R., *Cantar del Mio Cid. Texto, Gramática y Vocabulario*, I—III, 2 ed., Мадрид, 1944—1948.
- Cod. Bezae = *Jesu Christi domini nostri Novum Testamentum ex interpretatione Theodori Bezae*, Берлин, 1873.
- Diaz = Diaz y Diaz M. C., *Antología del latin vulgar*, Мадрид, 1940.
- Eul. = *Séquence de Sainte Eulalie* — см. В. Ф. Шишмарев, *Книга для чтения по истории французского языка*, М.—Л., 1955.
- Gr. Magn. = *Gregorii I papae Registrum epistolarum, Monumenta Germaniae historica, Epistolae*, I—II, ed. P. Ewald & L. M. Hartmann, Ганновер, S. D.
- C. T. HF, *Gregorii Episcopi Turonensis, Historiarum Libri Decem*, v. I, I. I—V, Берлин, 1956.
- Lex Salica, *The Texts with the Glosses*, ed. I. H. Hessels, Лондон, 1880.
- LN = журн. «Lingua Nostra».
- Migne = I. P. Migne, *Patrologiae cursus completus. Series latina*, II, 1844—1864.
- Monaci = Monaci E., *Carte basso-latine della Spagna e del Portogallo (Testi Romanzi, XXV)*, Рим, 1911.
- Muller-Taylor = Muller H. and Taylor P., *Chrestomacy of Vulgar Latin*, Нью-Йорк, 1932.
- Mulom. = *Claudii Hermerii Mulomedicina Chironis*, hgg. von E. Oder, Лейпциг, 1901.
- Muratori = L. Muratori, *Antiquitates italicæ*, Аренцо, 1774.
- Passion = *La passion du Christ* — см. В. Ф. Шишмарев, *Книга для чтения по истории французского языка*, М.—Л., 1955.
- Pei = M. A. Pei, *The Language of Eighth Century Texts in Northern France*, Diss., Нью-Йорк, 1932.

- Pei, ItL = M. A. Pei, *The Italian Language*, Нью-Йорк, 1941.
- Peregr. = *Sieviae vel potius Aetheriae peregrinatio ad loca sancta*, «Православный Палестинский Сборник», VII, 2, СПб. 1889.
- Pidal = Menéndez Pidal R., *Orígenes del español*, Мадрид, 1929.
- Plaut. = Plautus, в „Théâtre complet des Latins ... avec la traduction en français”. Ed. M. Nizard, П., 1844.
- PMH = *Monumenta Portugaliae Historica. De saeculo octavo post Christum usque ad quintum-decimum*, I, Лисабон, 1856 и сл.
- Politzer = F. and R. Politzer, *Romance Trends in VII-th and VIII-th Century Latin Documents*, Univ. of North Carolina Press, 1955.
- R = *La Chanson de Roland*. Ed. L. Gautier, П., 1880.
- Vulg. = *Biblia sacra Vulgatae Editionis Sixti V et Clementis VII Pontificis max. jussu recognita*, Рим, 1861.
-

## ÜBER DIE EINHEIMISCHEN<sup>1</sup> LEXIKALISCHEN ELEMENTE IM RUMÄNISCHEN

von GR. BRÎNCUŞ

Eine der am wenigsten geklärten Fragen der Geschichte der rumänischen Sprache ist auch heute noch jene der einheimischen Elemente. Die Forschungen auf diesem Gebiete sind zwar zahlreich, doch weit davon entfernt den heutigen Erfordernissen der Wissenschaft zu genügen und als Grundlage einer zusammenfassenden Untersuchung zu dienen. Obwohl die einheimischen rumänischen Elemente mit einiger Sicherheit festgestellt wurden (durch Ausscheiden der lateinischen, slawischen, ungarischen usw. Elemente), ist ihre Deutung in den meisten Fällen nicht einheitlich. Die verschiedenartige Deutung der vorromanischen, einheimischen Elemente der rumänischen Lexik ist übrigens durch Ursachen objektiver Natur bestimmt, von denen zwei besondere Bedeutung haben: die Tatsache, daß das Thrakische nicht bekannt ist, und die verschiedenen Auffassungen über die Abstammung des Albanischen.

Der Versuch, diese Elemente durch die wenigen und unsicheren thrakischen Sprachreste<sup>2</sup> zu erklären, ist zum großen Teil unfruchtbar geblieben; dies widerlegt jedoch nicht die Tatsache, daß die betreffenden Wörter einheimischen Ursprungs sind. Der Vergleich mit jenen einheimischen Wörtern, die auch im Albanischen vorkommen, ist daher die einzige wissenschaftliche Methode, durch die sich trotzdem positive Ergebnisse erzielen lassen und zwar in dem Sinne, daß auf diese Art und

---

<sup>1</sup> In diesem Aufsatz wird das Wort „einheimisch“ im Sinne von „thrakisch-dakisch“ gebraucht.

<sup>2</sup> Was sich zufällig aus dem Thrakischen erhalten hat, blieb nicht auch im Rumänischen bestehen — mit einigen wenigen Ausnahmen: *mal*, *mazăre*, *barză*, die durch bekannte thrakische Termini erklärt werden können.

Weise den ursprünglichen Formen bzw. den thrakischen Etyma nahestehendere Formen, bisweilen sogar die ursprünglichen Formen selbst ermittelt werden können. Da die historische Seite dieser Methode oftmals außer acht gelassen wurde, schien sie vielen Gelehrten unzureichend und ihre Ergebnisse wurden als bloße Hypothesen betrachtet. Dazu trugen auch die äußerst verschiedenen Auffassungen über Ursprung und Entstehungsort des Albanischen sowie die Tatsache bei, daß diese Sprache im allgemeinen noch ungenügend erforscht ist.

Im folgenden sollen anhand einiger Beispiele verschiedene allgemeine Betrachtungen darüber angestellt werden, wie die einheimischen lexikalischen Elemente, die das Rumänische mit dem Albanischen gemeinsam hat, miteinander zu vergleichen sind.

Da unseres Erachtens diese Elemente im Rumänischen unmittelbar aus dem Substrat stammen, muß vorerst eine Frage der Terminologie klargestellt werden: wenn man häufig irrigerweise von „einem gemeinsamen Substrat des Rumänischen und Albanischen“ spricht, so verliert man hierbei die Tatsache aus den Augen, daß das Albanische, zum Unterschied vom Rumänischen, nicht auf einem thrakischen „Substrat“ beruht, daß es vielmehr das Thrakische selbst (besser gesagt, ein thrakisches Idiom) ist, das sich bis heute fortentwickelt hat, ebenso wie das Rumänische das in den Donaugebieten fortentwickelte Latein ist; was im Rumänischen daher das Substrat ist, bildet im Albanischen die eigentliche Sprachschicht selbst.

Die Frage, ob die einheimischen Elemente des Rumänischen unmittelbar aus dem Substrat stammen oder Entlehnungen aus dem Albanischen sind, war seit jeher Gegenstand lebhafter Widersprüche, in dem Sinne, daß man entweder nur die Möglichkeit der gegenseitigen Entlehnung, insbesondere aus dem Albanischen ins Rumänische, oder nur die Möglichkeit der direkten Übernahme aus dem Thrako-Dakischen, oder schließlich beide Möglichkeiten gelten ließ. Fast alle mit dem Albanischen gemeinsamen einheimischen Elemente sind der Hirtensprache unentbehrlich, einige davon gehören zum eigentlichen Fachwortschatz des Hirten (*baci, balegă, bască, bîr, brînză, călbează, căpuşă, ciut, fluier, mînz, strepede, strungă, ştiră, şap, ţarc, urdă, zară* u. a.). Die überwiegende Mehrzahl dieser Elemente aus der verschwundenen Sprache blieb daher dank den allmählich romanisierten Hirten erhalten und setzte sich in der allgemeinen Sprache der romanisierten Bevölkerung (im lateinischen Dazien) durch; dies geschah im Laufe einer verhältnismäßig langen Zeitspanne, die

der des Verschwindens des Thrakischen entspricht<sup>3</sup>. Übrigens war ja auch die albanische Bevölkerung, die das Thrakische selbst bewahrt hatte, gleichfalls ein Hirtenvolk. Von einem Einfluß des Albanischen auf das Rumänische nach der Zeit der Ausbildung des letzteren, einem Einfluß also, der durch das langwährende Zusammenleben<sup>4</sup> der betreffenden Völker zu erklären wäre, kann nicht die Rede sein. In der Tat kann einerseits kaum angenommen werden, daß sich dieser Einfluß nur vom Albanischen aus und fast gar nicht umgekehrt geltend gemacht hätte, andererseits bliebe auf diese Weise die verschiedenartige Behandlung ein und desselben albanischen Lautes im Rumänischen unerklärt.

Die Albaner hatten ihre Urheimat vor dem Ende der lateinischen Epoche, jedoch nicht später als im 6. Jh. verlassen<sup>5</sup>. Dieser Prozeß ging langsam, keineswegs in Form einer Massenwanderung vor sich.

Vereinzelte Beziehungen zwischen rumänischen und albanischen Hirten mögen im Zuge der Herdenwanderungen bis spät ins Mittelalter hinein fortgedauert haben, sie waren aber bloß dazu angetan, zur Aufbewahrung der einheimischen Überreste in der Sprache der Rumänen beizutragen.

Wie immer auch der Ursprung dieser Elemente im Rumänischen erklärt werden mag, so ist es sicher, daß sie in dieser Sprache bereits seit langem vor dem slawischen Einfluß vorhanden waren, daß sie sich den lateinischen Elementen anpaßten, und auf Grund jener Lautgesetze entwickelten, die zur Umwandlung des Systems des Donaulateins in das qualitativ neue System des Gemeinrumänischen beitrugen. Schließen wir uns der heute herrschenden und überzeugend scheinenden Auffassung an, wonach das Albanische die Fortsetzung eines thrakischen Idioms ist, der sich auf illyrischem Boden<sup>6</sup> entwickelte und deshalb beträchtliche illyrische (später lateinische u. a.) Beimengungen enthält, so wird die Unterscheidung zwischen „Entlehnungen“ aus dem Albanischen und „Überresten“ aus dem Substrat fast überflüssig. Die gemeinsamen, rumänisch-albanischen Elemente bestanden im Falle des Albanischen ununterbrochen in dem gleichen thrakischen Idiom fort, in der Sprache einer Bevölkerung also, die sich der Romanisierung, dank verschiedener geschichtlicher Bedingungen, hatte entziehen können, während dieselben thrakischen Elemente im Falle des Rumänischen in eine „neue“, latei-

<sup>3</sup> Wahrscheinlich wurde das Thrakische im 6. Jh. in Gebirgsgegenden noch gesprochen. Vgl. I. I. Rusu, *Limba traco-dacilor*, Ed. Acad. R.P.R., Bukarest, 1959, S. 110.

<sup>4</sup> Einige Forscher waren der Meinung, daß diese Völker noch im 8. Jh. zusammenlebten (Jokl, *Indogerm. Forsch.*, I (1932), S. 41, ja sogar noch im 10. Jh. (Friedwagner, *ZRPPh*, LIV (1934), S. 683).

<sup>5</sup> H. Barič, *Hijme në historin e gjuhës shqipe*, Prishtinë, 1955, S. 70.

<sup>6</sup> Vgl. Wl. Georgiew, in *Linguistique balkanique*, II, S. 19.

nische Lexik, in die Sprache einer vollständig romanisierten Bevölkerung eindringen. Berücksichtigt man daher mit aller Strenge die Eigenheit der Geschichte dieser beiden Sprachen, so ergibt sich die natürliche Schlußfolgerung, daß der Vergleich ihrer gemeinsamen Elemente die einzig sichere Methode ist, den einheimischen Grundwortschatz der rumänischen Sprache, sei es auch nur teilweise, zu erklären.

Im Laufe seiner geschichtlichen Entwicklung erfuhr das Albanische beträchtliche phonetische und grammatikalische Veränderungen, die sich natürlich auch auf die Form der mit dem Rumänischen gemeinsamen Wörter auswirken.

Verfolgt man diese Entwicklung, so kann man feststellen, daß es im Gemeinalbanischen Formen gibt, denen die rumänischen Entsprechungen näher stehen; dies bedeutet, daß zum Vergleich nicht die heutigen albanischen Formen, sondern ältere, die der thrakischen Stufe dieser Sprache nähertreten, heranzuziehen sind. Hier einige Beispiele albanischer Wörter, die ihrem Ursprung nach singularisierte Pluralformen sind und das Vorhandensein alter Einzahlformen voraussetzen, die mit den entsprechenden rumänischen Formen leichter vergleichbar sind: alb. *bredh* ist ein singularisierter Plural, der eine alte Einzahl *bradh*<sup>7</sup> voraussetzt. Diesem *bradh* dürfte im Rumänischen eine Einzahl \**braz* entsprochen haben, die als Mehrzahl empfunden, bereits frühzeitig eine neue Einzelform *brăd*<sup>8</sup> entstehen ließ, auf deren Grundlage zahlreiche abgeleitete Formen gebildet wurden: *brădet*, *brădui*, *brădoaică*, *brădulă*, *brădişor* usw. Als Grundlage des rum. *coacăză* dürfen wir nicht die albanische Form *koqe* ansehen, da diese ebenso wie *bredh* ein singularisierter Plural ist, sondern die Form *kokë* „Korn“ (im Alb. in Kalabrien gibt es das männl. Dingwort *kok*, vgl. Meyer, *EWA*, 195), zu der folgende abgeleitete Formen gehören: *kokërr* „Korn, Kern, (annähernd) kugelförmiges Stückobst“, *kokrrizë* „Körnchen“, *kokël*, „Würfel, Stück, Würfelzucker, Niere“. Das rumänische Wort *coacăză*<sup>9</sup> kann durch das alb. *kokë* + *-zë* (Diminutivsuffix) erklärt werden. Das rum. *spînz* wird gewöhnlich mit dem alb. *shpendër* bot. „Helleborus“ (Nießwurz) verglichen, das in Wirklichkeit, ebenso wie die oben angeführten Beispiele ein singularisierter Plural (tosk. mit *-ër*) ist. Die alte Einzahl *shpënd* (auch weibl. *shpëndë*) wird von einigen Wörterbüchern (Cordignano, Lambertz, Mann) verzeichnet; im Gegischen ist auch eine Form mit *-z*: *shpëzë*<sup>10</sup> bekannt, die sich u.E. aus

<sup>7</sup> Eqrem Çabej, *Alb. vîse*, „Orte, Plätze“ und die singularisierten Plurale im Albanischen in *Lingua Poznaniensis*, VIII (1960), S. 87.

<sup>8</sup> Vgl. Al. Graur, in *Romania*, LIII, S. 383.

<sup>9</sup> Zu beachten die rum. süddanubischen Formen arom. *coacăză*, *coacă* und meglrum. *coacă*.

<sup>10</sup> Vgl. Çabej, a.a.O., S. 93.



*shpëndëx*, *shpëndëz* (bei Gazulli, *Fjalorth i ri*, 405 belegt) entwickelt hat und auch formell mit dem rum. *spînz* übereinstimmt. Neuere Forschungen<sup>11</sup> zeigten klar, daß auch das alb. *grop* „Haken, Hakenstange, Anker“ seinem Ursprung nach gleichfalls ein singularisierter Plural ist. Das rum. *grapă* muß also mit einer alten alb. Einzahl *grap* in Verbindung gebracht werden, genau so wie *brad* mit alb. *bradh*. Schließlich erwähnen wir noch das Wort *thep* „spitzer Stein“, das seinem Ursprung nach ebenfalls eine Mehrzahlform ist; eine Einzahl *thap*, die mit dem rum. *țeapă* (der Diphthong *ea* kann allerdings nicht erklärt werden) zu vergleichen ist, gab es tatsächlich, wie es das mit der Vorsilbe *gë-* abgeleitete sächl. Dingwort: *gëthapë-t* „Haken zum Aufhängen, Kleiderhaken, Gabelzinken“ beweist, das neben dem abgeleiteten männl. Dingw. *gëthep-i*, id. (*Fjalor i gjuhës shqipe*, s.v.) besteht. An diesen Beispielen ist zu erkennen, daß die rumänischen Formen der einheimischen Wörter ältere Stufen darstellen, als die heutigen albanischen Formen.

Auch im Falle des Rumänischen führt uns die Erforschung der Entwicklung der als einheimisch betrachteten Wörter zur Feststellung älterer Formen, von denen die heutigen herrühren. So kommt z.B. *ghionoaie* (männl. *ghionoi*), von einem gemeinrumänischen *ghion* (vgl. arom. *ghion* „Star“, megl. *ghion* „ein Vogel, der in der Nacht angenehm singt“), mit der geschlechtswandelnden Nachsilbe *-oaie* (*-oi*). Die Form, die als einheimisch betrachtet und mit dem alb. *gjon* „Kauz“ verglichen werden muß, ist gemeinrum. *ghion* und nicht *ghionoaie*, welches offensichtlich eine späte dako-rumänische Ableitung ist. Der Nachsilbe lateinischen Ursprungs *-et* des Wortes *bunget* „Dickicht, Teil des Waldes“ führt uns, wie bereits Hasdeu bemerkte<sup>12</sup> zur Rekonstruktion eines altrum. *bung*, das wahrscheinlich eine Eichenart bezeichnet, so wie das alb. *bung*, mit dem es zu vergleichen ist. Auch das Wort *mușcoi* „Maulesel“ ist mit Hilfe der Nachsilbe *-oi* aus einem altrum. *mușc* abgeleitet, das wir mit dem alb. *mushkë* (id.) in Verbindung bringen. Als Grundlage von *bucurà* (Zw.) *bucurie* (Dingw.) ist ein altrum. Eigenschaftswort *bucur* „schön“ anzusprechen, das mit dem alb. *bukur* (id.) verglichen werden kann. Das rum. *bucur* (Ew.) ist bis heute als geographische Bezeichnung (z.B. *Bucura* „Bezeichnung eines Berges im Retezat-Massiv“, vgl. Densusianu, *Graiul din Țara Hațegului*, 63) und als Personennamen erhalten geblieben.

Bereits seit langem ist bekannt, daß im Rumänischen der gleiche albanische Laut der gemeinsamen Elemente mehrere Entsprechungen haben kann. So entspricht z.B. dem alb. *th* im Rumänischen *s* (alb.

<sup>11</sup> Ebd., S. 162.

<sup>12</sup> *Cuvente den bețrânt*, I (1878), S. 245.

*thumbull* : rum. *sîmbur*), *ț* (alb. *thark* : rum. *țarc*), *č* (alb. *thump* : rum. *ciump*), *f* (alb. *thërrime* : rum. *fărîmă*); dem alb. *dh* entspricht rum. *z* (alb. *vjedhullë* : rum. *viezure*), *d* (alb. *gardh* : rum. *gard*). Es wurden vollständige Tabellen mit albanisch-rumänischen Lautentsprechungen aufgestellt, wobei für die albanischen Reflexe auch die ursprünglichen indo-europäischen Laute angegeben wurden. Die verschiedenen und vielfachen rumänischen Entsprechungen des gleichen albanischen Lautes sind ursprünglich verschiedene Laute<sup>13</sup>, die in dem gleichen albanischen Laut verschmolzen; dies bedeutet, daß die Wörter, die diese Laute enthalten, in die rumänische Sprache (genauer gesagt in das Donaulatein) aus dem Albanischen der antiken Epoche, also aus dem eigentlichen Thrakischen, eingegangen sind.

Es ist interessant festzustellen, daß einige der Lautveränderungen der einheimischen Wörter des Rumänischen sich dialektal auch an den entsprechenden albanischen Elementen vollzogen. Dies beweist das Vorhandensein gleichartiger, durch die Wirkung des Substrats bestimmter Tendenzen.

In anderen Fällen, wo zwei Varianten des gleichen Wortes im Gemeinalbanischen bekannt sind, gilt jene als die ältere, da heute bereits seltener verwendet, die den entsprechenden Formen des Rumänischen nähersteht. Weiter unten seien einige Beispiele angeführt, die die beiden Bemerkungen veranschaulichen. Der palatale Verschlusslaut *q* wurde im nordwestlichen Gebiet des Gegischen<sup>14</sup> zur Affrikaten, so daß gemeinalb. *qafë* in dieser Gegend *čafë* mit *č* ausgesprochen wird, genauso wie das rumänische *ceafă*. Die interdentalen Spirans *th* geht in verschiedenen gegischen und toskischen Dialekten schon in der vorliterarischen Zeit des Albanischen in labiodentales *f* über, so daß *thërrime*<sup>15</sup> „Stückchen“, *fërrime*, mit *f* ausgesprochen wird, so wie im Rumänischen.

In *thumbull* „Knopf, Nagelkopf (Stecknadelkopf), Knolle oder Knospe (einer Pflanze)“, wurde die gleiche Spirans in verschiedenen Dialekten durch *s* ersetzt, folglich *sumbull* (*Fjalor i gjuhës shq. s.v.*) wie rum. *sîmbure*<sup>16</sup>. Das Wort *thark* „Viehhürde, Speicher aus Flechtwerk, Mais-

<sup>13</sup> Al. Rosetti, *Istoria limbii române*, II/2, (1943), S. 106.

<sup>14</sup> Die Tatsache wurde schon von Jokl, in *Archivum Romanicum*, XXIV, 7, bemerkt. Tagliavini, *Revista d'Albania*; II (1941), 399, Çabej, *Buletin i Univ.*, 2 (1958), S. 33. Die Verwandlung des *q* in *č* in dieser Gegend ging gleichzeitig mit der Verwandlung von *gj* in *ğ*: *gak* < *gjak* vor sich.

<sup>15</sup> Das alb. *thërrime* kann nicht durch lat. *farimen* erklärt werden, sondern muß seinem Ursprung nach mit *ther* (Zw.) in Verbindung gebracht werden, vgl. Çabej, in *RIEB*, II, S. 179.

<sup>16</sup> Die alb. Form mit *s*- dürfte allerdings älter sein als jene mit *th*-: vgl. pers. *sumb* „Huf“ (i.e. vgl. Barič, *Albanorumänische Studien*, I (1919), S. 10).

boden, Kleinviehstall", mit *th-*, hat auch die Variante *cark* „Pferch für die abgesetzten Kitzen", mit *o-* (*ts*), wie das rum. *țarc*. Die Variante *cark* mit einer engeren Bedeutung als *thark* (s. *Fjalor* s.v.) könnte allerdings auch, wie im neugr. τάρκος (Epirus) eine Entlehnung aus dem Aromunischen sein<sup>17</sup>. *Kēlbasē*, aus dem Zw. *kalb* „verfaulen" abgeleitet, gab auch eine Variante *gēlbasē* mit *k > g* durch Anpassung an das folgende *b*, genau so wie im Rumänischen: *cālbează* und *gālbează*, wobei das letztere offensichtlich eine Nebenform ist. *Avull* erscheint im Wörterbuch von Gazulli auch in der Form *abull* (im Nordgegischen) mit *b*, wie in der rumänischen Entsprechung *abur*: die Variante mit *b* könnte jedoch älter sein als jene mit *v*<sup>18</sup>. Beispiele solcher Dubletten, deren Form mit jener des entsprechenden rumänischen Wortes übereinstimmt, können noch viele gegeben werden. Ihre Erklärung ist von Fall zu Fall verschieden. Einige einheimische Wörter wechselten ihren albanischen Entsprechungen gegenüber die morphologische Kategorie oder erfuhren verschiedene semantische Veränderungen. Schreitet man von der bloßen Gegenüberstellung der heutigen gemeinsamen Wörter zu ihrer geschichtlichen Erforschung fort, so läßt sich feststellen, daß die rumänischen Wörter durch die albanischen Entsprechungen erklärt werden können.

So ist z.B. das rum. *barză* ein Dingwort, das entsprechende albanische Wort *bardhë* hingegen ein Eigenschaftswort. Die beiden Wörter haben auch verschiedene Bedeutung: rum. *barză* „cigogne" alb. *bardhë* „blanc". *Barză* ist aber seinem Ursprung nach ein dingwörtlich gebrauchtes Eigenschaftswort (vgl. *DA*, s.v.). Als Eigenschaftswort ist es im Arom. bekannt: (*capră*) *barză* (*Capidan*, *DR*, II, 519), im Megl. *bardză* „Ziegenbezeichnung" (*Capidan*, *Megl.*, III, s.v.) und sogar im Dakorumänischen (cf. *Damé*, *Termin*. 182).

Diese Bedeutungen des Eigenschaftswortes *barză* in der Hirten-sprache (es wird auch ohne Dingwort verwendet) sind auch für das entsprechende albanische Wort bekannt: *bardhë* „Bezeichnung eines weißen Schafes" *bardho* „Bezeichnung eines weißen Hundes", *bërdhishkë* (von *bardhë* abgeleitet) „Bezeichnung einer weißen Ziege" (in *Fjalor*: *bardhishë* s.f., id.), *krabardhë* (< *krah* + *bardhë*) „Bezeichnung einer einseitig weißen Ziege"<sup>19</sup> *bardhash* (m. Dingw.) „weißer Bock, weiße Taube, Schimmel".

Mit Hilfe der Variante *lu-* der Vorsilbe *lë-* (wahrscheinlich illyrischer Herkunft, z.B. *Liburni* (Burni)) wurde das Dingwort *lubardhë* (Gazulli,

<sup>17</sup> vgl. *Capidan*, *Aromnii*, S. 190.

<sup>18</sup> vgl. Meyer, *EWA*, S. 21: uralb. \**abull*: trotzdem analysiert Jokl, *Lingv. Kult. hist. Unters.* S. 270, das Wort folgendermaßen: Vorsilbe *a-* wie in *akull* usw. und *-vull* das nach Form und Bedeutung mit *valë* in Beziehung steht. Diese Erklärung vertritt auch Cabej, *Bul. i Univ.*, 4 (1960), S. 32.

<sup>19</sup> *Buletin për shk. shoq.*, 3 (1955), S. 176, 183.

e.v.) gebildet, bei De Rada: *lumbardhë* „weiße Taube“<sup>20</sup>. Der Begriff „Schwan“ wird im Albanischen durch das Wort *mjellmë* ausgedrückt, dieses Wort wurde auf albanischem Boden auf Grund des slawischen Eigenschaftswortes *b`lũ* „weiß“ gebildet, genau so wie das rum. Dingwort *barzã* aus dem Eigenschaftswort *barz-ã*; das dem albanischen Eigenschaftswort *bardhë*<sup>21</sup> entspricht. Es liegen also genügend Beweise vor, daß das rumänische *barzã* durch das albanische Wort *bardhë* „weiß“ zu erklären und mit ihm zu vergleichen ist.

Die meisten dieser einheimischen Wörter, die ursprünglich Ableitungen sind, nehmen im rumänischen Wortschatz eine Sonderstellung in dem Sinne ein, daß die Formen, aus denen sie abgeleitet wurden, verloren gingen oder im Rumänischen nie vorhanden waren. Wörter wie: *fãrĩmã*, *gãlbeazã*, *gresie*, *hameş*, *moaşã*, *sarbãd*, *strungã*, *viezure* usw. sind aus anderen, im Rumänischen nicht erhalten gebliebenen Wörtern abgeleitet. Im Albanischen hingegen bestehen ihre Entsprechungen neben den Formen, aus denen sie abgeleitet wurden oder mit denen sie etymologisch in Beziehung gebracht werden können, weiter. In der albanischen Lexik erscheinen sie nicht vereinzelt, sondern im Rahmen von Wortfamilien, sie sind also aus älteren Wörtern abgeleitet, die es im Albanischen noch heute gibt. Als Ableitungen können sie durch das Albanische selbst erklärt werden: *hamës* ist das Mittelwort der Gegenwart des Zeitwortes *ha* „ich esse“ (vgl. *pimës* = Mittelwort der Gegenwart des Zeitwortes *pi* „ich trinke“), *këlbazë*, *gëlbazë* ist vom Zeitwort *kalb* „verfaulen“ abgeleitet, *gërresë* „Sandstein“ vom Zeitwort *gërryey* „wetzen“, *motshë* „Alter“ von *mot* „Jahr“, *shtrungë* „Melkhürde, Pferch“ wird zum Zeitwort *shtroj* „ausbreiten“ in Beziehung gebracht, *tharbët* „sauer“ zum Zeitwort *thar* „Sauerwerden der Milch“, *thërrime* „Stückchen“ zu *ther* „ein Lebewesen schlachten, um sein Fleisch zu verzehren“, *vjedhull* „Dachs“ zu *vjedh* „stehlen“ usw. Ableitungsmöglichkeiten, wie sie in den angeführten Formen zutage treten, sind dem Albanischen eigen und stellen kennzeichnende Bestandteile des altalbanischen Ableitungssystems dar.

Die Sonderstellung dieser eigenartigen Ableitungen im Rumänischen und ihr Vorhandensein neben den Wurzelwörtern des Albanischen könnte als Beweis dafür angeführt werden, daß das Rumänische diese Wörter erst verhältnismäßig spät aus dem Albanischen entlehnt habe. Ein solcher Beweis wäre jedoch nur dann gültig, wenn die angeführten Ableitungsmethoden nicht alt wären, sondern sich erst später auf dem Boden der eigentlichen albanischen Sprache gebildet hätten.

<sup>20</sup> Xhuvani, Çabej, *Parashtesat e gjuhës shqipe*, in *Bul. për shk. shoq.*, 4 (1956), S.79.

<sup>21</sup> Vgl. L. Spitzer, in *Mitteil. d. Inst. f. rum. Sprache*, S. 294.

Die obigen kurzen Bemerkungen sind weit davon entfernt, die äußerst komplizierten Fragen zu erschöpfen, die die Erforschung der einheimischen dem Rumänischen und Albanischen gemeinsamen lexikalischen Elemente aufwirft. Die Schlußfolgerung, daß beim Vergleich mit dem Albanischen auch die Entwicklung zu berücksichtigen ist, die die gemeinsamen Elemente in jener Sprache unabhängig durchmachten erscheint zwar als Binsenwahrheit; es muß jedoch hervorgehoben werden, daß zahlreiche, sogar neuere Untersuchungen diese Seite der historisch vergleichenden Methode des Studiums der einheimischen Elemente des Rumänischen vernachlässigten.

Die zwar noch ungenügenden und unsystematischen Ergebnisse der albanischen Dialektforschung stellen ein äußerst wertvolles Material für das Studium der Substratelemente des Rumänischen dar.

Die Erklärung dieser Elemente durch das Albanische bedeutet nicht etwa, daß sie das Ergebnis des Einflusses des Spätalbanischen auf das Rumänische wären, vielmehr stammen diese Elemente in beiden Sprachen aus dem Thrakischen, denn das Albanische ist seinem Ursprung nach höchstwahrscheinlich ein thrakisches Idiom mit starken illyrischen Einflüssen.

## UN MANUSCRIT BYZANTIN ILLUSTRÉ DU XI<sup>e</sup> SIÈCLE

par ION BARNEA

La Bibliothèque de l'Académie de la République Populaire Roumaine a acquis en 1951 un manuscrit grec orné de miniatures présentant une haute valeur artistique. Formé de dix feuilles de parchemin de bonne qualité, hautes de 21 cm et larges de 16 cm, on le trouve catalogué sous la cote *ms. gr. 1294* (on le citera, en abrégé, *B.A.R. gr. 1294*). Il constitue un fragment d'un manuscrit plus important. Les huit premières feuilles appartiennent à un cahier ; les deux dernières (f. 9 et 10) à un second dont nous n'avons plus ni le commencement ni la fin. Le texte et les miniatures de plusieurs feuillets sont dégradés. Les mots difficilement lisibles des deux premières strophes et le premier mot, presque effacé, du début de la seconde strophe ont pu être toutefois restitués.

Le texte constitue un *canon de pénitence*, composé de huit odes de quatre tropaires chacune. Les odes I, III, IV et V sont complètes (f. 1—8). Il en est de même des deux derniers tropaires de la VII<sup>e</sup> ode (f. 9) et des deux premiers de la VIII<sup>e</sup> (f. 10). On a ainsi vingt tropaires, écrits uniformément en minuscules, sur 3 à 7 lignes, en haut de chaque feuille. Le premier tropaire des odes I, III, IV, V et VIII est surmonté de l'indication du numéro d'ordre. On y lit aussi le mode et le début de l'*heirmos* (la strophe modèle). L'encre utilisée est d'un brun-clair. Les initiales des tropaires et l'indication du mode et de l'*heirmos* sont tracées à l'encre rouge. Le texte occupe environ un tiers de chacune des 20 pages du manuscrit. Des miniatures d'un coloris vif et d'une exécution artistique supérieure sont disposées au bas de celles-ci.

Chaque ode s'étend sur deux feuillets. Il en résulte que le manuscrit comptait à l'origine seize feuillets. Les trois qui précèdent le neuvième manquent : on y lisait la sixième ode et les deux premiers tropaires de la septième. Les trois feuillets qui suivent le dixième manquent aussi : ils portaient les deux dernières strophes de la huitième ode et la neuvième ode. Les feuillets disparus appartenaient au deuxième cahier. Nous n'avons pas non plus les feuilles de titre et de garde. Il est possible que le manuscrit dont nous parlons ait été détaché d'un ensemble comprenant d'autres écrits du même genre.

Une inscription roumaine en caractères cyrilliques contenant quelques fautes se lit sur le bord inférieur des cinq premiers feuillets. Elle date probablement de la seconde moitié du XIX<sup>e</sup> siècle et aura été tracée par le possesseur roumain du manuscrit : « Ce beau livre sera d'une grande utilité à tous ceux qui le liront dans un esprit de charité et de pénitence. Qu'ils le méditent de tout cœur et qu'ils disent : souvenez-vous de nous, saints et pieux pères, dans vos prières, nous vous implorons et nous humilions... ». Deux autres brèves notes, tracées de la même main que la précédente, à la partie inférieure du premier feuillet (fig. 1) et au-dessus de la miniature feuillet 2<sup>v</sup> (fig. 4), sont pour nous d'un sens obscur.

Le texte complet du canon de pénitence est donné par le manuscrit *Vaticonus gr. 1754*, daté du XII<sup>e</sup> ou du XIII<sup>e</sup> siècle<sup>1</sup> (et publié depuis peu), et par d'autres manuscrits des XV<sup>e</sup>, XVI<sup>e</sup> et XVII<sup>e</sup> siècles : le Marc. gr. II, 32 et II, 44 de Venise ; le Sinaiticus grec. 427, les manuscrits d'Athènes gr. 742 et 1395 (Bibliothèque Nationale)<sup>2</sup>. La source en est le V<sup>e</sup> chapitre de l'œuvre de Jean Climaque (avant 579—649 env.) : Κλίμαξ τοῦ παραδείσου<sup>3</sup>. Le titre du canon, dans le Vat. gr. 1754 (f. 3<sup>v</sup>) s'apparente à celui du chapitre d'où il tire sa source :

„Καν(ών) κατανουκτικὸς(ς) τ(ήν) ἱστο(ρίαν) διαλαμβάν(ων) τ(ῶν) ἐν τῇ κλίμακι ἁγίων καταδίκ(ων)· οὗ ἡ ἀκροστιχ(ίς)· Πένθ(ους), ἐναργοῦς καὶ μετανοίας τύπος(ς)“<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> J. R. Martin, *The Illustration of the Heavenly Ladder of John Climacus* (Studies in Manuscript Illumination, 5), Princeton, 1954, p. 128—145 et fig. 240, 246—277. Une étude plus réduite du même manuscrit par J. J. Tikkanen, *Eine illustrierte Klimax-Handschrift der Vatikanischen Bibliothek*, dans Acta Soc. Scientiarum Fennicae, Helsingfors, t. 19, 1893, 16 p. + 10 fig. dans le texte. Apud K. K(rumbacher), *Byzantinische Zeitschrift*, IV, 1895, p. 225.

<sup>2</sup> *Ibidem*, p. 145—146 ; 164—166 et 190—192. Voir aussi le manuscrit *Ambrosianus F. 221 infer.* (XVII<sup>e</sup>) ; voir A. Ferrua, *Civiltà Cattolica*, I, 1962, p. 244—250. Ce manuscrit nous a été signalé par Enrica Follieri à laquelle nous adressons tous nos remerciements.

<sup>3</sup> Migne, *P. G.*, t. 88, col. 764—781 ; chapitre V : Περὶ μετανοίας μεριμνημένως καὶ ἐναργοῦς, ἐν ἧ καὶ βίος τῶν ἁγίων καταδίκων καὶ περὶ τῆς φυλακῆς. Pour la vie et l'œuvre de J. Climaque, voir Berthold Altaner, *Patrologie*, 4. Aufl., Freiburg i. B., 1955, p. 468.

<sup>4</sup> J. R. Martin, *op. cit.*, p. 128.

(Canon de pénitence comprenant l'histoire des saints pénitents de l'« Echelle ». L'acrostiche en est : « Modèle de douleur effective et de compunction »).

Voici le texte du manuscrit B.A.R. gr. 1294, tout en consignant ses différences par rapport au Vat. gr. 1754 :

*F. 1<sup>r</sup> (fig. 1)*

Καν(ών), ὠδ(ή) α', ἡχ(ος) π(λάγιος) δ'. Ὑγρὰν διοδεύ-  
σας . . .

- 1 Πάντες οἱ γνησίαν καὶ ἐκ ψυχῆς καὶ δεκτὴν κ(υρί)ω ἐκ|ζητοῦντες ἐπιστρο-  
φήν, δεῦτε καὶ μιμήσασθε|προθύμως· ἰδοῦ γὰρ πρόκειται τύπος σ(ωτή)ριος.

*F. 1<sup>o</sup> (fig. 2)*

- 2 Ἐ[στράφ]η εἰς πένθος ἡ χαρμονή, ὑπνώ|σαντες<sup>5</sup> ὑπνον οἱ τολαίπωροι τὸν|  
βαρύν· νῦν οὖν γρηγορήσωμεν συν|τόμως καὶ μετανοίης καρπούς ἐν|δειξώ-  
μεθα.

*F. 2<sup>r</sup> (fig. 3)*

- 3 Νυγέντας τῷ βέλει τοῦ πονηροῦ, ἐξ ἀ|προσεξίλος καὶ ἐγγίσαντας τῇ φθορᾷ|  
καὶ τοῦ σοῦ προσάτου μοκρυνθέντας,|μὴ ὑπερίδης ἡ ἄς πολυέλεε.

*F. 2<sup>o</sup> (fig. 4)*

- 4 Θεὸς καὶ υἱέμου καὶ πλαστουργέ, πρόσ|χες τῇ κοκάσει τῶν ἀθλίων σου  
οἰκετῶν<sup>5a</sup> ἦν ὡς ἀμαρτίσαντας<sup>6</sup> ἀφρόνως,|νῦν ἑαυτοῦς νουνεχῶς κατεδί-  
κασαν.

*F. 3<sup>r</sup> (fig. 5)*

Ὡδ(ή) γ'. Οὐ(ρα)νίης ἀψίδος<sup>7</sup> . . .

- 5 Οἱ στολὴν ἀφθαρσίας καὶ φωτεινὸν|ἐνδυμα ἐκ θ(εο)ῦ τὸ πρὶν εἰληφότες,|  
φεῦ οἷοις πάθεισιν κατηχρειώθημεν·|διὸ σποδόν τε καὶ σάκκον ἑαυτοῖς οἱ  
τά|λανες νῦν ὑποστρώσωμεν.

*F. 3<sup>o</sup> (fig. 6)<sup>8</sup>*

- 6 Συσχεθέντες ἀλόγοις καὶ βλαβε|ροῖς πάθεισιν,<sup>9</sup> τὴν δοθεῖσαν θείαν|εἰκόνα  
κατερυπώσαμεν·<sup>10</sup> διὸ πεν|θίσωμεν εἴπως ἐκπλῦναι<sup>11</sup> τὸν ῥύ|πον τῶν ἀ-  
τόπων πράξεων, ὅπως|ἰσχύσωμεν.

<sup>5</sup> *Vat. gr. 1754* (on le citera, en abrégé, *Vat.*) : ὑπνώσαμ(εν).

<sup>5a</sup> *Vat.* : ἱκετῶν

<sup>6</sup> *Vat.* : ἀμαρτήσαντες

<sup>7</sup> *Vat.* : Οὐ(ρα)νίας ἀψίδος.

<sup>8</sup> *Vat.* : Ce tropaire suit le septième (7).

<sup>9</sup> *Vat.* : πάθεισιν

<sup>10</sup> *Vat.* : κατερυπώσαμεν·

<sup>11</sup> *Vat.* : ἐκπλῦναι



F. 4<sup>r</sup> (fig. 7)

- 7 Ἵπὸ τῆς ἐπιηρείας τοῦ πονηροῦ<sup>12</sup> δρᾶ|κοντος καὶ τῆς ἑαυτῶν ἀφροσύνης|ἀπενεκρώθημεν· διὸ καὶ τύπτοντες|ἀδιαλείπτως τὰ στήθη, τὴν ζωὴν ζη-|τήσωμεν ἣν ἀπωλέσαμεν.

F. 4<sup>v</sup> (fig. 8)

- 8 Ἐπινοίαις<sup>13</sup> τοῦ πλάνου τῆς ἀληθοῦς γνώ|σεως ἀποπλανηθέντες ἀθλίως,|μὴ ἀπελπίσητε· ἀλλ' ἐπιστρέψατε|καὶ ἐκτενωῶς δεηθέντες, τοῦ Θ(εο)ῦ εὐρή-|σετε πταισμάτων ἄφεςιν.

F. 5<sup>r</sup> (fig. 9)

- Ἵ Ω δ(ὴ) δ'· Εἰσακήκοα κ(ύρι)ε τῆς οἰκονομ(ίας) . . .  
9 Νεκρωθέντες τοῖς πάθεσι καὶ τὰς|ἑαυτῶν ψυχὰς ἀπολέσαντες, δεῦτε|ταύ-|τας ἐκζητήσωμεν, κοπετοῖς|καὶ θρήνοις προσανέχοντες.

F. 5<sup>v</sup> (fig. 10)<sup>14</sup>

- 10 Ῥαθυμῖα δουλεύσαντες, στάσεως|τῆς κρείττονος ἀπερρίφημεν· διὸ στένειν|οὐ παυσώμεθα<sup>15</sup> κεφα|λάς κινουῖντες καὶ κοπτώμενοι.<sup>16</sup>

F. 6<sup>r</sup> (fig. 11)

- 11 Ἀποφράξωμεν βέβηλα στόματα καὶ χεῖ|λη καὶ βρύχειν ἔνδοθεν, τῇ καρ-|δίᾳ μό|νη δώσωμεν<sup>17</sup> καὶ πενθεῖν καὶ στένειν|ἀ ἡμάρτωμεν.<sup>18</sup>

F. 6<sup>v</sup> (fig. 12)

- 12 Γηγενεῖς χρηματήσαντες,<sup>19</sup> πάθεσιν ὡς|ἄν(θρωπ)οι ὑπεπέσετε·<sup>20</sup> ἵνατί|οὖν ἀπεγνώκα|τε τοῦ Θ(εο)ῦ τὰ σπλάχνα μὴ λογησάμενοι;<sup>21</sup>

F. 7<sup>r</sup> (fig. 13)

- Ἵ Ω δ(ὴ) ε'· Ἴνατί με ἀπώσω . . .  
13 Οἱ τὸ πρὶν ἐπ' αὐχένος φέροντες ζυγὸν|τὸν χρηστὸν καὶ σ(ωτή)ριον· τὰ|νῦν οἴφ βάρει|τῶν πταισμάτων δεινωῶς πιεζόμεθα·|ὑφ' οὗ κάτω νεύειν καὶ|πρὸς τὴν γῆν ὡς|περ τὰ κτήνη ἀποβλέπειν ἀεὶ βιαζόμεθα.

<sup>12</sup> Vat. : νοητοῦ<sup>13</sup> Vat. : Ἐπινοίας<sup>14</sup> Vat. : Cette strophe passe après la 11<sup>e</sup>.<sup>15</sup> Vat. : παυσόμεθα<sup>16</sup> Vat. : κοπτόμενοι.<sup>17</sup> Vat. : δώσομεν<sup>18</sup> Vat. : ἡμάρτομεν.<sup>19</sup> Vat. : χρηματίζοντες<sup>20</sup> Vat. : ὑπεπέσατε<sup>21</sup> Vat. : λογισάμενοι

*F. 7<sup>o</sup> (fig. 14)*

- 14 Ὑψηλῆς ἐκπεσόντες τάξεως καὶ στάσεως|οἱ ματαιόφρονες, εἰς πυθμένα  
ἄδου|καὶ θανάτου σκιὰν κατηντήσαμεν, ἀφ' ὧν|ἀναστῆναι ἐξάκονοῦντες, τῷ  
ἐδάφει|τὰ ἡμῶν προσαρράσωμεν<sup>22</sup> μέτωπα.

*F. 8<sup>o</sup> (fig. 15)*

- 15 Συλληθέντες<sup>23</sup> τὰς φρένας, ἀπὸ τῆς εὐ|θείας ὁδοῦ ἐπλανήθημεν καὶ λησ-  
ταῖς|ἀγρίοις συσχεθέντες, ψυχὰς ἐπληγώ|θημεν· διὸ τούτων πᾶσαν σχόντες|  
φροντίδα τῶν μωλώπων τῶν ἐκτὸς|παντελῶς οὐ φροντίζωμεν.<sup>24</sup>

*F. 8<sup>o</sup> (fig. 16)*

- 16 Καθαρῶς ἀτενίσαι οἱ βερυπωμένοι ψυχὰς|τε καὶ σώματα, πρὸς σὲ τὴν  
παρθένον|καὶ πανάμωμον δέσποιναν φρίττωμεν.<sup>25</sup> ἀλλὰ σπλαχνισθεῖσα  
ἐπὶ τοῖς σοῖς ἀχρείοις|δούλοις τὸν υἱόν σου ἡμῖν ἐξιλέωσαι.<sup>26</sup>

(manquent 6 strophes)

*F. 9<sup>o</sup> (fig. 17)*

- 17 Νοητῆς εὐφροσύνης<sup>27</sup> καὶ τρυφῆς αἰδίου|πάντες<sup>28</sup> γευσάμενοι καὶ ταύτης  
στερηθέντες,|δι' ἄκραν ἀφροσύνην ἀλόγοις ὠμοιώθη|μεν· διὸ καὶ ἄρτον ἡ-  
μᾶς οὐκ ἄξιον ἐσθίειν.

*F. 9<sup>o</sup> (fig. 18)*

- 18 Ὁ γαστέρα οἰκήσας τὴν ἐμὴν πλαστουρ|γέ μου, καὶ σὰρξ γενόμενος, θαν-  
ῶν<sup>29</sup> τε|ὑπὲρ δούλων, κακώσεις παντοίας<sup>30</sup>|καὶ ἐκουσίους πρόσδεξαι  
σῶν ἱκετῶν ἀ|θλίων καὶ ἰλάσθητι τούτοις.

*F. 10<sup>o</sup> (fig. 19)*

- Ἦ δ (ἡ) ἡ· Ἐπταπλασίως κάμ(ινος)<sup>31</sup> . . .  
19 Ἴσχυσεν ἄρα δέησις ἡ ἡμῶν πρὸς τὸν κ(ύριο)ν·|εἰσελθεῖν καὶ τοῦτον φίλοι  
εὐμενίσασθαι|καὶ ἅπαν τὸ ὄφλημα τῶν ἀκαθάρτων|πράξεων ἡμῖν τοῖς  
χρεώσταις ἀφε|θῆναι ποιῆσαι; ἡ πάλιν ἀπεστράφη|πρὸς ἡμᾶς ἡσχυμένη καὶ  
τεταπεινωμένη|καὶ ἄπρακτος εἰς τέλος;

<sup>22</sup> *Vat.* : προσαρράσωμεν

<sup>23</sup> *Vat.* : Συλληθέντες

<sup>24</sup> *Vat.* : φροντίζομεν

<sup>25</sup> *Vat.* : φρίττωμεν

<sup>26</sup> *Vat.* : ἐξιλέωσι

<sup>27</sup> *Vat.* : ἀφροσύνης

<sup>28</sup> *Vat.* : πάλαι

<sup>29</sup> *Vat.* : θανῶν

<sup>30</sup> *Vat.* : τὰς παντοίας

<sup>31</sup> *Vat.* : κάμινον

## F. 10° (fig. 20)

20 Ἄρα νῦν ὅπως ἔχει σου<sup>32</sup> ἡ ψυχὴ καὶ διάκειται, | ἀδελφὲ ἡμῶν, εἶπε<sup>33</sup>  
καὶ συγκατάδικε· σκιρ|τᾶ τε καὶ γέγηθε καὶ φωτισμοῦ αἰσθάνεσαι, | ὅς σοι  
καὶ τὴν λύσιν τῶν πταισμάτων μὴνύει | ἢ ἔτι σοι στυγνάζει ἡ καρδία καὶ  
τρέμει, πεπληρωμένη σκότους τοῦ ἐξ<sup>34</sup> ἀμαρτημάτων;  
(manquent 6 strophes)

Le B.A.R. gr. 1294 et le Vat. gr. 1754, très ressemblants en ce qui concerne le texte et les miniatures, ont des feuillets de la même dimension et présentent la même disposition. Ils diffèrent toutefois en certains points. Ainsi, le titre détaillé du canon est résumé, dans le B.A.R. gr. 1294, par le mot καν(ών), écrit en abrégé, sur la même ligne que l'indication de l'ode et de l'heirmos (fig. 1). Le texte du B.A.R. gr. 1294 n'est pas encadré, tandis qu'un rectangle richement orné renferme le texte et les miniatures du Vat. gr. 1754. Une glose en prose y commente aussi chacune des miniatures : elle est probablement l'œuvre d'un copiste désireux de rendre plus explicite la liaison des odes et des illustrations. Ajoutons que les tropaires du Vaticanus comptent des lignes plus longues et moins nombreuses (2 à 4, et très rarement 5), disposition dictée par la nécessité de faire place au texte en prose. Les caractères du B.A.R. sont en revanche plus nets et plus réguliers que ceux du Vaticanus, ce qui dénote qu'il est plus ancien que le manuscrit de Rome. Une dernière observation concerne le désordre des 6° et 10° tropaires, placés, par la faute du copiste, avant les 7° et 11°. Les deux manuscrits présentent d'insignifiantes variantes de fond, que nous avons indiquées dans la transcription.

L'analyse approfondie du texte apporterait sans doute des éclaircissements importants. Mais elle nécessiterait une étude spéciale, qui dépasserait le cadre de notre travail.



Les vingt miniatures du manuscrit B.A.R. gr. 1294 occupent environ les deux tiers inférieurs de chaque page. Le bandeau qui les encadre a la hauteur de 10 à 12,6 cm et la largeur de 12 à 13,3 cm. Il est orné d'un fleuron à chaque angle. Les couleurs utilisées sont l'or et le pourpre pour les fonds et les nimbes ; le rouge de plusieurs nuances, le vert, le bleu, le violet, le lilas, le jaune, le brun, le blanc et le noir. Les images illustrent le texte du canon.

<sup>32</sup> Vat. : Ἄρα πῶς ἐνδον ἔχει σοι

<sup>33</sup> Vat. : εἶπε

<sup>34</sup> Vat. : τῶν

L'œuvre, véritable cri de profonde pénitence, de componction et d'effort délibéré en vue du rachat des péchés, débute par l'invitation à la véritable pénitence et indique la voie qui y conduit. Il y est question des « saints pénitents » mentionnés au V<sup>e</sup> chapitre de l'« Echelle »<sup>35</sup>. Jean Climaque, revêtu de sa robe monacale, nimbé et appuyé sur son bâton, apparaît au côté gauche de la première miniature (fig. 1). Il parle à cinq moines qui l'écoutent pieusement. Leurs figures et leurs gestes reflètent les tourments de l'âme. Le moine qui porte la main droite à ses yeux est peint avec beaucoup de talent et semble profondément affecté. Le même geste, moins bien rendu, réapparaît dans la miniature illustrant le premier tropaire de la IV<sup>e</sup> ode (fig. 9). A l'arrière-plan, on a esquissé le mur d'enceinte d'une ville ou d'un monastère, muni d'édicules<sup>36</sup> aux extrémités. Une miniature semblable à celle-ci orne le Vat. gr. 1754 et le Rossianus gr. 251<sup>37</sup> (XI<sup>e</sup> — XII<sup>e</sup> s.). Dans ces derniers les architectures manquent et de nombreux personnages y sont massés. Une miniature, rappelant la première, illustre l'ode I, 2 (fig. 2). Nous y voyons des moines pénitents qui ont passé la nuit debout et en prière. Jean Climaque est remplacé par un moine appuyé sur son bâton et tournant la tête en arrière; six autres moines, debout, se tiennent inclinés devant lui. Les architectures sont presque les mêmes que celles de la première miniature. L'image s'inspire d'un passage du V<sup>e</sup> chapitre de l'« Echelle »<sup>38</sup>, illustré par le Vat. gr. 394 du XI<sup>e</sup> siècle<sup>39</sup>. La troisième miniature, illustration de l'ode I, 3, montre trois moines en prière (fig. 3). Peints de profil, debout et les mains à la hauteur de la poitrine, ils contemplant la main de Dieu bénissant qui apparaît à la partie droite de l'image dans un arc de cercle, symbole du ciel. Des montagnes semblables à des buttes, garnissent l'arrière-plan.

L'ode I, 4 est un théotokion. Marie prie son Fils et intercède pour cinq pénitents, peints debout, derrière elle, les mains liées au dos et le regard rivé au sol (fig. 4)<sup>40</sup>. La Mère de Dieu nimbée d'or est revêtue d'une longue tunique bleue et d'un manteau de pourpre. Les initiales MP ΘΥ surmontent sa tête. Dans le Vat. gr. 1754, la Vierge se tient sur un suppedaneum; elle rappelle en tout une statue; les corps inclinés des pénitents semblent en accuser la pose. Celui du premier plan, à gauche

<sup>35</sup> Migne, *op. cit.*, col. 764 sq.

<sup>36</sup> Cf. V. N. Lazarev, *История византийской живописи*, t. II, Moscou, 1948, pl. 150<sup>o</sup>.

<sup>37</sup> J. R. Martin, *op. cit.*, fig. 232, 235 et 246. C. Osieczowska, *Note sur le Rossianus 251 de la Bibliothèque Vaticane*, dans « Byzantion », IX, 1934, p. 261—268, fig. XVII et XX.

<sup>38</sup> Migne, *op. cit.*, col. 765 A.

<sup>39</sup> J. R. Martin, *op. cit.*, p. 129 et fig. 83.

<sup>40</sup> Cf. V. N. Lazarev, *op. cit.*, t. I, Moscou 1947, pl. XI et XIII et O. Wulff, *Die byzantinische Kunst*, Potsdam, 1924, pl. XXI (en couleurs).

et le dos tourné, attire l'attention. Un autre, près de lui, a les mains liées à droite et non au dos, détail contredit par le texte.

Les miniatures de la III<sup>e</sup> ode accentuent les gestes des pénitents. Dans la première, ils sont assis sur des cendres (fig. 5); plus loin ils se prosternent et arrosent la terre de leurs larmes (fig. 6). Dans la septième miniature (l'ode III, 3), les montagnes sont remplacées par des architectures. Six moines se frappent la poitrine. Le dernier tropaire, un théotokion également, est illustré à l'aide d'un groupe de pénitents aux figures et aux gestes tourmentés (fig. 8). A l'angle supérieur de droite du B.A.R. gr. 1294, Jésus-Christ en buste regarde des pénitents qui n'osent le contempler. Dans le Vat. gr. 1754, nous y voyons la Vierge <sup>41</sup>.

Le texte de la IV<sup>e</sup> ode comporte des illustrations moins dramatiques. Le nombre des personnages est aussi plus réduit. Le mur d'enceinte forme le fond de trois miniatures (fig. 9, 11, 12). La première de la IV<sup>e</sup> ode montre quatre pénitents âgés qui s'efforcent de maîtriser leur douleur (fig. 9). Il en est de même des personnages de la 10<sup>e</sup> figure, assis pensifs sur la terre nue. L'idée de pénitence profondément ressentie et non extériorisée est nettement saisissable dans la miniature n<sup>o</sup> 11, et particulièrement dans la douzième. Trois pénitents seuls y apparaissent. Ils élèvent leurs regards vers la Mère de Dieu qui les exhorte.

Dans les deux premières strophes de la V<sup>e</sup> ode, le dramatisme règne fortement. Il décroît dans les deux derniers tropaires. Semblables aux animaux dont le regard est fixé à terre, trois pénitents restent sur le sol nu, la tête entre les genoux (fig. 13). Dans la scène suivante, quatre personnages se jettent à terre et la frappent de leurs fronts (fig. 14). La miniature suivante les figure debout et décidés à oublier les meurtrissures du corps pour s'occuper des blessures de l'âme (fig. 15). Un moment plus tard, ils réapparaissent les mains enchaînées <sup>42</sup>. Tristes et implorants, ils osent à peine regarder la Vierge, peinte en buste dans le cercle du ciel et tendant la main vers eux (fig. 16).

Dans la VI<sup>e</sup> ode et les deux premiers tropaires de la VII<sup>e</sup> (qui manquent dans le B.A.R. gr. 1294), le pathétique touche à l'apogée. Les pénitents se nourrissent de cendres et boivent de l'eau mêlée à leurs larmes. Extrêmement amaigris, brûlés par le soleil et désespérés, ils courent les mains tendues, et implorant la Vierge. La VII<sup>e</sup> ode, 1—2, les montre endurent de plein gré la torture du gel et la soif <sup>43</sup>. Dans la VII<sup>e</sup> ode, 3, le calme commence à régner. Dans le manuscrit B.A.R. gr. 1294, la

<sup>41</sup> J. R. Martin, *op. cit.*, fig. 253.

<sup>42</sup> *Ibidem*, p. 136.

<sup>43</sup> *Ibidem*, p. 136—139 et fig. 262—267.

miniature montre quatre pénitents assis par terre. Après avoir goûté un morceau de pain, ils le rejettent parce qu'ils s'en considèrent indignes (fig. 17). A l'arrière-plan, deux édifices apparaissent derrière une montagne. Le théotokion de la VII<sup>e</sup> ode rappelle celui de l'ode I, 4. La Mère de Dieu prie son Fils et intercède en faveur des pénitents qui se sont repentis. Ces derniers restent sans voix et sans mouvement, le regard à terre ou tourné d'un autre côté (fig. 18). La figure de la Vierge reproduit le modèle de la miniature illustrant l'ode I, 4. La composition se retrouve dans le Vat. gr. 1754 ; mais Marie s'y tient sur un suppedaneum, et la main de Dieu apparaît au milieu de l'encadrement de droite <sup>44</sup>.

La VIII<sup>e</sup> ode, inspirée du cinquième chapitre de l'« Echelle »<sup>45</sup>, est d'un caractère différent. Les pénitents se demandent l'un l'autre si leur prière a été agréée par le Seigneur (fig. 19). L'arrière-plan excepté, la composition du B.A.R. gr. 1294 nous reporte au Vat. gr. 1754<sup>46</sup>. Dans la VIII<sup>e</sup> ode, le deuxième tropaire, dernier du manuscrit B.A.R., les pénitents réunis près du lit de mort de l'un d'entre eux, l'interrogent et demandent si son âme se réjouit ou non du pardon des péchés (fig. 20). Les miniatures du B.A.R. et du Vat. sont presque identiques <sup>47</sup>. Les données se retrouvent dans l'iconographie byzantine. Nous citons, pour exemples, la mort d'Ephrem le Syrien et la Dormition de la Vierge. Dans la miniature suivante du Vat. gr. 1754, les mêmes personnages se réjouissent de la réponse positive du moine à l'agonie. Leur joie s'exalte dans la dernière scène de la VIII<sup>e</sup> ode, car la Mère de Dieu leur apporte la nouvelle de leur pardon. Dans la IX<sup>e</sup> ode, des pénitents heureux contemplent le Seigneur qui de sa main tendue le leur signifie lui-même. Les portes du Paradis leur sont ouvertes, ils y entrent et rendent grâces au Sauveur. La Vierge le remercie, et c'est la fin du canon <sup>48</sup>.

Le texte et les miniatures du B.A.R. gr. 1294 se complètent l'un par les autres. Le premier, parfois difficile à saisir (odes I, 1 et VIII, 2), devient ainsi plus précis. Ce sont les miniatures en effet qui désignent nettement les pénitents, des moines et des ermites. Leurs figures, généralement ressemblantes, ne sont jamais les mêmes. La majorité des images, à leur tour, ne pourraient pas être comprises sans l'aide du texte <sup>49</sup>. Des détails du texte parfois ne sont pas illustrés ou n'apparaissent qu'imparfai-

<sup>44</sup> J. R. Martin, *op. cit.*, fig. 269.

<sup>45</sup> Migne, *op. cit.*, col. 769 B.

<sup>46</sup> J. R. Martin, *op. cit.*, fig. 270.

<sup>47</sup> *Ibidem*, fig. 271.

<sup>48</sup> *Ibidem*, p. 142—145 et fig. 272—277.

<sup>49</sup> N. Kondakoff, *Histoire de l'art byzantin considéré principalement dans les miniatures*, t. II, Paris, 1891, p. 138. Cf. Ch. Diehl, *Manuel d'art byzantin*, t. II, Paris, 1926, p. 599 et 636—637.

tement (fig. 5, 15, 17, 20). Des contradictions (n<sup>os</sup> 2, 7, 10, 13) sont aussi à relever.

Des murailles d'enceinte, des tours ou des édicules apparaissent à l'arrière-plan de sept miniatures (1, 2, 7, 9, 11, 12, 20). Les personnages, pleins de componction, sont peints debout. Dans les treize autres, des montagnes avec une maigre végétation cachent la coupole et les hautes tours d'un édifice ou d'une église byzantine (n<sup>os</sup> 10, 14, 15, 17, 19). Au premier plan, les moines et les ermites prient ou se lamentent. Le sol est figuré par des tapis de verdure. Les moines portent des tuniques de couleur foncée (jaune, verdâtre, violacé ou bleu) et des manteaux sans manches (brun-clair ou gris) et plus courts que les premières. Ils sont nu-tête, sauf dans les miniatures n<sup>os</sup> 7, 8, 11, 15 et 20, où l'un des moines est coiffé du kamilavkion. Dans les images 16, 18, 19, ils sont revêtus de tuniques claires à manches courtes et de manteaux foncés sans manches. Les moines sont chaussés de guêtres, et les ermites pieds nus.

La main de Dieu sort du cercle du ciel, dans les miniatures n<sup>os</sup> 3, 4, 18. Peinte à l'angle supérieur de droite, elle est remplacée, dans la huitième miniature, par le buste de Jésus-Christ, la tête ceinte du nimbe crucigère<sup>50</sup>. La Vierge revêtue du maphorion nous reporte aux statues. La seizième image la montre en buste, dans le cercle du ciel, et faisant un geste d'allocution. Le portrait de Jean Climaque, vêtu en moine et nimbé, orne la première page du manuscrit. La dernière montre un ermite nimbé, sur son lit de mort<sup>51</sup>.

Les miniatures illustrent un canon hymnographique, rattaché à l'ascétisme byzantin florissant à partir de la fin du X<sup>e</sup> siècle<sup>52</sup>. Les images du B.A.R. gr. 1294 ne se ressentent en rien de l'action robuste du classicisme dominant au second âge d'or de l'art byzantin<sup>53</sup>, imbu de l'esprit gréco-romain. Les allégories et les personnifications sont absentes; les motifs profanes aussi. Les initiales ne sont pas soignées. Nous y rencontrons en revanche le réalisme dramatique, les tourments de l'âme exprimés à l'aide des attitudes, des regards et des mains. Ces dernières s'agitent même chez les pénitents enchaînés. Les paysages architectoniques, les arbres, l'horizon figurent d'une façon schématique, ne servent que de repoussoir. L'art des miniatures est toutefois excellent. La monotonie

<sup>50</sup> Cf. J. Ebersolt, *La miniature byzantine*, Paris-Bruxelles, 1926, pl. XXVII; O. Wulff, *op. cit.*, fig. 455 et V. N. Lazarev, *op. cit.*, t. II, pl. 75.

<sup>51</sup> Dans le Vat. gr. 1754, le même personnage n'est pas nimbé, ce qui est plus conforme à l'iconographie. J. R. Martin, *op. cit.*, fig. 271 et 272.

<sup>52</sup> Cf. J. R. Martin, *op. cit.*, p. 150-162.

<sup>53</sup> Ch. Diehl, *op. cit.*, p. 601 et 640-641. Cf. L. Maries, *L'irruption des saints dans l'illustration du Psautier byzantin*, dans « *Analecta Bollandiana* », t. 68, 1950 (Mélanges P. Peeters, II), p. 153-162 et plus particulièrement la p. 159.

et les répétitions ne diminuent pas leur valeur. A l'analyse, on se rend compte qu'elles comportent des variations et des précisions, et qu'elles recherchent l'unité de pensée et d'exécution. Si l'on excepte quelques figures trop élancées (fig. 9, 11) et des négligences dans le rendu des personnages assis (fig. 5, 10, 17) ou de profil (fig. 4, 6, 10, 16), et des draperies (fig. 5, 10, 11, 12), le miniaturiste s'avère un bon dessinateur. Les figures sont animées d'expression et de dynamisme. L'œuvre peut prendre rang parmi les meilleures du genre et de l'époque. Le coloris brillant et harmonieux <sup>54</sup> dont la fraîcheur s'est parfaitement conservée <sup>55</sup>, en rehausse l'intérêt.



La datation du manuscrit doit être envisagée par rapport au Vat. gr. 1754. Des critères d'ordre paléographique, l'analyse artistique aussi, indiquent la seconde moitié du XI<sup>e</sup> siècle <sup>56</sup>. L'œuvre semble avoir été exécutée dans un grand centre monastique, le Mont Athos peut-être. Les relations étroites de la Roumanie avec cette contrée sont bien connues. Elles expliqueraient son acquisition par un Roumain <sup>57</sup>.

La parenté du manuscrit B.A.R. gr. 1294 et du Vat. gr. 1754 a été plusieurs fois relevée. Elle concerne le texte, l'aspect et la disposition des miniatures. Des différences sont aussi à envisager. Et, tout d'abord, les arrière-plans des miniatures du Vat. ne sont pas peints ; les personnages y sont plus nombreux et massés. Nous n'en voyons souvent que la tête ou le sommet de la tête de ceux qui sont placés au second rang et aux rangs suivants. Quelques miniatures du Vat. gr. 1754 sont restées aussi inachevées. Il est loisible, croyons-nous, de tenir le B.A.R. gr. 1294 pour la copie d'un prototype. Ce dernier semble être à l'origine du Vat. gr. 1754 aussi. Le B.A.R. n'est pas un prototype. Le désordre des tropaires III, 2, IV, 2, dû à l'ignorance de l'acrostiche, en fournit une preuve. Il n'en est pas

<sup>54</sup> Cf. J. Ebersolt, *op. cit.*, p. 51 ; A. Grabar, *La peinture byzantine*, Genève, 1950, p. 167, 177, 178.

<sup>55</sup> H. Brockhaus, *Die Kunst in den Athos-Klöstern* <sup>2</sup>, Leipzig, 1924, p. 239.

<sup>56</sup> Cf. H. Omont, *Fac-similés des manuscrits grecs datés de la Bibliothèque Nationale du XI<sup>e</sup> au XIV<sup>e</sup> siècle*, Paris, 1891, pl. XXII sq. ; *The Walters Art Gallery : Early Christian and Byzantine Art. An exhibition held at The Baltimore Museum of Art*, Baltimore, 1947, nos 704, 705, 707 ; J. R. Martin, *op. cit.*, p. 175—181, fig. 29—132 ; G. et M. Sotiriou, *Icones du Mont Sinaï*, t. I (planches), Athènes, 1956, fig. 66, 67, 76.

<sup>57</sup> Il en est de même d'un second manuscrit grec illustré, du XI<sup>e</sup> — XII<sup>e</sup> siècle, acquis par l'Académie de la République Populaire Roumaine. Il représente une valeur considérable. Voir I. Barnea, *Un manuscris grecesc cu miniaturi din Biblioteka Academiei Române* [Un manuscrit grec à miniatures, de la Bibliothèque de l'Académie Roumaine], dans « *Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice* », XXXVI, 1943, p. 102—108. Le manuscrit peut très bien provenir d'un autre centre monastique de l'Orient, le Mont Sinaï en premier lieu, dont les relations avec les Pays roumains sont également connues. Cf. M. Beza, *Urme românești în Răsăritul Ortodox* [Traces roumaines dans le Levant orthodoxe], 2<sup>e</sup> éd., Bucarest, 1937, p. 3 sq. et passim



moins vrai que le manuscrit B.A.R. gr. 1294 reproduit et illustre le canon de pénitence inspiré du V<sup>e</sup> chapitre de l'« Echelle » du Paradis, et reste le plus ancien que nous connaissions. Le canon, à son tour, ne peut être plus ancien que du IX<sup>e</sup> siècle. Il n'est pas l'œuvre de Jean Climaque. Le prototype du manuscrit n'est pas daté évidemment d'une époque antérieure et les illustrations ne semblent pas plus anciennes que le début du XI<sup>e</sup> siècle <sup>58</sup>.

Les considérations auxquelles nous venons de nous livrer, nous permettent de conclure que le manuscrit grec 1294 de la Bibliothèque de l'Académie de la R.P.R. peut prendre rang dans l'histoire de l'art byzantin comme un représentant de grande classe du courant monastique et réaliste de la période d'épanouissement maximum de la miniature byzantine.

---

<sup>58</sup> J. R. Martin, *op. cit.*, p. 149.



Fig. 1. Bibl. de l'Académie de la R.P.R., ms. gr. 1291, f. 1r.



Fig. 2. — Bibl. de l'Académie de la R.P.R., ms. gr. 1294, f. 1v.



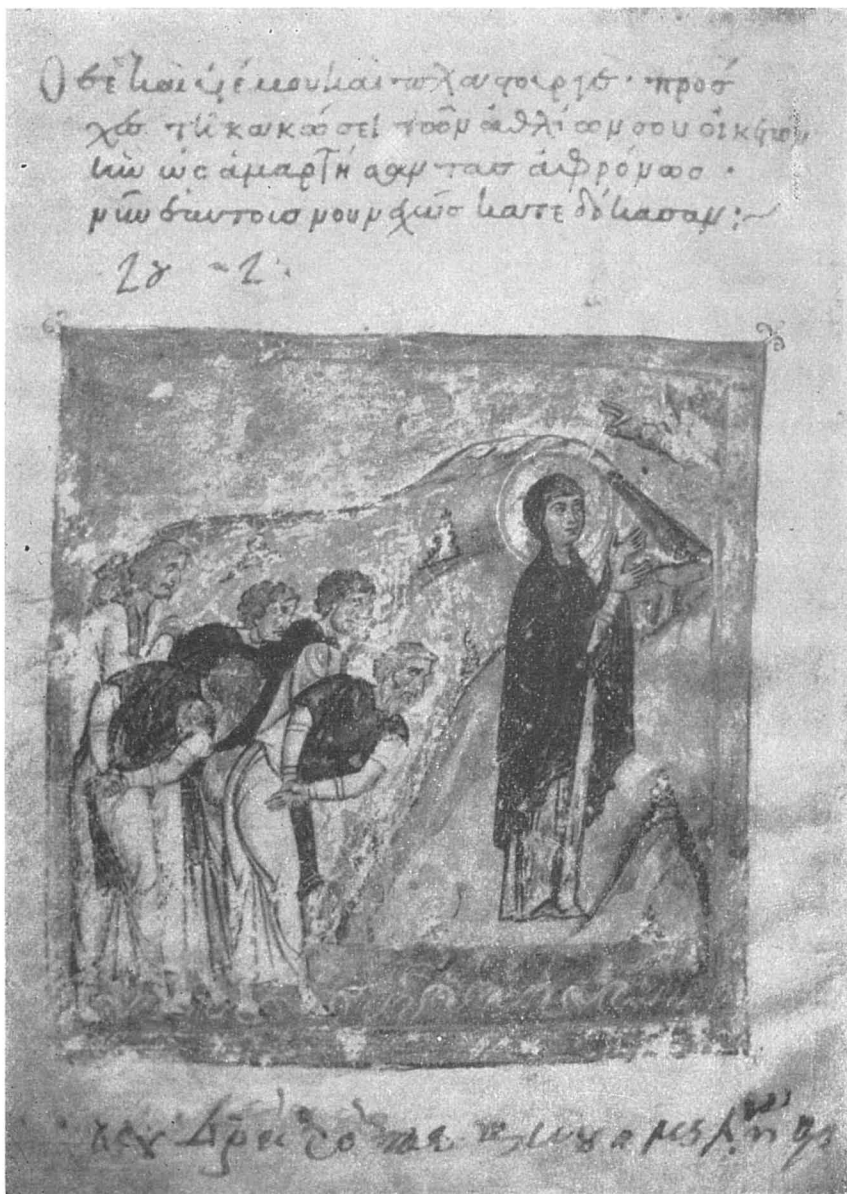


Fig. 4. — Bibl. de l'Académie de la R.P.R., ms. gr. 1294, f. 2v.



Fig. 5. — Bibl. de l'Académie de la R.P.R., ms. gr. 1291, f. 3r.



Fig. 6. — Bibl. de l'Académie de la R.P.R., ms. gr. 1294, f. 3v.



Fig. 7. — Bibl. de l'Académie de la R.P.R., ms. gr. 1294, f. 4r.



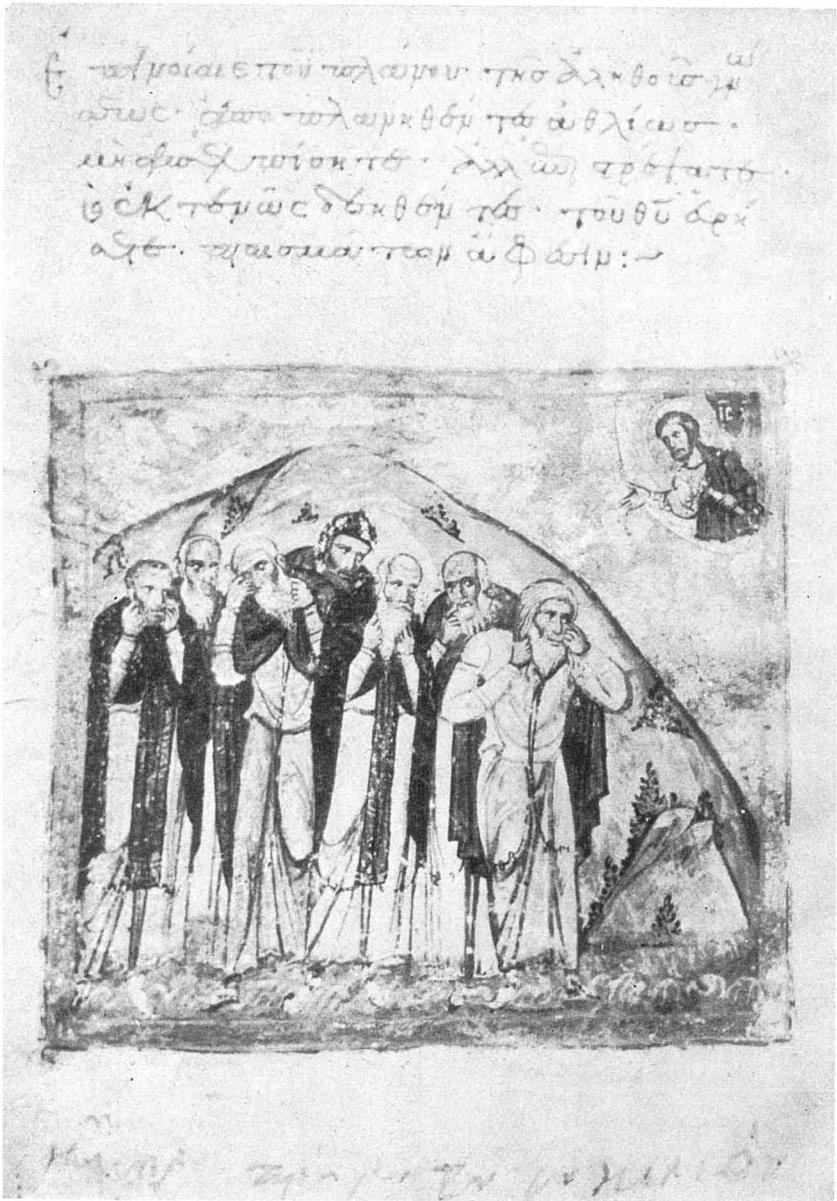


Fig. 8. — Bibl. de l'Académie de la R.P.R., ms. gr. 1294, f. 4v.



Fig. 9. — Bibl. de l'Académie de la R.P.R., ms. gr. 1294, f. 5r.

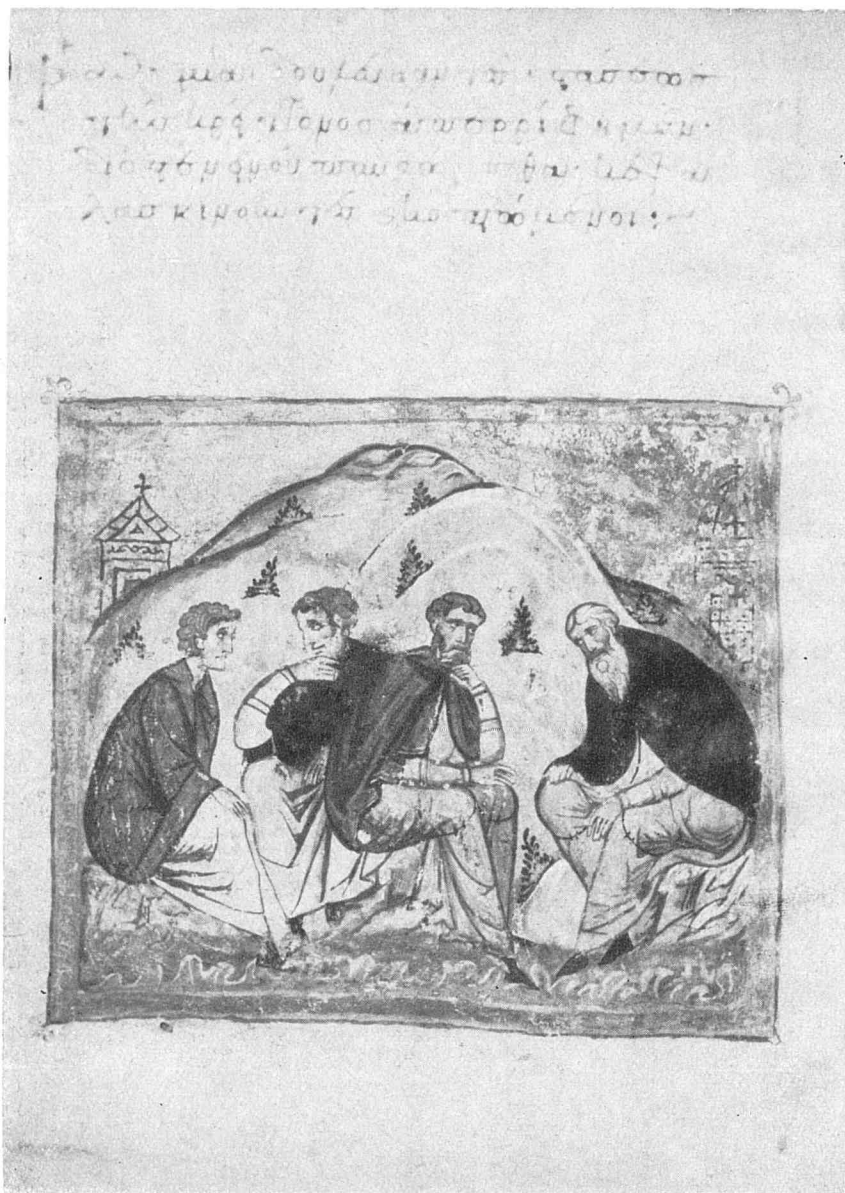


Fig. 10. — Bibl. de l'Académie de la R.P.R., ms. gr. 1294, f. 5v.

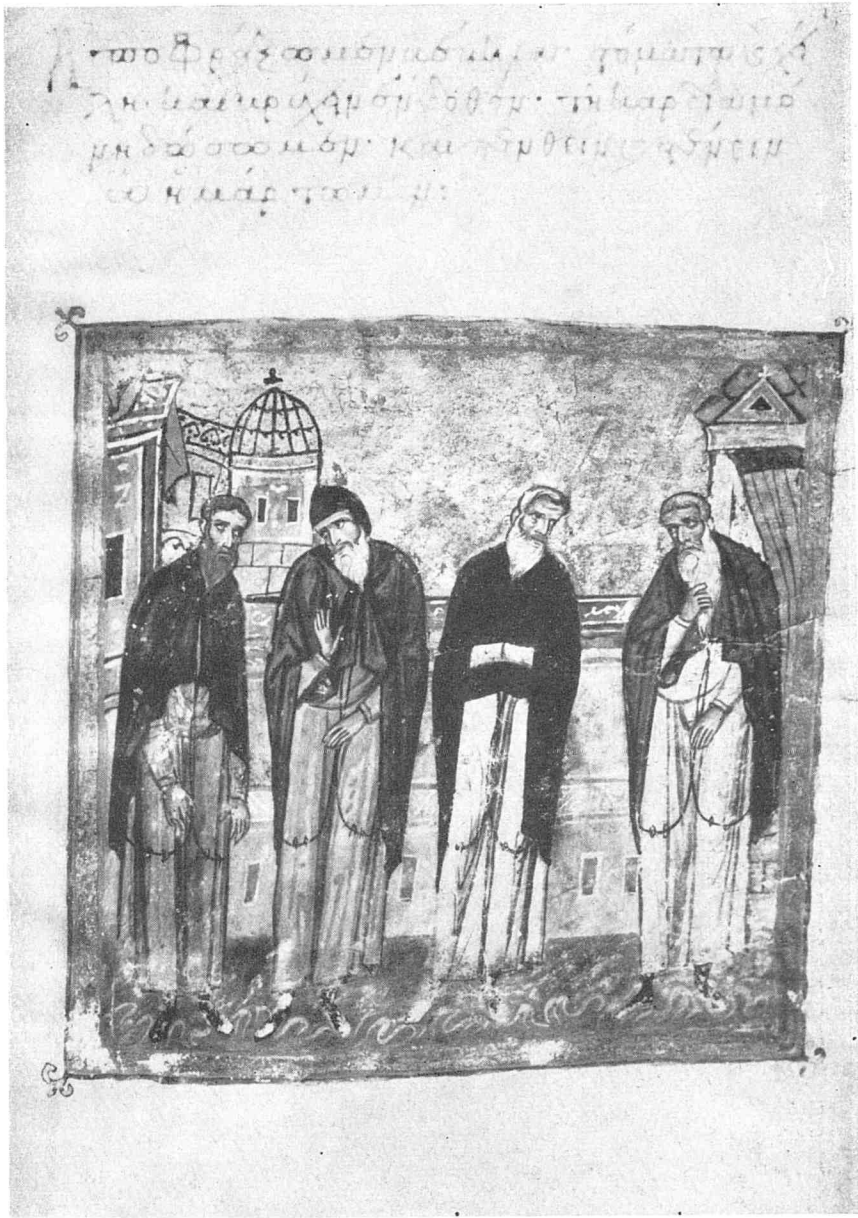


Fig. 11. — Bibl. de l'Académie de la R.P.R., ms. gr. 1294, f. 6r.



Fig. 12. — Bibl. de l'Académie de la R.P.R., ms. gr. 1294, f. 6<sup>v</sup>.



Fig. 13. — Bibl. de l'Académie de la R.P.R., ms. gr. 1294, f. 7r.



Fig. 14. — Bibl. de l'Académie de la R.P.R., ms. gr. 1294, f. 7v.



Fig. 15. — Bibl. de l'Académie de la R.P.R., ms. gr. 1294, f. 8r.





Fig. 16. — Bibl. de l'Académie de la R.P.R., ms. gr. 1294, f. 8v.



Fig. 17. — Bibl. de l'Académie de la R.P.R., ms. gr. 1294, f. 9r.

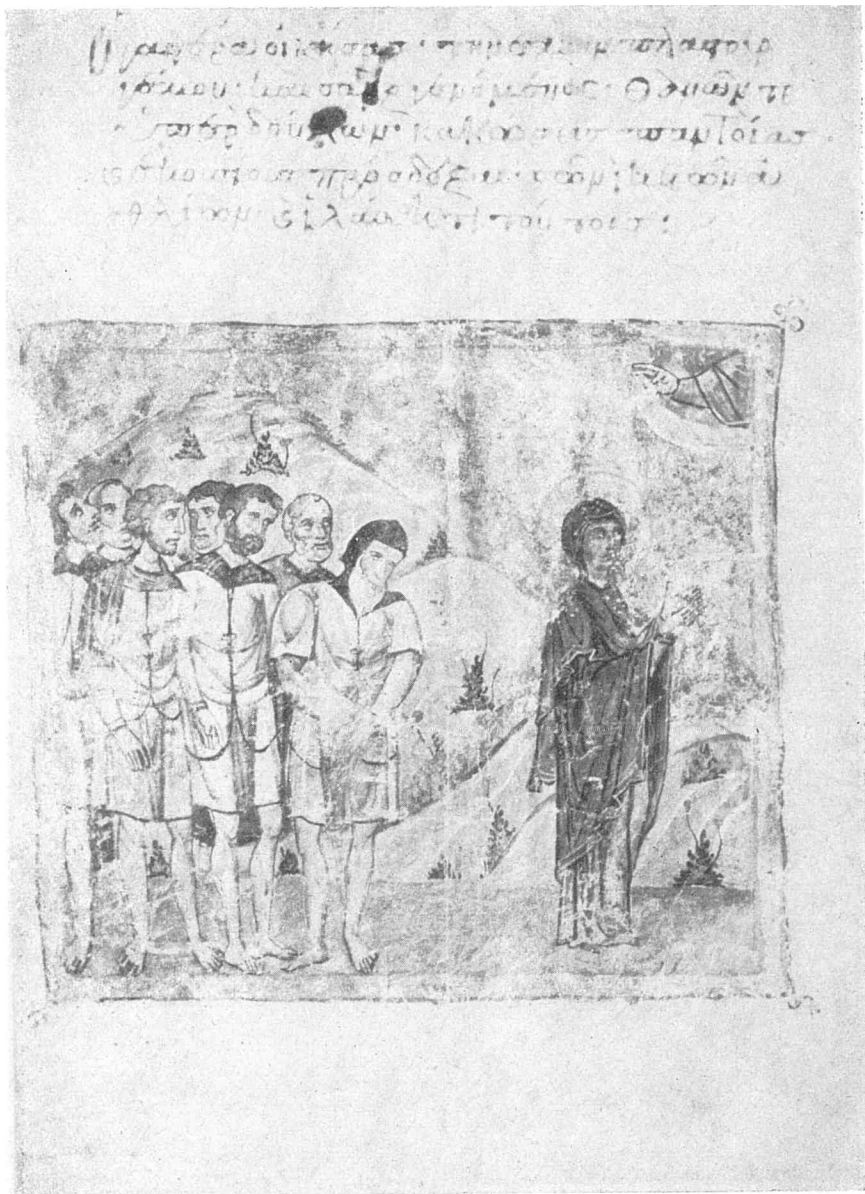


Fig. 18. — Bibl. de l'Académie de la R.P.R., ms. gr. 1294, f. 9<sup>v</sup>.



Fig. 19. — Bibl. de l'Académie de la R.P.R., ms. gr. 1294, f. 10r.



Fig. 20. — Bibl. de l'Académie de la R.P.R., ms. gr. 1294, f. 10<sup>v</sup>.

## SUR L'ORIGINE DU «ZAKON SUDNYI LJUDEM» (LOI POUR JUGER LES GENS)

par MIHAIL ANDRÉEV  
(Sofia)

### I

1. «Zakon Sudnyi Ljudem» (loi pour juger les gens) a fait l'objet de nombreuses recherches approfondies aussi bien en Bulgarie qu'ailleurs<sup>1</sup>. Ces recherches n'ont contribué à résoudre définitivement que quelques-uns des problèmes que pose ce monument juridique.

C'est ainsi que nous admettons aujourd'hui comme définitivement et généralement reconnu et adoptée la thèse que le ZSL est le plus ancien et authentique monument juridique d'origine slave, et que le texte concis de ce monument représente sa rédaction initiale, par conséquent plus ancienne que le texte élargi qui, étant plus récent, a été élaboré sur la base du texte concis.

Il reste encore à élucider les questions de l'époque et du lieu où le ZSL a été élaboré, ainsi que la question de savoir si c'est un acte d'un

---

<sup>1</sup> Розенкамф, *Обзорение Кормчей книги в историческом виде*, Москва, 1829; Калачов, *О значении Кормчей книги в системе древнего русского права*, Москва, 1860; Павлов, *Первоначальный славянорусский Номоканон*, Казань, 1869; Василевский, *Законодательство иконоборцев*, Журнал Мин. Нар. Пр., т. 199—201; Данаилов Г., *Един паметник на старото българско право, Законъ Соудный Людъмъ*, Сборник за народни умитворения, кн. 18; Бобгев С.С., *Един паметник на старото българско право*, Пе-риодическо списание, кн. 62; Siegel F., *Lectures on Slavonic Law*, London, 1902; Groschakoff, H., *Ein Denkmal des Bulgarischen Rechts (Zakon Sudni Ljudem)*, 1915; Kadlec, K., *Introduction à l'étude comparative de l'histoire du droit public des peuples slaves*, Paris, 1933; Vašica, J., *Origine cyrillo-méthodienne du plus ancien code slave dit «Zakon sudnyi ljudem»*, «Byzantinoslavica», XII, Prague, 1951; Schmid A. F., *La legislazione bizantina e la pratica giudiziaria occidentale nel più antico codice slavo*, Atti del congresso internazionale di diritto romano e di storia del diritto, Verona, 1948; В. Ганев, *Законъ Соудный людъмъ*, София, 1959.

corps législatif officiel ou bien si ce n'est qu'une compilation privée. Cherchant la réponse à ces questions, nous nous heurtons à l'absence presque complète de renseignements véridiques sur la genèse de ce monument juridique slave, ainsi qu'au fait que les copies qui nous sont parvenues sont espacées de quelques siècles du manuscrit primitif<sup>2</sup>. Dans ces conditions il ne nous reste plus que le *contenu* du ZSL sur lequel nous édifierons notre exploration sur l'origine et le caractère de cette loi.

Les problèmes qui font l'objet du ZSL et la manière dont ils sont résolus nous permettent de révéler les buts de classe que se posaient les auteurs du ZSL et de reconstituer le côté social de ces problèmes. Ces buts de classe et la nature de ces problèmes pourront alors nous renseigner sur l'époque qui les a engendrés, ainsi que sur les conditions historiques qui les ont fait ressortir, de manière que nous pourrions préciser la période pendant laquelle le ZSL a été créé.

Les études sur le texte primitif du ZSL et plus précisément sur son contenu nous montrent que cette loi comprend aussi bien des dispositions pénales que des dispositions de droit civil et de procédure (pénale et civile), sans régler toutefois d'une manière définitive ni le droit pénal, ni le droit civil, ni la procédure. Le ZSL n'établit même pas les institutions de fond du droit pénal, du droit civil et de la procédure. Dans le cadre de ce monument ont été inclus uniquement un nombre limité de problèmes du domaine du droit médiéval<sup>3</sup>. Nous pouvons admettre que tous ces problèmes ne s'étaient pas posés auparavant à l'attention du législateur

<sup>2</sup> La plus ancienne copie du ZSL qui nous soit parvenue est la copie « Roumianzeff », du nom du musée Roumianzeff, où cette copie se trouvait depuis de nombreuses années. Cette copie du ZSL, ainsi que les copies de Novgorod et celle dite « Varsonifievskia », de ce document, est une partie intégrante du *Livre-Kormtchia*. La copie « Roumianzeff » du *Livre-Kormtchia* date du XIII<sup>e</sup> ou du début du XIV<sup>e</sup> siècle, comme on peut en juger des particularités des caractères du manuscrit. Cependant, la langue du ZSL est beaucoup plus ancienne — ce qui prouve que le ZSL a été créé à une époque sensiblement antérieure à celle de la copie Roumianzeff du *Livre-Kormtchia*. Cette plus ancienne copie du ZSL laisse ouverte la question du lieu et de la date de création de cette loi.

<sup>3</sup> Le contenu du ZSL peut être reproduit schématiquement comme suit : l'article 1 prévoit des sanctions contre les païens ; les articles 2 et 7-a réglementent les témoignages ; l'art. 3 contient des normes concernant la répartition du butin de guerre ; les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 traitent de la matière des délits contre la morale et plus spécialement de la débauche (débauche avec une esclave, débauche des moines, mariages des parains avec leurs filleuls, séduction ou viol de vierges ; défloration d'une vierge qui n'a pas encore atteint 20 [13?] ans, accouplement avec une vierge fiancée, mariages incestueux, bigamie) ; les articles 14 et 15 prévoient des sanctions contre l'incendie volontaire ; l'art. 16 traite du droit d'asile ; l'art. 17, des actes arbitraires ; l'art. 18 traite des témoignages entre parents et enfants, entre maîtres et esclaves ; l'art. 19 de la libération des esclaves ; l'art. 20 s'occupe des témoignages indirects ; l'art. 21, de l'apostasie ; l'art. 22 traite du commodat — anéantissement de la chose prêtée ; les articles 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 s'occupent de la matière des vols qualifiés (vol en temps de guerre, vol commis par un esclave — responsabilité noxale, vol de troupeaux, pillage de cadavres et d'objets saints, rapt) ; l'art. 31 traite du divorce.

ou bien, s'ils existaient à cette époque et avaient été résolus auparavant, ils se posaient de nouveau et d'une manière différente au moment où le ZSL fut conçu. Cette circonstance nous explique l'hétérogénéité des dispositions législatives comprises dans le ZSL. Toutes ces dispositions sont réunies en un tout non pas par la matière qu'elles réglementent, mais plutôt par la raison de leur apparition.

L'événement historique qui mit à l'ordre du jour tous ces problèmes inclus dans le ZSL, précisément ceux-là et non pas d'autres, c'est la conversion au christianisme et l'instauration du christianisme comme religion officielle de l'Etat bulgare. La religion chrétienne fut instaurée dans le pays, parce qu'elle s'avérait plus apte à servir, beaucoup mieux que le paganisme, les intérêts de la classe féodale naissante. Mais la conversion au christianisme souleva le mécontentement de l'aristocratie païenne de clan, dont la nouvelle religion ébranlait les positions sociales. La révolte des 52 boyards en est une preuve. Dans ces conditions les diverses questions concernant les sanctions contre les païens devaient être résolues d'une manière urgente. Et le ZSL en fournit la base juridique.

Cependant, la religion chrétienne souleva encore d'autres problèmes qui exigeaient aussi une réglementation législative. C'étaient les questions que posait la nouvelle morale chrétienne, ainsi que d'autres problèmes d'ordre social qui, avant la conversion au christianisme, avaient reçu leur solution, laquelle pourtant ne correspondait plus — dans les nouvelles conditions — au degré de développement des rapports sociaux ou bien aux exigences de l'église chrétienne. Mentionnons le droit d'asile, la suppression de la justice privée, l'augmentation des peines pour des vols qualifiés, etc.

2. La source principale de l'auteur ou des auteurs du ZSL c'était le titre XVII de l'*Eclogue*. Cependant, ce titre ne fut pas repris et reproduit textuellement. Les écarts que fait le ZSL du titre XVII de l'*Eclogue* sont les suivants :

1). Le ZSL ne reprend pas tous les textes du titre XVII de l'*Eclogue*. Il néglige une partie de ces textes.

2). Le ZSL comprend des textes qui ne proviennent pas du titre XVII de l'*Eclogue*. Quelques-uns de ces textes proviennent des autres titres de l'*Eclogue* ou bien ne figurent pas du tout dans celle-ci.

3). Le ZSL modifie le sens de quelques-uns des textes empruntés à l'*Eclogue*.

4). Le ZSL intervertit les textes empruntés à l'*Eclogue*.

Ces écarts entre le ZSL et l'*Eclogue* ne sont pas du tout accidentels : ils ont été apportés dans le texte du ZSL en conformité avec les buts



que se posait l'auteur de cette loi et représentent, par conséquent, un élément d'une importance fondamentale dans l'ensemble des recherches sur l'origine et la nature du ZSL.

Les textes du titre XVII de l'*Eclogue* négligés par le ZSL visent en partie des délits qui de toute vraisemblance n'ont pas été connus en Bulgarie avant la conversion au christianisme (comme, par exemple, le faux serment judiciaire — *Ecl.* XVII, 2), ou bien n'étaient pas très répandus dans ce pays à cette époque, soit par suite du sous-développement de l'économie du pays, soit que les mœurs du peuple bulgare ne constituaient pas un terrain fertile pour de pareils délits (par exemple le faux-monnayage — *Ecl.* XVII, 18 ; *lenocinium* du mari — *Ecl.* XVII, 28), ou encore parce qu'on ne les considérait pas comme des infractions à l'ordre social (comme par exemple la manufacture des amulettes — *Ecl.* XVII, 44). Toutefois, la majeure partie des textes du titre XVII de l'*Eclogue* non reproduits par le ZSL visent des délits qui ont été certainement bien connus en Bulgarie avant la conversion au christianisme, mais au sujet desquels l'auteur du ZSL n'a pas voulu modifier la responsabilité pénale en vigueur.

En toute première place, donc pas ailleurs, mais au début même du ZSL, ont été établies les peines pour les délits que la conversion au christianisme amena à considérer comme tels, comme par exemple les cérémonies religieuses païennes, les diverses formes de débauches, l'inceste et la polygamie. L'importance qu'attribuait le législateur à ces délits nous explique l'interversion des textes de l'*Eclogue*, c'est-à-dire la place préférentielle des textes relatifs aux délits contre la nouvelle religion et la nouvelle morale. Plus loin, dans l'ordre des textes du ZSL, sont donnés les textes initiaux de l'*Eclogue*.

A l'époque où l'*Eclogue* fut rédigée, le législateur byzantin n'avait pas à s'occuper des mesures antipaïennes et pour cette raison l'*Eclogue* ne contenait pas de textes relatifs à une pareille législation. Par conséquent, les auteurs du ZSL ont dû recourir à d'autres sources pour résoudre indépendamment les problèmes posés.

Un deuxième groupe de questions qu'avait à résoudre le législateur en Bulgarie médiévale c'étaient les questions rattachées aux preuves en matière des délits, des accusations et des actions. Les auteurs du ZSL, à l'encontre de ceux de l'*Eclogue*, n'avaient pas à réglementer la procédure des preuves, mais uniquement à disposer que les accusations devaient être prouvées par des témoins et non plus de la façon primitive du procès païen, dont parle le pape Nicolas dans la réponse 86 de ses *Responsa* <sup>4</sup>.

<sup>4</sup> Cependant il faut noter que l'auteur du ZSL a accepté de l'*Eclogue* (t. XVII) encore quelques dispositions qui lui ont paru utiles, quoiqu'elles ne fussent pas en rapport direct avec la conversion au christianisme du peuple bulgare.

Le fait que le ZSL est un monument juridique rédigé peu de temps après la conversion au christianisme du peuple bulgare nous est prouvé également d'une manière irréfutable par les modifications que cet acte juridique a apportées dans la matière des sanctions pénales.

Le ZSL a conservé les peines corporelles établies par l'*Eclogue* uniquement dans les cas de délits graves contre la morale chrétienne. Mais même dans le domaine des transgressions à la morale sexuelle, dans les cas où les normes chrétiennes n'étaient pas encore bien claires au peuple bulgare, immédiatement après la conversion au christianisme, l'auteur du ZSL n'a pas établi des peines corporelles. Par exemple, l'auteur du ZSL n'a prévu pour les délits de l'inceste que la simple séparation de l'homme et de la femme, tandis que l'*Eclogue* a établi la peine de mort ou une peine corporelle grave pour des cas pareils.

3. Les raisons en faveur de l'origine bulgare du ZSL, que nous trouvons dans le contenu de ce monument juridique, considéré à part et comparé avec l'*Eclogue* byzantine, se confirment d'une manière décisive grâce aux données et aux renseignements contenus dans les *Réponses*<sup>4a</sup>. L'étude des *Réponses* prouve que le roi Boris I<sup>er</sup> était préoccupé précisément par les problèmes que pose le ZSL, que ce sont justement ces problèmes dont il cherchait la réglementation législative.

La Réponse 13 nous apprend que le roi a demandé au pape de lui envoyer des lois séculières. Cette demande nous montre que le souverain bulgare considérait que les lois ou plutôt les normes juridiques en vigueur jusqu'à cette époque en Bulgarie ne convenaient plus dans les nouvelles circonstances. Les normes en vigueur ne pouvaient plus réglementer les nouveaux rapports sociaux après la conversion au christianisme du peuple bulgare.

Mais les *Réponses* du pape Nicolas ne prouvent pas seulement que la conversion au christianisme rendait nécessaire en Bulgarie une législation nouvelle. Ces *Réponses* nous fournissent également des renseignements sur la nature des problèmes qui devaient être réglementés par la nouvelle législation. En trois endroits (*Réponses* 18, 41 et 102) le pape donne au roi Boris des instructions sur la conduite qu'il doit adopter à l'égard des païens et des apostats. Le fait que le roi revient à plusieurs reprises sur la question des païens et des apostats — ce qui provoque trois Réponses de la part du pape — est une preuve de l'importance particulière qu'il attachait à cette question.

Une grande partie des *Réponses* du pape Nicolas, et par conséquent des questions adressées par le roi Boris, se rapportent aux problèmes qu'engendrait la nouvelle morale chrétienne et aux peines qui devaient

<sup>4a</sup> Detschew D., *Responsa Nicolai I Papae ad consulta bulgarorum*, Serdice, 1939.

être infligées à ceux qui portaient atteinte à cette morale, aux coupables, notamment, d'adultère (Rép. 51), d'inceste (Rép. 29), de bigamie (Rép. 51). Une attention particulière est accordée à la parenté naturelle et civile comme obstacle au mariage (Rép. 39 et 2).

Une place non moins importante occupaient les questions concernant l'organisation du procès d'une manière convenable et favorable aux intérêts de la classe dominante. Et c'est pour trouver une solution en cette matière qu'a été posée la question de savoir s'il est permis au roi de juger ceux qui ont commis des « péchés » criminels (Rép. 83), ainsi que s'il est permis d'arracher les aveux par la force (Rép. 86) et quelles mesures sont à prendre contre les calomnieurs (Rép. 84).

Toutes ces questions dont s'est intéressé le roi Boris et auxquelles a répondu amplement le pape Nicolas ont trouvé dans le ZSL leur solution législative. Il est vrai que les *Réponses* du pape Nicolas n'ont pas servi de source directe au ZSL. Ceci n'a pas été possible pour deux raisons : premièrement, les solutions qu'apportaient les *Réponses* étaient de nature purement ecclésiastique et non de nature laïque. Bien qu'au moyen âge il y eût une très étroite interférence entre les fonctions du pouvoir ecclésiastique et celles du pouvoir séculier, de toute façon ces deux pouvoirs existaient séparément l'un de l'autre. Et c'est précisément pour cette raison que le roi Boris a demandé au pape Nicolas de lui envoyer des lois laïques. Deuxièmement, après le retour des ambassadeurs bulgares de Rome, le roi Boris s'est adressé de nouveau à Byzance, et l'Etat bulgare fut lié avec l'Eglise orthodoxe en ce qui concerne les problèmes ecclésiastiques. Dans de pareilles circonstances il a été tout à fait naturel que le droit byzantin, notamment l'*Eclogue*, servît de source à la législation bulgare.

Quoiqu'il en soit, même n'ayant pas servi de source directe pour le ZSL, les *Réponses* du pape Nicolas présentent une grande importance dans l'étude de ce monument juridique. Ces *Réponses* démontrent que ce fut justement le roi Boris et ses collaborateurs qui se sont occupés de la réglementation législative des problèmes qui ont surgi à la suite de la conversion au christianisme du peuple bulgare.

Donc, les résultats de nos recherches imposent la conclusion que le ZSL a été créé en Bulgarie au temps du roi Boris I<sup>er</sup>. Le ZSL est un acte de la législation officielle de l'Etat bulgare et non pas une œuvre de compilation privée. Les nouvelles tendances ainsi que les changements radicaux dans le domaine du droit, provoqués par la conversion au christianisme, devaient être réglementés par la voie des lois. Les textes impératifs du ZSL, la phrase serrée, ainsi que la brièveté de l'exposition et de la composition témoignent de l'esprit du législateur et non point du travail

d'un compilateur. D'autre part, il paraît être certain qu'un compilateur privé ne se serait jamais permis ces écarts fondamentaux de l'*Eclogue* que l'auteur officiel a admis dans ce cas.

## II

4. L'origine antique bulgare du ZSL a été dernièrement contestée par Schmid (*Atti del Congresso internazionale di diritto romano e di storia del diritto*, Verona, 1948, I, p. 395 et suiv.) et par Vašica (« *Byzantinoslavica* », XII, Prague, 1951, p. 152 et suiv.).

Schmid, savant autrichien, historien du droit, soutient la thèse que le ZSL est l'œuvre de l'apôtre slave Méthode ou de quelqu'un de ses disciples et que le ZSL se rattache à l'activité de Méthode en Pannonie.

D'autre part, le philologue tchèque, le professeur Vašica soutient l'opinion que le ZSL est un monument du droit tchèque et slovène et que son auteur est le frère de Méthode, Constantin-Cyrille<sup>5</sup>.

Ces toutes récentes interprétations de l'origine et du caractère du ZSL ne trouvent pas un appui suffisant dans le texte du ZSL et ne peuvent être confirmées par les sources historiques ou littéraires de l'époque en question. Même si nous admettons que le ZSL fût l'œuvre d'un des apôtres slaves Cyrille ou Méthode, ou d'un ou de quelques-uns de leurs disciples, nous ne voyons pas bien comment le ZSL serait dans de pareilles conditions l'œuvre de la législation de Moravie ou de Pannonie. Soulignons toutefois que l'œuvre de Cyrille et de Méthode ne s'identifie pas avec leur activité en Moravie et en Pannonie. Le roi bulgare Boris I<sup>er</sup> a probablement entretenu des relations personnelles avec Cyrille et Méthode, tandis que leurs disciples ont développé une activité très intense et fructueuse en Bulgarie.

La langue cyrillo-méthodienne du ZSL n'est nullement une raison suffisante pour admettre que le ZSL fût un acte de la législation de Mora-

<sup>5</sup> Schmid formule sa thèse de la manière suivante : « Si tratta d'un codicino, comprendente 32 paragrafi, redatto in lingua paleoslava entrato pure nelle collezioni canonistiche semiufficiali ed anzi ufficiali della Chiesa ortodossa slava sino all'ultima premoderna, la « Kormcaja Kniga » il « Libro del Timone » o « Pedalion » di Russia, scampato nel seicento. Ne risale la tradizione manoscritta sino al duecento : e unisce questo « Zakon sudnyj ljudem » cioè è questa « Legge per giudicare la gente » a certi testi di diritto canonico et d'indole penitenziale dovute, come ora sappiamo, all'attività di San Metodio, arcivescovo d'obediencia romana di Pannonia ed apostolo degli Slavi, attività effettuata in parte alla corte del principe Kocel originario della Grande Moravia, poi vassallo de l'Impero Franco Orientale, Schmid, *op. cit.*, p. 399.

De sa part Vašica conclut : « Les deux procédés nous autorisent à dater le ZSL de l'époque cyrillo-méthodienne et à l'attribuer, avec toute la vraisemblance possible, à St. Constantin-Cyrille dont l'admirable activité littéraire acquiert ainsi un nouveau titre de gloire ». Vašica, *op. cit.*, p. 173.

vie ou de Pannonie. En cette langue de Cyrille et de Méthode sont rédigés non seulement les livres de messe en Moravie, mais aussi tous les ouvrages des différents disciples de Cyrille et de Méthode en Bulgarie de cette époque.

La langue des plus anciens livres slaves n'était ni la langue moravienne ni la langue annonienne, mais l'ancien slave parlé aux alentours de Salonique, qui était la langue maternelle des deux apôtres slaves Cyrille et Méthode. Il est fort probable que l'apôtre Cyrille, qui se rendit sans retard en Moravie sur l'invitation du roi Rostislav pour évangéliser la population en langue slave, emportât avec lui, en traduction slave, les livres nécessaires ou au moins l'Évangile. Des considérations linguistiques nous amènent à la même conclusion. Les diphtongues «ц» et «жд» (à l'origine tj et dj) que nous trouvons dans les plus anciens monuments slaves ne sont pas typiques pour la langue moravienne, ni pour la langue annonienne, mais pour *l'ancien bulgare*<sup>6</sup>. Ajoutons qu'il est peu vraisemblable que Constantin-Cyrille eût pu traduire dès son arrivée en Moravie les livres ecclésiastiques en une langue qui n'était pas la sienne, fût-elle proche de celle que l'on parlait à cette époque dans la région de Salonique.

La conjecture de Vašica que l'art. 1 du ZSL, qui fait mention du code de l'empereur byzantin Constantin, vise l'apôtre slave Constantin-Cyrille et que ce dernier aurait été confondu avec l'empereur Constantin par les copistes postérieurs du ZSL<sup>7</sup>, n'est pas du tout admissible. L'art. 1 du ZSL est en parfaite concordance avec le reste de la loi en ce qui concerne la langue et le sens, et fait par conséquent partie intégrante du ZSL. Il n'existe aucune raison sérieuse pour conclure que cet article fût ajouté plus tard au ZSL, soit partiellement, soit entièrement. Il est beaucoup plus vraisemblable que l'auteur du ZSL ait confondu l'empereur Constantin V Copronyme — un des auteurs de l'*Eclogue* — avec l'empereur Constantin, ou bien qu'il ait attribué de pleine conscience à ce dernier la paternité du ZSL dans le but de prêter à son ouvrage plus d'autorité.

5. Cependant, ce ne sont pas seulement les preuves attestant une origine moravienne ou annonienne du ZSL qui manquent. Une pareille thèse est démentie entièrement par les données de l'histoire sur l'activité des apôtres slaves Cyrille et Méthode en Moravie et en Pannonie. Les apôtres slaves Cyrille et Méthode se rendirent en Moravie et en Pannonie dans le but d'enseigner aux peuples de Moravie et de Pannonie la foi chrétienne en leur langue slave<sup>8</sup>. Il s'agissait à cette époque de mener la

<sup>6</sup> Vondrak, W., *Allkirchenlawische Grammatik*, Berlin, 1900, p. 8.

<sup>7</sup> Vašica, *op. cit.*, p. 170.

<sup>8</sup> А. Теодоров Балан, *Кирил и Методи*, I, София, 1920, p. 57.

lutte contre l'intrusion germanique en Moravie et en Pannonie et contre l'avant-garde de cette intrusion — le clergé catholique — et, par conséquent, nullement contre une aristocratie païenne de clan.

Nous savons qu'en Moravie et en Pannonie la conversion au christianisme ne s'était pas effectuée par un acte de l'Etat et qu'elle s'est accomplie spontanément et progressivement, en commençant relativement tôt. Funk considérait que cette christianisation s'est faite peu après l'an 803<sup>9</sup> et nous savons que les apôtres slaves sont arrivés en Moravie pour la première fois en 862, c'est-à-dire un demi-siècle plus tard.

La situation historique à cette époque en Bulgarie était tout à fait différente. Il s'agissait, en Bulgarie, d'écraser la résistance du paganisme, laquelle se manifesta aussi bien par la révolte des 52 boyards que par les tentatives de restauration du paganisme, entreprises par le fils du roi Boris I<sup>er</sup>, — Vladimir. Et c'est précisément la résistance des éléments païens contre la nouvelle religion chrétienne qui nous explique en Bulgarie les raisons pour lesquelles les articles initiaux du ZSL se rapportent aux sanctions pour des délits rattachés à l'exercice du paganisme et pourquoi ces sanctions sont tellement sévères. La prescription spéciale du ZSL contre les boyards qui organisent des cérémonies religieuses païennes est en corrélation avec la révolte que firent les 52 boyards peu de temps après l'instauration de la religion chrétienne.

Pour appuyer sa thèse que le ZSL aurait été rédigé en Pannonie, le professeur Schmid se sert du fait que Méthode avait traduit en langue slave le *Nomocanon*. Cependant, la place qu'occupe le ZSL dans les copies du *Livre Kormtchia*, actuellement à notre disposition, prouve que le ZSL est en quelque sorte un corps étranger dans la matière canonique du *Kormtchia*, qu'il n'est donc pas un texte original du *Nomocanon* slave. Mais alors, si donc le ZSL ne faisait pas partie du texte original du *Nomocanon*, traduit par Méthode, et, par conséquent, a été rédigé indépendamment par Méthode, le droit d'auteur de Méthode sur le ZSL devient plus que douteux. L'auteur des *Légendes de Pannonie*, qui a noté minutieusement toute l'activité littéraire de Méthode, ne mentionne nulle part dans son histoire de la vie de Méthode quoi que ce soit sur quelque code rédigé par Méthode. Il n'eût certainement pas manqué de faire mention d'un pareil fait, eût-il seulement existé. Il en est de même en ce qui concerne la biographie de Constantin-Cyrille.

Enfin, notons que Méthode a traduit le *Nomocanon* après son arrivée à Constantinople en 882, donc 2 ou 3 ans avant sa mort. Or, après la

<sup>9</sup> Funk, *Histoire de l'Eglise*, tr. Hemmer, t. I, Paris 1895, pp. 351—352.

mort de Méthode la réaction catholique est en pleine marche en Moravie et en Pannonie. Il est donc évident que même si le ZSL avait été rédigé à la même époque que la traduction du *Nomocanon*, il n'existait pas en Moravie, à cette époque, les conditions favorables pour l'application d'une pareille loi.

6. Le professeur Schmid considère que la coexistence de peines spirituelles et corporelles dans plusieurs des textes du ZSL serait un argument contre la thèse soutenant l'origine bulgare du ZSL, car toutes ces normes pénales du ZSL se seraient appliquées, suivant le professeur Schmid, par des tribunaux mixtes, composés de membres du clergé et de personnes civiles. De pareils tribunaux seraient typiques pour l'Empire des Carolingiens et uniquement les lois des premiers rois chrétiens de Hongrie auraient prévu des peines spirituelles parallèlement à des peines corporelles. Donc le ZSL serait d'origine moravienne.

Nous ne pouvons pas partager cette opinion du professeur Schmid, car s'il est possible que Méthode ou quelqu'un de ses disciples ait pu rédiger en Moravie un code du type byzantin en sa forme et en sa conception fondamentale, mais d'une certaine influence occidentale dans quelques-uns de ses textes pénaux, il ne nous semble pas moins possible et vraisemblable qu'un des disciples de Méthode eût pu le faire autant non pas précisément en Moravie, mais en Bulgarie, pays qui subissait à cette époque l'influence des institutions juridiques de Byzance beaucoup plus que la Moravie. D'autre part, il ne nous semble pas du tout démontré que c'étaient des tribunaux mixtes qui appliquaient les peines spirituelles et corporelles prévues par ZSL. Ce qui nous paraît beaucoup plus vraisemblable, c'est que le ZSL, élaboré peu après la conversion au christianisme, prévoyait aussi bien des peines spirituelles que des peines corporelles sans égard à des tribunaux mixtes, mais pour répondre à la tendance chrétienne de la nouvelle législation, ce qui différencie d'une manière fondamentale le ZSL des lois et des pratiques païennes en vigueur jusqu'alors.

En ce qui concerne la manière dont étaient infligées, par les tribunaux, les peines corporelles et les peines spirituelles prévues dans le ZSL, trois interprétations sont possibles :

L'interprétation la plus proche qui nous vient de premier abord à l'esprit, c'est que les deux sortes de peines étaient infligées toujours ensemble, par un seul et même tribunal. C'est la thèse du professeur Schmid. Cependant, le texte même du ZSL nous fournit la preuve qu'il n'en était pas toujours ainsi.

Pour l'incendie volontaire, le ZSL prévoit suivant la loi séculière la peine de mort, et selon la loi d'église 12 ans de jeûne (art. 15 du ZSL).

Il est tout à fait évident que les deux peines n'ont pu être infligées en même temps.

L'art. 8 du ZSL prévoit dans le cas de séduction d'une vierge que le séducteur a dans la suite refusé d'épouser, le paiement d'une livre d'or, c'est-à-dire 72 pièces d'or, et 7 ans de jeûne. En cas d'insolvabilité du séducteur, cette peine est remplacée par la cession de la moitié des biens du séducteur à la fille séduite, respectivement par le châtimement corporel, l'exil, en même temps que 7 ans d'épitymie. Dans les cas de viol et de séduction d'une vierge fiancée, le ZSL prévoit en principe dans ses art. 9 et 11 uniquement la peine séculière (la vente en esclavage, respectivement l'ablation du nez). Si les peines ecclésiastiques et les peines séculières étaient infligées ensemble il n'est pas bien clair pour quelle raison n'a pas été prévue une épitymie dans ces cas, bien que la peine épitymique fût ici encore plus indispensable. S'il fallait que celui qui avait séduit une vierge se repentît, il fallait encore plus que se repentît celui qui avait violé une vierge. S'il était nécessaire d'infliger à celui qui avait séduit une fiancée vierge une peine ecclésiastique, il était certainement encore plus indispensable au point de vue de l'Eglise de punir celui qui avait violé une fiancée vierge.

La rélation même des textes qui prévoient en même temps une peine ecclésiastique et une peine séculière ne s'accorde pas avec la thèse de l'application simultanée des deux sortes de peines. Ainsi, par exemple, l'art. 7 du ZSL prévoit, suivant la loi séculière, la séparation et l'ablation du nez, et suivant la loi d'Eglise la peine de la séparation et de 15 ans de jeûne. Si les deux peines étaient appliquées simultanément, il n'aurait pas été nécessaire de mentionner deux fois la sanction de la séparation.

La deuxième interprétation possible des textes comprenant des peines spirituelles et corporelles serait que le ZSL s'appliquait aussi bien par les tribunaux ecclésiastiques que par les tribunaux séculiers. Les tribunaux ecclésiastiques infligeraient les peines ecclésiastiques, tandis que les tribunaux séculiers infligeraient les peines séculières. Un pareil point de vue, qui paraît parfaitement logique à première vue, n'est pourtant pas en concordance avec les textes.

La première question qui se pose est celle de savoir quel fut le critère de distinction des infractions suivant le droit séculier et suivant la loi de l'Eglise.

Le viol est, par exemple, une transgression aussi bien à la loi séculière qu'à la loi de l'Eglise. Comment pourrions-nous alors nous expliquer que le viol était puni uniquement par la loi séculière? Pourquoi le violeur ne subissait-il pas de peines ecclésiastiques, alors que le séducteur



par exemple en subissait ? Il est difficile de trouver une réponse satisfaisante à toutes ces questions si nous adoptons la thèse que les normes respectives du ZSL étaient appliquées indépendamment par les tribunaux ecclésiastiques et par les tribunaux séculiers.

Ayant en vue ces difficultés auxquelles se heurte la thèse de l'application simultanée des peines ecclésiastiques et séculières, nous devons admettre que les peines ecclésiastiques et séculières n'étaient pas toujours appliquées simultanément et cumulativement, et que dans la plupart des cas leur application était alternative. Ainsi que nous le montre l'analyse des textes, une pareille solution est valable sans aucune réserve aux cas où parallèlement avec les peines ecclésiastiques sont prévues aussi des peines corporelles (y compris la peine de mort).

Cette interprétation correspond d'ailleurs le plus aux circonstances dans lesquelles le ZSL fut créé. Nous avons déjà dit que le ZSL fut créé peu après la conversion au christianisme du peuple bulgare afin qu'il répondît aux exigences que posait cet acte politique de l'État bulgare. Il était aussi le moyen par lequel devait être imposée la nouvelle religion et la nouvelle morale chrétienne.

C'est justement pour cette raison que le ZSL établit en tout premier lieu des peines contre les païens et contre ceux qui portent atteinte à la morale chrétienne. Et comme la morale chrétienne se distinguait sensiblement de la morale païenne, le législateur devait lui attribuer une attention tout à fait particulière et lui réserver une partie relativement grande des textes de la loi. Mais il devait aussi prendre en considération les difficultés qui devaient inévitablement surgir dans son application. S'il a été nécessaire de punir rigoureusement l'opposition consciente et volontaire contre la religion chrétienne (ceux qui officiaient des services païens étaient remis en dépendance féodale à l'Eglise ou bien étaient vendus en esclavage), il n'en était pas du tout de même en ce qui concerne l'ignorance en matière de morale chrétienne. C'est pourquoi l'auteur du ZSL a prévu, s'écartant sciemment du texte de l'*Eclogue*, pour les cas de mariage entre parents, la simple séparation des coupables au lieu de la peine de mort ou d'un autre châtiment corporel. C'est précisément dans le domaine des peines pour les délits contre la religion que l'auteur du ZSL a fait les écarts les plus sensibles du texte de l'*Eclogue*.

En matière de délits contre la morale chrétienne l'auteur du ZSL a prévu parallèlement aux peines corporelles incluses dans l'*Eclogue*, aussi des peines spirituelles. Il est fort probable que l'auteur de la loi se fût servi de quelques modèles existant à cette époque pour instituer les peines

et en rédiger les textes concernant ces peines. Schmid parle d'un pareil modèle<sup>10</sup>. Pourtant il ressort évidemment du contenu de la loi même que son auteur n'a pas suivi aveuglement les modèles dont il s'est servi. Tout comme il a modifié les sanctions contre les païens, ainsi que les dispositions de l'*Eclogue*, en considération du fait que le christianisme était une religion nouvellement imposée en Bulgarie, l'auteur du ZSL a de même tenu compte, en ce qui concerne les peines ecclésiastiques, des conditions spécifiques dans lesquelles la nouvelle législation devait être appliquée. Le législateur a laissé au tribunal la possibilité d'atténuer la rigueur de la peine corporelle prévue dans l'*Eclogue* dans les cas où le coupable s'est repenti ou lorsqu'il ne concevait pas pleinement la gravité de son acte ou bien pour d'autres raisons spécifiques du cas concret. Dans de pareils cas le tribunal devait infliger la peine spirituelle au lieu de la peine corporelle prévue en tout premier lieu dans les dispositions pénales. Il est hors de doute que de cette façon on réservait au tribunal la possibilité de gagner pour la cause de la nouvelle religion certains milieux de la société.

Il est vrai qu'une pareille combinaison de peines ecclésiastiques et séculières choque notre sens juridique contemporain. Mais nous ne devons pas perdre de vue le côté spécifique des conditions à l'époque de la conversion au christianisme, nous ne devons pas perdre de vue l'édification à peine commencée de l'organisation et de la hiérarchie de l'Eglise dans le pays, c'est-à-dire l'époque à laquelle il n'existait pas encore une pleine séparation des pouvoirs ecclésiastique et séculier. Il n'y a donc rien d'étrange qu'à cette époque, dans les conditions tout à fait spécifiques immédiatement après la conversion au christianisme, lorsque tous les efforts étaient dirigés vers l'instauration et la consolidation de la nouvelle religion, on se servit de modèles étrangers suivant les besoins du moment.

Rappelons d'ailleurs une autre circonstance qui a contribué à ce que le tribunal séculier fût autorisé à infliger les peines ecclésiastiques. Les peines ecclésiastiques, telles qu'elles étaient prévues dans le ZSL, étaient toujours très précisément formulées, de manière que le tribunal n'eût qu'à qualifier l'infraction commise, selon le texte respectif du ZSL, pour que fût fixée exactement la peine ecclésiastique correspondante (7, 12 ou 15 ans de jeûne) qui devait être infligée. Quant à l'application de l'épitymie par le tribunal, c'était l'Eglise orthodoxe qui s'en chargeait.

Par conséquent, la manière dont ont été établies dans le ZSL les peines spirituelles et corporelles est loin d'être un argument en faveur

<sup>10</sup> *Op. cit.*, p. 401.

de l'origine moravienne ou pannonienne de cette loi. Tout au contraire, il y a là un argument contre une pareille thèse. Car, si on peut déceler dans le ZSL un certain manque de compréhension de la nature des peines ecclésiastiques et une interférence des fonctions de la juridiction séculière et ecclésiastique, il n'en est pas moins probable et vraisemblable que ce manque de compréhension et cette interférence aient pu se produire justement en Bulgarie aussitôt après la conversion au christianisme, et non pas en Moravie ou en Pannonie un demi-siècle après que les peuples de ces pays eurent adopté la foi chrétienne. Mais ce qui nous semble plus important c'est que nous ne pourrions nullement attribuer à Méthode, encore moins à son frère Cyrille, donc à d'aussi excellents connaisseurs des dogmes de l'Eglise, cette application originale des peines spirituelles et corporelles, due au fond à la confusion des lois ecclésiastiques et séculières.

---

## ПРЯМОЕ ВИЗАНТИЙСКОЕ ВЛИЯНИЕ В РУМЫНСКОМ ЯЗЫКЕ

### ХАРАЛАМБ МИХЭЕСКУ

После поражения Святослава у Доростола (Силистра) в 971 г. Восточная Болгария была присоединена к византийской империи и организована как отдельная провинция (фема) со столицей в Доростоле. Она охватывала Восточную Болгарию и нынешнюю Добруджу, имея во главе правителя с титулом *στρατηγός, κητεπάνω* или *δούξ*. Источники называют его «вождем городов и земель у Дуная» *ἄρχων τῶν περὶ τὸν Ἰστρὸν πόλεων καὶ χωρίων, ἄρχων τῶν παριστρίων πόλεων* или *ἄρχων τῶν περὶ τὸν Ἰστρὸν πόλεων*, фема же называлась «Паристрион», «Парадунавон» или же «Парадунавис». Царь Восточной Болгарии был взят в плен, а болгарский патриарх из Доростола был низведен до ранга митрополита и подчинен юрисдикции константинопольского патриарха. Западная Болгария (с Македонией и южной Албанией) со столицей в Преспе, а затем в Охриде, сохраняла независимость еще примерно полстолетия, а потом была покорена в 1018 г. византийским императором Василием II. Она была организована как византийская фема с наименованием «Болгария» с главным городом в Скопле, а Охрида превратилась в резиденцию архиепископа, от которого зависели и проживавшие на территории этой провинции влады.

Таким образом, весь полуостров теперь снова принадлежал целиком византийской империи, впервые после массивной колонизации славян. Границы империи проходили на западе по Адриатике, на севере по Драве и Дунаю до его устья, на востоке включали Малую Азию, а на юге доходили до Крита и включали всю Грецию. Период времени от 970 до 1025 гг. представляет самые блестящие страницы военной истории Византии, являясь в то же время апогеем византийской куль-

туры и искусства. В 1018—1143 гг. западная граница шла от Белграда до Шкодера, а северная от Белграда вдоль Дуная вплоть до его устья. В 1180 г. граница империи все еще проходила через Белград и по реке Драве до Шибеницы (Шибеник), а оттуда направлялась на юг и к Адриати е. Лишь после 1185 г. со времени восстания влахов и болгар в Хаемосе под предводительством братьев Петра и Асеня для империи наступили тяжелые времена, которые привели к непрерывному сужению ее столь обширных ранее рубежей. Примерно между 970 и 1185 гг., то есть в течение более двух веков, Византия, находясь на вершине своего военного и культурного могущества, оказывала сильнейшее влияние на славян Балканского полуострова, а также и на романизованное население придунайских земель. Отступление византийцев за Дунай совпадает с экспансией печенегов на левом берегу реки. В 1057 г. печенегов сменили половцы. Таким образом, одновременно с прямым византийским воздействием на румынский язык, началось и влияние тюркских народов<sup>1</sup>.

Византийское господство в Добрудже в 972—1185 гг. подтверждается и материальными доказательствами, выявленными археологическими исследованиями. Число золотых монет равняется почти 200, а бронзовых — свыше 1000. Они распределяются, почти без перерыва, от императора Иоанна Цимисхия (969—976) до Алексея III (1195—1203); монеты были найдены, главным образом, в следующих центрах: Бисерикуце (Гарвэн), Исакче, Тульче и Тузле. В Влашке было найдено 32 монеты, датирующихся 1143—1195 гг., а в Трансильвании — 201 монета, относящиеся к 1081—1180 гг. Общее число византийских монет X—XII вв. равняется по крайней мере 1 732 штукам; они были найдены на румынской территории, простирающейся от Понта до венгерской границы. И Венгрия в XI—XII вв. имела общую с Византией границу и также была подвержена влиянию византийской культуры<sup>2</sup>.

В Диногетии, Мангалии, Новиодунуме и Томисе было найдено 73 амфоры византийского происхождения, относящихся к X—XII вв. Печати были найдены в Новиодунуме (Исакча), Диногетии, Константи-

<sup>1</sup> V. N. Zlatarski, *Geschichte der Bulgaren*, I, Лейпциг, 1918, стр. 72—79.

<sup>2</sup> C. Moșil, в «Buletinul Societății numismatice române», IX (1914), 25; «Arhiva Dobrogei», I (1916), 149; W. Knechtel, «Buletinul Societății numismatice române», XVI (1921), стр. 10—12; I. Minea, *Influența bizantină în regiunea carpato-dunăreană pînă la sfîrșitul secolului al XIII-lea în baza monetelor răspîndite*, в «Buletinul Societății numismatice române», XXVII—XXVIII (1933—1934), стр. 97—114; G. Ștefan, «Dacia», VII—VIII (1937—1940), стр. 421—425; N. Bănescu, *Les duchés byzantins de Paristrion (Paradounavon) et de Bulgarie*, Бухарест, 1946, стр. 106—108; I. Barnea, *Relațiile dintre așezarea de la Biserița — Gardan și Bizanț în secolele X—XII*, в «Studii și cercetări de istorie veche», IV (1953), стр. 649—651; I. Băncilă, в «Studii și cercetări de numismatică», I (1957), стр. 425—438, II (1958), стр. 417—418; I. Sabău, в «Studii și cercetări de numismatică», II (1958), стр. 269—301.

ниане Дафне и вблизи Кэлэраша. Византийские свинцовые гири были открыты в Констанце и Новиодунуме. У мыса Доложман находятся остатки двух византийских базилик; там же был обнаружен красивый реликвийный крест. Множество фрагментов глазурованной керамики X—XII вв. было найдено в Аксиополисе, Капидаве, Карсиуме, Диногетии, Новиодунуме, Преславе и Троемисе.

Особо сильному византийскому влиянию подверглась Добруджа, входившая тогда в состав империи. Дунай не представлял из себя препятствие, а, наоборот, скорее являлся средством взаимного сближения и ознакомления. Он связывал Византию с Западом и Северной Европой и являлся местом встречи людей из разных стран<sup>3</sup>.

Товары из крупных производственных центров империи, особенно из Константинополя и Салоник, отправляли на север по двум путям: по воде и по суше. Вдоль понтийских берегов они прибывали на румынскую территорию прежде всего в Мангалию (*Mangalia*). Наименование этого порта появляется в навигационных картах XIV и XV вв. в форме *Pangalia*, *Pangalea*, *Pangala*, *Pangalla*, *Pangalay*, *Panguala*, *Pangali*, *Pancalici*. Лишь в 1593 г. встречается нынешняя форма *Mangalia*. Можно предположить, что последняя форма с *M* — была более древней и общенародной, тогда как форма с *P* — основывалась на византийских источниках, которые делали сближение между *παῦ* «всё» и *καλή* «красивая» и писали *Παγκάλεα*. Написание с *k* вместо *g* возможно было обязано своим появлением тому факту, что *γ* начало иотизироваться в разговорной речи. Предположение о существовании связи с корнем слова *Kallatis* кажется менее вероятным<sup>4</sup>.

Название города Констанцы встречается у византийских писателей, например у Константина Порфирородного, Кедреноса и др. в форме *Κωνσταντία*. В навигационных картах Пьетро Весконтте, относящихся к 1311—1318 гг., дается форма *Constanza* с произношением *Констанца*. У других итальянских картографов имеется написание *Constansa*, *Constanza*, *Costanza*. В румынский язык это наименование перешло из ви-

<sup>3</sup> W. Knechtel, в «Buletinul Societății numismatice române», XII (1915), стр. 80—97; N. Bănescu, *O colecție de sigilii bizantine inedite*, в «Analele Academiei Române. Memoriile Secțiunii istorice», s. III, XX (1938), стр. 115—126; P. Nicorescu, в «Bulletin historique de l'Académie Roumaine», XXV (1944), стр. 95—101; I. Barnea, в «Studii și cercetări de istorie veche», V (1954), стр. 513—530; A. Elian, *Les rapports byzantino-roumains. Phases principales et traits caractéristiques*, в «Byzantinoslavica», XIX (1958), стр. 216: «Les relations n'eurent ni l'ampleur, ni la continuité qui leur eussent permis d'être vraiment utiles pour la civilisation roumaine, à ses modestes débuts».

<sup>4</sup> I. Grămadă, *La Scizia Minore nelle carte nautiche del medio evo. Contribuzione alla topografia storica della Dobrogea*, в «Ephemeris Dacoromana», IV (1930), стр. 212—256; N. Iorga, *Istoria romnilor*, II, Бухарест, 1936, стр. 18; I. Barnea, в «Materiale și cercetări arheologice», VI (1959), стр. 903—911.

зантийского, по-видимому в X—XII вв., и не является результатом внутренней фонетической эволюции, так как  $o + n$  дали бы  $u + n$ , а  $a + n$  дали бы  $i + n$ . Следовательно, слово само по себе не может служить аргументом в пользу непрерывного бытования романского элемента в Добрудже<sup>5</sup>.

Название Сулина дается в навигационных картах (1311—1318 гг.) Пьетро Веконте. В навигационных картах имеются и формы *Selina*, *Selinaï*, а в X в. у Константина Порфирородного встречается написание *Selinas* и указывается Сулинский рукав (ἔρχονται εἰς τὸν Σελινάν, εἰς τὸ τοῦ Δανουβίου ποταμοῦ λεγόμενου παρακλάδιον), однако там же к этому названию присоединено и слово «река» (ἔθωσε τὸν Σελινάν ποταμὸν). Н. Грэмэдэ сближает наименование «Сулина» с латинским *salinae* и полагает, что оно означает «соленая вода» (*laguna salifera*), цитируя в качестве топонимической аналогии *Tuzla*, что означает по-турецки «соль». Однако слово *Sulina* византийского происхождения: по среднегречески *σηλίνα* означает «канал, труба». По новогречески *σωλήναρι* имеет смысл «дымоход, водосточная труба, канал»; оно перешло в болгарский язык (*сулинар* «ледяная сосулька») и в румынский (*sulinar* «канал, труба, по которой течет вода»). Слово *σωλήν*, а в винительном падеже *σωλήνα*, в смысле «канал, трубопровод», встречается у Геродота и у Страбона. В славяно-румынских документах XV в. *sulinar* означает «водопровод»<sup>6</sup>.

Тот факт, что в XI в. византийский флот регулярно плавал по Дунаю, вытекает из одного упоминания в религиозноописательной литературе: в жизнеописании святого Кирилла из местечка Фили, расположенного на фракийском побережье Понта Эвксинского, недалеко от Константинополя, рассказывается, что в дни своей молодости святой прослужил три года моряком на Дунае: «Плавали в дунайские крепости, по делам, а когда их кончали, возвращались домой» (ἀπ᾿ήλθομέν ποτε εἰς τὰ παρὰ Δάνουβιν φρούρια διὰ τινὰ πραγμάτων καὶ ἀνύσαντες αὐτὴν ὑποστρέφομεν οἴκαδε)<sup>7</sup>.

Наименование порта Корабия, расположенного на Дунае против устья реки Искар, также указывает на стоянку византийского флота. Само наименование проникло раньше к румынам через славян, а закре-

<sup>5</sup> Grămadă, *ук. соч.*, стр. 220, 238—239.

<sup>6</sup> Konstantine Porphyrogenitus, *De administrando imperio*. Будапешт, 1949, стр. 9, 90—100; Grămadă, *ук. соч.*, стр. 244—245; I. A. Candrea, *Dicționarul enciclopedic «Cartea Românească»*, 1931, s.v.; Damian P. Bogdan, *Glosarul cuvintelor românești din documentele slavo-române*, Бухарест, 1946, стр. 106; N. P. Andriotis, *Dictionnaire étymologique du grec moderne*, Афины, 1951, стр. 247.

<sup>7</sup> X. Лопарев, в журнале «Византийский Временник», IV (1897), стр. 378—401

пилось оно, вне сомнения, в результате торговой деятельности в X—XII вв. под влиянием Византии<sup>8</sup>.

О Калафате в документах упоминается еще в 1400 г. В XV в. там находился таможенный пункт. Это название пришло к румынам не через генуезцев либо турок, а существовало еще во времена византийского господства, т.е. в X—XII вв. Ведя свое происхождение из арабского языка («калафа», «каллаф» — смазывать корабль смолой, по румынски *a călăfătu*), слово вошло в греческий византийский язык (*καλαφάτης, καλαφάτειν*), итальянский (*kalafatare*), провансальский (*calafatar*), испанский и португальский языки (*calafetar*), турецкий (*калафат*), болгарский (*калафат*) и сербохорватский (*kalafátam*). Имя существительное *Καλαφάτης* «обмазывающий смолой» появляется в документах еще до VI в., а в 1051 г. встречается собственное имя Γεώργιος ὁ Καλαφάτης<sup>9</sup>. У Никиты Хониатоса имеется глагол *καλαφάτίζειν* со значением «конопатить паклей и смазывать смолой щели между досками корабля». Распространение слова в столь обширном ареале имело место еще задолго до прихода турок в Европу: оно осуществилось через моряков византийской империи<sup>10</sup>.

Топоним *Maglavit* вблизи Калафата ставится в связи со словом *μαγγλαβίτης* «сановник по кораблям, капитан кораблей», удостоверенным для XI в. Кекауменосом. Если бы византийское греческое слово производилось как «*maglavitis*», тогда сближение можно было бы принять во внимание<sup>11</sup>.

Доказательством интенсивной деятельности византийского флота на Дунае в X—XII вв. является и сохранение слова *στόλος* «флот» в румынском языке (*stol* «стая птиц»). Слово было общенародным и сохранилось с античных времен до современного греческого языка.

<sup>8</sup> K. Dietrich, в «*Byzantinische Zeitschrift*», XXXI (1931), 46; N. Iorga, *ук. соч.*, II, стр. 293.

<sup>9</sup> *Acta et diplomata Graeca medii aevi sacra et profana, collecta ediderunt Franciscus Miklosich et Josephus Müller, I—IV, Вена, 1860—1890, том V, стр. 7.*

<sup>10</sup> Nicetae Choniatae, *Historia ex recensione Immanuelis Bekkeri*, Бонн, 1835, стр. 717, 24; E. Berneker, *Slawisches etymologisches Wörterbuch*, Гейдельберг, 1908, том I, стр. 470; M. Triandaphyllidis, *Die Lehnwörter der mittelgriechischen Vulgärliteratur*. Штраассбург, 1909, стр. 147; Iorga, *ук. соч.*, II, стр. 293; M. Vasmer, *Russisches etymologisches Wörterbuch*, Гейдельберг, 1953, том I, стр. 614: «*Osm. Kalafat . . . ist wegen der geringen Seetüchtigkeit der Osmanen besonders ungeeignet, als Quelle der russ. Wörter zu gelten eher kommt griech. Vermittlung in Frage*».

<sup>11</sup> Cecaumeni, *Strategicon et incerti scriptoris de officiis regis libellus*, edd. V. Vassilievski — V. Jernstedt, Петрополь, 1896, стр. 97: *ἐπίμησεν αὐτὸν μαγγλαβίτην*; N. Iorga, *Geschichte des rumänischen Volkes im Rahmen seiner Staatsbildungen*, Гота, 1905, том I, стр. 195; A. Graur, в «*Bulletin linguistique*», VI (1938) стр. 155, *μαγγλαβίτης «tortureur»*.



Прокопий называл флот *στόλον νηῶν*, но в то же время и просто *στόλον*<sup>12</sup>. В 968 г. император Никифор Фока говорит о судоходстве, как о монополии своей империи, а в XI в. Кекауменос писал, что «флот — это гордость Византии» (*ὁ στόλος ἐστὶν ἡ δόξα τῆς Ῥωμανίας*)<sup>13</sup>. То обстоятельство, что слово *στόλος* не вошло в аромунское наречие, в болгарский, сербский и албанский языки, т.е. в языки народов, населяющих Балканский полуостров, а лишь в румынский, заставляет нас предположить, что оно пришло на север от Дуная с востока, по водному пути вместе с византийским флотом, а именно — в течение X—XII вв. Итак, слово *στόλος* дало в позднем латинском языке *stolus*, сохранившееся и в итальянском (*stuolo*), провансальском диалекте и в староиспанском языке (*estol*), в то время как в румынский язык оно вошло непосредственно из византийского. Следует отметить, что это слово сохранилось в речи прибрежного населения, внутри же континента исчезло. С румынами связь установилась по Дунаю<sup>14</sup>.

По суше весьма важный путь шел из Константинополя в Адрианополь, Ямбол, Преслав, Шумен, Разград и Русе, а оттуда через Дунай и от Джурджу на Брашов и дальше. Это был самый короткий путь армий, но в то же время он служил и для распространения товаров, идей и легенд. Ярмарки и рынки имели обычно каждый своего покровителя, т.е. святого, их оберегающего, и для чужестранных торговцев было гораздо легче сохранить в памяти имя святого, чем настоящее название соответствующей местности. Начиная с IX в. в Болгарии распространился культ святого Георгия, исходивший из Константинополя и распространившийся оттуда до устья Дуная. Византийская сфрагистика свидетельствует о том, как широко этот культ бы распространен в столице и на всем протяжении империи. Встретившись с этим явлением крестоносцы называли Босфор: *bracchium S. Georgii* (пролив св. Георгия). У Пробатона, к востоку от Адрианополя, протекает река св. Георгия, а в Константинополе, Ямболе, Варне и Провадии были церкви, посвященные св. Георгию. Наконец, название города Джурджу, как и южного рукава дунайской дельты, также напоминают о том же святом. Георгиевское горло Дуная, называемое в древности

<sup>12</sup> Procopii Caesariensis, *Bella* . . . recognovit J. Haury, Лейпциг, 1905, том I = I, 20, 1; III, 2, 31; III, 5, 1; III, 6, 1.

<sup>13</sup> Barnea, *Relațiile* . . ., стр. 645.

<sup>14</sup> G. Murnu, *Studiu asupra elementului grec ante-fanariot în limba română*, Бухарест, 1894, стр. 53—54; O. Densușianu, *Histoire de la langue roumaine*, Париж, 1901, том I, стр. 358; *stol* «groupe, nuée» en face du byz. *στόλος* «flotte» montre aussi une altération sémasiologique, mais . . . facile à comprendre»; C. Jireček, *Geschichte der Serben*, Wien, 1911, том I, стр. 185: «Die byzantinische Flotte . . . im 7. — 8. Jahrhundert die erste des Mittelmeeres».

Ἱερὸν στόμα «святое гирло» или же καλὸν στόμα «красивое гирло», отмечено в карте Пьетро Веконте в 1311—1318 гг. под названием *s(an)c(t) Georgii* или *Georgy*. Так как название *San Giorgio* не имеется в итальянских водах, допустимо предположить, что итальянские моряки взяли это наименование от византийцев и приспособили к своему языку уже существующее наименование (ὁ ἅγιος Γεώργιος). Таким образом, большое число местностей с наименованием св. Георгий, начиная от Константинополя и до устья Дуная, тесно связано с непрерывным движением людей и их материальных ценностей, указывая на один из наиболее крупных путей проникновения византийской торговли и культуры в направлении Румынии<sup>15</sup>.

Култ св. Дмитрия в Салониках оставил следы в топонимии вплоть до Савы и Дуная. В Салониках было очень много мастерских, в которых искусные мастера обрабатывали медь, железо, олово и выделывали стеклянные изделия; сюда на ярмарки, которые организовывались каждую осень в день св. Дмитрия, покровителя города, собирались купцы из Болгарии, Скифии, Кавказа, Греции, Египта, Испании, Галлии и Германии. В одной анонимной хронике XII в. читаем следующее об этом октябрьском празднике (ἑορτή): „На него текут рекой не только обычные массы местных жителей, но и люди с разных сторон, отовсюду, греки, мисиены (болгары) из ближайших мест и различные народы даже от Истра (Дуная) и даже из Скифии»<sup>16</sup>. Обычай устраивать подобные ярмарки распространился на северо-запад. В Прилепе, в окружностях монастыря Тресковек, каждую осень накануне дня святого Дмитрия, регулярно устраивалась ярмарка. Скопле представлял собой значительный торговый центр, в котором встречались купцы греки и сербы. Выше по долине Вардара находилось местечко Димитрово(Митровица)возникшее в подобных же экономических условиях — в связи с празднованием святого Дмитрия. В Новим Пазаре на реке Ибор, притоке Моравы, находился храм святого и ежегодно в его день устраивалась ярмарка. В древнем Сирмиуме (ныне Митровица), на Саве, в XI в. существовала церковь святого Дмитрия и ежегодно устраи-

<sup>15</sup> *Acta sanctorum* . . . collegit Ioannes Bollandus, editio nova curante Ioanna Carmandet, Париж—Брюссель, 1845, Novembris III 615 d: *Bracchium S. Gergii = fretum Bosphorus*; C. Jireček, *Geschichte der Bulgaren*, Прага, 1876, стр. 32—33; K. Dietrich, в «Byzantinische Zeitschrift», XXXI (1931), стр. 51—54.

<sup>16</sup> Timarion, 5, стр. 171 (apud Th. L. F. Tafel, *De Thessalonica eiusque agro*, Berlin, 1839, стр. 228): Συῦρεῖ γὰρ ἐπ’ αὐτὴν οὐ μόνον αὐτόχθων ἄλλος καὶ ἰθαγενής, ἀλλὰ καὶ πάντοθεν καὶ παντοῖς, Ἑλλήνων τῶν ἀπανταχοῦ, Μυσῶν τῶν παροικοῦ νῦν γένη παντοδαπὰ Ἴστρου μέχρι καὶ Σκυθικῆς . . . A. Ellissen, *Analekten der mittel- und neugriechischen Literatur*, Лейпциг, 1860, том IV, стр. 41—186; «Византийский Временник», VI (1953), стр. 357—386.

валась ярмарка. Наконец, на Дунае, название местечка Смедерово, находящегося к востоку от Белграда, истолковывалось Петаром Скоком как славинизированное имя Сымедру (Сумедру), образованное от *Sanctus Demetrius*.

Заслуживает быть отмеченным здесь и тот факт, что в 1186 г. влахи из Хаемуса построили, под руководством Петра и Асения, церковь, посвященную святому Дмитрию, что снова указывает на Салоники и на его знаменитую торговую и религиозную традицию. Таким образом, из Салоников византийская промышленная продукция и культура распространялась на север по долинам рек Струмы, Моравы и Вардара, доходя до Дуная и до романизированного населения этих мест<sup>17</sup>.

Константинополь был местом встречи между Азией и Европой, между Африкой и народами Северного Причерноморья. До арабской экспансии Византия имела самый могущественный флот на Средиземном море и поистине господствовала на воде. После прихода на Балканский полуостров славян древний культурный центр на Босфоре сохранил свое хозяйственное и экономическое значение, являясь первым торговым и культурным городом начальной эпохи европейского феодализма. В IX—X вв. славяне приняли христианство и вошли в непосредственное соприкосновение с византийской литературой, а впоследствии в течение ряда веков находились даже под владычеством Византии. Через торговлю распространялась и культура, переходя от одного народа к другому. В XI в. на территории империи проживали греки, славяне, македонские румыны, албанцы, армяне, турки, готы, авары и т. д. Константинополь был главным производственным центром того времени, в нем находилось много мастерских и там встречались купцы со всего мира. Рабин Веньямин Тудельский описывая путешествия из Испании в Иерусалим, около 1155 г., отмечает в своем дневнике: «В него стекаются для торговли купцы из Вавилона, Шинара (Месопотамии), Медии, Персии, Египта, Ханаана, России, Венгрии, Патзнакии, Хазарии, Ломбардии и Сефарада (Испания). Это шумный, деловой город, в который прибывают товары по суше и по морю из всех стран. Не существует в мире города, который может сравниться с ним, может быть разве Багдад — великая крепость мусульманства»<sup>18</sup>. В придунайские края Византия вывозила шерстяные, льняные, хлопча-

<sup>17</sup> Nicetae Choniatae, *Historia* I, 5, стр. 485, 9—10; C. Jireček, *Staat und Gesellschaft im mittelalterlichen Serbien. Studien zur Kulturgeschichte des 13.—15. Jahrhunderts*, Вена, 1912, том II, стр. 56; P. Skok, в «Zeitschrift für romanische Philologie», XXXVIII (1914), стр. 552: «Smeredovo, germ. ung. Semendria, ist wahrscheinlich rum. Smedru, Sumedru».

<sup>18</sup> M. V. Levtschenko, *Byzance des origines à 1453*, Париж, 1949, стр. 165; I. Barnea, *Relațiile . . .* стр., 661—662.

тобумажные и шелковые ткани, пурпур, драгоценности, игрушки, жемчуг, слоновую кость и т.д. Она посредничала в импорте пряностей с Востока и организовывала продажу предметов роскоши господствующим классам среди славян и румын<sup>19</sup>.

В те времена одним из основных предметов торговли был шелк. На своей родине, в Китае, он был известен за 5000 лет до нашей эры, а оттуда постепенно распространился и на запад. В IV в. в небольших количествах его производили в Персии и в Константинополе<sup>20</sup>, а при Юстиниане торговля с Индией и Китаем увеличилась, но обмен осуществлялся через посредство персов и товары были чрезвычайно дороги<sup>21</sup>. Поэтому в Византию привезли шелкоочных червей и организовали производство шелка в большом масштабе. Со временем оно достигло большого расцвета и не только в Константинополе, но и в остальной части империи, а именно в Антиохии, Тире, Бейруте и Тебе. Будучи государственной монополией, производство шелка стало одной из наиболее активных и доходных отраслей византийской промышленности<sup>22</sup>. Все же должно было пройти много лет, пока местная промышленность была в состоянии покрывать все нужды. В X в. уже работало пять корпораций (*μεταξοπράται*), но лишь в XI и XII вв. производству шелка удалось достигнуть наивысшего, возможного тогда размаха<sup>23</sup>.

Античные греки называли *Серес* (*Σήρες*) азиатский народ, занимавшийся производством шелка, в котором ныне мы вправе видеть китайцев. Греки называли также *сер* (*σίρ*), а в множественном числе *серес* (*σῆρες*), шелкоочных червей. Прилагательное *σηρικός*, *-ή*, *-όν* обозначало «шелковый», а *σηρικόν* имело смысл «шелковая одежда или ткань». Слово вошло в латинский язык в формах *sericus*, *serica*, *sericum* и ассоциировалось со словом *seta* «волос», породив выражение *serica seta* «шелк». Форма *seta* (с написанием и *saeta*) вошло в далматский

<sup>19</sup> N. Iorga, *Formes byzantines et réalités balcaniques*. Leçons faites à la Sorbonne, Париж, 1922, стр. 23; «Ce nouvel Empire n'a pas été une autre forme de l'Empire continental romain; il a été une thalassocratie, une domination de la Mer, jusqu'à l'apparition des Arabes»; K. Dieterich, в «Byzantinische Zeitschrift», XXI (1931), стр. 50: «Zusammenfassend können wir sagen, dass das ganze ostbulgarische und westserbische Gebiet als die eigentliche Domäne des griechischen Handels in byzantinischer Zeit zu gelten hat»; A. A. Vasiliev, *Histoire de l'empire byzantin*, Париж, 1932, том II, стр. 138.

<sup>20</sup> А. Пигулевская, «Византийский Временник» X (1956), стр. 3—8.

<sup>21</sup> Hennig, в «Byzantinische Zeitschrift», XXXIII (1933), стр. 295 и след.; А. Пигулевская, в «Византийский Временник» XXVI (1947), стр. 184 и след.

<sup>22</sup> G. Ostrogorsky, *Geschichte des byzantinischen Staates*, 2. Aufl., Мюнхен, 1952, стр. 62.

<sup>23</sup> W. Heyd, *Histoire du commerce du Levant au moyen-âge*, Лейпциг, 1885, том II, стр. 12; I. Sakâzov, *Bulgarische Wirtschaftsgeschichte*, Берлин-Лейпциг, 1929, стр. 43: «Der bulgarische Adel lernte von dem byzantinischen den Gebrauch von Seidenstoffen und kostbaren Mänteln. Tsvetel erhielt im Jahre 705 aus Byzanz seidene Kleider und rotes Leder als Geschenk»; A. Philippson, *Das byzantinische Reich als geographische Erscheinung*, Лейпциг, 1929, стр. 17 и 52; L. Bréhier, *Le monde byzantin*, Париж, 1950, том III, стр. 212—213.

язык (*saita*), итальянский (*seta*), сардологудорский (*seḍa*), энгадинский (*saida*), французский (*soie*), провансальский и каталонский, испанский и португальский (*scḍa*) языки. Прилагательное *sericus -a, -um* через латинский язык распространилось среди германских народов в период раннего феодализма и оставило след в староанглийском языке (*sioloc*), в северном старогерманском (*silki*) и верхнем старогерманском (*silecho*), а оттуда перешло к западным и северным славянам (русское *шелк*, украинское и белорусское *шолк*, древнерусский XIII в. *шьлк*)<sup>24</sup>. Итак, это был один из путей распространения шелка, который можно назвать средиземноморским и западно-центрально-североевропейским.

Из *μέταξα* родилось латинское слово *mataxa* «нить, пучек, связка, моток», которое встречается еще во II в до н.э. у поэта Лучилия, а затем в трудах архитектора Витрувия. Доказательством того, что слово *mataxa* в этом смысле было действительно общенародным, служит и тот факт, что оно сохранилось в романских языках с тем же значением, а именно в итальянском (*madassa*), сардо-кампиданезском (*madassa*), старо-французском (*maisse*), провансальском (*madaisa*) и каталонском (*medeixa*) наречиях, в испанском (*majeja*) и португальском (*medeixa*) языках. После третьего века нашей эры у юристконсульты Марциануса и в Кодексе Феодосия появляется форма *mataxa* со значением «необработанный шелк», которая не сохранила в дальнейшем тот же смысл в романских языках. Известно, что там для понятия «шелк» закрепилось слово *seta*. Итак, можно считать, что в западном латинском языке имелся более старый слой со словом *mataxa* «нитка, пучек, моток», распространенным и общенародным; существовало также и более позднее, пришедшее из Византии наслоение *metaxa* со значением «шелк», но общенародным оно не стало. Народ говорил *seta* или *seta serica*. В пределах Византийской империи шелк назывался *σηρικόν*, но с начала VI века в текстах все чаще появляется слово *μέταξα*. Когда говорилось о шелке, то даже Прокопий чувствовал необходимость дать разъяснение, то есть сделать глоссу, а это означало, что слово *μέταξα* в смысле «шелк» казалось неправильным: *ἡ μέταξα, ἐξ ἧς εἰώθασι τὴν ἐσθῆτα ἐργάζεσθαι, ἦν πάλαι Ἑλληνας Μηδικὴν ἐκάλουν, τανῦν δὲ σηρικὴν ὀνομάζουσιν*. «Шелк, из которого обычно делается одежда и который греки когда-то называли *Μηδικήν* теперь называется *σηρικὴν*»<sup>25</sup>. В VI веке оно приняло форму *μέταξα* встречающуюся у Ионесса Лидоса и Менандроса, форму *μετάξιον* у Космаса Индикоплеустоса и форму *μέταξον* у неоплатоника Дамас-

<sup>24</sup> W. Meyer-Lübke, *Rumänisches etymologisches Wörterbuch*, Гейдельберг, 1935, ном. 7498; M. Vasmer, REW, III, 387.

<sup>25</sup> Procop. *Bella*, I, 20, 9.

киоса. Позднее его употребление возрастает и μέταξα становится частым и обычным выражением. В середине VIII века встречаем у Феофана форму μέταξις, наряду с формой μέταξα. В результате форма μετάξιον, а во множественном μετάξια, распространилась в византийской литературе наряду с прочими формами, тогда как форма σπριχόν считалась архаической. Можем считать, что форма μετάξιον была общенародной, так как ее имеем и в новогреческом языке (μετάξι). Но форма μετάξιον сохранилась и в Южной Италии, в Бове (*matáttsi, metáttsi*) и Отранто (*matáttsi*), будучи завезена туда в VI в., во время византийского владычества. Через византийцев форма множественного числа μετάξια вошла, в X—XII вв., и в речь романизированного населения придунайских областей и дала румынскую форму *mătasă*. Формы *mătase, mătasi* из арумунского и форма *mătasi* в мегленорумынском наречии являются средневековыми, тогда как форма *mitacse* у арумун из Эпира была заимствована из новогреческого языка. Богатство производных в румынском языке (*mătăsar, mătăsarie, mătăsică, mătăsos*), как и личное имя *Matasă*, засвидетельствованное в Молдове в 1428 г. и в Мунтении (*Mătasă*) в 1645 г., показывают, что слово *mătasă* вошло в румынский язык, весьма вероятно, в течение XI века, когда граница Византийской империи проходила по Дунаю. В славянских текстах, в старорусском и в болгарском языках понятие «шелк» выражалось словом *копрѣна*, а в сербохорватском (*копрѣна* или *копрѣна*). Слово это толкуется как местное. Следовательно южные славяне приняли для понятия «шелк» свое собственное, более древнее слово, не позаимствовав от греков μέταξα или μετάξιον, как это сделало романизированное население. Это был *второй путь* шелка в Европу: с Востока через Византию, до романизированного населения придунайских стран<sup>26</sup>.

Торговые связи между Византией и романизированным населением придунайских стран в X—XII вв. засвидетельствованы рядом торговых терминов, сохранившихся в румынском языке. Слова эти не оставили следов в языках южных славян, но сохранились в румынском языке,

<sup>26</sup> Procop. *Bella*, I, 106, 7; II, 546, 19; *Anecd.* 25, 14—21 ἡμέτερα τὰ ἐκ τῆς μετὰξίης; Ioann. Lyd. 163, 8; Menand. 295, 23; 302, 9; Kosm. Indik. 90 с μετάξιον, 445 d, 488 в μετὰξις; Theoph. 276, 4; 494, 13 μετὰξια; Laon. Chalk. I, 4 τρεφεῖ ἡ χώρα αὐτῆ μετὰξια τε καλλίστην ποιοῦν νη; Lucil. 1992 eodem deferat . . . plumbi pauzillum rodus limique mataxam; Vitruv. VII, 3, 2 mataxae tomice; Marclan. *Dig.* XXXIX 4, 16, 7 species pertinentes ed vectigal . . . metaxa, vestis serica vel subserica; Cod. Theod. XII, 20, 13, sericoblattae ac metaxae . . . publice murice tinguebantur; Isid. *Orig.* XIX, 29, 6 mataxa quasi metaxa a circuitu scilicet filorum . . .; F. O. Weise, *Die griechischen Wörter im Latein*, Лейпциг, 1882, стр. 459; G. Rohlf, *Etymologisches Wörterbuch der unteritalienischen Gräzität*, Галле, 1930, 1371; Th. Capidan, *Meglenoromîniî*, Бухарест, 1935, II, стр. 185.

что доказывает их непосредственное проникновение. Они не имеют архаической фонетики, которая свидетельствовала бы о их древнегреческом происхождении, но вместе с тем не являются недавними грецизмами, вошедшими в язык после XVI века, так как имеют много производных и частично засвидетельствованы в средневековых источниках. Глагол *agonisi* «копить, собирать средства, заработанные тяжким трудом» появляется еще в XVI в. как в религиозных текстах, так и в общенародных, со следующими производными: *agoniseald*, *agonisire*, *agonisit* — существительные; *agonisit*, *agonisitã*, *agonisitor* — прилагательные. Распространение его по всей территории страны, а также и у аромун (*agunsescu*) опять-таки указывает на древность этого слова. Оно существовало в языке еще до XVI в. и вошло в него вероятно в то время, когда Византийская империя еще господствовала на Дунае, то есть в X—XII вв. У византийских писателей IX в. глагол ἀγωνίζω или ἀγωνίζομαι означает «борюсь за что-то». С близким смыслом глагол перешел в древнеславянский, в котором *агонисовати* означает «быть в агонии, бороться со смертью». Нужно отметить, что это слово пришло в Румынию торговым путем, в то время как в древнеславянский язык оно вошло через церковные книги, чем и объясняются различия в его смысле. Ниже приводятся три цитаты из византийской литературы до XV в., из которых вытекает тогдашний его смысл: ἀγωνίζομένους... μετὰ ταπεινώσεως εἰς τε δόξαν θεοῦ «тех кто борется... со смирением, во славу Божию»; καὶ αὐτὸς μὲν ἀγωνίσηται περὶ τῶν προσκαίρων καὶ φθαρτῶν τοῦ βίου τούτου βοηθῆσαι αὐτοῖς «и он будет бороться со слабостями и всем преходящим в этой жизни, чтобы помочь себе этим»; προθυμίαν ἀγωνίζεσθαι τῷ λόγῳ — «завоевать» благоволение словами<sup>27</sup>. Румынский смысл не препятствует выводить [это слово из древнеславянского и направляет непосредственно к византийскому источнику, где ἀγωνίζω, ἀγωνίζομαι означает «борюсь, стараюсь», а также и «достигаю результата борьбы, добиваюсь старанием, зарабатываю трудом и в борьбе». Г. Мурну отмечает, что это слово «с точки зрения понятия является продуктом собственно румынского мышления», а Б. П. Хашдеу считает его юридическим термином. Наиболее вероятной гипотезой является, кажется, предусматривающая смысл «зарабатывать, добывать, собирать», уже существовавший в византийском гре-

<sup>27</sup> Die Haupturkunden für die Geschichte der Athosklöster . . . , Лейпциг, 1894, стр. 117, 13; 125, 30; 138, 23.

ческом языке в торговых, религиозных либо юридических кругах и рано вошедший в румынский язык торговым путем<sup>28</sup>.

Грецизм ἀρραβῶν, в винительном падеже ἀρραβῶνα означает на античном греческом языке «задаток, аванс, залог», либо «подарки к помолвке, то что дается при обручении». Оба значения исходят из торговой сферы, но со временем они разделились и изолировались: с первым значением слово сохранилось в румынском языке (*arvună, arvonă, arvoană*), а со вторым — в аромунском наречии (*arăvoană, arvună*). В новогреческом (ἀρραβῶνα) сохранилось также в смысле «помолвка, подарки к помолвке», что наталкивает нас на предположение, что это слово вошло в аромунское наречие из новогреческого языка, в то время как на севере от Дуная оно распространилось торговыми путями в эпоху, предшествующую XVI в., будучи засвидетельствовано в древней румынской литературе с производными (*arvuni, arvunire, arvunit, arvunitor*) и участвуя в изменениях  $o + n > u + n$  из латинских элементов, как *bona > bună* или же по древнеславянски как *лѡнка > лунца*. Все это позволяет считать слово *arvună* заимствование из византийского старогреческого языка, которое перешло в румынский торговым путем еще до XIII в.<sup>29</sup>

*Folos* (с производными *folosi, folosință, folosire, folositor*) — это старое, общеупотребительное слово, встречающееся до XVI в. \*Οφέλος — «польза, преимущество», появляется в документах II—IV вв., а в византийском греческом языке встречается и в форме φελός, вне сомнения общенародной (наряду с φελεσάμενος), откуда оно в форме *folos* и перешло в румынский язык еще до XIII в. *Фелам* «пользуюсь» в болгарском языке также поддерживает предположение, что начальное *o* отпало еще в греческом языке, но ассимиляция *-e-* в *-o-* могла произойти в результате торговой связи<sup>30</sup>.

*Prisos* (с производными *prisosi, prisoseală, prisoselnic, prisosință, prisositor*) — также старое и общенародное слово. Оно вошло в румынский язык не из новогреческого, а из византийско-греческого

<sup>28</sup> E. A. Sophocles, *Greek lexikon of the Roman and Byzantine periods*, Нью-Йорк, 1900, стр. 77; *Dicționarul limbii române*, Бухарест, 1913, s.v.; C. Geagea, *Elementul grec din dialectul aromân*, в «Codrul Cosminului», VII (1931—1932), стр. 205—402.

<sup>29</sup> *Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti Euxini, graecae et latinae*, Петербург, том I, 32 В 34 εἰς τοὺς ἀρραβῶνας ἀπέδοτο πάντα τὰ ἔργα ὑπὸ κήρυκα, Olbia, III век д. н. э.; F. Preisigke, *Wörterbuch der griechischen Papyrusurkunden*, Берлин, 1925, стр. 215; F. Miklosich, *Die Fremdwörter in den slavischen Sprachen*, Вена, 1867, стр. 3; A. Philippi, *Originea romnilor*, Яссы, 1928, том II, стр. 73; Th. Capidan, *Aromânii, Dialectul român, Studiu lingvistic*, Бухарест, 1932, стр. 165.

<sup>30</sup> Preisigke, II, 214; G. N. Hatzidakis, *Einleitung in die neugriechische Grammatik*, Лейпциг, 1892, стр. 147; Н. Tiktin, *Rumänisch-deutsches Wörterbuch*, Бухарест, 1903—1925, s. v.



торговым путем, вероятно в XI либо XII вв. В аромунском наречии, в болгарском и албанском языках оно отсутствует. В сербохорватском встречается в старых религиозных текстах прилагательное *periso* «лишний, обильный», а в диалекте *presosa* «хватит, достаточно», однако оно не проникло в литературный язык и не получило широкого распространения. Поэтому представляется очевидным, что слово пришло в Румынию непосредственно и без сербского посредничества. Прилагательное *περισσός* часто встречается в документах V—VI вв. со значением «богатый, излишний», наречие *περισσῶς* имеет там смысл «излишне, напрасно, тщетно», а у византийских же авторов после VI в. часто отмечаются существительное *περυσσεῖα*, *περυσσεύμα*, *περυσσεύσις* — все со значением «изобилие, излишек», как и глагол *περυσσεύω* «имею в изобилии, излишестве», наряду с прилагательным *περισσός*, *-ή*, *-όν* «обильный, богатый, изобильный»<sup>31</sup>.

*Scafă* (σκάφα) «деревянный сосуд, чашка, ковшик» вошло в румынский язык из византийского, а не из современного греческого, в котором оно имеет другой смысл *σκόφη*, *σκάφιον* «eine Art Schiff, особый тип корабля». Румынское слово — народное и появляется в текстах XVI и XVII вв.; оно имеется и в аромунском и мегленорумынском диалектах (*scafă*), а из греческого византийского проникло и в западно-романские языки, в староитальянский (*scafa*) и старофранцузский (*eschafe*) «*Schalle*». В старогреческом языке слово *σκάφη* «выскобленный сосуд, черпак, колпак» появляется в документах еще в начале нашей эры; у византийских авторов оно продолжает иметь то же значение, но одновременно развилось и значение «выдолбленный корабль». В первом смысле оно сохранилось и в Южной Италии, в Реджио (*skafa*), Отранто (*skafa*), и в Сицилии (*skaffa*)<sup>32</sup>.

Слово *τάγιστρον*, во множественном числе *τάγιστρα* означает «мешок с кормом для лошадей» и засвидетельствовано для X в. В более позднем греческом языке встречаются формы *τάϊστρο*, *τράϊστο*, *τρίστον* доказывающие выпадение *γ* и метатезу *ρ* на почве греческого языка в относительно отдаленную эпоху. Византийско-греческая разновидность отразилась в албанском языке, где встречаем формы *trastë*, *trajstë* и *strajstë*. Формы аромунского диалекта (*trastru*, *trastu*, *tastru*)

<sup>31</sup> M. Vasmer, *Die griechischen Lehnwörter im Serbo-Kroatischen*, Берлин, 1944, стр. 114; I. Popović, *Grčko-srpske lingvističke studije*, в «Zbornik Radova». Vizantiloški Institut, Srpska Akademija Nauka, III (1954) стр. 117—157.

<sup>32</sup> G. Meyer, в «Indogermanische Forschungen», II (1893), стр. 441—443; P. Papahagi, *Quelques influences byzantines sur le macédo-roumain ou aroumain*, в «Revue historique du Sud-Est Européen», II (1925), стр. 185—196; G. Pascu, *Dictionnaire étymologique macédo-roumain*, Яссы, 1925, том II, стр. 4; M. Vasmer, REW, III, 70.

относительно стары и развились непосредственно из византийско-греческого языка. Форма мегленорумынского наречия (*traistur*) показывает большое сходство с румынской формой (*traistă*). Из румынского это слово распространилось на север: через пастухов и мелких торговцев оно попало в русинский, польский и белорусский (*tajstrax*) языки, но не оставило следов у южных славян и у великороссов. Итак, к югу от Дуная для румынского языка отмечается прямое византийское влияние; что же касается русинского, польского и белорусского языков, то здесь мы имеем дело с косвенным проникновением через посредство румынского языка<sup>33</sup>.

Наряду, со словами, попавшими в румынский язык торговыми путями, встречается ряд слов военного происхождения. А это доказывает соприкосновение византийской армии с романизированным населением в X—XII вв. Тот факт, что такие слова укоренились и сохранились в румынском языке до настоящего времени показывает, что романизированное население было в них заинтересовано: либо имело какую-то военную организацию, либо заимствовало от византийцев предметы, называемые подобными терминами. Слово *cort* имелось до XVI в., но в аромунском диалекте его не было, как его нет ни в южнославянских, ни в албанском языках. Оно происходит от византийско-греческого (*κόρτη, κόρτις «tentorium»*) и распространилось на север от Дуная по всей территории румынского языка, а от ардяльских румын перешло в венгерский язык (*kort*) со значением «зонт»<sup>34</sup>.

Слово *sucură* «колчан со стрелами» не имеется ни в аромунском диалекте, ни в южнославянских языках, но существует в албанском (*kukurë*). Как румыны, так и албанцы взяли это слово от византийцев еще до XV в. В византийско-греческом языке слово *κοῦκουρον*, во множественном числе *κοῦκουρα*, со значением «колчан со стрелами» представляло собой обычный термин и имело широкое распространение<sup>35</sup>.

С формальной точки зрения слово *flamura* может происходить непосредственно из латинского *flamma* «небольшая пламя, небольшое знамя». Из латинского слово перешло к византийцам (в форме *φλάμουρον*, а во множественном числе *φλόμουρα*), представляя собой начиная с VI века общенародный термин, и дошло до новогреческого языка. К румынам оно перешло, вероятно, через византийцев<sup>36</sup>.

<sup>33</sup> С. Diclescu, *Elementele vechi grecești din limba română*, в «Dacoromania», IV (1924—1926), стр. 394—516; Meyer-Lübke, REW, 7656.

<sup>34</sup> N. Drăganu, *Romnii în veacurile IX—XIV pe baza toponimiei și onomasticeii*, Бухарест, 1933, стр. 323.

<sup>35</sup> Triandaphyllidis, 148; A. Thumb, в «Indogermanische Forschungen», XXVI (1910), стр. 8.

<sup>36</sup> Triandaphyllidis, 38.

Из персидского (*džebe*) рано вошло в византийско-греческий слово ζάβα «панцырь, броня, кольчуга», наряду с производным ζαβᾶτος «с панцырем, с кольчугой»; оба они засвидетельствованы еще в VI в. Через византийцев оно перешло в средневековый латинский язык в форме *gaba*, в албанский *zavë* и в румынский *ga* (во множественном числе *zale*). Из албанского, в котором это слово означает «пряжку на поясе с оружием», оно было заимствовано аромунским диалектом (*zavë* «застежка»), в то время как на север от Дуная румынам оно было передано из византийско-греческого в своем первоначальном значении, вероятно еще до XIII в.<sup>37</sup>

В X—XII вв. имело место и церковное влияние на романизованное население письменным путем и через миссионеров. Следов этого влияния немного, но они сохранились не только в языке, но и в документах тех времен, распространивших его и дальше за Карпаты. Византийское владычество на Дунае вплоть до Закарпатья в течение почти двух веков обусловило взаимный контакт и ознакомление. Слово *μῆνις* со значением «гнев, ярость» засвидетельствовано еще в III в. до н.э. В IV в. нашей эры встречается выражение *μῆνις ἔρωτος* «безумие любви», а у христианских писателей часто встречается *μῆνις* в смысле «ересь, отступничество». Значение «гнев, ярость» сохранился до новогреческого и было, вне сомнения, народным, в то время как значение «ересь» циркулировало, как технический термин, в церковных кругах. Румынские ротатизмические тексты XVI в. имеют форму с *-n-*, а не с *-r-* (1), что указывает на необходимость исходить из позднегреческой формы, а не из предполагаемого латинского слова *tania*. Византийское слово вошло в албанский язык (*mëni*), в аромунский диалект (*amănie*) и в румынский язык (*mînie*), но не распространилось в широких народных славянских слоях к югу от Дуная<sup>38</sup>.

Слово *ὄργη* «гнев, обида, досада, ярость» с *η* произносимым как *i*, проникло в придунайские страны сравнительно поздно, а именно — после VI в. через посредство христианской религии. В греческом же языке слово осталось в общенародном пользовании вплоть до нашего времени. В древних сербских документах 1186—1196 гг. появляется *org'ija* с тем же значением, но только как заимствование из византийско-греческого языка, а не в качестве общенародного выражения. *Uryje*, *urg'ie* из аромунского и *orgi*, *urgi* из албанского были заимствованы

<sup>37</sup> G. Meyer, *Etymologisches Wörterbuch der albanesischen Sprache*, Штрассбург, 1891, стр. 481.

<sup>38</sup> Presigke, s.v.; A. Rosetti, *Mélanges de linguistique et de philologie*, Бухарест, 1947, стр. 431.

из новогреческого языка, в то время как возникновение румынского слова *urgie* относится к гораздо более раннему периоду, чем XIII в. По образцу *urgie* в церковных кругах родился глагол *urgisi* (из  $\delta\rho\gamma\iota\zeta\omega$ , аорист  $\delta\rho\gamma\iota\sigma\alpha$ ) с производными *urgisire*, *urgisit*<sup>39</sup>.

Также возможным является и византийское влияние в области флоры и фауны. Слово *mintă* «мята» не может исходить ни из латинского *mentha*, ни из древнеславянского *мента*, которое привело бы к \**mîntă*, а скорее развилось из  $\mu\acute{\iota}\nu\delta\alpha$  еще до XIII в.<sup>40</sup>

Слова *mul*, *mulă* из аромунского наречия, *mulă* из мегленорумынского диалекта происходят из *mulus*, *mula*, но косвенным путем, по итальянской линии, иначе нельзя было бы объяснить сохранение межгласного *l*, которое нормально превращается в *-r-*. *Mulăre*, *mlare*, *tblare* «мул» развилось из византийского  $\mu\omicron\upsilon\lambda\acute{\alpha}\rho\iota$ <sup>41</sup>.

Слово *omidă*, по-аромунски *un'idă*, встречается в древних румынских текстах и в основе его лежит греческое слово  $\delta$   $\mu\acute{\iota}\delta\alpha\varsigma$  «насекомое, грызущее хлебные зерна», засвидетельствованное у Теофраста и Гесиописа. Интересно отметить, что греческий артикль сохранился в румынской форме; хотя другие подобные примеры и отсутствуют, это все же может быть объяснено. К румынам слово пришло довольно поздно — после VI века, а в новогреческом не сохранилось<sup>42</sup>.



Но византийское влияние проявилось в Румынии гораздо сильнее косвенным путем, через славян. Еще в VI в. славяне вошли в контакт с греками, а в дальнейшем непрерывно обитали рядом с ними, в то время как романизованное население находилось севернее и было отделено от греков компактными массами славян. Весьма характерно, что сделанные славянами у византийцев заимствования пошли дальше и были переданы и другим народам, как албанцам, венграм, румынам и славянам Восточной и Северной Европы. Такое явление доказывает, что созданная Византией цивилизация соответствовала и была необходима для тех времен, она располагала и живучей материальной

<sup>39</sup> P. Skok, в «Slavia», IV (1925—1923), стр. 344; A. Răzetti, *Istoria limbii române* Бухарест, 1962, том II, стр. 69.

<sup>40</sup> Parahagi, *ук. соч.*, стр. 192; Capidan, *Meglenoromânii*, I, стр. 85.

<sup>41</sup> Miklosich, *Fremdwörter* . . . стр. 38; Philippide, *Originea românilor*, II, стр. 41; A. Ernout — A. Meillet, *Dictionnaire étymologique de la langue latine*, Париж, 1959—1960, стр. 708; St. Mladenov, *Этимологически и правописен речник на българския език*, София, 1941, стр. 295.

<sup>42</sup> Densusianu, *ук. соч.*, I, стр. 557.

базой, являясь посредником между Азией и Европой, имела богатое идеологическое содержание и пользовалась большим престижем, как единственная цивилизация бережно сохранившая полностью античное культурное греко-римское наследие. Когда обитавшие вокруг Византии народы создали своим трудом сходные материальные условия жизни и развили новые производственные отношения, тогда появилась и у них потребность в соответствующей идеологии; обоснование и источник своих чаяний они находили в византийской идеологии. Но существовало не только идейное общение, а наряду с ним весьма активная связь в области торговых отношений, игравшая чрезвычайно важную роль. Тот факт, что византийская терминология в области торговли по целому ряду промышленных отраслей распространилась в некоторых случаях среди всех балканских народов, проникнув и далее на север, показывает, что византийские продукты, опыт и слава охватывали обширный географический ареал. На древнегреческом языке слово *κάματος* означало «тяжелый труд, усилие», но в то же время и «оплата труда». Это слово находим у Гомера, оно часто отмечается в документах конца античного времени у и византийских писателей. Встречалось оно с тем же смыслом и в среднем роде (*κάματος*, а во множественном числе *κάματα*), в котором перешло в древнеславянский язык (*камата*, *камато*), болгарский (*камато*), сербохорватский (*камата* — засвидетельствованное для 1348 г.), румынский (*camătă*), древнерусский (*камато*), албанский (*kamate*) и венгерский (*kamat*). В румынском языке это слово давнее и общеупотребительное и имеет много производных: *cămătar*, *cămătat*, *cămătăresc*, *cămătărește*, *cămătări*, *cămătărie* <sup>43</sup>.

Слово *felie* пришло в румынский язык вероятно через торговлю. Исходя из латинского *offa* «кусок», уменьшительное *offella* через византийское *ὀφέλλιον* оно распространилось в древнеславянском (*фелийя*), болгарском (*фулия*), сербохорватском (*фелийя*, *фулийя*), албанском (*felë*), новогреческом (*φελί*) и румынском (*felie*), а также в аромунском и мегленорумынском диалектах (*fil'je*). Форма *φελί(ον)* имеется в византийском греческом и означает «кусок мяса, хлеба, сыра и т.п.». В румынском языке это слово давнее и повсеместно распространенное <sup>44</sup>.

Слово *ieftin* встречается во всех румынских диалектах и имеет сходную форму в болгарском (*евтин*) и сербохорватском (*йевтин*, *йефтин*), в которых оно является общепринятым. Оно исходит из византийского *εὐθηνός*, *εὐθηνής* «благоденствующий, богатый, дешевый,

<sup>43</sup> Preisigke, I, стр. 753; Miklosch, *Fremdwörter* . . ., 23; Berneker, I стр. 476.

<sup>44</sup> *Corpus glossariorum Latinorum*, Лейпциг, 1888—1923, том II, стр. 390; I. Popović, в «Zbornik Radova. Vizantiloški Institut». Srpska Akademija Nauka, II (1953) стр. 199—237.

важиточный» и вошло в румынский язык при посредстве славянского; слово это в румынском языке старое и общеупотребительное, имеет производные *iefteni, ieftenire, ieftesug, ieftinătate, ieftior*<sup>45</sup>.

В документах первых веков нашей эры слово *λείπειν* имело и непереходный смысл «отсутствовать, оставаться снаружи». У византийского писателя VIII в. Теофанеса слово *λείψις* означает «недостаток, бедность». Оба эти слова рано распространились по обширному ареалу — в древнеславянском языке (*лупсати*), болгарском (*лупсам* «исчезаю, умираю», *лупса* «недостача»), сербохорватском (*лупсам, лупсати* «исчезнуть, отсутствовать»), албанском (*lipset* «отсутствую», *lipsi* «недостача») и румынском (*lipsire, lipsit, lipsă, lipsi*). Этот термин используется в коммерческих сделках и вошел в румынский язык еще до XIII в. через славян<sup>46</sup>.

Под словом *λίτρα* в древнегреческих и византийских текстах понимается «монета определенной тяжести», а также «мера объема либо тяжести». Слово это принято в торговле и вошло в древнеславянский язык (*литра*), болгарский (*литра*), сербохорватский (*литра*), румынский (*litră*), албанский (*litrë*) и турецкий (литра). В Молдове «литра» равнялась 322 граммам или 389 миллилитрам, а в Мунтении 317 граммам или же 320 миллилитрам<sup>47</sup>.

Общие названия для «аромата, запаха, духов» в болгарском, сербохорватском и румынском языках греческого происхождения, а этот факт может быть поставлен в связь с торговлей пряностями, которая велась через посредство Византии. От корня *μυρ-* прежде всего имеем *mir, mirui* «миро», «помазать миром», образованные от слова *μύρον*, вошедшего в румынский язык из древнеславянского. Слово *μυρίζω* «смазываю духами, душу» оставило след в сербских текстах XV в. (*мирисати*), в сербохорватском языке (*мирисати, мирисам*) и в аромунском наречии (*an'urdzescu*), с *υ* произносимым как *ю*, что имеет место и в греческом языке. Слово *μύρισμα* «смазывание духами» бытует в древнеславянском и болгарском языках (*миризма*), в румынском (*miriazmă*) и аромунском диалекте (*an'urizma*). Слово *μύρον*, *μύρων*, аорист *ἐμύρωσθ*, сохранилось в древнеславянском (*миросати*), болгарском (*миросам*), сербохорватском (*миросати*), албанском (*miros*), румынском (*mirosi*) языках и мегленорумынском наречии (*miruses*). От слова *mirosi* в

<sup>45</sup> Berneker, I, стр. 455; K. Dieterich, в «Byzantinische Zeitschrift», XXXI (1931), стр. 336; M. Vasmer, *Die griechischen Lehnwörter im Serbo-Kroatischen* . . . , стр. 71.

<sup>46</sup> G. Meyer, *ук. соч.*, стр. 247.

<sup>47</sup> *Actes de Lavra*. Edition diplomatique et critique par Germaine Rouillard et Paul Collomp, Париж, 1937; 1, 28; 16, 26; 49, 13.

румынском языке произошли *miros*, *miroseală*, *mirosenie*, *mirosire*, *mirositor*. От византийского  $\mu\rho\omega\delta\iota\alpha$  «духи» при посредстве славянского суффикса *-ение* получилось *mirodenie*, отразившееся и в южнославянских языках (*миродийя*, *миродийон*). Распространение этих слов в обширном ареале свидетельствует о широких масштабах торговли благовониями, осуществлявшейся церковью и представителями господствующего класса <sup>48</sup>.

Пришедшее с Востока (афганское *vrize*) наименование риса распространилось на запад при посредстве латинского языка (*oryza*, итальянское *riso*, французское *ris*, далматинское *rizе*), а на Балканах через византийский греческий язык (древнегреческое  $\beta\rho\upsilon\zeta\alpha$ , средневековое  $\beta\rho\upsilon\zeta\iota\omicron\nu$ , старосербское *ориз*, сербохорватское *ориз*, албанское *ориз*, болгарское *ориз*, румынское *орез*, северное аромунское *ориз*) <sup>49</sup>.

В VI веке перец привозили с Востока, но его потребляли не крестьяне, так как цена была слишком велика. Лишь в XI—XV вв. он получил более широкое распространение, хотя и продолжал оставаться дорогим и встречался на столе лишь у зажиточных людей. На запад соответствующее слово пришло через латинский язык (*pipер*, итальянский *пере*, далматинский *репро*), а на Балканы — через византийский греческий ( $\pi\iota\pi\acute{\epsilon}\rho\iota$ ). Оно засвидетельствовано в древнеславянском (*пъперъ*), в старосербском (*пипер*, в 1350 г.), болгарском (*пипер*); албанском (*pipер*), новогреческом ( $\pi\iota\pi\acute{\epsilon}\rho\iota$ ), румынском (*pipер*, в 1413 г.) языках и аромунском наречии (*pipер*, *kiper*). Торговля перцем особенно развилась после XII в., а главными транзитными для Европы пунктами были Константинополь и Салоники. В румынский язык это слово вошло до XV в <sup>50</sup>.

В византийском греческом языке было обычным, широко распространенным слово  $\pi\iota\tau\tau\alpha$  «сдобный хлеб, пирог». Оно засвидетельствовано в поэмах Феодора Продрома, первой половины XII в., и оставило следы в южноитальянских диалектах в Бове, Отранто, Катанзаре и Калабрии. Оно рано вошло во все балканские языки, а также и в румынский, венгерский и турецкий. В аромунском диалекте оно сохранилось со значением «пирог», в то время как в румынском получило общее понятие — «хлеб». Один из жителей окрестностей Тресковецкого монастыря вблизи Прилепа в документе сербского короля Сте-

<sup>48</sup> Kr. Sandfeld, *Linguistique balkanique. Problèmes et résultats*, Париж, 1930, стр. 31; K. Dietrich, в «Byzantinische Zeitschrift», XXI (1931), стр. 348; A. Graur, в «Bulletin linguistique», IV (1936), стр. 102—103.

<sup>49</sup> Miklosich, *Fremdwörter* . . ., стр. 43; Capidan, *Aromunii* 165.

<sup>50</sup> Heyd, II, стр. 658—664; *Documente privitoare la relațiile Țării Românești cu Brașovul și cu Țara Ungurească în sec. XV și XVI* . . . de I. Bogdan, Бухарест, 1905, том I, стр. 3.

фана Душана (1331—1355) фигурирует с прозвищем Пожрипита — «пожирающий пирог». В одном румынском документе 1723 г. из Бистрицкого архива сельские священники жаловались, что села выделяли их сыновей как самостоятельных, хотя они и не были «chilini» (то есть выделены со своей семьей и хозяйством), а «într-o pită» (жили одной семьей с родителями), напоминая что сыновья «жудей» (*juzi*) «крайников» (*craînici*) и «слибодников» (*slibodnici*) были освобождены от налогов. Выражение «cel care este într-o pită» имело, следовательно, юридическое значение и соответствовало греческому σύφομος. Распространение слова *pită* в столь обширном ареале происходило через торговлю в эпоху наибольшей политической экспансии Византии в XI веке <sup>51</sup>.

Глагол *προκόπτω* «успеваю, достигаю какой-то цели» был обычным у византийских писателей. Выражение *ἐπρόκοψαν μέγᾱλως* можно было бы передать по румынски, как *s-au procopsit grozav* («страшно подработали»). Слово рано вошло в болгарский язык (*прокопсвам, прокопсувам*), сербский (*прокопсат, прокопсати, прокопсуйя*, «польза выгода»), албанский (*prokóps*) языки, арумунское (*prucupsescu, pricupsescu*) и мегленорумынское (*pricuptses, pricuptsit, pricupsit*) наречия и румынский язык *procopsi, procopseală, procopsire, procopsit, neprocopsit*. Распространение слова происходило, вероятно, при посредстве торговли <sup>52</sup>.

Латинизм *sapo* «мыло» перешел в греческий язык еще в начале нашей эры (*σάπων*) и распространился по всей Византийской империи в форме *σαπώνιν, σαπούιν*. Точно известно, что в IX в. в Константинополе выделялось мыло и продавалось в очень отдаленные местности. Слово вошло в староболгарский язык (*сапун*), в старосербский (*сапун*), албанский (*sapun*), венгерский (*szappan*), румынский (*săpun*) и турецкий (*сабун*). На западе оно проникло в южноитальянские диалекты, в Бове и Отранто (*sapuni*). В Румынии вариант *săpun* в Мунтению вошел с юга, варианты же *săpon, soron* (в Трансильвании и Молдове) распространились при посредстве венгерского языка. Богатство производных *săpunar, săpunărie, săpunăriță, săpuneală, săpuni*) подтверждает общее пользование и древность слова <sup>53</sup>.

Из византийского *σώνω*, аорист *ἔσωσα* родилось слово *сосайя* «прибыть» в болгарском языке, *sos* «прибываю» в албанском и *sovi*,

<sup>51</sup> *Poèmes prodromiques en grec vulgaire*, Амстердам, 1910, II, 26, стр. 40; *Documente românești din arhivele Bistriței . . . adunate de N. Iorga*, Бухарест, 1900, том II, стр. 108.

<sup>52</sup> *The Chronicle of Morea . . .* Лондон, 1904, стихи 616, 1350, 1355.

<sup>53</sup> Gy. Moravcsik, *A magyar szökincs görög elemei, Emlékkönyv Melich János*, Будапешт, 1942, стр. 264—275.



*sosire, sosit* в румынском. Слово это неизвестно в аромунском наречии, а в другие языки оно вошло через купцов<sup>54</sup>.

Прилагательное *δοστράχινος* «глиняный» часто встречается в документах II—VI вв.: *κάδοι δοστράχινοι* означает «глиняные горшки». Византийское слово *δοστράχινα* «глиняная тарелка» вошло в староболгарский (*стракина*) и румынский языки (*strachină*). Форма без *ο-* была вероятно общепринятой уже в греческом языке, а не сформировалась в румынском же языке в том смысле, что это *ο-* было принято как член: иначе нельзя объяснить староболгарскую форму. Слово дало производные (*străchinoaie, străchioară*) и отразилось в топонимии (*Străchinești*, Питешская и Плоештская обл.) и в ономастике (*Străchinaru*)<sup>55</sup>.

Слово *τήγανον* «плита» засвидетельствовано в III в. до н.э. В византийском греческом языке *τήγανιον* означает «сосуд для жаркого, сковорода»; оно вошло в сицилийский (*tiganu*), албанский (*tigan*), болгарский (*тиган*) и сербохорватский (*тигань*, родительный падеж *тиганья*) языки. Последняя форма указывает на путь проникновения в румынский язык. Фактически *tigaie* в румынском языке и *tigan'ă* в мегленорумынском наречии исходит из формы множественного числа *τήγανια*, в то время как формы в болгарском, албанском языках и аромунском (*tigane*) наречии имеют в своей основе единственное число *τήγανιν*. На север от Дуная слово вошло через сербский язык, либо развивалось из формы множественного числа *τήγανια*<sup>56</sup>.

Глагол *βάπτω* «красить, окрашивать» засвидетельствован в документах до VII в. Наряду с ним встречается *μεταβάπτω* «изменяю цвет окрашиванием». Слово распространилось через ремесленников и купцов и вошло в старосербский (*ванъсати*), в болгарский (*вансувам*), сербохорватский (*вансем*) языки, аромунский (*vopsescu, văpsire*) и мегленорумынский (*văpses, vopses, văpsiri, vopsiri, văpsit, vopsit*) диалекты и в румынский язык (*văpsi, văpsea, văpsar, văpselar, văpselărie, văpsire, văpsitor, văpsitorie*). Форма аориста проникла повсюду, но в румынский язык она вошла, по-видимому, через посредство славянского. Греки издавна занимались окрашиванием тканей, чем и объясняется распространение понятия в соответствующей греческой форме<sup>57</sup>.

Через славян вошли в румынский язык определенные термины для орудий, строительных материалов и общественных категорий.

<sup>54</sup> *The Chronicle of Morea*, стихи 323, 496, 1600; *Chansons populaires grecques des XV<sup>e</sup> et XVI<sup>e</sup> siècles*, Париж, 1931, стр. 478, 613, 618.

<sup>55</sup> F. Miklosich, *Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum*, Вена, 1865, стр. 887; *Indicator alfabetic al localităților din Republica Populară Română*, Бухарест, 1956, стр. 477.

<sup>56</sup> Rohlf, EWUG, 2162.

<sup>57</sup> Preisigke, I, 255.

Эти термины характеризуют в известной мере византийский способ производства и проливают свет на материальную культуру X—XII вв. В древнегреческом слово *ἐργάτης* в общем смысле обозначает «рабочий, работник». В византийскую эпоху, а именно после VI в., произошла ассимиляция  $\epsilon$ - с  $\alpha$ -, приведшая к образованию формы *ἀργάτης*, с закрепившимся значением «сельский работник, поденщик». Слово это бытовало в Италии (неополитанское *argata*), в славянских текстах (*аргатин*), в болгарском языке (*аргат*, *аргатин*), сербохорватском (*аргатин*), албанском (*argat*), новогреческом (*ἀργάτης*), арумунском (*argat*) и мегленорумынском (*argat*) наречиях и в румынском языке (*argat*, *argatǎ*, *argăţel*, *argăţesc*, *argăţi*, *argăţie*, *argăţime*, *argăţire*). Из румынского это слово перешло дальше — в украинский (*аргат*), а из византийского греческого перешло в турецкий (*иргад*, *ергад*). Слово было характерно для феодальных отношений того времени и распространилось почти во всем ареале византийской культуры переходя от одного народа к другому<sup>58</sup>.

Латинизм *caminus* «очаг, камин» оставил следы в общеславянском языке и имеется и теперь в болгарском (*комин*), сербохорватском (*комин*), словенском и польском (*комин*), русском (*камин*) языках. Позже через посредство греческого византийского *κάμινος*, *καμίλιον*, *καμίλι* это слово вошло в староболгарский (*камина*), болгарский (*камин*, *камина*) и сербохорватский (*камина*) языки. А из болгарского перешло затем в румынский (*sămin*)<sup>59</sup>.

У античных греков гончарное искусство получило широкое распространение, а термины как *κεραμεία* «гончарство», *κεραμεῖον* «гончарная мастерская», *κεραμεύς* «гончар», *κεραμεύω* «я занимаюсь гончарством», *κεράμιον* «глиняный сосуд», *κεραμῖς*, *-ίδος* «обоженный кирпич», *κέραμος* «глина, глинозем» были общенародными и широко распространенными. В византийском греческом языке установилась форма *κεραμίδα* «кирпич», перешедшая в древнеславянский (*керамида*), болгарский (*керамида*, *керемида*), румынский (*sărămidă*), русский (*керамида*), албанский (*keramide*), сербохорватский (*керамида*) и турецкий (*керемит*). Из сербохорватского языка слово было заимствовано арумунским наречием (*işur(u)nidă*, *cîrn'idă*) и албанским языком (*kerëmidë*), в то время как в мегленорумынском диалекте (*chirămidă*) и румынском языке оно вошло через болгарское посредство. На севере от

<sup>58</sup> Miklosich, *Fremdwörter* . . . , стр. 3.

<sup>59</sup> М. Фасмер, *Греческие заимствования в старославянском языке*, в «Известия отделения русского языка и словесности Академии Наук», XII, (1907), вып. 2, стр. 197—189.

Дуная оно засвидетельствовано в 1363, 1464, 1569, 1677 гг. и часто фигурирует в нынешних наименованиях местностей. Производные: *cărămidar*, *cărămidărie*, *cărămijoară*<sup>60</sup>.

Из предполагаемого древнего слова \**δερμόνιον* «решето» в южной Италии сохранилось *dermoni*, *dremóni* (в Бове), *drimuni*, *trimuni* (в Реджио), *gremoni*, *grimone* (в Катанзаро). Это слово засвидетельствовано и в современном греческом языке *δερμόνι* в Аиносе, *δριμόνι* во Фракии, *τριμόνι* в Кефалении *δρεμόνι* и *δριμόνι* повсюду в общенародном языке. В более отдаленное время из греческого это слово перешло в аромунский диалект (*dirmon'iu*, *dirmon'e*) и в болгарский язык (*дармон*, *дърмон*, *дармоносван*, *дармонья* «просеивать»), а отсюда в мегленорумынское наречие (*drămon'*, *drămunisets*, *drămunisit*) и румынский язык (*dîrmon*, *dîrmoi*), где оно стало общепринятым и использовалось уже в XVII в., что означает его еще более отдаленное проникновение в язык. В «Истории иероглифической» Димитрия Кантемира читаем следующее: «După ce multe cuvinte, și în ciur și în dîrmoi cernute și zbatute, la mijloc puseră» (После того, как многие слова были сквозь решето просеяны, в середину были поставлены). Слово *δερμόνι* в новогреческом считается развившимся из древнегреческого *δέρμα* «кожа», через производное \**δερμόνιον*, которое античными текстами не засвидетельствовано<sup>61</sup>.

В античном греческом языке *πάτος* имело значение «шаг», а в общенародном греческом позднее означало «пол, слой». Значение «кровать» оно получило лишь в византийском греческом языке, откуда перешло в новогреческий. Значение «пол, слой» в позднегреческом сохранилось в южной Италии, в Апулии (*pato*), но засвидетельствовано также и у византийских писателей. В строительном деле *πάτος* означало «пол, составленный из цветных камешков, художественно расположенных в форме мозаики». Это слово рано перешло в албанский язык (*pat*, *patë* «кровать»), болгарский (*пат* «деревянная кровать»), аромунское (*pat*) «кровать, этаж») и мегленорумынское (*pat*) наречия и в румынский язык (*pat*). В румынский язык оно проникло, по-видимому, через славян<sup>62</sup>.

В античном греческом языке слово *περόνη* означало «булавка, гвоздь». Уменьшительное *περόνιον* было общеупотребляемым и сохра-

<sup>60</sup> Drăganu, *ук. соч.*, стр. 252—253; *ad unum locum . . . secundum vero Olachos Charamida nominatum*, в 1363 г.

<sup>61</sup> D. Cantemir, *Istoria ieroglifică*, стр. 204; N. Camariano, в «Limba română», VIII (1959), стр. 94.

<sup>62</sup> A. Philippide, *Originea romnilor*, II, стр. 726; A. Graur, в «Bulletin linguistique», V (1937), стр. 73—74; G. Rohlfs, в «Zeitschrift für romanische Philologie», LXVIII (1952), стр. 301.

нилось в южной Италии, в Бове (*piruni*), Сицилии (*piruni*), Реджио (*piruni*) и Косензе (*pirune*), а затем перешло на север, в диалекты — романский (*piro*), болонский (*bixón*), пьемонтский (*birun*), ломбардский, венецианский (*piro*) и энгадинский (*pirun*). Из византийского греческого языка оно перешло в древнеславянские тексты (*пирун*, 1466 г.), в сербохорватский (*пирун*, *пирон*, в Тимоке), в аромунский диалект (*peronă*, *pirună*) и румынский язык (*piro*, *piroi*), в котором оно засвидетельствовано еще в XVII веке. Слово удержалось и в новогреческом языке (*πυρόνι*). Распространение на запад произошло через латинскую форму \**piro*, а в румынском мог задержаться и предполагаемый латинизм \**piroanium*. Но кажется более вероятным его распространение из Византии в X—XII вв. через Болгарию и Сербию, до северных придунайских областей <sup>63</sup>.

Слово *πυροστία* «пиростейе — треножник, на который ставится сосуд на огонь» в новогреческом толкуется различно: по мнению одних, оно произошло из предполагаемого \**πῦρ*—*ἔστια* «очаг», по мнению других из *πυρο-στάτης* «пиростейе — дополнительный очаг». Мне не удалось встретить форму *πυροστία* ранее XV в., в то время как форма *πυροστάτης* обычна для византийских писателей. Однако распространение *πυροστία* в новогреческом, в обширном ареале, в Фессалии, Эпире, Фракии, Эталии и Лесбосе показывает, что это слово является общеупотребительным, а следовательно, издавна существующим в языке. Из греческого языка оно перешло в болгарский (*пиростия*), сербохорватский (*пируйстя* — засвидетельствовано в 1685 г.), аромунское (*pirustie*, *pirostie*, *pirustrie*) и мегленорумынское (*pirustiia*) наречия и в румынский язык (*pirostie*, *pirosteie*, *pirostrie* — засвидетельствовано в 1509 г. в Мунтении). На север от Дуная оно пришло, вероятно, через славянский язык <sup>64</sup>.

Начиная еще с X в. у византийских писателей засвидетельствовано слово *σαγίζω* «покрываю коня попоной» и слово *σόγισμα* «конская попона». Последнее слово сохранилось в новогреческом (*σάγμα*, *σόγμα*) и перешло в болгарский язык (*сазма*) и в аромунское наречие (*szamă*) <sup>65</sup>.

Слово *ταγόριον* «мешок для провизии» встречается в X в. у Константина Порфирородного. Оно сохранилось в болгарском языке (*магар* «корзина»), албанском (*taghar*), аромунском наречии (*tăgară*, *tăgare*, *tăgărcică*), турецком (*магар*) и новогреческом (*ταγόρι*) языках <sup>66</sup>.

<sup>63</sup> С. Jireček, *Staat und Gesellschaft im mittelalterlichen Serbien. Studien zur Kulturgeschichte des 13.—15. Jahrhunderts*, I — IV, Вена, 1912—1919, том III, стр. 14.

<sup>64</sup> М. Vasmer, *Ein russisch-byzantinisches Gesprächbuch. Beiträge zur Erforschung der älteren russischen Lexikographie*, Лейпциг, 1922, стр. 106.

<sup>65</sup> Sophocles, 976.

<sup>66</sup> Papahagi, *уж. соч.*, стр. 194.

В античном греческом слово θεμέλιον «основание» засвидетельствовано еще в V в. до нашей эры. Существует и прилагательное θεμέλιος, -ον, а λίθος θεμέλιος означает «краеугольный камень». Выражение ἐκ τῶν θεμελίων или ἀπὸ θεμελίου «от основания» было обычным во времена Перикла у Фукидида. В двуязычной надписи в Скаптопаре (Фракия) 238 года имеется οἱ προγονικοὶ θεμέλιοι, οἱ πατρῷοι θεμέλιοι — «родительские основания». Во времена Прокопия появляется множественная форма τὰ θεμέλια «основания». А в одном из документов Кутлумусского монастыря на Афоне говорится в 1370 г. о валашском воеводе: ἐπὶ τῷ ἐκείνου θεμελίῳ αὐτὸς ἀνωκοδόμησῃ — «на том основании он сам построил». Таким образом с ударением на втором либо третьем от конца слоге (θεμέλιον, θεμελίου, θεμελίων и т.п.) слово было широко распространено в истории греческого языка и засвидетельствовано на протяжении свыше двух тысяч лет. Оно перешло и в древнеславянский язык (темель), болгарский (темел), сербохорватский (тómель, темель, в родительном падеже темеля — 1613 г.; темелити «основать»—1451г.), арумунское (θimel) и мегленорумынское (timeal'ă) наречия, в румынский язык (temei, temeinic, temeinicie, temelie, întemeia, întemcietor) албанский (θemel', θemel'i) и турецкий (темель). На север от Дуная оно пришло через славянский язык: temeî от славянского темель, а temelie от темел плюс суффикс -ie<sup>67</sup>.

Из Византии в обширном ареале распространились термины, касающиеся письма, учения, воспитания и искусства. Они рано перешли к славянам, а затем через романизованное население и к албанцам. Латинское слово *calamus* «тростник, перо» имело своим производным *calamarium* «коробка для тростника или перьев, сосуд для чернил», сохранившееся в византийском греческом языке (καλαμάριον). Отсюда оно перешло в древнеславянский язык (каламарь), болгарский (каламар), сербохорватский (каламар), албанский (kalamar, calamare), арумунский (călămar, călimar) и мегленорумынский (călămar) диалекты, в румынский (călimară) и турецкий (каламар) языки. Через греческий язык это слово проникло в южноитальянские диалекты (kalamári в Бове и Отранто), а через латинский вошло в венгерский и в западные языки<sup>68</sup>.

Древнегреческое слово κόνδυλος «сжатый кулак, сустав» породило уменьшительное κονδύλιον, получившее в византийскую эпоху особое значение «перо», и вошло в среднеболгарский язык (кондиль), албанский

<sup>67</sup> *Corpus inscriptionum Latinarum*, III, 12336; *Procop. Bell.* II, 14, 22; II, 29, 42; VIII, 11, 13; *Actes de Kullumus*. Édition diplomatique par Paul Lemerle, Париж, 1945—1946, 30, 40.

<sup>68</sup> Nicetae Choniatae, *Historia*, стр. 786, 24.

(*condil'*), аромунский *cundil'u*, *condil'u*) и мегленорумынский (*kondilil*) диалекты и румынский язык (*condei*). Возможно, что этот термин вошел в румынский язык и непосредственно из византийского греческого еще в X в.<sup>69</sup>

Форма *δάσκαλος* для *διδάσκαλος* была обычной в византийском греческом языке. Она вошла в древнеславянский язык (*даскаль*), болгарский (*даскал*), сербский (*даскал*), аромунское наречие (*dascal*) и румынский, в котором породило очень много производных как *dăscălaș*, *dăscălește*, *dăscăli*, *dăscălicesc*, *dăscălie*, *dăscălime*, *dăscălit*, *dăscăliță*<sup>70</sup>.

Из древнегреческого слова *δίακωνος* «служитель» в византийское время родились формы *δίακων* и *δίακος*. Последняя была обычной и в латинских документах того времени (*diacus*). Это слово вошло в древнеславянский (*дякъ*), старосербский (*диѡѡкъ* — 1189 г., в смысле «писатель, секретарь»; *диѡѡкъ* — 1367 г.), русский (*дякъ*), румынский (*diac*) и венгерский (*deak*). Г. Мурну отмечает, что значение «секретарь» не имеется в греческом языке и возникло в процессе исторического развития румынского языка. Однако упомянутое значение ясно засвидетельствовано в старосербском языке в 1189 г.; оно рано зародилось в канцеляриях того времени, тогда как в церковных книгах слово продолжало существовать с более старым значением «служитель алтаря». К румынам и венграм слово пришло по славянской линии в X или XI веке<sup>71</sup>.

Древнегреческое слово *χάρτης* «книга, документ» дало латинское *charta*; уменьшительное *χαρτίον* с множественным *χαρτία* широко употреблялось после IV в., а через византийцев распространилось в обширном ареале — в Южной Италии, на Балканском полуострове, у румын и в России. Слово появляется в древнеславянском языке (*хартия*, в 945 г.), в старорусском (*хартїя* «документ», XI в.), старосербском (*хартия*, *хартьїя*, XIV в.) и в румынском (*hîrtie*, *hîrtierie*, *hîrtioară*, *hîrtiuță*). С VII века бумагой торговали арабы, а в XII—XIII вв. ее выделывали в Италии и Испании. Все же она продолжала оставаться дорогой и достать ее было трудно, с ней конкурировал пергамент. На юге от Дуная и у румын ею начали широко пользоваться лишь начиная с XIV в. В XV в. ее потребление увеличилось, а в XVI в. стало обычным. Первый, известный в Румынии документ на бумаге относится к 1406 г., ко времени Мирчи Старого. Но слово *hîrtie*, которым славяне пользо-

<sup>69</sup> O. Densusianu, *Histoire de la langue roumaine*, Париж, 1901, том I. стр. 357.

<sup>70</sup> G. Meyer, *ук. соч.*, стр. 83.

<sup>71</sup> Berneker, I, стр. 198—199.

вались еще с X в., было, вне сомнения, известно румынам, при всем том, что его распространение среди широких масс началось лишь в XIV в.<sup>72</sup>

Древнегреческий глагол παιδεύω означает «выращиваю, воспитываю, поучаю». Еще в начале нашей эры, в труде Семидесяти толковников и в писаниях Нового Завета он имел значение «наказываю». Оба эти смысла шли параллельно и дальше, а через церковную литературу смысл «наказываю» перешел в древнеславянский язык (*педенсати*), старосербский (*педенсати*, *педенсати*, засвидетельствованный после 1300 г), сербохорватский (*паденса* «наказание», *педенсати*, *педьенсати*, *педилсати* «наказывать»), болгарский (*педенсам*, *педенсавам*, *педенсване*), в армунский (*pedipsescu*) и мегленорумынский (*pedipsez*, *pedipsiri*, *pedipsit*, *pideapsă*) диалекты и в румынский язык (*pedeapsă*, *pedepsi*, *pedepsire*, *pedepsit*, *pedepsitor*). С этим смыслом слово вошло в румынский язык еще до XIII в., но в старой румынской литературе XVII—XVIII вв. оно встречается и с первоначальным значением старогреческого языка, т.е. в смысле «воспитывать, учить». Так, в Библии 1688 г. читаем: «И это сделал при переводе священного писания, претерпев много трудностей и достаточно расходов, поставив с одной стороны знающих эллинский язык учителей . . ., а с другой стороны, и местных людей, не только изучивших наш язык (*pedepsiți în a noastră limbă*), но изучивших и эллинский язык». В *Pildele filozofești* 1713 г. имеется другой убедительный пример: «Беден не тот, что отца не имеет, а тот у кого нет знаний и образования» (*n-are învățătură și bună pedepsire*). Г. Мурну считает, что значение «наказывать» проникло в румынский язык в более древнюю эпоху через церковные произведения и стало общеупотребительным, в то время как значение «воспитывать, поучать» наслоилось через литературу лишь в XVII в., но не закрепилось и со временем исчезло<sup>73</sup>.

Из византийской литературы проникли в румынский язык косвенным путем несколько терминов из области флоры и фауны. Носителями таких наименований были не только религиозные произведения, но все культурное движение, исходившее из Византии, которое распространилось на север и северо-запад Восточной Европы во время максимальной экспансии византийской цивилизации. Каштан появился прежде всего в Закавказье и в Малой Азии, а оттуда был перенесен

<sup>72</sup> G. Ionescu, *Contribuțiuni la studiul începuturilor întrebuințării hrtiei în cancelariile Valahiei (Țării Românești) și Moldovei*, в «Studii și cercetări de istorie medie», II (1951), 1, стр. 77—90.

<sup>73</sup> L. Șătneanu, *Încercare asupra semasiologiei limbii române. Studii istorice despre tranzițiunea sensurilor*, Бухарест, 1887, стр. 25—27; G. Murnu, *ук. соч.*, стр. 43—45.

в Грецию и Италию. В болгарский язык проник рано в форме *костен*, а позже и в форме *кастан*. В румынский язык вошел из греческого византийского через славян после X в. <sup>74</sup>.

В греческом византийском языке имеется форма *καμήλα* «верблюду» с производным *καμηλάριος* «погонщик верблюдов». Она вошла в древнеславянский язык (*камилль*), болгарский (*камила*), сербохорватский (*камила*), албанский (*kamilla, kamilë*), аромунское (*cămilă*) и мегленорумынское (*cămilă*) наречия и в румынский язык (*cămilă, cămilar*). В молдавском документе 1443 г. встречается собственное имя *Cămilă*, а в топонимии XVI в. *Cămilești* — село на реке Бырлад <sup>75</sup>.

Слово *πυρός* «пшеница», засвидетельствованное еще у Гомера отразилось в древнеславянском (*пуро* «полба») и в сербском (*пур*). В румынский язык слово это (*pir*, «злаковое растение с ползучим стеблем») пришло через славян <sup>76</sup>.

В старогреческом языке слово *βλαστός* означает «то, что растет, отросток, побег», а *βλαστέω* «расту, даю побег». Позднее производное *βλαστάριον* «отросток, побег» стало общенародным и вошло в новогреческий язык (*βλαστόρι*). Из греческого византийского *βλαστάριον*, произносимого как *vlastárin* и как *lastárin*, в старославянском языке появилось *ластар*, в болгарском *ластар*, в сербохорватском *ластар* (в XIV—XV вв.), в албанском (*vlastár, l'astar*), в аромунском (*vlăstar, vlăstare*) и мегленорумынском (*vlăstar*) наречиях, в румынском (*vlăstar, vlăstări, vlăstăret, vlăstăriș, lăstar, lăstăraș, lăstărel, lăstărică, lăstăriș, lăstări, lăstării*) и в турецком (*ластаруа*) языках. Для сербохорватской формы *ластър* М. Васмер указывает на аналогию Ласи = Власи в Черногории. Присутствие на обширном пространстве двойных форм в болгарском, албанском и румынском языках объясняется существованием дублетов в первоначальном языке, т.е. в греческом византийском, либо последующим книжным влиянием <sup>77</sup>.

*Вишня* из древнеславянского языка, *вишня* из болгарского и сербского, *višnjë* из албанского, *vișină* из румынского Г. Мейер ставит в связь с греческим словом *βύσσινος* «красный как пурпур, пурпурный». Хоопс обращает внимание на параллелизм *wihselā* из верхнего древнегерманского языка, *vyšna* из литовского и приходит к выводу,

<sup>74</sup> J. Hoops, *Waldbäume und Kulturpflanzen im germanischen Altertum*, Штрассбург, 1905, стр. 551—552.

<sup>75</sup> *Documente privind istoria României. A. Moldova, Veacul al XVI-lea*, Бухарест, 1951, том III, стр. 324, 461.

<sup>76</sup> F. Miklosich, *Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen*, Вена, 1886, стр. 269.

<sup>77</sup> P. Skok, в «*Slavia*», IV (1925—1926), стр. 344.



что это слово славянского корня. М. Васмер ставит под знак вопроса обе эти этимологии, оставляя вопрос открытым для будущих исследований. Вишня в диком состоянии растет в Закавказье, а оттуда распространилась по обширной зоне на запад, в Европу<sup>78</sup>.

Через славян вошел в румынский язык от византийцев глагол *a părăsi*. Глагол *παράσω* (будущее время *παράξω*) «оставляю в стороне, пренебрегаю», засвидетельствованный в документах VIII в., вошел в сербский язык (*paraciti*) и в румынский (*părăsi, părăsire, părăsit, părăsitură*), в котором стал общеупотребительным и распространенным повсюду<sup>79</sup>.

В X—XII вв. Византийская империя находилась в непосредственном контакте с романизированным населением придунайских земель и свыше двух веков Дунай оставался северной границей империи. Политическое влияние Византии распространилось тогда и на север от Дуная на Трансильванию и Венгрию. Византийская культура дошла вплоть до России, Польши, Богемии и Северной Италии, а вырабатываемые в Константинополе товары, как и привозимые при его посредстве, расходились в обширном географическом ареале, в который входила и румынская территория. Связи романизированного населения придунайских земель с византийской империей были тогда довольно крепки и оставили следы в разговорной речи. Топонимы *Constanța, Sulina, Calafat, Maglavit* имеют византийское происхождение и могут служить свидетельством активности торгового флота империи вдоль румынского морского побережья и по Дунаю до Железных Ворот. В это время в разговорную речь романизированного придунайского как северного, так и южного населения вошло непосредственно из греческого византийского языка 18 слов: *agonisi, arvonă, cort, cucură, folos, flamură, mătasă, mîntă, mînie*, в арумунское наречие *mulare, omidă, prisos, scafă, stol, traistă, urgie, urgisi, za (zale)*. Из них 8 относятся к области торговли, 4 к военному искусству, 3 к флоре и фауне, а остальные 3 распространились через посредство церковных кругов. Другие 38 слов вошли в румынский язык косвенным путем, через славян: *argat, camătă, castan, călimară, cămilă, cămin, cărămidă, condei, dascăl, diac, dîrmon, felie, hîrtie, ieftin, lipsi, litră, mireasmă, mirodenie, mirosi, orez, pat, părăsi, pedepsi, piper, pir, piron, pirotei, pită, procopsi, sazmă, săpun, sosi, strachină, tăgare, temei (temelie), țigăie, văpsi, vlăstar (lăstar)*.

<sup>78</sup> Л. П. Якубинский, *История древнерусского языка*, Москва, 1953, стр. 333.

<sup>79</sup> Preisigke, II, стр. 263.

Подавляющее их большинство, а именно — 25, связаны с торговлей, 7 относятся к области дипломатических канцелярий, 4 термина — к флоре и фауне, а 2 отражают домашнюю жизнь. Совершенно отсутствуют слова из области земледелия и пастушества, основных занятий румынского народа в прошлом. Из того, что рассказывает нам язык, вытекает, что, хотя румынский народ не находился в непосредственной близости с греческим, он все же обитал в сфере культурного влияния Византии. Оно сказалось частично непосредственно, но в еще большей мере повлияло на румын через посредство южнодунайских славян. Более близкое исследование византийской цивилизации, как и рассмотрение всего комплекса вопросов Юго-восточной Европы предоставляет возможность лучше ознакомиться с собственной румынской историей.

## RELATIONS CULTURELLES ROUMANO-SERBES AU XVI<sup>e</sup> SIÈCLE

par ION-RADU MIRCEA

La création des Etats féodaux roumains de Valachie et de Moldavie au XIV<sup>e</sup> siècle se produisit justement à l'époque où l'Etat serbe féodal parvenait à l'apogée de son prestige politique et culturel. Il était normal que ces deux peuples situés au nord et au sud du Danube et qui étaient depuis longtemps liés par des contacts directs et d'étroits rapports le long des voies d'échange qui rattachaient les villes commerciales ou les centres miniers de la côte de l'Adriatique à ceux de Hongrie, de Pologne et des rivages de la mer Noire s'influencassent réciproquement. Plus tard, la lutte commune contre l'expansion vertigineuse de l'Empire ottoman contribua, elle aussi, à créer — cette fois sur le plan politique également — des conditions favorables à la pénétration en Valachie et en Moldavie d'importants éléments de civilisation serbe. Cette pénétration est visible surtout dans la littérature écrite et l'art destinés aux grands féodaux, dans les conditions de la culture, remarquable à beaucoup d'égards, qui se développe en ces temps-là dans les Pays roumains.

L'examen à nouveau de ces relations nous paraît d'autant plus nécessaire aujourd'hui que, ces derniers temps, de nombreuses et riches collections de sources ainsi que des études sérieuses sont venues mettre à la disposition des érudits la documentation permettant d'approfondir l'examen de ces problèmes<sup>1</sup>. Dans les pages qui vont suivre nous

<sup>1</sup> *Istoria României* [Histoire de la Roumanie], Editions de l'Académie de la R.P.R. ; II<sup>e</sup> vol. Le féodalisme de la haute époque. Le féodalisme développé dans les conditions du morcellement féodal, etc., Bucarest, 1962. *Documente privind Istoria României* [Documents

ne chercherons à relever que quelques aspects des relations roumano-serbes, plus particulièrement dans le domaine de la culture, et nous limiterons nos recherches à une période de près d'un siècle, de la dernière décennie du XV<sup>e</sup> siècle au troisième quart du XVI<sup>e</sup>. Si nous nous arrêtons à cette date, c'est qu'elle représente un véritable tournant dans l'évolution de la classe féodale des Pays roumains, au niveau de laquelle a lieu le phénomène culturel slavo-roumain : c'est alors que les familles des grands marchands constantinopolitains de langue grecque commencent à jouer dans la politique de l'Empire ottoman un rôle de plus en plus important. Par conséquent, à partir de cette époque, les princes roumains tendent à orienter leurs relations culturelles — et aussi leurs subsides (beaucoup moindres maintenant, par suite de l'accroissement des charges économiques imposées à leurs pays par la Porte) — vers le monde grec. C'est alors aussi que le roumain — langue des masses — s'affirmait de plus en plus fortement comme langue de culture à l'aide des premiers livres imprimés en roumain. En même temps, l'interruption des voies de commerce menant à l'Adriatique et leur remplacement par un circuit économique fermé, vers le Bosphore, entraînera l'épuisement économique des Pays roumains : les rapports mêmes de ces derniers avec les territoires serbes (déjà épuisés par la même exploitation) tendent donc dorénavant à se réduire à de simples contacts entre les régions situées dans le voisinage immédiat de la frontière danubienne.



Dès la fin du XII<sup>e</sup> siècle l'Etat féodal serbe<sup>2</sup> connut un développement qui culmina avec le couronnement, à Skoplje, en 1346, du « kralj » Étienne Douchan comme « tsar des Grecs et des Serbes ». Ce titre n'affirmait pas une vaine prétention : pour un moment du moins le nouvel empire réussit en effet à réunir sous une seule domination les territoires byzantins et les territoires serbes de la Péninsule balkanique. De sorte, la civilisation du jeune État devint une civilisation mixte gréco-serbe, qui mit en valeur des interpénétrations beaucoup plus anciennes,

---

relatifs à l'histoire de la Roumanie], A. La Moldavie, B. La Valachie, XVI<sup>e</sup> siècle, édités par l'Académie de la R.P.R. ; la Collection « *Cronicle medievala ale României* », publiée par l'Institut d'Histoire de l'Académie de la R.P.R. Outre les études introductives des différents textes médiévaux, nous devons mentionner le livre intitulé *Viața feudală în Țara Românească și Moldova* [La vie féodale en Valachie et Moldavie (XIV<sup>e</sup>—XVII<sup>e</sup> siècles)], Bucarest, 1957, par V. Costăchel, P. P. Panaitescu et A. Cazacu. Une contribution importante à la connaissance de la question a été apportée par les communications de l'*Association des slavistes* de Bucarest, publiées dans les 4 volumes du périodique « *Romanoslavica* ».

<sup>2</sup> Cf. C. Jireček, *Geschichte der Serben*, t. I, Gotha, 1911, p. 281 sqq., et t. II, 1, Gotha, 1918, p. 97 sqq.

qui avaient eu lieu dans ces régions où habitaient ensemble des éléments parlant le grec et d'autres parlant le slave.

Mais, tout au moins sous son aspect politique, cette situation ne dura pas longtemps. En premier lieu, immédiatement après la mort d'Étienne Douchan, survenue en 1355, les tendances centrifuges des grands féodaux, poussés par leurs propres ambitions et intérêts, brisèrent l'unité du tsarat; peu après, la conquête turque — qui sut profiter de ces tendances — parvint à mettre en péril l'indépendance même des régions où avait pris son départ l'ascension de l'État féodal serbe. Une nouvelle tentative de centralisation, qui commence à s'esquisser autour du knèze Lazare, échoua après les défaites essuyées à Čirmen (1371) sur la Maritza <sup>3</sup> et à Kossovo (1389) où Lazare trouva la mort, en combattant les envahisseurs ottomans. Son successeur, le despote Étienne, essaya de trouver une nouvelle position politique pour l'État serbe, en acceptant la souveraineté turque; mais après sa mort, ce vestige même du tsarat de jadis disparut aussi en 1459; la seule survivance de l'ancienne indépendance sera constituée dorénavant — mais pas pour longtemps — par le petit despotat de Podunavie où, sous la protection du royaume hongrois, le pouvoir appartenait à la famille Brancovitch <sup>4</sup> qui descendait, par les femmes, du knèze Lazare.

Par suite de ces événements, de nombreuses familles de grands féodaux de Serbie et de Bosnie ou d'Herzégovine s'étaient réfugiées en Italie, en Hongrie et dans les Pays roumains <sup>5</sup> — continuant, de cette « diaspora », la lutte pour arrêter la conquête turque, au moins, sinon pour reconquérir les territoires balkaniques perdus. Mais d'autres familles du même rang, demeurées sur place, cherchèrent à maintenir leur domination sur leurs territoires ancestraux, soit en passant souvent — purement pour la forme — au mahométisme, soit par des alliances de famille conclues avec les nouveaux maîtres, comme on l'avait déjà tenté, par exemple, avec la « tsarine » Mara, fille du despote de Serbie Georges Brancovitch (1427—1456) et épouse du sultan Mourad II.



Les éléments de la civilisation serbe sont surtout visibles dès le début de l'État féodal, dans les formes que revêt l'organisation

<sup>3</sup> *Istoria Romlniei*, t. II, p. 170, 221—222, 351, 362, 368, 378, 380 et 388.

<sup>4</sup> C. Jireček, *Geschichte der Serben*, t. II, 1, p. 228 et 229; Al. Ivić, *Rodoslovie tablića srpskih dinastija*, III<sup>e</sup> éd., Novisad, 1929, planche II; Emile Picot, *Les Serbes en Hongrie*, Prague, 1873, p. 34.

<sup>5</sup> Dr. Iovan Radonić, *Čurać II Branković, «despot Illirika»*, Cetinje, 1955; C. Jireček, *op. cit.*, t. II, p. 247 et sqq.

des chancelleries princières, des hauts dignitaires et de l'Église<sup>6</sup>. Le slavon de rédaction serbe devient la langue de correspondance non seulement avec les autres pays de culture slave, mais, souvent aussi, avec d'autres pays voisins, dont l'Empire ottoman également<sup>7</sup>. L'architecture religieuse voit se répandre largement le type d'édifice du culte que l'on rencontre à la même époque dans la vallée de la Morava. A la même époque le « pope Nicodème » (mort en 1406), représentant de la civilisation mixte gréco-serbe du XIV<sup>e</sup> siècle, passe — après avoir d'abord dépensé son énergie au sud du Danube — en Olténie, où il fonda pour commencer le monastère de Vodița, puis celui de Tismana : le tétraévangélaire slave copié, enluminé et revêtu d'argent par lui-même ou par les moines arrivés avec lui, représente l'un des plus anciens témoignages des relations culturelles roumano-serbes<sup>8</sup>.

L'activité littéraire des trois premiers siècles d'existence de l'État serbe — bien qu'encore sous la dépendance de la littérature médiobulgare de tradition plus ancienne — acquiert dès le début une place à part au sein de la littérature en langue slave<sup>9</sup>. Ce qui la caractérise, c'est la création historique, d'abord sous la forme hagiographique des « Vies » de princes (considérés et glorifiés comme saints). Les centres de culture de l'époque de début de la littérature serbe sont les monastères, dont celui de Chilandar au Mont Athos — création du fondateur de l'État, Étienne Némanja (devenu saint Siméon) et de ses fils: Sabbas (qui organisa l'Église et la vie monacale serbes) et Étienne « le Premier Couronné », organisateur de l'État sous forme de royaume. On renoua à Chilandar la tradition byzantine des écrits hagiographiques. Au fur et à mesure que les écrivains deviennent conscients de leurs possibilités, ils confèrent à de telles « Vies » un caractère laïque, politique, de plus en plus prononcé, ouvrant la voie à une littérature narrative fondée sur des faits réels, précis. Sous le couvert

<sup>6</sup> Al. Rosetti, *Istoria limbii române* [Histoire de la langue roumaine], t. III, Les langues slaves méridionales (VI<sup>e</sup>—XII<sup>e</sup> siècles), Editions de l'Académie de la R.P.R., Bucarest, 1962, p. 46, 48 et 49; D. P. Bogdan, *Diplomatica slavo-română* [La Diplomatie slavo-roumaine], dans *Documente privind Istoria României*, [abrégé, D.I.R.], Introduction, t. II, Bucarest, 1956, p. 68, note 3.

<sup>7</sup> St. Mladenov, *Geschichte der butgarischen Sprache*, t. I, p. 52; et Al. Rosetti, *op. cit.*, p. 48; Soliman le Magnifique avait une chancellerie serbe, en même temps qu'une chancellerie grecque et une chancellerie turque, ainsi que d'influents conseillers d'origine serbe (N. Iorga, *Histoire des Roumains et de la Romanité orientale*, t. V, *Epoque des Braves*, Bucarest, 1940, p. 10).

<sup>8</sup> *Studii asupra tezaurului restituit de URSS* [Etudes concernant le trésor restitué par l'URSS], Editions de l'Académie de la R.P.R., Bucarest, 1958, le chapitre *Les manuscrits* par E. Lăzărescu et I. R. Mircea, p. 330; Ion-Radu Mircea, *Le plus ancien manuscrit roumain contenant des miniatures* (en roumain; travail encore en manuscrit).

<sup>9</sup> V. Jagić, *Historija književnosti naroda hrvatskoga i srbskoga*, knjiga I, *Staro doba*, Zagreb, 1867; Arturo Cronia, *Storia della letteratura serbo-croata*, Milan, 1956, chap. I.

hagiographique se dissimule un sens historique de plus en plus militant : une idée politique qui sera, pour le XV<sup>e</sup> siècle et le suivant, un appel à la lutte antiottomane <sup>10</sup>. C'est pourquoi on peut dire que les *Vies des princes et des archevêques serbes*, écrites par l'archevêque Danilo, ancien hégoumène de Chilandar (mort en 1337) et par ses continuateurs, représentent une véritable narration historique et que cette œuvre donna naissance au courant historiographique des « Généalogies » et des « Annales ». Dans ces dernières sont consignées — surtout après que le péril turc commun aux peuples du sud-est de l'Europe provoqua une tendance, plutôt théorique, de solidarité entre les peuples menacés — de courtes énumérations de dates et de faits qui font souvent connaître les principaux événements politiques qui eurent lieu au nord comme au sud du Danube, à l'usage des lettrés et grands féodaux aussi bien serbes que roumains <sup>11</sup>. Au XV<sup>e</sup> siècle apparaît un nouveau type d'écrivain, illustré par Grégoire Țamblak, originaire de Bulgarie et ancien hégoumène du monastère de Dé iani, qui, après avoir joué un rôle en Moldavie, finit ses jours comme métropolite de Kiev <sup>12</sup>, ou bien par Constantin, originaire de Kostenec, dit le « Philosophe », qui continua, dans les cours et monastères serbes, la rédaction des œuvres historiques sous la forme d'écrits hagiographiques, si recherchés et si goûtés des connaisseurs des lettres slavo-roumaines <sup>13</sup>.



La fin du XV<sup>e</sup> siècle marque un moment critique pour la civilisation balkanique tout entière. L'arrivée des Turcs et le remplacement de la classe dominante dans les pays du sud du Danube par des féodaux

<sup>10</sup> Cronia, *op. cit.*, p. 30.

<sup>11</sup> N. Iorga, *Studii și documente privind istoria României* [Etudes et documents concernant l'Histoire de la Roumanie] Bucarest, 1901, Préface; *Fragmente de cronici și știri despre cronicari* [Fragments de chroniques et renseignements concernant les Chroniqueurs]; du même, *L'élément roumain dans les annales serbes* (dans « Revue historique du Sud-Est européen », IV<sup>e</sup> année, 1927, p. 227).

<sup>12</sup> *Istoria României*, II, 392, 665.

<sup>13</sup> Toute cette activité littéraire et l'éclat dont a joui l'Etat serbe ne sont pas restés inconnus des Pays roumains; ils ont créé chez les Roumains les notions de « langue serbe » pour les langues slaves méridionales et la langue médio-bulgare, et de « serbe » pour désigner les Slaves sud-danubiens en général, noms appliqués ensuite à toutes les populations slaves réfugiées au nord du fleuve. La preuve en sont les nombreuses localités dénommées Sirbi, Sirbova, Sirbsca, Sirbeni, ainsi que la désignation de « Serbes », même au XIX<sup>e</sup> siècle, donnée aux colons bulgares du territoire de la Valachie. Cf. Iorgu Iordan, *Nume de locuri românești în Republica Populară Română* [Noms de localités roumaines de la République Populaire Roumaine], Editions de l'Acad. de la R.P.R., Bucarest, 1952, p. 220 sqq; avec la bibliographie de la question. Pour le terme сръбски au lieu de български, cf. les manuscrits n<sup>os</sup> 96 et 137, des années 1503 et 1462, chez P. P. Panaitescu, *Manuscrisele slave din biblioteca Academiei R.P.R.* [Les manuscrits slaves de la Bibliothèque de l'Académie de la R.P.R.], t. I, Bucarest, 1959, p. 124 et 172.

musulmans (timariots) créa un péril pour le développement et parfois pour l'existence ethnique des masses. La résistance de la population à l'envahisseur revêt aussi — à côté de la résistance passive ou armée — un aspect spécifiquement médiéval. Cette résistance prend une forme religieuse et culturelle en même temps, ayant pour points d'appui les monastères autour desquels se groupent les masses, dans une défense opiniâtre de leur langue et de leurs coutumes<sup>14</sup>. Mais ces monastères ne pouvaient subsister qu'avec l'aide matérielle et morale que — à la place de leurs protecteurs disparus, bulgares ou serbes — ne pouvaient leur donner que les princes roumains qui avaient conservé, sinon leur indépendance du moins leur autonomie. Si la collaboration militaire entre les populations des régions nord- et sud-danubiennes est en général assez rare sauf au temps des croisades du XV<sup>e</sup> siècle (à l'époque de Mircea l'Ancien, de Vlad Dracul, de Jean de Hunedoara, etc.) ou à la fin du XVI<sup>e</sup> (Michel le Brave), l'aide apportée par les princes et les féodaux roumains à la reconstruction et dotation des monastères de l'Athos, de Serbie et de Bulgarie représente elle aussi une forme de collaboration à cette résistance contre l'envahisseur — il est vrai plutôt passive — dirigée par les Pays roumains.

Cette reprise du rôle joué, dans un passé qui apparaît toujours plus éclatant, par les tsars et les despotes serbes en leur qualité de fondateurs des établissements balkaniques de culture médiévale, eut lieu en sauvegardant, paraît-il, toutes les formes juridiques ; c'est le cas d'un acte d'adoption, mentionné par un document de 1492. Cet acte représente le commencement d'une époque de relations beaucoup plus étroites qu'au-paravant entre la Valachie et le centre de civilisation serbe de l'Athos, qui marquent le fait que les princes roumains assumaient le rôle joué jusqu'alors dans les Balkans par l'État féodal serbe.

En effet, en novembre de l'an 7001 de l'ère byzantine<sup>15</sup>, le voïvode valaque Vlad le Moine acceptant d'aider le monastère de Chilandar

<sup>14</sup> Chr. Christov, G. Stojkov et Kr. Mijatev, *Le monastère de Rila*, Éditions de l'Académie des Sciences de Bulgarie, Sofia, 1958. A la première page, on lit cette citation de Guéorgui Dimitrov : « On peut résolument affirmer qu'il n'y aurait pas eu aujourd'hui une Bulgarie démocratique — la Bulgarie du Front de la Patrie — si dans les sombres temps de profond esclavage, des monastères tels que celui de Rila n'avaient pas existé, qui sauvegardaient les sentiments de nationalité, les espoirs et la fierté nationale du peuple bulgare et qui l'ont empêché de disparaître comme nation... ».

<sup>15</sup> Photographie (en possession naguère de Stoica Nicolaescu) de l'acte slave original et inédit, à la Bibliothèque de l'Académie de la R.P.R., Photographies, paquet LXXIII, n° 2. Mentionné, d'après l'original conservé dans la bibliothèque du monastère de Chilandar, par Djordje Sp. Radojicić dans *Srpske arhivske i rukopisne zbirke na Sv. Gori* (Arhivski, t. V, 1955, p. 8—10) et dans *Srpsko-rumunski odnosi XIV—XVII veka* (extrait), Novisad, 1956, p. 18. Résumé et appréciations historiques chez P. Ş. Năsturel, *Sultana Mara, Vlad*



par l'octroi d'une somme annuelle de 5 500 aspres, justifie ainsi sa donation :

« Voyant donc diminué, par suite de nos péchés, le nombre des très pieux princes qui ont élevé, embelli et gratifié les saintes églises de Dieu ; et surtout le temple et la sainte et impériale demeure qui se trouvent à la sainte montagne de l'Athos . . . le monastère appelé Chilandar, trouvant ce monastère dépourvu de protection de la part de très pieux princes serbes et bienheureux fondateurs, et voyant que la dernière en vie, la très pieuse Dame et tsarine<sup>16</sup> Mara, arrivée à la vieillesse et attendant sa bienheureuse fin désire nous considérer comme son enfant et qu'elle nous informe au sujet de ce saint monastère plus haut nommé en nous suppliant, comme son fils, de ne pas laisser ce saint monastère dépourvu de protection de la part de très pieux princes, mais de veiller sur lui et de le gratifier et de pouvoir m'appeler nouveau fondateur. C'est pourquoi nous, de tout cœur, nous avons accepté ce saint monastère, après la bienheureuse fin de la très honorée et bienheureuse susdite Dame et tsarine, notre mère Mara, et de sa sœur, la Dame Cantacuzène, j'ai accepté de me considérer fondateur du saint monastère et de le gratifier autant que nous le pouvons . . . »<sup>17</sup>.

Ces lignes montrent très bien l'état d'abandon dans lequel se trouvait le traditionnel centre culturel serbe de Chilandar. Les derniers despotes de la famille Brancovitch, qui se trouvaient engagés dans une croisade antiottomane, ne pouvaient plus exercer leur rôle de protecteurs des vieux sanctuaires<sup>18</sup> ; seule la « tsarine » Mara, alors retirée sur ses domaines proches de Serrès, pouvait encore protéger et aider de ses revenus l'ancienne fondation des princes serbes, en usant de l'influence qu'elle avait conservée auprès du sultan. C'est pourquoi, par un testament<sup>19</sup> dont on sent l'écho à travers les lignes reproduites ci-dessus, Mara en appela à Vlad le Moine, voïvode de la Valachie, l'attachant par un acte symbolique d'adoption<sup>20</sup> à l'héritage des « très pieux princes serbes » et lui octroyant, en même temps, une place — chèrement payée —

*Călugărul și începuturile legăturilor Țării Românești cu mănăstirea Hilandar în 1492* [La sultane Mara, Vlad le Moine et les débuts des relations de la Valachie avec le monastère de Chilandar, en 1492], dans « Glasul Bisericii », XIX<sup>e</sup> année, 1960, nos 5-6, p. 498-502.

<sup>16</sup> « Tzarice » — tsarine — est la traduction slave du titre de « sultane », Mara descendant d'une famille de knèzcs et despotes serbes et non pas de tsars.

<sup>17</sup> Voir annexe I, p. 40, lignes 33-46, et p. 42, lignes 1-4.

<sup>18</sup> Picot, *op. cit.*, p. 45. Georges Brancovitch, sa mère et son frère donnent au monastère de Chilandar en 1496, mille florins (« Glasnik srpskog učenog društva » XXV, 1869, Belgrade, p. 272.

<sup>19</sup> Probablement avant sa mort survenue en 1487 (P. Ș. Năsturel, *op. cit.*, p. 500).

<sup>20</sup> Qu'il s'agit, du moins formellement, d'une adoption, cela ressort des termes employés par Vlad le Moine : « Notre mère » pour désigner Mara, « son enfant » pour se désigner lui-même.

de fondateur à côté des tsars, knèzes et despotes serbes<sup>21</sup>. Mais par la voix de Mara s'expriment l'espérance de la population balkanique de trouver dans le voïvode roumain—alors quasiment indépendant—un nouveau protecteur. A partir de cet acte, les chrysobulles des princes valaques confirmant des donations pour Chilandar se succèdent sans interruption jusqu'en 1534<sup>22</sup>. Dans la rédaction de 1531 de l'acte de confirmation de la donation de son aïeul, Vlad le Noyé réaffirme cette descendance symbolique dans la formule « nos prédécesseurs très pieux, princes, tsars et ancêtres et parents de Ma Seigneurie »<sup>23</sup> qui ont aidé le monastère de « Filandar », « des grands tsars serbes »<sup>24</sup>. Pour bien connaître le véritable caractère de ces actes, il est intéressant de savoir que l'on ne connaît qu'un seul acte de donation moldave à Chilandar, de l'an 1533<sup>25</sup> : Pierre Rareș, également apparenté à la famille Brancovitch, accepte d'aider le monastère, lui promettant un appui encore plus grand si, par les prières des moines, « il échappe des mains des nations étrangères », entendant par là l'ennemi commun, les Turcs.

D'autres petites unités de ce complexe serbe du mont Athos sont aidées — plus rarement — par les princes valaques. Ainsi, par exemple, ils aident la maladrerie du monastère<sup>26</sup>, la « Tour des Albanais »<sup>27</sup> et la « Tour de notre saint père Sabbas, qui se trouve à Carée »<sup>28</sup>.

Mais les relations entre les centres de culture serbes et la Valachie n'étaient pas seulement le résultat de pareilles adoptions symboliques. Celles-ci ont été renforcées aussi par la parenté des princes, par les femmes, avec les derniers descendants de la maison des Brancovitch et avec les

<sup>21</sup> Compte tenu des actes pour Chilandar mentionnés plus bas (note 22), si l'on considère que le paiement de la somme annuelle et des frais de voyage a été fait régulièrement, on constate que, rien que pour le Katholikon, il a été dépensé en 53 ans 425 100 aspres, auxquels s'ajoutent 48 000 aspres environ entre 1512 et 1526 pour la Tour des Albanais.

<sup>22</sup> Photographies d'actes inédites de mars 1497, du 15 mai 1510, du 30 avril 1525 et du 27 février 1531 (à la Bibliothèque de l'Académie de la R.P.R., Photographies, paquet LXXIII, nos 4, 10, 14, 17), 23 août 1517 et 20 avril 1534 (publiés dans *D.I.R. B.*, XVI<sup>e</sup> siècle, t. I, p. 123 ; et t. II, p. 158—159). Celui du 30 août, mentionné par Dj. Radojičić, *op. cit.*, (Arhivist, t. V) écrit en vieux-slave et rédigé en serbe. Dans son acte de 1510, le Voïvode Vlăduț, fils de Vlad le Moine, répète le texte de l'acte de 1492.

<sup>23</sup> Document n° 17 : *порѣниога хѡмъ прѣжанинъ бѣадо гочѣстѣнъ вѣмѣ гѣо сѣпо ѡ аамъ, цѣа. рѣмѣ и аѣан и роантеаомъ гѣо сѣпо ѡ аѣстѣамн.*

<sup>24</sup> *реанкѣнъ цѣа ѡ рн сръбскнѣ.*

<sup>25</sup> *D.I.R. A.* XVI<sup>e</sup> siècle, t. I, p. 356—357. Cf. aussi Radojičić, *op. cit.* (Arhivist, t. V).

<sup>26</sup> Voir les actes de 1525, 1531 et 1534 cités à la note 22.

<sup>27</sup> Dite des « Arbanasi », d'après ses fondateurs appartenant à la famille régnante d'Albanie. Photographies d'actes inédits des 2 août 1512, 16 mai et mai 1525 (à la Bibliothèque de l'Académie de la R.P.R., Photographies, paquet LXXIII, nos 11, 13, 15. Pour les actes de 1525, conservés aujourd'hui en originaux à la Bibliothèque du monastère de Chilandar, voir aussi Radojičić, *op. cit.*, (Arhivist, vol. V).

<sup>28</sup> Photographie de l'acte inédit du 23 février 1536 (à la Bibliothèque de l'Académie de la R.P.R., Photographies, paquet LXXIII, n° 19). C'est là que Domentien a écrit en 1243 *la Vie et l'éloge des saints Siméon et Sabbas* (cf. Jagić, *op. cit.*, p. 177).

grandes familles féodales serbes en exil <sup>29</sup>. Il se forma ainsi en Valachie et en Moldavie, au XVI<sup>e</sup> siècle, une véritable dynastie qui, parallèlement à sa large action d'assistance accordée aux centres culturels serbes et grecs, réussit également à grouper autour d'elle nombre de lettrés serbes, si nécessaires à la chancellerie et à la culture de langue slave.

Après la mort de Vlad le Moine — considéré comme le fils adoptif de la tsarine Mara — Radu le Grand (1496—1508), son fils et successeur, ajouta à ces relations de parenté, le mariage de Pîrvu, le fils de sa sœur, avec une fille de Démètre Iakšitch, grand féodal serbe, maintenant magnat de la couronne hongroise et possesseur d'importantes propriétés dans la zone de Cenad <sup>30</sup>. Radu abrita à sa Cour de nombreux autres expatriés, entre lesquels il ne faut pas oublier le despote de Srem, Georges, devenu le moine Maxime, arrivé là avec des familiers et tout ce qu'il possédait <sup>31</sup> ainsi qu'avec des parents dont Salomon Crnojević de la famille princière du Monténégro <sup>32</sup>, et Despina, la future femme de Neagoe Basarab <sup>33</sup>. C'est à ce Maxime que l'on doit — probablement — l'engagement du hiéromoine Macaire de Cetinje pour l'impression des livres slaves néces-

<sup>29</sup> D'importantes familles de nobles hongrois, comme par exemple celle des comtes de Cilly, ont eu des relations de famille permanentes avec les despotes serbes, même au XV<sup>e</sup> siècle; les bandera du despote de Srem, souvent mentionnées à côté de la puissante famille des Iakšitch — qui possédait des domaines importants dans le comté de Csanad — ont pris part, vers 1500, à la lutte contre les Turcs sur le Danube, en Croatie et en Slovénie; certains membres des dynasties serbes ont été utilisés par la Porte dans ses luttes d'expansion en Bosnie, Serbie et Monténégro (v. C. Jireček, *op. cit.*, t. II, p. 228—229) et peut-être même contre les Roumains (cf. *Istoria României*, t. II, p. 368).

<sup>30</sup> L'acte du 18 juillet 1504, chez Stoica Nicolaescu, *Documente slavo-române cu privire la relațiile Țării Românești și Moldovei cu Ardealul în sec. XV—XVI*, Bucarest, 1905, p. 241—246. Pour Démètre Iakšitch, v. Picot, *op. cit.*, p. 41—42.

<sup>31</sup> *Istoria României*, t. II, p. 619—620. Cf. *Viata lui Maxim, mitropolitul Munteniei* [Vic de Maxime, métropolitaine de Valachie], dans l'Arhiva Istorică a României, t. II, Bucarest 1865, p. 67—68. Pour sa présence dans notre pays, v. Em. Turdeanu, *Din vechile schimburi culturale dintre Români și Jugoslavi* [Anciens échanges culturels entre Roumains et Yougoslaves] dans « Cercetări literare », t. III, Bucarest, 1939, p. 153 et 155.

<sup>32</sup> Pour Salomon Crnojević, fils de Djuradj Crnojević, patron de l'imprimeur Macaire à Cetinje, v. P. P. Panaitescu, *Liturgierul lui Macarie* [Le liturgiaire de Macaire] — 1508, Bucarest, 1962, Introduction, p. XVI. Il trouve la mort dans les compétitions pour le trône de la fin du règne de Neagoe Basarab (1521—1522).

<sup>33</sup> La filiation de Despina-Militza est incertaine; elle pourrait être la fille de Domka, la première femme du despote Iovan Brancovitch (d'après le « Synodicon du tsar Boril », chez Em. Turdeanu, *La littérature bulgare du XIV<sup>e</sup> siècle et sa diffusion dans les Pays roumains*, Paris, 1947, p. 144). L'historiographie yougoslave admet seulement sa parenté (rodaka) avec Maxime Brancovitch (D. Sp. Radojičić, *Srpsko-rumunski odnosi*, etc. p. 18), tandis que les arguments de I. Filitti (*Despina, princesse de Valachie, fille présumée de Jean Brancovitch* dans « Revista istorică română », t. I, 1931, p. 241—250) et de M. Romanescu (*Neamurile Doamnei lui Neagoe Vodă* [Les parents de l'épouse de Neagoe Vodă], Craiova 1940) ne sont pas convaincants. V. aussi ci-dessous, notre note 44.

saires à l'Église<sup>34</sup>. Devenu vers 1505<sup>35</sup> métropolitain de Valachie, Maxime s'avéra n'être pas seulement un lettré, mais aussi un diplomate habile, car Radu le chargea d'aplanir un conflit avec Bogdan, fils d'Étienne le Grand (en 1507, puis en 1508<sup>36</sup>), et le voïvode suivant — Mihnea le Mauvais — le chargea de négociations avec le roi de Hongrie Ladislas.

La protection accordée au monde serbe par Radu le Grand ressort aussi de son activité constructive au-delà des frontières de son pays : on lui attribue la réparation des monastères de Vratna et de Manastiritsa<sup>37</sup> et on lui doit, à lui et à son oncle le pîrcălab (burgrave) Gherghina, la création en 1500—1501 du monastère de Lopușnia<sup>38</sup> situé entre les vallées du Timok et de la Morava.

Ces relations de famille semblent avoir également continué sous son successeur, Mihnea le Mauvais : il n'est nullement exclu que ce dernier ait été apparenté à son tour aux grandes familles serbes<sup>39</sup>. Car s'il y eut

<sup>34</sup> *Istoria României*, t. II, p. 678—684 ; P. P. Panaitescu, *Liturghierul lui Macarie*, Introduction ; Radojičić, *Srpsko-rumunski odnosi*, p. 18.

<sup>35</sup> *Istoria României*, t. II, p. 619.

<sup>36</sup> *Istoria României*, t. II, p. 611 et 619—620. Pour le rôle joué par Maxime, cf. *Viața*, etc., p. 68.

<sup>37</sup> Voir P. P. Panaitescu, *Mircea cel Bătrân*, Bucarest, 1936, p. 146 ; Em. Turdeanu, *Din vechile schimburi culturale*, p. 142 ; J. Milčević, *Manastiri u Srbiji* dans « Glasnik... », XXI, 1867, p. 37—38. En 1850, l'inscription de Manastiritsa mentionnait un certain « Radoul beg », qui — selon la tradition — a restauré l'église de Nicodème le Serbe et l'a fait repeindre (d'après I. Pčelar, *Okruženije Krajinsko*, dans « Glasnik... », IX, 1857, p. 189—242, renseignement communiqué par Em. Lăzărescu de l'Institut d'Histoire de l'Art, de l'Académie de la R.P.R.).

<sup>38</sup> G. Balș, *O biserică a lui Radul cel Mare în Serbia, la Lopușnja* [Une église de Radu le Grand en Serbie, à Lopușnja] dans « Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice », IV<sup>e</sup> année, 1911, p. 194—199 ; *Istoria României*, II, 736, 1057. Ses relations avec la Serbie — peut-être avec le monastère de Krušedol, — ressortent aussi de la mention de son nom et celui de sa femme Catalina dans l'obituaire de Dečiani, écrit en 1572. Cf. Em. Turdeanu, *Din vechile schimburi*, p. 191. La famille de Radu le Grand et du burgrave (pîrcălab) Gherghina est également mentionnée au monastère de Pcinja (Stoica Nicolaescu, *Documente slavo-române*, p. 4—5 ; Em. Turdeanu, *op. cit.*, p. 189—190).

<sup>39</sup> En 1570—1574 le Voïvode Alexandre demande au monastère Sainte Catherine du Sinaï de mentionner « Io Alexandre le Voïvode et l'aïeul de Ma Seigneurie, Io Mihnea le Voïvode, et le père de Ma Seigneurie, Io Mircea le Voïvode, et la mère de cœur de Ma Seigneurie, la princesse Despina, et les frères de cœur de Ma Seigneurie, Io Mihnea le Voïvode et Io Vladul le Voïvode et Io Miloș le Voïvode et Io Pierre le Voïvode, et le fils de cœur de Ma Seigneurie, Io Mihnea le Voïvode (dans *D.I.R.*, B., Valachie, XVI<sup>e</sup> siècle, t. III (1551—1570), n<sup>o</sup> 437, p. 381). Les noms de Miloș, d'Hélène et de Despina portés par les enfants du Voïvode Alexandre de Valachie (Stoica Nicolaescu, *op. cit.*, p. 282) ; celui de Roxanda porté par sa tante, fille de Mihnea le Mauvais (*ibid.* p. 4) — probablement l'épouse de Bogdan de Moldavie (1507—1517) — (N. Iorga, *Hist. Roum.*, t. IV, *Les Chevaliers*, Bucarest, 1937, p. 329, 346), ou celui d'Erina porté par la fille du Voïvode Miloș, frère du même Voïvode Alexandre (Stoica Nicolaescu, *op. cit.*, p. 80) indiqueraient l'origine serbe, par les femmes, de cette famille régnante. Despina est aussi le nom de la fille de Pierre le Boiteux, frère de Miloș et du Voïvode Alexandre. Pour l'utilisation de ces noms par les dynasties serbes, cf. C. Jireček, *op. cit.*, p. 210—246 ; et N. Iorga, *ibid.*, p. 510. Voir aussi les noms mentionnés dans l'obituaire du monastère de Tismana, de 1799 (Bibliothèque de l'Académie de la R.P.R., manuscrits n<sup>os</sup> 2460, f. 12 v. et 2500, f. 12) et du monastère de Cotmeana, de 1781 (*ibid.*, n<sup>o</sup> 2603, f. 5).

entre Mihnea et le métropolitte Maxime Brancovitch une inimitié qui força ce dernier à quitter la Valachie et à finir sa vie comme métropolitte de Belgrade, cela pourrait s'expliquer par de vieilles rivalités de famille entre les féodaux serbes apparentés au prince et aux boyards valaques. Ce sont précisément les relations entre les boyards dits Craïovești et les hiérarques d'origine serbe (Niphon et Maxime)<sup>40</sup> qui pourraient expliquer la persécution de ceux-ci et le conflit entre les puissants féodaux roumains et Mihnea, le prince autoritaire, qui fut surnommé à cause de cela, le Mauvais ; de même l'assassinat de ce prince à Sibiu par un Iakșitch pourrait être intégré dans ce processus politique, démontrant le rôle joué par ces familles dans les affaires internes de la Valachie<sup>41</sup>.

Le conflit entre ce voïvode et le parti de boyards serbophiles des Craïovești se solda par la victoire de ces derniers : par l'influence dont ils jouissaient à la Porte et dans le monde balkanique, par leurs relations — peut-être même de famille — avec les grands féodaux serbes, avec les renégats musulmans d'origine serbe et roumaine, comme aussi par les immenses domaines dont ils disposaient, ces boyards réussirent à transformer le banat d'Olténie en un fief personnel et même à décider du sort du trône princier. Leur fondation, le monastère de Bistrița, était devenu le principal foyer de la culture slave de nuance serbe<sup>42</sup>.

Plus tard, en 1512, les Craïovești réussirent avec le consentement de la Porte à imposer comme souverain un membre de leur famille : Neagoe (fils du vornic Pîrvu et de Neaga, son épouse) qui passait pour le fils illégitime de Basarab-Țepeluș. Alors, afin de cacher aux yeux des contemporains sous un éclat royal<sup>43</sup> l'origine assez douteuse de Neagoe et pour s'assurer au-delà des frontières l'appui de l'influente noblesse serbe, on lui choisit pour épouse Despina, parente du métropolitte Maxime

<sup>40</sup> Pour l'origine serbe du patriarche Niphon, cf. Gabriel le Prote, *Viața Sfîntului Nifon* [Vie de saint Niphon] éditée par les soins de V. Grecu, Bucarest, 1944, p. 34 și 35.

<sup>41</sup> *Istoria Romîniei*, t. II, p. 617—620 ; Șt. Ștefănescu, *Rolul boierilor Craiovești în subjugarea Țării Românești de către turci* [Le rôle des boyards Craïovești dans l'asservissement de la Valachie par les Turcs], dans *Studii și referate privind Istoria Romîniei*, I<sup>re</sup> partie, Bucarest, 1954, p. 697—718.

<sup>42</sup> Dans la peinture de la petite Eglise du couvent de Bistrița on trouve les figures des saints Siméon et Sabbas, peints en 1523—1529 (information fournie par Ana-Maria Musicescu, de l'Institut d'histoire de l'art de l'Académie de la République Populaire Roumaine).

<sup>43</sup> Par Caterina « Cantacuzina », sœur de la tsarine Mara, la famille Brancovitch était apparentée aux comtes de Cilly et aux rois de Hongrie. Cf. le tableau généalogique de la famille Brancovitch dressé par Al. Ivić, *op. cit.*, et M. Romanescu, *op. cit.*

Brancovitch et descendante du despote Étienne l'Aveugle (1458—1477)<sup>44</sup>. Les descendants de la princesse Despina portent les noms de leurs ascendants sur cette lignée : *Anghelina*, *Ioan*, *Iovana* ou *Roxanda* (son fils et ses filles), *Marco* (un fils de Roxanda et petit-fils de Despina).

De même les nombreuses donations de Neagoe Basarab et de Despina témoignent de la continuation sous son règne du patronage des centres monastiques serbes et balkaniques en général, ainsi que de l'intérêt manifesté pour la patrie d'origine<sup>45</sup> de sa femme. Car, c'est alors que la Valachie fit au-delà du Danube de nombreuses donations en objets et en espèces : rien que pour la grande église de Chilandar, ce prince donna pendant les 10 ans de son règne non moins de 66 000 aspres<sup>46</sup> prélevées sur les revenus du pays. Il ressort d'autre part que, en général, la contribution à l'œuvre de construction et de réparation des monastères de Serbie et de l'Athos est particulièrement importante<sup>47</sup>. Le voïvode et son épouse sont donc les grands bienfaiteurs de ces centres de résistance culturelle<sup>48</sup>, et on peut dire que dans cette politique d'aide du monde slave des Balkans au XVI<sup>e</sup> siècle le règne de Neagoe Basarab représente

<sup>44</sup> L'ancien obituaire d'Argeș (Archives de l'État, Bucarest, manuscrit 742, feuillet 8 ; édité avec beaucoup d'erreurs d'après Al. Odobescu, dans « Convorbiri literare », t. XLIX, 1915, p. 1219—1221, et utilisé par I. Filitti, *op. cit.*, p. 249—250), donne la liste des membres de la famille Brancovitch, en commençant par le « saint knèze Lazare » (СРМЪТИН КНѢЗІ ЛАЗАРЪ) dont ils descendaient par les femmes. Cette famille a plusieurs branches. Sur la ligne de la descendance du knèze Lazare et de son arrière-petit-fils le despote Étienne (l'Aveugle), figurent également la princesse Despina, épouse de Neagoe Basarab, sous le nom de mère Platonida, et sa fille Stana, en religion mère Sophronia. Parmi ceux qui sont mentionnés après elle se trouvent aussi la « tsarine Mara et sa sœur, la princesse Catauczina » (sic !). Une autre princesse Mara « fille de Saint Jean » (СВЯТИН СРМЪТЪСЪДО ІВАННА) semble être Marie, la fille du despote Jean, mort en 1502 et considéré comme saint au monastère de Krušedol (v. les icones représentant Étienne l'Aveugle, sa femme et ses fils, en tant que saints — M. Romanescu, *op. cit.*, p. 5 et 7). Le rédacteur de cet obituaire de famille—peut-être la princesse Despina elle-même, après 1522 — fait preuve d'une profonde connaissance de toutes les ramifications généalogiques des Brancovitch et confirme — sans préciser son père et sa mère — la descendance de celle-ci d'Étienne l'Aveugle (1458—1477). On constate aussi son respect marqué pour sa famille par la présence du « saint knèze Lazare » dans les fresques d'Argeș (v. plus loin, p. 390 et note 53). Pour Roxanda-Iovana, cf. G. Millet, *Broderies religieuses de style byzantin*, Paris, 1947, p. 32, et Maria Musicescu, *O broderie necunoscută din vremea lui Neagoe Basarab* [Une broderie inconnue datant du temps de Neagoe Basarab], (« Studii și cercetări de istoria artei », 2, 1958, p. 37 et note 6).

<sup>45</sup> Em. Turdeanu, *op. cit.*

<sup>46</sup> En 1517 (voir le document de la note 22) Neagoe augmenta la somme fixée par Vlad le Moine en 1492, et la porta de 5 500 aspres à 7 000, plus 700 aspres pour les frais de route. Si nous admettons qu'il continue le versement des sommes fixées, il s'ensuit que dans les 5 premières années de son règne il dépensa 27 500 aspres et les 5 autres années 38 500.

<sup>47</sup> Cf. les monastères serbes auxquels il a fourni des subsides, identifiés d'après la *Vie de saint Niphon* par le Prote Gabriel, chez Em. Turdeanu, *op. cit.*, p. 158 ; Oreisou, Menorlitza et Déčiani, tous dans la vallée de la Morava, Krušedol, près de Belgrade et Trescavitza dans la région de Prilep, Kousnitza en Macédoine, Kučejna en Serbie orientale ; voir plus loin la note 54.

<sup>48</sup> P. P. Panaitescu, *Liturgierul lui Macarie*, Introduction, p. XIV.

sinon le premier moment important, du moins le plus marquant de l'époque dont nous nous occupons.

Des échanges continuels avec le monde slave, serbe surtout, il s'ensuivit une vive activité culturelle qui se déroula à la Cour princière de Țirgovîște. Là arrivaient, repartant toujours avec de riches présents, des représentants des monastères du sud du Danube ; là s'abritaient temporairement ou pour un temps plus long des prélats d'origine serbe, simples visiteurs à la recherche de cadeaux ou bien occupant une place dans l'administration même de l'Église. Près du prince, mais surtout auprès de la princesse ou dans les monastères, s'établissaient des parents plus ou moins proches, des lettrés et des familiers, venus d'au-delà du Danube, en apportant avec eux leur mode de vie ou leurs propres traditions culturelles, et beaucoup d'entre eux s'y assimilaient. Outre Salomon Crnojević, déjà mentionné, nous devons citer en premier lieu le cas des cousins de la princesse Despina, le logothète Stepan<sup>49</sup> et sa sœur Despina. Ces réfugiés pauvres et sans patrie parvenaient, avec la protection de la princesse, à se marier dans leur pays d'adoption à des autochtones, et à acquérir ainsi de riches possessions, situées surtout dans la région qui se trouve entre Curtea de Argeș et Rîmnicul Vîlcii. Ils y apportèrent un genre de vie différent de celui des boyards roumains. Stepan, par exemple, un lettré, dirigea aussi les intérêts personnels de la princesse, sa cousine, lorsque celle-ci fit construire au monastère d'Argeș, une chapelle dédiée à Saint Nicolas<sup>50</sup> et située dans une tour des murs d'enceinte. Il s'agit là d'un autel particulier, destiné à l'usage de la princesse et de ses parents, érigé à côté de la brillante fondation de son époux et placé probablement — selon l'habitude caractéristique de la Serbie des temps les plus reculés —

<sup>49</sup> L'acte du 13 mars 1572 (*D.I.R.*, B. XVI<sup>e</sup> siècle, t. IV, n<sup>o</sup> 66, p. 62—63 ; v. aussi Stoica Nicolaescu, *Documente slavo-române*, p. 267 ; et M. Romanescu, *op. cit.*, p. 16). « Le buigrave (*pircălab*) Stan a épousé la sœur du logothète Stepan, la noble dame Despina, cousine germaine de la princesse Despina, avec une grosse dot et précieux joyaux, ainsi qu'avec une grande fortune provenant de la princesse Despina... ». Le logothète Stepan de Ciofrîngeni ou Uești et sa sœur Despina furent dotés et mariés par ses soins, Despina à un certain *pircălab* Stan et Stepan à Parascève (sous le voile, la nonne Anghelina) ; tous les deux avaient de grandes possessions. Rien que la fortune de Despina, femme du *pircălab* Stan, atteignait 180 000 aspres. Toute cette fortune — en moulins, vignes, terres et serfs à Uești (Oești), Ciofrîngeni, Șuici etc. situées entre la résidence princière d'Argeș et la ville de Rîmnic, ou sur l'Olt, telle que Găneasa près de Slatina, furent réunies entre les mains du logothète Stepan (actes des 11 juin 1565, 15 mai 1576, 13 avril 1581, 13 novembre 1611, 13 janvier 1613, 28 juin 1629 dans *D.I.R.*, B. XVI<sup>e</sup> siècle, t. III, n<sup>o</sup> 250, IV, n<sup>o</sup> 229, V, n<sup>o</sup> 18 ; XVII<sup>e</sup> siècle, t. II, n<sup>os</sup> 23, 135, 165 et Archives de l'État, Bucarest, fonds des Dépôts particuliers à la date de 1629).

<sup>50</sup> Le document du 13 janvier 1613 (*D.I.R.*, B. XVII<sup>e</sup> siècle, t. II, n<sup>o</sup> 135, « du coin du saint monastère d'Argeș ». Il s'oblige à administrer la terre de Gănești, située près Slatina, dédiée à cette chapelle par la princesse Despina, mais « après la mort de la princesse il devra défendre et entretenir cette petite église ».

sous la protection du saint protecteur de la famille (*slava*)<sup>51</sup>. Dans la grande église du monastère de Curtea de Argeş ne manquent pas, non plus, des preuves attestant la persistance des traditions de famille de Despina : l'ancienne peinture de l'intérieur comprenait aussi, à côté et parmi les fondateurs, princes du pays, les figures du « saint knèze Lazare » et de sa femme Militza soutenant une église du type serbe à onze tours<sup>52</sup> sous laquelle apparaissent leurs fils, deux adolescents couronnés (probablement Lazare et Étienne)<sup>53</sup>. Comme ces portraits semblent avoir été inspirés par les fresques de Ravanitza, ils apportent un témoignage de plus sur les étroites relations, culturelles et artistiques, existant dans le second quart du XVI<sup>e</sup> siècle, entre Serbes et Roumains<sup>54</sup>. De même les icones qui, après la mort de son mari, accompagnent la princesse Despina dans sa fuite à Sibiu<sup>55</sup> représentent, elles aussi, des preuves dans ce sens. Nous y devons également mentionner deux des donations personnelles de cette princesse aux monastères serbes : les deux cols, enrichis de perles, brodés peut-être par elle-même en 1519, et donnés à des couvents serbes, dont l'un est celui de Krušedol et l'autre pourrait être celui de Déčiani<sup>56</sup>. C'est encore d'elle qu'est resté un manuscrit

<sup>51</sup> Cette hypothèse a été émise par Stoica Nicolaescu, *op. cit.*, p. 267—268. C. Jireček (*Geschichte der Serben*, II, p. 180) rappelle cette coutume répandue au moyen âge. Saint Nicolas apparaît souvent comme le patron de nombreuses familles de la ville médiévale de Belgrade. Voir aussi l'icone de Saint Nicolas, avec la représentation de Neagoe Basarab, qu'accompagnent ses trois fils, et de la princesse Despina avec deux de leurs filles, dans « Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice », t. XXXIII, 1940, planche non numérotée.

<sup>52</sup> Louis Reissenberger, *L'église du monastère épiscopal de Kurtea d'Argis en Valachie*, traduit de l'allemand, Vicnne, 1867, p. 13 ; Al. Odobescu, *Episcopia de Argeş [L'évêché d'Argeş]* dans « Convorbiri literare », XLIX, p. 1219 ; Victor Brătulescu, *Frescele din biserica lui Neagoe de la Argeş [Les fresques de l'église de Neagoe à Argeş]*, Bucarest, 1942, p. 21, fig. 24.

<sup>53</sup> Les portraits des fondateurs du monastère de Ravanitza (V. Petkovič, *Manastir Ravanica*, Belgrade, 1922, fig. 19) présentent des différences d'aspect pour les personnages et l'église. Pourtant les différences ne peuvent pas supprimer l'impression de ressemblance existant entre la représentation d'Argeş et celle de Ravanitza.

<sup>54</sup> Cf. la mention de Neagoe Basarab et de Despina dans les obituaires serbes de Krušedol, Sopočani, Lesnovo et Pčinja (Em. Turdeanu, *Din vechile schimburi*, p. 160, 189—190).

<sup>55</sup> L'une d'elles représente les saints nationaux Siméon et Sabbas, fondateurs de la dynastie des Némanides, aux pieds desquels est peinte à genoux « la princesse Despina » en vêtements noirs de veuve, accompagnée de ses filles, la « princesse Stana » et la « princesse Roxanda », ce qui date l'icone entre septembre 1521, date de son veuvage, et le mariage de ses filles en 1526. (N. Iorga, *Les arts mineurs en Roumanie*, t. I, Bucarest, 1934, chap. I, Icones, pl. 1. Voir aussi Mirjana Čorović-Ljubinković, *Iz problem ikonografije srpskih svetitelja Simeona i Sava*, dans « Starinar », nouvelle série, VII—VIII, 1956—1957, Belgrade, 1958, p. 77).

<sup>56</sup> L. Mirković, *Crkveni umetnički vez*, Beograd, 1940, p. 38, planche XII, 4 et planche XXVII, 2 ; M. Romanescu, *op. cit.*, p. 20, 23. L'identification du monastère auquel avait appartenu la broderie du 1<sup>er</sup> décembre 1519, d'après V. Valtranović (*Natpis na felon od godine 1519*, dans « Starinar », IV, 1889, p. 99—105).



du *Syntagma de Mathieu Blastarès*, en rédaction serbe, donné au monastère de Bistrița en Olténie <sup>57</sup>.

Tout cela semble prouver suffisamment, à notre avis, la création par des relations de famille d'un milieu propice à une influence serbe en Valachie, influence culminant avec l'accès au trône de Despina Brancovitch. Elles subsistent encore puissantes sous sa fille Roxanda, épouse de deux princes : du belliqueux Radu de la Afumați et ensuite de Radu Paisie, ancien hégoumène d'Argeș <sup>58</sup>, qui tous les deux ont continué la série des donations roumaines faites aux monastères de la Péninsule des Balkans <sup>59</sup> et qui ont protégé leurs fondations de famille de Curtea de Argeș (la grande église, peinte en 1526, et la petite chapelle, dite de saint Nicolas), ainsi que leurs parents et familiers établis en Valachie <sup>60</sup>.



Entre 1521—1530, l'aire de la politique dynastique des Brancovitch, réfugiés en Transylvanie et en Valachie, a embrassé également la Moldavie. La princesse Despina (« Băsărăbeasa »), abritée à Sibiu, maria Stana, l'aînée de ses filles, au voïvode de Moldavie Étienne le Jeune (en 1526) <sup>61</sup>. Celle-ci après la mort de ce prince, survenue en 1527 <sup>62</sup>, reviendra auprès de sa mère et prendra le voile — tout comme elle — sous le nom de Sophronia <sup>63</sup>. C'est encore à la « Băsărăbeasa » que Pierre Rareș demanda en

<sup>57</sup> Le manuscrit slave n° 286 de la Bibliothèque de l'Académie de la R.P.R. (P. P. Panaitescu, *Manuscrisele slave din Biblioteca Academiei R.P.R.*, t. I, Bucarest, 1959, p. XV. La note de 1636, qui mentionne la provenance de ce manuscrit, est de la main d'Udriște Năsturel.

<sup>58</sup> Ion-Radu Mircea, *Țara Românească și Închinarea raietii Brăila* [La Valachie et la soumission du raïa de Brăila] (extrait de « Balcania », IV, 1941), p. 457.

<sup>59</sup> Radu de la Afumați, sous lequel fut peinte l'église de Neagoe Basarab de Curtea de Argeș, et Radu Paisie firent de nombreuses donations en faveur de Chilandar et de la Tour des Albanais (voir les notes 22, 26 et 27).

<sup>60</sup> Roxanda donna à son servitor « Stepan », le logothète d'Obidiți, à l'occasion du mariage, une terre au village de Bărcănești. Cf. des actes du 15 juin 1571 (St. Greceanu, *Genealogiile documentate ale familiilor boeresti* [Généalogies documentées des familles de boyards], t. II, Bucarest, 1916, p. 182; 30 juin (1571—76) (*D.I.R.*, B. XVI<sup>e</sup> siècle, t. IV, n° 187); 1592, 30 juin (Académie de la R.P.R., sceau 237; St. Greceanu, *op. cit.*, p. 183—84) et juillet 23 (*ibid.*, p. 88); enfin 10 avril 1577 (*D.I.R.*, B, XVI<sup>e</sup> siècle, t. IV, 256). Voir aussi l'acte du 5 octobre 1546 pour la terre de Găneasa appartenant à la petite église Saint Nicolas (*D.I.R.*, B. XVI<sup>e</sup> siècle, t. II, p. 345, n° 360).

<sup>61</sup> Roxanda fut mariée à Radu de la Afumați, après la mort plus qu'opportune de la première femme de ce prince (voir la lettre du 1<sup>er</sup> décembre 1525, de Jean Zapolya, chez A. Veress, *Acta et epistolae relationum Transylvaniae Hungariaeque cum Moldavia et Valachia* t. I, Budapest, 1934, p. 136).

<sup>62</sup> Stana, fille de la princesse Despina, et Roxanda, fille d'Hélène Rareș, ont été aussi suspectées par leurs contemporains d'avoir participé à la fin tragique de leurs époux.

<sup>63</sup> Voir l'obituaire d'Argeș, cité à la note 44, et la pierre tombale de 1531 (N. Iorga, *Inscripții din bisericile României* [Inscriptions des églises de Roumanie], Bucarest, 1905, p. 147; V. Brătulescu, *op. cit.*, p. 18, et fig. 6).

1529 la main d'Hélène, la fille de Jean, l'ancien despote de Srem (décédé en 1502); Hélène participa à l'activité politique de son époux jusqu'à la mort de celui-ci, survenue en 1546, puis elle dirigea aussi la politique de leurs fils, Élie et Étienne, jusqu'en 1551, et disparut après cette date dans des conditions tragiques, non sans laisser à ses filles Roxanda et Kiajna le soin de continuer à protéger la création culturelle serbe, en Valachie et en Moldavie.

L'un des traits caractéristiques du règne de Pierre Rareș est la reprise de la politique autoritaire de son père, Étienne le Grand, tant par la limitation de la puissance croissante des grands féodaux que par sa tentative de reprendre la lutte de résistance antiottomane<sup>64</sup>. Pour atteindre ces buts, Pierre Rareș eut également recours à l'appui des petits boyards, à des paysans libres et des habitants des villes, ainsi qu'à des relations politiques découlant de son mariage avec une descendante de la famille des knèzes et despotes serbes. Des parents de celle-ci se trouvaient disséminés dans tout l'Empire turc et aussi en Transylvanie où ils jouent un rôle de marque, au point de vue politique et militaire, soit aux côtés des impériaux, soit comme partisans de la famille de Jean Zapolya, dans les luttes pour la domination de ce pays. Par ses relations avec ces Serbes réfugiés, par son ascendance illustre, par son savoir et par ses suivants fidèles, la princesse Hélène apporte une aide inestimable à Pierre Rareș. Mais, l'époque de Pierre Rareș représente en même temps le second moment important du XVI<sup>e</sup> siècle, en ce qui concerne l'action d'assistance accordée à la résistance des populations subjuguées du sud du Danube : des donations d'argent et d'objets d'art ainsi que les nombreuses fondations religieuses bâties par le prince et ses boyards au-delà des frontières, témoignent d'un renouveau de l'unité de la civilisation balkanique en lutte contre la domination ottomane<sup>65</sup>.

La princesse Hélène était bien consciente du prestige qu'elle conférait à l'autorité du prince, souvent contestée par les grands féodaux : le titre de « Despotovna », de « fille du tsar Jean le Despote », ou de « fille ... du despote », accompagne presque toujours son nom dans les inscriptions de ses fondations, ou sur des objets d'art, surtout après 1546<sup>66</sup>.

<sup>64</sup> *Istoria României*, t. II, p. 640—642.

<sup>65</sup> Voir entre autres l'acte cité à la note 25, accordé en 1533 au monastère de Chilandar. Pierre Rareș et Hélène firent des donations aux monastères serbes de Sopočiani, Lesnovo, Krušedol — fondation des Brancovitch —, Cratovo, etc.; Em. Turdeanu, *op. cit.*, p. 160; le même, *La littérature bulgare*, p. 144.

<sup>66</sup> Dans les inscriptions votives de ses fondations de Botoșani (églises de l'Assomption et St. Georges — protecteur attrité des familles des despotes serbes — elle s'intitule « fille du tsar Jean le Despote » (chez N. Iorga, *Inscripții din bisericile României*, t. I, p. 219, n° 462 et p. 220, n° 469) et de Suceava (chez E. Kozak, *Inscripții aus der Bukowina*, apud N. Iorga,

Sur l'ornement d'une pièce liturgique (pokrovetz) du monastère de Poutna, brodé en 1536 par elle-même ou sous sa direction<sup>67</sup>, figurent — tout comme auparavant sur le manteau de Neagoe Basarab dans les portraits votifs de Curtea de Argeş ou de Snagov — les aigles bicéphales<sup>68</sup>, qui tenaient lieu d'armoiries à la famille Brancovitch en sa qualité de descendante des Paléologues de Byzance.

Quant à l'aide apportée à son époux par Hélène grâce à sa culture personnelle, si utile au prince dans sa politique d'autorité à l'égard des boyards mécontents, elle devient évidente au moment critique de son refuge à Ciceu (1538—1541). C'est Hélène elle-même qui écrivit, en serbe, les lettres par lesquelles on demandait le pardon du voïvode rebelle à l'autorité de la Porte. Ces lettres étaient adressées probablement à des personnes en vue et ayant de l'influence auprès du sultan ou du grand vizir; en même temps, des missions des plus secrètes étaient confiées aux fidèles serbes de la princesse<sup>69</sup>.

Mais, c'est surtout après la mort de Pierre Rareş, pendant le règne de ses fils, qu'Hélène montre son caractère autoritaire, que les chroniqueurs favorables à Alexandre Lăpuşneanu et à Pierre le Boiteux condamnent sévèrement<sup>70</sup>. A cette époque, à l'instar d'un prince, la « Despotovna » bâtit deux églises dans son fief de Botoşani (1550 et août 1552)

*Studii și documente privind Istoria Romnilor*, t. V, p. 651). De même la pierre tombale de Pobrata (N. Iorga, *Inscriptii*, etc., I, p. 56) ou la dédicace de Démètre Lioubavitch sur l'*Apostolos* imprimé pour la Moldavie en 1547 (I. Bianu et N. Hodoş, *Bibliografie românească veche* [La bibliographie roumaine ancienne] t. I, Bucarest 1903, p. 29—30). L'inscription de la reliure métallique d'un évangélaire, dont la photographie se trouve aux Archives de la Direction des Monuments historiques, a été mal lue (M. Beza, *Urme românești în răsăritul ortodox* [Vestiges roumains dans l'Orient orthodoxe], II<sup>e</sup> édit., p. 109) : elle se réfère à une donation faite au monastère de Pobrata, en 1550, par la princesse Hélène et porte dans l'inscription dédicatrice le titre de « Despotovna », la mère d'Iliaş voïvode. Une autre inscription grecque, sur un manuscrit sur parchemin, et portant la date de 1555, mentionne une croix ornée par « Despina Hélène » (*ibid.*, p. 123).

<sup>67</sup> Au musée de Poutna (D. Dan, *Mănăstirea și comuna Putna* [Le monastère et la commune de Poutna], Bucarest, 1905, p. 63—64; O. Tafrali, *Le trésor byzantin et roumain du monastère de Poutna*, Paris, 1925, t. I, p. 46, n<sup>o</sup> 77).

<sup>68</sup> N. Iorga, *Domnii Romnii, după portrete și fresce contemporane* [Les princes roumains d'après des portraits et fresques contemporains], Sibiu, 1930, planche 38; voir aussi les planches 36—37; *Istoria Romniei*, t. II, fig. 178; voir également l'aigle bicéphale du denier de 1562 de Jean Despote le Voïvode, qui prétendait être un neveu de la princesse Hélène (*Istoria Romniei*, t. II, fig. 271; voir plus loin, note 77).

<sup>69</sup> Grégoire Urche, *Letopisețul Țării Moldovei* [Annales de la Moldavie], édition avec étude introductive, index et glossaire, par P. P. Panaitescu, II<sup>e</sup> édition, ESPLA, Bucarest, 1958; Ioan Neculce, *Letopisețul Țării Moldovei* [Annales de la Moldavie], édition avec index, glossaire et introduction par Iorgu Iordan, ESPLA, Bucarest, 1955. *O samă de cuvinte* [Quelques anecdotes], XIII, p. 110. Pour la parenté de Roxanda, sa fille, avec le grand vizir, cf. N. Iorga, *op. cit.*, t. V, p. 124, note 1 (lettre de 1568 chez A. Holban, manuscrit).

<sup>70</sup> *Cronicele slavo-romne din sec. XV—XVI* [Les chroniques slavo-roumaines des XV<sup>e</sup> et XVI<sup>e</sup> siècles] publiées par Ion Bogdan, édition revue et complétée par P. P. Panaitescu, Bucarest, 1959, p. 113, 122, 129 et 140.

et une à Suceava (1551). Pour sa politique personnelle elle eut recours vers la fin de sa vie à des parents et à des protégés <sup>71</sup>.

Analysant les sources aussi bien moldaves qu'étrangères, qui relatent les circonstances de l'avènement au trône d'Alexandre Lăpuşneanu, on éprouve l'impression que les « Despotes », les parents de la princesse, auraient voulu maintenir le trône dans la famille Rareş-Brancovitch que les boyards mécontents avaient écartée du trône par l'assassinat d'Étienne Rareş <sup>72</sup>. On y voit que, à côté de la princesse il se trouvait « un certain despote . . . qui n'était pas inférieur aux notables du pays et qui avait un neveu appelé Basilique. Ce despote et son neveu, quand le prince Alexandre (Lăpuşneanu) parvint au trône, prirent peur et s'enfuirent du pays avec toute leur fortune . . . » <sup>73</sup>. Les deux fuyards arrivèrent en Transylvanie, d'où ils partirent pour Samos où ils moururent tous les deux ; mais leurs titres furent pris par un serviteur, Jacques, qui se fit appeler Héraclide. Le chroniqueur polonais Paszkowski <sup>74</sup> raconte que « le véritable despote (non pas Jacques, le prétendu Héraclide, futur prince de Moldavie en 1561) fut chassé par les Valaques (Moldaves) du trône de Valachie (Moldavie) . . . et à sa place les Valaques (Moldaves) acceptèrent Alexandre (Lăpuşneanu) comme prince ».

Il ressort des passages cités qu'Alexandre Lăpuşneanu s'est heurté — semblerait-il — à l'opposition de sa future belle-mère, Hélène, qui s'appuyait sur ses parentés serbes, opposition que seul son assassinat survenu en 1552 put supprimer <sup>75</sup>. C'est ainsi que s'explique la « peur » qui s'était emparée du « despote » et de son neveu et leur fit quitter la Moldavie. C'est encore ainsi que s'expliquent également les succès de l'aventurier grec Jacques, le soi-disant Héraclide Despote, qui se disant proche parent de la princesse <sup>76</sup>, réussit en 1561 à s'assurer en secret la sympathie de celle-ci et d'un certain nombre de boyards, probablement partisans de la « Despotovna » Hélène et de la famille Rareş et accéda au trône même de Moldavie.

<sup>71</sup> Au sujet de « Dispot » et de son neveu « Basilique », voir plus loin. Un « Stefan despot », identifié avec Étienne Bérislavitch (1520—1535), demi-frère de la princesse Hélène, chez P. P. Panaitescu, *Manuscrisele slave*, p. 125 ; le manuscrit n° 97, qui lui a appartenu, a été trouvé au monastère de Neamţ. Dans la chancellerie de Pierre Rareş, figurait comme écrivain d'actes un Luca Sîrbul entre 1540 et 1550 (voir *D.I.R.*, A. XVI, t. I, p. 398).

<sup>72</sup> Grégoire Ureche, *Letopiseşul Ţării Moldovei*, II<sup>e</sup> éd., ESPLA, p. 169.

<sup>73</sup> *Ibidem*, p. 176, interpolation de Siméon Dascălul, d'après Martin Paszkowski.

<sup>74</sup> *Kronika Sarmacyey Europskiey . . . . Alexandra Gwagnina pierwey Roku 1578 po lacinie wydana*, Cracovia, 1611, livre I, p. 128—129.

<sup>75</sup> *Cronicile slavo-române din sec. XV—XVI*, p. 175, lignes 5—7 ; p. 185, lignes 13—15 (*Cronica moldo-polonă*) [Chronique moldo-polonaise].

<sup>76</sup> Martin Paszkowski, *loc. cit.* montre que Roxanda « była siostra rodziona nieboszczykowi Despotowi . . . » [était sœur par le sang du despote décédé] comme l'affirme aussi Siméon Dascălul, *loc. cit.*, p. 177.

La renommée de sa prétendue descendance impériale serbe semble avoir suffi pour grouper autour de lui une bonne partie de la noblesse moldave qui cherchait un prétendant à opposer à Lăpuşneanu <sup>77</sup>.



De même qu'en Moldavie, dès 1545, le remplacement de Radu Païsie par Mircea le Pâtre <sup>78</sup>, et le mariage de ce dernier avec Kiajna-Ana <sup>79</sup>, fille de Pierre Rareş et d'Hélène Brancovitch, permirent de s'affirmer en Valachie aussi la même politique autoritaire des voïvodes, hostile à l'anarchie des grands boyards. Pourtant, dans son action dirigée contre les grands féodaux, Mircea le Pâtre s'appuya sur les petits boyards et sur les petits dignitaires de la Cour. Parmi ceux-ci l'on comptait de nombreux Grecs venus de Constantinople, auxquels le prince céda en bonne partie l'administration des revenus du pays <sup>80</sup> et qui en même temps représentaient pour la Porte une garantie de la fidélité du vassal valaque. Leur rôle s'accrut plus particulièrement lorsque, tutrice de son fils, Kiajna dirigea les affaires du pays : « quae in omnibus suis negotijs utitur exteris consiliarijs Graecis, qui provinciam pro suo arbi-

<sup>77</sup> *Cronicile slavo-române din sec. XV—XVI etc.*, p. 142, ligne 2 : « qui s'intitulait lui-même fils de prince » ; *Letopiseşul Ţării Moldovei* de Grigore Ureche, ESPLA, II<sup>e</sup> éd., p. 172 : « il apparut Dispote de son surnom, mais son nom était Heraclu Vasilicu . . . ». Interpolation de Siméon Dascalul d'après Martin Paszkowski (voir note 71) où l'aventurier de Samos se faisait passer pour un neveu de Despot, à savoir Basilique qui avait vécu en Moldavie et s'était enfui par peur d'Alexandre Lăpuşneanu, donc vers 1551—1552. Ion Neculce (dans le *Letopiseşul Ţării Moldovei*, ESPLA, 1955, p. 111, XVI), parle de « Despote le Grand », dont le futur voïvode était le serviteur. Tout comme la princesse Hélène, il timbre son thaler de 1562 de l'aigle bicéphale des Brancovitch (*Istoria României*, p. 901, fig. 271). Son nom de Jean rappelle celui du despote Jean, père d'Hélène Rareş.

<sup>78</sup> D'un acte du 1<sup>er</sup> août 1564 (*D.I.R.*, B, XVI, n<sup>o</sup> 234) on apprend qu'avant de devenir voïvode, Mircea le Pâtre s'appelait « Démètre ». C'est encore ainsi qu'il s'appelle dans l'obituaire d'Argeş (Archives de l'Etat, Bucarest, manuscrit n<sup>o</sup> 742, f. 9, II<sup>e</sup> col.) : *Ив Дмитріе воевода нареченн Мирча*.

<sup>79</sup> Sa filiation ressort de l'inscription figurant sur l'aër du 20 janvier 1545, offert au monastère de Dionysiou (Em. Turdeanu, *La broderie religieuse en Roumanie. Les épitaphies moldaves aux XV<sup>e</sup> et XVI<sup>e</sup> siècles*, dans « Cercetările literare », Bucarest, 1940, tome IV, p. 210), de la notice écrite en 1560 sur un évangélaire conservé au monastère de St. Paul de l'Athos (Em. Turdeanu, *Legăturile româneşti cu mănăstirile Hilandar şi Sf. Pavel de la muntele Athos* [Les relations des Roumains avec les monastères de Chilandar et de St. Paul du Mont Athos], dans « Cercetări literare », t. IV, p. 79) et plus spécialement de l'acte du 1<sup>er</sup> août 1564 destiné au monastère de Sainte Catherine du Mont Sinai (*D.I.R.*, B, XVI<sup>e</sup> siècle, t. III, n<sup>o</sup> 234) où le nom de baptême de la princesse Kiajna est Anna, correspondant à l'Anna de l'obituaire de Bistriţa (D. P. Bogdan, *Pomelnicul de la Bistriţa*, Bucarest, 1941) et de l'inscription de l'autel du monastère de Pobrata (N. Iorga, *Inscripţii*, I, p. 56). Voir aussi « *Genealogia Illustrissimi et eccellentissimi principis Petri Moldaviae* » (*Thesaur de monumente*, t. III, p. 46—47) « filia vocabatur Despina » (en slave Кръжина).

<sup>80</sup> *Istoria României*, II, 866, 911—912. A ceux déjà mentionnés, nous devons ajouter le postelnic Manta le Grec (« Arhiva istorică a României », I, 1, p. 67—69 et *D.I.R.*, B, XVI<sup>e</sup> siècle, t. III, p. 233 ; t. IV, p. 245 ; t. V, p. 210) et l'aga Oxotie (*ibid.*, t. III, p. 253, 260, 266 et t. IV, p. 411), Ianiu, ancien grand ban du Jiu (*ibid.*, t. III, p. 211), Panga postelnic (*ibid.*, t. III, p. 243) et bien d'autres.

tratum gubernant et miserabiliter perdunt »<sup>81</sup>. A ces Grecs, « consilia-rijs epirotis, imputatum fuit, quia plebem iniquissimis exactionibus praemerent »<sup>82</sup>. L'importance de ces Levantins, liés économiquement aux intérêts des Turcs, croît dans la mesure où décroissent les forces du groupement philo-serbe et antiottoman : fait significatif, on peut observer, à partir du milieu du XVI<sup>e</sup> siècle, un abandon presque total de la traditionnelle politique d'assistance accordée à la culture slave, tant en Pays roumains qu'au-delà des frontières. Ainsi, l'activité typographique reprise en 1545 en langue slave, dut s'abriter à partir de 1558 à Braşov, où dès lors on publia de plus en plus fréquemment des livres roumains. Les secours accordés aux monastères du nord et du sud du Danube sont réduits dorénavant à d'insignifiants présents en objets et en espèces<sup>83</sup> ; on ne connaît plus que ceux dont les bénéficiaires furent le couvent grec de S<sup>te</sup> Catherine, au Mont Sinaï, en 1564<sup>84</sup>, et, en 1568, le monastère de Hiéromérion, en Epire<sup>85</sup>, gratifiés du reste de sommes d'argent assez modestes. Cette restriction dans les dépenses en faveur des centres de la résistance à la domination ottomane qu'étaient les monastères balkaniques correspond non seulement aux nécessités croissantes en argent des princes roumains (qui en avaient besoin pour assurer leur propre trône), mais encore à l'inféodation de plus en plus marquée de ces derniers au système politique de la Sublime Porte.

En Moldavie, quand après septembre 1551 la succession de Pierre Rareş fut assurée à Alexandre Lăpuşneanu, boyard indigène, l'élu de l'opposition des grands féodaux<sup>86</sup>, bien qu'ayant été obligé de consolider son trône en brisant la résistance du parti serbophile, fut forcé, par suite

<sup>81</sup> E. Hurmuzaki, *Documente privitoare la istoria Romnilor* [Documents concernant l'Histoire des Roumains], t. II, 1<sup>re</sup> partie, Bucarest, 1891, p. 510, n<sup>o</sup> CCCCLXIX, acte de 1564.

<sup>82</sup> *Ibid.*, p. 586, n<sup>o</sup> DLXVI : acte de 1568.

<sup>83</sup> Durant ces vingt années, les actes princiers ne portent que sur la confirmation de possessions de terres. On connaît un seul monastère sûrement érigé par Mircea le Pâtre et la princesse Kiajna, le monastère de Iezer, dans les monts de Vlcea, en Olténie. (Voir *D.I.R.*, B, XVI<sup>e</sup> siècle, vol. III, p. 155, 215—216). Son inscription, de 1720, retient le fait que « feu Mircea le voïvode et sa princesse Keaşna l'ont fait d'abord en 7079 » (1571). (« Revista pentru istorie, arheologie şi filologie » t. XIV, 1913, p. 81). Les seuls objets donnés par le couple princier sont : une reliure d'évangélaire en argent doré, sur laquelle sont figurés leurs portraits et ceux de leurs enfants (vers 1547—1549), reliure trouvée au monastère de Dionysiou (M. Beza, *Urme romneşti*, etc. II<sup>e</sup> éd., p. 54) et un manuscrit slave de 1560, conservé à la bibliothèque du monastère de St. Paul (voir Em. Turdeanu, *Din vechile schimburi*, p. 79 et D. P. Bogdan, *Despre daniile romneşti la Athos* [Au sujet des dons roumains à l'Athos], Bucarest 1941, p. 82 ; Bibliothèque de l'Académie de la R.P.R., Photographies, paquet XLIX, n<sup>o</sup> 24), conservés l'un et l'autre à l'Athos. Les notices qu'ils portent ne précèdent pas de façon certaine qu'il s'agit là de donations à ces monastères.

<sup>84</sup> *D.I.R.*, B, XVI<sup>e</sup> siècle, t. III, p. 197—199.

<sup>85</sup> Voir plus bas, note 141.

<sup>86</sup> *Istoria Romniei*, II, 902.

du prestige dont jouissaient les « despotes » dans l'Empire ottoman et à la Cour du prince Jean-Sigismond de Transylvanie, de légitimer son règne en épousant, à l'instar de Radu de la Afumați en Valachie (1526), la fille de Pierre Rareș et d'Hélène Despotovna nommée, elle aussi, Roxanda. Par ce mariage se groupèrent de nouveau à la Cour, après une courte interruption, des protégés de la princesse, des parents ou des familiers parmi lesquels figurait aussi Nicolas-Miclăuș Balșa, de la dynastie régnante de l'Herzégovine ; celui-ci, qui vivait sous le nom de « Nicolaus Hercegh » à Alba Iulia auprès de Jean-Sigismond, reçut d'Alexandre Lăpușneanu quelques possessions dépendant du domaine de Ciceu, car il était « consanguin » de la princesse<sup>87</sup>. Les enfants de Nicolas — petits-enfants du « herzeg » Étienne, ancien souverain de l'Herzégovine (décédé en 1466) — vivent à la Cour de Suceava, tandis que leur père se trouve auprès du « roi de Transylvanie »<sup>88</sup>. Dans une lettre, écrite en serbe par Dragomir Sîrbul (« le Serbe ») en 1566 et envoyée par un courrier transylvain, Lazare « Sebeșanin (de Sebeș) » — d'après son nom probablement un Serbe lui aussi —, le prince de Moldavie demandait à la ville de Raguse des secours pour ses protégés<sup>89</sup>. Il ressort clairement de là la double protection dont les nobles serbes réfugiés et leurs hommes jouissaient aussi bien en Moldavie qu'en Transylvanie.

Pourtant, pendant le second règne d'Alexandre Lăpușneanu, caractérisé par une soumission de plus en plus obséquieuse à l'égard des Turcs<sup>90</sup>, il apparut en Moldavie aussi des dignitaires portant des noms grecs — comme par exemple le « comis » Plaxa<sup>91</sup>. Si le prince et sa femme se souviennent toujours des fondations serbes<sup>92</sup>, les aides les plus nombreuses s'en vont dès lors vers les monastères grecs de l'Athos<sup>93</sup>. A partir du milieu du XVI<sup>e</sup> siècle, outre le prestige dont jouissait la parenté avec les « despotes » serbes, on constate que la descendance — le plus

<sup>87</sup> A. Veress, *Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei și Țării Românești*. [Documents concernant l'histoire de la Transylvanie, de la Moldavie et de la Valachie], t. II, p. 183—184 (apud N. Iorga, *Hist. Roum.*, V, p. 70), acte du 17 juin 1560, rédigé à Alba Iulia pour « *fidelis noster Egregius Nicolaus Hercegh* » qui confirme celui donné de Huși le 4 avril 1560 par Alexandre Lăpușneanu « *habita ratione sanguinis, quo idem Nicolaus Hercegh generosae ac magnificae dominae Roxandae ... proximus esset* ».

<sup>88</sup> Par leur grand-mère paternelle ils étaient donc cousins de Roxanda.

<sup>89</sup> C. Jireček, *Spomenici srpski* dans « *Spomenik srpske kraljevske Akademija* », XI, 90. Voir aussi Ljubomir Stojanović, « *Stare srpske povelje* », I, 2, 1934, p. 411—412.

<sup>90</sup> *Istoria României*, II, p. 904.

<sup>91</sup> Voir *D.I.R.*, A, XVI, t. II, actes de 1551 à 1555.

<sup>92</sup> En 1567 Alexandre Lăpușneanu et Roxanda font don d'un épitaphos au monastère de Mileșevo, « où se trouve notre très pieux père saint Sabbas de Serbie » (Em. Turdeanu, *Les épitaphioi*, op. cit., p. 211 ; L. Mirković, *Crkveni umetnički vez*, Belgrade, 1940, p. 23—25)

<sup>93</sup> Voir N. Iorga, *Hist. roum.*, V, p. 131 ; du même, *Byzance après Byzance*, Bucares 1935, p. 129, 135—136.

souvent imaginaire — de la famille impériale ou des grandes familles princières byzantines était de plus en plus appréciée. Un exemple caractéristique à ce point de vue est celui de Jacques, le prétendu Héraclide le Despote devenu prince de Moldavie sous le nouveau nom de Jean : dans la généalogie qu'il se forgea, il y a tout autant d'ascendants serbes (des Brancovitch) que d'éléments fantaisistes (mythologiques ou historiques) grecs <sup>94</sup>.



Un rôle semblable, peut-être même plus important au point de vue politique, est joué par l'émigration serbe en Transylvanie, à partir de la fin du XV<sup>e</sup> siècle et au cours des sept premières décennies du XVI<sup>e</sup> <sup>95</sup>. La Croatie appartenant à la couronne magyare, on avait reconnu aux féodaux de ce pays, de même qu'aux descendants des familles régnantes de Serbie, de Bosnie et d'Herzégovine, une place parmi les magnats du royaume. Georges Brancovitch et ses successeurs, par exemple, ont porté le titre de despotes de Serbie, de Podunavie ou de Srem, accordé par le roi en échange de l'aide que lui donnaient leurs armées pour combattre l'invasion turque <sup>96</sup>. Leurs fiefs, situés parfois le long de la Tisa et surtout du Danube, furent colonisés avec des paysans serbes qui fuyaient l'occupation ottomane et qui se montrèrent très actifs au point de vue militaire (surtout comme gardes-frontière sur le Danube). Dans l'histoire des luttes pour le trône de Hongrie, engagées par Ferdinand de Habsbourg contre Jean Zapolya, on rencontre fréquemment des noms de capitaines serbes et de leurs soldats de même origine. À côté de cette activité militaire, on constate que les longs pourparlers diplomatiques entre les deux partis mentionnés ont été souvent dirigés par des Serbes. À la Porte même, la langue diplomatique était souvent la « lingua illyrica », qu'employaient en 1527 dans leurs discussions l'envoyé polonais Jérôme Laski et le puissant vizir Ibrahim-Pacha <sup>97</sup>. Des personnages transylvains de marque

<sup>94</sup> Voir *Arhiva istorică a României* [Archives historiques de la Roumanie], Bucarest, t. I, 1<sup>re</sup> partie, 1865, p. 99. L'ambassadeur de France à Constantinople l'appelait « despote de Serbie » et « roi de Valachie » (Charrière, *Négociations diplomatiques de la France dans le Levant*, rapport du 15 avril 1562, apud N. Iorga, *Hist. Roum.*, V, p. 91).

<sup>95</sup> E. Picot, *Les Serbes en Hongrie*, Prague, 1873, p. 1—61 ; C. Jireček, *Geschichte der Serben*, II, p. 25, 29, 39, 60, 74—75, 80—83 ; N. Iorga, *ibid.*, p. 9, 34, 38, 51, 76, 81, 93, 104 ; R. Ciocan, *Politica Habsburgilor față de Transilvania în timpul lui Carol-Quintul* [La politique des Habsbourg à l'égard de la Transylvanie du temps de Charles Quint], Bucarest, 1945, p. 11, 13, 21—22, 25, 32—33, 42, 47—49, 55, 65, 67, 75, 100, etc.

<sup>96</sup> Étienne Bérislavitch en 1526 (Picot, *op. cit.*, p. 48). D'autres aussi ont porté ce titre (Picot, *op. cit.*, p. 49) : Démétrius Brancovitch est despote en 1561—1563 et son frère Georges-Lazare l'est de 1563 à 1596, etc.

<sup>97</sup> Hurmuzaki, *Documente*, II, I, p. 38—41.



portent à cette époque des noms serbes ou croates, comme ceux de Frankopani (Frankopan), Brodérićs, Klinčićs, Mihalévićs ou Jourisich. C'est surtout Jean Zapolya qui s'était entouré de Serbes, tel par exemple Pierre Pétróvićs qui devint comte de Timișoara et resta fidèle jusqu'au bout à la cause de Zapolya en servant aussi son successeur, le jeune Jean-Sigismond, et sa veuve Isabelle. Nicolas Kérépóvićs, ban de Caransebeș et futur beau-père de Pierre le Jeune, prince de Valachie en 1563, avait commandé les armées d'Isabelle<sup>98</sup>. A la Cour d'Alba Iulia il y avait aussi des descendants des familles Bérislavitch, Herzégovitch et Brancovitch<sup>99</sup>. Mais dans cette politique d'intrigues, d'initiatives politiques et d'actions militaires pour la possession de la Transylvanie, le rôle principal fut joué dans la quatrième décennie du XVI<sup>e</sup> siècle par l'évêque, puis cardinal, Georges Utiessénovitch, dit Martinuzzi d'après son lieu d'origine. Quand, par suite des troubles politiques dont ne profitèrent que les Turcs, la Transylvanie devint une principauté vassale du sultan, les armées de ce dernier occupèrent les forteresses du Banat et du Danube et soumièrent les habitants aussi bien serbes que roumains de ces contrées. C'est ainsi que disparut une force populaire importante dans la lutte antiottomane.

Malgré le rôle actif joué par les Serbes dans les questions transylvaines, leur influence ne dépassa pas les limites de la vie politique de la classe dirigeante ; après la mort de Jean-Sigismond, la noblesse serbe qui avait essayé de se maintenir comme telle à côté de la noblesse catholique ou protestante, s'intégra graduellement dans la vie de la province et disparut ensuite complètement. Tout comme en Valachie et en Moldavie, l'influence passagère de l'émigration serbe s'éteignit en Transylvanie dans la seconde moitié du XVI<sup>e</sup> siècle.



Toutes ces relations entre les centres culturels serbes et roumains, entre l'émigration serbe et les grands féodaux roumains, ont donné une nouvelle impulsion à la littérature slavo-roumaine des XV<sup>e</sup> et XVI<sup>e</sup> siècles. Dans l'évolution de la littérature slave écrite, les Principautés roumaines ont occupé par le passé une place à part. Bien que la langue slave ne fût comprise que par la classe dominante, surtout par le clergé et par les clercs de la chancellerie princière — la littérature slave a produit dans les Pays roumains des œuvres originales. Au niveau intellectuel

<sup>98</sup> La famille Pétróvićs s'appelaient aussi Ovčiaróvić. Un certain Pierre Kérépóvićs représentait la ville de Brașov aux noces de Kiajna en 1545 (N. Iorga, *ibid.*, p. 104). Un capitaine du nom de Démétrius Ovčiaróvić, en 1552 (Picot, *op. cit.*, p. 52—53).

<sup>99</sup> Picot, *op. cit.*, p. 52—55.

de la couche dirigeante elle ne s'est pas limitée à des copies de prototypes, soit à caractère liturgique et mystique, indispensables au culte religieux, soit de nature juridique, historique ou littéraire, mais elle a donné aussi des travaux originaux, surtout dans le domaine de la narration historique. Par suite du prestige dont jouissait la culture serbe dans l'ensemble du monde de langue slave, on assiste au XVI<sup>e</sup> siècle à des transformations qui touchent non seulement à la forme — l'expansion de l'ancienne langue slave sous la rédaction serbe — mais aussi au contenu. D'un caractère très original, la création littéraire serbe du XIII<sup>e</sup> au XV<sup>e</sup> siècle a exercé une nouvelle influence sur la littérature slavo-roumaine : elle a provoqué le passage d'une littérature essentiellement religieuse à une littérature plus proche des intérêts du pouvoir princier, littérature mise au service du courant politique ayant pour but la centralisation du pouvoir dans l'État. Cette période qui s'étend de la fin du XV<sup>e</sup> siècle à la septième décennie du XVI<sup>e</sup> peut être considérée comme la plus importante pour la littérature slavo-roumaine.

L'étude de la riche collection de manuscrits et d'impressions slaves de la Bibliothèque de l'Académie de la République Populaire Roumaine (plus de 750 pièces)<sup>100</sup> permet de constater (bien que la plupart de ceux-ci soient écrits en slave ecclésiastique de rédaction médio-bulgare, traditionnel dans la littérature des Pays roumains) une prédilection de plus en plus marquée, à partir du XV<sup>e</sup> siècle et surtout en Valachie, pour la rédaction serbe. Cette prédilection s'accroît au XVI<sup>e</sup> siècle pour baisser et pour disparaître presque complètement au XVII<sup>e</sup><sup>101</sup>. En Moldavie, le plus grand nombre des manuscrits de rédaction serbe date du XV<sup>e</sup> siècle, diminue au XVI<sup>e</sup> et on n'en rencontre plus du tout au XVII<sup>e</sup>. Ce phénomène ne peut être expliqué que par l'importance qu'atteignirent à cette époque les échanges culturels entre les Pays roumains et les centres de culture serbe, ainsi que par le rôle joué par les lettrés, aussi bien dans la vie des monastères, qu'à la Cour princière — en Valachie notamment.

<sup>100</sup> Voir le premier travail d'ensemble consacré à la plus importante collection roumaine de manuscrits slaves (quelque 700 pièces) par P. P. Panaitescu, *Manuscrisele slave din Biblioteca Academiei R.P.R.*, I, Bucarest, 1959, XX + 406 p. ; II (en manuscrit). Les manuscrits montrent l'importance des réfugiés serbes dans les Pays roumains (*ibid.*, p. IX).

<sup>101</sup> Bien que nous ayons recours à une comparaison statistique — sans prétendre qu'elle soit exhaustive — portant sur un seul fonds, celui de la Bibliothèque de l'Académie de la R.P.R. (P. P. Panaitescu, *Manuscrisele slave* etc. I, Bucarest, 1959, XX + 406 p. et t. II en manuscrit) et bien que nous suivions les indications données par l'auteur du catalogue sur la rédaction utilisée, la situation est la suivante dans les grandes lignes : 65 manuscrits de rédaction serbe dont, en Moldavie, 5 sur un total de 46 (11 % environ) pour le XV<sup>e</sup> siècle, 1 sur 129 (moins de 1 %) au XVI<sup>e</sup> siècle ; aucun manuscrit sur les 66 du XVII<sup>e</sup> siècle ; en Valachie on trouve : 9 sur 19 (47 %) au XV<sup>e</sup> s. ; 48 sur 93 (49 %) au XVI<sup>e</sup> siècle ; 2 sur 20 (10 %) au XVII<sup>e</sup> siècle.

Quelques-uns des manuscrits dont il s'agit proviennent même de Serbie et ont été apportés au nord du Danube par des fuyards, grands féodaux ou lettrés. C'est le cas par exemple d'un manuscrit ayant appartenu à Branko Mladénovitch, sébastocrator d'Ochrida au temps d'Étienne Douchan en 1346<sup>102</sup>, qui n'est autre que le Branko qui a donné son nom à la dynastie des Brancovitch<sup>103</sup>. C'est encore le cas du manuscrit du patriarche Sabbas de Peć<sup>104</sup>, de celui du métropolite Maxime (l'ancien despote Georges de Srem)<sup>105</sup>, ou de celui du despote Étienne Bérislavitch de Transylvanie<sup>106</sup>, et de bien d'autres manuscrits, écrits dans les monastères du Mont Athos.

D'autres manuscrits pareils ont également circulé dans les Pays roumains : ils ont servi de prototypes à de nombreuses copies qui y ont été exécutées, comme par exemple une traduction du Nomocanon (« Praviĭa »), faite en 1295 d'après un texte grec à l'usage de la Cour du roi Étienne Miloutine<sup>107</sup>. Il eut été certainement intéressant de connaître les noms des copistes et les endroits où, dans les Pays roumains, ont été faites de telles copies rédigées en serbe et il est à remarquer que la Bibliothèque de l'Académie de la R.P.R. possède 6 manuscrits de ce genre pour la Moldavie et 59 pour la Valachie. Malheureusement, dans la plupart des cas, le manuscrit n'indique même pas le nom de l'ancien possesseur du livre. Les rares informations qui nous sont parvenues nous dirigent toutefois vers le grand centre monacal de l'Olténie, le monastère de Bistrița, bâti par les Craïovești, boyards dont les relations avec le monde serbe, plus spécialement par la princesse Despina, l'épouse de Neagoe Basarab, ont été déjà mentionnées. Là étaient rassemblés de nombreux manuscrits, copiés sur le territoire du pays ou provenant d'outre-Danube (25 des 59 manuscrits de rédaction serbe appartenant à l'Académie de la R.P.R. ont appartenu à Bistrița). Dans le manuscrit du hiéromoine Théophile, l'un des rares copistes dont le nom nous est connu, et qui a travaillé dans ce monastère en 1531, sont mentionnés aussi — fait significatif — les saints nationaux serbes Siméon et Sabbas<sup>108</sup>. Il semblerait qu'à Bistrița fonctionnait

<sup>102</sup> Mss. 205 (*ibid.*, p. 300—302).

<sup>103</sup> C. Jireček, *Geschichte der Serben*, I, p. 388.

<sup>104</sup> Mss. n° 100 (P. P. Panaitescu, *op. cit.*, p. 127—128).

<sup>105</sup> Le monastère d'Argeș a conservé un certain temps un manuscrit ayant appartenu au métropolite Maxime et racheté par Neagoe Basarab en 1519. (Voir Em. Turdeanu, *Din vechile schimburi etc.*, p. 156).

<sup>106</sup> Mss. n° 97 (P. P. Panaitescu, *op. cit.*, p. 124—125).

<sup>107</sup> Nomocanon. Mss. n° 285 (*ibid.*, p. 379—383).

<sup>108</sup> Katavaslaire, Mss. n° 221 (*ibid.*, p. 319—322).

aussi une école de scribes <sup>109</sup>. Au près des Craïovești, qui tenaient une véritable Cour à Craïova, travaillaient des copistes, tels que Dragomir « diacul » (le scribe) et Dieniș (1519—1521) qui écrivirent deux manuscrits commandés par Preda, grand ban à la fin du règne de son demi-frère Neagoe Basarab et voïvode éphémère en novembre 1521. Il est certain que de semblables centres existaient aussi dans d'autres villes, surtout à Tirgoviște où se trouvaient la Cour et le siège du métropolitain <sup>110</sup>. Pour ce qui a trait à la Moldavie, on y rencontre la rédaction serbe surtout dans des manuscrits écrits à l'extérieur de ses frontières. Mais par leur circulation et leur grand nombre ils prouvent aussi un contact permanent avec les centres serbes.

Mais à côté de la traditionnelle multiplication des textes par la copie, dès le début du XVI<sup>e</sup> siècle un nouveau moyen de diffusion du livre, l'imprimerie, avait commencé à fonctionner en Valachie, sous la direction du moine serbe Macaire (1508—1512), qui avait débuté dans son activité d'imprimeur au Monténégro <sup>111</sup>. Ne se sentant plus en sûreté, semble-t-il, à la Cour de Cetinje devant la menace turque — lui comme tant d'autres — il accepta avec joie l'invitation de Radu le Grand, prince de Valachie, qui l'encourageait à transférer son activité dans ce pays. Bien que la langue des livres imprimés par Macaire fût l'ancien slavon de rédaction médio-bulgare, usité dans les livres de culte dans les Pays roumains — comme d'ailleurs aussi dans les pays slaves — on rencontre pourtant aussi dans ses écrits des éléments propres à la Serbie, comme par exemple la mention des saints Siméon et Sabbas dans le *Liturgiaire* (Missel) de 1508 <sup>112</sup>, ou le titre de « prince de Podunavie » — caractéristique du titre des despotes serbes du XV<sup>e</sup> siècle — attribué aux princes de la Valachie, sans qu'il corresponde à une réalité <sup>113</sup>. La reprise

<sup>109</sup> Voir la notice de l'an 1519 du manuscrit n° 271 (*ibid.*, p. 367), — un ménée du XV<sup>e</sup> siècle, de rédaction serbe — « écrit par le maître d'école Mathieu le Tailleur. J'ai écrit, moi, le scribe Michel ». Ce sont ceux qui ont probablement étudié sur ce manuscrit ou qui l'ont lu.

<sup>110</sup> Par exemple un tétraévangile de rédaction serbe, écrit sur ordre du métropolitain Ananie (1545—1558) et offert à l'église métropolitaine de Tirgoviște (Em. Turdeanu, *op. cit.*, p. 158).

<sup>111</sup> Voir P. P. Panaitescu, *Liturgierul lui Macarie* (Introduction, p. XVI); *Istoria României*, II, p. 681.

<sup>112</sup> *Ibid.*, p. (19), (20). Mentions aussi dans le manuscrit de 1531 (*supra*, note 108) et dans un manuscrit partiellement écrit en Serbie au XV<sup>e</sup> siècle, qui provient du monastère de Neamț (P. P. Panaitescu, *Manuscrisele slave*, p. 161—162, mss. 134). Voir aussi les mss. n°s 134, 135 (*ibid.*, p. 161—168).

<sup>113</sup> Voir I. Bianu et Nerva Hodoș, *Bibliografia românească veche 1508—1870* [Bibliographie roumaine ancienne 1508—1870], tome I, 1508—1716, Bucarest, 1903. Ce titre est utilisé dans des documents de Neagoe Basarab et de ses gendres, Radu de la Afumați et Radu Pașie (2 août 1512, 16 mai 1525 et 9 février 1536—Bibliothèque de l'Académie de la R.P.R., paquet LXXIII n°s 11, 13, 18; 12 avril 1528 et 7 juin de la même année—*D.I.R.*, B, XVI, t. II, n°s 40 et 46) ou par Mircea le Pâtre (1551, *D.I.R.*, B, XVI, t. III, n° 3) et

— en 1545, sous le règne de Radu Païsie — de l'activité typographique et sa continuation, sous celui de Mircea le Pâtre, par Démètre Lioubavitch, neveu de l'imprimeur serbe Bojidar Voukovitch, est également due, dans une certaine mesure, à l'entourage du prince et aux relations avec le monde serbe. Mais, cette fois-ci, l'imprimerie passa sous une direction laïque : à la place du moine Macaire se trouvait dès lors le logothète Démètre Lioubavitch qui, à en juger d'après le titre qu'il porte, semble avoir occupé un emploi parmi les rédacteurs d'actes de Valachie ; il était donc attaché de plus près aux intérêts politiques du pouvoir princier. C'est à lui qu'on doit aussi la première impression pour la Moldavie, une édition de l'*Apostolos*, dédiée au prince Élie Rareș et à sa mère Hélène Despotovna<sup>114</sup>. Mais les conditions politiques défavorables du règne de Mircea le Pâtre, et peut-être l'absence d'intérêt de ce dernier pour l'activité culturelle, ainsi que la concurrence des livres imprimés en roumain par Coresi, d'une plus grande portée, firent cesser en Valachie, pour un certain temps, l'apparition de livres slaves. Quant à la Moldavie, outre le *Tétraévangélaire* du 22 juin 1546, imprimé — on ne sait où — par Philippe « Moldoveanin » (le Moldave) et portant les armoiries de ce pays (comme d'ailleurs aussi l'*Apostolos* de 1547 dû à Démètre Lioubavitch), on n'y connaît aucune autre activité typographique au XVI<sup>e</sup> siècle<sup>115</sup>.

En même temps que se déroulait la lutte pour la centralisation du pouvoir et l'apparition de la Renaissance occidentale en Transylvanie, les écrits juridiques et ceux à caractère de narrations historiques commencèrent à être de plus en plus recherchés.

Les efforts déployés aux XV<sup>e</sup> et XVI<sup>e</sup> siècles par les princes roumains pour limiter la puissance des grandes familles et pour réunir toutes les forces du pays en vue de la lutte antiottomane, se traduisirent sur le terrain littéraire par la copie et l'utilisation des lois — le plus souvent byzantines — qui circulaient déjà dans des traductions faites en Serbie et Bulgarie<sup>116</sup>. Au XV<sup>e</sup> siècle, le premier texte juridique utilisé

son fils, Pierre le Jeune (voir plus bas, note 144 et *D.I.R.*, B, XVI, III, n<sup>os</sup> 149, 151 et 302). Ce n'est donc point un emprunt fait aux notes de la chancellerie de Mircea l'Ancien (voir P. P. Panaitescu, *Liturghierul*, p. XV—XVI).

<sup>114</sup> Voir aussi I. Bianu et Nerva Hodoș, *Bibliografia românească veche 1508—1830*, tome IV, *Adăugiri și îndreptări*, Bucarest, 1944 ; *Istoria României*, II, p. 678—684. Voir aussi P. P. Panaitescu, *Liturghierul lui Macarie* (Introduction).

<sup>115</sup> I. Bianu et D. Simonescu, *Bibliografia românească veche*, etc. IV, p. 2.

<sup>116</sup> Voir Al. Grecu (P. P. Panaitescu), *Începuturile dreptului scris în limba română* [Les débuts du droit écrit en langue roumaine] dans « Studii », VII, 1954, n<sup>o</sup> 4, p. 215—217 ; *Istoria României*, II, p. 677—682 ; P. P. Panaitescu, *Manuscrisele slave I*, Introduction, p. XV et n<sup>os</sup> 72, 131, 285, 286 ; vol. II (en manuscrit), n<sup>os</sup> 340, 636, 692.

en Valachie fut le *Zakonik* du tsar Étienne Douchan, de 1349 et 1354, ainsi qu'une refonte de la législation byzantine destinée aux besoins de l'Empire serbo-grec <sup>117</sup>. On n'en connaît que deux copies en Valachie : l'une écrite avant 1444 peut-être sur le territoire de la Serbie et conservée jusqu'en 1830 au monastère de Bistrița, et une autre faite par ordre du voïvode Vladislav II (1447—1456) par Dragomir « gramaticul » (le scribe) de Tîrgoviște, en 1452 <sup>118</sup>. Les dispositions à caractère plutôt laïque de ce « *Zakonik* » montrent l'intérêt de plus en plus grand soulevé par les questions juridiques posées—dans un État centralisé—selon le modèle byzantin qu'avait suivi auparavant Étienne Douchan lui-même ; la rédaction du *Zakonik* dû à ce dernier poursuivait le but d'obliger les hauts fonctionnaires de l'État à appliquer des mesures semblables dans tout le territoire de l'Empire. Mais dans les Principautés Roumaines le succès de ce type de législation ne fut que passager : autant en Moldavie qu'en Valachie on passa bien vite aux vieux nomocanons et à des lois de caractère ecclésiastique, et aux « corrections » ou « explications » de Zonaras et de Mathieu Blastarès (*Syntagma*) <sup>119</sup>. L'époque d'Étienne le Grand nous a laissé deux manuscrits du *Syntagma* — l'un de 1472 et l'autre de 1495. De son fils Bogdan, nous avons un Code (« *Pravilă* ») datant de 1512. D'autres copies de ce genre faites d'après des codes apparurent du temps d'Alexandre Lăpușeanu : le manuscrit de 1557 du monastère de Bisericiani et la version du chroniqueur Macaire, évêque de Roman, qui a refondu lui-même le « *Syntagma* », en y disposant dans l'ordre de l'alphabet cyrillique les articles alignés jusqu'alors selon celui de l'alphabet grec <sup>120</sup>. C'est encore à l'évêché de Roman que l'on copie en 1581 <sup>121</sup> un autre manuscrit semblable. Mais tous ces textes juridiques écrits en Moldavie sont rédigés en médio-bulgare. Ce n'est qu'en Valachie que les manuscrits juridiques sont inspirés par des modèles serbes : là, outre le *Zakonik* serbe du XIV<sup>e</sup> siècle, on copie plus tard des codes-nomocanons, toujours d'après des modèles serbes. Nous connaissons une copie de ce genre datant du XVI<sup>e</sup> siècle et exécutée sous Pierre le Jeune de Valachie (1559—1568) d'après la traduction serbe de 1295 de la « *Pravila* » ; une autre, toujours en serbe, faite d'après le « *Syntagma* » de Mathieu Blastarès et donnée

<sup>117</sup> Al. Soloviev, *Zakonodarstvo Stefana Dušana, cara Srba i Grka*, Skoplje, 1928 ; Stojan Novaković, *Zakonik Stefana Dušana, cara Srpskog, 1349 i 1354*, Belgrade, 1898.

<sup>118</sup> La copie dite de Bistrița, en 1444, chez Al. Soloviev, *op. cit.*, p. 25 ; chez St. Novaković, *op. cit.*, p. LXXII—LXXIII. La copie de 1452 chez P. P. Panaitescu, *Începuturile dreptului*, *loc. cit.*, et *Istoria României*, II, p. 677.

<sup>119</sup> Voir P. P. Panaitescu, *op. cit.*

<sup>120</sup> *Istoria României*, II, p. 677, 1020.

<sup>121</sup> P. P. Panaitescu, *op. cit.*, p. 221—225 ; le même, *Manuscrisele slave*, II (en manuscrit), n° 692.

par la princesse Despina (1512—1554) au monastère valaque de Bistrița ainsi que des fragments de miscellanées écrits en Serbie au XIV<sup>e</sup> siècle<sup>122</sup>. On s'aperçoit encore de la nécessité de tels livres par le fait que Démètre Lioubavitch ajouta à la fin du « *Molitvenic* » (recueil de prières) de 1545 « *Les canons des saints Apôtres* »<sup>123</sup>. Mais, indifféremment du titre et du caractère de ces textes juridiques de provenance sud-danubienne, leur large circulation dans les Principautés, justement à cette époque, correspond à la lutte poursuivie par l'autorité centrale contre les lois non écrites — la coutume héritée de l'époque antérieure à la formation de l'État féodal — et qui par leur caractère oral laissaient voie libre à l'arbitraire de la justice des féodaux<sup>124</sup>. En fixant par écrit une législation uniforme et approuvée par l'autorité dont jouissait alors l'Église, les princes cherchèrent, en passant par-dessus les différences régionales féodales, à unifier la distribution de la justice et à la mettre, d'après l'exemple des tsarats bulgare et serbe, sous le contrôle de l'autorité centrale.

Les mêmes intérêts du pouvoir princier firent que, tout comme la littérature juridique, la littérature historique jouit d'une attention particulière. Cette dernière fut mise elle aussi au service de la même lutte pour la consolidation de l'autorité princière et ce fut surtout la création historiographique serbe, douée d'une grande originalité, qui a joui d'une assez large circulation dans les milieux lettrés des Pays roumains.

Ainsi parmi les écrits hagiographiques serbes des XIII<sup>e</sup> — XV<sup>e</sup> siècles — reproduits et lus dans les monastères roumains — nous rencontrons dans la rédaction de Théodose de Chilandar *La vie et l'éloge des saints Siméon et Sabbas*<sup>125</sup>, dont le culte était connu chez nous surtout par suite du contact avec l'émigration serbe<sup>126</sup>. Une œuvre de Grégoire Țablak, ancien hégoumène du monastère de Déčiani, jouissait également de beaucoup de popularité : il s'agit de la *Vie et l'éloge du roi Étienne de Déčiani*<sup>127</sup> (Étienne Dragutin, 1322 — 1331). Mais de tels écrits hagiographiques serbes avaient également engendré une littérature narrative fondée sur des faits réels et destinée à mettre plus particulièrement en lumière l'activité politique des rois serbes et leurs relations avec les pays voisins, sous la forme de notices généalogiques (« *Rodoslovie* ») ou d'annales (« *Letopis* »), et en bonne partie ayant pour but de soutenir la lutte des pays balkani-

<sup>122</sup> Manuscrits nos 285, 286, 72 (*ibid.*, p. 87, 88, 379—385).

<sup>123</sup> I. Bianu et N. Hodoș, *Bibliografia românească veche*, I, p. 2; *Istoria României*, II, p. 698.

<sup>124</sup> *Istoria României*, II, p. 677.

<sup>125</sup> P. P. Panaitescu, *Manuscrisele slave*, I, nos 134, 135 (p. 161—168).

<sup>126</sup> Voir plus haut les notes 55 et 112.

<sup>127</sup> Voir le manuscrit n° 306, feuillet 318 (P. P. Panaitescu, *op. cit.*, II).

ques contre l'Empire ottoman. Des écrits historiques de ce genre ont surtout circulé — d'après ce que l'on sait — en Moldavie, où nous les trouvons dans les manuscrits à côté d'ouvrages historiques originels, mais aussi avec d'autres ouvrages à caractère juridique. Ce rapprochement de la littérature juridique, dont le sens politique a été indiqué plus haut, n'est pas fortuit ; il correspond à la concordance entre les buts poursuivis par ces deux catégories d'ouvrages. Les codes connus sous le nom de « Sbornik de Kiev »<sup>128</sup> ou « de Léningrad »<sup>129</sup> sont significatifs à ce point de vue. La plus ancienne version des Annales serbes a été conservée par le premier, englobée à d'autres textes, juridiques et historiques, copiés par Roman « diacul » (le scribe) en 1554 à Baia et par Isaïe, en 1561, au monastère de Slatina, fondation d'Alexandre Lăpuşeanu. De même, le plus ancien exemplaire des *Vies des rois et des archevêques serbes* par l'archevêque Danilo a été copié à Hotin en 1574 par un certain « pope » Ion et acheté, la même année, par le rédacteur d'actes, Grégoire Iuraşcu « uricarul »<sup>130</sup>, qui en fit don au monastère de Suceviţa en 1588 ; de là le manuscrit parvint à Lwow où il était conservé lorsque son contenu fut imprimé par Daničić, en 1866. L'original sur lequel fut copié ce livre devait se trouver certainement en Moldavie, bien avant l'année 1574, et sa présence ainsi que sa reproduction exécutée dans ce pays témoignent de l'intérêt pour cet ouvrage et de sa circulation parmi les Roumains.

L'influence de tous ces écrits familiers aux lettrés de l'époque — tout au moins à ceux de culture, sinon d'origine serbe<sup>131</sup> — sur la rédac-

<sup>128</sup> Description par Ion Bogdan, *Vechile cronici moldovenesti ptind la Ureche* [Les vieilles chroniques moldaves jusqu'à Ureche], Bucarest, 1891, p. 3—11 ; *Cronicile slavo-romtne din sec. XV—XVI publicate de Ion Bogdan* (Les chroniques slavo-roumaines des siècles XV—XVI publiées par Ion Bogdan), édition revue et complétée par P. P. Panaitescu, Bucarest, 1959, p. 41—43.

<sup>129</sup> P. P. Panaitescu, *Cronicile slavo romtne*, p. 53—55.

<sup>130</sup> Voir Archiepiskop Danilo i drugi, *Životi kraljeva i archiepiskopa srpskich* (édition G. Daničić), Zagreb, 1866.

<sup>131</sup> Certains scribes de documents et même de hauts dignitaires portent en Valachie et Moldavie le nom de « Sîrbul » (le Serbe). En Valachie, de pareils noms sont très répandus à cause du voisinage de cette principauté avec les peuples slaves du sud du Danube. En Moldavie et là où les documents écrits par eux ont une rédaction de caractère serbe, nous soupçonnons que ce nom cache aussi une provenance ethnique précise. Tel est le cas du « postelnic » Sîrbul, des années 1447—1448, « vistier » (trésorier) en 1449—1450 ; puis de Pierre Sîrbul ou Sîrbescu en 1456, de Giurgiu Sîrbul et Georges Sîrbul, scribe et chantre en 1454 et 1456, de Gliga Sîrbescu, de Laţcu Sîrbul en 1444, de Bodea Sîrbul en 1489 ou de Nicoară Sîrbescu en 1462. Trois secrétaires de la chancellerie portent, au XVI<sup>e</sup> siècle, le nom de Sîrbul : Vasco en 1507—1508, Luca Sîrbul (peut-être aussi Popoviči) entre 1540—1550 et Dragomir Sîrbul en 1566. Les actes écrits par Georges Sîrbul, Vasco Sîrbul, Luca Sîrbul, auxquels il faut ajouter Théodore Prodanovik (pour Prodanoviči) et Dragomir Sîrbul, trahissent dans leur rédaction des éléments propres à la langue serbe (voir D. P. Bogdan, *Diplomatica slavo-romnă*, dans *D.I.R., Introducere*, t. II, Bucarest, 1956, p. 69, note 3). A côté



tion des premières chroniques, en Moldavie et Valachie, vient d'être pleinement prouvée par des recherches entreprises ces dernières années. Le professeur P. P. Panaitescu a mis en lumière dans une étude relative à cette question <sup>132</sup>, l'étroit rapport entre l'historiographie slavo-roumaine et l'ancienne littérature historique slave qui circulait alors dans les Pays roumains. Ce sont surtout les « Letopis » et les « Rodoslovie » serbes qui ont servi de modèle aux premiers travaux historiques slavo-roumains restés anonymes. Il suffit de remarquer que le titre de « tsar » donné aux princes moldaves dans la *Chronique anonyme* (dite jadis de *Bistrița*) ne correspondait pas à une réalité, mais qu'il n'est qu'un décalque de celui des souverains serbes, tel qu'il apparaît dans les *Annales serbes* — pour comprendre d'où venaient les modèles de l'ouvrage slavo-roumain <sup>133</sup>. C'est toujours vers ces modèles serbes que nous dirige le fait que les chroniques moldaves, — tant la *Chronique anonyme* que celle dite de *Poutna* —, ont, dans leur partie initiale, un caractère généalogique, correspondant aux « Rodoslovie ». Il existe même un ouvrage où les créations historiques serbe et moldave s'entremêlent : c'est la *Chronique dite serbo-moldave* <sup>134</sup>, combinaison d'informations relatives à l'histoire des deux pays, et correspondant du côté serbe aux « Letopis » <sup>135</sup>, où se rencontrent souvent de nombreux renseignements concernant des événements et des princes valaques. Enfin, ni les *Vies des rois et des archevêques serbes*, qui représentent une véritable narration historique, ne sont étrangères aux chroniques slavo-roumaines de Moldavie, bien que celles-ci soient de rédaction médiobulgare et que souvent leur style, celui surtout des chroniques du XVI<sup>e</sup>

---

du nom de « Sîrbul » apparaît aussi celui de « Bulgarul » (le Bulgare : Pavel Bulgarul — българинъ — le 29 janvier 1434). En Valachie le nom de « Sîrbul » est porté par bien des individus : petits propriétaires (moșneni), serfs (vecini), esclaves tzigancs, ou même grands boyards du conseil princier, tel le grand stolnic Sîrbul du prince Michel le Brave, qui possédait la terre de Cerneți, dans le Mehedinți (voir dans *D.I.R.*, B, XVI, II, nos 38, 135 ; III, nos 220, 420 ; IV, nos 4, 168, 228 ; V, nos 34, 446 — le « portar » Sîrbu, etc.). Nous n'avons rencontré ce nom qu'une seule fois à propos de la rédaction de<sup>9</sup> documents : celui du logothète Sîrbul en 1564 (*ibid.*, t. II, n° 229) de la main duquel nous ne connaissons aucun texte. En revanche, son fils, le scribe Lăudat, apparaît comme le rédacteur d'un acte de 1570 (*ibid.*, t. III, n° 388 (1570 : 3 janv.)). Voir également les actes nos 306, 410, IV, nos 38, 46, etc.

<sup>132</sup> P. P. Panaitescu, *Les chroniques slaves de Moldavie au XV<sup>e</sup> siècle (Romanoslavica)*, I, Bucarest, 1958, p. 150—151 ; *Cronicele slavo-române, Introduction* par P. P. Panaitescu, p. XIII et p. 188—189.

<sup>133</sup> Le père de la princesse Hélène, le despote Jean, est souvent appelé « tsar » dans les inscriptions (voir plus haut, note 66).

<sup>134</sup> P. P. Panaitescu, dans *Cronicele slavo-române*, p. 188—189 ; le même, *Les chroniques slaves*, p. 150.

<sup>135</sup> Lj. Stojanović, *Stari srpski rodoslovi i letopisi*, Belgrade, p. XLI.

siècle, imite le style emphatique et obscur des chroniques de Manassès et de Georges Hamartolos, qui ont circulé en traduction médio-bulgare <sup>136</sup>.

Pour la Valachie, nous manquons de chroniques slavo-roumaines et en bonne partie également de copies faites d'après les ouvrages originaux serbes. Nous ne connaissons que les deux volumes de la chronique de Georges Hamartolos en rédaction serbe, copiés du temps de Pierre le Jeune (1559—1568) à Bistrița, en Olténie<sup>137</sup>. Mais on peut supposer l'existence d'une chronique de Cour; ses traces se retrouvent dans la compilation roumaine des chroniques dites *Letopisețul cantacuzinesc* (Les annales des Cantacuzènes) <sup>138</sup>, où certaines formes impropres de la langue roumaine renvoient à un original slave. Par conséquent, on peut donc parler aussi d'un étroit rapport entre les Annales serbes et valaques; le caractère lapidaire des informations, la concordance de certaines d'entre elles avec celles des «Letopis» serbes, qu'elles semblent copier, nous incitent à chercher encore, à l'aide de la méthode comparative, l'origine de ces travaux, dans ce milieu lettré de la Cour où, comme nous l'avons vu, avait lieu alors le contact entre les littératures roumaine et serbe.

Nous devons également ajouter à ces écrits les actes rédigés par les scribes et logothètes de la Chancellerie princière ou de ceux des boyards — plus particulièrement des bans de Craïova — et des villes. La langue de ces actes est, en général, figée dans un formulaire stéréotype, à travers lequel les manifestations de la vie réelle peuvent difficilement transpercer. Si en Moldavie le formulaire très rigide (de langue médio-bulgare, souvent aussi avec des influences polonaises ou malo-russes) ne permettait pas d'y inclure des informations de caractère historique, en échange, en Valachie, où apparaît dès le XV<sup>e</sup> siècle l'influence de la rédaction serbe <sup>139</sup>,

<sup>136</sup> Mss. 320 (II<sup>e</sup> partie), 321 (I<sup>e</sup> partie) et 330 chez P. P. Panaitescu, *Manuscrisele slave* (t. II en manuscrit); voir aussi le t. I, p. XIV. Du même, *Les chroniques slaves*, ... p. 149.

<sup>137</sup> *Ibid.*, mss. 320.

<sup>138</sup> P. P. Panaitescu, dans *Cronicele slavo-române*, p. XIII; *Istoria României*, II, p. 1073.

<sup>139</sup> S. B. Bernstein, *Язык в алашских грамот XIV—XV веков*, Léningrad, 1948, chap. IV, p. 128—214; Al. Rosetti, *Istoria limbii române*, III, p. 46, 49. On doit supposer que le chef de la chancellerie — le grand logothète — et peut-être le grand «vistier» [trésorier] — qui tenait les comptes et les registres du trésor — ainsi que leurs subordonnés devaient connaître le slavon. On ne connaît qu'un seul cas d'ouvrage de grandes proportions écrit par un grand boyard, «messire Ivan, grand trésorier de Rîbnic», qui en 1544 (7052), sous le voïvode Petru Paisie et son fils le voïvode Vlad, du temps du règne du «sultan Soliman beg», copia au monastère de Bistrița, situé au pied du mont Păpușa, un tétraévangéliste (Annotation d'un manuscrit conservé au mont Athos; photographie à la Bibliothèque de l'Académie de la R.P.R., Photographies paquet XLIX, n° 39). Il ne laisse pas d'être curieux cependant qu'on ne rencontre pas dans les documents du temps un grand trésorier du nom d'Ivan.

les renseignements de ce genre sont beaucoup plus nombreux<sup>140</sup>. A ce point de vue, les rédacteurs des documents valaques d'origine ou d'influence serbe s'arrogent une bien plus grande liberté. Les documents valaques renferment souvent des informations ayant un caractère historiographique, qui impliquent une familiarité avec les renseignements donnés habituellement par les « Letopis ». Sous cet aspect, la chancellerie des princes valaques nous apparaît comme un dépôt de souvenirs de faits plus importants survenus au cours des temps. Ces petits renseignements historiques — de véritables fragments de chronique — méritent d'être enregistrés dans la création littéraire slavo-roumaine.

A cette catégorie de données inédites appartient aussi une information de 1568 concernant les souverains serbes, dont prétendait descendre le prince valaque Pierre le Jeune, par sa mère, la princesse Kiajna. Par son importance, cet acte doit être présenté ici plus amplement, car il marque la fin de l'époque la plus importante pour les relations entre les Roumains et les pays serbes au moyen âge.



Le 7 avril 1568<sup>141</sup>, année de sa déchéance, Pierre le Jeune, — en réalité c'était sa mère, la princesse Kiajna, qui gouvernait — alloua au monastère épirote de Hiéromérion la modeste somme de 1 100 aspres par an. Jusqu'à cette date ce couvent ne figurait pas au nombre des centres religieux de la Péninsule des Balkans, aidés habituellement par les princes roumains ; le secours mentionné, isolé et de courte durée, ne sera renouvelé d'ailleurs qu'un siècle plus tard<sup>142</sup>.

Après une ample introduction littéraire — de règle pour les actes solennels, surtout lorsqu'ils étaient destinés à un monastère — dans laquelle le scribe parle de « nos prédécesseurs, les anciens princes, tzars et

<sup>140</sup> Maintes informations de ce genre ont été recueillies par Stoica Nicolaescu, *Documente slavo-române*. Pour une information pareille relative au XVII<sup>e</sup> siècle dans un document de Mathieu Basarab, voir Ion-Radu Mircea, *Țara Românească și Închinarea raiei lui Brâila*, dans « Balcania », Bucarest, IV, 1941, et tiré à part.

<sup>141</sup> *D.I.R.*, B, XVI<sup>e</sup> siècle, t. III, n° 302, p. 262. L'original slave est déposé aux Archives de l'Etat, Bucarest, section historique, n° 781 ; il a été trouvé dans les archives du monastère de Brîncoveni, en Olténie. C'est un acte écrit soigneusement sur parchemin, avec chrismon et lettrine initiale, plus grand que le reste du texte, de même que le monogramme tracé à l'encre rouge. Le sceau, aujourd'hui perdu, était appendu. A en juger d'après le contenu, l'acte n'appartenait pas au monastère de Brîncoveni. Le seul indice intéressant sa provenance est fourni par une mention tergale du XVIII<sup>e</sup> siècle, en roumain : « Trouvé chez le pape Ștefan », avec la signature d'un certain — *Athanase hiéromoine* —, ce qui laisse à penser que le document est entré dans les archives du couvent ci-dessus par un pur hasard.

<sup>142</sup> Actes du 18 janvier 1657, Jassy (n° 127) ; 14 août 1667 (n° 124), mentionnant « la chrysobulle de donation de feu Jean Pierre le voïvode ». Photographies à la Bibliothèque de l'Académie de la R.P.R. (Photographies, paquet XLIX, nos 124, 127 et 128) d'après les originaux appartenant aux Archives Médiévales d'Athènes et provenant de la bibliothèque du couvent de Hiéromérion.

knèzes »<sup>143</sup>, « Jean Pierre, voïvode et seigneur de toute la Hongrovalachie et de la Podunavie »<sup>144</sup>, montre qu'il a accepté de tout cœur... d'être un nouveau fondateur... du monastère dit Eromeri où gisent les reliques de notre très saint père Nil l'Erihiote (de Jéricho), et qui a été bâti par le saint roi Étienne »<sup>145</sup>, à condition que l'on fasse mémoire de lui « comme on le fait des saints fondateurs et très pieux empereurs après leur mort ».

Le document est dressé en rédaction serbe, avec une graphie et dans une forme propres aux actes moldaves<sup>146</sup>, tout à fait inusitées de la chancellerie de Bucarest — par le « pl. in do péchés Stepan », rédacteur d'actes bien connu<sup>147</sup> et dont le nom présente un phonétisme serbe<sup>148</sup>.

<sup>143</sup> La formule *КАСАТЕЛЕ И ЦАРЬ И КНЕСИ* est rarement utilisée dans la chancellerie valaque; nous connaissons des cas datant des années 1525, 1528, 1534, 1536. L'allusion aux « tsars » vise — peut-être — Étienne Douclan; celle aux « knèzes », Lazare, fondateur de la famille Brancovitch, dont descendait aussi, par sa mère Kiajna, le voïvode Pierre le Jeune. Du reste, la signification de « prince » donnée au mot « knèze » dans la diplomatique sud-slave provient des Serbes, car les scribes de Valachie l'utilisaient fréquemment avec un tout autre sens dans les actes rédigés par eux (voir V. Costăchel, P. P. Panaitescu et Al. Cazacu, *Viața feudală* [La vie féodale], p. 173).

<sup>144</sup> Le titre de « prince de Podunavie » attribué à Pierre le Jeune est calqué sur l'exemple de la chancellerie serbe où il regarde, au XV<sup>e</sup> siècle surtout, la zone du Danube et même celle au nord du fleuve (Banat et Batchka). Si dans la chancellerie de Valachie, sous Mircea l'Ancien et son fils Michel, ce titre avait sa raison d'être (voir P. P. Panaitescu, *Mircea cel Bătrîn*, Bucarest, 1944; D. P. Bogdan, *Diplomatica slavo-română*, p. 83), au XVI<sup>e</sup> siècle ce n'était plus qu'un usage de chancellerie dû aux lettrés serbes (voir Macaire et les livres imprimés par lui pour Mihnea le Mauvais, Vlad le Jeune ou Neagoie Basarab; ou encore le logothète Dimitrie Liubovitch pour Radu Pașie et Mircea le Pâtre, mais pas pour Elie Rareș de Moldavie) ou cher aux notaires influencés par les modèles serbes (actes cités plus haut, note 113).

<sup>145</sup> Voir plus loin le texte slave de l'annexe II, p. 418, lignes 30—37, et p. 419, lignes 1-2.

<sup>146</sup> Il n'est pas écrit dans la largeur de la feuille (qui mesure 47 cm × 32,5 cm) mais dans sa longueur. Du point de vue de la graphie, l'écriture n'accuse pas des tendances à la cursive, mais à la semi-onciale. Très caractéristiques sont les *ѣ* et *ѧ* dont la haste dépasse de beaucoup le niveau des autres et est droite. La façon même d'apprendre le sceau, en reprenant la partie inférieure de l'acte, est propre à la chancellerie moldave. Un autre scribe moldave de la chancellerie valaque a dû rédiger l'inscription de dédicace d'un tétraévangélaire de 1560 trouvé au monastère de Saint Paul, au Mont Athos (voir note 83): le scribe Basile, du village de Martinți.

<sup>147</sup> Scribe pour les actes: cc chancellerie dressés à Bucarest et qui signe tantôt, simplement, Stepan (actes des 15 avril et 5 août 1567, 27 oct. 1568, *D.I.R.*, B. XVI<sup>e</sup> siècle, t. III, p. 235, 247, 298) ou « Stepan le vieux » (acte du 9 sept. 1568, *ibid.*, p. 292), tantôt « Stepan le logothète » (acte du 13 juin 1571, *ibid.*, t. IV, p. 30), tantôt « le vieux Stepan le logothète » (actes des 11 juin 1565 et 22 août 1569, *ibid.*, t. III, p. 213, 325). Outre le « vieux Stepan le logothète », la chancellerie princière connaît aussi un certain « Ștefan le logothète », dont le nom est orthographié dans l'esprit de la langue roumaine, en 1568, 1570 et 1571 (acte du 25 janvier 1568: Ștefan diac [lc scribe], *ibid.*, III, p. 258; 12 janvier 1570 « Stepan », *ibid.*, p. 340; actes de 1570, *ibid.*, p. 354, 376, 387 et de 1571, *ibid.*, IV, p. 29). Stepan le vie *x* use encore du motif historique dans un acte à caractère interne, où il nous présente des informations très intéressantes au sujet de la situation politique des règnes de Vlad le Moine (1482—1496), et de Vlad Vintilă et aussi au sujet de certaines familles de boyards (5 avril 1567, *ibid.*, III, p. 233—235).

<sup>148</sup> Voir aussi Stepan, logothète de Ciofringeni (plus haut, note 49) ou Stepan, logothète d'Obidiți (voir note 60) et d'autres scribes d'actes de rédaction serbe, du début du XVI<sup>e</sup> siècle, des 28 janvier 1501 et 16 août 1506 (Bibliothèque de l'Académie de la R.P.R., Photographie, paquet LXXIII).

Quel motif aura incité le prince valaque à faire cette donation — exceptionnelle pour lui et sa mère, qui pesaient avec tant d'avarice leurs dépenses — à un monastère encore inconnu dans les Pays roumains ?

Tout d'abord, on voit d'après le contenu de l'acte indiqué que le prince ne faisait que recevoir une demande qui lui avait été adressée ; donc l'initiative semble avoir appartenu soit aux moines qui recherchaient des secours, soit à l'un de ses courtisans grecs, peut-être un épirote<sup>149</sup> qui connaissait ce monastère, soit aux deux à la fois. Dans ce document, Pierre le Jeune se montre désireux de succéder aux « tsars et knèzes fondateurs du monastère », donc pas aux Empereurs byzantins (le mot « knèze » n'a pas de correspondant dans la chancellerie grecque). Enfin, s'il accepte d'être un « nouveau fondateur », l'ancien est désigné dans le texte du document comme étant le « saint roi Étienne », qui avait bâti le couvent.

L'identification du « saint roi Étienne » avec l'un des nombreux rois serbes portant ce nom est assez difficile, car dans la chancellerie et l'Église serbes il était d'usage de considérer comme saints presque tous les rois, empereurs, knèzes et despotes, ainsi que leurs femmes<sup>150</sup>. Parmi les saints serbes figurant sous ce nom dans le calendrier religieux, quatre d'entre eux sont des rois : Étienne « Premier couronné » (1196—1228), Étienne Miloutine (1282—1321), Étienne « Décianski » (1322—1331) et le despote Étienne Lazarévitch (1389—1427)<sup>151</sup>. Mais « saint roi » est aussi nommé un cinquième : le tsar Étienne Douchan, qui, lui, a été maître

<sup>149</sup> Le trésorier Iane qu'on rencontre, à l'époque, en Valachie et en Moldavie, était épirote (N. Iorga, *Hist. Roum.*, t. V, p. 14). Voir aussi les allusions aux « consiliariis epirotis » (note 82). D'Épire ou d'Albanie était originaire le neveu de Joseph Argyropoulos (ancien métropolite de Thessalonique et patriarche de Constantinople), Stamati, le gendre de la princesse Kiajna (N. Iorga, *Fundațiile domnilor români din Epir* [Fondations des princes roumains en Épire], dans « Analele Academiei Române, Memoriile secției istorice », 1914, p. 884). Le grand spathaire et « vistier » de Pierre le Boiteux, dont il était aussi le gendre, Zota, fils de Tzigaras, était de Janina et descendait par sa mère de la famille épirote Asparas (N. Iorga, *Byzance après Byzance*, Bucarest, 1935, p. 115, note 10 et p. 143. Voir aussi Victor Papacostea, *Esquisse sur les rapports entre les Roumains et l'Épire* dans « Balcania », I, 1938, p. 230—244).

<sup>150</sup> Les parents et le frère du métropolite Maxime, le fondateur du monastère de Krušedol, sont représentés en qualité de saints (voir les icones reproduites par M. Romanescu, *Neamurile doamnei lui Neagoe Vodă*, p. 5 et 7). Le despote Jean Brancovitch est intitulé « saint Jean » dans l'obituaire d'Argeș (voir note 44).

<sup>151</sup> Ioannes Martinov, *Annus ecclesiasticus graeco-slavicus*, Bruxelles, 1863, p. 230, 243, 266, 275. C'est ainsi que l'archevêque Danilo, dans ses *Vies des rois et archevêques serbes*, appelle aussi Étienne Miloutine. De même Jireček, *Geschichte der Serben*, I, p. 355 (*wurde er bald als der « heilige König » (Sveti Kralj) verehrt*). La présence de son tombeau à la cathédrale de Sofia la fait appeler l'église « du saint roi » (*ibid.*) L'hypothèse que ce pourrait être son fils Étienne II O rosh, fondateur du couvent de Déciani (1322—1331), dont l'hégoumène, Grégoire Ţablak, a écrit la vie, a longtemps circulé chez nous et dans le monde balkanique, mais elle est infirmée par le nom sous lequel il était connu dans la littérature : *Сръбски кнезъ и Дечанъ* (voir Académie de la R.P.R., mss. 221, f. 277 chez P. P. Panaitescu, *Manuscritele slave*, I, p. 320 ; II, ms. 306, f. 218).

de l'Épire (entre 1348 et 1355), bien que pour peu de temps<sup>152</sup>. Seule la recherche des conditions ayant présidé à la fondation du monastère de Hiéroméron, situé à proximité de Janina, pourrait nous fournir des précisions.

L'historiographie grecque attribue la fondation de ce monastère au moine Nil, en 1285 ou 1310, et ignore le rôle joué par quelque souverain serbe dans sa construction ou sa reconstruction. L'analyse des maigres sources historiques dont nous avons pu disposer nous permet seulement des hypothèses au sujet des circonstances de la création de ce centre culturel, important pour l'Épire jusqu'en 1821<sup>153</sup> et qui a entretenu des relations avec les Pays roumains, aux XVII<sup>e</sup> et XVIII<sup>e</sup> siècles<sup>154</sup>. D'après le texte de sa *Vie* et de son *Testament*<sup>155</sup>, Nil aurait vécu entre les années 1232 et 1338 et aurait fondé entre 1320 et 1338 — dans une vigne à Hiéroméron, reçue de Jean Opsaras<sup>156</sup>, un vassal du despote Jean Ange Doucas d'Épire — une petite communauté composée de trois, puis de quatre ermites. Ils y bâtirent une maison de prières dédiée à la Mère de Dieu. A sa mort, il fut enterré dans cet endroit, laissant comme successeur Isaïe qui semble avoir écrit aussi sa *Vie* et son *Testament*. Malheureusement le *Testament*, publié d'après une copie imparfaite faite vers 1825, a omis le nom de l'empereur qui a confirmé l'acte, ainsi que la date de la confirmation. Mais on sait que dans le *Testament* sont mentionnés, comme

<sup>152</sup> C. Jireček, *Geschichte der Serben*, I, p. 395.

<sup>153</sup> Le Monastère de Hiéroméron (Ἱερομέριον ou Γηρομίριον en Épire (Μεγάλη Ἑλληνική ἐγκυκλοπαίδεια VIII, Athènes, 1929, p. 333) — dont N. I. Souls considère («il semble être») Nil comme le fondateur, en 1285, «comme on le voit d'après les chrysobulles qui se sont conservés des XVII<sup>e</sup> et XVIII<sup>e</sup> siècles» — situé au nord-est de Philiate, du côté de Janina. A joué un certain rôle au moyen âge dans la vie locale par son importance, étant stauropégie du patriarcat de Constantinople. Ce couvent possédait une riche bibliothèque et une école de langue grecque, réputée au XVII<sup>e</sup> siècle. Il devint vers 1821 le siège d'un évêché, mais cela pour peu de temps. Des incendies et des pillages causèrent la décadence du dit monastère, aujourd'hui en ruines. Les rares actes des XVII<sup>e</sup> et XVIII<sup>e</sup> siècles rescapés du désastre sont conservés aux Archives médiévales d'Athènes. (Photographies données par M. Léandre Vranoussis à l'Académie de la R.P.R. Voir supra, note 142. Dans son article «Ἡ ἐν Ἐπιπέρω μὴν Σωσινουῦ, Athènes, 1957, p. 102, note 5, la bibliographie relative au couvent de Hiéroméron). La *Vie de Saint Nil* et son *Testament* non daté, publiés par P. Aravantinos (Περὶ τοῦ Νείλου τοῦ Ἐπιχίτου dans Πανδώρα — Athènes, 1865, p. 470—474), auxquels vient s'ajouter notre document de 1568 renferment sur son ancienneté d'importantes données. Une vie de cet ascète, publiée dans le *Grand Synaxaire* de Constantin Doukakis (Athènes, 1894, p. 248—249) est entachée d'aspects légendaires : Nil aurait vécu 160 ans (1190—1350) et le monastère fondé l'an 630 par l'empereur Héraclius, aurait été fondé derechef par Nil de Jéricho (1190—10 août 1350) en 1310 à l'endroit où l'on avait découvert une icône de la Vierge Hodigitrie, cachée jadis de peur des iconoclastes.

<sup>154</sup> Voir Bibliothèque de l'Académie de la R.P.R., Photographies, paquet XLIX, nos 124—130.

<sup>155</sup> Voir note 153.

<sup>156</sup> Pour la famille Apsaras d'Épire, apparentée à Pierre le Boiteux de Moldavie, voir supra note 149.

étant en vie, le despote Jean et sa femme, Anne Paléologue « la basilissa » qu'on appelait aussi « Despina », en serbe ; mais comme Jean Ange mourut en 1335, empoisonné par sa femme<sup>157</sup>, et comme la *Vie* de Nil indique comme terme de sa vie les années 1316—1335, nous pouvons supposer que le *Testament* a été écrit peu de temps avant 1335. Si le monastère a été édifié entre 1316 et 1335<sup>158</sup>, il a dû s'agir d'une petite communauté assez pauvre, ayant un ermitage dont on montrait les vestiges aux visiteurs au siècle dernier, à côté de la grande église, le « katholikon »<sup>159</sup>. La grande église a été probablement bâtie après la mort de Nil ; et l'information de 1568, selon laquelle elle fut construite par un roi Étienne pourrait concerner l'érection du katholikon, qui aurait donc existé à l'époque de la domination de l'Épire par l'empereur Étienne Douchan (1348—1355). On connaît son activité de fondateur à l'Athos, puis en Thessalie et en Macédoine<sup>160</sup> ; la construction d'un monastère à Hiéromérion, à proximité de la frontière albanaise, était un moyen qui lui permettait de gagner la sympathie des autochtones grecs, tout comme l'emploi fréquent de la langue grecque par la chancellerie, et l'adoption du cérémonial et des dignités byzantines à sa Cour de Skoplje<sup>161</sup>. On pourrait donc avancer l'hypothèse que parmi les fondations d'Étienne Douchan, comme « Empereur des Grecs et des Serbes », figurait aussi la construction de la nouvelle église (Katholikon) dédiée au « très saint Nil de Jéricho », tant pour marquer l'extension de son État vers le sud que dans le désir de s'assurer les sympathies des indigènes en recourant à la vénération dont jouissait parmi eux le fondateur du monastère<sup>162</sup>. Il n'est donc pas exclu que l'Empereur qui confirme le *Testament* fût précisément le tsar Étienne Douchan, nouveau fondateur de l'établissement monastique érigé par Nil.

Pour l'histoire des relations des Serbes et des Roumains, cet acte ne signale pas seulement un fait ignoré jusqu'à ce jour par les chroniques ou les « Vies » serbes connues ; il ne consigne pas seulement le souvenir encore vivant des traditions concernant les ancêtres, réels ou prétendus, de la famille princière de Bucarest ; cet acte marque la fin d'une période

<sup>157</sup> C. Jireček, *op. cit.*, I, p. 389—390.

<sup>158</sup> Nous ignorons sur quoi se fonde H. I. Souls pour affirmer dans son article sur le couvent de Hiéromérion (plus haut, note 153) que sa fondation remonte à 1285. La « Vie » publiée par P. Aravantinos déclare que les deux monastères de Jéricho et de Hiéromérion ont été fondés par Nil dans les 19 dernières années de sa vie, soit donc entre 1316 et 1335. C. Doukakis avance l'année 1310 comme date de fondation.

<sup>159</sup> L'article de N. A. Bédès, dans 'Ελευ. ἐγκυκλιον. Λεξικόν (t. III, 1928, p. 841), admet également la date de 1285 comme étant celle de la fondation.

<sup>160</sup> Voir C. Jireček, *op. cit.*, p. 395 : donatons à Trikkala, Zablantia et Lykoussada.

<sup>161</sup> *Ibid.*, p. 395—396.

<sup>162</sup> Voir *La Vie de saint Niphon, ermite au mont Athos (XIV<sup>e</sup> siècle)*, par François Halkin, dans *Analecta Bollandiana*, t. LVIII, Bruxelles-Paris, 1940, p. 13, ligne 13 et note 5.

importante de l'évolution de ces relations. Pierre le Jeune considère le secours accordé au monastère de Hiéromérion comme une obligation de famille et rappelle pour la dernière fois et seulement, par une vaine manifestation d'orgueil, son illustre ascendance. En réalité, une fois consolidée la domination ottomane dans les Pays roumains, la ligne politique d'encouragement par la voie culturelle de la résistance passive des peuples asservis par les Turcs, ligne suivie jusqu'au milieu du siècle par les souverains valaques et moldaves, était abandonnée.



Dans les pages ci-dessus nous n'avons pas cherché à épuiser l'ensemble de la question des relations des Serbes et des Roumains ; par leur aspect multilatéral elles pourraient faire l'objet d'amples études auxquelles nous tâcherons d'apporter notre contribution. Mais nous n'avons essayé que de présenter une série de faits, connus ou inédits, concernant une importante période de l'histoire culturelle de ces relations et de déterminer son cadre chronologique à l'aide des deux documents de 1492 et de 1568. Par des relations de famille entre l'émigration serbe de Transylvanie et de Hongrie et les grands féodaux — princes ou boyards — de Valachie et de Moldavie, donc seulement au niveau de la classe dirigeante ; par l'établissement des réfugiés auprès des Cours princières ou des nobles et dans les monastères, la civilisation serbe des XIII<sup>e</sup>—XV<sup>e</sup> siècles a exercé son influence non seulement sur le monde slave, des Balkans à Kiev et Novgorod<sup>163</sup>, mais partiellement aussi sur la vie culturelle des féodaux des Pays roumains. La période qui va de 1492 à 1568 représente le moment culminant de son emprise au nord du Danube. C'est alors que les princes roumains, sollicités par les peuples slaves subjugués, se considérant successeurs de droit des rois, tsars et knèzes serbes, et apparentés de fait à leurs derniers descendants — les despotes issus de la famille Brancovitch — assumèrent l'obligation de soutenir les centres culturels serbes, devenus — tout comme d'autres centres monastiques semblables de Bulgarie et de Grèce — des foyers de la résistance — ordinairement passive mais parfois active — à la domination ottomane. Et par l'aide qu'ils offraient aux lettrés du sud du Danube, et aux Serbes plus particulièrement, par la circulation des créations littéraires serbes — multipliées dans les Principautés — mais surtout par l'exemple qu'offraient les créations historiographiques, bien connues dans le monde des lettrés, ils ont

<sup>163</sup> V. N. Lazarev, *История византийской живописи*, t. I, Editions de l'Etat « Iskusstvo », Moscou, 1947, chap. IX, p. 236—40.



donné une nouvelle orientation aux « Chroniques » et aux « Annales slavo-roumaines » ayant pour but de renforcer aussi l'autorité centrale dans sa politique extérieure.

Toute brillante qu'apparaisse cette période de près d'un siècle, elle se termina vers les années soixante-dix du XVI<sup>e</sup> siècle. Mais surtout — et il s'agit là de son caractère principal — les relations politiques et culturelles n'ont subsisté qu'au niveau de la mince couche des familles princières et de grands boyards. La civilisation serbe et la littérature slavo-roumaine qui l'a imitée, n'ont pas réussi à se créer dans les Pays roumains une plus large base d'appui dans les masses, car elles étaient séparées de celles-ci par leur caractère de classe et par la différence des langues. Il va de soi que, outre les relations examinées ici, il y eut aussi d'étroits contacts, de peuple à peuple, sur la ligne du Danube, surtout dans les moments de lutte commune ; mais leur étude n'entre pas dans le cadre des préoccupations du présent article.

Revenant à l'objet limité de nos recherches, nous ferons observer qu'un autre élément qui a hâté la fin de ce processus dans les Pays roumains fut l'extinction graduelle des familles féodales serbes de l'émigration par leur absorption au milieu de la féodalité locale, roumaine ou magyare. Avec la disparition de ses protecteurs — Zapolya en Transylvanie, et les descendants de Brancovitch par les femmes en Valachie et Moldavie — cessa aussi le souci que l'on avait de soutenir la vie culturelle de la patrie envahie.

Enfin, d'autres idées conductrices que celle de la lutte antiottomane commencèrent — depuis le milieu du XVI<sup>e</sup> siècle — à se manifester dans la politique des dirigeants ; ceux-ci abandonnèrent bien vite la vision plus vaste d'une politique balkanique, en échange d'une protection par la Porte des intérêts personnels qui pouvaient être satisfaits, plus facilement et sans risques, par la soumission au sultan. La signification de la politique balkanique qu'avaient entendu poursuivre les voïvodes roumains, se perd au quatrième quart du XVI<sup>e</sup> siècle, précisément à l'époque où, en Valachie, aux féodaux de culture slave se substitua une nouvelle noblesse, rattachée par des relations d'affaires, parfois même de parenté, aux princes grecs et aux levantins de Constantinople, qui représentaient alors les intérêts du sultan et devenaient de plus en plus influents dans les Pays roumains.

Petit à petit, dès le milieu du XVI<sup>e</sup> siècle, commença à s'imposer — dans la correspondance, la chancellerie et surtout dans les livres nouvellement imprimés en Transylvanie — la langue roumaine, celle des masses, arrachant graduellement au slavon son rôle de langue de culture.

## ANNEXE

## I

novembre 1492, Bucarest

Vlad le Moine, prince de Valachie, ayant hérité de la tsarine Mara et de sa sœur, la princesse Cantacuzène, le soin de veiller sur le monastère serbe de Chilandar, s'oblige à lui donner un revenu annuel de 5 000 aspres, plus 500 autres pour les frais de voyage des moines qui viendront toucher la somme. Ses fils, le voïvode Radu et Mircea, auront à respecter sa promesse après sa mort.

Бѣсе с<вм>томѣ б<о>ж<е>ствѣномѣ послѣдѣше писанію рѣшомѣ: м<н>-  
л<о>сти хоуѣ, а не жрѣтъ тѣѣ; и пакы: іако м<н>л<о>стиниами | щѣщаюѣ се  
грѣси; и пакы: бл<а>женніи м<н>лостивіи, іако ти пом<н>ловании есѣдѣтъ;  
іакожѣ | прор<о>чѣска д<с>хонасициша | ѣста г<ла>голюѣт: бл<а>женіи мѣж  
мнѣи въс дѣнь наслаждаѣт се г<о>с<п>одеви. Сіа жео вѣ б<о>ж<е>ствѣ  
наго писаніа зѣдѣше, пакы | слышахом пророка г<ла>голюца д<с>хом  
с<вм>тнѣ, іако жео слышите ц<а>рѣи и разѣмѣнте, навикнѣте сѣдѣ концѣм |  
земан, вѣншите дрѣже и мнѣжѣства и грѣдѣше и се в народѣхъ | зик іако дана  
быст вѣ г<о>спода дрѣжака вѣм | и сила вѣ вшнѣго разѣмѣше жео, іако  
вѣса вѣ рѣкахъ б<о>жнѣхъ сѣт, и іако хоуѣт жео комѣждо вѣ нас подаѣт  
| нь жео: бл<а>женіи и трѣб<а>женіи иже б<о>годанное б<о>г<а>тѣево добрѣ  
растачѣт и дѣлаѣт вѣ таннѣ б<о>говѣрчѣннѣи емѣ таллант; іако жео:  
зслышите бл<а>гы жео и сладкыи вѣ глаѣ радованіа, бл<а>гын рабе и вѣрнѣи  
вѣниди вѣ радост г<о>спода своего. | Сіа жео слышавше подаѣт нам вѣнимати  
в зѣшнѣхъ, іако мало врѣмена іст подобашѣ | нам поревновати прѣжднѣм бл<а>го-  
чѣстнѣннѣм и с<вм>топочнѣшнѣм г<о>сп<о>дѣм | иже земнаа добрѣ вѣстр<о>нкше  
и сіа добрѣ прѣпроводнѣше сими земнѣими н<е>вѣснаа привѣрѣтше бл<а>га и  
снѣхъ наследѣо вѣше, а земнаа земнѣим вѣставнѣше.

Се жео и азъ иже вѣ Христе б<о>га бл<а>говѣрнѣи и бл<а>гоч<н>-  
ствнѣи Іу Іадад во вѣвода б<о>жнѣю м<н>л<о>стнѣю г<о>с<п>одинѣ вѣсен ѣгро-  
владѣи и сѣ б<о>гом дарованнѣми мн чѣдн Іу Раду вѣ во вѣда и Мирча | желаннѣм  
вѣждедѣхом кѣ вѣсе чѣстнѣм б<о>жественнѣм црѣкѣ вѣм по пророчѣ-  
скомѣ словѣ иже вѣобразом жаѣт елѣи на исто<ч>ники воднѣ, вѣдѣше жео іако  
радѣ нашнѣхъ грѣхоѣ змалнше се бл<а>гочѣстнѣва г<о>сп<о>да, иже б<о>ж<е>-  
ствѣннѣи и с<вм>щнѣи црѣкѣн | вѣзставлашъ и зкращаашъ и мнловаашъ  
напачеже вѣ с<вм>тон горѣ Іѣонстѣи сѣщнѣхъ с<вм>таагоже и ц<а>рѣскаго | Храма  
и вѣнтѣлн прѣс<вм>тѣн и прѣч<н>стѣн и прѣбл<а>гословннѣн владнннѣ  
нашон б<о>городн<н>ци и пр<н>снѣодѣви Маріи, | чѣстнааго и славнааго е вѣвѣднѣа  
вѣ с<вм>таа с<вм>тнѣхъ, монастира зокомааго Хиландар зѣрѣхом вѣснрѣкша  
вѣ бл<а>гочѣстнѣннѣхъ г<о>сп<о>дѣхъ сръбскнѣхъ и бл<а>женннѣхъ хитѣор, на  
послѣдожѣ нзчѣ вѣстаршон бл<а>гочѣстнѣвон г<о>сп<о>жнѣн и ц<а>р<н>ци  
Марѣ кѣ старостн жео достнжшон и бл<а>женннѣн конѣцъ вѣждающон, насъ вѣ  
мѣсто свонѣхъ чѣдъ вѣзлюбнѣши и в с<вм>томъ снѣм вѣшрѣчнннѣм монастирѣ  
нзѣстнѣшнѣи и бл<а>гннѣи словесн іако своа чѣда помолншнѣи, іако сн с<вм>тнѣ  
монастир вѣ бл<а>гочѣстнѣннѣхъ г<о>сп<о>дѣхъ вѣснрѣвшнѣи нѣвѣставннѣи, нь  
назрнати и мнловати и послѣдннѣи хитѣорн нарицати се. Сего радѣ мн вѣсе

сръдо въсприхо̄мъ с<в>л<а>тӣнъ монастир̄ | по бл<а>женӣѣмъ прѣставленіи въсеч<ъ>с<т>нон и бл<а>женӣнъ вишереченӣнъ г<о>сп<о>ждѣн и ц<а>р<и>ци и мѣнце нашон Маре и сестре еи г<о>сп<о>жде Катакѣзине въсприхо̄мъ назикати се Хтитори с<в>л<а>томъ монастирѣ и милокати елико | есмо мощни. Сегорадѣ въщахо̄мъ и си наш Хрисовѣлъ сътворихо̄мъ, јако да ес<т> непотворино с<в>л<а>томъ монастирѣ, елико рѣци възмогохо̄мъ, да есѣдѣт ѡброкъ на въсако лѣто с<в>л<а>томъ монастирѣ ас<при> х̄ѣ. целехъ<ъ> | и спенза братіамъ кон те доходнѣ да снмакоут ѡброкъ ас<при> ф̄, сѣ елико рекохо̄мъ, јако по силѣ възмогохо̄мъ да | се дават встакнхо̄мъ нашнмъ с<т>нокомъ вишереченӣнмъ Іѡ Радѣвъ воєводе и Мирче, доудеже и ми живи есмо | и б<о>гъ сгодоно есѣдѣт имѣти на̄мъ б<о>гъовършченӣна на̄мъ, такожде и наши с<т>ноке по нашон съмръти да творѣт доудеж<е> | нѣ сдръжит г<о>сподъ б<о>гъ живехъ и къ б<о>гъодарованнон нѣ власти свонхъ родѣтѣл и прѣродѣтѣл да аще шни сице съ творѣт такоже нмъ рекохо̄мъ и исплънит и почѣтѣт и стврѣдѣт съи Хрисовѣлъ и шни и въсако кого б<о>гъ изволитъ бити намѣстникъ снмъ вишереченӣнмъ, того г<о>сподъ б<о>гъ да почѣтѣт и съхранит и шкрѣпит, иже сѣа исплънит да | мѣ даст г<о>сподъ б<о>гъ зде земла добръ и мирно прѣпрокодиши н<е>б<е>сна̄ бл<а>га полѣчити и да сподобитъ его | еже ѡт дѣсныю своєго прѣдстоаніа егоже есѣди и на̄мъ грѣшннмъ полѣчити и съ прѣждннми и и бл<а>гоч<ъ>стн̄кнми Хтиторн м<о>л<и>твами прѣч<и>стѣ владичице нашѣ б<о>городн<и>ци и приснодѣвн М<а>рїе и с<в>л<а>тихъ и б<о>гъоноснхъ ѡт<ъ>ць и въсехъ | с<в>л<а>тихъ иже ѡтъ вѣка б<о>гъ сгоднхнхъ и ч<ъ>стнхъ ннок иже въ с<в>л<а>тнмъ монастирѣ ѡтъ начала и до снхъ потрѣднхнхъ се и полѣснхнхъ и съ миромъ прѣшедшнхъ и настоѣщнхъ, и бити по снхъ хотещнхъ доудеж<е> стонтъ с<в>л<а>тӣнъ монастирѣ, аминь.

Писъ новоріа в лѣт<о>. х̄ за. въ градѣ Бѣкѣреѣнъ.

† Іѡ Бладъ воєвода, мн<о>стн̄мъ б<о>жн̄мъ г<о>сподъ<и>нь.

Bibliothèque de l'Académie de la R.P.R. Photographies, paquet LXXIII, n° 2.

Photographie d'un original slavon sur parchemin, écrit dans le sens de sa largeur; le sceau pendant, à l'aide de quatre trous rhomboïdaux disposés en losange, manque. Le chrismon manque; lettrine et monogramme enjolivés. La graphie semble indiquer le scribe Stepan, à qui l'on doit déjà l'acte semblable du 15 mai 1510.

## II

7 avril 1568, Bucarest

Pierre le Jeune, prince de Valachie, s'oblige à verser au monastère de Hiéromérion, en Épire, un revenu annuel de 1 000 aspres, ainsi que 100 autres pour couvrir les frais de voyage des moines qui viendront toucher la somme.

† Слнци д<с>хо̄мъ б<о>жн̄ѣмъ водни сѣт с<т>нони б<о>жн̄, јакож<е> рѣ<е> б<о>ж<е>ств<е>нӣ ап<о>с<т>олъ, емѣже къ слѣдъ текѣще еже правделюбнтелѣ и блаженн шн глас радоканіа чающе слышати: прндетѣ бл<а>гос<л>о<-

КѢНИ W<ТЪ>ЦА МОЕГ<О>, НАСЛѢДЪИТЕ УГОТОВАНО КАМ Ц<А>РѢСТВО WТ СЛОЖЕНІЕ  
МИРЪ; | КЪЗЛАКАХЪ БО[Н] И ДАСТЕ МИ ІСТИ; ВЪЖДЕ<Ж>ДЪ ДАХЪ СЕ И НАПОИСТЕ  
МЕ; СТРАНЕИ БѢХЪ И КЪВЕДОСТЕ МЕ; НАГЪ БѢХЪ И УДАИСТЕ МЕ; БОЛЕН И ВЪ ТЕМНИЦИ  
ПОСѢТИСТЕ МЕ; СІА УБО ГЛАС СЛАДЧАШИ БЛАГОТВОРЕЩИМЪ СЛИШАТИ ЕГО ВЪКЪШЕ-  
ЖЕ<И> И ВЪИНИТИ ВЪ Ц<А>РСТВО Н<Е>Б<Е>СНОЕ | И НАСЛѢДНИКОМЪ БЛАГОИМЪ ШНЕМЪ,  
ІАЖЕ ОКО НЕКИДЕ И УХО НЕСЛІША И НА СРЪДЦЕ Ч<Е>Л<О>ВЕКЪ НЕ ВЪЗІДЕ, ІАЖЕ  
УГОТОВА Б<О>ГЪ ЛЮБВИМЪ ЕГО, ТАКОЖДЕ ГРѢШНИ WТНАДЕМІЕ ВЪ WГЪИ ВЕЧНИ  
УСЛИШАТИ WС<Т>, ІАКО НЕХРАИ<Ъ>Ш<Т>НИМЪ Г<О>СПОДА Б<О>ГА ЗАПОВЕДЪ, НИЖЕ<И>  
АЛЧЮЩА, НИЖЕ ЖАЖЪДЪЩА | НИЖЕ<И> БОЛНА, НИ ВЪ ТЕМНИЦИ СЪЩА, НИ ПОСѢТИШИМЪ,  
НИ ПОСЛѢЖИШИМЪ. СІА УБО МИ ПОМИЛЮЩЕ НЕ ПОДОБАЕТЪ WТЛАГАТИ КРѢМЕНА ИЛИ  
ЧАСЪ НЕ КЕД<Ъ>ЩЕ В<С>ТЪККИ ЧАСЪ Г<О>СПОДАЪ НАШЪ ПРИДЕТЪ И ВЪСА[С]АКО НЕГОТОВИХЪ  
И НИ ИМѢЩЕ СЪКЪТІАНИКИ СВОЕ ГОРЕЩИХЪ, | НИ ВДѢЩИХЪ ШЕРЦЕТНИ, НЪ УБО АЩЕ  
И<С>ТЕКИХЪ ВРЕМЕНЕ ІЕХЪ УДРЪЖИМИ ІСМИ И ЛЮТОЮ СТРЕЛОЮ ГРѢХЪ РАДІ УЗВИХЪ WМЪ  
СЕ, НЪ Г<О>СПОДАЪ НАШЪ І<У>С<Е> Х<РИ>СТО<С> ШЕДРЪ И М<И>Л<О>СТІИЕ ІС<Т>, КЪ  
ВЪСЕМЪ РЪЦЕ ПРОСТИРАЕТЪ, ІАКО WТЪЪЦЪ КЪ ВЪЗЛАКЕНОМЪ СЪІ>НЪ; САМЪ БО РЕЧЕ  
ВЪСЪЧ<И>С<Т>НИМИ И ПРѢЧ<И>СТИМИ СКОИМИ ІСТИ: ІАКО НЕ ХОЩЪ СЪМЪРЪТИ  
ГРѢШ.ЛОМЪ, НЪ ЖИИЪ ШЕРЦЕТАТИ СЕ ІМЪ, НЕ ПРИИДОХЪ ПРИЗКАТИ ПРАКЕДІЕ, НЪ ГРѢШНІЕ ВЪ  
ПОКАІІЕ, ІАКОЖЕ<И> МОГИИ ШЕТИЛИ ПО МЕРЪ ДОБРОДЕТЕЛИ ДОБРАЖЕ ДЕЛА МОИГ<О>-  
ШЕРАІІА; СНИ РЕЧЕ<И>: АКЕВО И М<И>Л<О>СТІИЕ |, ПОС<Т> И ВЪЗ<Д>РЪЖАНІЕ,  
ВЪРА, НАДЕЖДА, ІАКО МОИГ<О> ГРѢШНИХЪ НИЗЪ ВЛѢКОМИХЪ М<И>Л<О>РЕ<Ъ>ДІЕ ВЪС-  
ХОДИТЪ И М<И>Л<А>СТІИ СЪІ>НЪ ПОЛОЖЕНІА СЛОД<О>ВЛѢЕТЪ РАДІ ТЪЧІЮ ШЕРАЩЕНІА, ІАКОЖЕ<И>:  
НЕ ХОЩЪ СЪМЪРЪТИ ГРѢШНОМЪ, НЪ ШЕРАТИТИ СЕ И ЖИИЪ БИТИ И ВЪИНИТИ ВЪ РАДОС<Т>  
Б<О>Г<А> СВОЕГО. | СЕГ<О> РАДІ ІЖЕ ПРѢЖДЕ НАСЪ ВІИШЕ ВЛАДАТЕІА ІИ Ц<А>РІЕ И КИИИ  
СІА СЛИШЕЩЕ ШЕРАІІА ДОБРЕ ВЪ СЪМИРЕ ІИ ШЕТРОИШЕ И СИМИ Н<Е>Б<Е>СНА ПРИШЕРО-  
ТОШЕ, Ц<А>РЕС<Т>КІА Н<Е>Б<Е>СНАГО СПОДЪВИШЕ С<А>МЪ; ІАКОЖЕ<И> И ПР<О>РОКЪ  
ДА<В>И<Д>О<В>И Г<Л>АГО<Л>ЕТЪ: БЛАЖЕ ІИ НИЖЕ WТЪІВІТИШЕ С<А>МЪ БЕЗАКОНІА И  
НИЖЕ, ПРИКРИШЕ С<А>МЪ ГРѢСИ, БЛАЖЕЧЪ ІМЪЖЕ НЕВЪМЪІИТЪ Г<О>СПОДАЪ ГРѢХА; И  
ПАКИ НИЖЕ ШЕРАЩЕМЪ ЖЕЛАЕТЪ ІАКЪ НА ІСТОЧНИКИ ВОДІИЕ, СІЩЕ ЖЕЛАЕТЪ Д<Ъ>ША МОА  
КЪ ТЪБЕ Б<О>ЖЕ.

СІЩЕ КЪЖДЕЛѢХЪ И ВЪЗЛЮБИХЪ АЪ ВЪ Х<РИ>С<Т>А БЛАГОУВѢРНИИ И Б<О>ГОМЪ  
ХРАИМИ И САМОДРЪЖАЧІИ ІІУ ПЕТРЪ ВОЕВОДА | И Г<О>С<ПО>Д<И>НЪ ВЪСОИ ШЕМИ  
УГГРІИ ВЛАХИСКОИ И ПОДЪНАВІЮ, СЪІ>НЪ ВЕЛИКАГО И ПРѢДОБРАГО И С<В>АТ<О>ПО-  
ЧИШЕШАГО МІИДЧА КОЕГО ДЪ ПРИИИМО СЪ ВЪСЕМЪ СРЪДЦЕМЪ БЛАГОИМЪ ПРОИЗКОЛЕ-  
НІЕМЪ, ІАКО ДА ВЪДЕМО ПОВИ ХТИТОРІЕ СЕМЪ С<В>АТ<О>МЪ Б<О>ЖЕ<И>С<Т>ВЕ<И>НОМЪ ХРАМЪ  
ШЕПІИЕ ПРѢЧ<Ъ>СТІЕ | И ПРѢС<В>АТІЕ ВЛАДАДЪЧІИЦЕ НАШЕИ Б<О>ГОРОДИЦИ И ПР<И>-  
СКОД<Ъ>НИИ МАРІЕ, МОІАСТІРА НАИЦАЕМЪГО ШРОМЕРИ, ІДЕЖЕ<И> ЛЕЖЕТЪ МОЩИ  
ПРѢП<ДО>БНАГО WТЪЪЦА НАШЕГО НИЛА ШРЕХОНСКАГО, ІЖЕ<И> СЪЗДА С<В>АТ<И>  
КРАИ ШЕФАИ, ІАКОЖЕ<И> ДА МЪ ІС<Т> ШЕРОК С<В>АТ<И> ШЕТИЛИ ВЪ КАТАГОДИНА  
ПО | Ш. АСПРИ И СПЕИЪШ ПРІХОДЕЩИМЪ БРАТІАМЪ КАТАГОДИНИ ПО Ш. АСПРИ ДОИДЕЖЕ СЕ  
ВЪ ЖИИИХЪ ШЕРАЩЕМО ВЪ Б<О>ГОДИННОЮ НАМЪ ШЕЛАСТІЮ, НА С<В>АТ<О>ШЕ ШЕПІИЕ ДА  
СИ ШИИМАЮТЪ ВІИШЕ<И>РЕЧЕ<И>НО ШЕРОК С<В>АТ<О>МЪ МОІАСТІРЪ, И ДА ІС<Т> БРАТІАМЪ  
| ВЪ ПИЩЕ И ВЪ ШУЖЕПЕНІЕ И НАМЪ ВЪ ВЕЧНОЕ ВЪШОМИЛІЕ, ДА СЕ ПОМЕІШЕМЪ СЪ  
С<В>АТ<И>МИ ХТИТОРИ ВЪ ВЕЩЪ ВЪЗАГЛАШЕНІАХЪ ВЪ ЦРЪКВИ И НА ТРАПЕЗЪ ПО  
ВЪСЪДА ДА СЕ ПОЕТЪ ПАРАКЛИСЪ ВЪ СЪБОТЪ ПО ВЕЧЕ<И>РИ И ВЪ НЕД<Е>ЛЮ ІІТЪРГІЮ  
СЪБОІНО И НА ТРАПЕЗЪ ДА СЕ ПОМѢИШЕМО | ДОИДЕ ШОИТЪ С<В>АТ<И> МОІАСТІРЪ,

ѡкож<ѣ> се помѣниють с<вѣ>ти Хитторіи и бл<а>гоч<ѣ>стни ц<а>рїи по  
прѣставленнн нѣ, въ вѣкѣ, аминѣ.

Ис<правникъ> жупанъ Іванъ влики лѡг<о>фѣтѣ.

И азъ грѣшнн Стѣпанъ вж<ѣ> написахъ въ настоли градъ Бѣкѣрещ<и>, м<ѣ>-  
с<и>ца апрїліи ѣ д<ѣ>нѣ, въ лѣтѣ<о> х<зо>с |.

† Іω Πετρѣ вѡвѡда | милостїа божїа г<осподи>нѣ.

Direction générale des Archives de l'Etat, Bucarest, Archives historiques centrales, section historique n° 781. Original slave sur parchemin, écrit dans la longueur de la feuille et dont la ganse du sceau pendant, aujourd'hui perdu, est fixée selon la coutume de la chancellerie moldave. Caractères graphiques de l'écriture moldave. Initiale, chrismen et monogramme tracés à l'encre rouge.

Publié en traduction roumaine seulement dans *Documente privind Istoria României, B. Țara Românească, XVI<sup>e</sup> siècle, t. III (1551—1570)*, Editions de l'Académie de la R.P.R., 1952, p. 262—263.

## ОБ ЭКСПОРТЕ СОЛИ ИЗ РУМЫНСКИХ ГОСУДАРСТВ НА БАЛКАНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ ПРИ ФЕОДАЛИЗМЕ

ДИНУ ДЖУРЕСКУ

В Румынии соль добывалась непрерывно начиная со времени первобытнообщинного строя; она явилась также и первым продуктом, предназначенным для обмена. Отмеченный в определенных формах еще в эпоху бронзового века (1800—1700 гг. до н.э.), этот обмен продолжал расти и позднее в дакийском государстве, во время римского владычества<sup>1</sup>, когда трансильванская соль отправлялась в Паннонию, Италию и на юг от Дуная<sup>2</sup>. Добыча соли в копиях и «берегах»<sup>3</sup>, как и использование соляных источников, продолжались и после ухода римлян из Дакии, в III—X вв. н.э., когда уже отмечается существование раннего политического феодального уклада. Свидетельством этому являются 64 названия местностей, производных от латинского *sal-salis*\*: Сэрата, Сэрэцелул, Сэрэцуйка, Сэрэчень или сложные наименования<sup>4</sup>, наряду с 38 наименованиями (Слэник, Слатина, Солонецул), происходящими от *слань*, эквивалента вышеприведенного латинского названия в старо-

\* По румынски соль — *sare* (сапе), соленый — *sărat* (сэрат).

<sup>1</sup> *Istoria Romniei*, I, Бухарест, 1960, стр. 92, 130—132 и 404.

<sup>2</sup> С. С. Giurescu, *Istoria Romnilor*, т. I, изд. V, Бухарест, 1946, стр. 157; хотя прямых сведений и не имеется, все же нельзя не предполагать, что если соль отправлялась в Италию, то она не могла не попадать и на Балканский полуостров.

<sup>3</sup> А. Pleș, *Știri în legătură cu exploatarea sării în Țara Românească în veacul al XVII-lea*, в «Studii și materiale de Istorie Medie» (*SMIM*), I, Бухарест, 1956, стр. 192—194; *Anatefterul. Condica de porunci a visteriei lui Constantin Brîncoveanu*, опубликована Дину К. Джуреску в *SMIM*, V, Бухарест, 1962.

<sup>4</sup> Iorgu Iordan, *Nume de locuri Românești în Republica Populară Română*, Бухарест, 1952, стр. 98—99.

славянском языке<sup>5</sup>. Разбросанные по всей румынской территории подобные наименования частично встречаются во внутренних мунтенских и молдавских документах XIV—XVII вв.<sup>6</sup> Самое название соляных разработок *осаѣ*, означающее вообще рудник, копи, применяется исключительно лишь к соляным разработкам, вследствие особо важного значения этой добычи в средние века<sup>7</sup>.

В продолжение средних веков вывоз соли производился непрерывно из всех трех румынских государств, между которыми и с этой точки зрения существовали экономические связи. Для господствующего феодального класса торговля солью означала источник значительных доходов, а для рабочих, трудившихся на коях, как и для жителей некоторых городов и сел, обязанных регулярно производить работы по добыче соли, либо принужденных вывозить ее на Дунай, эта же торговля, даже по мнению людей того времени, означала трудоемкую, тяжелую работу. Одновременно с процессом дифференциации с точки зрения материального и общественного положения членов древних общин, удостоверенной письменными и археологическими источниками, на соляных коях уже начиная с X в. имела место эксплуатация рабочей силы<sup>8</sup>. По мере укрепления феодальных производственных отношений все большее и большее число крестьян и специализировавшихся рабочих прикрепляются к работе по добыче соли. *Рост добычи соли, ее вывоза, а следовательно, и доходов господствующего класса основывался, в соответствующей пропорции, на труде общественно-зависимых категорий.* Такая связь наблюдается в эпоху раннего феодализма (X—XIII вв.), при развитом феодализме (XIV—XVII вв.) и в период распада феодальных производственных отношений, а также при складывании новых, капиталистических отношений (в XVIII в. и в первой половине следующего века).

Первые сведения об «экспорте» соли датируются IX в., когда Мунтения, Банат и часть Трансильвании находились в «сфере влияния» болгарского царства. В 892 г. царем Владимиром было принято посольство франкского короля Арнульфа, который просил запретить на бу-

<sup>5</sup> I. Jordan, *ук. соч.*, стр. V и 98—99; *Istoria României*, t. I, стр. 786—787; Fr. Miklosich, *Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum*, s. v. *сланъ* и *сланик*.

<sup>6</sup> 12 таких названий имеются в сборнике документов *Documente privind Istoria României. V. Țara Românească, veacurile XIII—XVI. Indicele numelor de locuri*. Составители И. Донат (отв. редактор), Н. Гиня, С. Каракаш, М. Кандел, Гр. Попеску, Ф. Рэдулеску и Г. Чоран. Бухарест, 1956, (ниже будет указываться *DIR*). Для Молдовы *DIR*, XIV, XV, A, 1, стр. 26, 83, 113, 413, 414, 421; *DIR*, XV, A, 2, стр. 51—52, 67—68, 72, 108—109, 167, 191.

<sup>7</sup> I. Jordan, *ук. соч.*, стр. 33; Fr. Miklosich, *ук. соч.*, s. v. *окно*.

<sup>8</sup> *Istoria României*, т. II, Бухарест, 1962, стр. 37—40.

дущее время продажу соли чехам<sup>9</sup>; но соль туда могла поступать только из трансильванских копей — с рудника Дежулуй, либо из Марамуреша — по реке Сомеш или же по суше, через Марамурешские горы на Сольнок<sup>10</sup>, а отсюда северо-западным путем соль попадала на Богемское плоскогорье. Подобных сведений в отношении путей на Балканский полуостров пока у нас не имеется; но множество фактов приводят к такому заключению. Политическая власть болгар проявлялась на территориях к северу от Дуная, вероятно, как это было принято в те времена, во взимании какой-то части от определенных продуктов, среди которых была, конечно, и соль. Безусловная необходимость в этом минерале и его отсутствие к югу от Дуная могли бы служить, по мнению некоторых авторов, причиной постепенного расширения влияния болгарского царства на зоны к северу от реки<sup>11</sup>. Из трансильванских соляных копей соль шла в Болгарию, спускаясь по Мурешу и по Тиссе до Сланкамена (Соленый камень!) на Дунае; так же могла быть использована и река Олт. Главнейшие водные пути для перевозки различных продуктов засвидетельствованы еще со времен римского владычества — Муреш, с начала XI в.<sup>12</sup>, а Олт — с 1222 г.<sup>13</sup>; можно полагать, что они служили для перевозки соли на юг еще и в предыдущие века.

Наличие соли в дунайской зоне связано и с широким развитием рыболовства в X—XIII вв.; соленую рыбу отправляли в соседние районы и даже дальше: последними исследованиями, например в Диногетии, установлено большое значение для местного населения этого занятия и соответствующей торговли<sup>14</sup>; что подтверждается и откры-

<sup>9</sup> *Analele de la Fulda*, ГанOVER, 1891, стр. 408.

<sup>10</sup> *Szolnok* — от старинного славянского *солник*.

<sup>11</sup> P. P. Panaitescu (Al. Grecu), *Bulgaria în nordul Dunării în veacurile al IX—X-lea*, в *SCIM*, I (1950), № 1, стр. 223—231; K. Horedt, *Voievodatul de la Bălgrad — Alba Iulia*, в «*Studii și cercetări de istorie veche*» (*SCIV*), V (1954), № 3—4, стр. 487—512, в частности стр. 492—494 и 504; *Istoria României*, т. I, 1960 стр. 762—763; A. Doboși, *Exploatarea ocnelor de sare în Transilvania în evul mediu*, в *SCIM*, II (1951), № 1, стр. 125, прим. 2; Radu Popa, *Circulația de mărfuri în Transilvania în secolele XI—XIII* (рукопись), Бухарест, стр. 15—17 и 19. О путях трансильванской соли в Моравию и Богемию см. N. Bănescu, *L'ancien Etat bulgare et les pays roumains*, Бухарест, 1947, стр. 47—48. Эксплуатация соляных копей в Трансильвании, как и различных других рудников, представляла собой источник дохода для господствующего феодального класса в Болгарии, а особенно для царя: *История на България*, т. I, София, 1954, стр. 74—75 и 128.

<sup>12</sup> K. Horedt, *ук. соч.*, стр. 493. Банатский воевода Актун собирал пошлину с плотов с солью, спускавшихся по Мурешу; *Istoria României*, т. II, 1962, стр. 52—53.

<sup>13</sup> *DIR*, С, XI — XIII, I, стр. 182—184, См. ниже стр. 426.

<sup>14</sup> S. Constantinescu, *Pescuitul în bălțile Dunării, în lumina săpăturilor arheologice*, в *SCIV*, VII (1956), №. 3—4, стр. 407—419.



тием на северном берегу озера Гряка пункта «ла Слон», где раскопки доказывают непрерывное существование населения, занимавшегося рыбной ловлей и земледелием еще в эпоху неолита<sup>15</sup>; само наименование «слон» указывает на существование постоянных складов соли, необходимой для заготовки рыбы, относящихся еще к периоду римско-славянского сосуществования. Из Трансильвании, но особенно с территории будущей Валахии, соль попадала на Дунай, в то время как рыбаки из Браилы и Дунайской дельты получали соль из Молдовы — из Тыргу-Окна, с соляных «берегов» Вранчи, либо с морских соляных разработок по Буджакскому побережью<sup>16</sup>. Трудно предположить, что население к югу от Дуная не пользовалось бы солью, постоянно доставляемой в различные пункты на левом берегу Дуная; отсутствие письменных свидетельств несколько не уменьшает вероятность — во всяком случае для Придунайской зоны — существования «торговли» столь необходимым в быту продуктом.

Отправлялась ли соль и дальше, в Византию, в Константинополь? После восстановления византийского владычества на Дунае и создания «фемы» Паристрион (Парадунавон) в 971 г<sup>17</sup>, связи Добруджи и северодунайских областей с Византией непрерывно растут. *До настоящего времени они засвидетельствованы, среди прочего, и десятками монетных находок X—XIII вв. в Добрудже, по линии Дуная, в степях и горных местностях Валахии, в Банате, Трансильвании и Молдове*<sup>18</sup>.

Хотя исследования упомянутой эпохи только что начались, все же уже теперь монетные находки прямо указывают на существование «довольно развитого товарного обмена»<sup>19</sup>. Распространение большого количества византийских монет к северу от Дуная, во всех районах бывшей римской провинции, как раз и объясняется обычным обменом продуктами между румынским населением и некоторыми византийскими центрами.

<sup>15</sup> Eugen Comşa, *Săpături de salvare și cercetări de suprafață în regiunea București*, в *SCIV*, VI (1955), № 3—4, стр. 411, 423, 435—436.

<sup>16</sup> P. S. Năsturel, *Așezarea orașului Vicina și țărmul de apus al Mării Negre în lumina unui portolan grec*, в *SCIV*, VIII (1957), стр. 295—305.

<sup>17</sup> N. Bănescu, *Les duchés byzantins de Paristrion (Paradounavon) et de Bulgarie*, Бухарест, 1946.

<sup>18</sup> 42 находки, упомянутые в опубликованных Е. Кондураке (E. Condurache) статьях и материалах в «Balcania», VII, I, стр. 38—41; Ileana Băcilă, I. Barnea, Irimia Damian, Octavian Iliescu, C. Preda, I. Sabău, в «Studii și cercetări numismatice», I, (1957), стр. 189—214, 425—438; II (1958), стр. 269, 417—418, 454—455, 465; III (1960), стр. 245, 493—495, 467—475; B. Mitrea, в «Dacia» II (1958), стр. 493—498; *SCIV*, XI/1 (1960), стр. 189—193 и XII/1 (1961), стр. 144—153. См. и *Istoria României*, II, 1962, стр. 34.

<sup>19</sup> Карл Маркс, *Капитал*, т. I, Госполитиздат, 1949, стр. 176.

О наличии этих связей свидетельствуют также и найденные в ходе недавних раскопок в Добрудже, на мунтенской равнине<sup>20</sup> и в Трансильвании<sup>21</sup> многочисленные предметы искусства, в особенности украшения обычного византийско-славянского типа с юга от Дуная. То же самое можно сказать и о трансильванской военной архитектуре, использовавшей в момент своего возникновения местные, старинные формы, которые переплетаются с формами византийского мира, что доказывает наличие и здесь специфических характерных для румынской цивилизации черт в период до и во время проникновения венгерского католического феодализма в карпатскую дугу. Конечно, представление о связях с южнодунайским миром в X—XIII вв. по мере дальнейших исследований постоянно будет пополняться; но уже теперь имеется возможность сделать вывод, что восприятие румынским феодальным обществом различных элементов византийско-славянской культуры и цивилизации не могло происходить в ту эпоху иначе, чем на основе постоянных экономических, а в известной мере и политических связей<sup>22</sup>. Поэтому мы считаем, что среди прочих продуктов на севере от Дуная византийские купцы искали и соль; это положение, засвидетельствованное для XIII—XIV вв., должно было иметь место и в X—XII вв., когда власть Византии на Дунае была полностью восстановлена, причем отмечались даже и попытки политической экспансии в сторону Трансильвании<sup>23</sup>. Сложные связи Трансильвании с остальными румынскими историческими провинциями к югу и востоку от Карпат, как

<sup>20</sup> I. Barnea, *Relațiile dintre așezarea de la Bisericița Garvân și Bizanț în secolele X—XII*, в *SCIV*, IV (1953) № 3—4, стр. 641—674; он же, *Amforele feudale de la Dinogeția*, в *SCIV*, V (1954), № 3—4, стр. 513—530; Gh. Ștefan, I. Barnea, B. Mitrea și colaboratori, *Șantierul arheologic de la Garvân*, в *SCIV*, VI (1955), № 3—4, стр. 713—734.

<sup>21</sup> K. Hăredt, *Voievodatul de la Bălgrad*, в *SCIV*, V (1953), № 3—4, стр. 508—509; он же, *Contribuțiuni la istoria Transilvaniei sec. IV—XIII*, Бухарест, 1958, стр. 113 и след., 126—127; Bakó Géza, *Contribuții la istoria Transilvaniei de sud-est în secolele XI—XIII*, в *SCIV*, XII (1961), № 1, стр. 113—119.

<sup>22</sup> К вопросу о политических связях в X—XII вв. см. K. Hăredt, *Voievodatul de la Bălgrad*, стр. 509; подобное же предположение выдвинуто и у Бако Геца, стр. 115, *ук. соч.* и у него же: *Elemente de origine locală și răsăriteană în arhitectura militară a epocii feudale timpurii din Transilvania*, в «*Studii și articole de istorie*», III (1961), стр. 57—67. В 1247 г. олтенский воевода Литовой владет и Хацегом. *DIR*, XIII—XIV—XV, В., стр. 2. Подобные территориальные связи между политическими формациями по обоим склонам Карпат в X—XII вв. не могли не содействовать существовавшему экономическому и культурному обмену с южнодунайским миром.

<sup>23</sup> В 1166 г. византийское войско, поддержанное румынами и половцами, проникло, под водительством Льва Вататзеса и Иоана Дукаса в Трансильванию через перевалы Южных и Восточных Карпат.

и с южнодунайскими районами, ныне удостоверенные для периода раннего феодализма, будут определять собой развитие этого воеводства и в следующие века<sup>24</sup>, вплоть до начала современной эпохи.



Начиная с XIII в. сведения становятся все более достоверными. В 1222 г. венгерский король Андрей выдал тевтонским рыцарям разрешение вывезти соль вниз по Мурешу и Олту на 6 судах по каждой из этих рек с тем, чтобы при возвращении они привезли бы «другие товары». В акте не указывается, как далеко по Олту спустились суда<sup>25</sup>. А в 1247 г. Бела IV, уступив ордену иоанитов владение Северинской землей и олтенскими княжествами Иоана и Фаркаша, уточнил, что уступает монахам-воинам заработок от продажи соли, которую «... разрешил им вывозить в потребном количестве для этой страны<sup>26</sup> и для Болгарских, Греческих и Половецких земель»; им разрешалось брать соль из любой трансильванской копи<sup>27</sup>. Из упомянутого текста видно, что вывоз соли на юг от Карпат практиковался с давних времен; венгерский король, который, вероятно, установил определенную плату, взимаемую с такого оборота, позволил иоанитам доставлять и продавать этот столь ценный минерал в свою пользу не только в Северинскую землю и в олтенские княжества, но и в Болгарские и Половецкие земли (собственно Мунтения) и в Грецию. Исползованный в документе термин «сопседо», точно означающий переуступку «пользы» и «доходов», получаемых с румынских княжеств, показывает, что еще до 1247 г. перевозка соли по указанным направлениям была уже известна. О высоком спросе на соль по Дунаю свидетельствует и то, что в эту эпоху имелось чрезвычайно большое число рыбаков: по тому же документу Бела IV сохраняет за собой половину их доходов. Более поздние документы пополняют эту информацию: в 1374 г. воевода Мунтении Владислав I уступает Водицкому монастырю «княжеский доход от восьми рыбных промыслов»<sup>28</sup>, расположенных между Вырчировой и Оршовой на протяжении всего 8 км<sup>29</sup>. Такие промыслы имелись по всему Дунаю; пойманную рыбу засаливали и развозили по стране. В документе от

<sup>24</sup> C. Daicoviciu, St. Pascu, V. Chereșeșiu, T. Morariu, *Din istoria Transilvaniei*, Бухарест, 1960, стр. 83—84.

<sup>25</sup> *DJR*, C. *Transilvania*, XI—XIII, т. I, стр. 182—184.

<sup>26</sup> Т.е. Северинская земля.

<sup>27</sup> *DJR*, B, XIII—XIV—XV, стр. 2 и 286; ср. А. Pieș, *ук. соч.*, стр. 156—157.

<sup>28</sup> *DJR*, B, XIII—XIV—XV, стр. 27. Этот документ подтвержден и последующими господарями; *там же*, стр. 33, 41, 46, 47, 61, 79 и 89.

<sup>29</sup> Документ от 5 августа 1424 г.; *там же*, стр. 79.

15 января 1467 г. упоминается, что лишь в северной части Борчи, на протяжении 30 км имелось шесть сел, которые по давнему обычаю занимались перевозкой рыбы<sup>30</sup>. Для консервирования богатых уловов, как в XIII в., так и позднее требовалась соль: она поступала и из Трансильвании, но главным образом из соляных копей и «берегов», расположенных на юге и востоке от Карпат. Так же доставлялась соль для Болгарии и Греции, что подтверждается грамотой иоанитов от 1247 г.<sup>31</sup>.



В начале и к середине XIV в. создаются централизованные государства — Валахия и Молдова, как результат всего процесса экономического и общественно-политического развития предыдущей эпохи, как «продукт и проявление» противоречий двух, полностью сформировавшихся антагонистских классов<sup>32</sup> — феодальных господ и зависимого крестьянства<sup>33</sup>. Взамен местных политических формаций путем организации единого государства господствующий класс получает «новые средства для подавления и эксплуатации угнетенного класса»<sup>34</sup> и новые возможности для постепенного закабаления свободно владеющих землей общин. Отработочная рента (барщина), рента продуктовая (десятина) и денежная рента (подать), доходы от рудников, от товарооборота внутри страны и вывоза продуктов за границу собираются специально назначенными людьми в пользу правителя и бояр. Письменные свидетельства, все более многочисленные, подтверждают это положение и его давность. В торговом документе 1368 г. упоминаются правила «*ab antiquis*» для брашовских купцов, прибывших с товарами в Валахию<sup>35</sup>; Мирча Старый (1386—1418) возобновляет их 6 августа 1413 г. для тех же купцов с указанием пошлин, причитающихся за различные ввозимые либо вывозимые товары, в соответствии с заветами, установленными еще «прадедами» воеводы<sup>36</sup>.

Соль отправляли на запад и на юг. 13 марта 1373 г. Людовиком Венгерским был отправлен в Оршову специальный приближенный со-

<sup>30</sup> Там же, стр. 141.

<sup>31</sup> Товары из Венгрии, Германии, Богемии и Моравии прибывали в Болгарию в XIII—XIV вв. по Дунаю; тем легче, следовательно, осуществлялся товарообмен между обоими берегами — северным и южным; см. *История на България*, I, 1954, стр. 193.

<sup>32</sup> В. И. Ленин, *Соч.*, т. 25, Москва, 1949, стр. 358, Госполитиздат.

<sup>33</sup> *Istoria României*, т. II, Бухарест, 1962, стр. 140—141.

<sup>34</sup> К. Маркс, Фр. Энгельс, *Происхождение семьи, частной собственности и государства*. Избр. соч., т. II, стр. 304, Москва, 1948, Госполитиздат.

<sup>35</sup> Hurmuzaki, *Documente*, 1/2, стр. 144—145 (№ CVIII).

<sup>36</sup> I. Bogdan, *Relațiile Țării Românești cu Brașovul și cu Țara Ungurească în secolele XV și XVI*, Бухарест, 1905, стр. 3.

ветник с заданием воспрепятствовать доставке «заальпийской соли» в Банат<sup>37</sup>. Имеются сведения, указывающие на увеличение в XIV в. производительности мунтенских соляных копей, начавших уже конкурировать с трансильванскими разработками даже на территориях, находившихся под владычеством венгерского феодализма. Этот рост добычи, при использовании примитивной техники, веками остававшейся без изменений<sup>38</sup>, был получен в результате открытия новых соляных копей, более жестокой эксплуатации рабочей силы рабочих, крестьян и некоторых категорий горожан, которых феодальная государственная власть обязывала нести трудовые повинности, связанные либо с добычей соли, либо с ее перевозкой на дунайские пристани. Весьма возможно, что некоторые транспорты шли вверх по Дунаю вплоть до Белграда, как это происходит в следующие века.

О вывозе соли на юг упоминает «мирный договор», заключенный 27 мая 1387 г. в Пера представителями Генуи с «послами и уполномоченными» князя Иванко, правившего частью добруджской территории. Устанавливая взаимные обязательства по свободному занятию торговлей и по защите имущества и жизни соответствующего населения, этот документ предусматривал на случай войны, что «господарь Иванко» позволит генуэзцам выехать «из его страны» в подходящий срок, уточняя: «... вещи и легкие товары разрешается вывезти в течение месяца, а соль и корабли в течение шести месяцев»<sup>39</sup>. Речь идет о соли из Валахии, которую вывозили на генуэзских судах до дунайской дельты, а оттуда в Константинополь по тому же пути — по Дунаю и Черному морю — которым пользовались и в XIII в., а вероятно и в XI—XII вв., когда сильный византийский флот господствовал в этих местах по Дунаю.

Что касается вывоза соли в Болгарию, то помимо вышеприведенного косвенного упоминания, имеется и свидетельство конца XIV в. Перед лицом все возрастающей оттоманской угрозы господарь Мирча Старый (1386—1418) укрепил Дунайскую линию, воздвигнув ранее 1393 г. в Джурджу — древнейшем и важном месте переправы через Дунай — каменную крепость<sup>40</sup>. Крупные каменные блоки могли быть получены лишь в Рушукских каменоломнях и за каждый из них заплатили боль-

<sup>37</sup> Hurmuzaki, *Documente*, 1/2, стр. 213 (CLIX); см. А. Пиеș, *ук. соч.*, стр. 157.

<sup>38</sup> А. Пиеș, *ук. соч.*, стр. 169.

<sup>39</sup> *DIR*, XIII—XIV—XV, стр. 37; см. А. Пиеș, *ук. соч.*, стр. 158.

<sup>40</sup> N. A. Constantinescu, *Cetatea Giurgiu, originea și trecutul ei*, в *Анналах Румынской Академии, Отдел. истории*, II, т. XXVIII, Бухарест, 1916, стр. 499; I. Barnea, Paul Cernovodeanu, C. Preda, *Șantierul arheologic Giurgiu*, в «*Materiale*», IV, 1957, стр. 219, прим. 3.

шой глыбой соли. Один из сыновей Мирчи, ставший также господарем, говоря в 1445 г. о вышеупомянутой постройке, отмечает, касаясь оплаты камня солью, что цена, уплаченная его отцом, была чрезвычайно высокой<sup>41</sup>.

Как и в период раннего феодализма экспорт соли в Болгарию продолжался в течение всего XIV в. Между прочим, само существование на правом берегу Дуная значительных городов, как Видин, Свиштов и Силистра, центров ремесленного производства и торговли, засвидетельствованных еще в первой половине XII в.<sup>42</sup>, политический и военный союз Валахии с Болгарией, упоминаемый византийскими источниками еще в 1323 г., родственные связи между княжескими семьями<sup>43</sup> — все это являлось факторами, благоприятствовавшими осуществлению товарообмена по давно известным переправам через Дунай<sup>44</sup>.



Экспорт соли на Балканский полуостров продолжался и после турецкого захвата. Из документа от 3 апреля 1480 г., в котором подтверждались старые привилегии, данные Тисманскому монастырю еще в 1424 г., видно, что соль являлась основным предметом экспорта через пункт Калафат-Видин: «И если кто из дворян либо придворных или вообще кто бы то ни было будет вывозить соль или овец или какой-нибудь другой товар и продавать их, то монахи вольны взыскивать пошлину и никто не смеет им препятствовать»<sup>45</sup>. В этом документе, фактически показывающем и положение в прошлом, в XIII—XIV вв., уточняется, что за Дунай соль продавали самые разнообразные общественные слои: бояре-владельцы соляных промыслов, придворные, представлявшие собой административные кадры румынского феодального государства, и вообще все прочие граждане, охваченные формулой «кто бы то ни было»<sup>46</sup>.

<sup>41</sup> N. Iorga, *Cronica lui Wavrin și Romnii*, в «Buletinul Comisiei Istorice a Romniei», т. VI, Бухарест, 1927, стр. 132—133. Валахский господарь, как сообщает французский хронист, «... говорил, что в этой крепости нет ни одного камня, который не стоил бы глыбы соли, которая добывается из скал в Валахии, как в других местах это делают в каменоломнях...».

<sup>42</sup> Димитар Ангелов, *Към въпроса за средновекования български град*, в «Археология», II (1960), № 3, София, стр. 9 и 17—19; M. Guboglu, *Peninsula Balcanică în descrierea lui Sarif al Idrisi și altor călători arabi*, Бухарест, 1962 (рукопись), стр. 12—13.

<sup>43</sup> С. С. Giurescu, *Istoria Romnilor*, I, изд. 5-е, стр. 380.

<sup>44</sup> В Гогошу (Олтения) был найден монетный клад (235 шт.) времен царя Срацимира и украшения южнодунайской работы; D. Berciu, E. Comşa, *Săpăturile de la Balta Verde și Gogoşu*, в «Materiale», II (1956), стр. 489.

<sup>45</sup> *DIR, XIII—XIV—XV, B*, стр. 167. См. и стр. 79, 89 и акт от 16 июня 1524 г. в *DIR, XVI, B, 1*, стр. 180—181.

<sup>46</sup> Вывозом соли занимались, по-видимому, и монастыри, см. акт от 14 октября 1465 г., данный Козиевскому монастырю, см. *DIR, XIII—XIV—XV, B*, стр. 139.

Однако отдельное упоминание бояр и придворных в указанном документе говорит о том, что наибольшую выгоду от торговли солью извлекали представители господствующего феодального класса. Отметим также, что только соль и овцы упомянуты отдельно, все же прочие продукты входили в «какой-нибудь другой товар»; это указывает, что по вывозимому количеству соль занимала, наряду со скотом, главнейшее место. Пошлина была обычной — 3%; при возобновлении привилегии в 1502 г. отмечается, что из ста глыб соли удерживаются три глыбы<sup>47</sup>. Одновременно документ дает весьма ценные сведения о соленой рыбе, для заготовки которой, конечно, необходима соль в значительном количестве. «И в этих озерах, — говорится в господарской грамоте относительно озера Бистрецул и соседних с ним, — кто будет засаливать, корабль должен платить по 30 аспров, одну «мажу» — 15 аспров, воз — 4 аспра, конскую поклажу — 2 аспра»<sup>48</sup>. Это краткий перечень используемых транспортных средств<sup>49</sup> показывает, какие количества рыбы вылавливались и заготавливались на рыбных промыслах, как для крупной торговли — когда рыба вывозилась на кораблях для экспорта и на возах в значительные потребительские центры страны, — так и для мелкой торговли и местных нужд (конская поклажа). А Бистрецул представляет собой всего лишь только один район, да и то не из самых богатых. Таким образом, легко понять и сколько соли потреблялось по Дунаю в этом секторе деятельности еще в XIII в., бывшем настолько продуктивным, что венгерский король ежегодно сохранял за собой доход рыбаков из Челея<sup>50</sup>, расположенного к востоку от Бистрецула.

Нам не известны цифры XIV—XVI вв. — не сохранилось ни одного реестра таможенных записей<sup>51</sup>. Но все же число соляных копей показывает, что объем экспорта возрастал.

В XIV в. эксплуатировалась Вел Окна вблизи Рымника-Вылчи, в следующем веке и Окнеле Мичь, вблизи Тырговиште, а в XVI появляются Телега и Гитиоара<sup>52</sup>; в Молдове же главная добыча соли произ-

<sup>47</sup> *DIR, XVI, B, 1*, стр. 14, акты от 26 июня 1508 г. и от 1 мая 1510 г.; там же, стр. 45—46 и 57, и от 1 апреля 1526 г., *DIR, XVI, B, 2*, стр. 4; глыба соли равнялась в XVII и XVIII вв. 100 ока, примерно 127 кг (ока = 1,276 кг в начале XIX в.).

<sup>48</sup> *DIR, XVI, B, 1*, стр. 14. «Мажа» — старая мера веса для рыбы.

<sup>49</sup> Один корабль вмещал семь с половиной возов соленой рыбы или поклажу 15 коней.

<sup>50</sup> *DIR, XIII—XIV—XV, B*, стр. 2; см. выше стр. 426.

<sup>51</sup> Велся точный учет товаров; в акте от 20 января 1505 г., закрепляя за Козиевским монастырем таможду из Генуне (в долине Олта, ближе к Трансильвании), подаренную монастырю еще Мирчей Старым (1386—1418 гг.), господарь указывает таможеннику выскивать со всех и добавляет: «... не прощай никому даже аспра, так как буду тебя учитывать по книгам переправы на Дунае...», *DIR, XVI, B, 1*, стр. 26—27 (подчеркнуто мною — Д.Д.).

<sup>52</sup> А. Піеş, *ук. соч.*, стр. 157—159.

водилась во всё это время, главным образом, в Тыргу-Окна. Со всех этих разработок соль свозилась на пристани, откуда переправлялась на правый берег, в Сербию, Болгарию и Добруджу, а также перевозилась на небольших судах в Констанцу и Варну, где перегружалась на другие корабли, отправлявшиеся в Константинополь<sup>53</sup>.

Из Трансильвании соль вывозилась в XVI в. по Мурешу и Тиссе в районы владений Блистательной Порты, главным образом, в сторону Белграда<sup>54</sup>.

Открытие новых разработок соли указывает на рост продукции и вывоза соли из всех трех румынских исторических провинций. В результате укрепления турецкого владычества в первой половине XVI в. к северу от Дуная и экспорт соли направлялся все более в сторону Балканского полуострова. С появлением новых возможностей увеличения сбыта, а следовательно и новых источников доходов, господа расширяли добычу соли, повышая число рабочих и прикрепляя крестьян к соляным промыслам взамен их частичного освобождения от фискальных<sup>2</sup> обязательств. Соответственно увеличились и перевозки по Дунаю, что особенно тяжело<sup>2</sup> ложилось на зависимое крестьянство.

‡ Еще с давних времен свидетельство постоянных путей находим в топонимии. Одна из дорог, связывавших Окнеле Марь с Калафатом, называлась в 1517 г. «Диюлуй», по наименованию Видина (Дию), расположенного напротив Калафата<sup>55</sup>. Среди перевозившихся товаров была и соль; об этом категорически говорит документ Владислава III от 10 мая 1523—1525 гг., подтверждающий старое пожертвование Тисманскому монастырю — «пошлину на соль на Видинском перевозе...» и приказывающий «перевозчикам» аккуратно уплачивать посланцам господаря «всю правильную пошлину за соль»<sup>56</sup>. Эта Диунская дорога встречается вновь на границе сел Корнэцел и Бохань. Из Окнеле Марь соль вывозили и через Пятра Олт и Каракал, а отсюда — на юго-запад у села Пискул, где «о дороге соли» упоминается в XVI в.<sup>57</sup>, до Бекета, напротив Раховы. Та же топонимия встречается и в документе от 20

<sup>53</sup> St. Pascu, *Petru Cercel și Țara Românească la sfârșitul secolului XVI*, Сибиу, 1944, стр. 180.

<sup>54</sup> *Istoria României*, т. II, Бухарест, 1962, стр. 883.

<sup>55</sup> *DIR*, XVI, B, 1, стр. 122, Ср. акт от 22 июля 1584 г., *DIR*, XVI, B, 5, стр. 171, и от 4 марта 1594 г., *DIR*, XVI, B, 6, стр. 106.

<sup>56</sup> *DIR*, XVI, B, 1, стр. 174; ср. документ от 1 апреля 1589 г. и от 8 апреля 1590 г. — *DIR*, XVI, B, 5, стр. 393—394 и 436 и акт от 25 мая 1582 г., *DIR*, XVI, B, 5, стр. 56.

<sup>57</sup> В акте от 10 февраля 1541 г., *DIR*, XVI, B, 2, стр. 275 и в акте от 13 октября 1574 г., *DIR*, XVI, B, 4, стр. 149—150.



мая 1580 г.<sup>58</sup>, по которому были установлены границы села Мырши по дороге, ведущей от Окнеле Мичь у Тырговиште через Титу в Джурджу<sup>59</sup>. Наконец, «Вадул Сэрий», в 40 км к юго-востоку от Валени де Мунте, место проезда воев, нагруженных солью из Гитиоэры, как это упоминается в одном из документов от 25 февраля 1594 г.<sup>60</sup>. Только повторные и значительные перевозки соли к Дунаю еще в давние времена могли оставить подобные наименования на карте Валахии.

Для вывоза соли на Балканский полуостров несомненно пользовались и другими дорогами, хотя они и не связаны в своем наименовании со словом «соль». Так, например, в Олтении, у Крайовы ответвлялась «дорога Тибрулуй»<sup>61</sup> на озеро Бистрецул, а другая шла из Рымнику-Вылча, по правой стороне Олта, у Слатины переходила за реку и доходила до Турну. Из Окнеле Мичь имела дорога в Турну через Гэешть и Рошиорь де Веде, представляя собой границу между селами Команка, Гюргиев и Прислопул; по акту от 23 июля 1512—1513 гг. она называется «Никопольской дорогой»<sup>62</sup>.

В начале XVI в. в документах упоминаются также «Шистовская дорога»<sup>63</sup> и «Дырсторская дорога»; последняя шла из Тырговиште через Тыргшор и нынешние Алексеени (в границах сел Скей, Порумбул и Обрэжие — упомянутые в акте от 13 декабря 1514 г.)<sup>64</sup>. *Ведущие с древних времен к переправам через Дунай, существующие с незапамятных времен, эти дороги называются в румынских документах по наименованию городов на правом берегу реки—Видин (Дию), Чибар (Тибру), Никополь, Свиштов, Силистра (Дырстор), где находились промежуточные склады товаров и продуктов, отправляемых из Валахии и Трансильвании на юг, а также и прибывающих с Балканского полуострова и*

<sup>58</sup> *DIR*, *B*, 4, стр. 475—476. Село Мырша существовало и в XV в. по всей вероятности в тех же границах — *DIR*, *XIII—XIV—XV*, *B*, стр. 120—121.

<sup>59</sup> Еще с XV в. существовала другая дорога на Джурджу, между крепостью и Бухарестом, документ от 27 сентября 1461 г.; *DIR*, *XIII—XIV—XV*, *B*, стр. 132; от 10 декабря 1505 г., *DIR*, *XVI*, *B*, 1, стр. 34 и от 15 июля 1586 г., *DIR*, *XVI*, *B*, 5, стр. 254.

<sup>60</sup> *DIR*, *XVI*, *B*, 6, стр. 105.

<sup>61</sup> Акт от 30 апреля 1579 г., *DIR*, *XVI*, *B*, 4, стр. 379.

<sup>62</sup> Акт от 23 июля (1512—1518), *DIR*, *XVI*, *B*, 1, стр. 80; ср. акты от мая 1531 г. и от 18 апреля 1533 г., *DIR*, *XVI*, *B*, 2, стр. 98, 134—135.

<sup>63</sup> Акты от 23 июля 1512—1513 гг., от мая 1531 г. и от 18 апреля 1533 г. См. прим. 62.

<sup>64</sup> 13 декабря 1514 г., *DIR*, *XIV*, *B*, 1 стр. 104. Ср. документ от 10 ноября 1579 г. и от 12 декабря 1579 г., *DIR*, *XVI*, *B*, стр. 425 и 436 и от 27 января 1581, *DIR*, *XVI*, *B*, 5 стр. 11. «Соляные дороги» были отождествлены по *DIR*, *Indice sec. XIII—XVI*, см. прим. 1.

*Отоманской империи с назначением на север от Дуная. Такая топо-  
нимия красноречиво подчеркивает постоянное движение товаров в обоих  
направлениях в XIV—XVI вв.*



Вывоз соли продолжает расти и в XVII в. Управление Валахии разрешает открытие новых разработок — одной в Теишанах, на вотчине великого аги Матея Филипеску, другой в Слэнике, на землях богатейшей семьи Кантакузино, и третьей в Сэрару, в имении боярина Черники<sup>65</sup>; из добычи и торговли солью большие доходы извлекали, кроме господаря, наиболее значительные представители господствующего класса. Постоянное наличие на внутреннем и внешнем рынках все возрастающего количества соли естественно привело через несколько лет к снижению продажных цен, а следовательно, и к известному уменьшению доходов. Поэтому господарь Константин Брынковяну приостанавливает работу на двух копиях: «... а потому мы считаем, — пишет он 20 декабря 1705 г., — вместе с нашими честными советниками, так как копей слишком много и добывается слишком много соли, которую уже невозможно продавать по хорошей цене, почему доходы страны и нашей казны уменьшились, мы положили закрыть соляные копи в Сэрариул и Житиоаре...»<sup>66</sup>. Мотивировка совершенно ясная. Добыча, а следовательно, и продажа, регулировалась в зависимости от возможностей господствующего феодального класса получить прибыль, сочетавшихся с требованиями рынка.

В отношении экспорта соли свидетельства современников весьма убедительны. Англичанин Бергрев, проезжая через Молдову в 1652 г., отмечает, что «в Турцию отправляются большие количества»<sup>67</sup>, а Димитрий Кантемир подтверждает требования на молдавскую соль со стороны ряда стран<sup>68</sup>. Сопровождая патриарха Макария, Павел Алеппский после посещения Рымникул-Вылча пишет, что «вся соль, потребляемая в Румелии и в Константинополе» поступает из Валахии, куда прибывают купцы из Турции и корабли из Стамбула, чтобы «купить и отправить соль домой»<sup>69</sup>. Производились и особые поставки для импе-

<sup>65</sup> A. Pieș, *ук. соч.*, стр. 159—162. Соляные копи в Тейшани начали действовать в 1682 г., а в Слэнике в 1689 г.

<sup>66</sup> N. Iorga, *Studii și documente*, XIV, стр. 10; ср. A. Pieș, *ук. соч.*, стр. 162.

<sup>67</sup> *Анналы Румынской Академии*, Отдел. истории, 3, т. XVII, стр. 188.

<sup>68</sup> «*Descriptio Moldaviae*», изд. 1875 г., Бухарест, стр. 26.

<sup>69</sup> *The Travels of Macarius*, ed. C. F. Belfour, Лондон, 1836, стр. 345.

раторской кухни и дворца в Константинополе<sup>70</sup>. В середине того же XVII в. известный путешественник Эвлия Челеби посетил соляные копи в Турде (Трансильвания), сравнивая последние с валашскими разработками у Рымника-Вылча. « Кто не видел здешние копи, — восклицает он, — еще не знает, что самое чудесное на свете . . . ». Из Турды, — отмечает далее Челеби, — соль отправляется « во все пограничные пункты », а в Деву и Липову, где находятся сотни амбаров, соль прибывает по Дунаю, Тиссе и Мурешу, « тысячи кораблей » из Белграда, Срема, Семендрии и Буды грузят « много тысяч оков », которые везут к себе, создавая таким образом « избыток соли в мусульманских странах »<sup>71</sup>. Путь этих кораблей тот же, что и в XI в.<sup>72</sup>, указывает на постоянство вывоза соли из Трансильвании не только в Венгрию, но и в Сербию.

В октябре 1683 г. католический епископ Франциск Соймирович отмечает, что находящаяся в недрах Валахии « в большом обилии » соль вывозится купцами « во все страны великого султана, причем господа получают значительные доходы »<sup>73</sup>. Таким образом, путешествующий прелат подтверждает большие доходы, получаемые от этой торговли правителями страны и, конечно, наиболее видными представителями господствующего класса. Свидетельство французца Шарля Пейсоннея, в следующем веке, так же показательно: « Il y a en Valachie des mines de sel extrêmement abondantes, situées dans l'endroit que l'on appelle Носна ; ce sel se vend sur les lieux, à raison de 40 aspres le monceau de 100 à 110 ocques. On en tire une prodigieuse quantité qui passe à Constantinople et dans divers lieux de l'Empire Ottoman »<sup>74</sup>.

В XVII—XVIII вв. грузооборот с Балканским полуостровом и Османской империей производился по линии Дуная, главным образом через пункты Чернец, Калафат, Бистрецул, Оряхова, Грождиброд, Излаз, Турну, Зимнича, Джурджу, Олтеница, Чиокэнешть, Лики-

<sup>70</sup> Письмо от 29 апреля 1660 г. Mihai Guboglu, *Despre arhiva turco-orientală din biblioteca de stat V. Kolarov — Sofia*, в « Revista Arhivelor », 2 (1959), стр. 211 и информация 1680 г. в N. Iorga, *Manuscripte din biblioteci străine*, *Анналы Румынской Академии*, Отдел. истории, 2, т. XXI (1899), стр. 101.

<sup>71</sup> M. Guboglu, *Țările Românești în descrierea călătorului turc Evlia Celebi*. Исследование и перевод по турецкому оригиналу, Бухарест, 1946—1960 (рукопись), книга V, стр. 110 и 115, VI, стр. 17 и VII, стр. 46.

<sup>72</sup> См. выше прим. 12. Обследование еще не опубликованных Трансильванских архивов даст, конечно, новые сведения о вывозе соли на Балканский полуостров.

<sup>73</sup> N. Iorga, *Călători, ambasadori și misionari în țările noastre*, Бухарест, 1899, стр. 61.

<sup>74</sup> « Observations sur le commerce de la Mer Noir », Амстердам, 1787, стр. 270—271; C [arra], *Histoire de la Moldavie et de la Valachie*, Ньюшатель, 1781, стр. 167.

решть, Орашул де Флочи — для Валахии и Галац — для Молдовы<sup>75</sup>.

Среди продуктов соль занимала почетное место. Турецкий путешественник Эвлия Челеби в середине XVII в. сообщает, что только в один лишь Видин ежегодно прибывают «много сот тысяч кил каменной соли» из Валахии, и что город располагает 60 подземными амбарами для хранения соли на берегу Дуная<sup>76</sup>. Также и султанский фирман от 26 апреля 1695 г., в ответ на докладную записку господаря Брынковяну, приказывает всем кадиям на обоих берегах Дуная, от Браилы до Кладовы, т.е. по всей дунайской границе Валахии, не взывать пошлину за «валашскую соль». 8 декабря 1697 г., а также и в 1698 г. султан и великий визирь отдают новые распоряжения в связи с перевозкой, продажей и использованием румынской соли. До нас дошло три таких распоряжения 1728 г.; два из них — от апреля и 25 мая — касаются соли из Молдовы, перевозимой на судах от Килии вверх по Дунаю в Сербию, причем эта соль облагалась пошлиной в 3%, по-видимому, чтобы устранить в этой зоне конкуренцию с поставками из Валахии<sup>77</sup>; вопрос регламентации «зон сбыта» обоих румынских государств возникает и в XVII—XIX вв., поскольку турецкие власти уделяли большое внимание обращению соли на Балканском полуострове.

И в XVII в. трансильванские соляные копи продолжали снабжать находившиеся под оттоманским владычеством территории, в том числе и северную Сербию. Перевозки по Мурешу были сданы в аренду, а постановлением 1671 г. была предусмотрена сумма в 20 000 флоринов, вносимая в турецкую казну из полученных доходов<sup>78</sup>.

Войны XVIII в. между Турцией, Россией и Австрией в определенные отрезки времени стесняли нормальное передвижение товаров по Дунаю. Между 1718 и 1739 гг. Олтения находилась под австрийским владычеством. Потеря связи с южнодунайскими центрами сразу же отразилась и на продукции соли в Окнеле Марь. В австрийском донесении от 4 марта 1718 г. отмечается незначительность поступлений вследствие прекращения торговли с Оттоманской империей и с Балканским полуостровом, понятно по причине военных действий<sup>79</sup>. Так как ту-

<sup>75</sup> Об организации таможен в XVIII в. см. С. Șerban, *Sistemul vamal al Țării Românești în sec. XVIII*, в «Studii și articole de istorie», III, 1961, стр. 127 (на Дунае имелось 27 переправ).

<sup>76</sup> Цитированный перевод М. Губоглу, книга VI, стр. 104, 106, «Кила» = 13, 5 гарнцев.

<sup>77</sup> Mihai Guboglu, *Arhiva orientală — Sofia*, в «Revista arhivelor», 1959, № 2, стр. 211, 213; там же и фирман 1709 г.

<sup>78</sup> J. Benkő, *Transilvania sive magnus Transilvaniae Principatus...*, Виндобона, 1778, т. I, стр. 63 и т. II, стр. 63—64.

<sup>79</sup> Constantin Giurescu, *Material pentru istoria Olteniei sub Austriei*, Бухарест, 1913, т. I, стр. 281 (в дальнейшем будет цитироваться С. Giurescu, *Material Oltenia*).

редкое правительство запретило покупку соли из Олтении, австрийская администрация сразу же после войны приняла меры к восстановлению обычных торговых связей. В подробном донесении от 12 декабря 1719 г. комиссар Хаан внес предложение о снабжении Белграда и северной Сербии олтенской солью, считая возможным вывоз ее на некоторые территории Оттоманской империи; с одной стороны, видинский паша, как и никопольский, несмотря на запрещение султана, ответили положительно на ранее внесенные предложения в этом смысле, а с другой стороны, за последнее время цены на соль значительно поднялись, благодаря чему австрийское правительство могло бы получать соответственно возросшие доходы<sup>80</sup>. Из вышеупомянутого донесения вытекает, таким образом, забота об обеспечении соляным копям в Рымнику-Вылча обычных для них рынков сбыта в Сербии и Болгарии. Обследуя Дунай Хаан нашел в Пристоле высокий берег, защищенный от наводнений, подходящий для постройки складов для соли вместимостью до 1 000 повозок и для одновременной погрузки 100 «больших судов». Предложенное место расположено всего на расстоянии двух часов езды от Видина-порта, через который осуществлялся экспорт еще со времен румынского владычества, и лишь в четверти часа от впадения реки Тимок в Дунай, где в селе Радужевок находился австрийский гарнизон, который мог бы быть использован для наблюдения как за транспортом в Сербию, так и за возможными перевозками в Болгарию. Предложенная «пристань» находилась в 46 часах от Окнеле Марь; в донесении от 10 октября 1719 г. точно указаны этапы древней соляной дороги от Рымнику-Вылча до Видина<sup>81</sup>. Это расписание вдвойне ценно: во-первых, потому что оно указывает точный путь соли из Окнеле Марь до древней пристани в Видине (Дию), а во-вторых, устанавливает продолжительность такой перевозки — 46 часов — с точным указанием каждого этапа пути, причем было предложено оплачивать перевозку соли по тому же тарифу, как и во время румынской администрации — 40—45 крейцеров со ста ока<sup>82</sup>. Много сел и наименований, упомянутых в 1719 г. на этом пути соли от Рымника-Вылча до Дию, упоминаются во внутренних документах XV—XVI вв.<sup>83</sup>, так же как и названия, сохранившиеся до наших дней: *замечательная непрерывность человеческих посе-*

<sup>80</sup> Там же, I, стр. 442—443.

<sup>81</sup> Там же, стр. 466—467, а также 438—440.

<sup>82</sup> Там же, стр. 440—441. Чрезвычайно важное сведение, свидетельствующее об уплате за перевоз соли на дунайских пристанях и в XVII в.

<sup>83</sup> DIR, V, XIII—XIV. Indice, s.v. : села Балш, Рунку, Плешой. Брэнешти, Житиан, Радован и Корлат.

лений, являющаяся доказательством древности и постоянства путей, ведших из Трансильвании и Валахии на южнодунайские территории, путей, непрерывно использовавшихся в течение всего средневековья, начиная еще с X—XII вв., с момента возникновения первых румынских государственных формаций.

В результате донесения 1719 г. в Пристоле была поставлена пристань<sup>84</sup>. Тем не менее, несмотря на все старания, экспорт, по-видимому, не дал ожидаемых результатов. Купцы покинули Олтению, как об этом сообщает донесение от 7 сентября 1726 г., перебравшись в Мунтению, где они добились, при поддержке румынских властей, запрещения оттоманскими властями торговли солью из «Австрийской Валахии». Чтобы выправить положение, новый комиссар Тиче предложил соляные копи сдать в аренду местным жителям («nationales»), знающим турецкий язык и обычаи, «с большим опытом и умением» и «которые имели бы за Дунаем друзей и знакомых», так чтобы — и здесь идет самая интересная часть рапорта, — «можно было бы надеяться на восстановление ныне запрещенной торговли солью в тех краях и на возвращение процветания копей как при господарях, когда они сдавались в аренду за 50 000 немецких флоринов в год»<sup>85</sup>. Для этого было найдено и двое претендентов — Михалаке Кондояну, бывший концессионер копей в Молдове, с положительными отзывами об его тамошней работе, и Владен, знаток соляной торговли, видинский домовладелец, обладавший большим кругом знакомых и друзей.

Неизвестно, имели ли какие-либо последствия упомянутые предложения; мы склонны полагать обратное, так как до возврата Олтении в 1739 г. австрийские документы не упоминают по этому вопросу о каких-либо связях с Оттоманской империей. Но независимо от немедленных практических результатов, выводы, сделанные в донесении 1726 г., представляют интерес: древние соляные копи из Окнеле Марь приносили господствующему феодальному классу большие доходы, главным образом от вывоза в южнодунайские области; так как внутреннее потребление соли возрастало сравнительно медленно от одного века к другому, господа, совместно с некоторыми боярами и купцами, добились значительных доходов от поставки соли в Болгарию, Сербию и Константинополь. А как только эти связи были прерваны, соляные разработки в Рымнику-Вылча потеряли свою рентабельность. Все усилия известной своей точностью администрации Габсбургской империи

<sup>84</sup> С. Giurescu, *Material Oltenia*, т. I, стр. 687 и т. II, стр. 214.

<sup>85</sup> Там же, стр. 96 и 100.

не могли дать желаемых результатов — реальное положение дел оказалось более сильным, оно требовало связи с территориями к югу от Дуная, наличия людей знакомых с обществом Балканского полуострова. А эти именно выводы, вытекающие из положения олтенских соляных разработок при австрийцах в 1718—1739 гг., хорошо разъясняют и обстоятельства предыдущего периода; как господствующий класс в погоне за большими прибылями стремился к увеличению вывоза соли на юг от Дуная, так и увеличившиеся возможности сбыта на столь обширном рынке, находившемся под единой военно-политической оттоманской властью, действовали в сторону повышения добычи соли, осуществляемого путем все более жестокой эксплуатации рабочих и крестьян в пользу бояр и правителей страны.

Также во время австрийского господства отмечается попытка отправлять соль в Боснию. В декабре 1727 г. в Крайову прибыло много турок для переговоров с габсбургской администрацией копей Огнеле Марь «о значительном количестве»<sup>86</sup> для «ежегодной» перевозки по Дунаю до Белграда, а оттуда в Боснию; в донесении, содержащем эти сведения, подчеркивается, что валашскую соль потребляли и в Тимишоарском Банате, причем грузилась она из тех же Пристолских складов; снова, значит, тот же путь, как и во второй половине XIV в., когда в 1373 г. венгерский король Людовиг запрещал ввоз из Валахии<sup>87</sup>.

После Белградского мира (1739) копи из Олтении, Мунтении и Молдовы продолжали снабжение Балканского полуострова. Соль шла по Дунаю по уже известным дорогам; по неопубликованному документу от 6 мая 1748 г. в Лунге и Скурте отведено по 20 сажений «для соляной дороги»<sup>88</sup>, на которую стекались погруженные в Телеге, Гитиоаре и Слэнике подводы и которая проходила по долине Яломицы у Алексени на Лунгу<sup>89</sup> и спускалась к Ликирешти (ныне Кэлэраш), напротив древней переправы и Дырстора. По этой же дороге прошли и 71 000 ока, купленные в 1724 г. Леурнезом в Силистре<sup>90</sup>. Склады соли отмечены в таможенном пункте Излав у устья Олта<sup>91</sup> и в Джурджу. 24 сентября 1786 г. один турецкий сановник просит валашского господара Николая Маврогени принять меры против «жульничества» боярина

<sup>86</sup> Там же, II, стр. 206.

<sup>87</sup> См. выше стр. 427—428. См. и экспортные таможенные тарифы от 28 июня 1732 г. в С. Giurescu, *Material Oltenia*, II, стр. 520.

<sup>88</sup> Академия РНР, документ № СХХХV/157.

<sup>89</sup> Может быть и нынешняя Дылга (длъгъ-длинный).

<sup>90</sup> N. Iorga, *Studii și documente*, XII, стр. 25.

<sup>91</sup> F. C. Baur, *Mémoires historiques et géographiques sur la Valachie*, Франкфурт и Лейпциг, 1778 г., стр. 195.

Янаке, который продает соль по ценам, завышенным против установленных. Из этого же письма мы узнаем, что в каждом главном придунайском городе находился специальный представитель казны, в обязанности которого входило наблюдение за поставками, причем продажа соли в балканских городах и селах производилась специальной корпорацией (эснаф) соляников по установленным для каждой местности ценам<sup>92</sup>. Османские власти постоянно заняты вопросом циркуляции соли. Так, султанский фирман Селима III от 9—18 октября 1791 г. приказывает властям в Джурджу, Рушук и Силистре не взыскивать дополнительных пошлин, а, наоборот, содействовать распространению «валахской соли»<sup>93</sup>.

В свою очередь, господа обоих румынских государств проводят мероприятия по снабжению дунайских портов. По уездам было распределено определенное количество перевозок<sup>94</sup>, которые должны были быть выполнены крестьянами собственными средствами. Эта обязанность была большой тяжестью для крестьян; к ее выполнению принуждали не только власти феодального государства, но и материальная нужда — на полученные за перевозки деньги крестьяне покупали необходимые им продукты либо частично уплачивали причитающиеся с них налоги. А когда им не удавалось доставить соль к Дунаю, то иногда их обязывали купить ее за собственный счет! Признавая существование подобных торговых «обычаев», в одном из господарских приказов от декабря 1798 г. указывается, что они не должны применяться, поскольку наступила зима. Из того же текста узнаем, что помощники префекта разъезжали по уезду, заставляя жителей перевозить соль в порты<sup>95</sup>.

На юг соль отправляет и Молдова<sup>96</sup>, хотя главным местом ее вывоза были Польша и Россия.

Для XVIII в. также не представляется возможным дать сводные цифры вывезенной на Балканский полуостров соли; таможенные сведения не сохранились полностью. Все же можно сделать кое-какие расчеты, которые, конечно, будут пополняться по мере опубликования богатого, неизданного еще материала, относящегося к этому периоду.

<sup>92</sup> Mihai Guboglu, *Catalogul documentelor turcești*, т. I, Бухарест, 1960, № 389 (в дальнейшем будет цитироваться М. Guboglu, *Catalog*); турецкий документ от 5 мая 1762 г.; Mihai Guboglu, *Arhiva Orientală — Sofia*, в «Revista arhivelor», 1959, № 2, стр. 211.

<sup>93</sup> См. и приказ, полученный силистрийским вали Арсланом пашой, М. Guboglu, *там же*; также и фирман от 15 июня 1794 г.

<sup>94</sup> V. A. Urechia, *Istoria Romnilor*, IV, стр. 268—269 и VII, стр. 519.

<sup>95</sup> V. A. Urechia, *ук. соч.*, VII, стр. 519.

<sup>96</sup> Неопубликованный документ от 24 июля 1743 г. (Академия РНР, док. № LXX XVI/76); Gh. Ghibănescu, *Catastihul vămilor Moldovei*, 1765, в «Ioan Niculce», 1 (1922), стр. 213.



К концу XVIII в. добыча соли в Валахии оценивается от 17 до 25 миллионов ока (21 692 000 — 31 900 000 кг)<sup>97</sup>. Судя по положению в начале XIX в. 3/4 добытой соли шло на экспорт. И другая цифра представляется не менее показательной: в 1794 г. австрийский купец Георг Маухерли заключает с «пахарником» Хаджи Моску договор на получение в дунайских портах 7 000 000 ока соли с назначением в Семлин и северную Сербию<sup>98</sup>. Всего лишь в одном направлении вывозилось такое количество; а к этому нужно прибавить и поставки в другие районы Оттоманской империи. Георг Маухерли заарендовал в Свиштове 12 складов, где сложил первую партию в 200 000 ока. А это вызвало выступление местных элементов, обратившихся к оттоманским властям с просьбой, чтобы свиштовский воевода приостановил доставку соли для австрийца, что, понятно, вызвало протесты представителя Вены. По-видимому, выступления придунайских купцов-турок, греков, румын, болгар<sup>99</sup> и сербов дали в конце концов желательные результаты: до половины XIX в. только эти купцы занимаются сбытом соли из Валахии.

В XVIII в. снабжение дунайских портов было регламентировано. Молдавскую соль воспрещалось доставлять в мунтенские порты между Браилой и Кладовой под угрозой конфискации судов в пользу оттоманской казны; но все же это не мешало проведению контрабандных операций. Однако, экспорт Молдовы как на юг, так и на запад продолжался как и прежде<sup>100</sup>.

Приведенные выше цитаты указывают на рост в XIV—XVIII вв. вывоза соли из всех трех румынских исторических провинций на юг от Дуная. В основе этого роста лежала эксплуатация рабочей силы рабочих и крестьян из соседних с соляными копиями сел, обязанных взамен частичного освобождения от налогов выполнять тяжелые работы, о которых повествуют источники тех времен. Между прочим, одним из самых тяжелых наказаний была работа в соляных коях. Осужденных посылали добывать соль; в середине XVII в. Павел Алеппский видит каторжников в коях у Рымника-Вылча<sup>101</sup>. В Трансильвании рабочие нанимались со своими инструментами, а в случае невыхода на работу их доставляли силой. Низкая оплата труда и бытовые нужды заставляли их принимать участие в социальных выступлениях первой поло-

<sup>97</sup> *Istoria României*, т. III (макет), Бухарест, 1961, стр. 476, и С. С. Giurescu, *Istoria Românilor*, III/2, стр. 556.

<sup>98</sup> Hurmuzaki, *Documente*, т. XIX/1, стр. 717—778.

<sup>99</sup> О расширении торговых связей болгарских городов с Румынскими государствами в XVIII в. см. *История на България*, I, София, 1954, стр. 302—303; И. Пасухов, *История на България*, II, стр. 363—371.

<sup>100</sup> M. Guboglu, *Catalog*, № 499; см. выше, стр. 465.

<sup>101</sup> *The Travels of Macarius*, ed. F. C. Belfour, II, Лондон, 1836, стр. 345.

вины XVI в., а особенно в крестьянской войне 1514 г. В 1550 г. мара-мурешские шахтеры покинули копи вследствие понижения зарплаты и злоупотреблений администрации<sup>102</sup>. К середине XVII в. турецкий путешественник Эвлия Челеби, под впечатлением виденного, в своем дневнике умоляет Аллаха уберечь «народ Магомета», чтобы его люди не попадали в трансильванские соляные копи<sup>103</sup>. В Валахии в 1640 г. село Добриченъ запрдало себя Арнотскому монастырю — свободные люди были «согласны» стать зависимыми от монастыря, лишь бы избавиться таким образом от обязательной работы в соляных копиях<sup>104</sup>. Некоторые документы упоминают о том, что иногда целые села забирались силой на работу по добыче соли; в начале XVII в. городские жители из Окнеле Марь жаловались, что не могут выполнить законные обязательства по содержанию копей согласно существующему с стародавних времен «закону»<sup>105</sup>.

Можно привести много подобных свидетельств<sup>106</sup>; все они показывают, что в основе добычи и торговли солью, прибыль от которых присваивалась прежде всего господствующим классом, всегда лежала эксплуатация труда.

Валашская соль не была только объектом торговли на Балканском полуострове; из доходов от добываемой соли в XVII—XVIII вв. оказывалась помощь школам, религиозным учреждениям и частным лицам. Такая помощь оказывалась господарями либо в натуре, причем получившие соль могли продать ее без уплаты каких-либо налогов<sup>107</sup>, либо деньгами, взятыми тоже из доходов от соли. Среди школ, которым оказывалась помощь, отметим школы в Стамбуле, Терапии, Арванитокори (близ Тырнова)<sup>108</sup> и Патмосе.<sup>109</sup> Определенные суммы выдавались некоторым православным общинам в Болгарии<sup>110</sup>, Стамбуле<sup>111</sup>,

<sup>102</sup> *Istoria României*, II, Бухарест, 1962, стр. 563 и 882.

<sup>103</sup> *Evlia Celebi*, изд. М. Губоглу, кн. VI, стр. 17.

<sup>104</sup> А. Шиез, *ук. соч.*, стр. 188—190.

<sup>105</sup> *Там же*.

<sup>106</sup> Свидетельство Павла Алеппского: *The Travels of Macarius*, ed. F. C. Belfour, т. II, стр. 345.

<sup>107</sup> Пожертвования господаря Брынковяну в 1702 г. сербским монастырям «Липник» и «Раваница»; Госархив, Бухарест, рук. 705, л. 339—340 и 331.

<sup>108</sup> V. A. Urechia, *ук. соч.*, т. V, стр. 74—77; т. VII, стр. 73—79, 330—331 и 449—451.

<sup>109</sup> Академия РНР, *Рум. рук. 880*, л. 9 (не опубликовано).

<sup>110</sup> Митрополия из Силистры и монастырь Душко (Румелия): V. A. Urechia, *ук. соч.*, I, стр. 176—177; VI, стр. 238—241 и 243—244; VII, стр. 327; VIII, стр. 410—411.

<sup>111</sup> Церкви «Бебекиной, Баликул, Магулиотиса, Влахерна, Кучюкной, Куручешме, Терапия и Халки» — V. A. Urechia, *ук. соч.*, VI, 242—243, 249—251, 256—258, VII, стр. 44, 322—323, 333—334, 337, 452—453; VIII, стр. 402, 412—413: Академия РНР, *Рум. рук. 880*, л. 9 (не опубликовано).

на Афоне <sup>112</sup>, в Морее <sup>113</sup>, Патмосе <sup>114</sup> и Китре <sup>115</sup>; согласно «старинному» обычаю не были обойдены и некоторые мусульманские монастыри на юге Дуная <sup>116</sup>. Наконец, также оплачивались и «хозяева», у которых в различных придунайских местностях (Тутрукан, Разград, Драгич-Киой и т.д.) останавливались и получали сведения румынские курьеры по пути в столицу Оттоманской империи <sup>117</sup>.



В первой половине XIX в., т.е. к концу феодальной эпохи, в условиях формирования капиталистических отношений, документальный материал, в значительной части еще неопубликованный <sup>118</sup>, позволяет более подробное исследование различных сторон экспорта соли из Румынских княжеств на Балканский полуостров. Книга «отчета по соляным копиям» в Молдове дает первые цифры: в отрезок времени от 22 июня 1801 г., по 19 сентября 1802 г., т.е. в течение 15 месяцев, с соляных разработок было отправлено на «пристани» 9 205 956 ока, в том числе в Галац 1 553 582, в Могилев (Подольский) — 5 180 001, в Яссы — 1 656 146 и в Краулень — 816 226. Из всего поставленного количества рынки к югу от Дуная получали 16,8%, а все остальное количество отправлялось в Россию и Польшу <sup>119</sup>.

Валахия же, наоборот, весь свой экспорт направляла на Балканский полуостров. В официальном донесении дивана (от 6 декабря 1811 г.) годовая добыча соли оценивается в 20 миллионов ока, из которых 1/4 часть шла на внутреннее потребление, а три четверти на экспорт, в том числе в Сербию — 2 500 000 ока, а 12 500 000 в Оттоманскую империю (включая и Болгарию) <sup>120</sup>.

Напряженные темпы поставок в дунайские порты видны из официальных приказов, указывающих различным уездам перевозки в сотни тысяч ока <sup>121</sup>. Насильственный характер подобных перевозок

<sup>112</sup> У Ксеропотамоса, Ивилона, Докариу, Григориу, Ксенофона: V. A. Urechia, *ук. соч.*, I, стр. 798—799; VI, стр. 233; VII, стр. 299, 330—333; VIII, 405—408, 418.

<sup>113</sup> Там же, VI, стр. 234—235; VII, стр. 302, 320—321; VIII, стр. 404—405.

<sup>114</sup> Академия РНР, *Рум. рук.* 880, л. 9 (неопубл.).

<sup>115</sup> Там же и V. A. Urechia, *ук. соч.*, VII, стр. 336; VIII, стр. 402—404.

<sup>116</sup> V. A. Urechia, *ук. соч.*, VII, стр. 231; M. Guboglu, *Catalog*, № 1904, 1124, 1170.

<sup>117</sup> V. A. Urechia, *ук. соч.*, I, стр. 1169—1170 и VII, стр. 231.

<sup>118</sup> Эта часть статьи основывается главным образом на не опубликованном Бухарестским Госархивом и Академией РНР материале. При ссылке на опубликованный материал указывается автор либо коллекция.

<sup>119</sup> Академия РНР — *Рум. рук.* 880, л. 3.

<sup>120</sup> I. Sojocaru, *Documente privitoare la economia Țării Românești 1800—1850*, т. I—II, Бухарест, 1958, № 51 (в дальнейшем будет цитироваться I. Sojocaru, *Documente*).

<sup>121</sup> На 15 сентября 1815 г. — 400 000 ока; на 14 октября 1815 г. — 1 700 000 ока; на 3 октября 1816 г. — 2 000 000 ока и т.д., Академия РНР. *Рум. рук.* № 267, л. 204, 212, 252 и 256.

вытекает из содержания приказов, в которых господаи угрожали уездным префектам, в случае невыполнения приказа, высокими штрафами и посылкой на места специального агента для приведения в исполнение отданного приказа<sup>122</sup>; понятно, что местные административные органы всеми мерами принуждали крестьян выполнять перевозки. Между прочим, в официальной книге приказов 16 сентября 1816 г. отмечено отправленное префектам распоряжение господаря: «о принуждении крестьян явиться со своими возами на соляные копи для погрузки соли и доставки ее на пристани»<sup>123</sup>.

Общие количества известны и за 1822 г., они подтверждают количества предыдущего десятилетия: вывезено из Валахии 12 млн ока, в том числе 10 000 000 в Турцию и 2 000 000 в Сербию<sup>124</sup>. В 1823 г. Молдова посылает в Оттоманскую империю 1 559 016 ока из общего количества в 9 741 858; таким образом, основное количество продолжает оставаться за русскими рынками. Два года спустя, хотя общий экспорт упал до 5 102 442, все же поставки в Турцию даже несколько увеличились — 1 806 787 ока<sup>125</sup>.

Портами погрузки были: для Молдовы — Галац, а для Валахии — Браила, Кэлэраш, Олтеница, Джурджу, Зимнича, Турну-Мэгуреле, Излаз, Калафат и Чернец, примерно те же, что и в XVII в.<sup>126</sup>. Как и в прошлое время, зона сбыта распределяется между обоими княжествами: молдавскую соль запрещалось разгружать на мунтенских пристанях, а нарушители считались «controbonf»<sup>127</sup>. В 1822 г. управление бухарестского каймакама просило даже силистрийского пашу задерживать транспорты судов с солью из Галаца<sup>128</sup>. Не отсутствовала и контрабанда — покупая соль прямо в копиях, некоторые купцы продавали ее тайно по цене ниже официальной, обходя правительственный контроль<sup>129</sup>.

Погруженная в румынских портах соль переправлялась и складывалась в наиболее значительных центрах на правом берегу Дуная, либо

<sup>122</sup> Там же, л. 75, 82, 149, 155.

<sup>123</sup> Академия РНР, *Рум. рук.* № 267, л. 251.

<sup>124</sup> N. Iorga, *Introducere la Hurmuzaki, Documente*, т. X, стр. XXV. Заметка 1826 г. упоминает о проданных в Белград для местностей к югу от Дуная 3 372 643 ока; N. Iorga, *Studii și documente*, т. XXV, стр. 97—98.

<sup>125</sup> Hurmuzaki, *Documente*, т. XXI, стр. 235.

<sup>126</sup> Донесение от 6 декабря 1811 г. I. Cojocaru, *Documente*, № 51, стр. 126—127; см. выше стр. 434—435.

<sup>127</sup> V. A. Urechia, *ук. соч.*, т. XI, стр. 578—579.

<sup>128</sup> V. A. Urechia, *ук. соч.*, т. XIII, стр. 268—269.

<sup>129</sup> Там же, стр. 264—265; см. и письма от 1 августа 1820 г. в N. Iorga, *Studii și documente*, XXV, стр. 187, от 5 марта 1825 г., 8 февраля, 15 августа и 8 сентября 1826 г. в M. Guboglu, *Catalog*, № 1994, 2156, 2285 и 2297.

уходила по Черному морю в Стамбул. Экспорт производился и в Сербию; даже во время войны поставки сюда не прекращались.<sup>130</sup> По пути в Белград соль сдавали также в *Кладово* и в *Ада-Кале*. Но наибольшие количества отправлялись на юг, начиная с *болгарских придунайских городов*. В *Видине* торговцы солью составляли особую корпорацию («эснаф») и получали товар в кредит; так как деньги уплачивались всегда с опозданием, то оттоманские власти требовали, как например в марте 1826 г., от купцов более быстрой уплаты долга. Один из крупных валашских купцов Хаджи Януш также поставляет соль в Видин; многие из клиентов задолжали ему суммы в десятки тысяч курушей. Он отправляет соль и в *Лом*; один из его транспортов в 1820 г. составлял 105 750 ока. Кроме обычных количеств, предназначенных для потребления, в *Никополь* отправлялась «согласно традиции» и соль для кухни паши. Крупные склады не ходились и в *Свиштове*, где во время войны 1806—1812 гг. в одном лишь амбаре остались заблокированными 250 000 ока. И в этом городе, как и в Видине, имеется свой «эснаф» торговцев солью; после смерти члена корпорации купца Кабанчиоглу эль-Хаджаги осталось 100 000 ока соли, которая была передана румынским властям в счет причитающегося с покойного долга. Несмотря на разгар военных действий в 1810 г. в Русе продолжают все же поступать транспорты соли. После войны связи снова налаживаются нормально и местный эснаф периодически вносит деньги представителю соляных промыслов; определенное количество посылалось и для русевского гарнизона («оджак»). Непосредственная отправка соли из румынских портов производилась не только в болгарские придунайские центры, но и в местности, расположенные внутри страны. Так, 14 августа 1806 г. Мардим из *Шумлы* подтверждает получение 12 000 ока от «боярина-эконома», а в 1823—1824 гг. турецкого коменданта Джурджу просили исходатайствовать у валашского господаря Григория Гики разрешение на отправку 7 000 ока необходимых жителям села *Кырлова* около Шумлы. Случай с конфискацией имущества одного из жителей села *Думан* в счет долга за соль указывает на существование и в небольших болгарских местностях оптовиков, перепродававших соль различным торговцам. В *Добруджу*, также находившуюся под оттоманской властью, соль поступала через Калэраш, Гура Яломицей (Хыршова), Браилу, Галац<sup>131</sup>.

<sup>130</sup> I. Sojocaru, *Documente*, № 297.

<sup>131</sup> По всем этим местностям информации взяты из ценных, находящихся в Румынии оттоманских архивов, опубликованных Михаилом Губоглу в *Catalogul documentelor turcesti*, № 2370, 1820, 1275, 1402, 1959, 1007, 1726, 2126, 1042, 1682, 1761, 751, 1760, 2395, 750, 794 и 816 (ссылки сделаны в порядке указания местностей).

В первой половине XIX в. три соляные разработки в Валахии — Окнеле Марь у Рымника-Вылча, Телега и Слэник — полностью покрывают внутреннее потребление и экспорт. В Молдове продолжается эксплуатация соляных копей в Тыргу Окна. Как и в предыдущие периоды прирост продукции был получен в результате расширения разрабатываемой площади и интенсификации труда<sup>132</sup>. Поэтому рабочие переходят к все более открытым выступлениям; в 1824 г. рабочие в Слэнике и Телеге избили и выгнали представителей власти<sup>133</sup>. В 1832 г. там же в Телеге происходит настоящее «восстание» и работа прекращается; правительство дало приказ праховскому префекту отправиться на место происшествия в сопровождении солдат, одновременно известив полковника, чтобы последний доставил в Бухарест зачинщиков восстания под военным конвоем. Официальное расследование, которое, конечно, нельзя подозревать в симпатии к рабочим, признает обоснованность требований: оно подчеркивает «бесконечную работу в поте лица, которой должны заниматься и днем и ночью и добровольно и поневоле, как настоящие рабы, не получая взамен причитающейся уплаты . . .»<sup>134</sup>.

Переход к новым, капиталистическим производственным отношениям отмечен и на соляных коях переходом на денежную оплату труда, что, между прочим, вызвало волнения. Так, в поданной губернатору Румынских княжеств генералу Киселеву жалобе телегские рабочие говорят, что новый арендатор разработок барон Мейтани еще четыре года тому назад (в 1828 г.) отменил выдачу причитающейся порции соли, предусмотренной порядком с давних времен, выдавая зарплату только деньгами; из этой зарплаты они вынуждены покрывать и стоимость своих инструментов, различных материалов, и налог в пользу государства! Больше того, управление коями пользуется всякими предлогами, чтобы удерживать у них по одному дню в неделю, а для обеспечения явки на работу прибегают к избиванию «плетью по ногам и по спине . . .» Поэтому, а также и вследствие дороговизны последних лет рабочие жалуются, что не могут содержать свои семьи на заработанные деньги<sup>135</sup>.

Перевозка на Дунай производилась, как и раньше, по избитым в течение веков дорогам, в больших повозках, скрепленных по бокам

<sup>132</sup> В течение феодального периода техника добычи соли в Валахии и Молдове оставалась неизменной; А Пис, *ук. соч.*, стр. 169 и 172—173.

<sup>133</sup> *Istoria României*, т. III (макет), Бухарест, 1961, стр. 477.

<sup>134</sup> I. Sojocar, *Documente*, № 374, 378.

<sup>135</sup> Там же, № 377.

большими кряками, в которые входило по 1 000 ока соли<sup>136</sup>. Сохранились 4 показания возчиков, проехавших все этапы от копи до дунайской пристани. В одном из них от 7 сентября 1837 г. говорится, что «мы, ватага из Орлешти Олтовской волости, Вылчевского уезда настоящим показываем, что наша соляная дорога, по которой едем от Окны до Бекету — эта дорога древняя, по которой всегда мы ездили с тех пор как себя помним . . .»<sup>137</sup>. *Постоянство этой дороги на Дунай, которой пользуются из поколения в поколение, — что подчеркивается и в других показаниях, — подтверждает непрерывность и давность перевозок на и с Балканского полуострова.* На основании упомянутых показаний возчиков можно проследить и связь между Окнеле Марь и Бекетом, Телеги с Зимничей, Телеги с Джурджу, Слэника и Телеги с Олтеницей<sup>138</sup>. Продолжали пользоваться также дорогами Окнеле Марь—Крайова—Калафат, Слэник—Кэлэраш—Силистра и Слэник—Браила.

Временно прерванная, но не полностью, в 1828—1829 гг. из-за войны торговля солью официально возобновилась в 1830 г., когда «концессионер» мунтенских соляных копей заключил в апреле первые договоры с южнодунайскими купцами, начав продажу 10 000 000 ока, собранных в левобережных портах во время войны<sup>139</sup>. Между прочим, по Адрианопольскому миру, заключенному 12—14 сентября 1829 г., установлена полная свобода торговли для румынских государств, что послужило мощным импульсом для развития импортных и экспортных операций<sup>140</sup>. Сделки на соль заключаются по более высокой цене — 38 лей за сто ока — по причине острой нехватки соли на Балканском полуострове в то время<sup>141</sup>. В следующем 1831 году торговля развернулась полностью. В экспорте Валахии соль занимает ведущее место: из общей суммы экспорта в 17 255 196 лей на соль приходится 5 740 000 лей (3 040 000 на Болгарию и 2 700 000 на Сербию)<sup>142</sup>. В 1832 г. выручка от продажи соли достигает суммы в 6 750 000 лей из общего итога в 32 651 078 лей<sup>143</sup>, а в 1833 г. из общего итога в 13 116 000 франков на

<sup>136</sup> Обыкновенная повозка вмещает не больше 5000—6000 ока; Академия РНР, *Рум. рук.* 267, л. 82.

<sup>137</sup> I. Cojocaru, *Documente*, № 511.

<sup>138</sup> Там же, №№ 515, 516, 517.

<sup>139</sup> Hurmuzaki, *Documente*, т. XXI, стр. 261.

<sup>140</sup> C. Petrescu, D. A. Sturdza, D. C. Sturdza, *Acte și documente relative la istoria renașterii României*, I, Бухарест, 1888, стр. 322.

<sup>141</sup> В двух австрийских донесениях говорится, что обычная продажная цена в портах до 1828 г. была 10,5—11 лей за сто ока; Hurmuzaki, *Documente*, XXI, стр. 196 и 205. Эта информация должна быть принята с оговоркой — для всех последующих лет документы дают более высокие цены.

<sup>142</sup> Hurmuzaki, *Documente*, XVII, стр. 267.

<sup>143</sup> I. C. Filitti, *Principatele Române de la 1828 la 1834*, Бухарест, без указания года, стр. 339.

соль приходится 1 988 000 франков (1 088 000 на Болгарию и 960 000 на Сербию)<sup>144</sup>. Высокий удельный вес вывозимой соли в общем экспорте страны (21% в 1831 г. и 1832 г. и 14—15% в 1833 г.) указывает на чрезвычайно большое значение этого продукта в торговле Валахии с странами Балканского полуострова. Для 1834 г. имеются точные цифры, содержащиеся в официальных реестрах представителей казначейства в дунайских портах<sup>145</sup> (см. таблицы 1, 2 и 3).

Первая таблица содержит сведения о местах назначения и портах погрузки по их географическому положению с запада на восток. Во главе стоит Видин с количествами в 23 369 375 ока (30 584 923 кг)<sup>146</sup>, поставленных обоими княжествами. На втором месте находятся Русе и Фетислам, каждый с импортом свыше пяти миллионов ока; третье место занимают Свиштов, Рахова и Лом, каждый свыше 2 600 000 ока, а за ними идут прочие центры. В эти города соль доставлялась для обширных районов. Наиболее показательным в этом отношении является Видин; отсюда соль шла, по-видимому, и в восточную часть Сербии и дальше. В общем итоге болгарские города ввозили 38 588 903 ока, а сербские — 5 601 315, следовательно, из обоих румынских княжеств в 1834 г. было вывезено 44 190 218 ока соли (56 381 718 кг)<sup>147</sup> или 5638 десятитонных вагонов соли, перевезенной в центры на правом берегу Дуная, а отсюда переброшенной в глубину Балканского полуострова. Значение подобной торговли со всеми привходящими обстоятельствами не только в экономическом, но и в социальном отношении, выступает еще более ярко при более близком рассмотрении самого механизма вывоза.

В румынских портах — Чернец, Калафат, Бекет, Зимнича, Джурджу, Олтеница и Галац — имелось по одному представителю казначейства («чиновник») с месячной зарплатой, для наблюдения и контроля за снабжением с копей и экспортом<sup>148</sup>.

<sup>144</sup> Французское донесение от 11 мая 1834 г. — Hurmuzaki, *Documente*, т. XVII, стр. 343. Ср. I. C. Filitti, *ук. соч.*, стр. 340.

<sup>145</sup> В 1833—1834 гг. экспорт соли из обоих княжеств производился одним и тем же концессионером — Штефаном Мейтани: I. C. Filitti, *ук. соч.*, стр. 323—324. Сводная таблица была составлена на основании неопубликованного материала Бухарестского Госархива, фонд Валашского казначейства за 1834 г., дело № 4721 (Чернец), 4727 (Калафат), 4726 (Бекет), 4724 (Зимнича), 4729 (Джурджу), 4728 (Олтеница) и 4723 (Галац).

<sup>146</sup> 1 ока = 1,276 кг; см. донесение Лагана из Бухареста, в 1832 г. — Hurmuzaki, *Documente*, XVII, стр. 267.

<sup>147</sup> По сравнению с примерно 8 000 000 ока внутреннего потребления Валахии (максимум 1 850 000 жителей): Hurmuzaki, *Documente*, XXI, стр. 206 и XVII, стр. 335; I. C. Filitti, *Domnile române sub Regulamentul Organic*, Бухарест, 1915, стр. 179.

<sup>148</sup> Бухарестский Госархив, дело 4721/1834, л. 1.



Таблица № 1

Сведения об экспорте соли по местам назначения (1884 г).

№ п/п	Место назначения	Порты, через которые производится экспорт *)								Всего
		Чернец	Калафат	Бекет	Зимничя	Джурджу	Олтеница	Всего по Валахии	Молдавия через Галац	
1	Семендрия	108 100	—	—	—	—	—	108 100	—	108 100
2	Ада-Кале	6 700	—	—	—	—	—	6 700	—	6 700
3	Кладова	48 000	—	—	—	—	—	48 000	—	48 000
4	Фетислам	—	—	—	—	34 340	2 769 715	2 804 085	2 220 630	5 024 715
5	Прахова	—	—	—	—	—	—	—	420 500	420 500
6	Видин	701 840	1 649 440	590 900	3 749 500	5 537 975	8 409 105	20 638 760	3 330 615	23 969 375
7	Лом	—	—	2 603 500	—	—	—	2 603 500	—	2 603 500
8	Чибру (Тибру)	—	—	863 000	—	—	—	863 000	—	863 000
9	Рахова	—	—	2 229 750	—	—	—	2 229 750	457 660	2 687 410
10	Свиштов	—	—	—	1 275 415	240 765	545 200	2 061 380	673 570	2 734 950
11	Русе	—	—	—	—	2 267 260	1 513 205	3 780 465	1 707 340	5 487 805
12	Равные	1 400	1 985	—	—	—	31 800	35 185	200 978	236 163
	Итого...	866 040	1 651 425	6 287 150	5 024 915	8 080 370	13 269 025	35 178 925	9 011 293	44 190 218

\*) Количества указаны в ока (1 ока = 1,276 кг).

Таблица № 2

Сведения об экспорте в 1884 г. (по месяцам)

Месяц	Чернец	Калафат	Бекет	Зимнича	Джурджу	Олтеница	Всего по Валахии	Молдавия через Галац
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	48 000	—	—	—	—	—	48 000	—
Март	6 700	—	—	—	—	—	6 700	423 500
Апрель	—	—	—	—	—	—	—	915
Май	—	—	5 000	—	—	1 319 690	1 324 690	70 400
Июнь	—	166 030	662 400	48 085	1 087 685	4 201 700	6 165 900	1 238 690
Июль	88 900	221 370	2 258 050	1 991 270	1 474 795	2 950 025	8 984 410	3 172 740
Август	30 380	478 175	2 007 550	1 326 770	1 490 500	1 851 555	7 184 930	1 206 710
Сентябрь	91 530	136 855	844 500	1 083 470	2 060 575	2 282 315	6 499 245	354 210
Октябрь	376 170	647 010	509 650	360 555	1 282 740	638 730	3 814 855	1 519 440
Ноябрь	224 360	1 000	—	214 765	684 075	25 010	1 149 210	668 125
Декабрь	—	985	—	—	—	—	985	356 563
Итого в год...	866 040	1 651 425	6 287 150	5 024 915	8 080 370	13 269 025	35 178 925	9 011 293

Таблица  
Сведения о снабжении портов

Порт	Соляные копи либо склад							
	Окнеле Марь		Слэник		Телега		Склад Филиппешти	
	ока	число возов	ока	число возов	ока	число возов	ока	число возов
Чернец	629 740	628	—	—	—	—	—	—
Калафат	1 651 425	1 736	—	—	—	—	—	—
Бекет	6 096 300	6 025	—	—	—	—	—	—
Зимнича	—	—	486 875	380	4 505 905	3 792	25 900	20
Джурджу	—	—	1 811 990	1 499	3 204 990	2 826	39 940	33
Олтеница	—	—	9 949 195	7 752	2 977 845	2 628	—	—
Галац	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	8 377 465	8 389	12 248 060	9 631	10 688 740	9 246	65 840	53

\* Включал 1 479 267 ока с Текуческого склада, 1 214 895 ока с Адрудского склада, 5 855 050 ока

Учет велся по специальным книгам; ежемесячно в Бухарест отсылались сводки, которые должны были сходиться со сведениями, присылаемыми представителем копей, находящимся на соответствующей пристани. В этих книгах ежедневно отмечалось: поступления тоннаж судна, порт приписки, имя и фамилия капитана, получатель транспорта.

В городах на правом берегу реки также имелся чиновник, оплачиваемый валашским казначейством. В 1834 г. Енаке Христопуло отвечал за поставки Видина, Лома, Чибра (Тибру) и Раховы, Илья Хаджи Абдула — за Никополь, шэтрап Панаит и Михалаке Хаджи Абдула за Свиштов, а Константин Иконому — за Русе<sup>149</sup>. Они собирали и планировали заявки, выдавая каждому импортеру письменное распоряжение — настоящий распределительный ордер — на один из румынских портов, где погрузка судов не производилась иначе, как на основании такого ордера; в то же время капитан судна получал от румынских властей письменное подтверждение о сдаче груза<sup>150</sup>. Распределение по портам левого берега Дуная производилось с учетом количеств соли имеющейся в соответствующих складах, и поступления ее с копей. В случае, если свободной соли в порту не было, погрузка производилась в соседнем порту; так, 1 августа 1838 г. в Олтеницу прибыло два

<sup>149</sup> Бухарестский Госархив, ф. Валашского казначейства, дело 8118/1835, л. 1.

<sup>150</sup> Образец подобной записи в деле Олтеницкого порта, № 5683, л. 12 и 15. Ср. Дело Зимничи того же 1838 г., № 5688, л. 45, 74, 78, 76 и т.д. либо дело Джурджу, № 5682/1838, л. 25, 32, 94, 112, 107 и т.д., все в Бухарестском Госархиве.

## № 3

для экспорта в 1834 г.

откуда была отправлена соль						ВСЕГО	
Склад Бэняса		Склад Плоешти		Тыргу-Окна		ока	всего возов
ока	число возов	ока	число возов	ока	число возов		
—	—	—	—	—	—	629 740	628
—	—	—	—	—	—	1 651 425	1 736
—	—	—	—	—	—	6 096 300	6 025
—	—	—	—	—	—	5 018 680	4 192
3 101 270	2 463	—	—	—	—	8 158 190	6 821
—	—	335 355	278	—	—	13 262 395	10 658
—	—	—	—	8 670 621*	9 826	8 670 621	9 826
3 101 270	2 463	335 355	278	8 670 621	9 826	43 487 351	39 886

с копей Тыргу Окна, а также и различные остатки.

какая из Джурджу, где склады оказались пустыми; валашское казначейство разрешило изменить место погрузки, обязав соответствующего чиновника учесть эту операцию отдельно. Вследствие этого получилось, что к концу упомянутого года Олтеница сдала вместо Джурджу 1 300 800 ока<sup>151</sup>. В перечисленных городах получение денег за проданную соль производилось также представителями валашской администрации. Деньги отправлялись в опечатанном пакете вместе со списками монет — по категориям; затем специальная комиссия их проверяла, чистила и отправляла в Бухарест<sup>152</sup>. Инкассация сумм производилась в соответствии со специальными книгами, куда вписывались все купцы-покупатели соли, но в Бухарестском архиве они не сохранились. Зато имеется несколько списков неаккуратных должников. В одном из них, от 3 февраля 1835 г., приведены должники с 1831, 1832 и 1833 гг. из Видина, Лома, Тибру (Чибру), Раховы, Никополя, Свиштова и Русе<sup>153</sup>. При настойчивости просроченные долги, накопление которых было неизбежно, постепенно покрывались; на 6 октября 1835 г. с торговцев солью из Видина, Лома, Чибру и Раховы причиталось, в счет 1834 г., 7 223 815 лей<sup>154</sup>, несмотря на то, что оттоманское правительство еще

<sup>151</sup> Дело № 5683/1838, л. 277.

<sup>152</sup> Дело № 8118/1835, л. 1.

<sup>153</sup> Бухарестский Госархив, Валашское казначейство, Дело № 8118, л. 27—27; № 8115, л. 7, 8, 9, 17—18, 205—210, 212—215; № 8117, 8119 и 8116, все 1835 г. Задолженность доходила от 2—3 и до 6—7 миллионов лей.

<sup>154</sup> Дело № 8118/1835, л. 237.

в январе издало султанский фирман для ускорения уплаты оставшейся задолженности <sup>155</sup>.

Кто были торговцы? Большинство их в упомянутых портах были *турки*, а в Свиштове главным образом болгары, греки, румыны и сербы. Здесь были Николае Ценович, Петру Дамианович, Хаджи Теодор, Панаит Хаджи Петру, Ивашку Тэбэкару, Стоян Куйюмджи (староста серебрянников), Николае Абаджиу, Николча Ангелу, Нику и Костя Табакович, Неделча Алтынович, Атанасе и Алекса Дамианоглу, Панаиот Христович, Данко Габровалиу (из Габрова) и многие другие <sup>156</sup>. Постепенно торговцы укрепляют свое положение; с общественной точки зрения процесс обогащения отражается в постоянном выдвигании некоторых богатых горожан, к которым переходило руководство местными делами. Они берут на себя инициативу либо оказывают поддержку различным культурным начинаниям.

На румынских пристанях продажа соли производилась желающим и непосредственно, минуя цепь чиновников, имевшихся в центрах на правом берегу; покупателями были купцы и жители соседних с портами местностей, бравшие соль для своих личных нужд <sup>157</sup>.

«Многие жители сел из Турции, расположенных вблизи Туртукай, — говорится в донесении из Олтеницы от 8 августа 1838 г., — приходят в этот порт с просьбой продать им за наличные деньги соль в небольших количествах — от пятисот до тысячи ока, необходимую им для засолки рыбы и других нужд, а также даже туртукайские купцы-турки, говоря, что они люди бедные и не могут заключать договоры на крупные суммы с государственными чиновниками, так как не такой это город, чтобы можно было вести большую торговлю, а сколько им нужно, можно купить в порту». Казначейство из Бухареста дало надлежащее разрешение по цене 32 лея за сто ока; за отрезок времени от 12 мая по 11 ноября было продано в Силистру 90 463 ока различным мелким торговцам и оптовику Балдорида, взявшему 72 161 ока, т.е. 80% всего проданного в Кэлэраше количества в течение упомянутого отрезка времени <sup>158</sup>. И на других пристанях удовлетворялись местные нужды; так, в Олтенице было продано «на месте» нескольким туркам из Баварджика и Туртукай 28 550 ока <sup>159</sup>.

<sup>155</sup> M. Guboglu, *Catalog*. № 2736; ср. № 2703, 2719, 2759, 2794.

<sup>156</sup> Дело № 8118/1835, л. 25—28 и 199—139.

<sup>157</sup> Прошение силистрийского купца Искова Мидиния от 24 мая 1834 г. Бухарестский госархив, Валашское казначейство, дело № 4229—1833, л. 126.

<sup>158</sup> Дело № 5683/1833, л. 3 (в том же фонде).

<sup>159</sup> Дело № 4728/1834, л. 38—39, см. и дело № 4929/1833, л. 121—122, дело № 5638/1834, л. 287.

Впрочем, во все румынские порты являлись купцы за покупкой соли непосредственно, без программирования чиновниками с правого берега Дуная. Георге Вулпе и Георге Лепадат «от Кладоштице» (Кладова) 20 февраля 1834 г. погрузили в Чернеце 48 000 ока соли; месяц спустя Текел Ага из Ада Кале там же просит 20 000; в июле приходит Ион Дома, в августе — Никола и Демашиевич, а в сентябре — Думитру Караланча, все четверо из «Семендра» (Смедерево)<sup>160</sup>. Из Галаца было отправлено на пристань «Праховы» (Праова) 420 500 ока за счет «кира Иона Павловича»<sup>161</sup>. В Видине работает Моле Мехмет Хазнатароглу, погрузивший в Чернеце 703 240 ока<sup>162</sup>, в Зимниче — 1 050 425 ока<sup>163</sup> и в Джурджу — 554 170 ока<sup>164</sup>; последнее количество было перевезено на каяках «Мисы Анастасиу», перевозное предприятие которого развилось на Дунае также в связи с экспортом соли. И Свиштов имел своего крупного импортера — Атанасия Иконому, который в 1834 г. доставил из Зимничи 1 015 355 ока, что составляет 20% всего экспорта из этого порта; далеко позади него стоял Хаджи Абдула, поставивший 211 975 ока<sup>165</sup>. *Торговля валашской солью в своем развитии охватила тысячи торговцев из всех южнодунайских областей, которые из года в год снабжались либо через валацких чиновников, находящихся на правом берегу Дуная, либо со складов крупных оптовиков, а то и непосредственно из румынских портов.* Эта торговля послужила основанием для нескольких крупных состояний и содействовала накоплению ачительных капиталов; она иллюстрирует формирование торгового капитала — «первичной формы капитала»<sup>166</sup>, явившегося в период распада феодальных производственных отношений предпосылкой появления нового, капиталистического способа производства.

Из зоны Дуная соль затем шла дальше в города и села Болгарии и Сербии. Ф. Канитц встречал в «Габровнице», даже во второй половине прошлого века, большие телеги, запряженные буйволами, которые шли груженые из Лома, где находились склады валашской соли, а в Эски Джуманя тот же путешественник находит много крупных и мелких торговцев румынской солью. Со всеми накладными расходами

<sup>160</sup> Дело № 4721/1834, л. 1.

<sup>161</sup> Дело № 4723/1834, л. 3, 4.

<sup>162</sup> Дело № 4721 /1834, л. 1.

<sup>163</sup> Дело № 4724/1834, л. 19.

<sup>164</sup> Дело № 2729/1834, л. 1. В Видине имелись и более мелкие торговцы, посылавшие за солью в Олтеницу; см. дело № 4728/1834, л. 6—8 и № 4724/1834, л. 19.

<sup>165</sup> Дело № 4724/1834, л. 19. И в Русе имелись «импортеры», снабжавшиеся непосредственно из Олтеницы; см. дело № 4728, л. 30—31.

<sup>166</sup> В. И. Ленин, *Соч.*, т. 1, Госполитиздат, Москва, 1950, стр. 445; Карл Маркс, *Капитал*, т. I, Москва, Госполитиздат, 1949, стр. 719, 721, 630—631.

на пошлину и перевозку румынская соль, — добавляет Канитц, — продается на Балканах дешевле, чем привезенная из Австрии <sup>167</sup>.

Перевозка по Дунаю осуществлялась на судах, которые грузились непосредственно из портовых складов; портовые власти строго следили за тем, чтобы складские помещения постоянно хорошо содержались <sup>168</sup>. Они были значительных размеров; олтеницкие вмещали до 7 000 000 ока, причем оставшиеся в конце года количества использовались при возобновлении экспортных операций следующей весной, пока начиналось новое поступление соли с копей <sup>169</sup>. У пристани швартовались суда самых разнообразных типов — бригантины, грузовые баркасы, плоскодонки, корабли, лодки, весьма различного тоннажа — от 7 000—8 000 и до 110 000 ока <sup>170</sup>. Темпы таких перевозок были весьма напряженными; около 1 000 судов, груженных солью, бороздили воды Дуная в 1834 г., связывая порты обоих берегов от Галаца и почти до столицы Сербии <sup>171</sup>. В среднем, считая обычный период навигации от мая до октября, в месяц приходило 150 судов, т.е. по 5 в день, и это за одной лишь солью, которую отправляли из Валахии на Балканский полуостров. Конечно, менее значительные операции имели место и в другие месяцы года, а не только в мае-октябре, когда они были интенсивны до максимума. Во всяком случае все перевозки как по Дунаю, так и внутри страны, связанные со снабжением пристаней, прекращались в декабре и возобновлялись в начале апреля. «Реизы» (капитаны судов) происходили из тех же городов, куда отвозили товары: Белград, Текия, Ада Кале, Кладова, Фетислам, Видин, Лом, Свиштов, Русе, Туртукая, Силистра, Брэила, Галац и т.д. Большинство капитанов (реизов) были турки; затем шли греки, реже болгары, сербы и румыны. *Средства к существованию, и довольно крупные заработки сотен «реизов» и моряков были связаны с той же торговлей солью румынских государств со странами на юг от Дуная.*

<sup>167</sup> F. Kanitz, *La Bulgarie danubienne et le Balkan*, Париж, 1882, стр. 103, 329, 514—515. Исследование о том, каким образом румынскую соль перевозили из городов правого берега Дуная и продавали в различные центры Балканского полуострова и как далеко распространялась зона распределения этой соли, выходит за рамки настоящей статьи и может быть сделано лишь на основе болгарских, оттоманских и сербских архивов.

<sup>168</sup> См. постановление от 2 июня 1837 г. в деле № 8124/1835, л. 738; ср. л. 543—544 и 80.

<sup>169</sup> Дело № 5683/1838, л. 237. В Олтенице на конец 1838 г. остаток равнялся 4974 645 ока.

<sup>170</sup> Дело № 4723/1834, л. 5—6 и дело № 5682/1838, л. 94, 112, 105 и 106.

<sup>171</sup> По нашим подсчетам общее количество вывезенной в 1834 г. соли равняется 44 190 218 ока (см. сводную таблицу № 1) при средней нагрузке примерно 45 000 ока на одно судно.

Но не менее сложным представлялся этот экспорт и для жителей румынских сел. Из Окнеле Марь, Слэника и Телеги и из постоянных складов в Филипешти, Плоешти и Бэнясе<sup>172</sup> было свезено в дунайские порты 34 816 730 ока, а другие 8 670 621 ока были доставлены в Галац из Тыргу Окна и из складов в Текуче и Аджуде. Только в одном 1834 г. для перевозки таких количеств потребовалось 30 000 больших возов для Мунтении и 9 826 — для Молдовы<sup>173</sup>, причем средний груз, приходившийся на одну подводу, равнялся 1 158 ока для Мунтении и 880 для Молдовы. Плата за доставку почти во все порты была 6 лей за 100 ока<sup>174</sup>.

Перевозки производились, кроме профессиональных возчиков, главным образом сельскими жителями — крестьянами земледельцами, которые вырученными от перевозки деньгами покрывали часть своих обязательств перед государством и своими помещиками<sup>175</sup>. Но необходимо в то же время подчеркнуть и крайне эксплуататорский характер подобных перевозок, так как для них крестьян иногда забирали силой, даже с применением физического воздействия, а чаще путем денежного принуждения в форме займа, который должен был быть отработан перевозками с копей на Дунай. Так, например, приказ господаря от 30 июля 1813 г., рекомендуя уездным префектам убеждать жителей выехать с подводами, «но без насилия и избиения», а по доброй воле на основании установленных тарифов<sup>176</sup>, представляет собой косвенное признание «сильных» методов, которыми пользовались власти. Многозначительным представляется одно официальное молдавское донесение середины девятнадцатого века, в котором сказано: «Lorsque les paysans manquaient d'argent, les fermiers des salines faisaient distribuer dans les caisses communales par les agents du gouvernement, certaines sommes dont ils exigeaient ensuite le paiement en

<sup>172</sup> Бэняский склад был расположен в селе того же наименования (Бэняса) на востоке от озера Пиетрила, недалеко от Джурджу. Необходимо отметить, что пункт «ла Слон» (см. выше стр. 424), с постоянным складом соли еще со времен раннего феодализма, находился на берегу озера Гряка, недалеко от села Бэняса. Следует подчеркнуть это постоянство нахождения на одном и том же месте складов соли в течение всего средневековья; подобное же постоянство перевозок по одним и тем дорогам закрепило в топонимии «соляные дороги».

<sup>173</sup> См. сводную таблицу № 2.

<sup>174</sup> Сведения были взяты из дел за 1834 г. См. примечание 145. В 1836—1837 гг. были установлены новые тарифные ставки, несколько сниженные; см. I. Sojosaçi, *Documente*, № 463.

<sup>175</sup> Одним из таких обязательств был в Валахии налог в 33 пиастра (лей) в год; см. Hurguzaki, *Documente*, XVII, стр. 274. В Молдове налог равнялся 30 леям в 1834, 1836 и 1838 гг., а в 1837 г. 36 леям; см. Hurguzaki, *Documente*, приложение 1, т. V, стр. 198, 239, 548, 596, 636, 642. Деньгами, вырученными от одной перевозки, можно было уплатить налог.

<sup>176</sup> Академия РНР, *Рум. рук.*, № 267, л. 74.

transports... Les remboursements avaient toujours lieu lorsque les paysans se trouvaient dans l'impossibilité de remplir les stipulations de ce contrat imposé par la force »<sup>177</sup>.



Весьма подробные сведения, в частности по Сербии<sup>178</sup>, имеются за 1836 г. В 1835 г. правительство Молдовы добилось фирмана для свободной перевозки соли вверх по Дунаю, выше Брэилы, но с сохранением запрещения разгружать соль на валашских пристанях. Султанским приказом от 8—17 июля 1834 г., данным видинскому коменданту визиру Хусейну паше, силистрийскому бейлербею Мирва Саиду паше и всем дунайским кадиям, уточняется все же, что порты от Силистры до Кладовы будут снабжаться солью только лишь из Валахии, «как это ведется со стародавних времен»<sup>179</sup>. Правда, бухарестское правительство пыталось было воспрепятствовать даже и транзитной перевозке молдавской соли в Сербию, задерживая суда, идущие из Галаца; но, в конце концов, оно было вынуждено отменить принятые меры, противоречащие свободному судоходству по Дунаю, установленному международными договорами<sup>180</sup>.

В результате предварительных переговоров между князем Милошем и Александром Гикой, состоявшихся 20—22 ноября 1835 г. в Пояне у Калафата, были установлены поставки Валахии для Сербии. 14 января 1836 г. было подписано соглашение об экспорте в 1836 г. и 1837 г. 30 000 000 ока соли, в два этапа по 15 000 000 каждый год. Дается сверх этого 10% «на обычную россыпку при погрузке в каяки». Поставки должны производиться регулярно между 1 марта и 30 октября, «когда идет навигация по судоходному Дунаю», по 4 миллиона из Олтеницы, Джурджу и Зимнич, полтора миллиона из Бекета, один из Калафата и полмиллиона из Чернеца, причем перевозки должны произ-

<sup>177</sup> N. Bălcescu, *Question économique des principautés danubiennes*, в «Opere», 1/2 изд. Г. Зане, Бухарест, 1940, стр. 45.

<sup>178</sup> В воспоминаниях Кошфора из Бухареста, датированных 16 августа 1835 г., общее количество проданной из Валахии в Турцию соли определяется в 7 059 700 ока (по цене в 26 пиастров за сто ока), но без указания периода времени, в который это количество соли было продано. Дальше добавлено, что в тот момент, вследствие «демпинга» предыдущих лет экспорт снизился, так как ранее вывезенные количества еще не могли быть использованы; см. Hurmuzaki, *Documente*, т. XVII, стр. 511 и 520.

<sup>179</sup> I. C. Filitti, *Domniile române...*, стр. 569—570 и 202—203; M. Guboglu, *Catalog*, № 2676.

<sup>180</sup> I. C. Filitti, *ук. соч.*, стр. 35, 204—207. См. письмо валашского господаря Александра Гики в Высокую Порту от 1 декабря 1835 г. См. M. Guboglu, *Arhiva orientală — Sofia*, «Revista arhivelor», 1959, № 2, стр. 211.



водиться таким образом, чтобы на октябрь не осталось бы больше, чем 2 000 000 <sup>181</sup>; до доставки необходимых количеств в установленные порты будет начата погрузка судов в Брэиле, Пиуе Пьетрий, Олтенице и Бекете, где имеются резервы. Плата будет производиться по мере выполнения предусмотренных договорами поставок, с задатками в 25 000 червонцев. Причиненные опозданием убытки падают на румынские власти, которые обязаны принять необходимые меры для наилучшей организации поставок, включая постройку в портах соответствующих амбаров, чтобы можно было бы грузиться день и ночь. Предназначенную для Сербии соль нельзя подвергать секвестру за старые долги южнодунайских торговцев солью; в случае войны перевозки приостанавливаются без каких-либо претензий одной стороны к другой. А в конце — весьма важное условие — сербскому правительству предоставляется монопольное право экспорта соли на правый берег Дуная. Со стороны Сербии договор был подписан Н. Германом, Мишей Анастасиевичем и С. Симичем <sup>182</sup>.

Спустя три дня — 17 января — постановлением № 38 валашский господарь поручил казначейскому департаменту «немедленно начать работу во исполнение условий договора» <sup>183</sup>, а государственный секретариат иностранных дел в Бухаресте получил подтверждение данного Сербии монопольного права на продажу румынской соли на правом берегу Дуная. Все же, в целях ликвидации оставшейся задолженности, различным контрактантам был дан последний срок — до сентября 1836 г. — для погрузки соли, но только на основании новых удостоверений, выданных управлением по экспорту этого продукта. Лишь только начали производиться поставки, как стороны пришли к соглашению об увеличении первоначального количества на 10 000 000 ока, доведя общее количество к поставке в 1836 и 1837 гг. 40 000 000 ока. Поставки были выполнены в соответствии с условиями договора. Имевшиеся в портах амбары были отремонтированы и выстроены новые. Разумеется, что не отсутствовали и протесты, что представляется естественным для договора в таком масштабе <sup>184</sup>.

---

<sup>181</sup> С оговоркой, что в течение июля и августа вывоз будет производиться «сколько удастся», по причине полевых работ.

<sup>182</sup> Текст договора опубликован в I. Cojocaru, *Documente*, № 447, стр. 617 — 620, ср. и 626—627. Черновики в Бухарестском Госархиве, Валашское казначейство, дело № 8124, 1835, л. 6—11, 13—17, 18—19, 27, 43—46, 49; см. I. C. Filitti, *ук. соч.*, стр. 204—206.

<sup>183</sup> Дело № 8124, 1835, ук. фонд, л. 52.

<sup>184</sup> I. Cojocaru, *Documente*, № 449, 455, 451, 452, 450 и 458; I. C. Filitti, *ук. соч.*, стр. 205.

Баланс первого года был заключен 21 декабря 1836 г. с количеством экспорта в 22 071 918 ока (с превышением предусмотренных договором на 71 918 ока)<sup>185</sup>. Поставки продолжались и в 1837 г.<sup>186</sup>, к концу же года контракт возобновлен не был<sup>187</sup>.

Соль в Сербию отправляла и Молдова. Желая узнать положение дел в соседнем государстве, валашское казначейство поручает секретарю Брэильского уезда отправиться в Галац, где «по секрету» узнать у директора карантина, «а если будет возможно, то и за его подписью», ежемесячные сведения о молдавском экспорте в Сербию и на юг от Дуная. Но секретарь был хорошо информирован, так как уже на следующий день, 28 августа, отправляет в Бухарест сводку за отрезок времени с 1 января по 26 августа 1837 г.: было погружено 4 101 398 ока в 99 каяках; из всего этого количества лишь 500 000 ока шли в Турцию, а все остальное количество — в Сербию. В сообщении добавляется, что в порту находятся 26 каяков, по 50 000 ока каждый, и что галацкие власти надеются вывезти до того, как Дунай станет, еще несколько миллионов ока соли<sup>188</sup>. Между прочим, экспорт молдавской соли продолжался и в следующие годы<sup>189</sup>.



На 1838 г. бухарестское правительство подготовило новые условия соляной концессии. Определяя годовое требование южнодунайского рынка в 15 000 000 ока, управление соляных разработок предоставляло в распоряжение концессионера это количество в Олтенице, Джурджу, Зимнице (во всех трех портах в общей сложности около 10 000 000 ока), Бекете (примерно 2 млн ока), Калафате и Чернеце (в общем 3 000 000). Все количество сдавалось в течение семи месяцев, начиная с апреля. «Покупатель экспорта» имел право установить продажную цену соли на пристани; как и прежде, в случае с Сербией, ему предоставляется монопольное право продажи, конечно, в пределах устанавливаемых для каждого года количеств. Вследствие особой значительности сделки предусмотрено, что всякого рода спорные вопросы

<sup>185</sup> Сводное донесение; см. Бухарестский Госархив, валашское казначейство, дело № 8424/1835, л. 547; количество в 22 071 918 ока включает и надбавку в 10 % на покрытие дорожных потерь.

<sup>186</sup> I. Cojocaru, *Documente*, № 491 и 507. Дополнительная часть вывоза в 10 000 000 ока в 1838 г. еще не была поставлена; см. *Analele Parlamentare ale Romniei*, т. VIII (1838), стр. 423—425.

<sup>187</sup> I. C. Filitti, *ук. соч.*, стр. 206.

<sup>188</sup> I. Cojocaru, *Documente*, № 508, 510.

<sup>189</sup> Согласно некоторым оценкам, экспорт Молдовы в Сербию в 1838—1840 гг. равнялся 7 000 000 ока в год; см. I. C. Filitti, *ук. соч.*, стр. 569. Но в 1841 г. из Галаца было поставлено лишь 3 500 000 ока (*там же*, стр. 579). Точные сведения можно будет дать лишь после обследования Ясских архивов, которые не были использованы при написании настоящей статьи.

подлежат юрисдикции исключительно румынских судебных инстанций; в случае, если арендатор иностранный подданный, он будет считаться «вышедшим из под компетенции своего консульства» и рассматриваться «как румынский подданный»<sup>190</sup>.

Вышеприведенные условия были опубликованы в ноябре 1837 г. «в газете... для сведения желающих...», а в мае 1838 г. повторены<sup>191</sup>. В установленные для торгов сроки — в первый раз на 1 декабря 1837 г. и во второй раз на 24, 28 и 31 мая 1838 г. — никто не явился, что заставило румынское правительство производить экспорт за свой собственный счет. В июле 1838 г. в Болгарию прибыли сердар Николае Кандиано и Штефан Антоноглу «для переговоров с турецкими купцами относительно соглашения о соли, которая в текущем году будет экспортироваться государством». Начальникам карантинных пунктов дано распоряжение отправлять специальной эстафетой всю корреспонденцию, получаемую от выехавших на заключение экспортных договоров делегатов<sup>192</sup>.

Таблица № 4  
Сведения об экспорте соли из Валахии в 1838 г.  
(По местоназначению)

Место- назначение	Порт погрузки					Всего экспорти- ровано
	Калафат <sup>193</sup>	Бекет	Зимнича	Джурджу	Олте- ница	
1. Сербия <sup>194</sup>	—	—	—	443 150	2 200 920	2 644 070
2. Болгария <sup>195</sup>	—	—	—	—	4 966 175	4 966 175
3. Видин	1 273 300 <sup>196</sup>	87 920	8 000	—	—	1 369 220
4. Лом + Рахова	—	888 545	—	—	—	888 545
5. Чибру	—	48 000	—	—	—	48 000
6. Никополь	—	—	355 020	—	—	355 020
7. Свиштов	—	44 500	2 581 055	360 215	—	2 985 770
8. Русе	—	—	66 005	524 600	—	590 605
9. Разные	—	19 560	—	—	—	19 560
<b>Итого</b>	<b>1 273 300</b>	<b>1 088 525</b>	<b>3 010 080</b>	<b>1 327 965</b>	<b>7 167 095</b>	<b>13 866 965</b>

<sup>190</sup> О первоначальном проекте на 20 миллионов ока см. Бухарестский Госархив, Валашское казначейство, дело № 6373/1837, л. 1—2. В договоре предусматриваются и условия для производства платежей и способы ликвидации задолженности, оставшейся по истечении двухлетнего срока аренды; см. I. C. Filitti, *ук, соч.*, стр. 206, ср. и стр. 382—383. Окончательный проект см. *Analele Parlamentare ale României*, т. VIII, (1838), стр. 123.

<sup>191</sup> Дело № 6373/1838, ук. фонд, л. 20, 179, 180.

<sup>192</sup> Дело № 5686/1838, ук. фонд.

<sup>193</sup> Чернецкий порт не вывозил в 1838 г.

<sup>194</sup> В деле не указаны местности, откуда производился вывоз.

<sup>195</sup> Все количество было вывезено в города Видин, Чибру, Рахова, Никополь, Свиштов, Русе, Туртукая, Силистра; в книгах олтеницкого чиновника не указано распределение по каждому порту.

<sup>196</sup> Включает и 1 156 800 ока, отправленные Мехмету Эффенди Хаснатароглу в отрезок времени от 24 октября до 5 декабря 1838 г., и 116 500 ока в счет валашского чиновника в Видине.

Первые поставки начались в августе. До декабря, т.е. за четыре с половиной месяца, Валахия вывезла 13 866 965 ока (17 694 247 кг). На первом месте стояла Олтеница с 7 167 095 ока, за ней следовала Зимнича с 3 010 080, затем Джурджу, Калафат и Бекет. Олтеница, бывшая в XVIII в. обыкновенным селом, благодаря напряженной работе своего порта, в особенности после 1834 г., в результате операций с солью, становится городом.

Как и в предыдущие годы соль направлялась в наиболее крупные города на правом берегу Дуная.

По странам экспорт распределялся следующим образом: Сербия импортировала 2 664 070 ока, Болгария — 11 222 895<sup>197</sup>. Продажа и учет производились по нормам прошлых лет. Наряду с турками возрастает число купцов греков, болгар, румын и сербов; в Зимниче они представляют собой большинство из всех грузивших соль<sup>198</sup>. Среди них выделяются и более крупные импортеры, как «кир Константин Станчиоглу от Сфиштов», который погрузил в Олтенице в октябре м-це 173 000 ока, Христаке Хаджи Денку — 152 000, Атанасие Иконому с договором на 500 000, ввезший в ноябре первую часть в 155 260 ока<sup>199</sup>, также из Олтеницы. В октябре же «достопочтенный Мехемет Эффенди Хазнатароглу из Видина»<sup>200</sup> заключает на 1839 г. значительный договор на 15 000 000 ока (+ 10% прибыли), распределенные для погрузки в следующих пунктах: Олтеница (5 000 000), Зимнича (3 000 000), Джурджу и Бекет (по 2 000 000), Калафат и Чернец (по 1 500 000) по цене в один новый икусар за сто ока с уплатой на пристани. Согласно ст. 4 договора Мехемет Эффенди получил, начиная от даты подписания договора, исключительное право продажи соли на юг от Дуная. В договоре также оговаривается ритм поставок, условия уплаты, правила ликвидации взаимных дебитов и пр.<sup>201</sup>. Уже 24 октября началась погрузка сначала в Калафате, затем и в Бекете, за счет видинского импортера. Таким образом, еще до конца 1838 г. он получил 1 675 325 ока<sup>202</sup>. Его посланные посетили и Чернец с целью установления количества

<sup>197</sup> Сведения для сводной таблицы были взяты из Бухарестского Госархива, Валашское казначейство, 1838 г., дело № 5687 (Чернец), 5685 (Калафат), 5691 (Бекет), 5688 (Зимнича), 5682 (Джурджу) и 5683 (Олтеница).

<sup>198</sup> Дело № 5688, л. 214—216.

<sup>199</sup> Дело № 5683, л. 145, 270, 271.

<sup>200</sup> Он же ввозил соль и в 1834 г., см. выше стр. 453.

<sup>201</sup> Академия РНР, *Рум. рук.*, 1033, л. 28—31. См. также и дело № 5684/1838, Бухарестский Госархив, Казначейство, л. 34.

<sup>202</sup> Из Калафата 1 156 800 ока и из Бекета 518 525; см. Бухарестский Госархив, Валашское казначейство, дело № 5686/1838, л. 229—232, 249 и дело № 5691/1838, л. 113.

и качества соли, находящейся в тамошних портовых амбарах <sup>203</sup>.

В 1839 г. правительство Молдовы разработало проект экспорта общего количества в 22 000 000 ока, из которых пять с половиной миллионов через Галац, а остальные через порты соседнего княжества. Но поскольку стороны не пришли к какому-либо соглашению, продажа производилась раздельно, как и раньше <sup>204</sup>. В течение 1841—1844 гг. Валахия вывезла 87 170 217 ока (111 229 197 кг). Резкий подъем в 1844 г. довел среднюю годовых поставок до шестнадцати с половиной миллионов, предусмотренную экспортным договором на 1840—1846 гг <sup>205</sup>. Во главе портов стала Олтеница с 5 580 680 ока, чем объясняется и развитие этого центра в середине прошлого века; за ним следует Бекет и Вырчиорова, причем сохранившиеся книги не дают уточнения распределения между Болгарией и Сербией вывезенного из Валахии количества соли — свыше 110 000 тонн <sup>206</sup>. Вывоз продолжался и в следующие годы. В 1847 г. сербский полковник Алекса Симич и майор Миша Анастасиевич заключают с румынским правительством экспортный договор сроком на 9 лет с ежегодным вывозом соли в количестве 16 000 000 ока <sup>207</sup>.

Таблица № 5

Сведения об экспорте соли из Валахии за 1841—1844 гг. <sup>208</sup>

	Г о д				Всего за 1841—1844
	1841'	1842	1843	1844	
Всего экспортировано	14 259 610	14 925 475	16 474 140	41 510 992	87 170 217
<i>Распределение экспорта по портам</i>					
Вырчиорова	794 060	972 190	2 006 615	3 815 565	7 588 430
Извоареле	—	—	858 355	1 788 832	2 647 187
Бекет	2 462 910	1 964 675	4 373 690	8 975 125	17 776 400
Джурджу	—	—	—	2 577 520	2 577 520
Олтеница	11 002 640	11 988 610	9 235 480	24 353 950	56 580 680

<sup>203</sup> Дело № 5687 (упомянутый выше фонд), л. 21. Из Чернеца вывоз соли не производился в 1838 г.; там же, л. 27, 38, 39—40, 18.

<sup>204</sup> I. C. Filitti, *ук. соч.*, стр. 206—207.

<sup>205</sup> На период между 1840—1846 гг. бухарестское правительство ограничило годовой вывоз 16 с половиной миллионами ока в год; см. I. C. Filitti, *ук. соч.*, стр. 207. По сводке 1844 г. экспорт соли из Валахии в 1840 г. равнялся лишь 1 182 505 ока, а за период 1840—1844 гг. — 88 262 732 ока, цифра весьма близкая к итогу вышеприведенной таблицы № 4. Бухар. Госархив, Валашское казначейство, дело № 1624/1843. л. 1479.

<sup>206</sup> Только в донесениях из Вырчиоровы указываются имена купцов; дело № 2263/1841, л. 380, 487, 610, 722 (указ. фонд).

<sup>207</sup> I. C. Filitti, *ук. соч.*, стр. 366 и 382.

<sup>208</sup> Таблица № 5 была составлена на основании данных, содержащихся в делах № 2263/1841 и № 1624/1843, в Бухар. Госархиве, Валаш. казн.

В течение всего этого времени турецкое правительство содействовало доставке соли на юг от Дуная. При увеличении таможенной пошлины в 1843 г. с 3% до 5% количества соли, вывозившиеся ранее без оплаты пошлиной, остались и в дальнейшем освобожденными, «как это было установлено с давних времен». Принятая мера показывает, какое большое значение придавали турецкие власти этому продукту первой необходимости, вывозимому с севера от Дуная<sup>209</sup>.



События 1848 г. отмечают начало новой истории Румынии. Революции в Валахии, Трансильвании и Молдове открывают борьбу за создание независимого и единого румынского государства. Поэтому 1848 годом во всех трех государствах политически заканчивается тысячелетний период феодального строя. Мы попытались проследить, как развивалась торговля солью на Балканском полуострове в течение всего этого длительного периода, начиная еще с IX в., с момента возникновения первых государственных феодальных формаций на территории Румынии. Приносивший значительные доходы экспорт соли основывался на труде рабочих и крестьян из сел, прикрепленных к соляным копиям. Распространяясь из крупных центров Балканского полуострова, торговля солью охватила все, вплоть до самых незначительных, поселения, составив сплошную сеть, покрывающую южно-дунайские территории от Белграда до Константинополя и от Добруджи до Македонии. Общее представление об этой сложной деятельности с ее социальными последствиями возможно будет установить лишь после изучения обширных болгарских, сербских, турецких и греческих архивов. Благодаря «соляным дорогам», постоянно связывавшим оба берега Дуная, в обе стороны постоянно шло движение на юг и на север<sup>210</sup>; непрестанно люди перевозили и другие товары и продукты, а вместе с ними переходили с одной стороны на другую и мастера искусства и письма, налаживая связи и в этих областях. С такой точки зрения торговля солью румынских государств представляла собой устойчивый фактор связи между народами Балканского полуострова.

<sup>209</sup> M. Guboglu, *Catalog*, № 2772; I. C. Filitti, *ук. соч.*, стр. 371—374.

<sup>210</sup> В двух подготовляемых в настоящее время к печати работах — *Teșdăturile din Țările Balcanice în Țările Românești, în evul mediu și Breasla chiprovicenilor în Țara Românească în secolele XVII—XIX* — мы исследуем некоторые вопросы, связанные с обратным движением товаров, т.е. с Балканского полуострова в румынские государства.

## RUMÄNIEN UND DIE FRAGE DER BULGARISCHEN FREISCHAREN (1866—1868)

von VLADIMIR DICULESCU

Parallel mit dem Zerfall der feudalen Produktionsverhältnisse verstärkt sich im Ottomanischen Reich im 6. und 7. Jahrzehnt des 19. Jh. der Kampf der Völker um ihre nationale Befreiung. Die Serben versuchen, die letzten türkischen Garnisonen aus dem Gebiete ihres Staates zu vertreiben, die Griechen, die außerhalb des 1830—1832 gegründeten Königreichs geblieben waren, kämpfen um die Ausdehnung der Grenzen ihres neuen Staates; die Bulgaren machen Anstrengungen, einen Nationalstaat zu gründen.

Das bulgarische Bürgertum hatte nach dem Krimkrieg eine Entwicklungsstufe erreicht, auf der die türkische Feudalherrschaft es immer stärker daran hinderte auf dem Weg der kapitalistischen Entwicklung vorwärts zu schreiten.

Innerhalb dieser verschiedenartigen wirtschaftlichen und politischen Interessen und Bestrebungen war die Lage der Bulgaren um so komplizierter, als sie an zwei Fronten kämpfen mußten: einerseits gegen die Herrschaft des Ottomanischen Reiches, andererseits gegen den griechischen Klerus hinsichtlich der Schaffung einer nationalen Kirche. Deshalb verstärken sich die Bemühungen um die Gründung eines Nationalstaates und nehmen neue Formen an. In den Jahren vor dem Krieg und unmittelbar nachher hatte die bulgarische Befreiungsbewegung ein eher spontanes Gepräge; der Kampf wurde von bürgerlichen Kräften

unorganisiert geführt. Während des Krieges war es George S. Rakowski der es einigermaßen versuchte, die Volksmassen für die revolutionäre Bewegung zu gewinnen. Die historischen Bedingungen jener Zeit hatten jedoch zur Folge, daß seine Versuche keine konkreten Formen annehmen konnten. Um eine Erfahrung war man jedoch reicher geworden. Rakowski gelangte zur Überzeugung, daß für die Reorganisation der Bewegung eine zentrale Führung notwendig war und er erkannte die Rolle, die den inländischen Geheimkomitees zukommt. Gleichzeitig gab er sich davon Rechenschaft, daß ein reguläres revolutionäres bulgarisches Heer geschaffen werden muß, „dem sich auch die Haidukenfreischaren anschließen sollen, die bisher ohne gegenseitige Verbindung gekämpft hatten“<sup>1</sup>.

Die Organisation eines Heeres außerhalb der Landesgrenzen, das gegen die Truppen der Unterdrücker kämpfen, nachher ins Land kommen und das ganze Volk für den Kampf gewinnen, oder die Bildung von Freischaren im Ausland, die ins Land eindringen und die Volksmassen zum Aufstand aufrufen sollten, — all dies waren Ideen, die in der Mitte des 19. Jh. auch die ungarischen, polnischen oder rumänischen Revolutionäre verwirklichen wollten. Als Rakowski sich nach dem Krimkrieg im Jahre 1856 in Nowisad in Österreich aufhielt, wo er die Zeitung „Българска дневница“ herausgab, bemühte er sich zugunsten der revolutionären Zusammenarbeit mit den Serben und Griechen, um die anti-ottomanische nationale Kampffront zu stärken. „Die Bulgaren und Serben haben die gleichen nationalen Interessen“, schrieb er in einer damals in Serbien gedruckten Bekanntmachung<sup>2</sup>. Wegen verschwörerischer Tätigkeit verfolgt und des Landes verwiesen, kehrte er im Jahre 1860 — nach verschiedenen Wanderfahrten durch Rumänien und Rußland — zurück und ließ sich in Belgrad nieder. Die gespannten Beziehungen zwischen Serbien und der Türkei schienen einen bewaffneten Konflikt anzukündigen. Zur Verteidigung der gemeinsamen Interessen beantragte er die Schaffung revolutionärer Geheimkomitees in einer Reihe bulgarischer Städte. Im Frühjahr des Jahres 1861 wurde in Belgrad die „bulgarische Legion“ gegründet, die nahezu 600 junge Bulgaren zählte, von denen die meisten in den folgenden Jahren eine bedeutende Rolle in der politischen Emigrationstätigkeit spielen sollten (W. Lewski, Iwan Kassabow, Stefan Karadsha u. a.).

<sup>1</sup> D. Kossew, *Новая история Болгарии*, Moskau, 1952, S. 281—282.

<sup>2</sup> D. Kossew, *Лекции по нова българска история*, Sofia, 1951, S. 165.



Im Jahre 1862 besserten sich jedoch die serbisch-türkischen Beziehungen, so daß die serbische Regierung die Legion auflöste und der Mittelpunkt der revolutionären Tätigkeit nach Rumänien verlegt wurde<sup>3</sup>.

Hier ließen sich die jungen Revolutionäre in verschiedenen Städten und Dörfern nieder, wo sie Bekannte und Beziehungen hatten. Gleich von Anfang an wurden ihre Aktionen vom rumänischen Volk mit Sympathie betrachtet, und die rumänische Regierung und gewisse politische Kreise sahen in ihnen einen Faktor, der zur Schwächung des Türkenreiches beitragen konnte, was auch den Interessen der rumänischen Bourgeoisie entsprach. Bezüglich der Haltung des rumänischen Volkes der bulgarischen revolutionären Bewegung gegenüber ist wohl das Zeugnis Iwan Kassabows, eines der Emigrantenführer, bezeichnend: „Hier in Rumänien fühlte ich mich sehr ruhig und in jeder Hinsicht zufrieden. Der Freiheitsgeist der Rumänen und der hier lebenden Bulgaren machte auf mich einen starken Eindruck. Weder der rumänische Staat noch die Rumänen im allgemeinen bereiteten der bulgarischen Gemeinschaft bezüglich der nationalen Entwicklung auf dem Gebiete des Schulwesens oder der revolutionären Tätigkeit irgendwelche Schwierigkeiten. Jeder kann im Einklang mit seinen nationalen Interessen... frei denken und handeln, wie er es für richtig hält. Gleich war es mir klar, daß hier der freieste Platz für die politischen und revolutionären Aktionen der Kämpfer für die bulgarische Wiedergeburt sei. Ich begann zu verstehen, daß man von hier aus große Taten für die Befreiung Bulgariens unternehmen könne“<sup>4</sup>.



Innerhalb der bulgarischen Emigration in Rumänien bildeten sich mit der Zeit drei politische Strömungen. Das Komitee der Alten oder der „Wohltätigkeitsvereine“, das geheime bulgarische Zentralkomitee und die von Rakowski geleitete revolutionäre Gruppe der jungen Bul-

<sup>3</sup> Ein Mitglied dieser Gruppe schrieb damals: „Eines Tages rief uns Rakowski zu sich, sagte uns, wir sollten uns nach Rumänien begeben und gab jedem von uns zwei Dukaten. Dort (in der Belgrader Legion, — *Anm. d. Übers.*) gab es fast 500—600 Bulgaren. Die Gesündesten und Kräftigsten schickte er nach Rumänien; den anderen, die er sehr gut kannte, bedeutete er, sie mögen gehen, wohin es ihnen beliebt. Nicht jeder Mensch ist jeder Arbeit fähig, sagte er; für die Arbeit, die uns geblieben ist und die wir in Rumänien organisieren werden, brauchen wir reife und gestählte Menschen. Und tatsächlich machten sich nahezu 200 Mann auf den Weg nach Rumänien, einer tüchtiger als der andere. Nach uns machte sich auch Rakowski auf den Weg“. Christu Makedonski, *Записки* ..., Sofia, 1896, S. 33.

<sup>4</sup> Iwan Kassabow, *Моите спомени от възраждането на България*, Sofia, 1905, S. 41—42.

garen — jede dieser Gruppen sah einen anderen Weg zur Befreiung vom türkischen Joch. Das Komitee der Alten rechnete nur auf die Hilfe Rußlands und demzufolge war seine ganze Tätigkeit an die Außenpolitik der Zarenregierung gebunden. Die um Rakowski gescharten Revolutionäre sahen in der national-demokratischen Revolution den Weg der Befreiung<sup>5</sup>. Die dritte Strömung vertrat den Standpunkt der Zusammenarbeit und neigte zur Herbeiführung eines Kompromisses mit der türkischen Regierung. In den Jahren 1866—1868 waren alle diese Strömungen gleichzeitig und parallel tätig<sup>6</sup>.

Nach einer Zeit verringerter Tätigkeit, ist das Jahr 1866 für alle bulgarischen Emigranten ein Anlaß zu konkreten Taten, zufolge der Absetzung des Fürsten Cuza, des Ausbruchs des Aufstandes in Kreta und des Druckes Serbiens, um die türkischen Garnisonen zu evakuieren. In Rumänien hatte am 11. Februar ein Staatsstreich stattgefunden, der zur Absetzung Cuzas durch die zwischen der Bourgeoisie und den Großgrundbesitzern geschlossene Koalition („monstruoasa coalitiie“) führte. Dadurch verwickelte sich die Lage Rumäniens. Es war zu erwarten, daß die Türkei, welche die Vereinigung der Fürstentümer nur auf die Zeit der Herrschaft Cuzas zugelassen hatte, versuchen werde die Rückkehr zur alten Sachlage durchzusetzen. Mitte März liefen sogar Gerüchte um, daß die Pforte ein Heer von etwa 20 000 Mann an die Donau und andere 10 000 Mann nach Schumla geschickt hätte<sup>7</sup>. Angesichts dieser Lage führen Vertreter der rumänischen Amtskreise wahrscheinlich in der ersten Märzhälfte, Verhandlungen mit Rakowski, dem Führer des revolutionären bulgarischen Flügels im Hinblick auf die Vorbereitung eines Aufstands in Bulgarien. Der Plan, im Falle der Absetzung Cuzas eine solche Bewegung auszulösen, dürfte schon im Jahre 1865 vorgeschlagen worden sein<sup>8</sup>. Die Verhandlungen führten jedoch zu keinem Ergebnis. Die Ursachen, die ihre Unterbrechung bestimmten, sind nicht bekannt. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, daß

<sup>5</sup> Vgl. auch K. Marx, Fr. Engels, Einleitung zu *Opere*, 10. Bd., S. XIX (rum. Ausg.).

<sup>6</sup> In der vorliegenden Untersuchung wird auf die Frage der Ideologie dieser Gruppierungen nicht eingegangen. Dazu siehe: Al. Burmow, *Български революционен централен комитет*, Sofia, 1943, sowie den Aufsatz desselben Verfassers: *Така централен български комитет*, in *Исторически преглед*, 2/1960. Wir beschränken uns auf die Darstellung der Haltung Rumäniens gegenüber der ganzen politischen Tätigkeit der bulgarischen Emigration.

<sup>7</sup> C. N. Velichi, *Relațiile româno-turce în perioada februarie—iulie 1866. Inițiativa Comitetului Central secret bulgar de la București și legăturile acestuia cu guvernul român*, in „*Studii*“, 1963, 4, S. 847.

<sup>8</sup> Iwan Kassabow, a.a.O., S. 47.

die Aussicht der Bildung eines bewaffneten Korps von 5 000 fremden (bulgarischen) Freiwilligen<sup>9</sup>, unter Führung eines allgemein bekannten Anhängers der Regierungsgrundsätze Cuzas, wie es Rakowski war, in der damaligen unsicheren inneren Lage danach angetan war, die Gegner des gewesenen Herrschers zu beunruhigen. Da Rakowski kurze Zeit nachher einen eventuellen Übergang der türkischen Truppen ans linke Donauufer befürchtete, verließ er Bukarest.

Die Verhandlungen zwischen den rumänischen maßgebenden Stellen (durch C. A. Rosetti vertreten) und den bulgarischen Führern wurden von Iwan Kassabow wieder aufgenommen. Kassabow war gegen die Schaffung von Freiwilligenkorps. Hingegen machte er den Vorschlag, ein geheimes Zentralkomitee zu gründen, das in etwa drei Wochen einen Aufstand in Bulgarien organisieren sollte. Der Vorschlag wurde auch rumänischerseits angenommen. Ein Dokument „Sacra coalitiune între Romîni și Bulgari“ (heiliges Bündnis zwischen Rumänen und Bulgaren) wurde im Laufe des Monats April verfaßt. Rumänischerseits beteiligten sich an den Besprechungen C. Ciocîrlan, Grigore Serurie und Eugeniu Carada und bulgarischerseits Dimitrie Diamandescu<sup>10</sup>, Stefan Reapow<sup>11</sup>, die Kaufleute Iwan Adshenow und Atanas Andrejew, sowie Haralambie Searow<sup>12</sup>. Das Dokument sah die Schaffung von zwei bulgarischen Geheimkomitees vor, eines in Serbien und das andere in Bulgarien; jedes davon hatte seinerseits das Recht, Filialkomitees zu gründen. Sie verfolgten das Ziel „die Bevölkerung für eine allgemeine Revolution gegen den gemeinsamen Feind der christlichen Völker des Orients vorzubereiten“<sup>13</sup>. Die rumänische Seite behielt sich das Recht vor, Verbindungen zu anderen revolutionären slawischen und griechischen Komitees auf-

<sup>9</sup> Dies war das Kontingent von Freiwilligen, auf das sich Rakowski stützen wollte.

<sup>10</sup> Er war bulgarischer Herkunft, in Brăila geboren, hatte die Rechtsfakultät beendet, und in Berlin die Doktorwürde erlangt. Nachher war er in Rumänien Staatsanwalt, Richter und nun Advokat. Iwan Kassabow, a.a.O., S. 55.

<sup>11</sup> In Brăila geborener Bulgare, glühender Patriot. Ebd.

<sup>12</sup> Er hatte enge Beziehungen zu jener Gruppe gehabt, die die Absetzung Cuzas organisiert hatte. Nun war er Kommandant der Nachtpolizei. Ebd., S. 56.

<sup>13</sup> Der Text dieses Dokumentes ist bulgarisch und rumänisch bei Iwan Kassabow veröffentlicht, a.a.O., S. 62—64. Punkt V gibt auch die Mittel zur Erreichung des gesteckten Ziels genauer an und erwähnt unter anderem: „Gründung und Entsendung von Gruppen nach Bulgarien und insbesondere ins Balkangebirge, wenn es das rumänische und bulgarische Komitee für notwendig halten. Diese Gruppen sollen die Kräfte und Garnisonen des Feindes ständig beunruhigen; das hiesige Zentralkomitee wird mit Hilfe von Flugblättern die Bewegung und die dortigen Komitees werden dieses Werk durch alle ihnen zu Gebote stehenden Mittel unterstützen und Mannschaften aufstellen“.

zunehmen, um die revolutionäre Tätigkeit zu koordinieren. Die rumänische Seite erhielt auch die Aufgabe und Verpflichtung „Geld, Waffen, Kriegsmunition, Kleidung und Existenzmittel“ zur Verfügung zu stellen, „sowie jedwelche andere Unterstützung materieller und moralischer Natur, sowie Mittel für den Unterhalt eines oder mehrerer Abgesandten nach Europa, um die Unterstützung der Presse zu gewinnen“<sup>14</sup>.

Inzwischen zog sie sich aber aus dem geplanten Bündnis zurück, da sie die Unzulänglichkeit der Informationen über die Militäraktionen südlich der Donau erkannte.

Vom Standpunkt der Interessen Rumäniens hatte das „heilige Bündnis“ keinen Sinn mehr; die Tätigkeit des geheimen bulgarischen Zentralkomitees wurde auf eigene Verantwortung und mit vollem Einverständnis der rumänischen Behörden fortgesetzt<sup>15</sup>. Der Austritt der rumänischen Vertreter aus dem Bündnis erleichterte es der rumänischen Regierung, gegen eine eventuelle Anschuldigung von Seiten der europäischen Regierungen sie leiste der Tätigkeit der bulgarischen Emigranten Vorschub, Stellung zu nehmen. In Anbetracht der Tatsache, daß in Rumänien starke Sympathie für die bulgarische Befreiungsbewegung bestand, ergriffen die rumänischen Behörden weder in den folgenden Monaten, noch in den folgenden Jahren irgendwelche Maßnahmen, um die politische Tätigkeit der bulgarischen Emigranten zu behindern.<sup>16</sup>

Erst im Mai, als die suzeräne Macht ernsthafte, den Fürstentümern feindlichgesinnte, militärische Aktionen unternahm, sah sich Rumänien seinerseits gezwungen, Maßnahmen zu ergreifen, um einem

<sup>14</sup> Ebd., S. 63–64.

<sup>15</sup> Iwan Kassabow, der Führer der bulgarischen Gruppe schreibt hierzu: ... „eines Tages sagte uns Ciocrlan, daß unsere Unterschriften (auf dem Bündnisdokument — *Anm. d. Verf.*) nicht mehr notwendig seien, und daß wir uns nicht mehr treffen könnten .... « aber ihr könnt weiterarbeiten, so wie wir übereingekommen sind », und so wurde das Bündnis nicht mehr unterschrieben“. A.a.O., S. 57.

<sup>16</sup> Der gleiche Verfasser von Denkwürdigkeiten schreibt, daß er kurze Zeit nach der Thronbesteigung Carols I. von einem der Minister ins Ministerium gerufen wurde ... „Ich ging hin und trat bei ihm ein. Er sagte mir: « Jetzt braucht Rumänien Frieden und Ruhe; deswegen wird es gut und vernünftig sein, wenn wir die Tätigkeit der bulgarischen Komitees in Rumänien einstellen ». Solche Worte in Rumänien zu hören, beeindruckten mich und ich fragte ihn: « Aber wir sind doch frei, für Bulgarien tätig zu sein? ». Er sah mich an und sagte: « Wenn es sich um Bulgarien handelt, mischen wir uns nicht ein und wir wünschen Ihnen sogar großen Erfolg, aber arbeiten Sie äußerst vorsichtig und geheim, so daß uns keinerlei Verdacht treffen kann, daß wir Sie anstiften ... », a.a.O., S. 72. Im Zusammenhang mit diesen Verhandlungen siehe auch: Petre Constantinescu, *Rolul României în epoca de regenerare a Bulgariei*, Jassy, 1919, III + 102 S.

eventuellen Angriff aus dem Süden vorzubeugen. Bei dieser Gelegenheit hat die rumänische Regierung auch eine Anzahl Freiwilliger eingestellt, jedoch ohne sich noch an das Geheimkomitee zu wenden, welches fortbestand<sup>17</sup>. Diese Freiwilligen wurden alle in Einheiten der rumänischen Armee eingereiht; teilweise waren sie in rumänische Uniform eingekleidet und in Giurgiu konzentriert, teilweise uneingekleidet in den nahegelegenen Dörfern untergebracht.

Die Mannschaft wurde von den Offizieren und Unteroffizieren der rumänischen Armee ausgebildet<sup>18</sup>.



Als Rakowski im Herbst des Jahres 1866 nach Bukarest zurückkehrte, zeigte er sich mit der Tätigkeit der Kassabow-Gruppe äußerst unzufrieden. Da es ihm gelang, die Mehrzahl der Jugendlichen mit revolutionären Ideen um sich zu scharen, richtete er seine ganze Tätigkeit auf das Organisieren von Freischaren. In den letzten Monaten des Jahres 1866 schuf er die Grundlagen einer neuen revolutionären Organisation „Върховно народно българско тайно гражданско началство“ (Oberste geheime völkische bulgarische Führung) genannt, die dazu bestimmt war „bewaffnete Freischaren aufzustellen, sie nach Bulgarien zu entsenden und anzuführen“<sup>19</sup>. Gemäß seinen Weisungen beschäftigte sich die Gruppe der Revolutionäre, die sich in Brăila aufhielten, im Winter des Jahres 1866—1867 unter Führung von Stefan Karadsha mit der Herstellung von Munition, in Werkstätten die in Kaufläden und Herbergen dieses Ortes verborgen waren. Der Sitz Rakowskis und der revolutionären Organisation befand sich auf dem von Nikola Balkanski (einem Verwandten Rakowskis) in Țiganca gepachteten Gut<sup>20</sup>. Zur gleichen Zeit bildeten sich vier kleinere bulgarische Freischaren, die nach Bulgarien ziehen und dort einen Aufstand entfesseln sollten. Panait Chitow, Filip Totiu, Stefan Karadsha, Hadshi Dimiter wurden zu Führern dieser Freischaren

---

<sup>17</sup> C. N. Velichi, a. a. O., S. 857. Die hundert, vom Verfasser auf S. 856, erwähnten Freiwilligen wurden wahrscheinlich Ende März rekrutiert, und nicht jetzt, Anfang Juni. Hinsichtlich des Datums des „Heiligen Bündnisses“ bestehen wir auf die alte Chronologie.

<sup>18</sup> Chr. Makedonski, a. a. O., S. 37.

<sup>19</sup> D. Kossew, *Новая* ..., S. 296.

<sup>20</sup> Chr. Makedonski, a.a.O., S. 38—39.

ernannt. Da Rakowski erkrankt war, konnte er diese Freischaren nicht organisieren und nicht näher führen. Die Vorbereitungen, die in Bukarest in Hinblick auf die Organisation eines Aufstandes in Bulgarien getroffen wurden, waren sowohl den türkischen als auch den österreichischen Behörden bekannt <sup>21</sup>, die seit jeher Gegner aller nationalen Befreiungstendenzen an den Grenzen des habsburgischen multinationalen Reiches waren.

Um die benachbarten Regierungen zu beruhigen, erklärte der Vorsitzende des Ministerrates Rumäniens am 5/17 März 1867, daß er die strengste Neutralität bewahren werde <sup>22</sup>. Trotz dieser offiziellen Erklärungen war die Lage eigentlich anders. Ein kennzeichnendes Beispiel in diesem Sinne war der Widerhall, den eine in Galați erschienene „Ranele Bulgariiei“ (Die Wunden Bulgariens) betitelte Broschüre in der Presse fand. Das Regierungsblatt nahm nur deshalb dagegen Stellung, weil sie unter zaristischer Beeinflussung gedruckt worden sein sollte <sup>23</sup>. Die kategorischen Erklärungen des geheimen Zentralkomitees, die den Verdacht einer fremden Beeinflussung beseitigten, waren dazu angetan, nicht nur die Besorgnisse der Zeitung „Romînul“ zu beheben, sondern hatten sogar eine offene Sympathieerklärung für die bulgarische Befreiungsbewegung zur Folge. Diese Erklärung entsprach vollkommen den Gefühlen des rumänischen Volkes <sup>24</sup>. Gleichzeitig stieg die Zahl der bulgarischen Emigranten in Rumänien an <sup>25</sup>. Nebenbei sei erwähnt, daß zugleich mit den Aktionen der oben erwähnten Gruppen die politischen Ereignisse des Jahres 1866 auf der Balkanhalbinsel auch „die Gruppe der Alten“ in Bukarest in Bewegung setzten. Diese waren im „Wohltätigkeitsverein“ organisiert und vertraten insbesondere die Großkaufmannschaft und

---

<sup>21</sup> Baron Prokesch-Osten berichtete am 11. Januar 1867 aus Konstantinopel folgendes an von Beust: „Aus Berichten des Freiherrn von Eder wird Eurer Exzellenz nicht entgangen sein, daß man sich in den Fürstentümern bemüht, in Bulgarien den Nationalitätenschwindel anzuregen“. Документи за българската история, (Bd. V, Sofia, 1948, S. 68, im folgenden kurz als Документи bezeichnet).

<sup>22</sup> Am 1. März 1867 kam die Regierung C.A. Krețulescu ans Ruder.

<sup>23</sup> „Romînul“, 15.III.1867, S. 1.

<sup>24</sup> „Romînul“, 24.III.1867, S. 1.

<sup>25</sup> Es muß die Tatsache hervorgehoben werden, daß mit dem Anstieg der Emigranziffer mehrere bulgarische Komitees gegründet wurden (Bukarest, Brăila, Galați, Turnu Măgurele u.a.), in denen sogar Staatsbeamte tätig waren. „Romînul“, 25.IV.1867, S. 1.

einen Teil der Intellektuellen <sup>26</sup>. Gemäß ihren Anschauungen und Klasseninteressen wünschten sie die Befreiung vom türkischen Joch, hüteten sich aber vor revolutionärem Vorgehen. Demnach arbeiteten sie mit der revolutionären Gruppe zusammen, doch nur dann, wenn dies ihren Interessen entsprach.

Die Rakowski-Gruppe verfügte nicht über genügend Geldmittel, um die Freischaren zu bewaffnen und zu verpflegen. Angesichts dieser Lage verlangte Panait Chitow vom „Wohltätigkeitsverein“ Hilfe. Christu Georgiew, der Leiter der „Alten“, stellte eine Geldsumme zur Verfügung mit der eine Freischar nach Bulgarien geschickt werden sollte, um festzustellen, ob dort günstige Bedingungen für den Ausbruch eines Aufstandes bestünden, ihn aber keinesfalls entfesseln dürfte. Der bulgarische Bankier betonte dies Panait Chitow gegenüber mit besonderem Nachdruck <sup>27</sup>.

Am 28. IV./10. V. setzte eine Freischar von nahezu 30 Personen unter Führung von Chitow bei Turtucaia über die Donau. Zu ihr gehörten bedeutende Revolutionäre, wie Wasil Lewski <sup>28</sup>, Sheliu Tschernew, Iwan Kyrshowski. Einige Tage später folgte die aus 35 Mann bestehende Freischar unter der Führung von Filip Totiu (17./29.V.).

Die revolutionären Unruhen in Bulgarien, die zum größten Teil in Rumänien vorbereitet wurden, verpflichteten die rumänische Regierung, die auf diplomatischem Wege die Einhaltung der Neutralität versprochen hatte, — formell — am 28.V./9.VI. in einer amtlichen Bekanntmachung sowohl von den Bulgaren, als auch von den mit ihnen sympathisierenden Rumänen zu fordern, durch ihre politische Tätigkeit den rumänischen Staat nicht in eine schwierige Lage zu bringen <sup>29</sup>. Als Vorsichtsmaßregel

---

<sup>26</sup> Siehe dazu den Bericht des Vertreters des österreichischen Konsulats in Rutschuk, Martyst, an von Beust, vom 16.I.1867, in dem mitgeteilt wird, daß in Bukarest ein Komitee tätig ist, dem Priester, Bankiers, Kaufleute, Ärzte, größtenteils Intellektuelle und wohlhabende Persönlichkeiten angehören. Die Gruppe druckte Ende des Jahres 1866 in der Nationaldruckerei Bukarest eine Broschüre „La Bulgarie devant l'Europe“, die heimlich in Bulgarien verbreitet wurde. Siehe in demselben Bericht auch die Zusammenfassung der Broschüre. Документи, Bd. VI, Sofia, 1951, S. 188—192.

<sup>27</sup> D. Kossew, *Новая ...*, S. 299.

<sup>28</sup> Für die Tätigkeit Lewskis in Rumänien siehe: Iwan Undshiew, *Васил Левски*, Sofia, 1945, 1150 S.

<sup>29</sup> Hier der Text der Bekanntmachung (Bekanntmachung der Regierung an die Bulgaren): „Es ist selbstverständlich, daß anlässlich der Unruhen, die die christlichen Völker des ottomanischen Reiches erfaßt haben, zahlreiche Christen aus der Türkei, die sich in Rumänien aufhalten oder verschiedener Geschäfte wegen hierher gekommen sind, es für ihre Pflicht

erteilte die rumänische Regierung gleichzeitig den örtlichen Behörden die Verfügung, die Maßnahmen zur Auslieferung revolutionärer Emigranten zur Anwendung zu bringen<sup>30</sup>. Zufolge dieser Verfügungen wurde am 24.V./5.VI. bei Turnu Măgurele eine Gruppe von 40 jungen Bulgaren vom Präfekten von Teleorman entwaffnet. Dieser Zwischenfall konnte jedoch dank der Intervention Haralambie Searows bei den rumänischen Behörden leicht beigelegt werden. Hervorgehoben sei die Tatsache, daß niemand den Türken ausgeliefert wurde<sup>31</sup>, was den bekannten freundschaftlichen Gefühlen des rumänischen Volkes für den Kampf der bulgarischen Emigranten zu verdanken war.

Eine Bestätigung der Sympathie, mit der Rumänien die bulgarische revolutionäre Bewegung betrachtete, ist auch die verurteilende Haltung der Zeitung „Romînul“ gegenüber den Greuelthaten, die die Türken an den Freischaren und an der Bevölkerung Bulgariens verübten<sup>32</sup>.

Wie erklärt sich in diesem Fall das mangelnde Verständnis gewisser politischer Kreise für die Hilfe, die die bulgarische Bewegung russischerseits erhielt?

Die Haltung der rumänischen Regierung im Jahre 1867 hing von ihrer allgemeinen Außenpolitik ab. Da Rumänien sich von der allgemeinen

halten, auch auf fremdem Boden unaufhörlich für die Interessen ihrer Nation tätig zu sein. Ebenso natürlich ist es, daß die jahrhundertalte, ununterbrochene Freundschaft mit den Religionsgenossen vom anderen Ufer der Donau und jenseits des Balkengebirges lebhafteste Sympathie in den Herzen der Rumänen erweckt.

Rumänien ist jedoch durch die diplomatischen Akten, die ihm die Autonomie zuerkennen, Akten die es anerkannt hat, verpflichtet, Neutralität zu wahren; die Einhaltung dieser Verpflichtung ist für Rumänien eine Bedingung des Friedens, eine Gewähr seiner nationalen Existenz, und die Loyalität die wichtigste Tugend der Nationen und Einzelpersonen verpflichtet es, diese Versprechen redlich zu erfüllen. Die rumänische Regierung hält es für ausreichend, sowohl Fremde als auch Rumänen auf diese Sachlage hinzuweisen, damit weder die einen noch die anderen den geringsten Zweifel bezüglich des Verhaltens hegen, zu dem sie als Gäste oder als Staatsbürger verpflichtet sind. Die ersteren müssen erkennen, daß Vaterlandsliebe zwar eine erhabene Tugend ist, jedoch nicht weniger wichtig als die Achtung der Lebensinteressen einer Nation, die ihnen stets brüderliches Asyl gewährt. Die Rumänen hinwieder müssen sich darüber im Klaren sein, daß sie — falls sie sich von einer Gefühlsregung hinreißen lassen, ihren Brüdern nicht helfen, jedoch ihre eigene Existenz kompromittieren können. Welches immer auch die persönlichen Gefühle der Männer, die die Regierung bilden, sein mögen, so ist sie entschlossen, getreu den Interessen des Landes, getreu dem den gesetzgebenden Kammern vorgelegten Programm für strenge Einhaltung der Neutralität des Landesterritoriums zu sorgen. Deshalb werden alle jene, die die obigen Erwägungen nicht beachten und so die Regierung in die schmerzliche Notwendigkeit versetzen, auch nur eine einzige Zwangsmaßnahme zu ergreifen, eine schwere Verantwortung auf sich laden“. „Romînul“, 29.—30.V.1867, S. 1—2, nach dem Amtsblatt „Monitorul Oficial“ vom 28.V., S. 1 wiedergegeben.

<sup>30</sup> Was die Bulgaren anbetrifft, hatten sie darunter nicht zu leiden. Die Nichtanwendung dieser Verfügung wird einen Anklagepunkt darstellen, den die konservative Opposition gegen die Regierung ins Treffen führen sollte.

<sup>31</sup> Vladimir Diculescu, *Din corespondența lui George S. Racovski în 1867*. Auszug aus „Studii“, X (1957), 6, S. 134—135.

<sup>32</sup> Vergleiche die Artikel und Informationen, die im Laufe der Monate Juni und Juli 1867 veröffentlicht wurden.



französischen Politik beeinflussen ließ, und die französischen Politiker die Tatsache, daß Rußland die nationalen Befreiungsbewegungen auf dem Balkan unterstützte, nicht gerne sahen, da dies den französischen Einfluß in diesem Teil Europas beseitigen sollte, verurteilte die rumänische Regierung ihrerseits die Hilfe, die Rußland den Völkern südlich der Donau gewährte. Ja noch mehr, die Zeitung „Romînul“ forderte die Führer der bulgarischen Bewegung auf, ihre Blicke nach Frankreich zu richten, um die Hilfe Frankreichs zu erhalten<sup>33</sup>.

Im Gegensatz zur Politik der Regierung war die konservative Partei ein leidenschaftlicher Vertreter der Politik des Wiener Hofes, ein Gegner jedwelcher Bewegung revolutionären Charakters. Der Haltung getreu, welche die Konservativen auch gegenüber den politischen Änderungen eingenommen hatten, die sich nach dem Pariser Frieden in Rumänien vollzogen, erscheint in der „Independența romîną“ (eine Zeitung, die die politischen Interessen und Auffassungen der Großgrundbesitzer zum Ausdruck brachte), die Ansicht, das bulgarische Volk befinde sich auf einer zu niedrigen Entwicklungsstufe, um einen nationalen Verfassungsstaat gründen zu können<sup>34</sup>.

Die ausländische Presse und Diplomatie, auch von gewissen aus Rumänien kommenden Gerüchten aufgehetzt, richtet eine Reihe äußerst scharfer Angriffe gegen die Haltung Rumäniens<sup>34b</sup>. Die Großmächte waren durch die Tatsache alarmiert worden, daß der Übergang der Freischaren über die Donau zugleich mit dem verschärften Kampf der Kreta-Aufständischen stattfand<sup>35</sup>, was die innere Lage des Ottomanischen Reiches komplizierte.

Angesichts der Proteste, die insbesondere von Seiten der Türkei erfolgten, erklärte der rumänische Außenminister dem Großwesir Aali Pascha, daß die politische Tätigkeit verschiedener Individuen und der Übergang über die Donau nicht verhindert werden könne, da sie sich

<sup>33</sup> „Romînul“, 6.VII.1867, S. 1.

<sup>34</sup> „Romînul“, 18.IV.1867, S. 1. und „Independența Romîną“, 16.VI.1867, S. 1.

<sup>34b</sup> Im Zusammenhang mit oben bereits Gesagtem, betonen wir, daß es derzeit in Rumänien Strömungen gab, die zur politischen Tätigkeit der bulgarischen Emigration verschieden eingestellt waren.

Der Gedanke der Beseitigung der Vasallität zum Ottomanischen Reich war im Volke tief verwurzelt. Gleichzeitig war vorwiegend der an die Industrie gebundene Teil der Bourgeoisie auch daran interessiert, weil die Abhängigkeit die industrielle Entwicklung hinderte. Deshalb sympathisierten sowohl die Volksmassen als auch dieser Teil der Bourgeoisie mit jedweder Bewegung die zur Schwächung der suzeränen Macht im Balkan führen könnte, ja sie unterstützten sie sogar. Die dritte, besonders um die konservative Partei gruppierte Strömung, war diesen Bewegungen völlig feindlich gesinnt und verurteilte jede ihnen geltende Sympathiebezeugung und Ermutigung.

<sup>35</sup> Der Aufstand war im Sommer des Jahres 1866 ausgebrochen.

im Besitz von Reisepässen fremder Staaten befinden und folglich formell vollkommen in Ordnung seien. Jedenfalls verpflichtet sich die Regierung noch einmal, Maßnahmen zu treffen, um eventuell nördlich der Donau gemachten Versuchen, die Ruhe Bulgariens zu stören, vorzubeugen<sup>36</sup>. Dasselbe behauptete die Regierung auch in einer ihrem Vertreter in Paris zugesandten Note<sup>37</sup>. Während die Regierung derart versprach alle Maßnahmen zu treffen, um jedwelche bulgarische revolutionäre Tätigkeit zu verhindern (durch dieses Versprechen hoffte sie die Regierungen Frankreichs und der Türkei zu beschwichtigen), meldete der österreichische Konsul in Rutschuk dem Wiener Hof: ... „Die Pforte hat Nachrichten, daß ununterbrochen Geld-, Waffen- und Munitionssendungen über die türkische Grenze geschmuggelt werden, und soll sich namentlich das Komitee von Braila hierin durch Rührigkeit hervortun“<sup>38</sup>.

Gleichzeitig erkannte auch die südbulgarische Presse die Tatsache an, daß sich die bulgarischen Emigranten in Rumänien außerhalb jeder Gefahr befinden. Wie gezeigt, ist dies durch das starke Gefühl der Solidarität, die die rumänischen Massen mit der Sache des bulgarischen Volkes verband, zu erklären<sup>39</sup>.



Von der zweiten Hälfte des Jahres 1866 an vollzieht sich eine Reihe von Änderungen in der europäischen Politik. Nach der Schlacht von Sadowa, versucht Napoleon III., unzufrieden mit der dadurch verstärkten politischen und militärischen Macht Preußens (die sich zufolge seiner Ansprüche auf Luxemburg bemerkbar macht), eine neuerliche Annäherung an Österreich. Andererseits verwandelt sich die von Rußland während des preußisch österreichischen Krieges gewährte Neutralität in eine Politik der Zusammenarbeit mit Preußen. Da die außenpolitischen Beziehungen Rumäniens weiterhin von dem hier investierten Kapital beeinflußt blieben, versucht Carol I., die Außenpolitik des rumänischen Staates der politischen Richtung Preußens anzupassen. Dies führte

<sup>36</sup> Archiv des Außenministeriums, Bd. 126, Dossier 101 (1867–68) Blatt 136–137.

<sup>37</sup> ..... „Le gouvernement roumain non seulement n'a pas favorisé de tels mouvements, mais encore il a fait tout ce qui était possible pour annuler complètement en Roumanie la tendance propagandiste de ces comités clandestins, composés en totalité de sujets étrangers; ceci en dehors de tout recours à des mesures extrêmes“. Arch. des Außenmin., Bd. 126, Dossier 101/1867–68, Blatt 143.

<sup>38</sup> Документи, Bd. V, S. 74.

<sup>39</sup> Die Zeitung „Romtul“, 18.VIII.1867, S. 2, veröffentlichte ein Bruchstück eines in der bulgarischen Zeitschrift „Makedonia“ veröffentlichten Briefes, in dem es unter anderem hieß ... „diese prächtige und gastfreundliche rumänische Nation, bei der jeder Unterdrückte und Verfolgte Zuflucht und Trost findet“, ... Der Brief war unterzeichnet: ein Rumäne freundlicher Bulgare.

gleichzeitig zu einer Annäherung an Rußland, die ja auch vom preußischen Kanzler zu Beginn des Jahres 1868 vorgeschlagen worden war. Im Rahmen dieser rumänisch-russischen Annäherung und als Ausdruck der preußenfreundlichen Politik des Landesfürsten schickte Ștefan Golescu, der Außenminister der Regierung C. A. Krețulescu, zu Beginn des gleichen Jahres Ion Cantacuzino und den Bischof Melchisedec in diplomatischem Auftrag nach Petersburg <sup>40</sup>. Das von den rumänischen Diplomaten erzielte Ergebnis hatte eine wütende Presse- und Parlamentskampagne von Seiten der rumänischen konservativen Opposition vom Standpunkt ihrer österreichungarnfreundlichen Haltung zur Folge <sup>41</sup>. Die Deutungen der konservativen Presse in bezug auf Sinn und Zweck dieses Besuchs wurden von den Regierungen in Paris und Wien übernommen, die auf diese Weise eine der rumänischen Regierung ungünstige Atmosphäre zu schaffen suchten. Dazu kamen noch direkte Anschuldigungen, daß die Regierung weiter die Bildung von Freischaren dulde <sup>42</sup>. Der Ernst der Nachrichten, die in Europa über Gründung und Bewaffnung von „bulgarischen Freischaren“ in Rumänien verbreitet wurden, spiegelt sich in der Intervention des französischen Außenministers Marquis de Moustier wider, der durch seinen Vertreter in Bukarest Rumänien aufforderte, die in dieser Hinsicht notwendigen Maßnahmen zu treffen. Gleichzeitig intervenierte er durch seine Botschafter in Berlin, London und Petersburg bei den betreffenden Regierungen, damit diese ihrerseits an die rumänische Regierung die gleiche Forderung richteten <sup>43</sup>. Als Antwort erklärte der Außenminister Rumäniens in einer an sämtliche diplomatischen Vertreter in Bukarest gerichtete Note, daß diese Gerüchte nicht begründet seien und

<sup>40</sup> Bischof Melchisedec, *Un episod diplomatic*, Aus dem Nachlaß, mit Vorwort und Kommentar von Const. Diculescu, Bukarest, 1907, 23 S. Was die Änderung der Außenpolitik anbetrifft, siehe auch „Romnul“, 17. und 18.II.1868.

<sup>41</sup> Die konservative Zeitung „Terra“ klagte die Regierung an, daß sie eine Rußland freundliche Politik führe und dadurch Nationalverrat begehe. Sie läßt durchblicken, daß I. Cantacuzino und Melchisedec ein Geheimbündnis mit Rußland abgeschlossen hätten. Angesichts solcher Anschuldigungen behauptet die Zeitung „Romnul“: wenn die rumänische Mission außer dem Höflichkeitsbesuch auch andere Aufträge gehabt hätte, so „würden wir uns nicht scheuen, zu sagen: • Um so besser •“ („Romnul“, 24.I.1868). Im Rahmen derselben Kampagne brachte P. P. Carp am 1/12.II.1868 im Parlament eine Interpellation ein und machte dieselben Anschuldigungen, dazu noch jene, die Regierung schütze die bulgarische revolutionäre Tätigkeit. Angesichts dieser letzten Anschuldigung stellte der Außenminister das Vorhandensein einer solchen Tätigkeit auf dem Boden Rumäniens in Abrede. („Romnul“, 2.II.1868, S. 2–3).

<sup>42</sup> Die Zeitung „Romnul“ (27.I.1868) schrieb: ... „in einigen Zeitungen in Österreich heißt es und einige Vertreter der Regierungen in Wien und Paris flüstern: • Die rumänische Regierung ist im Bündnis mit Rußland und Preußen, um den Orient zum Aufstand zu bewegen •“

<sup>43</sup> Telegramm vom 23.I/4.II.1868 Archives diplomatiques, 1869 (IX), S. 506. Zwei Tage später (am 25.I/6.II) meldete Baron Eder, der Konsul Österreich-Ungarns in Bukarest: ... „Le Président du conseil des ministres du prince, auquel j'ai parlé, a nié la présence des bandes de ce genre“ ..... Gleichzeitig behauptete er jedoch, daß in verschiedenen Städten, am Donauufer bulgarische Komitees beständen und tätig wären. Ebd., 1869, (IX), S. 102.

Rumänien nur benachteiligen können; infolgedessen drang er darauf, daß die diplomatischen Vertreter sie ihren Regierungen gegenüber dementieren<sup>44</sup>. Um anderen neuerlichen Schritten seitens der europäischen Mächte vorzubeugen, forderte der rumänische Minister seinen Vertreter in Konstantinopel auf, die Gerüchte bezüglich Konzentrierung türkischer Truppen an der Donau zu prüfen und gegebenenfalls seinerseits bei der Pforte gegen die getroffenen militärischen Maßnahmen, die durch die Lage in Rumänien keineswegs rechtfertigt seien, zu protestieren<sup>45</sup>.

Im nächsten Verlauf der Ereignisse in der bulgarischen Emigrantentätigkeit veranlaßte die Auflösung der zweiten „bulgarischen Legion“, die ein Jahr vorher — durch Zusammenarbeit des sogenannten „Wohltätigkeitsvereins“ in Bukarest und der serbischen Regierung sowie mit russischer Hilfe — in Belgrad gegründet worden war, die Rückkehr von etwa 150 jungen Leuten nach Rumänien, wo sie an der Seite von Hadshi Dimiter und Stefan Karadsha, die einen neuen Übergang über die Donau vorbereiteten, ihre Tätigkeit fortsetzen sollten. Die offene Art und Weise, in der diese Gruppe vorging, war die Ursache, daß sie manchmal mit den Gesetzen der rumänischen Verwaltung in Konflikt geriet, aber die örtlichen Polizeibehörden übersahen dies aus den weiter oben angeführten Gründen<sup>46</sup>. Als sich der Außenminister Rumäniens anfangs März in die Lage versetzt sah, die Existenz der Komitees zuzugeben erklärte er, daß keinerlei gesetzlicher Grund bestehe, um ihre Tätigkeit zu verhindern. Zur Unterbauung dieser Behauptung berief er sich auf die Tatsache, daß sogar in der Hauptstadt des türkischen Reiches ein bulgarisches Komitee tätig war, das enge Beziehungen zu Rußland unterhielt<sup>47</sup>. Rumänien nahm so die bulgarische Emigrantentätigkeit unter seinen offiziellen Schutz.

Leider fehlte den bulgarischen Emigranten das Gefühl der Zusammengehörigkeit; der Umstand, daß in allzu kurzen Zeitabständen verschiedene Organisationsformen aufeinanderfolgten, schwächte deren Wirksamkeit. So gründete einige Monate nach Rakowskis Tod (im Herbst des Jahres 1867) ein Teil seiner ehemaligen Gruppe den sogenannten „Bulgarischen Verein“, der offiziell kulturelle und philanthropische Zwecke verfolgte. Obwohl der Bankier D. Zenowitsch an der Spitze des Vereins stand und ihm auch Iwan Kassabow beigetreten war (aus dem alten bulgarischen Zentralkomitee mit bekannt opportunistischen Tendenzen),

<sup>44</sup> Note vom 16./28.II.1868. Ebd., 1868 (VIII), S. 1275.

<sup>45</sup> Archiv des Außenministeriums, Bd. 126, Dossier 101/1867—1868, Blatt 175—176, 182.

<sup>46</sup> Chr. Makedonski, a.a.O., S. 42.

<sup>47</sup> Vgl. den Bericht des Barons von Eder an von Beust vom 6.III.1868, Archives diplomatiques, 1869 (IX), S. 107.

blieb die Führung des Vereins von der Richtung des linken Flügels des erwähnten Komitees beeinflußt. In diesem Sinn — und dies bedeutete einen Schritt vorwärts im Vergleich zum Vorhergehenden — erstrebte der Verein die Bildung einer „provisorischen Regierung“ durch die in den Balkan eingeschleuften Freischaren, die den Aufstand in Bulgarien erklären sollte<sup>48</sup>. Unter den Auspizien dieses neuen Vereins wurde im Monat Juni die Ausbildung der Freischar fortgesetzt, deren Anführer Hadshi Dimiter und Stefan Karadsha sein sollten. Der Übergang über die Donau wurde für die ersten Tage des Monats Juli 1868 (alten Stils) festgesetzt. An einem der letzten Tage des Monats Juni versammelte sich die ganze Gruppe der jungen Bulgaren, die sich nach dem Balkan begeben sollten, in Bukarest im Stadtviertel „Tabacilor“. Nach einem gemeinsamen Essen, bei dem auch die rumänischen Polizeikommissare nicht fehlten, brachen sie gegen Abend, als Arbeiter und Kaufleute verkleidet, in vereinzelter Gruppen nach Giurgiu auf. Die Waffen befanden sich in drei Büffelkarren, die ihnen voranfuhrten. Im Weichbild der Stadt Bukarest wurden die Wagen vom Hauptmann der rumänischen Armee Nicolae Macedonski begleitet, der persönlich der Freischar 30 Gewehre geschenkt hatte. An der Stadtgrenze erleichterte der Offizier die freie Durchfahrt, indem er erklärte, daß die Karren dem rumänischen Heer gehörten. Am nächsten Tag erhielten sie in Giurgiu noch einen Wagen mit Lebensmitteln und so zogen deren vier gegen das Dorf Petrosani, von wo aus sie nach Bulgarien übersetzen sollten. Stefan Karadsha hatte dafür gesorgt, daß längs des ganzen Weges von Bukarest nach Petrosani Vertrauensleute dem Karrenzug erforderlichenfalls die nötigen Aufklärungen erteilten. In Petrosani wurde die 128 Mann zählende Freischar auf dem Gut eines bulgarischen Pächters untergebracht. In der Nacht des 24.VI./6.VII. setzte die ganze Gruppe über die Donau. Es ist hervorzuheben, daß es eine der Hauptsorgen der Freischar war, der rumänischen Regierung keine Schwierigkeiten zu bereiten, oder um mit den Worten eines Beteiligten zu sprechen: „Wir mußten uns auch vor der rumänischen Polizei hüten, um der rumänischen Regierung nicht Unannehmlichkeiten zu bereiten; um die Wahrheit zu sagen, hinderte sie uns keineswegs, obwohl sie uns Ungelegenheiten hätte bereiten können, wenn sie es hätte tun wollen, denn es war ja unmöglich, daß sie von all unseren Vorbereitungen und unserer Tätigkeit keine Kenntnis hatte“<sup>49</sup>.

Die revolutionären Absichten der Freischar wurden jedoch von ihren eigenen Landsleuten enthüllt. Die Gruppe der Alten unter der Leitung

<sup>48</sup> D. Kossev, *Нова*. . . , S. 303—306.

<sup>49</sup> Chr. Makedonski, a.a.O., S. 51.

von Georgiew war absolut gegen ein solches Vorgehen, sie lehnte die Unterstützung der Freischaren ab <sup>50</sup> und verriet gleichzeitig den ausländischen Konsuln und den türkischen Behörden die geheimen Pläne der Revolutionäre <sup>51</sup>. Im Gegensatz zu diesem Eigenverrat tat die rumänische Regierung so, als wüßte sie nichts von all diesen Vorbereitungen. Die Zeitdokumente enthüllen ohne jeden Zweifel die „Mitschuld“ Rumäniens. Eine Woche vor dem 6./18.VII. war der Konsul Frankreichs im Besitz von äußerst genauen Nachrichten über die Intensivierung der Vorbereitungen in Bukarest. Midhat Pascha wurde auch rechtzeitig über diese Vorbereitungen unterrichtet <sup>52</sup>. Der Vertreter Rußlands in Bukarest, Baron Offenbergh, der aus den Kreisen der „Alten“ über den nahe bevorstehenden Übergang über die Donau informiert worden war, machte den rumänischen Innenminister — am gleichen 6. Juli — auf diese Tatsachen aufmerksam <sup>53</sup>. Die Überfahrt über die Donau hatte eine Reihe diplomatischer Proteste von Seiten aller interessierten Staaten zur Folge. Am 9./21.VII. sandte der Großwesir Aali Pascha an Carol I. ein Telegramm, in dem er hervorhob, daß die wohlwollende Haltung der rumänischen Regierung <sup>54</sup> gegenüber der Tätigkeit der Bulgaren den gegenüber der Pforte übernommenen Verpflichtungen widerspreche <sup>55</sup>. Einige Tage nachher verlangten die Generalkonsuln Englands und Frankreichs vom rumänischen Innenminister genaue Aufklärungen über den Vorfall in Petroşani. Der Minister erklärte, daß er infolge einer Verständigung dem Präfekten in Giurgiu telegraphiert hätte, aber alles zu spät gewesen wäre, da die Freischar bereits das andere Ufer erreicht hatte. Die Konsuln wurden jedoch neuerlich versichert, daß die strengsten Maßnahmen getroffen worden waren, um ähnliche Versuche zu verhindern <sup>56</sup>.

In Konstantinopel ließ Fuad Pascha die Botschafter zu sich rufen, stellte ihnen die Lage dar und verlangte von ihnen, sie mögen sich durch

---

<sup>50</sup> In den Erinnerungen von D. Zenowitsch lesen wir: „Im Jahre 1868 wurde im Hause D. Zenowitsch ein Komitee für die Bewaffnung der Freischar Hadshi Dimiters gebildet. Ein Aufruf wurde bulgarisch und türkisch gedruckt, es wurden Hilfsmittel und Waffen gesammelt ... Gegenüber allen Bemühungen Hadshi Dimiters der von Christo Georgiew eine Summe Geldes aus den Schenkungen verlangte, lehnte dieser (Christo Georgiew — *Anm. d. Übers.*) das Ansuchen ab und sagte ihm, er solle mit der Hacke zur Arbeit gehen. All dies erzählt mir Hadshi Dimiter persönlich vor seinem Übergang über die Donau“. Al. Burmow, *Споменици на Д. Ценович*, in *Известия на българското историческо дружество*, Bd. XXI, S. 128.

<sup>51</sup> D. Kossew, a.a.O., S. 305.

<sup>52</sup> *Документи*, Bd. II, S. 86.

<sup>53</sup> *Archives diplomatiques*, 1869 (IX), S. 162.

<sup>54</sup> Am 1.V.1868 war die Regierung Nicolae Golescu, der auch Außenminister war, ans Ruder gekommen.

<sup>55</sup> *Archives diplomatiques*, 1869 (IX), S. 163.

<sup>56</sup> *Ebd.*, S. 1165.

ihre Vertreter in Bukarest über die „Mitschuld“ der rumänischen Behörden informieren lassen. Da für die Türkei in dieser Hinsicht keinerlei Zweifel mehr bestanden, forderte er die Einsetzung einer Untersuchungskommission<sup>57</sup>.

Da sich die politische Lage Rumäniens zu komplizieren schien, sah sich die Regierung gezwungen, verschiedene Erklärungen vorzubringen, um die Haltung des Staats in dem letzten Zwischenfall, der sich auf dem Gebiet Rumäniens ereignet hatte, zu begründen; unter anderem berief sie sich auf die unzulängliche Tätigkeit der Informationsdienste der Polizeiorgane sowie darauf, daß dem rumänischen Staat aus dem Interventionsrecht der fremden Konsuln zugunsten ihrer Untertanen beständig Schwierigkeiten erwachsen<sup>58</sup>. Dem ersten Argument schlossen sich auch die diplomatischen Vertreter Rußlands und Preußens in Bukarest an. Gemäß den österreich-ungarischen Berichten bemühte sich der russische Konsul, „Baron Offenberg . . . dieselben (die Vertreter der anderen Mächte — *Anm. d. Verf.*) für seine Ansicht der Unbefangenheit und Nichtbeteiligung des fürstlichen Ministeriums an den Unternehmungen der bulgarischen Banden zu gewinnen, . . . höchstens die untersten Polizeibehörden einiger Nachlässigkeit zeihend“. Der österreichisch-ungarische Konsul unterstrich die Tatsache, daß sich seine anderen Kollegen von den Erklärungen des rumänischen Innenministers beeinflussen ließen und daher eine gemeinsame diplomatische Intervention bei der rumänischen Regierung für unangebracht hielten<sup>59</sup>.

Um den Eindruck der Unschuld der rumänischen Regierung zu verstärken, behauptete der Botschafter Österreich-Ungarns in Konstantinopel, von Prokesch-Osten, daß der rumänische Innenminister vor dem 8.VIII. in Bulgarien einen Besuch abgestattet hätte, um bei den türkischen Behörden zu Gunsten der „Rebellen“ zu intervenieren; seinen Informationen nach seien diese Bemühungen jedoch erfolglos geblieben<sup>60</sup>.

<sup>57</sup> Nach Ansicht des türkischen Ministers ergab sich die Mitschuld der rumänischen Regierung aus: „la participation des députés et employés aux comités révolutionnaires, l'organisation des bandes en plein jour sur le sol valaque, la vente simulée d'armes à culasse aux chefs de ces bandes, la confection d'habillements uniformes pour ces bandes dans les établissements de l'Etat; la publicité des préparatifs d'invasion pendant les dernières semaines, et le commencement de l'exécution de ce plan incendiaire par la réunion et le passage de la bande de Hagi Dimitri sans que le gouvernement eût pris la moindre mesure pour l'empêcher etc. . . .“ Ebd., 1869 (IX) S. 111.

<sup>58</sup> „Romlnul“, 15., 16.VII.1868, S.1; Archives diplomatiques, 1869 (IX), S. 112, 521.

<sup>59</sup> Die Begegnung der Konsuln hatte am Abend des 29.VII. stattgefunden. Документи, Bd. V, S. 92—93.

<sup>60</sup> . . . „Ein Telegramm der k. k. Agenzie in Bukarest vom 8. [August 1868] zeigt mir an, daß Bratiano aus Bulgarien zurückgekehrt und seine Intervention zu Gunsten der gefangenen Rebellen vergeblich gewesen sei“. Документи, Bd. V, S. 94.

Übrigens behauptete der Innenminister Eder gegenüber, daß die ganze Bewegung in Bulgarien bloß der Ausdruck der Begeisterung sei, die die Massen ergriffen habe <sup>61</sup>.

Durch die Beharrlichkeit der rumänischen Regierung und die Fürsorge des russischen Vertreters in Bukarest schien sich die Atmosphäre aufzuheitern.

Während sich in der rumänischen Hauptstadt die diplomatischen Wogen glätteten, beharrte die Pforte in Konstantinopel weiterhin auf demselben unnachgiebigen Standpunkt <sup>62</sup>.

Unter dem ausländischen Druck sah sich die rumänische Verwaltung gezwungen, einige Maßnahmen — meistens nur formeller Natur — gegen die Tätigkeit der bulgarischen Revolutionäre zu ergreifen. Der österreichisch-ungarische Konsul in Rustschuk meldete zum Beispiel, allerdings mit offensichtlichem Mißtrauen, daß der Kreishauptmann von Giurgiu den Gouverneur von Rustschuk besucht habe, um die guten Absichten der rumänischen Regierung zu bekunden <sup>63</sup>. Einige Tage später aber berichtete der gleiche, daß in Rumänien einige Bulgaren verhaftet und bei einer in Petroşani vorgenommenen Durchsuchung 750 Gewehre beschlagnahmt wurden <sup>64</sup>. Außerdem wurde ein Teil der in einigen Ortschaften am Donauufer wohnhaften Bulgaren, die verdächtig schienen, in die nördlichen Teile von Muntenien verwiesen <sup>65</sup> und der weitere Übergang bewaffneter Personen nach Bulgarien verhindert <sup>66</sup>. Alle diese Maßnahmen schüchterten die Bulgaren keineswegs ein. Am 2./14. VIII. setzte der österreichisch-ungarische Konsul in Brăila seinen Vorgesetzten in Konstantinopel von einem Aufruf in Kenntnis, der von der „provisorischen Regierung“ im Balkangebiet am 16./28.VII. unterzeichnet worden war; dieser Aufruf wurde in Brăila verbreitet und war — seiner Meinung nach — sogar dort gedruckt worden. Zugleich mit dem Text dieses Aufrufs legte er auch einen ausführlichen Bericht vor, in dem der Ortspräfekt beschuldigt wurde, er hätte sich nicht im geringsten um die Auffindung der Verfasser bemüht und alle in dieser Hinsicht getroffenen Maßnahmen hätten sich darauf beschränkt, die Kolporteure darauf aufmerksam zu machen „qu'ils eussent à l'avenir à s'abstenir de pareils actes“. Um die nachgiebige Haltung der rumänischen Behörden gegenüber der Tätigkeit der Bulgaren noch mehr zu betonen, unterstrich der österreichisch-

<sup>61</sup> Archives diplomatiques, 1869 (IX), S. 118.

<sup>62</sup> Ebd., S. 113.

<sup>63</sup> Документи, Bd. VI, S. 203.

<sup>64</sup> Ebd., S. 204.

<sup>65</sup> Archives diplomatiques, 1869 (IX), S. 521.

<sup>66</sup> Документи, Bd. V, S. 204.



ungarische Konsul, daß zwei der aktivsten Führer der Emigration Shiwko und Pechliwan, die dort verhaftet und den Gerichten übergeben worden waren, gegen Kaution freigelassen wurden, „qu'a fourni l'un des agitateurs bulgares les plus enragés". Was die gerichtliche Untersuchung anbelangt, so sei sie als unnütze Formalität anzusehen da sie nicht einmal bezwecke, den wahren Sachverhalt festzustellen, von einer Bestrafung der Schuldigen gar nicht zu sprechen. Der Verfasser des Berichts war darüber empört, daß sich die Betreffenden in Brăila frei bewegen konnten und so eine große Gefahr darstellten<sup>67</sup>. All dies, wozu noch die Tatsache kommt, daß ein anderer Führer der Emigration, Velison, der in Galați verhaftet worden, nunmehr in Bukarest frei war, veranlaßte den Vertreter des Nachbarstaates zur Schlußfolgerung, daß die rumänische Regierung weiterhin die gesamte bulgarische revolutionäre Bewegung begünstige<sup>68</sup>. Derselben Überzeugung war auch die ottomanische Regierung. Am 30.VIII./10.IX. machte der Großwesir Aali Pascha den Fürsten direkt auf die Verantwortung aufmerksam, die er als Staatschef auf sich lade, wenn er weiterhin die Tätigkeit der bulgarischen revolutionären Gruppen in Rumänien gestatte, eine Tätigkeit, die in einer Reihe von Artikeln der konservativen Presse enthüllt worden war<sup>69</sup>. „J'ai le ferme espoir — schrieb der Großwesir — que Votre Altesse ordonnera les mesures les plus efficaces pour mettre un terme à cet état des choses et pour empêcher dans les Principautés-Unies, tout ce qui pourrait nuire à la tranquillité des Provinces limitrophes" <sup>70</sup>. Der Brief war in sehr kategorischem Ton verfaßt. Entgegen den protokollarischen Gewohnheiten antwortete nicht der Staatschef dem Großwesir, sondern der Vorsitzende des Ministerrates und Außenminister dem Chef der ottomanischen Regierung (Sawfet Pascha), und dies mit einer Verspätung von einem Monat. Die Antwort war nicht weniger kategorisch und beschuldigte die ottomanische Regierung, daß sie die von der rumänischen Oppositionspressen veröffentlichten tendenziösen Nachrichten als gültig hinnehme und auf dieser Grundlage die Garantiemächte zu einem Vorgehen gegen Rumänien veranlassen wolle. Unter Bezugnahme auf das in Petrosani Vorgefallene, erklärte Nicolae Golescu, daß die rumänische Regierung in keiner Weise dafür verantwortlich gemacht werden könnte, ebensowenig wie die ottomanische Regierung

<sup>67</sup> ... „Mais les laisser libres et sans surveillance à Ibraïla, le centre d'une population bulgare très nombreuse, cela revient à vouloir, en quelque sorte, servir les desseins que ces personnages si connus, ont hautement manifestés". Archives diplomatiques, 1869 (IX), S. 114, 115.

<sup>68</sup> Ebd., vgl. auch Документи, Bd. V, S. 94.

<sup>69</sup> Siehe die Zeitungen „Terra" und „Romnul", Monate Juli-August 1868.

<sup>70</sup> Archives diplomatiques, 1869 (IX), S. 527.

an der Gründung von „Banden“ auf ihrem eigenen Gebiet schuld sei. Weiterhin werden die Argumente bezüglich der polnischen revolutionären Vorbereitungen auf dem Gebiet der Türkei sowie die Bewaffnung der bosnischen Aufständischen durch die österreichische Regierung wieder aufgenommen, die bereits in einer frühen Note vorgebracht worden waren. Gleichzeitig wurde unterstrichen, daß sich Rumänien im Gegensatz zur Haltung der Türkei, die sich an die Garantiemächte gewandt hatte, nicht bei denselben Staaten beklagt hatte, obwohl es dazu berechtigt gewesen wäre. Die Antwort schloß mit der Bemerkung, daß alle Bulgaren, die sich gegen die Interessen des rumänischen Staates vergangen hatten, den Gerichten übergeben wurden und die Ergebnisse der Untersuchungen abgewartet werden<sup>71</sup>. Um den Erklärungen aus der erwähnten Note nicht zu widersprechen, wurden die rumänischen Wachsamkeitsmaßnahmen verschärft. So konnte das österreichisch-ungarische Konsulat in Rutschuk endlich in Wien berichten (11./23.IX.), „... die dortige (Bukarester—*Anm.d.Verf.*) Regierung verfolge die Bulgaren-Komitees und verhindere die Bildung von Banden“<sup>72</sup>.

Die Note der rumänischen Regierung, die dem starken Gefühl der Solidarität des rumänischen Volkes mit dem Kampf um die nationale Befreiung Bulgariens entsprach, wurde von der Pforte als ein der Unabhängigkeitserklärung vorangehender Akt der Nichtunterordnung betrachtet<sup>73</sup>. Um jeder Überraschung vorzubeugen, beabsichtigte die Pforte, Truppen an der Donau zu konzentrieren, um dann Carol I. ein Ultimatum zu stellen und von ihm die Einhaltung der internationalen Verpflichtungen zu verlangen, sowie als Folge davon „die Auflösung und Ausweisung des bulgarischen Komitees“. Im Falle der Ablehnung sollte das türkische Heer über die Donau setzen und von Gewalt Gebrauch machen. Der Großwesir hatte auch die Absicht, ein Memorandum zu verfassen und es anderen Großmächten zuzusenden, um einige Bestimmungen des Pariser Vertrages bezüglich der Rechte der Pforte über die Fürstentümer zu ändern. Die ganze Schwierigkeit bestand darin, eine Formulierung zu finden, auf Grund deren die neue Fassung nicht auch Änderungen auf Verlangen Rußlands nach sich ziehe<sup>74</sup>.

Angesichts dieser ersten auswärtigen Lage mußte die Regierung Nicolae Golescu am 16.XI.1868 zurücktreten. „Le cabinet a dû reconnaître

<sup>71</sup> Archives diplomatiques, 1869 (IX), S. 532.

<sup>72</sup> Документи, Bd. VI, S. 207—8.

<sup>73</sup> Archives diplomatiques, 1869 (X), S. 230.

<sup>74</sup> Anlässlich des Besuches, den der Vertreter Österreich-Ungarns Prokesch-Osten, dem Großwesir am 12.XI.1868 abgestattet hatte, fand er diesen „entschlossen, die Unabhängigkeitserklärung nicht abzuwarten, sondern ihr zuvorzukommen“. Bd. V, S. 101.

que son maintien aux affaires devenait impossible en présence des appréhensions que ses derniers actes avaient répandues et de la légitime défiance qu'il inspirait aux représentants de toutes les Puissances. La réponse de M. Nicolae Golesto à Savfet Pacha avait comblé la mesure" <sup>75</sup>.

Die Frage der bulgarisch-rumänischen Zusammenarbeit war jedoch nur eine der Ursachen, die den Sturz dieser Regierung herbeigeführt hatten. Abgesehen davon gab es auch andere Ursachen auf dem Gebiet der Innen- und Außenpolitik. Die Konservativen übten einen starken Druck aus, um ans Ruder zu kommen; die Regierung N. Golesto hatte versucht, den immer stärker werdenden Bestrebungen Carols I. Rumänien Preußen unterzuordnen, einigen Widerstand entgegenzusetzen. Wie bereits erwähnt, war Österreich mit der Politik N. Golestos nicht einverstanden; England und Frankreich waren mit der Politik Rumäniens gegenüber der Türkei unzufrieden, da sie den Markt von Konstantinopel beunruhigte.

So endete im Jahre 1868 eine der wichtigsten Etappen in der Geschichte der Bewegung für die nationale Wiedergeburt Bulgariens. Sie ist ein Kapitel in der Geschichte der rumänisch-bulgarischen Zusammenarbeit, innerhalb dessen die rumänische Unterstützung ein doppeltes Ziel verfolgte: einerseits die Bildung des bulgarischen Nationalstaates zu fördern und andererseits den Weg für die eigene Unabhängigkeit zu bahnen, als Folge der Schwächung der suzeränen Macht.

Zwei Wochen nach dem Rücktritt N. Golestos wurde in einer Parlamentsrede zum Ausdruck gebracht, daß die zurückgetretene Regierung die politische Tätigkeit der bulgarischen Emigranten geduldet hatte, da sie der Ansicht war, diese Bewegung sei den Lebensinteressen des Landes nicht abträglich. Sogar als der Druck der fremden Mächte bedrohlicher wurde, waren die Repressalien gegen die Führer der Emigration eher formeller Natur gewesen: „Niemand konnten wir die in Rumänien lebenden Bulgaren verraten und sie dem Henker ausliefern und werden es auch nie tun können". In derselben Rede wird jedoch hervorgehoben, daß die rumänische Regierung diese Haltung nur deswegen eingenommen hatte, weil sie „dem Willen der ganzen Nation" entsprach <sup>76</sup>. Dies beweist eindeutig, die lebhaften Gefühle der Sympathie und Solidarität, mit denen das rumänische Volk den Kampf um die nationale Befreiung Bulgariens betrachtete.

<sup>75</sup> Archives diplomatiques, 1869 (IX), S. 536.

<sup>76</sup> „RomInul", 30.XI.1868, S. 1-4.

# OBSERVATIONS ON FOLK ART IN TIMOC

## I. STRUCTURES

by PAUL PETRESCU

The Balkan Peninsula presents a special interest from the point of view of the ethnographical interferences. A mere glance over the ethnical, linguistic and even denominational maps justifies the interest aroused by such a study.

The present short survey has its start in the necessity of understanding and mutual acquaintance. The studied area is situated in the far North-West of Bulgaria, including a series of villages inhabited by Rumanians belonging administratively to the Vidin and Cula districts. It is part of the larger area of the Timoc taking up its name after the first important tributary of the Danube after the latter's flowing through the Iron Gates. One can easily see on a large scale map of the relief of the lower course of the Danube that the large river runs along a vast plain looking like a gulf which continues the immense steppes of the East. To the south and the north, the Danube plain is flanked by the heights of the Balkan Mountains and by those of the Meridional Carpathians. The two mountain chains merge in the west forming a big arch. Reaching the Timoc river the western Balkans join the Carpathian chain through the lower elevations of the Deliovan and Miroc in the west of Timoc. In this cul-de-sac, cut only by the deep and narrow gorges of the Danube, the studied area lies in a position symmetrical to that of the Mehedinți in Rumania.

The long historical cohabitation, the old traditions of friendship based on a similar way of life and common aspirations of liberty and struggle against oppressors, have given birth to a series of ethnographical as-

pects deserving the researchers' attention. Founded on a common for Balkan area material-cultural fund, these aspects have, nevertheless, their own distinctive features. Thus, one can distinguish in the Rumanian villages visited by us during our field researches on the right side of the Timoc Valley\*, some ethnographical elements common to either side of the Danube as well as some pure South-Danubian ones.

We consider that the gathered material — comprising about 600 photographs, drawings, sketches and plans — will prove useful to the ethnographical researchers — as there are only a few scattered indications in the specialty literature.

Hereunder we present the material regarding the structures. Speaking about them, of course, we must mention, though fugitively, the settlements too. To the traveller who crossed the Danube the impression of parallelism in the general aspect of the human settlements is evident. The town of Vidin differs little from the small Danubian towns on the left bank of the river as Cetatea, Calafat, Bechet, Corabia, etc. One could see there stone-paved streets bordered by low houses, the centre having one-storeyed houses with small shops on the street level. Roofs made of round tiles were still to be seen. Frames, friezes and false columns made of gypsum casts imitated the neo-classical style in fashion at the beginning of our century. It is known that, as a rule, the Rumanian small towns formed pairs with those on the other bank: Calafat — Vidin, Bechet — Rahova, Corabia — Ghighen, Turnu Măgurele — Nicopole, Giurgiu — Ruscicuc, Zimnicea — Siștov, Oltenița — Turtucaia, Călărași — Silistra. Ancient crossing-spots of the riverain population in the past, they had not the time and the historical respite to transform themselves into large towns crossed by the Danube as it happened on the middle and upper course of the river in Central Europe. The aspect of the towns on either side of the Danube had also many similar features in the past. In the plain area, e.g. at Giurgiu, Corabia or Lom, the towns had numerous half-dug-out houses. At Lom, for instance, between 1890 — 1900 there were four slums formed by half-dug-out houses.<sup>1</sup> Westward, e.g. at Vidin, in the neighbourhood of the forests, the houses were made of wood and covered with tiles in the first half of the last

---

\* The field research was accomplished in 1956. Photos were taken by the author.

<sup>1</sup> I. Bassanovici, *Materiali za sanitarnata etnografija na Bălgaria*, I. *The Lom district (1880 — 1889)*, Sofia 1891, p. 44, after G. Cojuharov, *Starata selsca cășcia v severozapadna Bălgaria*, Sofia, 1958, p. 60.

century. There were also houses made of "paiantă", i.e. a wooden skeleton filled with brickwork.<sup>2</sup>

As regards the villages we must mention in the first place that in the plain region, especially in the Lom and Cutel rural districts, the settlements were very small and scattered even until an epoch very near to our times, namely, the end of the last century. A series of present-day villages did not even exist one hundred years ago.<sup>3</sup> At the same time the regions of Vidin and Cula had a numerous population. It is known that in those areas the population density is one of the highest in Bulgaria.<sup>4</sup>

In what concerns the type of structures, in the plain area the half-dug-out dwellings predominated until very lately at the end of the 19<sup>th</sup> century. We must add that, in the past, they represented the overwhelming type of abode in some parts in the North of the Danube too. Until about 1910, whole areas as, for instance, the South of Dolj, Romanați, and Teleorman, had their villages formed by half-dug-out houses of the same type as the two specimens dismantled in Castranova and Drăghiceni (villages near Caracal) brought to the Village Museum in Bucharest in 1949. From the statistics made by Locusteanu in the Geographical Dictionary on the Romanați district it comes out that in only one rural district near the Danube there were about 11,000 half-dug-out houses as against 1700 on the ground level.<sup>5</sup> The situation was similar in the South of the Danube. It seems that this type of abode is much older in the Danube plain. About 1670, the English traveller, Edward Brown saw the half-dug-out houses alongside the Danube and was astonished at their aspect.<sup>6</sup> In 1832 and 1834, Alecsa Ivici saw them in numerous villages between Vidin and Siștov<sup>7</sup>. Felix Kanitz, who travelled in the South of the Danube by 1870, when seeing such half-dug-out houses (there is an image of such abodes in his book) wrote that ancient Ptolomey had made mention in his writings of the dug-out huts common to the population of North-East Moesia,

<sup>2</sup> Alecsa Ivici, *Po Bugarsco pre sto godina*, Sb. N. Un. Kn. XXI, 17, Sofia, 1937, p. 5—10, after Cojuharov, *idem*, p. 58.

<sup>3</sup> I. Bassanovici, *idem*, p. 27.

<sup>4</sup> While the average density of the population on the whole Bulgaria is 63.4 inhabitants on 1 km<sup>2</sup>, in the Vidin district it is over 100 inhabitants on 1 km<sup>2</sup>. *Bolșoia Sovetskaia Enſiclopedia*, Moscow 1950, vol. V, p. 404.

<sup>5</sup> C. I. Locusteanu, *Dicționar geografic al jud. Romanați*, Bucharest, 1889.

<sup>6</sup> Edward Brown, *A brief Account of some Travels in Hungaria, Servia, etc.*, London, 1673, after F. Kanitz, *Donau, Bulgarien und der Balkan*, Leipzig, 1870, p. 84.

<sup>7</sup> Alecsa Ivici, *Po Bugarsco pre sto godina*, Sb. N. Um. Kn. XXXI 17, Sofia, 1937, p. 5—7, 10 after G. Cojuharov, *Starata Selsca cășcia v severozapadna Bălgaria*, Sofia, 1958, p. 58.

on the Danube.<sup>8</sup> The Bulgarian researchers agree that the half-dug-out hut was spread in the plain situated between the Danube and the Balkan Mountains.<sup>9</sup>

At the end of the 19<sup>th</sup> century, whole villages in the neighbourhood of Lom, as for instance, Covăcița, Măcrișul, a.s.o., were formed only of half-dug-out houses, the churches (as those in Romanați) having the same structure. According to Bassanovici, in 1882 in the Lom rural district there were 3 513 dug-out huts and 1 992 houses on-the-ground-level. In 1891, between 30 per cent and 35 per cent of the population of this rural district were still living in half-dug-out houses.<sup>10</sup> It is worthwhile recording the fact that in a statistics on rural districts made by the same Dr. Bassanovici, a differentiation between the plain areas near the Danube and those near the mountains is to be noticed. Namely, while (in 1888) in the Lom and Cutel rural districts the half-dug-out houses represented 33.93 per cent and respectively 34.28 per cent of the total number of abodes, in the Bercovitză rural district they represented only 12.81 per cent.<sup>11</sup> This situation pointed out by Cojuharov too<sup>12</sup> is somewhat similar to that in the North of the Danube where in the Mehedinți, Gorj, Romanați and Dolj districts the half-dug-out houses decreased in number until they disappeared completely in the vicinity of the hilly area.

That is why in the villages we have studied in the Vidin and Cula districts, we came across no such specimen of this type of abode. Of course, in the past, it might have existed, but, at any rate, in a reduced number in comparison to the Lom surroundings near the Danube. The only half-dug-outs we came across — in Bregova and Rabrova — were designed to shelter the cattle and their plan was orientated along the longitudinal axis of the structure, being thus similar to those met in the past in the hilly area of Oltenia — Vilcea.<sup>13</sup> The building system of the “bordeuț” (dug-out shelter for cattle), destined to shelter the cattle, in figure 1, (the village of Rabrova) is similar to that of the “pălănci” (cattle shelter), attached in the past to the Mehedinți mansions and to Banat abodes in the Cernei

<sup>8</sup> F. Kanitz, *Donau, Bulgarien und der Balkan*, Leipzig, 1870.

<sup>9</sup> Todor Zlatev, *Bălgarscâta cășcia prez epoliata na Văzrajdaneŭto*, Sofia, 1955, p. 21.

<sup>10</sup> I. Bassanovici, *Materiale za sanitarnata etnografia na Bălgaria*, I, *the Lom district (1880—1889)* Sb. N. Um. kn. V, Sofia 1891, p. 44 after G. Cojuharov, *Starata selsca cășcia v scverozapadna Bălgaria*, Sofia, 1958, p. 58.

<sup>11</sup> *Ibidem*.

<sup>12</sup> “The half-dug-out house predominated in the plain area, while the on-the-ground one predominated in the hilly districts” — G. Cojuharov, *ibidem*, p. 59.

<sup>13</sup> Fl. Stănculescu, Ad. Gheorghiu, P. Petrescu, P. Stahl, *Arhitectura populară românească*, Regiunea Pitești, Bucharest, 1958.

mountains : four pillars fixed into the ground, two at the entrance and two at the end of the shelter, propped up two thin wall-plates placed lengthwise. The oblique rafters, rested on the wall plates and had one end



Fig. 1. — Old type cattle shelter (beginning of XX<sup>th</sup> century).

on the ground. Two interior pillars, on the median axis of the building, sustained the ridge-pole of the roof. On the rafters and on the ridge they put clay and straw in a 50 cm thick layer. The two pillars at the entrance formed also the door's frame.



We must add that the dug-out house — which served as an abode in the Danube plain and which — according to the data given both by Kanitz in the work quoted above and by old men (Stan Constantin, 90, in 1958, from the village of Virf<sup>14</sup> and other informers from Bregova) —




Fig. 2. — Half-dug-out house in Romanați.

predominated in the plain villages — had a different structure in the past. By its dimensions and sometimes by the amount of timber used it was in fact a half-dug-out house. Owing to the extension of the construction this type of abode is related to the dug-out houses met on an extensive area in Southern Europe. It is notable their high frequency at the Roman peoples as it was underlined in a recently published book by a well-known researcher in comparative Roman ethnography.<sup>15</sup> As the scientific interest

<sup>14</sup> G. Cojuharov, *Starata selsca cășcia v severozapadna Bălgaria*, 1958, p. 98 and note 92.

<sup>15</sup> Wilhelm Giese, *Los pueblos romanicos y su cultura popular*, Bogota, 1962, p. 21 and 94.

in the dug-out-houses in the Danube plain is particularly great, we think it useful to describe them. Here is how it was built such a house of the middle of the last century in Oltenia and how it looked like (specialty literature offers no description of such structures from the right bank of the Danube). Unlike the cattle shelter whose section was a triangle  $\triangle$ , the dug-out house had a pentagonal section . In the 1.50–2 m deep hole there were placed vertically pieces of wood about 2–2.50 m long (called “pidvoare”) after the burning of the hole’s earth walls. On this 10–20 cm thick lining, the lateral wall plates disposed horizontally were propped up by some pillars. On the wall plates fell the lower ends of the rafters (halves of 30–40 cm thick oak logs fixed by some wooden devices. The upper ends of the rafters were leaned against the long ridge beam, which in its turn was sustained through the “amnare” (massive wooden consoles), by the big pillars (four in number), one at each end and one inside the two interior walls — (“primezi”) placed on the structure’s axis. Within the building the timber remained as such getting an admirable touch as time passed by. Sometimes, wood carvings covered the walls of the rooms. In the forest steppe of Romanăți, for instance, such oak-built houses (made of 12 m long girders with 30–40 cm square side, sustained by massive pillars 3.50–4 m high), had sometimes a plan comprising as many as 6 rooms. Such a dug-out-house required a quantity of timber amounting to 20 tons of shaped oak (Fig. 2). The central room named “la foc” (at the fireplace) sheltered the hearth covered by a solid chimney. On either side there were a “sobă” (a living room heated by a blind stove) and a cool larder (a pantry for keeping food, vessels, small tools). At the larger plans, the fireplace was flanked by two “sobă” (“stove”) each having a larder at its end. The access to it was possible through an open entrance hall covered by a separate roof, without any door. There were no steps to get into the house but a sloping path. The entrance, ornamented in bold relief carvings rendering solar symbols, human faces and hands, was guarded by two horse heads engraved thickly in oak boards. The house was endowed with monumentality due especially to the massivity of the girders. The saddle-roof made of clay and straw rose like a hillock. In a first phase, the plan of the half-dug-out houses was conveyed to the so-called “cenușare” — houses that preserved unchanged the rooms’ order of the dug-out hut and having the entrance hall outside the basic rectangle of the house’s perimeter, and later of the houses as such, built on the ground level. We do not know whether in the past this type of dug-out house we present in figure 2 and figure 3 — was uniformly spread in the

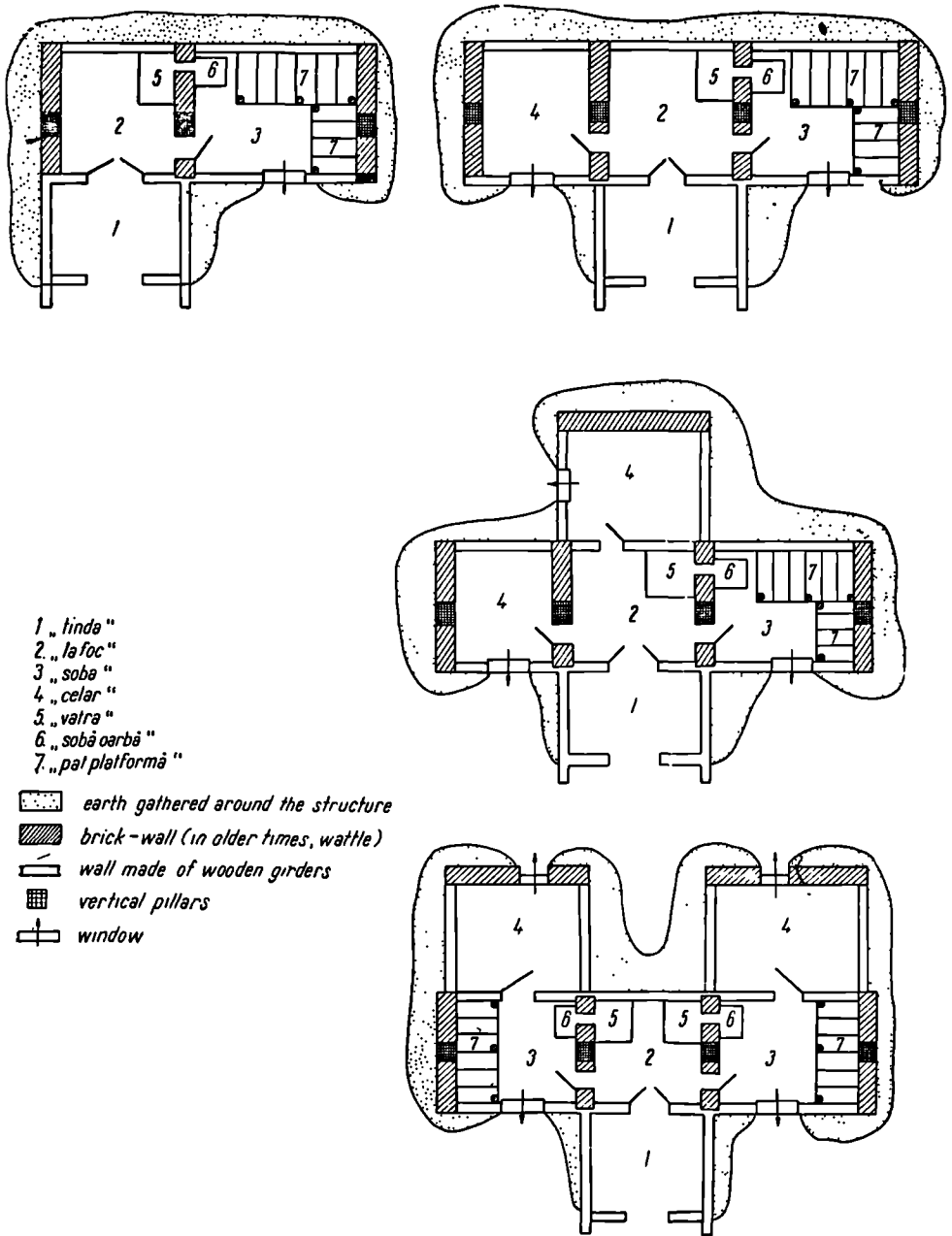


Fig. 3. — Designs of wooden half-dug-out houses in Southern Oltenia: 1. entrance-hall; 2. central room — “at the fire”; 3. living room — “stove”; 4. larder; 5. hearth; 6. blind stove; 7. platform-shaped bed.

entire Danube plain. It is sure that its presence was conditioned by the nearness of a forest, a premise fulfilled on the left bank of the Danube where, besides the forest zone near Caracal, the Vlăsiei forest spread beyond the river Olt. With regard to the right side of the Danube, we suppose that in the building of a dug-out-house it was used a smaller amount of massive timber, this being, probably, replaced by wattle, especially for its "bottoms" (This may be seen also in Kanitz' image of a dug-out hut).<sup>16</sup>

We must mention that, in the specialty Bulgarian literature, older authors made a difference between the dug-out hut ("burdei") and the dug-out house ("ija"). Marinov, for instance, in spite of the fact that he included them in the same category called "earthen house" ("uzemna cășcia") he differentiated them by saying that the "burdei" was a simple hole covered with earth, while "ija" was larger and sometimes possessed more rooms.<sup>17</sup>

According to Cojuharov the two kinds of structures would differ also by the presence of the cellar's entrance (called "grivă" or "griviță"<sup>18</sup> at the "burdei"<sup>19</sup> and of the "buharia" at the "ija".)<sup>20</sup> These differentiations would then indicate to us, for the right bank of the Danube too, the presence of the more developed half-dug-out structures of the same type as those in Oltenia. This presence is confirmed by the researcher Petăr A. Petrov from the Institute of Ethnography of the Bulgarian Academy of Sciences, who indicates large half-dug-out structures on a vast territory on the right side of the Danube situated between the courses of the rivers Timoc in the West and Osem in the East.

More remarkable is the fact that the Osem runs into the Danube near the junction of the Olt, thus marking the spread of this kind of structures to the South of the Danube on a territory corresponding in size to Oltenia where, as it is known, the spread of the half dug-out houses was the largest in our country. Nevertheless, it must be borne in mind the difference in the plans of this kind of structures in the North and

<sup>16</sup> F. Kanitz, *Donau, Bulgarien und der Balkan*, Leipzig, 1870.

<sup>17</sup> D. Marinov, *Gradivo za rescevernata cultura na zapadna Bălgaria*, Sb. N. Um., Kn. XVIII, II materiali, Sofia, 1901, p. 9 after G. Cojuharov, *op. cit.*

<sup>18</sup> G. Gunceev, *Uzemite cășci v Dunarsca Bălgaria*, GSU, IFF, kn. XXX 14, Sofia, 1934, p. 36-38, after G. Cojuharov, *op. cit.*

<sup>19</sup> T. Pancev in *Dopălnenie na bălgarschia recinik ot N. Gherov*, Plovdiv, 1908, p. 80, gives the following definition of the "grivița" or the cellar's entrance: "edin vid prust v hiya uzem v bordel, prez coito se vliza v cășci" after Cojuharov, *op. cit.* In our opinion, "griva" and "grivița" could be a modified form of "criva" = uneven, referring to the sloped, uneven floor of the cellar's entrance.

<sup>20</sup> "Buharia" or "buhria" is defined as follows by T. Pancev in *op. cit.*, p. 40: "stena ot plet i cal v selsca cășcia burdel" v hiya uzem među ognisceto i pratata za zaveț na ogănia". G. Cojuharov derived buharia from a Greek term and considered it as a sort of a screen or shield for the protection of the fire against the wind.

South of the Danube. Those in the South of the Danube with the plan in figure 4 seem to us to be derived from the dug-out hut orientated on a longitudinal axis. The second remark refers to the fact that the abode itself, the barn and the stable were sheltered under the same long roof.

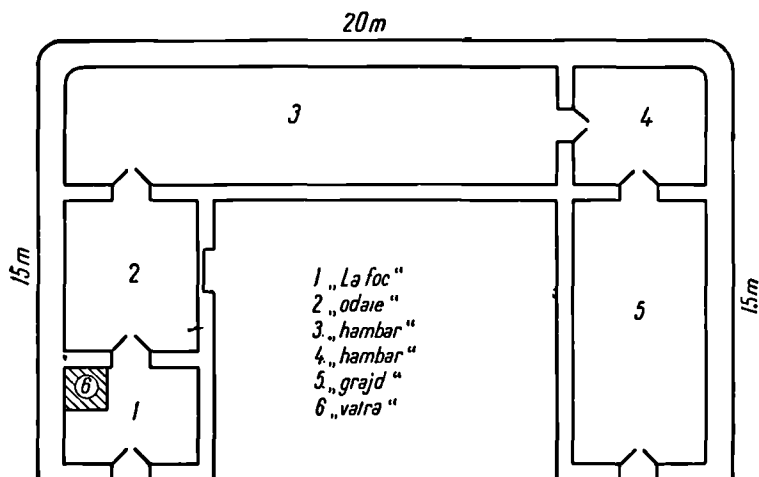


Fig. 4. — "Zemlianika" on the right bank of the Danube (after Petăr A. Petrov): 1. central room — "at the fire"; 2. living room; 3. barn; 4. larder; 5. stable; 6. hearth.

The question which rises is the following : how was this type of abode preserved in Oltenia region almost up to our times ? It seems to us that the answer must be looked for in the different historical and social-economic conditions. Until Bulgarian people conquered its independence in 1877, with the help of the Rumanian and Russian peoples and armies, the Turkish beys represented the ruling feudal class in Bulgaria. The political and military collapse of the Turkish power meant also the rapid dissolution of feudal class, which was almost completely foreign, and of the specific relations of production. The Bulgarian peasantry getting rid of the Turkish land-owners, who had fled away, became masters of the land and made a rapid progress. On the contrary, in Rumania the native feudal class continued to hold their estates while the relations of production preserved to some extent the specific feudal features until the radical agrarian reform of 1945. Undoubtedly these relations characteristic of an obsolete social system, maintained only by the complex play of the social conditions in our country embodied in the well-known coalition of the bourgeoisie and landlords,

brought about the hampering of the development of peasant economy and, implicitly, the persistency of some vestiges of the material culture i.e. the abode of the feudal society.

Whether in the not so distant past, i. e. 50—60 years ago, one could speak about two categories of abodes as well as about two areas where one or another predominated — the dug-out house and on-the-ground-

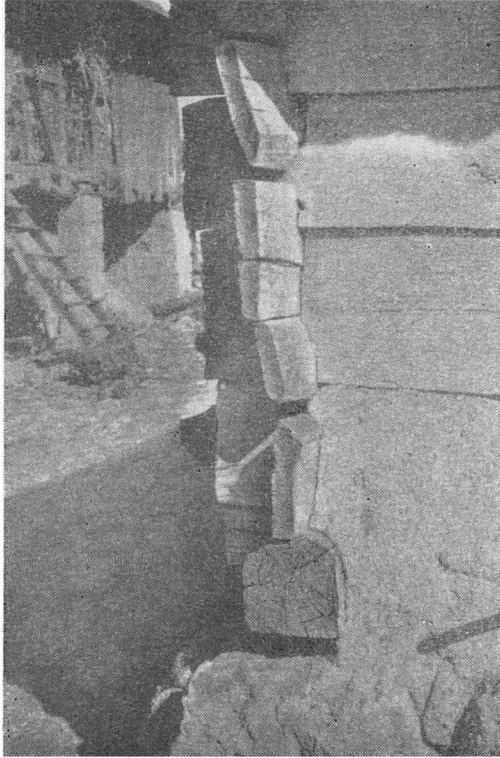


Fig. 5. — Wall made of wooden girders.

level one —, nowadays, the latter is widely spread both on the left and on the right sides of the Danube.

In the zone we have studied in the far North-West Bulgaria the on-the-ground-level peasant house which we shall call for shortly “the peasant house”, presents a series of features deserving our attention owing to the fact that it illustrates the permanent ties between the areas North and South of the Danube.

In what concerns the materials used and the building technique there may be noticed a certain differentiation between the houses of the two subzones — Cîmpeni and Pădureni — called thus after their relief and geographical positions. To the Pădureni subzone belongs the group of villages situated on the once well-wooded hills: Deleni, Fundeni, Rabrova, Boşnac, Perilovăţ, Borilovăţ, Poeniţa, etc. The Cîmpeni subzone comprises the majority of the plain villages of the Vidin district on the Danube's bank and on the last portion of the Timoc: Cosova, Răchiţi, Bregova, Bălii, Vîrf, Novosăl, Florentin, Stanotîrn, Căpitănuţ, Tianovăţ, Negovanovăţ, Gînzova, etc. Regarding the materials used and the building technique the difference between the two subzones consists in the fact that in the villages of Pădureni timber is used to a greater extent than in the plain villages where the unburnt brick and the brick are predominant at present. Naturally we find this difference between the hilly areas and the plain ones in the neighbouring Oltenia too, but in the Timoc region the use of timber, as a building material, does not attain at all the amplexity it gets in Oltenia. We must add that we came across only one house made of "gărniţă" (oak) girders disposed horizontally and fixed up at joints. (Rahova village, Petre Pirvu's house). The girders were very thin (6 cm thick) and not too wide (20 cm, figure 5). Cojuharov too, recorded the scarcity of the totally wooden-built houses.<sup>21</sup> A little more frequent is the building system in "popi" or posts. In Pădureni the skeleton of the old houses built according to this system was composed of "deregi" (strong pillars) hollowed out lengthwise (Fig. 6) into which the horizontal wedge-shape ended girders were fixed. The posts are thrust in "temel" (the boom) and fixed at their top-ends in "polătar" (from "polată") — a girder, part of the house's crown. The posts are joined together by a piece of wood placed obliquely called "paiantă". Besides the "gărniţa" wood (oak) and beech wood, acacia was used too. The posts in the corners of the house are called "colţari" (corner pillars) corresponding to the Bulgarian "igla".<sup>22</sup> The old wooden houses were propped up, like those in Gorj, on enormous stones, called in Timoc "scaune" (chairs), in view of their function to sustain the house; they were placed in the corners and the middle of the house's façade, the stress point of the separating wall of the rooms (house of Marin Gogu in Peri-

<sup>21</sup> G. Cojuharov, *op. cit.*, p. 92.

<sup>22</sup> G. Cojuharov, *op. cit.*, p. 108.

lovăț). As time passed by a stone foundation was built between the great stones. A somewhat similar building system is used in the villages of Cîmpeni area; the older houses are built either from “popi” fixed into the boom, possessing a wooden frame or by pillars fixed into the ground.

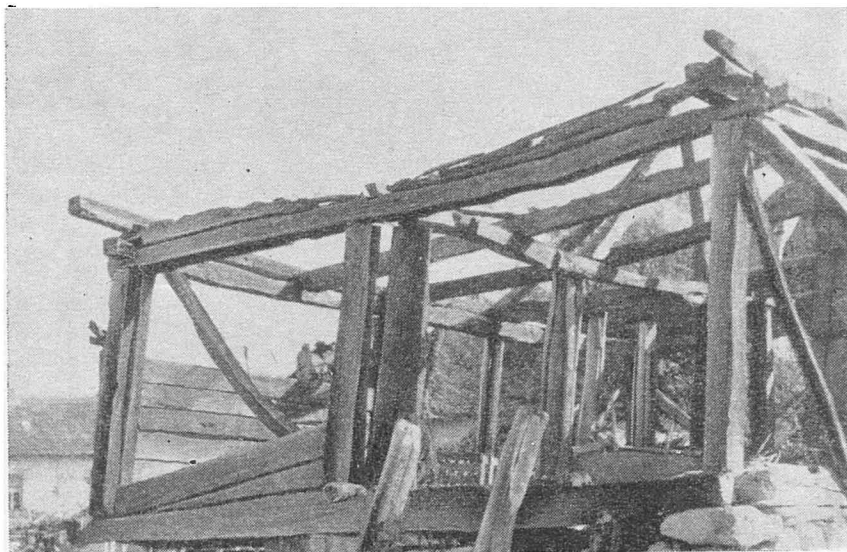


Fig. 6. — Oak-frame of an old house (beginning of XX<sup>th</sup> century).

The walls, like in many newer constructions in Pădureni, are made of acacia wattling stuck with “tină” (mud). The disappearance of the forests and, consequently, of the massive construction timber, brought about the generalization of the use of wattle. In the transition phase towards the brick structures, the wooden skeleton was filled up not with wattle but with adobe and bricks. Nowadays, especially in the plain areas, the use of adobe and bricks has become common. Sometimes in the thick plastering of the adobe-built houses brick fragments were thrust (Fig. 7).

On the girders of the ceiling carved in rough wood, so much unlike the beautiful and carefully shaped ones from the Mehedinți and Gorj and even from Dolj districts, it was built the wooden ceiling cut into two “baschi” or a ceiling made of “văluri” (straw mixed up with mud). The rafters called sometimes “mîrtaci” (a remnant of the dug-out hut’s roof where the pillars sustaining the straw and the mud were called so) are strong enough



to prop up the heavy roof covered with hollow round tiles named here "bricks" (Fig. 8).

The whole hip roof (called in Bulgarian *cetiri vodi*)<sup>23</sup> is very often covered with hollow tiles. Nowadays, very rare specimens show that,



Fig. 7. — House made of adobe with brick fragments into the plastering (beginning of XX<sup>th</sup> century).

in the past too, straw was used as well as stone plates<sup>24</sup> in zones farther in the south than the searched area.

In what concerns the materials used and the building techniques, the total lack of shingles, the massive presence of the hollow tiles, the

<sup>23</sup> G. Cojuharov, *op. cit.*, p. 108, note 63.

<sup>24</sup> G. Cojuharov, *op. cit.*, pp. 63, 64 and 65.

reduced use of timber and the expansion of the framework structures, underline the predominant pure southern character of the peasant abodes in Timoc.

The arrangement of the rooms, the plan of the house, reflected

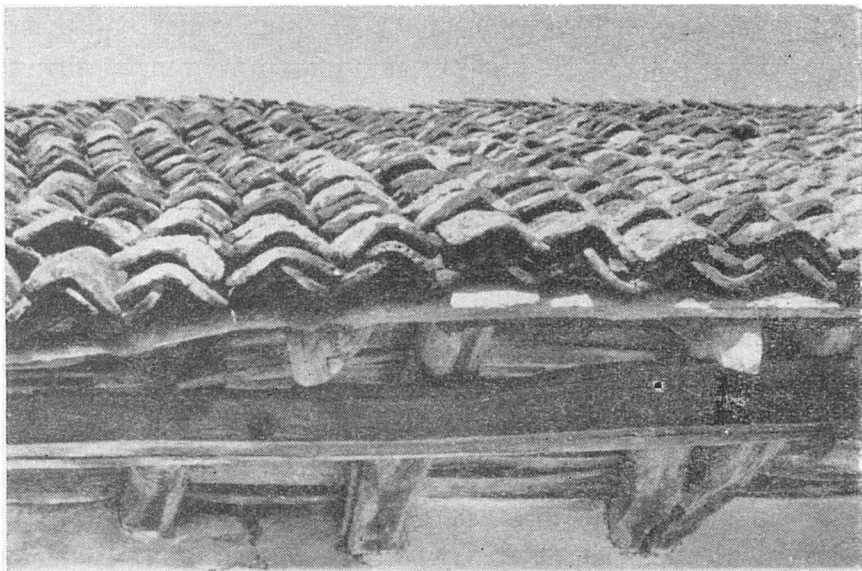


Fig. 8. — Hollow-tiled roof.

sometimes in the façade's composition too, rise a very interesting series of questions concerning the architecture on either bank of the Danube. Of course, the variety of plans is large enough if we consider the different variants and derivations. There are but two plans that have the greatest weight in the folk architecture of Timoc. We refer especially to the old constructions.

1. One of the widest spread plans we came across in the majority of the studied villages was the one possessing a partial pillared gallery in front of the "hogeac" only (the room sheltering the fireplace). The "stove" appears over-dimensioned in comparison to the fireplace room. Concerning the composition of the façade, this means the drawing in of a portion from the line of the foundation's rectangle. The very old character of the plan having partial pillared gallery had, as a result, its being adopted both at the two-roomed house (Fig. 9, a) — the original type for this category of plans — and at those with three or even more rooms (Fig. 9, b, c). At a specimen in Grădeț village

we came across it even at a more developed plan of a pub-house, 150 years old (Fig. 9, d). The name given to the partial pillared gallery varies from "tindă" (Rabrova) to "polată" (Florentin, Cudelin) and to "saivan" (Grădeț). At the older two-roomed houses the hearth is not placed in the corner of the "hogeac" but about in the middle of the "primez" separating the "stove". At these old houses there must be remarked:

a) the existence of a "pop" (post) placed asymmetrically on the pillared gallery;

b) the extremely short ridge of the roof which gives the impression that the hip roof merge forming a pyramid top (fact which can be also noticed at the old houses in Gorj);

c) the chimney erected over the hearth.

This plan with partial pillared gallery is characteristic of the neighbouring zones of the Mehedinți and Banat.

It is recorded also among the archaic plans of the past in very many areas in Oltenia, Muntenia, Transylvania and Banat. The partial pillared gallery of the many-roomed houses is bordered sometimes by archways (Fig. 10).

2. A somehow late development from the point of view of the composition of a partial pillared house's façade is represented by the so-called plan with "inlet". It is also a partial pillared house which this time is placed in the middle of the façade and attached initially to the three-roomed house (Fig. 11). The central "hogeac" with entrance from two lateral "stoves" is recessed in comparison to the façade's line giving place to a sheltered inlet. The characteristic element of this plan is the existence of two hearths in the fireplace room, each one leading to a "stove". This situation reflects the fact that this kind of houses was often inhabited by two families (father and son, two brothers). Like the previous type of house with partial pillared gallery here also exists a "pop" placed asymmetrically in order to leave open the entrance to the house. In other cases the inlet has two or three archways.

---

Fig. 9.— Houses' designs in Timoc. a) 150 year-old house in Grădeț village: 1. room sheltering the fireplace; 2. hearth with chimney; 3. "stove"; 4. partial pillared gallery; 5. posts. b) Old house made of oak girders in Rahova village: 1. room sheltering the fireplace; 2. hearth with chimney; 3. "stove"; 4. partial pillared gallery; 5. stone pavement on three sides of the house, protecting it. c) House in Cudelin village: 1. living room; 2. kitchen range; 3. passage; 4. the "small stove" for clothes and chests; 5. handsome "stove"; 6. partial pillared gallery; 7. stone stairs. d) 120 year-old pub-house in Grădeț village: 1. cellar; 2. hearth; 3. room sheltering the fireplace; 4. room sheltering the fireplace; 5. cellar; 6. room; 7. room; 8. room; 9. room; 10. partial pillared gallery.

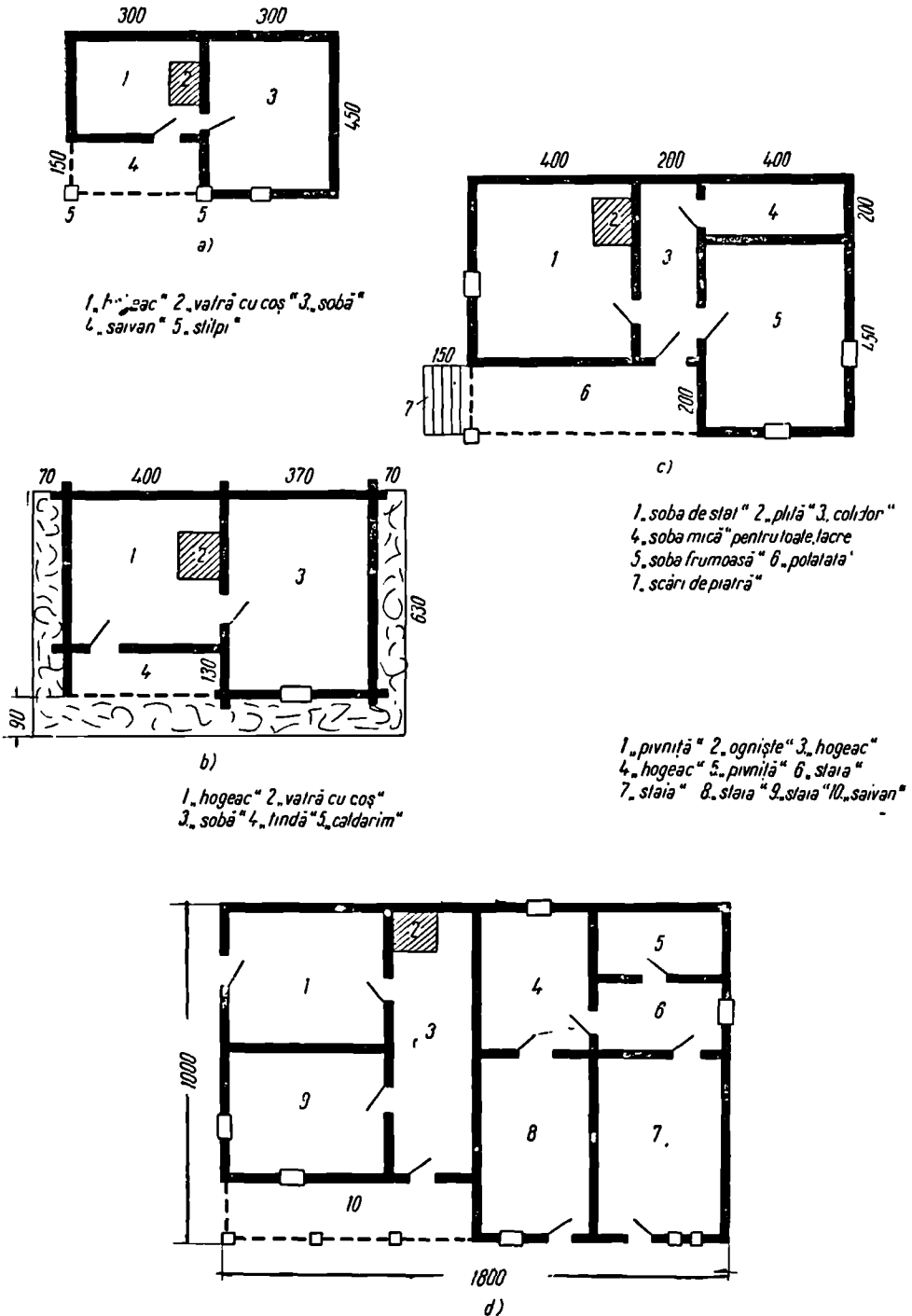


Fig. 9



**Fig. 10. — Partial gallery-pillared house with archways.**



**Fig. 11. — House with "inlet" (the second half of XIX<sup>th</sup> century — beginning of XX<sup>th</sup> century).**

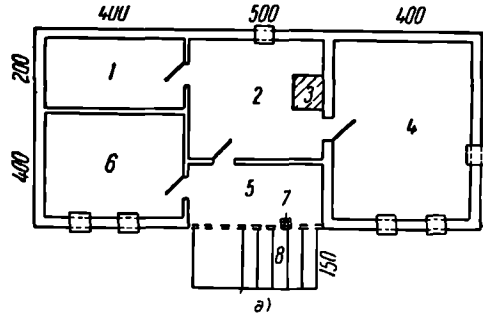
The names of "tindă" and "polată" are preserved. The inlet occurs also at houses with a vast plan, having sometimes up to five rooms (Fig. 12).

It must be remarked that very often this plan results from the subsequent addition of a room joined to a partial pillared gallery which initially was asymmetrical. Cojuharov noticed it too.<sup>25</sup> This is a proof of the oldness of the asymmetrical partial pillared gallery. In fact, we must notice that symmetry is a much newer tendency in the design of the peasant houses.

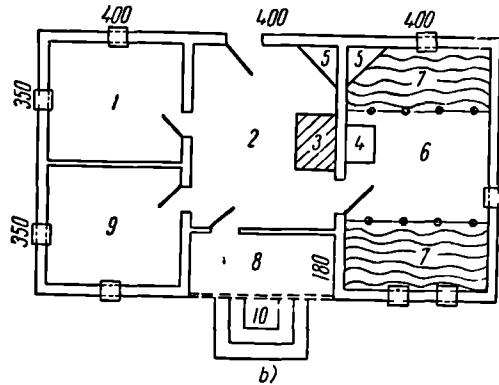
The design endowed with a central fireplace room with two hearths is to be frequently met on a large enough strip in Rumania alongside the Danube. This design is familiar to Southern Oltenia and Muntenia, as well as to Dobrudja. It is also to be found in some zones in Banat. In the rest of Rumania, the central porch — with one fireplace — occurs in isolated zones as Sibiu and Năsăud, yet, we cannot consider the existence of any relation with the design we have described above and which we consider a South Danubian element. It appeared also at the developed dug-out huts already described.

An element in the folk architecture of Timoc, pending to both the design and the façade, is the look-out tower.

<sup>25</sup> G. Cojuharov, *op. cit.*, p. 70.



1. celar\* 2. hoșeac\* 3. vatră\*  
4. soba mare\* 5. tindă\* 6. soba\*  
7. dereg\* 8. scar de piatră



1. sobă\* 2. hoșeac\* 3. vatră cu  
coș\* 4. cupțor-sobă oarbă\* 5. colțare\*  
6. sobă\* 7. pătură mară pe pari  
băluți\* 8. polată\* 9. sobă\* 10. scar\*:

Fig. 12. — Designs of houses with "inlets". a) Stanotrn village house: 1. larder; 2. room sheltering the fireplace; 3. hearth; 4. the "big stove"; 5. entrance-hall; 6. "stove"; 7. post; 8. stone stairs. b) Old house in Tianovăț village: 1. "stove"; 2. room sheltering the fireplace; 3. hearth with chimney; 4. blind oven-stove; 5. corner cupboard; 6. "stove"; 7. big beds on wooden, buried legs; 8. partial pillared gallery; 9. "stove"; 10. stairs; in older constructions, the pillared gallery stretched up to the corner of the house (including the bed 7).

In all the studied villages we came across very beautiful specimens of this important architectural element (Figs. 13, 14, 15, 16). In the majority of cases it was built over the cellar's entrance and placed asymmetrically, with an impressive regularity, to the left side of the house, having a three sided roof and being adorned with adobe archways and a low fret-work ballustrade; this look-out tower is directly connected to the type of look-out tower so widely spread in the North of the Danube. We must mention that in the rest of North-West Bulgaria except Timoc-valley it is extremely rare being scarcely met in Cojuharov's study.<sup>26</sup>

It was met by the same author only once in Strangea village.<sup>27</sup> Also, it is not met in Rodopi.<sup>28</sup> Cojuharov noticed it in South Dobrudja and appreciated it for its beauty.<sup>29</sup> It was of the same type as that in Timoc. In the Eastern and Southern Bulgaria and partially in its central part, there is a room which could be considered as an equivalent to the look out tower, namely the "saloon" or the "bedroom" with consoles built on the upper floor of the building. I mentioned in a study<sup>30</sup> that I came across it in Mesembria. Beautiful specimens were recorded in Arbanasi and Coprivștița too.

In some cases the look-out tower of Timoc is combined with an inlet, which increases its depth. It is an example of a combination of the Northern and Southern Danubian elements.

The tall storeyed house is very rare in the studied zone. Those a few specimens we met belonged to merchants and had shops on the ground level (Fig. 17), or to well-to-do peasants (Fig. 18). Some of them had the storey advancing in a console, betraying an evident southern influence (Fig. 19). Sometimes the storey is determined by the existence of an uneven ground and other times it may be considered as a transformation or as a transition phase between an outhouse typical of the area, i. e. "utrakana" and a house (Fig. 20).

As a rule, the ornamentation of the old folk architecture in the studied zone is very little developed. We recorded only a few specimens

<sup>26</sup> G. Cojuharov, *op. cit.*, pp. 76–77 and 80 — where a plan from Lapușna and a photograph from Bercovița can be seen — and note 43, p. 107, where it is called "prederere".

<sup>27</sup> *Complecsna naucina strangeasca ecpediția prez 1955 godina*, Sofia, 1957, G. Cojuharov, *Narodna jilișcina arhitectura v raiona na Strangea planina*, is presented a single look-out tower in the village of Fakia, figure 28, p. 124.

<sup>28</sup> *Complecsna naucina rodopsca ecpediția prez 1953 godina*, Sofia, 1955, Liuben Tonev, *Narodnata arhitectura v rodopschia crai*, p. 77–142.

<sup>29</sup> *Complecsna naucina dobrogeasca ecpediția prez 1954 godina*, Sofia 1956, G. Cojuharov, *Dobrogeasca cășcia*, "the front look-out tower confers the house a particular beauty. It occurs very frequently in Dobrudja and may be considered a characteristic feature for the local houses", p. 68.

<sup>30</sup> P. Petrescu, *Peasant Rumanian house with look-out tower*, SCIA, 1959.

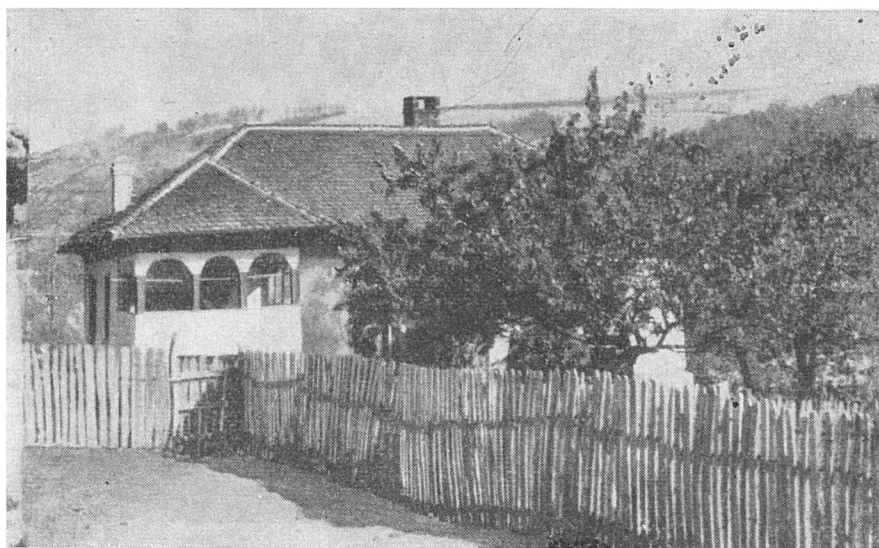


**Fig. 13. — House with look-out tower built on a tall cellar's entrance (beginning of XX<sup>th</sup> century).**



**Fig. 14. — House with look-out tower and "inlet".**





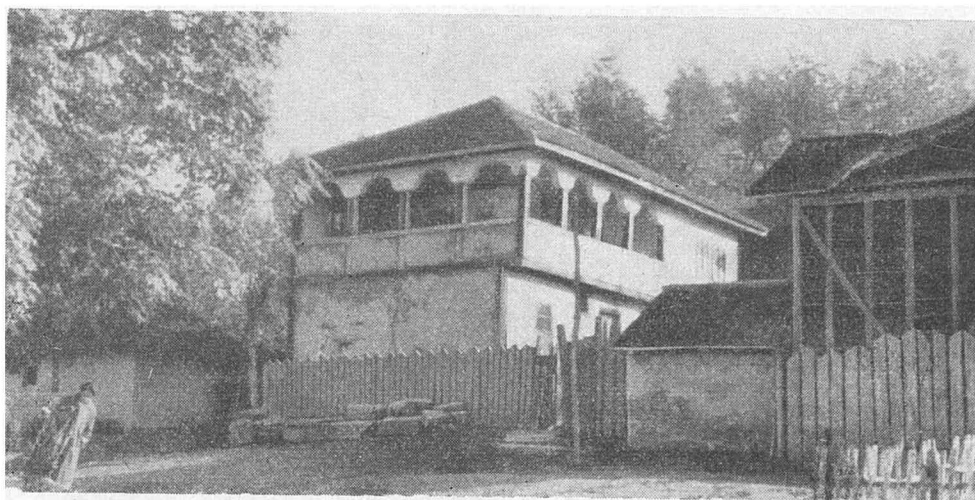
**Fig. 15. — House with look-out tower.**



**Fig. 16. — House with look-out tower (beginning of XX<sup>th</sup> century).**



**Fig. 17. — Storeyed-house (beginning of XX<sup>th</sup> century).**



**Fig. 18. — Storeyed-house (beginning of XX<sup>th</sup> century).**



Fig. 19. — Storeyed-house built in console (beginning of XX<sup>th</sup> century).

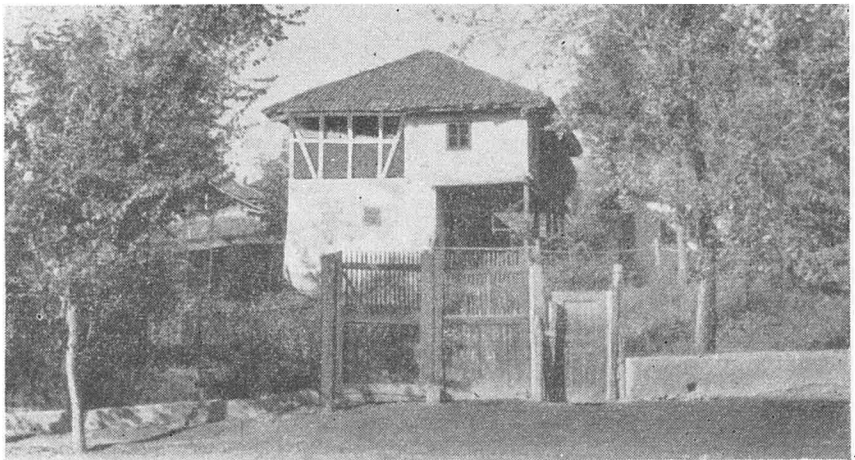


Fig. 20. — “Utrakana” - house.

of very rudimentary carved pillars and of girders' ends belonging to the roof— which were also simply ornamented. At the old houses the plastering and colour were completely absent, the glittering whiteness of the lime supplying the dominant note of the village flooded by verdure. An element of variety is created by the strong and carefully built up chimneys which had their upper parts adorned with pieces of ceramics representing lions and birds (Fig. 21).

The concern for nicely built chimneys is characteristic of the South Danubian structures, such specimens being met in North of the Danube only in the Banat area in the neighbourhood of Jugoslavia.

The archways are an important item of the façade that marks the whole architecture of the zone. Very simply treated, semicircularly shaped, made of adobe, they occur, according to our observations, at all types of houses mentioned above, starting with the two or three-roomed ones up to those endowed with a look-out tower. The decorative effect of these archways called “ochiuri de polată” (Florentin), “cubele” (“cubea” — dome, Stanotîrn) or “chimire” (Bregova) is particularly striking. The white semicircles contrast with the shadow on the pillared gallery on which they move, leaving the impression of a graceful and light building. As a decorative element of the façade the archway is so much appreciated in the area that in a couple of villages on the banks of the Danube in which the presence of the influence of the baroque architecture from the nearby Banat is visible, it has been conveyed to houses very different in aspect. More than that, the archways are present even at the main outhouse of the area “utrakaná” we have mentioned above. From the information we gathered, corresponding in the main to Cojuharov's<sup>31</sup>, the archways seem to have been introduced about the end of the last century by craftsmen who had come from the

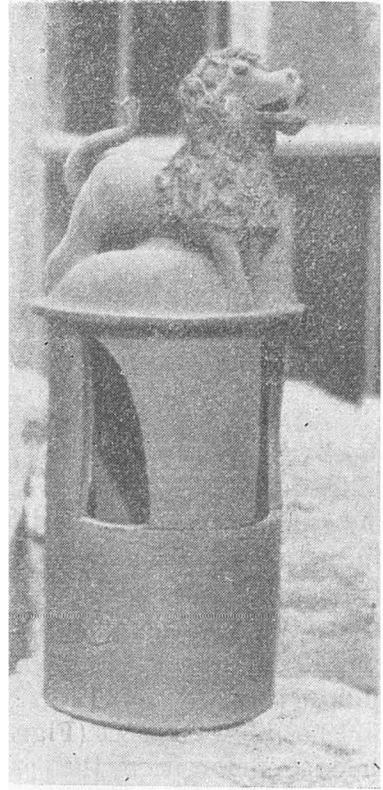


Fig. 21. — Ceramics “lion-shaped” chimney.

<sup>31</sup> G. Cojuharov, *op. cit.*, p. 96 and note 77, p. 109.

other side of the Timoc and who had worked for a while in the big centres (Vidin, Calafat) on the Danube.

In our field research done in the villages on the bank of the Danube, we recorded also an architecture evidently imported from Banat. In Stanotirn, a large and rich village, we were impressed by the very big five or six-roomed houses boldly coloured in red, yellow, blue, green and having the aspect of villas built in a style near or derived from the baroque (Fig. 22). Undoubtedly, they are a reflection of the urban architecture practised in the Banat towns during the Austrian occupation. What seems to us particularly interesting is the fact that each house has got in its design the look-out tower though hidden under the aspect of a façade and exaggerated ornamentation of a baroque pattern. In addition, the look-out tower in the form of a closed, large-windowed room is also built over the "podrum" (the cellar). The semicircular archway is present here too. This kind of architecture with an evidently fashionable character was practised between 1900 and 1940. Rare specimens are older than the beginning of the century.

Extremely important for the demonstration of the quick rising of the living standard of the population in the years of people's power in Bulgaria seems to us to be the trend of the evolution in architecture in the studied area. The new houses are larger and modern in their aspect and these facts are materialized in simple lines and a discreetly arranged geometrical layout, consisting especially in a coloured plastering in relief. Many of them are multi-storeyed, possessing up to 8 rooms. The building materials are the burnt bricks, the cement for girders and pillars, the hollow tiles for roofs (Fig. 23). Large verandahs offer the houses an open and hospitable aspect (Figs. 24, 25). Sometimes, it may be noticed in the façade composition the preservation of some patterns belonging to traditional architecture: the inlet with 'pop' and two archways on the house's axis (Fig. 26). Ornaments in relief are elaborated on the plastering: lions, two doves on the one side and the other of a plant (an image stumped of the 'life's tree' and naively realistic human figures) (Fig. 27).

The presentation of the architecture of the area cannot be concluded without mentioning at least incidentally the outhouse called 'utrakana' a two-levelled structure having the stable on the ground level and the hay barn on its upper part (Fig. 28). Utrakana alone would deserve a whole study owing to its variety in building materials and design. We confine ourselves here at saying that it may be met both at the old homesteads and the new ones, assuming of course, different forms ranging from the rudimentary ones where the basic material is the unshaped



**Fig. 22.** — House with "baroque" architectural elements.



**Fig. 23.** — House in the building process.

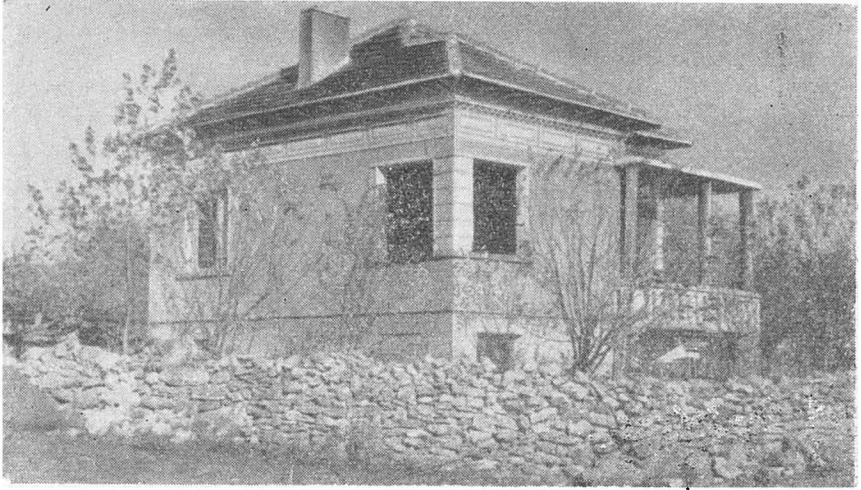


Fig. 24. — New house.

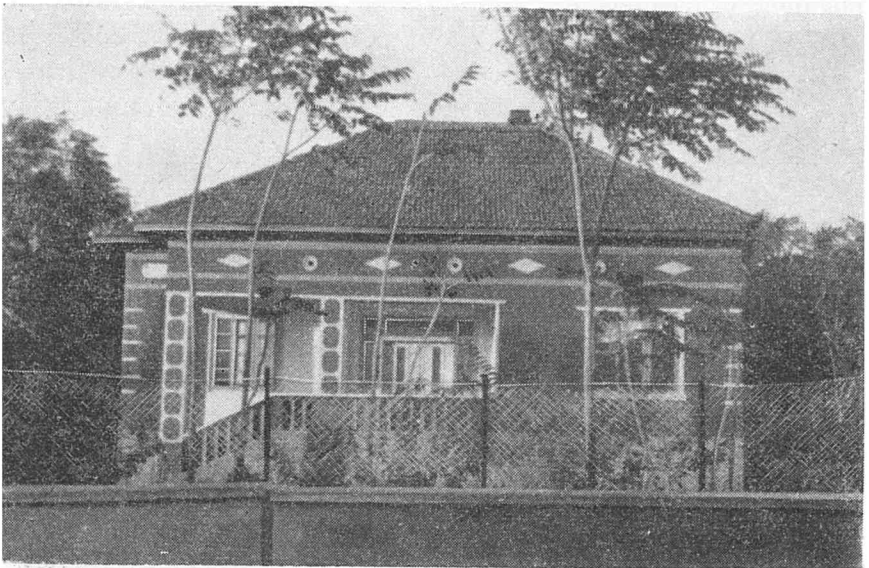


Fig. 25. — New house.

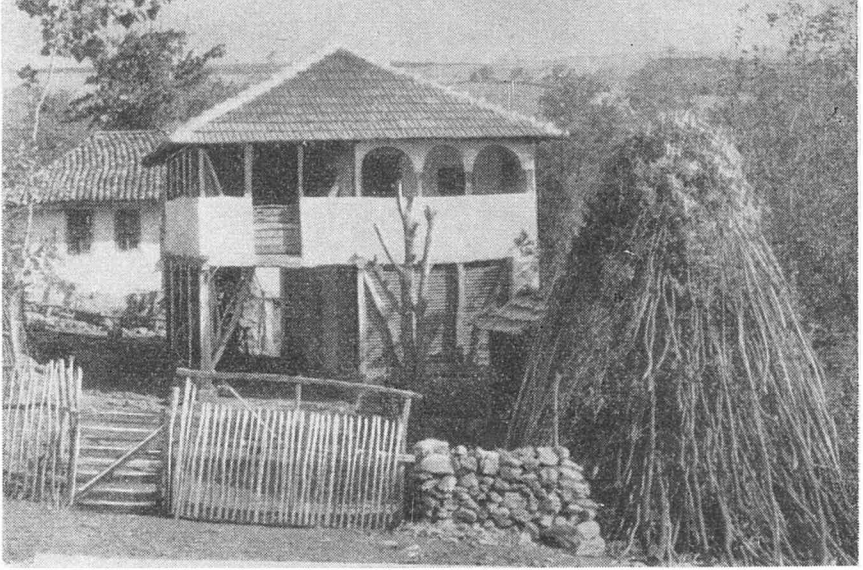


Fig. 26. — New house with "inlet".



Fig. 27. — Aspect of a plastering in bold relief.





**Fig. 28. — Attached structure called “utrakana”.**



**Fig. 29. — General view of the village of Rabrova.**

wood, to the almost pretentious ones with archways and coloured plastering — like at the houses. Having a whole hip roof, “utrakana” often possesses a dwelling room. We have got the impression that we are confronted with a rapid evolution, in the framework of which there will be attained a combination between outhouse and abode as it happens in different regions of Rumania.

In writing about the architecture in North-West Bulgaria, including the area studied by us, one of the Bulgarian researchers states that “it is difficult to make a general characterization” of this old folk architecture.<sup>32</sup> It is true that after doing field researches in almost the entire Bulgaria we tend to give credit to the difficulties the respective author came across in his attempt to relate the North-Western architecture to that of Stran-gea, Rodopi or to that represented by the abodes in Coprivŕiŕa, Plovdiv. Yet we consider that this North-Western architecture has got very well defined elements in what regards the design and elevation, fact which prompted one of the specialists in Bulgarian folk architecture<sup>33</sup> to consider it as a separate unit bordered in the East by the river Isclu. Nevertheless, we think that Zlatev looked upon things somehow unilaterally, connecting this architectural area to Central Europe and basing his arguments on the existence of the semicircular archways. First of all we must take into account all elements and not only the archways and secondly, we have to bear in mind the fact that such archways exist in the rest of Bulgaria too, leaving aside their existence on a large part of the Rumanian territory, much nearer the area under consideration than Central Europe.

---

<sup>32</sup> G. Cojuharov, *op. cit.*, p. 80.

<sup>33</sup> T. Zlatev, *Bălgarskata căŕcia prez epohata na Văzrajdanelo*, Sofia, 1955, p. 63; the same, *Bălgarsca bitova arhitectura*, kn. I, Sofia, 1948, p. 89, after G. Cojuharov, *op. cit.*, p. 96.

## PARALLÈLES FOLKLORIQUES SUD-EST EUROPÉENS

par ADRIAN FOCHI

Le fait est aujourd'hui bien connu : par delà les formes et les expressions différentes qui tiennent au caractère spécifique national, il existe dans les Balkans un fonds folklorique commun et relativement unitaire qui, pour tous les peuples de cette région, constitue le berceau le plus authentique de leurs traditions populaires, le point d'irradiation mais aussi de convergence de leur culture. C'est également un fait unanimement reconnu que ce parallélisme confère justement à la culture de cette partie du monde une physionomie à part, dont la complexité et le caractère spécifique la différencient, qualitativement parlant, de la culture des peuples voisins.

La présente étude, si elle n'aspire pas à élucider les problèmes ardu de principe et de méthodologie concernant ce parallélisme, se propose pourtant d'apporter une contribution à l'étude comparée du folklore sud-est européen en abordant un seul thème poétique, mais un thème connu et fructifié par les créateurs populaires de tous les peuples de la péninsule. Il s'agit du thème artistique qui représente le héros populaire mortellement blessé, faisant son testament et priant ses compagnons ou bien un autre messager, passant par là par hasard, d'aller dire à sa mère, à sa femme ou à ses sœurs, qu'il est mort et s'est marié dans l'autre monde. Dans un langage technique, il s'agit d'un thème poétique qui comprend, dans une formule poétique irréductible, le motif du « testament du héros » associé à celui du « mariage du mort ».

L'existence d'éléments semblables dans le folklore de plusieurs peuples s'explique par deux causes différentes. Ainsi, l'on peut trouver, dans le

folklore des divers peuples, des traits communs sans que ces peuples aient eu des contacts historiques. Autrefois, devant un tel cas, on s'empressait de mettre l'identité du répertoire folklorique au compte de « l'unité de la nature humaine », de la « ressemblance qui existe entre tous les hommes, et surtout entre ceux qui ont atteint le même degré de développement spirituel ». A cette thèse d'inspiration psychologique, les chercheurs ont apporté les amendements nécessaires en précisant que, dans ce cas, « il s'agit d'une ressemblance entre des phénomènes dus à une idéologie historiquement déterminée, et donc à une ressemblance entre les relations sociales »<sup>1</sup>. Autrement dit, la cause la plus fréquente demeure « l'existence d'une ressemblance entre les conditions sociales, économiques et politiques dans lesquelles ces peuples ont vécu et se sont développés »<sup>2</sup>. Telle est également l'opinion de Maximilian Braun<sup>3</sup>, qui affirme : « la possibilité d'une génération spontanée [des sujets, des motifs et des images du même genre], en d'autres termes de leur apparition indépendante chez des populations vivant dans des conditions similaires ». D'où cette conclusion que « des prémisses similaires d'ordre social et concernant la vie de tous les jours donnent naissance, là aussi, à des sujets semblables, lors même qu'il n'existe aucune sorte de contact culturel direct ni d'influence littéraire réciproque entre les peuples »<sup>4</sup>. A cette thèse d'ordre général un correctif est venu s'ajouter, selon lequel, même si les conditions sociales et économiques sont relativement semblables, l'histoire politique des différents peuples et leur création populaire peuvent être différentes. « Dans la mesure où chaque peuple possède sa propre histoire, une histoire concrète et qui ne saurait se répéter, différente de celle des autres peuples, les créations épiques de tous ces peuples différeront. La culture nationale, le caractère spécifiquement national de chaque peuple, toutes choses qui le différencient des autres peuples, sont étroitement liés à son histoire »<sup>5</sup>.

Quant à la deuxième cause qui conditionne l'existence d'éléments communs dans le folklore de plusieurs peuples, elle implique une influence

<sup>1</sup> V. M. Jirmounski, *Эпическое творчество славянских народов и проблемы сравнительного изучения эпоса*. Доклады IV. Международный съезд славистов, Moscou, 1958, p. 15, au sujet de la thèse de A. I. Kirpitchnikov, Кудруна, Харьков, 1874, p. 46—47.

<sup>2</sup> P. G. Bogatyrev, *Некоторые задачи сравнительного изучения эпоса славянских народов*, Moscou, 1958, p. 10—11. Apud : N. Roşianu, *Erosul popular rus și balada populară românească* [L'épopée populaire russe et la ballade populaire roumaine], dans « Romanoslavica », 4, 1960, p. 204.

<sup>3</sup> Maximilian Braun, *Историческая действительность в южнославянской народной эпической поэзии* (Communication au IV<sup>e</sup> Congrès des slavistes), Moscou, 1958, p. 6. ronéotypé et publié dans « Известия АН СССР. Отделение литературы и языка, Moscou, 18, 1959, p. 527—533.

<sup>4</sup> V. M. Jirmounski, *op. cit.*, p. 56.

<sup>5</sup> V. I. Propp, *Русский героический эпос*, Moscou, 1955, p. 29.

réci-proque directe entre deux ou plusieurs peuples et, implicitement, une influence culturelle. Telle fut la thèse de prédilection des chercheurs du siècle dernier, lesquels accordaient une importance dém surée à l'aspect « migrationnel » de la culture. Ce faisant, ils exclu-aient arbitrairement la majorité des peuples du banquet de la création artistique, leur niaient le talent de conserver, sous une forme artistique, le souvenir de leur passé national, ne leur accordant que celui de relater, dans leur propre idiome, des sujets littéraires d'importation. Cette thèse doit donc être débarrassée de toutes les protubérances tendancieuses qui l'encombrent, pour être transformée en un instrument efficace de recherche scientifique. En effet, dans les conditions historiques telles qu'elles se présentent dans la réalité, il n'a pas existé et il n'existe nulle part de développement social et culturel complètement isolé. Il faut donc nuancer cette thèse en y introduisant cette constatation que l'action culturelle réci-proque, dans le cas des phénomènes folkloriques, ne saurait être séparée de deux conditions nécessaires : le rapprochement historique entre les peuples en question, d'une part, et, de l'autre, l'existence de prémisses semblables dans leur développement social <sup>6</sup>. Tel est le cadre théorique dans les frontières duquel nous comptons poursuivre notre sujet.

Disons tout de suite que le matériel que nous allons étudier n'est pas de la meilleure qualité. En effet, il a été recueilli au hasard, et nullement pour servir à cette étude, de sorte qu'il reflète non pas la réalité folklorique dans son acception la plus authentique, mais seulement le stade actuel des recueils de folklore. On ne s'étonnera donc pas d'y constater une sensible inégalité d'ordre géographique. Il faut y ajouter que les textes qui intéressent notre étude n'ont pas tous été recueillis dans le même temps, ce qui eût permis de comparer les phénomènes correspondant à un même degré de développement de la société et de la conscience sociale. Nous voici donc en face d'un matériel qui, du point de vue historique, est nettement hétérogène. Le principe ethnographique n'est pas mieux respecté car, la plupart des matériaux n'étant pas recueillis à l'aide de moyens techniques et scientifiques ni d'une méthode rigoureusement unitaire, on n'y trouvera pas les détails les plus élémentaires sur la façon dont ils ont été recueillis et qui nous eussent permis de nous faire une idée de la circulation, de la fréquence et de l'intensité de circulation des différents textes, ainsi que de leur authenticité folklorique. Il faut avoir surtout en vue leur aspect esthétique, celui-ci constituant le principal critère d'appréciation des faits folkloriques. Mais, là non plus, le matériel ne présente pas toutes les ga-

<sup>6</sup> V. M. Jirmounski, *op. cit.*, p. 6-7.

ranties désirables. Cela étant, force nous a été de recourir à des traductions — qui peuvent être très belles mais fort peu fidèles — ou encore à divers index de motifs ou répertoires thématiques qui ne nous ont fourni que de simples résumés ou bien des schémas abstraits, cela faute de pouvoir accéder aux recueils de base ; ou encore nous avons dû nous contenter d'une information partielle, dans la mesure de nos possibilités de documentation. Ces caractéristiques du matériel — caractéristiques que, en général, les comparativistes dédaignent de prendre en considération, assemblant ainsi des éléments hétérogènes — nous imposent d'être très prudents dans l'énoncé des thèses, dans la marche de nos démonstrations et dans la nature de nos conclusions. Voilà pourquoi nous nous proposons d'interpréter les textes en les considérant surtout comme de simples symptômes culturels, laissant le soin à d'autres études, portant sur une thématique adjacente, de confirmer nos hypothèses.

Le motif de la mort héroïque, dans les conditions mentionnées ci-dessus, n'est pas, dans le folklore des peuples sud-est européens, un phénomène isolé ou dû au hasard. On le trouve réalisé dans de nombreuses formules artistiques, ce qui prouve l'intérêt qu'il offrait pour les larges masses du peuple opprimé. Il n'est pas dans notre propos de tracer le tableau exhaustif de ces formules artistiques, car cela dépasserait le cadre de notre étude ; pourtant, il nous semble nécessaire d'exposer quelques-unes d'entre elles, pour créer la base nécessaire aux discussions qui vont suivre.

Ainsi, chez les Roumains, ce thème paraît assez répandu, puisqu'on en trouve trois types différents, possédant une structure poétique bien définie et ayant une large diffusion géographique. Le premier type est celui de la vieille mère qui cherche son fils. Elle interroge le Danube, le brouillard, le soleil, la lune, le vent, leur demandant ce qu'il est devenu et faisant son portrait. Elle apprend ainsi qu'il gît, blessé, sur le champ de bataille. La vieille femme se change en corbeau et vole vers son fils. Après quoi, le jeune homme l'envoie chercher des remèdes, guérit et repart au combat, ou bien ne guérit pas, succombe, et sa mère avec lui <sup>7</sup>. Toutes les variantes font

<sup>7</sup> T. T. Brada, *O călătorie în Dobrogea* [Un voyage en Dobroudja], Jassy, 1880, p. 113 ; Alexandru Vasiliu, *Cîntece, urături și bocete de-ale poporului* [Chants, souhaits et lamentations funéraires populaires], Bucarest, 1909, p. 20 ; Gr. G. Tocilescu, *Materiatuiri folcloristice* [Matériaux folkloriques], Bucarest, 1900, p. 1230 ; S. Teodorcescu-Kirilcanu, *Comoara sufletului* [Le trésor de l'âme], Suceava, 1920, p. 121. Ayant un développement épique divers : Gr. G. Tocilescu, *op. cit.*, p. 1259, 1284 ; Tudor Pamfile, *Cîntece de țară* [Chants paysans], Bucarest, 1913, p. 74 ; G. Giuglea, *Note și fapte de folclor și filologie* [Notes et faits de folklore et de philologie], Cluj, 1928, p. 526 (Extr. de «Dacoromania», 5, 1927—8, p. 523—553). Voir un thème similaire chez Miron Pompiliu, *Balade populare române* [Ballades populaires roumaines], Jassy, 1870, p. 75 ; Ovid Densusianu, *Antologie dialectală* [Anthologie dialectale], Bucarest, 1915, p. 53.

usage d'éléments fantastiques, certaines davantage, d'autres moins ; en tout cas, ce qui caractérise ce type, c'est justement le large emploi du fantastique et du miraculeux. Le second type renonce à l'épisode de la mère, et l'action épique est beaucoup plus restreinte. Le preux, mortellement blessé, gît au pied d'un arbre, guetté par les vautours. Il les prie de porter à sa mère ou à sa bien-aimée sa main avec son anneau, la seule partie de son corps qu'il leur demande de ne pas dévorer<sup>8</sup>. Bien que le texte se borne à un simple dialogue entre le moribond et les vautours, ce type n'est pas encore complètement débarrassé des éléments fantastiques. Enfin, un troisième type, assez proche du second, nous montre le preux blessé guetté par un vautour et par un loup. Pour ne pas être déchiqueté par le vautour, le preux tente de le tuer à coups de fusil, mais le vautour s'adresse à lui dans le langage des humains et lui dit qu'il a été envoyé par son père pour avoir de ses nouvelles<sup>9</sup>. Comme dans le type précédent, on y retrouve encore des éléments fantastiques, mais réduits à leur dernière expression, à tel point qu'on peut les assimiler à un simple procédé artistique (la personification).

Ce motif existe aussi chez les Serbes. Par exemple, le preux blessé à mort explique comment il désire que l'on creuse sa tombe : large de deux lances, longue de quatre, un rosier à sa tête, une fontaine à ses pieds. Ce faisant, les jeunes gens qui passeront devant sa tombe se fleuriront de roses, les vieillards apaiseront leur soif à la fontaine, et tous se rappelleront sa mort héroïque<sup>10</sup>.

Les Bulgares semblent avoir réalisé la même idée selon plusieurs formules, dont certaines proches parentes de celles que nous avons rencontrées chez les Serbes et chez les Roumains. Par exemple, le preux blessé demande que l'on dresse à son chevet l'étendard qu'il portait de son vivant. Près de sa tombe, on creusera une fontaine et l'on plantera un jardin, pour que les vieillards qui passeront puissent boire de l'eau à la fontaine et que les

<sup>8</sup> S. Fl. Marian, *Poesii populare din Bucovina. Balade romne culesc si corese* [Poésies populaires de Bucovine. Ballades roumaines recueillies et corrigées], Botcșani, 1869, p. 28 ; S. Fl. Marian, *Poesii populare romine adunate și Intocmite* [Poésies populaires roumaines recueillies et arrangées], Cernăuți, 1873, p. 55 ; D. Vulpian, *Poesia populară pusă în musică* [La poésie populaire mise en musique], Bucarest, 1886, p. 87 ; Vasile Bologa, *Poesii populare din Ardeal* [Poésies populaires de Transylvanie], Sibiu, 1936, p. 32 ; Avram Corcea, *Balade populare* [Ballades populaires], Caransebeș, 1899, p. 77 ; E. Hodoș, *Poesii populare din Bănat* [Poésies populaires du Banat], tome II, *Balade* [Ballades], Sibiu, 1906, p. 148 ; S. Teodorescu-Kirileanu, *op. cit.*, p. 48 ; *Antologie de literatură populară* [Anthologie de littérature populaire], tome I, Bucarest, 1953, p. 68.

<sup>9</sup> O. Densușianu, *Grainul din Țara Hațegului* [Le parler du Pays de Hațeg], Bucarest, 1915, p. 296. Voir un thème similaire chez I. Btrica, *Cnteece populare din Maramureș. I. Balade, colinde și bocete* [Chants populaires du Maramureș. I. Ballades, chants de Noël et lamentations funéraires], Bucarest, 1924, p. 70, ainsi qu'une variante de chants de soldats, *ibidem*, p. 69.

<sup>10</sup> Talvj, *Volkslieder der Serben. Zweiter Theil*, Leipzig, 1853, p. 82—83.

jeunes filles viennent cueillir les fleurs <sup>11</sup>. La formule est tout à fait semblable à celles que nous avons trouvées chez les Serbes, mais aussi à des fragments lyriques que nous retrouvons également dans la poésie populaire roumaine. Un autre type raconte l'histoire que voici : le preux blessé gît au pied d'un arbre. Un faucon souhaite qu'il meure pour qu'il puisse se nourrir de son corps. A ces mots, le preux, hors de lui, se traîne jusqu'à son fusil et tue le faucon, puis supplie la fée Samodiva de venir le guérir. Celle-ci survient et le guérit <sup>12</sup>. Comme on le voit, ce récit se rapproche assez des variantes roumaines citées au début de ce paragraphe. Enfin, un dernier type raconte l'histoire de Krali-Marko. Celui-ci, blessé, est guetté par des vautours. Il veut les chasser, mais ceux-ci lui disent qu'ils prient pour sa santé. Dans une autre variante, le preux malade demande aux vautours de faire venir sa mère. Celle-ci arrive et ils meurent côte à côte. Comme on le voit, l'histoire est assez ressemblante à celles que nous content les variantes roumaines <sup>13</sup>.

L'idée se retrouve aussi chez les Macédo-Roumains. Chez un groupe macédo-roumain d'Albanie, par exemple, on raconte l'histoire d'un preux qui gît blessé dans un col, guetté par trois vautours. Il les supplie de ne pas le dévorer tout entier mais d'épargner la main droite pour qu'il puisse écrire à sa mère et à sa femme <sup>14</sup>. Dans une autre variante, le preux prie le vautour d'épargner sa tête, son cœur et sa main droite pour qu'il puisse écrire à sa bien-aimée qui l'attend <sup>15</sup>.

Le motif se retrouve également dans le folklore albanais. Ainsi, nous voyons un guerrier blessé prier ses compagnons de l'enterrer debout et d'aménager une fenêtre dans sa tombe, pour qu'il puisse entendre, au printemps, le chant des hirondelles et des rossignols. Mais il doit probablement exister aussi d'autres formules <sup>16</sup>.

Les Grecs, eux aussi, ont traité ce thème dans un grand nombre de créations folkloriques. Soulignons cependant que, grâce aux recherches approfondies consacrées aux chants « klephtiques », nous sommes mieux

<sup>11</sup> St. Romanski, *Прегледъ на българските народни песни*. Tome I, Sofia, 1925, type 680; Anton P. Stoïlov, *Показалец на печатаните презъ XIX векъ български народни песни*. Tome I, Sofia, 1916, type 480, 482; tome II, Sofia, 1918, type 1060.

<sup>12</sup> St. Romanski, *op. cit.*, type 36; Anton P. Stoïlov, *op. cit.*, type 440.

<sup>13</sup> Anton P. Stoïlov, *op. cit.*, tome I, type 427; tome II, type 663.

<sup>14</sup> Tache Papahagi, *Antologie aromânească* [Anthologie macédo-roumaine], Bucarest, 1922, p. 24.

<sup>15</sup> *Ibidem*, p. 42—43. Une variante tout à fait semblable (avec d'insignifiantes modifications d'ordre lexical aux vers 3, 4 et 14) a été publiée par Pericle Papahagi, *Din literatura poporană a Aromnilor. Materialuri folkloristice* [Extraits de la littérature populaire des Macédo-Roumains, Matériaux folkloriques], Bucarest, 1900, tome II, p. 854, texte LXXIV.

<sup>16</sup> Anton Balotă, *Albanica. Introducere în studiul filologiei albaneze*. Vol. I. *Albania și Albanezii* [Albanica. Introduction à l'étude de la philologie albanaise. Tome I. L'Albanie et les Albanais], Bucarest, 1936, p. 281.



informés des modes artistiques dans lesquels ce thème a été traité chez les Grecs. Mais du nombre plus élevé des types et des variantes grecs, mieux vaut ne pas tirer des conclusions hâtives. Ainsi, un premier groupe comprend les textes où le preux blessé s'adresse à son cheval et le prie de l'enterrer en creusant la terre avec ses sabots et ses fers d'argent, puis de porter ses armes à ses compagnons, son anneau et son mouchoir à sa bien-aimée<sup>17</sup>. Cependant, la formule la plus répandue paraît être celle du preux qui, mortellement blessé, prie ses compagnons de lui couper la tête pour qu'elle ne devienne pas un objet de dérision dans les mains de l'ennemi<sup>18</sup>, motif très répandu dans les chants et les vieilles coutumes des peuples balkaniques<sup>19</sup>. Dans un autre cycle, le preux blessé à mort exige d'être enterré de la façon suivante : ses compagnons le porteront au sommet du mont, creuseront une fosse profonde avec leurs sabres, l'y placeront debout pour qu'il puisse suivre le combat ; à droite, dans la tombe, ils laisseront une ouverture pour qu'il puisse voir la lumière du soleil et de la lune et entendre le chant des oiseaux et ceux des haïdouks<sup>20</sup>. Bien que la façon dont cette dernière idée est réalisée diffère de ce que nous avons trouvé chez les Serbes et les Bulgares, le fonds comme l'intention morale demeurent les mêmes.

Comparant toutes ces solutions artistiques on constate que tous les peuples du sud-est européen ont éprouvé le besoin d'interpréter, sous une forme artistique, leur histoire commune, choisissant pour cela le même aspect dramatique de leur lutte pour la liberté ; certes, la réalisation artistique diffère d'un peuple à l'autre, mais on retrouve certaines formules semblables chez les Bulgares comme chez les Serbes, chez les Macédo-Roumains

<sup>17</sup> C. Fauriel, *Chants populaires de la Grèce moderne*, tome I, Paris, 1824, p. 51 ; Tache Papahagi, *Paralele folklorice (greco-române)* [Parallèles folkloriques—gréco-roumains], Bucarest, 1944, p. 60 (texte de Politis, p. 51—52 ; autres variantes : Marcellus, 124 ; Passow, 121—122 ; Mihailidis, 75) ; Domokos Sámuel, *Az újgörög kleftisz-balladák és a román néballadák*, dans «*Filológiai közlöny*», 4, 1958, p. 110.

<sup>18</sup> C. Fauriel, *op. cit.*, tome I, p. 21, 179 ; tome II, p. 317—319 ; Tache Papahagi, *Paralele . . .*, p. 54 (texte de Politis, p. 60—61) ; Domokos Sámuel, *op. cit.*, p. 108, considère que cette formule artistique constitue le trait le plus important des ballades kleptiques ; A. D. Tsiriba, 'Αρχαϊκά δημοτικά τραγούδια, dans «*Λογογραφία*», 1957—1958, p. 74 (texte 6).

<sup>19</sup> Voir l'attestation et les explications de cette coutume des Serbo-Croates, donnés par Gerhard Gesemann, *Heroische Lebensform. Zur Literatur und Wesenskunde der Balkanischen Patriarchalität*, Berlin, 1943, p. 134—135, suivi d'une abondante bibliographie, p. 348—349 ; en ce qui concerne les Albanais, voir F. C. H. L. Pouqueville, *Voyages en Morée, à Constantinople, en Albanie et dans plusieurs autres parties de l'Empire Ottoman pendant les années 1798, 1799, 1800 et 1801*. Paris, 1805, tome III, p. 20, 109, 110, 177 ; en ce qui concerne les Grecs, *ibidem*, tome I, p. 151. V. M. Jirmounski, *op. cit.*, p. 14, affirme que ce motif est largement répandu dans l'épopée des Slaves du sud et d'autres peuples, et qu'il est «*tiré de la vie réelle*».

<sup>20</sup> C. Fauriel, *op. cit.*, tome I, p. 57 ; M/urnul, G., *Din literatura populară neogreacă. III. Haiducul pe moarte* [Aspects de la littérature populaire néo-grecque. III. Le haïdouk mourant], dans «*Revista balcanică*», 1, 1911, n° 2, p. 9—10 ; Domokos Sámuel, *op. cit.*, p. 111 ; D. A. Tsiriba, *op. cit.*, p. 85 (texte 27).

comme chez les Serbes, chez les Grecs comme chez les Bulgares ou les Serbes, chez les Bulgares comme chez leurs voisins d'au-delà du Danube, les Roumains. Cependant, toutes ces formules artistiques ne reflètent pas le même stade de développement de la conscience sociale, lors même que toutes reflètent la même réalité concrète, historique (en effet, certaines renferment encore des traces du mythe et du conte héroïque, par exemple la tendance à conserver au héros son immortalité physique : il s'agit des variantes roumaines et bulgares où le héros guérit miraculeusement), fait dont témoigne le dosage différent des détails réalistes ou fantastiques. L'important, c'est que tous les exemples analysés par nous attestent le caractère général de l'idée, tout comme le particularisme de la forme artistique qui tire son origine de la tradition artistique de chaque peuple.

Jusqu'ici, nous n'avons pas donné d'exemples turcs, non que ceux-ci n'existent pas, mais faute d'une documentation suffisante. Cependant, nous avons de bonnes raisons de croire que, chez ce peuple comme chez les autres déjà mentionnés, il existe des versions nationales du même type que celui que nous venons d'étudier.

Du matériel cité plus haut il ressort, et c'est là l'essentiel, que ce thème a effectivement intéressé les peuples en question, qu'on a tenté d'y apporter de nombreuses solutions artistiques pour le concrétiser et qu'il a connu une large diffusion géographique. Le problème du rapport entre les éléments plus anciens, de nature fantastique, et les éléments plus récents, de nature réaliste, donne lieu, cela va sans dire, à des interprétations diverses. Mais le trait caractéristique de l'espèce, en l'occurrence du chant de haïdouks, demeure l'invasion des éléments réalistes, qui confèrent à ces productions une structure idéologique et artistique toute particulière. De ce point de vue, les chants grecs sont les plus caractéristiques pour toute l'espèce, du fait qu'ils ont renoncé au fabuleux et au fantastique et que le sujet comporte de nombreuses allusions nettement historiques. Dans les versions des autres peuples que nous avons analysées ci-dessus on rencontre une fusion *ad hoc* des deux catégories d'éléments, avec une tendance à échapper à l'emprise puissante de la tradition du grand chant héroïque. Cela peut, certes, prouver l'importance de la tradition dans le processus permanent d'actualisation folklorique, mais cela peut aussi être une conséquence de l'emploi, sur un plan de valeurs nouveau, de formules artistiques anciennes vidées de leur sens initial et ne constituant plus, par suite, que de simples clichés artistiques, de simples moyens d'expression. Résoudre ce problème sur le témoignage de cette seule pièce, constitue, cela va sans dire, une impossibilité. La tâche d'établir le rapport entre la tradition et l'innovation dans le cadre de la

grande chanson épique des peuples slaves du sud reste donc à accomplir. L'apparition des éléments réalistes pourrait être également — pour parler en vulgarisateur — interprétée comme un indice chronologique touchant à l'évolution de ce genre de productions. Mais cet argument, à lui seul, ne nous permet pas d'affirmer le caractère plus récent des chants grecs, comparés aux chants similaires serbes ou bulgares. Nous éviterons donc une interprétation de nature à remettre sur le tapis l'idée des emprunts culturels, idée qui, dans le cas présent, ne repose sur aucun fondement scientifique. Tout cela est d'ailleurs si inextricable qu'attribuer à tel peuple ou à tel autre l'initiative de l'interprétation artistique d'un tel motif reviendrait à renoncer à toute rigueur scientifique.

En fait, la même réalité historique et sociale s'est reflétée dans la conscience de tous les peuples, et chacun d'entre eux s'est efforcé de donner son opinion sur cette réalité. Que l'acte de création est partout indépendant, nous en avons pour preuve la multitude des solutions, ainsi que leur particularisme artistique. Les traits semblables que l'on retrouve dans le folklore de certains peuples s'expliquent par le fait que, pour un même stade de développement de leur conscience sociale, ces peuples ont trouvé un langage uniforme, employant et remettant en valeur des éléments artistiques puisés dans un ancien fonds commun. De tout cela, il ressort nettement que, par delà les différences dues au caractère spécifique national, nous retrouvons chez tous les peuples la même idée, du fait de l'identité des conditions historiques et sociales.

Mais, aux côtés de toutes les versions mentionnées ci-dessus, et les dominant par la qualité exceptionnelle de la réalisation, il existe également une version probablement commune à tous les peuples du sud-est européen, version qui représente la synthèse de toutes les expériences artistiques entreprises sur ce thème et qui, par ce qu'elle a de général, a emporté tous les suffrages. Il s'agit d'une version qui combine de façon cohérente, à une haute température artistique, le motif du « testament du héros » et celui du « mariage du mort ». Dans ce cas, nous pouvons dire que cette version intéresse l'essence même de la communauté folklorique des Balkans ; en effet, nous sommes en présence d'un thème semblable, transformé à l'aide de moyens artistiques semblables, pour aboutir à une formule artistique semblable. Cette version présente pour le chercheur un surplus d'intérêt du fait que, dans le cadre d'un seul et même exemple, elle lui permet d'apprécier la profondeur et l'envergure de la communauté artistique de la zone balkanique. La version dont nous nous occupons combine, dans une formule tout à fait nouvelle, le motif du preux blessé

(« le testament du héros ») et celui du « mariage du mort ». On la trouve chez les Grecs, les Macédo-Roumains, les Albanais, les Bulgares et les Serbo-Croates. Il n'est pas impossible qu'elle existe aussi chez les Turcs, car le motif du « mariage du mort », dans un contexte semblable à celui que nous rencontrons chez les Grecs, existe aussi chez les Turcs, témoin l'ouvrage particulièrement bien documenté d'Elsa Mahler<sup>21</sup>. Cependant, l'absence d'un document péremptoire nous interdit d'aller plus loin dans nos affirmations.

Nous parlerons plus loin de la provenance et de la signification du motif du « mariage du mort », lorsque nous discuterons du sens de la fusion survenue entre les deux motifs pour former une version qualitativement nouvelle. Pour l'instant, contentons-nous d'exposer systématiquement le matériel documentaire dont nous disposons.

En ce qui concerne le folklore grec, le matériel est aussi vaste qu'éloquant. Ainsi, dans un texte publié par C. Fauriel<sup>22</sup>, le héros mortellement blessé, s'adressant à l'un de ses compagnons, l'encourage à affronter le danger d'un ruisseau en crue, pour aller au quartier général des klephtes, là où, d'habitude, ils tiennent conseil avant le combat et où, naguère, ils ont sacrifié deux agneaux, Floras et Tombras. Si les autres compagnons demandent ce qu'il est devenu, son camarade répondra qu'il s'est marié en triste terre étrangère, qu'il a pris pour belle-mère la pierre du tombeau, pour femme la terre noire, pour beaux-frères les cailloux. La variante publiée par N. Tommaseo<sup>23</sup> ne diffère de la précédente qu'en ce qui concerne quelques moments sans importance. Ainsi, nous n'y trouvons pas le détail des deux agneaux sacrifiés par les klephtes. Pour le reste, l'histoire est identique : le héros s'est marié en triste terre étrangère, a pris pour belle-mère la pierre du tombeau, pour femme la terre, pour beaux-frères les cailloux. Toute semblable est la variante publiée par le comte de Marcellus<sup>24</sup>. Dans cette variante, le détail manquant chez Tommaseo réapparaît ; les seules différences entre ces trois textes concernent les attributs ; cette fois, le klephte s'est marié contre son gré en terre étrangère, a pris pour belle-mère la pierre du tombeau, pour femme la terre profonde, pour beaux-frères les cailloux. Dans une autre variante traduite en Rou-

<sup>21</sup> Elsa Mahler, *Die russische Totenklage. Ihre rituelle und dichterische Deutung*, Leipzig, 1936, p. 408, dans la note, où elle cite, d'après O. Böckel, *Psychologie der Volksdichtung*, Leipzig, 1906, p. 120, un passage d'un chant où l'on voit un jeune mort répondre à ses parents : « Il ne m'est pas permis [de revenir sur la terre], mon cher père, ma chère mère, je ne peux plus. Pas plus tard qu'hier, je me suis marié, tard le soir. Ma femme est le vaste monde, ma belle-mère la tombe ».

<sup>22</sup> C. Fauriel, *op. cit.*, p. 51.

<sup>23</sup> N. Tommaseo, *Canti popolari toscani, corsi, illirici, greci*, Venise, 1842, tome III, p. 335.

<sup>24</sup> De Marcellus, *Chants populaires de la Grèce moderne*, Paris, 1860, p. 128.

main par Tache Papahagi <sup>25</sup> l'histoire diffère ; en effet, la mère du klephte y refait son apparition. Le blessé prie ses compagnons, des jeunes hommes de Morée et de Roumélie, de ne pas passer par son village ni pendant le jour ni au clair de lune, de ne pas décharger bruyamment leurs armes et de ne pas chanter, de façon que sa mère et sa sœur ne les entendent pas. Au cas où celles-ci viendront pourtant à leur rencontre, ils commenceront par éviter toute discussion sur son sort, mais, à la troisième question, ils répondront qu'il a pris pour belle-mère la pierre du tombeau, pour femme la terre, pour sœurs et pour cousines les cailloux. Cette fois, les modifications essentielles portent sur le motif du « testament du héros », tandis que celui du « mariage du mort » n'a connu que des modifications secondaires (absence des attributs, remplacement des beaux-frères par les petites sœurs et les cousines). D'autres références nous apprennent que cette solution se retrouve fréquemment dans les chants grecs, où partout l'on retrouve les mêmes éléments de l'image finale : la belle-mère du mort est la pierre du tombeau, sa femme la terre noire, tandis que les cailloux sont ses beaux-frères <sup>26</sup>. Tentant de caractériser la formule grecque, nous retiendrons que la version résultant de la fusion des deux motifs est relativement stable, le point de gravité de cette stabilité étant formé par le thème du « mariage du mort ». Quant au motif du « testament du héros », la formule qui revient le plus souvent est celle du message du mourant à ses compagnons d'armes, et non pas à sa mère ou à d'autres parents. En ce qui concerne l'image nuptiale de la fin, éliminant tout ce qui est accidentel, autrement dit les attributs, nous constatons que tous ces chants présentent le schéma que voici : dans tous les cas, la femme du mort est la terre (noire, profonde), et sa belle-mère est, dans tous les cas sans exception, la pierre tombale ; quant aux cailloux, ils sont généralement ses beaux-frères (une seule fois, ses sœurs et ses cousines). A souligner que, du fait du processus d'actualisation permanente qui domine la création folklorique, ce chant redevient actuel sous des formes nouvelles, répondant à des nécessités artistiques elles aussi nouvelles. La refonte du matériel traditionnel s'est soldée par des modifications substantielles dans la composition de l'image nuptiale de la fin, mais en se cantonnant strictement dans l'atmosphère spécifique du chant « klephtique ». Il s'agit d'un chant de partisans largement répandu pendant la seconde guerre mondiale, et où le héros blessé prie ses compagnons de ne pas dire à sa mère qu'il a été tué, mais de lui raconter qu'il s'est marié, prenant « pour belle-mère les balles, pour épouse un éclat d'obus, pour

<sup>25</sup> Tache Papahagi, *Paralele* . . . , p. 42—43 (texte de Politis, p. 48).

<sup>26</sup> Domokos Sámuel, *op. cit.*, p. 110 (le matériel mentionné : Passow, textes 35, 48, 56, 134).

frères et pour cousins les montagnes ». Il semble que cette version moderne du chant « klephtique » reproduit à son tour une formule intermédiaire, en l'espèce un chant de soldats du temps des guerres balkaniques, n'y changeant que les données concrètement historiques, et s'en tenant en général au même schéma poétique comme à la même signification <sup>27</sup>. Ainsi donc, si nous voulons établir le schéma de l'image nuptiale des chants grecs appartenant à cette catégorie, il nous faut noter également cette modification dans la composition de la famille d'outre-tombe du mort, mais en retenant le fait que, dans tous les cas, les éléments de l'image sont tirés du monde matériel.

En ce qui concerne le folklore macédo-roumain, on possède également des témoignages suffisants pour nous faire une idée de la version caractéristique et connaître sa diffusion géographique. Une première variante, recueillie à Cruşova d'un habitant du village de Gramoste et publiée par Taşcu Şunda <sup>28</sup>, n'est guère explicite quant aux causes de la mort du jeune homme. Celui-ci, malade et voyant qu'il gêne ses compagnons, que ceux-ci projettent de l'abandonner, les prie de le porter au sommet du mont, à l'ombre des hêtres et des pins, là où les bêtes sauvages ne viendront pas le dévorer. Par un certain côté, ce thème rappelle la version grecque similaire où le klephte mortellement blessé demandait à ses compagnons de lui rendre le même service. Mais, à partir de ce moment-là, la version macédo-roumaine aborde l'atmosphère spécifique du motif du « mariage du mort ». Le jeune mourant prie ses compagnons, quand, à l'automne, ils traverseront son village, de ne pas tirer de coups de fusil, de sorte que sa mère ne les entende pas. Mais si pourtant elle vient à leur rencontre, ils ne lui diront pas qu'il est mort, mais qu'il s'est marié, a pris la terre pour femme et la pierre du tombeau pour belle-mère. Une variante de Samarina <sup>29</sup> présente un déroulement épique plus restreint, mais semblable. Ici, le mourant prie ses compagnons, quand ils

<sup>27</sup> Information et texte nous ont été fournis par un étudiant grec de 25 ans, Ziatas Hristos, qui nous a également offert une variante de transition. Outre les éléments traditionnels, tels que « la pierre en guise de belle-mère, la terre noire en guise d'épouse », on y trouve un élément nouveau, « les montagnes noires en guise de frères et de cousins ». Une ultime variante — où l'élément nouveau prédomine sur le schéma traditionnel, recouvre toutes les parentés d'outre-tombe du défunt, et, par là, appauvrit l'image —, est celle que l'on rencontre dans le roman d'Elli Alexiou, *Μή τῆ λύρα*, 1959, où, à la page 225, on peut lire que le héros a pris « pour belle-mère (le mont) Vitsi, pour épouse (le mont) Grammos, et pour frères et cousins (les monts) Murgani ».

<sup>28</sup> Taşcu Şunda, *Cîntece populare din Macedonia, culese și adnotate de autor* [Chants populaires de Macédoine, recueillis et annotés par l'auteur], dans « Arhiva », Iași, 6, 1895, p. 712—713, publié à nouveau par Pericle Papahagi, *op. cit.*, p. 888.

<sup>29</sup> Arhiva Institutului de etnografie și folclor, Bucarest (A.I.E.F.), variante recueillie par E. Dragnea, à Mangalia, le 18 septembre 1949, de la bouche de Ion Ceara, originaire de Samarina.

arriveront dans son village, de ne pas tirer de coups de feu, pour que sa mère et ses sœurs ne les entendent pas, ne viennent pas à leur rencontre demander ce qu'il est devenu. Mais si pourtant on le leur demande, ils ne diront pas qu'il a été blessé à mort, mais qu'il s'est marié et a pris une bonne épouse, la terre, et pour belle-mère la pierre du tombeau. Les deux textes semblent être tout simplement la version macédo-roumaine du chant grec traduit et publié par Tache Papahagi dont nous parlions plus haut ; de son côté, cette variante, assez isolée dans le folklore grec, pourrait être un simple décalque du chant macédo-roumain. Enfin, une troisième variante, publiée sans indication d'origine par Pericle Papahagi <sup>30</sup>, raconte l'histoire que voici : un jeune homme mourant prie un oiseau d'aller trouver sa mère et sa femme et de leur dire qu'il s'est marié, qu'il a pris pour petite épouse la fosse, et, pour belle-mère, la pierre du tombeau. On peut donc affirmer que la formule caractéristique du folklore macédo-roumain est celle où le jeune homme parle avec ses compagnons ; mais on peut aussi trouver d'autres motifs subsidiaires qui emploient un matériel traditionnel assez répandu dans les Balkans. Cependant, la formule finale est toujours la même, l'image nuptiale étant la suivante : la femme du mort est la terre (une seule fois, la fosse), sa belle-mère est (toujours) la pierre tombale. En comparaison avec le texte grec similaire, l'image, chez les Macédo-Roumains, nous apparaît plus pauvre ; en effet, sur trois possibles, elle n'évoque que deux parents d'outre-tombe.

Le folklore albanais traite le même motif, mais dans une interprétation différente qui tient du caractère national de son art. Dans tous les chants de ce genre, on parle de la mort d'un jeune soldat. Dans une variante publiée en 1854 par Johann Georg von Hahn <sup>31</sup>, le blessé s'adresse en ces termes à ses compagnons : « Je suis tombé, camarades, je suis tombé au-delà du pont de Kiabé. Saluez ma mère de ma part et dites-lui de vendre les deux bœufs et de partager l'argent entre les jeunes gens du village. Si elle demande ce que je suis devenu, dites-lui que je me suis marié ; si elle demande avec qui et quelle femme j'ai épousée dites-lui que ce sont trois balles dans la poitrine et six dans les jambes et dans les bras ; si elle demande quels sont les invités venus à ma noce, dites que ce sont les corneilles et les corbeaux ». Les commentaires qui accompagnent ce chant albanais nous apprennent qu'il était très répandu à l'époque où il fut recueilli, étant un « sehr verbreitetes Lied ». Nous ne décevons pas la variante publiée par Dora d'Istria <sup>32</sup>, vu que l'histoire est exacte-

<sup>30</sup> Pericle Papahagi, *op. cit.*, p. 891.

<sup>31</sup> Johann Georg von Hahn, *Albanesische Studien*, Iena, 1854, tome II, p. 140.

<sup>32</sup> Dora d'Istria, *La nationalité albanaise d'après les chants populaires*, dans « Revue des deux mondes », Paris, 1866, p. 398.

ment la même et que c'est, peut-être, la même pièce traduite en français, d'autant plus que l'écrivain ne nous dit rien sur les sources auxquelles il a puisé. Aussi bien, à l'appui de notre hypothèse, nous citerons le commentaire de l'écrivain selon lequel, tout comme dans le cas de la variante précédente, ce texte est le plus populaire de tous les chants qui célèbrent la mort d'un jeune soldat. Autre argument en faveur de notre hypothèse : dans un cas comme dans l'autre, le héros est un mercenaire. Ce détail ne nous est donné que dans ces deux variantes. Le texte publié par E. Mitkos et Beni Suef, dans la traduction allemande de J. U. Jarník <sup>33</sup>, présente quelques différences. Ainsi, le blessé désire que sa mère vende les deux bœufs pour pouvoir restituer la dot de sa bru ; quant à la nouvelle épouse du blessé ce sont deux balles dans la poitrine et quatre dans les jambes et dans les bras. Pour le reste, le texte est identique aux variantes précédentes. Une variante publiée par Qemal Haxhihasani et Zihni Sako <sup>34</sup> s'avère plus prolixe, mais sans s'éloigner de l'essence du contenu tel que nous le connaissons déjà. Ainsi, le blessé demande que sa mère vende les deux bœufs noirs pour restituer la dot de sa femme, le cheval blanc pour pouvoir élever son garçon, le mulet pour pouvoir élever sa fille. Si la mère demande ce qu'il est devenu, on lui répondra qu'il s'est marié avec trois balles dans la poitrine ; si elle demande quel cheval il a enfourché (pour aller à la noce), on lui dira qu'il s'est contenté de trois planches ; si elle demande quels invités sont venus à la noce, on lui répondra que ce furent les corneilles et les vautours qui l'ont dévoré. Nous connaissons aussi une autre variante, traduite en roumain et parue en 1936 sous le titre *Pasăre neagră* [L'Oiseau noir]. Les éléments artistiques, tout en demeurant dans le cadre de l'idée générale, sont différents. Ainsi, sur la tombe d'un jeune homme, un oiseau noir qui est sûrement l'âme du mort croasse lamentablement, priant les passants d'aller dire à sa mère que le jeune homme s'est marié avec deux balles de mousquet. Si elle demande où il repose, on lui dira que l'argile lui sert de lit et une pierre d'oreiller ; si elle demande quels furent les parents qui banquetèrent à sa noce, on lui dira que ce furent les corneilles et les corbeaux <sup>35</sup>. Enfin, une dernière référence au folklore albanais nous est offerte par Karl Dieterich <sup>36</sup>, sous la forme d'un bref

<sup>33</sup> E. Mitkos — Beni Suef, *Albanesische Helden-, Hochzeitlieder und Sprichwörter*, dans « Zeitschrift für Volkskunde », Leipzig, 2, 1889, p. 29.

<sup>34</sup> *Këngë popullore historike*. Instituti i historisë dhe i gjuhësisë, Tirana, 1956, p. 172—173.

<sup>35</sup> « Cuget clar », Vălenii de Munte, 1, 1936, p. 123, avec cette note de N. Iorga : « il est clair que nous nous trouvons devant une variante de la Miorița ». Publiée à nouveau dans « Gînd românesc », Cluj, 4, 1936, p. 359—360.

<sup>36</sup> Karl Dieterich, *Die Volksdichtung der Balkanländer in ihren gemeinsamen Elementen. Ein Beitrag zur vergleichenden Volkskunde*, dans « Zeitschrift des Vereins für Volkskunde », 12, 1902, p. 403, citant W. Kaden, p. 142. Deux autres textes nous furent envoyés pendant que notre travail se trouvait déjà à l'imprimerie, par le chercheur Wilfried Fiedler



résumé dont nous retiendrons cependant les éléments essentiels de l'image nuptiale du final : les balles qui ont transpercé la poitrine et les bras du mort sont la mariée, les corneilles et les corbeaux sont les parents qui ont pris part à la noce. Comme on le voit à la lecture de tous ces exemples, l'idée poétique est la même que chez les Grecs ou les Macédo-Roumains ; quant à la formule artistique, qui consiste à combiner le motif du « testament du héros » et celui du « mariage du mort », elle est aussi identique. La différence essentielle réside dans le contenu plein de réalisme cruel, sans détours, de l'image nuptiale du final. Mais ceci met nettement en évidence le sens même de l'image, qui n'est pas de consoler la mère en lui apprenant, de façon détournée, la triste vérité sur le sort du jeune homme. Quant au schéma de l'image nuptiale, il est le suivant : les balles sont la fiancée du mort, les corbeaux et les corneilles (quelquefois aussi les vautours) sont ses parents. Bien que l'image nuptiale du nouveau chant de partisans grec soit, comme les chants albanais cités ci-dessus, faite d'éléments similaires (la fiancée du mort, ce sont les balles ou les rafales de balles), un simple rapprochement entre les textes nous convaincra qu'il n'existe pas de relation d'origine entre les deux versions. L'image du chant grec en question ne s'est pas formée à l'exemple de celle du chant albanais, mais a grandi de l'intérieur, refructifiant le thème traditionnel proprement grec.

En Bulgarie, le même chant se retrouve dans une formule toute semblable. Malheureusement, nous ne connaissons les matériaux que par l'intermédiaire des principaux répertoires thématiques de la poésie populaire épique bulgare. Ainsi, dans le répertoire de A. P. Stoïlov<sup>37</sup>, au numéro 474, on trouve le résumé d'un chant qui reflète les pensées et les désirs d'un jeune homme : celui-ci veut se faire haïdouk, porter la chemise noire, avoir une paire de pistolets à la ceinture et un long fusil sur l'épaule, se promener dans la verte forêt, sur les cimes des montagnes, sur les rives des rivières aux eaux glacées, et ainsi de suite. L'auteur donne comme cinquième variante de ce chant, un texte du recueil des frères Miladinovitch (n° 234, texte original de Bitolia), où le jeune Stoïan, mortellement blessé, demande — probablement à ses compagnons — de dire à

(Institut für deutsche Volkskunde an der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin), que nous remercions également par cette voie. Ces deux textes recueillis, — lors d'une expédition spéciale des folkloristes allemands, entreprise en Albanie en 1957 —, à Starovë et Gjirokastër (N° 109.I.6 et 116.I.7) ne modifient pas trop le schéma général de l'image. Dans le premier cas, la fiancée du mort, ce sont deux balles dans la poitrine ; les beaux-pères — deux popes et deux muftis ; le cheval de noce — les quatre planches du cercueil. Dans le deuxième cas, la fiancée, ce sont trois balles dans la poitrine et six dans les jambes et dans les bras, et beaux-pères — les corbeaux et les corneilles qui l'ont mangé. Voir aussi le texte publié par Gustav Meyer : *Essays und Studien zur Sprachgeschichte und Volkskunde*, Strassburg, 1893, Vol. I, p. 82—83.

<sup>37</sup> A. P. Stoïlov, *op. cit.*, type 474.

sa mère qu'il s'est marié. Dans le répertoire de St. Romanski <sup>38</sup>, on trouve, au numéro 680, le résumé d'un chant où un jeune haïdouk mortellement blessé énumère ses dernières volontés (texte déjà analysé ci-dessus : le mourant explique comment il veut être enterré). Comme troisième variante à ce chant, on fait mention d'un texte recueilli par S. I. Verkovitch, où le jeune homme mortellement blessé demande à ses compagnons de ne pas dire à sa mère qu'il est mort, mais de lui raconter qu'il s'est fiancé avec une jeune fille nommée Velica. Le caractère des références ne permet pas de prononcer un jugement net sur ces textes ; retenons seulement que le jeune homme blessé demande — probablement à ses compagnons — de ne pas dire la vérité à sa mère, mais de lui raconter qu'il s'est marié (dans le premier cas, on ne nous dit pas avec qui ; dans le second, c'est avec une jeune fille dont nous savons le nom, mais dont nous ignorons tout sur l'éventuel symbolisme folklorique). Retenons pourtant que l'un comme l'autre texte semblent être des variantes de chants de haïdouks très répandus et que, si restreintes que puissent être leur diffusion géographique et leur popularité, ils n'en attestent pas moins la présence, dans le folklore bulgare, des mêmes formules artistiques, c'est-à-dire de la combinaison du motif du « testament du héros » et de celui du « mariage du mort ». En l'absence de détails d'ordre esthétique, nous devons nous contenter de cette simple attestation de leur présence dans le répertoire folklorique du peuple bulgare.

Les matériaux yougoslaves sont plus nombreux et plus éloquents. Ainsi, dans une traduction de la poésie épique slovène due à Anastasius Grün <sup>39</sup>, le blessé demande à un compagnon de s'arrêter, quand il passera devant sa blanche ferme, et de dire, à l'un des habitants de la maison probablement, qu'il s'est marié avec la terre noire et le verger verdoyant. Un texte de Bosnie publié par N. Tommaseo <sup>40</sup> nous raconte l'histoire d'un certain Pierre Kovatchévitch, mortellement blessé par Georges Poutara. Une « vila » s'approche du mourant et apporte des herbes pour le guérir. Mais Kovatchévitch, sentant sa fin prochaine, lui dit : « Cesse de chercher des herbes et ne perds plus ton temps pour rien ; va plutôt chercher mon ami Georges Roukovina, que je lui dise d'écrire une blanche lettre à ma mère et à ma femme ; à ma mère, pour lui dire de ne plus m'attendre ; à ma femme, pour lui dire de se remarier, car Pierre s'est marié, près de Veleta, sous les murs de la blanche ville, avec la terre noire et l'herbe verte ». Toujours en ce qui concerne la Bosnie, nous possédons une référence où un porte-drapeau blessé parle de sa mère, de sa sœur et de sa femme,

<sup>38</sup> St. Romanski, *op. cit.*, type 680.

<sup>39</sup> Anastasius Grüns sämtliche Werke in zehn Bänden. Herausgegeben von Anton Schlossar. Achter Band : *Volklieder aus Krain*, p. 29. Edition princeps, 1850.

<sup>40</sup> N. Tommasco, *op. cit.*, tome III, p. 335—336.

restées à l'attendre, tandis que lui s'est marié « avec la terre noire et le vert sillon »<sup>41</sup>. Enfin, un exemple serbe, publié par Auguste Dozon<sup>42</sup>, met en scène un personnage principal de la poésie héroïque albanaise, le preux Mouïo. De plus, le sens de l'image nuptiale du final se modifie. Mouïo est entré dans un village, à la tête d'une troupe de soldats turcs, pour s'y livrer à des représailles. Il se vante de prendre pour esclave la plus jolie fille du pays. Soudain, un coup part et le preux tombe à la renverse dans l'herbe verte, touché entre les plaques de métal qui ornent sa poitrine. De la forêt, une voix lui crie : « Tu voulais une jolie fille, Mouïo ; n'est-ce pas qu'elle est belle, celle que tu a conquise, n'est-ce pas qu'elle est belle, cette herbe verte ? » Dans le même sens l'image se retrouve, tout aussi chargée de sarcasme et d'amère ironie, dans d'autres chants de haïdouks, tel le chant publié par M. A. Vassilévitch<sup>43</sup>, où un jeune homme capturé par les Turcs est menacé d'être marié le lendemain, à l'aube, avec un jeune arbre, tandis que la corde sera son beau-frère et que les corbeaux et les vautours seront ses invités. C'est la même histoire que dans la ballade roumaine de Corbea, où le pal, « Jupineasa Carpena, adusă din Slatina », sera la mariée du héros. Pour revenir à notre ballade, constatons que, à part quelques éléments accidentels, le jeune homme mortellement blessé demande qu'on dise à sa mère (dans d'autres variantes, à sa femme et à ses sœurs) qu'il s'est marié avec la terre noire et l'herbe verte (d'autres fois, avec le verger ou avec le sillon). Le contenu de l'image est pauvre et mentionne, dans une double hypostase, la mariée d'outre-tombe du défunt. Dans l'un des textes analysés, nous avons vu se glisser de pâles réminiscences de la poésie héroïque et mythique des Slaves du sud, autrement dit quelques éléments fantastiques, telle l'apparition de la « vila ».

Chez les Roumains, cette formule poétique n'existe pas, bien que les prémisses formelles aient pourtant existé. C'est que les conditions de vie politique et sociale n'étaient pas les mêmes que chez les peuples balkaniques. Dans une seule variante recueillie dans la région du Timoc — et qui se trouve donc indiscutablement sous l'influence du matériel serbe et bulgare — nous retrouvons la combinaison des deux motifs, mais de façon confuse et relativement peu organique. En effet, dans ce texte, le Danube raconte que le héros s'est marié avec la fille d'un prince [« o fată de crai »] et a envoyé, sous la terre, une lettre à sa mère, lui demandant de venir le marier. La mère arrive, l'emmène à la maison et la noce a

<sup>41</sup> Jean Mușl a. *La mort-mariage : une particularité du folklore balkanique*, Paris, 1925, p. 6—7 (Extr. des *Mélanges Ecole Roumaine en France*).

<sup>42</sup> Auguste Dozon, *Poésies populaires serbes*, Paris, 1877, p. 262—263.

<sup>43</sup> M. A. Vassilévitch, *Југословенски музички фолклор. II. Македонија*, Belgrade, 1953, p. 293.

lieu<sup>44</sup>. Notons pourtant que, bien qu'elle ait pris naissance sous l'influence des Slaves du Sud, cette variante utilise des données complètement différentes. En effet, cette fois, la fiancée du jeune blessé est une « fille de prince » [« o fată de crai »]. Or, cette idée ne se retrouve nulle part ailleurs dans le folklore balkanique, sa provenance étant strictement liée aux formes caractéristiques du folklore roumain.

Maintenant, nous voici à même de pouvoir récapituler. Partout dans les Balkans (et probablement aussi chez les Turcs ; mais pour ceux-ci les attestations directes font défaut), circule un chant spécial qui, régulièrement, combine des éléments de provenance et de signification diverses, en l'espèce le motif du « testament du héros » et celui du « mariage du mort ». Cette formule, nouvelle du point de vue artistique et résultant de la contamination de ces deux motifs littéraires, présente une stabilité étonnante, puisqu'on la retrouve circulant sur une aire aussi vaste et s'illustrant dans le folklore de tant de peuples (Grecs, Macédo-Roumains, Albanais, Bulgares, Serbes, Bosniaques et Slovènes), constituant ainsi une présence parfaitement réalisée du point de vue esthétique et fonctionnel. Certes, il n'est pas facile de se faire une idée absolument précise de la fonction sociale de ces textes, en partant des seuls matériaux analysés plus haut (recueillis au hasard, dans des conditions scientifiques qui sont loin d'être satisfaisantes). Cependant, cela suffit pour signaler le phénomène dans ce qu'il a de plus général et de plus significatif. Ce chant, par sa circulation intense et ininterrompue, s'est intégré au répertoire folklorique de tous les peuples balkaniques. Par le message unique et très précis qu'il transmet, il acquiert une valeur artistique qui n'appartient qu'à lui. La fusion de deux motifs dans une nouvelle création artistique est parfaite, tous deux se complétant réciproquement en ce qui concerne leur sens et leur valeur. Il est clair que le motif du « testament du héros » a trouvé un complément idéal dans celui du « mariage du mort », la résultante de cette fusion s'élevant bien au-dessus du niveau artistique des autres œuvres appartenant au cycle du héros blessé. Rappelons-nous que, dans certaines versions, le mourant demandait qu'on lui coupât la tête ou qu'on envoyât sa main, en guise de message, à sa mère ou à sa bien-aimée, et nous nous rendrons compte de la distance qui sépare la présente formule de toutes les autres tentatives artistiques. En fait, avec cette formule, nous abordons le domaine de la vraie poésie, de la poésie la plus authentique. La pièce dont nous nous sommes occupé a éliminé

<sup>44</sup> G. Giuglea, *Note și fapte de folclor și filologie* [Notes et faits de folklore et de philologie], dans « Dacoromania », 5 (1927—1928), p. 526, *Cîntecul Dunării* [Le Chant du Danube], texte originaire de Rîtcova, en Yougoslavie.

les éléments réalistes qui n'impressionnent que par leur caractère insolite, plein de cruauté et de brutalité guerrière, pour s'élever jusqu'à la signification générale du type, en employant, dans un autre sens et sur un autre plan psychologique, de vieux motifs folkloriques qui avaient prouvé plus d'une fois leur réelle valeur poétique de suggestion et de communication lyrique. On peut donc dire que cette formule représente le couronnement de l'effort créateur déployé par les masses dans la recherche du meilleur moyen d'exprimer, de façon artistique, un aspect si important de la réalité concrète, historique. Quant à cette fusion des deux motifs, on peut dire qu'elle représente une synthèse poétique particulièrement réussie.

Le contenu de cette formule — l'analyse l'a montré — est relativement stable. Il semble donc que, de toutes les variations possibles sur le motif du « testament du héros », une seule s'est sentie davantage attirée par la nouvelle combinaison et y a adhéré dans la presque totalité des cas. Il s'agit de la formule où la vieille mère du blessé intervient non pas en qualité de personnage de premier plan, et donc créateur de conflit épique, mais en tant que figure de référence lyrique, de contraste psychologique. Même si, parfois, nous rencontrons d'autres situations, celles-ci ne sont pas caractéristiques de la nouvelle formule, semblent n'être que des recherches, des tâtonnements vers une forme plus parfaite. Ainsi donc, dans ses grandes lignes, la distribution des personnages du poème est la suivante : le blessé, ses compagnons, sa mère (dans certains cas, ses sœurs et sa femme).

Le motif du « mariage du mort » lui aussi paraît relativement stable, bien qu'il se restreigne ou bien s'amplifie d'un folklore à l'autre. C'est chez les Grecs qu'il est le plus ample ; en effet, le motif fait intervenir dans la discussion trois personnages d'outre-tombe venus pour participer à la noce du héros : la femme, la belle-mère et les beaux-frères, des changements n'intervenant que dans le dernier terme, alors que les deux premiers demeurent immuables, et donc caractéristiques de la version respective. Tout à l'opposé, nous trouvons la version serbe, où le nombre des personnages est réduit au minimum, mais renforce l'idée par un doublement tautologique de l'expression. Chez les Albanais, par contre, nous avons vu que la formule est différente, lors même qu'elle se maintient rigoureusement dans les limites générales de l'idée. Mais on ne saurait demeurer indifférent à la façon dont l'image est construite, pas plus qu'au matériel dont elle est formée. En effet, si nous étudions avec soin le contenu de l'image, nous verrons que tous les éléments qui entrent dans sa composition proviennent, sans la moindre exception, du monde matériel : terre, fosse, tombeau, pierre tombale, herbe, cailloux, balles, etc., chacun d'eux trouvant un correspondant parmi les participants au « mariage du mort ». Tous ces éléments

introduisent une note de réalisme tragique, car ils ne dissimulent pas le sort du héros, n'affaiblissent pas l'impression douloureuse que produirait, sans eux, l'annonce, simple et directe, de la mort du jeune homme. Mais même lorsque l'image s'actualise, comme dans le chant de partisans grec, les éléments continuent d'être tirés de la même sphère matérielle, en conformité avec la situation concrète, historique, qui fait l'objet du récit. Cela prouve l'orientation indiscutablement réaliste de ce passage. La vérité est que l'image ne se propose pas de faire vibrer la corde sentimentale; en effet, le sens de toutes les formes que nous avons analysées est trop évident pour que l'on puisse parler d'une « allégorie » de la mort. Dans le cas du matériel bulgare, le partenaire nuptial du héros n'est plus tiré du monde matériel; cette fois, c'est un être de chair et d'os, la jeune Velica, mais dont nous ne saurons rien d'autre. Retenons donc que l'image nuptiale de la mort qui clôt le chant est formée — chez la plupart des peuples balkaniques qui la connaissent et en font usage — d'un matériel réaliste étroitement lié à l'idée de la mort et de l'enterrement, et exclusivement tiré du monde matériel.

Pour éclairer le sens de cette image, il est nécessaire d'expliquer brièvement sa provenance et son évolution historique. Le premier fait à retenir, c'est que l'image, dans la formule poétique dont nous nous occupons, n'est pas uniquement associée à la ballade du héros blessé à mort. En effet, elle apparaît dans bien d'autres chants épiques, se déplaçant dans le cadre du répertoire folklorique des différents peuples avec l'aisance des « loci communes » [versuri cälătoare].

Ainsi, chez les Grecs, on la retrouve également dans trois autres cycles de créations poétiques. Par exemple, dans le premier cycle, il y a un chant où une jeune femme explique que son époux est tombé gravement malade et qu'elle est partie chercher des remèdes pour le guérir. Pendant ce temps, son mari s'est remarié : « Il a pris la terre pour femme, pour belle-mère la pierre du tombeau »<sup>45</sup>. Dans le même cycle, nous pourrions également inclure quelques chants funéraires qui comprennent une discussion entre les parents et l'enfant mort. Le mort déclare qu'il ne peut plus s'en retourner chez ses parents, parce qu'il s'est marié la veille au soir, prenant pour femme l'enfer et pour belle-mère la pierre tombale ou la tombe elle-même<sup>46</sup>. Quant au deuxième cycle poétique grec, où se retrouve la même image, il traite un thème très répandu dans le folklore européen, à savoir celui du plongeur, qui fournit à Schiller la substance épique de

<sup>45</sup> Le comte de Marcellus, *op. cit.*, p. 169.

<sup>46</sup> *Ibidem*, p. 195 : Tache Papahagi, *Paratele...*, p. 44.

sa célèbre ballade *Der Taucher*. Mais, cette fois, le contenu de l'image nuptiale s'éloigne de celui que nous avons vu plus haut ; en effet, ses éléments ne sont plus tirés du monde matériel, mais de celui du mythe et du conte populaire. Neuf frères arrivent auprès d'un puits et, comme ils ont soif, y descendent pour s'abreuver. Le benjamin, Constantin-le-Petit, se noie et, avant de mourir, les prie de ne pas dire à leur mère qu'il s'est noyé, mais de lui raconter qu'il s'est marié avec la fille d'un sorcier et d'une sorcière, et de lui demander de vendre ses habits et de chercher un autre garçon pour sa fiancée. Nous connaissons trois variantes grecques de ce chant, rapportées par Felix Liebrecht, ainsi qu'une autre publiée récemment par H. I. Papachristodoulos <sup>47</sup>. L'image nuptiale de la mort n'est pas liée au cycle du plongeur tout entier ; on ne la rencontre que dans quelques variantes françaises où, cependant, la partenaire nuptiale du héros est une personne réelle (la plus belle fille du pays, de la paroisse, etc.), le créateur populaire insistant, avec la galanterie propre aux Français, sur la beauté exceptionnelle de la mariée. Mais dans tous les cas, l'image tend à éviter d'annoncer brutalement et sans détours, la nouvelle de la mort du jeune homme. Le sujet de la ballade est le suivant : une jeune fille pleure au bord de la mer parce qu'elle a perdu sa bague dans les flots. Survient un jeune homme qui s'offre d'aller chercher la bague, en échange de l'amour de la belle. A la troisième tentative, il se noie et, avant de mourir, lui demande d'aller dire à sa mère qu'il s'est marié avec une jeune fille merveilleusement belle <sup>48</sup>.

Enfin, le dernier cycle folklorique grec où nous rencontrons l'image nuptiale de la mort raconte la mort d'un marin. Dans son testament, celui-ci prie ses compagnons de ne pas dire à sa mère qu'il est mort, mais de lui raconter qu'il s'est marié, prenant pour belle-mère la pierre du tombeau, pour épouse la terre noire, pour frères et pour cousins les cailloux du rivage. L'image est complétée par une présentation très plastique de

<sup>47</sup> Felix Liebrecht, *Zur Volkskunde. Alte und neue Aufsätze*, Heilbronn, 1879, p. 177—178, dans un commentaire sur A. Sakellarios, *Cyprische Volkslieder*, n° 31 ; p. 198, dans une présentation de l'œuvre de A. Passow, *Popularia carmina Graeciae recentioris*, n° 523 ; p. 211, dans une note à A. Jeannarakis, *Kretas Volkslieder nebst Distichen und Sprichwörtern*, n° 118 ; H. I. Papachristodoulos, *Δημοτικά τραγούδια της Ρόδου* dans «*Λαογραφία*», 1959, texte n° 40, p. 308 ; le jeune homme demande qu'on ne dise pas à sa mère qu'il s'est noyé, mais qu'il a épousé la fille d'un sorcier « qui a ensorcelé la terre et la mer, et moi aussi ; et voilà pourquoi je me suis marié ».

<sup>48</sup> *Le plongeur* (Version d'Ile-et-Vilaine). «*Mélusine*», 2 (1884/5), p. 139 ; *Le plongeur* (Version des Côtes-du-Nord). «*Mélusine*», 3 (1886/7), p. 70 ; Cte de Puymaigre, *Chants populaires recueillis dans le pays Messin*, Metz-Paris, 1865, p. 62 ; J. Tiersot, *Chansons populaires des Alpes françaises*, p. 142, 175 ; Tr. Prodan, *Mioritism francez*, dans «*Făt-Frumos*», 6 (1931), p. 124 (deux variantes et bibliographie) ; Wilhelm Scheffler, *Die französische Volksdichtung und Sage*, Leipzig, 1884, tome II, p. 138.

l'absurde : il reviendra à la maison « quand le corbeau deviendra blanc et se transformera en pigeon ». Dans une seconde variante les « cailloux du rivage » constituent la dot du mort, remplaçant ainsi ses autres parents (frères et cousins) d'outre-tombe. Dans la dernière variante du cycle que nous connaissons, l'image générale est plus restreinte et aussi plus abstraite : le marin dit qu'il s'est marié, prenant la mort pour épouse et les cailloux pour frères et cousins. Dans la partie finale, l'image du corbeau transformé en pigeon refait son apparition <sup>49</sup>.

De même, dans le folklore bulgare, l'image nuptiale est associée à d'autres productions poétiques ; malheureusement, il nous est impossible de les grouper de façon plus frappante. Quoi qu'il en soit, l'important est que cette image circule également en dehors de la formule poétique dont nous nous occupons. C'est ainsi que nous la retrouvons dans un chant qui raconte l'histoire d'un maître-maçon qui, ayant regardé, du haut de la maison qu'il construisait, une jeune fille qui passait, fait un faux-pas, tombe à terre et succombe. Avant de mourir, il prie les autres maçons de ne pas dire à sa mère qu'il est tombé du haut de la maison et qu'il en est mort, mais de lui raconter qu'il a épousé une jeune fille d'un autre pays <sup>50</sup>, ou bien une jeune fille de terre (че се е оженил за мома черноземна) <sup>51</sup>. Dans plusieurs autres cas, une jeune morte répond à sa mère qu'elle ne peut plus s'en retourner parmi ses amies, parce qu'elle est retenue par « un beau-frère de bois et une belle-mère de terre » <sup>52</sup>. Ailleurs, un jeune homme, condamné à mourir de la peste, demande qu'après sa mort on l'habilte en marié et que, dans le convoi mortuaire, ses amis portent le drapeau nuptial, pour que toutes les jeunes filles du village sachent qu'il s'est « fiancé avec la terre noire » <sup>53</sup>. Autre exemple : une jeune fille quitte sa mère en disant qu'elle s'en va déjeuner avec sa belle-mère, son beau-père, son beau-frère et ses belles-sœurs, personnages qui, dans le cas présent, figurent la mort sous un aspect nuptial <sup>54</sup>. Ou encore, c'est une jeune fille qui s'est noyée parce que sa mère ne la laissait pas épouser celui qu'elle aimait, et qui demande qu'on aille dire à celui-ci qu'elle a épousé le Danube glacé <sup>55</sup>. Dans une dernière

<sup>49</sup> S. A. Karanikola, Συμικά λαογραφήματα, dans « Λαογραφία », 1958, texte 2 : Τὸ βαριαρρωι τμηνο ναυτάκι.

<sup>50</sup> Anton P. Stoïlov, *op. cit.*, n° 213 (l'auteur donne également trois variantes).

<sup>51</sup> St. Romanski, *op. cit.*, n° 35 (quatrième variante).

<sup>52</sup> Anton P. Stoïlov, *op. cit.*, n° 99 ; Pentscho Slawejkoff, *Bulgarische Volkslieder übertragen von Georg Adam*, Leipzig, 1919, p. 87 ; Julie Kazaska, *Chansons populaires bulgares.*, Sofia, 1945, p. 67 ; Georg Rosen, *Bulgarische Volksdichtungen*, Leipzig, 1879, p. 212-215.

<sup>53</sup> St. Romanski, *op. cit.*, n° 452.

<sup>54</sup> Julie Kazaska, *op. cit.*, p. 31.

<sup>55</sup> *Ibidem*, p. 44-45.



pièce on nous raconte que la mère de Stoïan, qui est parti se faire haïdouk dans la forêt, le maudit, formant des vœux pour qu'il se marie avec l'herbe verte, à neuf pieds sous terre <sup>56</sup>. La majorité des images qui paraissent dans ces exemples sont formées à partir des mêmes éléments du monde matériel, la seule exception étant celle où il est question d'un être humain.

Dans tous les cas énumérés jusqu'à présent, l'image nuptiale apparaît en liaison avec la mort soudaine et prématurée d'un jeune homme ou d'une jeune fille, et, dans le cas où le héros était déjà marié, celui-ci se remarie au moment de la mort.

Cependant, l'image se retrouve également, à plusieurs reprises, dans d'autres zones du folklore des peuples balkaniques, plus précisément dans les chants funéraires, destinés aux jeunes gens qui sont morts avant d'avoir été mariés. Ces chants font partie intégrante du cérémonial des enterrements, auquel viennent s'ajouter, dans le cas particulier dont nous parlons, de nombreux éléments du rituel nuptial. La chose a d'ailleurs été démontrée par de nombreux folkloristes tels que Ion Muşlea <sup>57</sup> et, plus récemment, Constantin Brăiloiu <sup>58</sup>. On voit donc que l'image nuptiale de la mort, loin d'être une simple juxtaposition de mots, une pure figure de style, repose solidement sur une réalité concrète, historique. Son sens dérive du sens général du cérémonial; cependant, à mesure qu'il s'en éloigne pour se rapprocher de la zone profane des chants épiques, le sens de l'image se modifie en fonction de l'idée nouvelle qu'elle doit exprimer. Notons cependant que, si loin qu'elle s'éloigne de son point d'origine, l'image continue de n'adhérer qu'aux productions dont le centre épique est représenté par la mort d'un jeune homme non marié.

Nous voyons donc que les sphères des deux motifs, celui du « testament du héros » et celui du « mariage du mort », sont beaucoup plus larges que leur simple association, la formule qui les réunit pouvant être, graphiquement, représentée par l'intersection de deux cercles. Bref, la formule que nous avons étudiée ne représente que l'une des nombreuses possibilités d'association des deux motifs. La coïncidence des deux motifs ne constitue pas un simple fait artistique dû au hasard, mais est, en réalité, dictée par la communauté de sens et de fonction sociale, raison pour laquelle les deux motifs ont été attirés l'un vers l'autre, et pour laquelle — dans le cas qui nous occupe — on peut parler d'une « zwangläufige Motivfolge », pour reprendre l'expression d'un chercheur qui

<sup>56</sup> Anton P. Stoïlov, *op. cit.*, n° 33.

<sup>57</sup> Jean Muşlea, *op. cit.*

<sup>58</sup> Const. Brăiloiu, *Sur une ballade roumaine (La Mioritza)*, Genève, 1946.

a soigneusement étudié ce genre de problèmes<sup>59</sup>, ou encore d'une « logique interne » de la succession des motifs « qui reflètent les lois et les correspondances de la réalité objective, logique déterminée par le caractère historique de la conscience humaine qui reflète cette réalité », pour reprendre les propres termes du savant soviétique V. M. Jirmounski<sup>60</sup>. De même, le nouveau message qu'elle nous transmet n'est sûrement pas, lui non plus, dû au hasard. Nul doute que si l'association de ces deux motifs, pourtant si éloignés à l'origine, n'avait pas apporté quelque chose d'entièrement nouveau, par rapport à ce qu'ils exprimaient séparément, elle n'aurait pas justifié son existence ni connu la large diffusion territoriale dont nous avons souligné l'importance. Le sens totalement nouveau de la formule provient de la tendance caractéristique des formes archaïques du mythe et du conte populaire, tendance qui consiste à conserver au héros son immortalité physique, à lui assurer une invulnérabilité magique ou une vulnérabilité conditionnelle, ou bien à recourir à d'autres formules permettant d'éviter la suppression physique d'un héros aimé et respecté. Pendant la période de création de ce chant, du fait de l'invasion irrésistible du réalisme et de la vérité historique dans la création populaire (tels sont, nous l'avons montré, les traits spécifiques du chant historique), il ne pouvait être question d'employer, pour exprimer cette tendance, les vieux clichés qui venaient en contradiction avec les nécessités objectives de la conscience artistique de l'étape historique en question. Par conséquent, le peuple eut recours à l'image nuptiale de la mort, qui avait, semblait-il, le don de prolonger jusque par delà la mort l'existence terrestre du héros. Ainsi donc, la mort du héros ne constitue pas une fin définitive, inexorable, mais bien le passage d'un état à un autre, à un état de gloire nuptiale dû à l'immortalisation par le chant et la poésie. Il faut reconnaître que ce message touche notre sensibilité de façon on ne peut plus directe et plus éloquente, les motifs accomplissant leur destin artistique seulement dans cette unique et admirable combinaison que nous avons étudiée.

La présente étude n'atteindrait pas son but, si elle ne posait et ne s'efforçait de résoudre le problème de la genèse de la formule en question. A cet égard, il nous faut d'abord faire quelques précisions. Le matériel poétique brut, en l'occurrence les deux motifs entrés dans la composition de la nouvelle formule artistique, préexistaient dans le folklore de tous les peuples balkaniques. La genèse de la formule ne saurait être confondue avec celle de l'un ou l'autre motif pris séparément ; la véritable genèse du

<sup>59</sup> Hermann Schneider, *Deutsche und französische Heldenepik*, dans « Zeitschrift für deutsche Philologie », 51, 1926, p. 207, apud : V. M. Jirmounski, *op. cit.*, p. 24.

<sup>60</sup> V. M. Jirmounski, *op. cit.*, p. 24.

chant s'est accomplie au moment où les deux motifs, sur la base d'une communauté nettement définie de sens et de fonction sociale, se sont combinés pour donner naissance à un produit artistique qualitativement nouveau. Notre attention doit porter avant tout sur ce moment essentiel de la vie du chant, non sur ce qui l'a précédé, et donc sur le point crucial du rapport dialectique entre la tradition et l'innovation, c'est-à-dire sur l'instant où un matériel ancien et peu expressif, grâce aux profondes modifications qualitatives survenues dans la conscience sociale (qui reflète des relations sociales complètement nouvelles), est réintroduit dans le circuit artistique général à la suite d'une transformation fondamentale de sa structure poétique, de son message esthétique, de sa fonction sociale, devenant ainsi une pièce artistique absolument nouvelle et nettement individualisée dans le cadre du répertoire folklorique.

Les questions auxquelles tout ouvrage de folklore comparé doit répondre, touchant le problème de la genèse, sont donc de savoir si la pièce artistique est née chez un seul peuple, pour ensuite, par migration, et grâce à un contact culturel étroit et permanent entre les peuples, se transmettre à tous les autres, ou bien de savoir si elle a pu naître séparément chez chacun d'entre eux, sur la base de similitudes profondes existant dans la conscience des hommes et dans leurs relations sociales et économiques.

Qu'elle ait pu naître séparément — par conséquent sans qu'aucun emprunt, aucune influence n'ait été nécessaire —, nous en avons pour preuve l'existence, dans le folklore ukrainien, d'un cycle de chants du même genre. Par exemple, un motif bien connu dans la création populaire orale du peuple ukrainien est celui — né de la coutume des lamentations funèbres — où un jeune Cosaque mortellement blessé fait porter à sa mère, le plus souvent par son fidèle coursier, la nouvelle de son mariage avec la sombre tombe <sup>61</sup>. En Roumanie, ce matériel poétique a été étudié pour la première fois par Gr. G. Tocilescu <sup>62</sup>, qui a donné la traduction d'une variante rapportée par l'historien russe Karamzine. Dans cette variante, le Cosaque blessé envoie son cheval avertir les siens qu'il a contracté une nouvelle alliance, qu'il a « reçu en dot la vaste plaine », qu'une flèche l'a marié (avec la mort) et qu'un coup de sabre l'a contraint

<sup>61</sup> Elsa Mahler, *op. cit.*, p. 404—405.

<sup>62</sup> Gr. G. Tocilescu, *Cum se scrie la noi istoria (Un critic de la Iasi)* [Comment, chez nous, on écrit l'histoire — Un critique de Jassy], dans « Columna lui Traian », 4, 1873, p. 73—74, avec une traduction en roumain d'après Karamzine, *Histoire de l'empire de Russie*, traduite par De Dimoff, Paris, 1826, tome X<sup>e</sup>, p. 352—353; l'historien russe estimait cette variante vieille d'environ 300 ans.

de s'aliter. Tocilescu rapprochait ce texte de la *Miorița* (L'Agnelette) de V. Alecsandri ainsi que de plusieurs chants similaires des collections de von Hahn et de Fauriel. Quelques années plus tard, une autre variante était citée par B. P. Hasdeu <sup>63</sup>, à l'occasion d'un compte rendu du recueil de folklore d'Antonowicz et de Dragomanov. Là, le blessé demande à son cheval de faire savoir à sa mère qu'il s'est marié, prenant pour femme « le vert vallon et l'âpre tombeau ». B. P. Hasdeu faisait un rapprochement entre ce texte et la version française de la ballade du plongeur, dans la variante de Puymaigre, puis, faisant allusion à la *Miorița*, soulignait qu'il vaut mieux ne pas se presser d'attribuer, jusqu'à plus ample informé, la présence de l'« allégorie de la mort » dans les deux textes à une influence d'un folklore ukrainien sur le folklore roumain. Plus tard, cette fois sans aucun commentaire comparativiste, une autre variante parut dans la traduction de G. M. Lazu <sup>64</sup>. Dans celle-ci, le jeune homme blessé affirme qu'il s'est marié avec « une princesse extraordinairement belle ». En fait, il s'agit du thème très répandu que Gogol employa dans sa nouvelle « Une vengeance épouvantable » [Стрешня мєст] qui finit sur ces mots : « Не плєчь, мати, не жури я, / Бо вже твий синь оженив я. / То ввав жини у па яичи у, / В чистєм поли земляноч у, / И без двєрць, бєз оконєць ». Ici, la mariée du défunt est la tombe, telle qu'elle figure généralement dans les lamentations funèbres, c'est-à-dire une maisonnette « sans portes ni fenêtres ». L'érudit russe N. F. Soumtzov <sup>65</sup> a consacré à ce cycle de ballades une étude où il souligne, entre autres, la grande diffusion de ce genre de chant—celui du soldat blessé—chez les peuples d'Occident (anglais, écossais et français), de même que sa grande popularité chez les peuples slaves de l'Est. Dernièrement, le folkloriste moldave A. S. Hîncu <sup>66</sup>, combattant la thèse prudente de B. P. Hasdeu, a examiné ce chant en rapport avec la *Miorița*; par la même occasion, l'auteur reproduisait trois des textes publiés par N. F. Soumtzov (un texte ukrainien, un texte russe, un texte russe de Bachkirie), et qui, si l'on y ajoute ceux

<sup>63</sup> B. P. Hasdeu, *Poezia poporană ruleană în legătură cu istoria română* [La poésie populaire ruthène par rapport à l'histoire roumaine], dans « Columna lui Traian », 7, 1876, p. 325—334.

<sup>64</sup> Gr. N. Lazu, *Poezii populare rutene. Singur jalnic stă căluțul* [Poésies populaires ruthènes. Triste et seul est resté le petit cheval], dans « Arhiva », 5, 1894, p. 217—218.

<sup>65</sup> N. F. Soumtzov, *Этнографическое обозрение*, год 5-й, кн. XVI, М., 1893, no I, p. 44—60: « Песня о смерти казака пользуется в Малороссии и в Галиции большой популярностью и записана во многих вариантах; она встречается почти во всех сборниках малорусских песен », p. 45. Apud A. S. Hîncu, « *Miorița* » și tradiția poetică orală a slavilor de răsărit (Un moment din comunitatea folclorică româno-slavă) [La « *Miorița* » et la tradition poétique orale des Slaves de l'Est — Un moment de la communauté folklorique roumano-slave], paru dans le volume *Дружба народов отраженная в фольклоре*. Kichinew, 1961, p. 61.

<sup>66</sup> A. S. Hîncu, *op. cit.*, p. 61—62.

que nous avons analysés plus haut, prouve combien ce cycle fut répandu <sup>67</sup>. La ressemblance thématique et artistique entre ce matériel et les versions balkaniques est telle que l'on pourrait se poser, à l'exemple de l'ancien comparativisme folklorique, la question de savoir si nous ne sommes pas en présence d'influences culturelles inexplicables. Or, bien que la formule artistique (la combinaison des deux motifs) soit identique, bien que le contenu du motif du « mariage du mort », dans la presque totalité des cas, soit formé d'éléments tirés de la vie matérielle, nous ne nous croyons pas autorisé à conclure que le matériel ukrainien doit sa naissance au matériel balkanique, ou vice versa. Il est plus vraisemblable que ces textes soient nés indépendamment l'un de l'autre, et que les ressemblances de structure poétique et de fonction artistique soient dues à l'identité des conditions sociales et économiques reflétées dans la conscience du peuple à un stade donné de son développement historique. Les peuples balkaniques ont lutté contre le féodalisme ottoman, et le peuple ukrainien, dans des conditions similaires, contre les seigneurs polonais et les chefs des hordes tartares.

Mais si la version balkanique et la version ukrainienne sont nées indépendamment l'une de l'autre, il n'en est pas moins vrai que la version balkanique, dans ses différentes variantes nationales, réclame d'autres explications susceptibles de pénétrer, par delà le réseau inextricable et déroutant des apparences, jusqu'à l'authentique filon de la vérité scientifique. Pour cela il nous faut recourir à l'étude des conditions historiques concrètes dans lesquelles le chant a pris naissance, et que, sans nul doute, il reflète, sous une forme artistique, dans ce qu'elles ont de plus caractéristique.

Pour les peuples balkaniques incorporés, plusieurs siècles durant, dans le nouvel Empire ottoman, l'occupation turque n'a pas signifié la fin des combats. Aux grandes rencontres sur le champ de bataille a succédé la lutte de partisans, qui devient la manifestation caractéristique de l'esprit de liberté des peuples asservis et à laquelle s'associeront, dans un effort commun, tous les peuples balkaniques. Des siècles durant, c'est à l'activité des haïdouks que le monde balkanique devra de ne pas sombrer dans la résignation, la passivité, c'est elle qui sera l'expression vivante

---

<sup>67</sup> Un dernier texte, sans indications de provenance ou de circulation, figure chez S. I. Vassilénoek et V. M. Sidelnikov, *Устное поэтическое творчество русского народа. Хрестоматия*, Moscou, 1954, p. 219, d'après M. D. Tchoulkov, *Соч.* T. 1, 1913. *Собрание разных песен*, ч. 1 стр. 166—167, n° 124 : le soldat blessé fait porter, par son cheval favori, la nouvelle à sa jeune femme, disant qu'il s'est marié avec une nouvelle épouse, qu'il a pris pour dot la vaste plaine, pour marieuse la flèche d'acier trempé, et pour lit les balles de mousquet.

de leurs espoirs de liberté, de leurs aspirations à l'indépendance<sup>68</sup>. Plus on s'éloigne de l'époque de la conquête, plus cette lutte a un caractère de classe, et se livre entre les principales classes antagonistes, c'est-à-dire celle des féodaux et celle des serfs, des raïas. Cette lutte prend des formes différentes qui vont du recours à la justice féodale et de la fuite individuelle ou collective à la défense active, l'arme à la main<sup>69</sup>. Ses aspects varient d'une époque à l'autre<sup>70</sup>, mais elle n'en a pas moins un caractère unitaire : la lutte est livrée pour la défense des intérêts réels des masses<sup>71</sup>. Le mouvement des haïdouks semble avoir connu son apogée pendant la période d'anarchie qui régna dans l'Empire ottoman à la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle et au début du XIX<sup>e</sup><sup>72</sup>. Par la suite, au XIX<sup>e</sup> siècle, le mouvement de libération des peuples balkaniques fera son profit de l'expérience acquise au cours de cette lutte.

Tel est le cadre historique dans lequel est née puis s'est développée, chez tous les peuples balkaniques, une nouvelle espèce de chant héroïque, le chant de haïdouks, lequel est qualitativement différent de l'ancien chant héroïque en ce qu'il renonce à l'aspect monumental, et donc quelque peu conventionnel, de celui-ci, pour faire place à des éléments réalistes : la description concrète des figures des héros, du lieu et du déroulement de l'action, la tendance évidente à raconter des faits strictement authentiques<sup>73</sup>. De plus, nous assistons à la naissance d'un nouveau héros, dont le portrait moral correspond à l'idée de courage et de dignité humaine, forgée par le peuple au cours de cette nouvelle étape de son histoire. En même temps, nous voyons apparaître « des sujets et des situations complètement nouveaux » et « des motifs et des images qui n'existaient pas auparavant »<sup>74</sup>. Le développement de ce nouveau cycle de productions artistiques populaires ne s'est pas fait au prix de l'abandon des vieilles traditions de l'époque héroïque, mais, au contraire, en les développant de façon progressive, conformément à un nouvel idéal artistique, jusqu'à ce qu'ils se sépa-

<sup>68</sup> Joseph Matl, *Die Slaven auf dem Balkan*, dans *Völker und Kulturen Südosteuropas*, München, 1959, p. 83.

<sup>69</sup> J. Kabrda, *Les problèmes de l'étude de l'histoire de la Bulgarie à l'époque de la domination turque*, dans « Byzantinoslavica », 15, 1954, p. 191.

<sup>70</sup> Voir les trois étapes établies dans le développement de ce mouvement populaire de masses dans la Bulgarie par P.G. Bogatyrev, *Энос славянских народов. Хрестоматия. Под общей редакцией* ... Moscou, 1959, p. 182.

<sup>71</sup> V. I. Propp, *op. cit.*, p. 5.

<sup>72</sup> D. Kosev, *Новая история Болгарии. Курс лекций*. Перевод с болгарского, Moscou, 1952, chap. *Manifestations de la lutte politique. Les haïdoucs*, p. 67-71.

<sup>73</sup> P. G. Bogatyrev, *Энос славянских народов*, p. 180, 189-190.

<sup>74</sup> V. Gațak, *Poetica baladelor vechi haïducești (Din istoria eposului ca gen artistic)* [La poétique des anciennes ballades de haïdouks. Sur l'histoire de l'épopée en tant que genre artistique], dans « Limba și literatura moldovenească », Kichinew, 2, 1959, n° 4, p. 23.

rent définitivement du cycle, pour former une espèce folklorique nouvelle, aux propriétés esthétiques et stylistiques particulières.

Le sujet de prédilection de ces productions, au fur et à mesure qu'elles se débarrassent des clichés conventionnels de l'ancien chant héroïque, n'est plus la victoire, puisque l'envahisseur ne pouvait plus être vaincu et chassé du pays, mais la mort héroïque. Cependant, la production folklorique demeure profondément optimiste, et c'est pourquoi elle élabore des schémas artistiques nouveaux pour brosser ces nouveaux thèmes, en donnant toujours plus d'extension à l'ancienne idée de l'invincibilité, de l'invulnérabilité magiques du héros, tout en tenant compte des nouvelles exigences du réalisme qui domine toute cette catégorie de créations.

Il est donc permis de supposer que le chant que nous avons analysé est né chez tous les peuples balkaniques de façon indépendante autant que spontanée. Mais les choses se compliquent quand on sait que, outre les conditions identiques d'existence historique que l'on connaît, les peuples balkaniques eurent très longtemps des contacts culturels directs, ce qui, sans nul doute, facilita et accéléra la diffusion du chant d'un bout à l'autre de la péninsule.

Ce chant, par tous ses traits, a dû naître au temps de la domination turque sur les Balkans, à l'époque où la lutte de libération nationale et sociale devient l'affaire du peuple. Les aspects réalistes que l'on peut surprendre dans plusieurs variantes le classent parmi les chants historiques, plus précisément dans la catégorie des chants de haïdouks. En ce qui concerne le matériel grec, nous possédons suffisamment d'indices pour le rattacher à la lutte des «klephtes». La période pendant laquelle il a pris naissance dut être fort longue, mais nous ne possédons aucun élément précis qui nous permette d'indiquer une date avec certitude. Mais les traits stylistiques plaident pour une origine plus récente. Cependant, nous savons que les luttes de partisans redoublèrent à la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle et au début du XIX<sup>e</sup>. Par conséquent, même si ce chant n'est pas né pendant cette période, il se peut que ce soit là l'époque où il connut la circulation la plus intense. Prirent également part à cette lutte — comme le prouvent les recherches de l'historien bulgare D. Kosev<sup>75</sup> — des révolutionnaires bulgares et serbes, mais aussi des représentants des autres peuples balkaniques. On peut donc supposer que, dans ces circonstances, alors qu'une nouvelle soudure spirituelle avait lieu entre les peuples asservis des Balkans, ce chant dut se répandre largement parmi les populations de cette région. Mais si le chant a pris naissance à

---

<sup>75</sup> D. Kosev, *op. cit.*, p. 80—81.

cette époque, parmi les cercles de révoltés et les compagnies de haïdouks qui réunissaient des représentants de tous ces peuples, il ne nous est plus possible de dire à quel peuple, exactement, il faut attribuer l'initiative de sa création et de sa réalisation artistique proprement dite. Enfin, dans le cas où il a été créé antérieurement par un peuple donné, cette circonstance commune a eu pour effet d'effacer toutes les traces de son origine nationale, le chant s'intégrant dans le répertoire commun des peuples balkaniques. Pour nous, nous sommes convaincu que, dans cette circonstance, le chant dut se transformer en un bien culturel commun et cette circonstance nous semble de la plus grande importance pour son histoire. Pour l'instant, notre opinion concorde avec celle de V. M. Jirmounski <sup>76</sup> qui, au sujet du chant héroïque des peuples slaves du sud, écrit qu'« il est probablement impossible de distinguer quelle fut exactement la contribution de chacun de ces peuples au trésor commun de la création épique », puis ajoute : « peu importe, en somme, de savoir s'il existe ou non un prototype historique du héros ». Pour le savant, « le facteur social-historique le plus important qui unit tous les peuples slaves du sud pendant la seconde moitié du XIV<sup>e</sup> siècle, c'est-à-dire à l'époque où le chant héroïque des Slaves du sud commence à se forger — c'est la domination turque et la lutte commune et séculaire des peuples opprimés pour rejeter le joug ; tel est le facteur qui a déterminé la participation de la majorité des peuples slaves du sud à la création du chant héroïque populaire dont ce thème forme le noyau ». Pour nous, au sujet du chant dont nous nous occupons, nous voyons s'esquisser une sous-période d'intensification de la lutte contre l'opresseur, époque où, sans nul doute, durent également s'intensifier tant le processus de création que celui de circulation des productions artistiques ayant un contenu nouveau, révolutionnaire, sous-période au cours de laquelle la communauté de lutte et d'aspirations assura une intense communauté de création folklorique. De plus, un autre facteur qui dut faciliter la pénétration de la formule dans le répertoire de tous les peuples balkaniques est le phénomène linguistique, caractéristique de cette partie du monde, le bilinguisme. Il n'est pas interdit de supposer que, là où deux ou plusieurs langues, parentes ou totalement différentes, sont comprises par tout le monde et parlées de façon concomitante, où, par conséquent, les chants d'un barde ambulant n'ont pas besoin d'être traduits pour être compris, où il existe des bardes capables d'improviser et d'exécuter la même pièce dans plusieurs langues, — le processus de diffusion internationale

---

<sup>76</sup> V. M. Jirmounski, *op. cit.*, p. 117.



du répertoire folklorique ait pu se développer beaucoup plus facilement <sup>77</sup>.

En conclusion, on peut donc affirmer que, dans l'état actuel des recherches folkloriques balkaniques, il est impossible de résoudre en détail les problèmes touchant la genèse de ce chant, tout ce que l'on pourrait dire à ce sujet ne sortant pas du domaine de l'hypothèse. Nous ne pouvons donc esquisser les probabilités de création et de circulation que dans la mesure où, à l'époque d'intensification de la lutte de libération nationale, correspond une activité créatrice tout aussi intense dans le domaine du folklore, fait qui nous permet non seulement de dater le produit artistique, mais aussi de pénétrer dans le laboratoire de création du peuple respectif, en précisant quelles furent les occasions de création et d'exécution ; cela étant, l'acte de création populaire, acte par excellence collectif — compte tenu, également, de la situation spécifique créée par l'existence du bilinguisme balkanique — s'est transformé en un acte de création commune, chaque peuple participant à sa manière, en fonction de son caractère national, à la création de la même pièce folklorique.

Le problème posé par ce chant présente une importance particulière pour le folklore roumain, car il a plus d'une fois été rapproché, partant d'analogies superficielles, de l'une des plus belles ballades populaires roumaines, la *Miorița*. Ignorant la provenance et la signification du motif du « mariage du mort » et confondant chaque fois la *Miorița* avec ce seul épisode, certains chercheurs ont, de façon absolument injustifiée, fait un rapprochement entre la *Miorița* et la ballade du plongeur, ou bien entre la *Miorița* et les chants ukrainiens et balkaniques. En cela, ils n'ont fait qu'obéir à la tendance vulgarisatrice de l'ancien comparativisme folklorique. En fait, l'accumulation de comparaisons de ce genre a eu pour seul effet de rendre l'étude scientifique de la *Miorița* encore plus difficile. Mais si cette façon de faire pouvait encore se justifier à la fin du siècle dernier ou pendant les premières décennies de notre siècle, lorsque les folkloristes tâtonnaient encore à la recherche de principes et d'une méthodologie qui leur appartinssent en propre, aujourd'hui elle ne repose absolument plus sur rien <sup>78</sup>. Dans tous les cas que nous venons de dire, on ne fait qu'accorder une importance injustifiée à des ressemblances partielles ou superficielles, en l'occurrence à l'épisode de la mère qui cherche son fils et, par conséquent, au motif du « mariage du mort ». Il est donc nécessaire de faire les

<sup>77</sup> *Ibidem*, p. 115 ; E. Schneeweiss, *Allgemeines über die Folklore auf dem Balkan*, dans « Revue internationale des études balkaniques », 1, 1935, tome II, p. 180—184.

<sup>78</sup> Domokos Sámuel, *op. cit.* ; Gáldi László, *Les échos roumains des μυρολόγια néo-helléniques*, dans « Byzantinoslavica », 1950, n° 1, p. 1—5.

précisions suivantes : en aucun cas, la *Miorița* n'avait besoin de faire appel au folklore d'autres peuples pour emprunter des thèmes et des motifs qu'elle pouvait facilement trouver beaucoup plus près, dans les productions folkloriques roumaines dont elle fait d'ailleurs partie ; aussi bien, les recherches entreprises jusqu'à présent ont prouvé que le motif du « testament du héros » existe également dans le folklore roumain, d'où il a gagné, par une contamination créatrice, la *Miorița*, sans pour autant disparaître, en tant que pièce indépendante, après cette fusion ; de même, les recherches entreprises jusqu'à présent ont prouvé que ce motif n'apparaît jamais, dans le folklore roumain, associé à celui du « mariage du mort » ; par conséquent, ce dernier, s'il se trouve dans la *Miorița*, a dû venir d'autre part, sur la base d'une intime similitude de sens et de fonction ; de nombreuses recherches<sup>79</sup> ont montré que cette image possède une base solide et concrète dans le folklore roumain, en l'occurrence dans les lamentations funèbres et le cérémonial funéraire, ce qui élimine donc la nécessité du recours au folklore d'autres peuples, de même que celle de justifier sa présence dans la *Miorița* en invoquant un emprunt à des sources étrangères ; le contenu de l'image prouve, sans contestation possible, que cette image ne pouvait en aucun cas provenir du monde balkanique. En effet, les différences de contenu sont essentielles, fondamentales. Domokos Sámuel lui-même a saisi certaines de ces différences<sup>80</sup> ; pourtant, cette constatation ne l'a pas empêché d'affirmer l'existence de la relation génétique dont nous parlions plus haut. Les recherches entreprises sur le matériel balkanique ont prouvé que, dans la grande majorité des cas, le partenaire nuptial du mort est tiré du monde matériel, qu'il soit la terre ou bien la fosse, la tombe ou bien la balle, etc. L'image est toujours complétée par l'intervention dans la discussion des parents d'outre-tombe du nouveau marié, parents qui eux aussi proviennent du même monde matériel, que ce soient la pierre tombale, les cailloux ou bien le cercueil. Or, dans la *Miorița*, l'image est construite sur des bases totalement différentes. Il est vrai que l'image n'est pas stable mais est au contraire en pleine effervescence évolutive, pourtant, en aucun cas, le partenaire nuptial n'est tiré du monde matériel. Quelquefois, la mariée du mort n'est même pas nommée, et quand elle l'est, c'est toujours « une fille de prince », « une fille d'empereur », « une fière princesse », « une princesse-fée » [« o fată de crai », « o fată de împărat », « o mîndră crăiasă », « o zîă crăiasă »]. Telle est la modalité caractéristique de la *Miorița*. Les variations sur ce thème sont, nous l'avons

<sup>79</sup> Jean Mușlea, *op. cit.*, et Const. Brăiloiu, *op. cit.*

<sup>80</sup> Domokos Sámuel, *op. cit.*, p. 114.

montré, nombreuses, mais l'idée ne change jamais. Quand elle descend du monde du mythe et du conte populaire dans le domaine, plus proche, de la réalité quotidienne, reflétant ainsi les diverses étapes de l'évolution de la conscience sociale, la mariée du berger devient une « fille des champs », une « fille du prêtre » ou une « fille de paysans pauvres », [« fata din plai », « fata popii », « fata de țăran sărac »], lors même qu'elle n'entraîne pas des éléments venus d'un monde intermédiaire : « la sœur du soleil », « la lune et le soleil », « la lune et une étoile » [« soarea soarelui », « luna și cu soarele », « luna și c-o stea »], etc. Ce n'est que dans un très petit nombre de cas (moins de 7%), que nous rencontrons des éléments tirés de la vie matérielle ; par exemple, le berger s'est marié avec « la noire terre » [« negrul pământ »], (4,8%), avec « le vieux buron », « le champ de fleurs », « la branche de sapin », « la bêche et la pelle » [« stîna bătrînă », « cîmpul cu florile », « creanga de brad », « jupîneasă Carpena, adusă din Slatina », « sapa și lopata »] (tous ensemble totalisant à peine 2%). La plus grande partie de ces éléments réalistes proviennent des lamentations funèbres. Mais, comparées à ces dernières, la *Miorița* nous offre une image bien plus poétique, qui nous fait entrer dans l'art le plus authentique et le plus brillant. Il est donc clair que l'on ne saurait parler de la moindre influence de la poésie populaire balkanique sur la genèse, la structure poétique et le sens artistique et idéologique de la ballade *Miorița* <sup>81</sup>.



Bien que la présente étude se soit uniquement proposé d'éclaircir un problème particulier, ses conclusions intéressent une plus large sphère de préoccupations et acquièrent une certaine valeur méthodologique et pratique, touchant les études de folklore comparé en général. Nous avons montré que le problème du parallélisme folklorique de cette région n'est pas un problème abstrait mais bien concret, un problème qui se pose en fonction des facteurs objectifs de la réalité sociale et économique qui ont assuré la participation de tous les peuples à leur histoire commune et porté leur conscience sociale au même degré de développement progressif. Dans les circonstances que nous avons décrites, tous les peuples balkaniques ont chanté les mêmes héros, les mêmes exploits, trouvant les mêmes solutions esthétiques, recourant aux mêmes procédés pour combiner divers motifs dans le cadre des nouvelles compositions, employant les mêmes

<sup>81</sup> Adrian Fochi, *Miorița. Tipologie, circulație, geneză, texte* [Miorița. Typologie, circulation, genèse, textes], Bucarest, (sous presse). Chap. : Baza etnografică a imaginii nuptiale din Miorița [La base ethnographique de l'image nuptiale de Miorița].

moyens d'expression artistique. Chacun de son côté, dans les circonstances en question, ils ont découvert le filon de ces vieilles et complexes liaisons invisibles qui, depuis des siècles, s'étaient établies entre eux, pareilles à un âtre commun où se réunissaient leurs traditions les plus intimes, pour ensuite les porter à la lumière dans un effort commun et unique de création artistique. Les recherches ont prouvé que, méthodologiquement parlant, la solution de ce genre de problèmes n'est possible qu'à condition de remonter à l'origine du processus de création, c'est-à-dire d'aller de l'œuvre artistique à la réalité concrète, telle qu'elle se reflète dans la conscience des masses aux diverses étapes de son développement. Cependant, cela prouve que, au-delà de cette indication théorique générale, il n'existe pas de clé universelle qui nous permette d'ouvrir les portes de tous les problèmes qui nous tentent, et que nos méthodes de travail doivent chaque fois s'accorder avec l'objet de notre étude, en tenant compte du caractère concret du fait artistique soumis à nos recherches. Seule l'étude comparative du folklore balkanique, quand il s'agit de semblables moments de participation massive et commune à l'acte de création collective, permet de déterminer le caractère national de chaque peuple pris à part, en établissant le rapport dialectique entre le général et le particulier, ainsi que l'apport créateur de chacun d'entre eux, grâce à une juste appréciation des différences spécifiques au point de vue esthétique et fonctionnel. En ce sens, nous avons élucidé la raison de certaines ressemblances entre le folklore balkanique et le folklore du peuple ukrainien, dont la situation géographique excluait tout contact culturel direct, de même que les causes de certaines différences entre la création populaire balkanique et celle du peuple roumain, pourtant proche voisin des peuples balkaniques et dont l'histoire présente des ressemblances en ce qui concerne ses tendances générales. Mais notre étude, au fond, se proposait de poser les problèmes et non de les résoudre. Cette tâche exigera les efforts communs et prolongés de nombreux spécialistes.

---

## OTUZZBIR

von AL. GRAUR

In einer Notiz in der Zeitschrift *Grai și Suflet*, VI, 1934, S. 332 habe ich auf das Wort *otuzbir, hotozbir* „jähzorniger, verrückter Mensch“ hingewiesen, das in ganz Muntenien verbreitet ist, sowie auf die Wendung *a porni cu otuzbir* „gewalttätig handeln“. Damals bemerkte ich, daß ich die Form mit bestimmtem Artikel nie angetroffen habe, was mir auffiel, da es natürlich gewesen wäre, daß diese Form sowohl als Subjekt wie auch als präpositionales Objekt mit *cu* hätte auftreten müssen. Als ich im Jahre 1938 ein Wortregister der Gemeinde Reviga im *Buletinul Institutului de filologie română „Alexandru Philippide“*, V, veröffentlichte, nahm ich auf S. 165–166 auch *hotozbir* auf, die Form unter der ich das Wort in meiner Kindheit kennengelernt hatte. Auf Seite 181 desselben Bandes führt Akademiemitglied Iorgu Iordan zwei Abschnitte aus literarischen Werken an. Im ersten Abschnitt tritt die weibliche Form des Adjektivs *otuzbiră* auf, im zweiten das Substantiv mit Präposition *cu otuzbiru*, also mit bestimmtem Artikel. Dennoch ist der gewöhnliche und verhältnismäßig häufige Gebrauch des Wortes die Form ohne Artikel (in meinem Buch *Studii de lingvistică generală*, Ed. Acad. R.P.R., Bukarest, 1960, S. 165 wurde das Wort neu belegt, und zwar diesmal durch einen Moldauer). Wird die Form ohne Artikel als die ursprüngliche betrachtet, so ist erklärlich, wie sie durch die Form mit bestimmtem Artikel ersetzt wurde; der umgekehrte Vorgang wäre unvorstellbar. Deshalb soll man m.E. bei der Bestimmung der Etymologie dieses Wortes von der Form ohne Artikel ausgehen.

In der erstgenannten Arbeit, habe ich, bestimmt richtig, rum-*otuzbir* durch türk. *otuz bir* „einunddreißig“ erklärt. Worin besteht aber die semantische Verbindung zwischen dem türkischen Zahlwort und dem rumänischen Dingwort? Ich habe damals auf „Einunddreißig“ (ein Kartenspiel, das dem von den Deutschen gespielten „Ein und zwanzig“ ähnlich ist) hingewiesen und bemerkt, daß bei L. Șăineanu, *Influența orientală*, II, S. 158, das Wort *otuzbir* „eine Art Spiel mit 31 Karten“ vorkommt. Im Stillen nahm ich an, daß die Erklärung von Șăineanu falsch sei und daß es sich um dasselbe Spiel handelt, das auch bei uns gespielt wird,

zumal es auch in Frankreich als *trente et un* bekannt ist. Meine Annahme war gerechtfertigt, was auch durch I. A. Candrea nachgewiesen wurde, der im *Dicționarul limbii române din trecut și de astăzi* die Tatsachen richtig beurteilt. Um den Sinn des hier besprochenen Ausdruckes zu deuten, hatte ich mich darauf berufen, daß im Rumänischen die Wendung *a trage peste treizeci și unu* „fehlgehen, schlecht anfahren“ vorkommt. Diese Wendung ist auf das Kartenspiel zurückzuführen und zwar auf die Tatsache, daß der Spieler, welcher beim Kartenaufnehmen mehr als 31 Punkte in der Hand hält, die Partie verliert. Scheinbar wird Einunddreißig als eine Grenzzahl angesehen, denn im Französischen sagt man *se mettre sur son trente et un* für „seinen Sonntagsstaat anziehen, sich herausputzen“. Dabei muß ich schon zugeben, daß wir von der Bedeutung „jähzorniger Mensch“ weit abgekommen sind, weshalb ich die Etymologie nie für endgültig betrachtet habe.

Wie immer in Fragen der Etymologie konnte auch hier die richtige Lösung nicht erraten werden, sondern es war notwendig, das Gegenständliche, Anekdotische zu finden, worauf das sprachliche Element beruht. Auf die konkrete Tatsache machte mich Vasile Curticăpeanu, Leiter der Abteilung für Geschichtswissenschaften beim Verlag der Akademie der RVR aufmerksam: In einem deutsch verfaßten Dokument vom 12. November 1821, das demnächst in dem von Akademiemitglied A. Oțetea vorbereiteten Band *Ecoul răscoalei lui Tudor în Transilvania* erscheint, handelt es sich um die in der Moldau liegende 31. Orta (ein Janitscharenregiment). Ein Auftritt zwischen der 31. und der 71. Orta hatte die Sicherheit der Personen sehr gefährdet, unter anderem auch die des Kaimakam Stephanaki Wogoridi. Unter diesen Verhältnissen... „standen die *Otusbiri 31-ten* (von mir unterstrichen — *Al. G.*) der Obrigkeit bei...“, stellten aber nachher ihre eigenen Bedingungen auf, um die Ruhe wiederherzustellen. Es scheint mir glaubwürdig, daß eine solche Militäreinheit als Symbol der Gewalt und deren Mißbrauch angesehen wurde. Wie weit die Erinnerung an diese Vorfälle zurückreicht, beweist der Name *Pazvante*, der auch heute noch in verschiedenen Wendungen auftritt und sich auf den um das Jahr 1800 rebellierenden Häuptling *Pazvantoglu* bezieht.

Das erwähnte Dokument benennt die Janitscharen aus der 31. Orta *Otusbiri*; ich glaube aber nicht, daß wir es hier mit einer rumänischen Pluralform zu tun haben, umsomehr, als es auch heute noch keine Mehrzahl davon im Rumänischen gibt; es handelt sich eher um die besitzanzeigende türkische Nachsilbe *-i* (*-i*), wonach *otuzbiri* also „des Otuzbir“ bedeutet. Im rumänischen Sprachgebrauch ist *otuzbir* als Eigenname aufgetreten, was auch erklärt, warum das Wort fast ausschließlich ohne Artikel gebraucht wird.

Es bliebe noch zu erörtern, wieso der heutige Ausdruck in Muntenien Verwendung findet (die in meinem Buch *Studii* angeführte Person hat das Wort in Muntenien hören können, wo sie zur Zeit lebt), da doch die Garnison in der Moldau gelegen hat. Ich nehme an, daß die 31. Orta gelegentlich auch in Muntenien stationierte. Späteren Erhebungen bleibt es vorbehalten, dieses zu beweisen. Ebenso werden sie feststellen, ob der Ausdruck auch in der Moldau Verbreitung fand und auch heute noch findet.

## ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

### Ч. ПОГИРК

Слово *boreasă* «женщина, жена», распространенное почти по всей Трансильвании<sup>1</sup>, а через трансильванских пастухов и в других районах (напр., в Сучавских и Мусчельских горах)<sup>2</sup>, вообще считается происходящим путем стяжения от слова *boiereasă* «боярыня»<sup>3</sup>, а следовательно, в конечном счете, славянского происхождения<sup>4</sup>. Это слово, еще с наиболее ранних свидетельств, имеет и форму *boiereasă*<sup>5</sup>. Объяснение С. Пушкариу (ДА, под сл.): «слово это употребляется особенно в таких краях, как Цара Олтулуй и Марамуреш, где еще существуют бояре» (!) — явно *противоречит реальному положению*: именно в районах, где распространены слова *boier*, *boiereasă*, значение «жена» отсутствует, а оно засвидетельствовано лишь там, где вместо слова *boier* имеются другие термины (*grof*, *domn*, *nemeş* и т.д.). Если рассматриваемое слово происходит действительно от *boiereasă*, тогда более вероятной является мысль, что этот термин был занесен в Трансильванию чабанами, проходящими с овцами через Молдову и Мунтению, где хозяйка дома, с которой они имели дела, была обычно *boiereasa*. По возвращении домой они применяли его по отношению к своим женам, руководившим в отсутствие чабанов всем хозяйством, являясь действитель-

<sup>1</sup> См. ALRM, I, карты 278 и 380 (*femeie*) и 379 (*sofite*), пункты 156, 164, 170, 190 и т.д.; Т. Părăhagi, *Graii și folclorul Maramureșului* (глоссарий, под сл.); I. Candrea, *Țara Oașului*, стр. 48; I. Pop Reteganul, *Povești*, I, стр. 121 и указания словарей.

<sup>2</sup> См., напр., *Șezătoarea*, II, стр. 23.

<sup>3</sup> В. Р. Hasdeu, *Limba română vorbită între 1550—1600*, т. II, стр. 142—143, S. Pușcariu, в ДА, под сл. CADE под сл. G. Ivănescu, *Problemele capitale ale vechii române literare*, стр. 105; DLRM, под сл. и др.

<sup>4</sup> Не может быть речи об «областном славянизме», как называет его П. Олтяну (SCL, 3/1960, стр. 614), а о производной форме в самом румынском языке из славянского слова; ни суффикс, ни смысловое развитие (*boierească* > *nevastă*) не являются славянскими.

<sup>5</sup> В. Р. Hasdeu, *ук. соч.*; O. Densusianu, H.L.R., том II, стр. 424.

ными хозяйками дома <sup>6</sup>. Слово *boiereasă*, в применении к жене чабана, было воспринято именно потому, что в их говоре оно не употреблялось в ином значении.

Но совершенно не исключено, что форма *boiereasă* засвидетельствованная литературными текстами, является простой народной этимологией и что исконно оба эти слова не имели между собой никакой этимологической связи. Диалектальные обследования дают лишь *boreasă* и никогда *boiereasă* (см. прим. 1).

*Boiereasă* все же не представляет собой единственную, предложенную для *boreasă* этимологию. Основываясь вероятно на И. Йорга, считающего его «трансильванской формой, заимствованной у трансильванских немцев» <sup>7</sup>, А. Скрибан в своем словаре производит его от немецкого *Bauer* «крестьянин». Как отмечает Г. Ивэнеску <sup>8</sup>, подобное происхождение не представляется возможным, так как оно предполагало исходную форму *bur*, которая в румынском языке не встречается. Действительно, немецкое слово *Bauer* вошло в румынский язык как *baur* и, особенно, как *paur*, *paor(e)*, которые никак не могут служить основой для *boreasă*.

Тиктин (DRG), допуская возможность этимона *boiereasă*, все же предлагает, хотя и с оговоркой «может быть», в качестве этимона \**boăreasă*, что представляется мало вероятным хотя бы потому, что *borese* являются женами чабанов, а не погонщиков волов (*bcuari*).

Наконец можно принимать во внимание объяснение, данное Ал. Грауром для *Cheibăreasă* <sup>9</sup>: цыганское *boriasa*, творительный падеж от *bori* — «молодая женщина, невеста». Но если подобное заимствование допустимо для местности Ревига (Яломица), исследованной автором, то его распространение среди трансильванских чабанов является маловероятным.

К предположенным, как возможные, этимонам прибавим еще один: албанское слово *barëshë* — «пастушка», женский род от *bari* — чабан. С точки зрения фонетической сближение не представляет затруднений: а > о после губной согласной представляет собою известное в румынском языке явление, как в более отдаленное время (лат. *baptizō* > рум. *boteza*), так и в более новое (*văpsi* > *vopsi*, *păpuși* > *popuși* и т.д.). Суффикс *-easă* соответствует закономерно албанскому *-eshë*. В смысловом отношении подобное происхождение является вполне возможным: нет ничего более естественного, чтобы жена чабана называлась бы термином, обозначающим «чабанщица». А если этимологически это правильно, тогда более вероятным представляется, что в данном случае мы имеем дело со словом автохтонным, а не заимствованным. Продолжение существования слова лишь в женской форме можно было бы объяснить его эволюцией к смыслу «жена», а также и тем, что для понятия «пастух» конкурировали в языке ряд слов, как: *păstor*, *păcurar*, *tocan*,

<sup>6</sup> Устное сообщение Папахаджи.

<sup>7</sup> N. Iorga, *Istoria literaturii române*, том I, II-ое изд., 1925, стр. 117.

<sup>8</sup> G. Ivănescu, *ук. соч.*, стр. 104.

<sup>9</sup> Al. Graur, в «Buletin lingvistic», VII, стр. 126.



*cioban*, *oier* и т.д. Между прочим, это не было бы единственным словом, сохранившимся лишь в женском роде. Подобный же случай представляет собой слово *moaşă*, которое, как это видно из македоно-румынского наречия, вначале не имело соответствующего слова мужского рода<sup>10</sup>. *Moş* «старик» появилось как производное от *moaşă*, когда оно еще имело смысл «баба, старуха», а после эволюции слова *moaşă* к смыслу «женщина мудрая, толковая, помогающая при родах» (см. гл. *a moşi*), слово отошло от *moş*, к которому приблизились *mătuşă*, *babă* (см. выражение в сказках *un moş şi o babă* «старик и старуха»).

Что же касается формы *boiereasă* «жена», если она является действительно исходной формой слова *boreasă*, а не простой народной этимологией, как отмечено выше, то она не представляет никаких затруднений для предложенного этимологического сближения: Г. Майер свидетельствует гегскую форму *bajoreshë* «*Hirtin*» обосновывающую *boiereasă*<sup>11</sup> «чабанщица > жена» через промежуточную форму \**boioreasă*.

Предложенное этимологическое объяснение остается все же лишь возможным. Отсутствуют диалектные варианты, более давние свидетельства, смысловые и исторические подробности, которые дали бы искомое подтверждение.



В томе диалектальных текстов, собранных академиком Е. Петровичем, имеются и следующие стихи (о коровах):

«*Şi la cǎdă d'alboşeli*

*Şi la fiţi boreţeli*»<sup>12</sup>.

Исследованный субъект поясняет: «*boriëti = pliri d'ori i lap't'ki*». Место обследования Скэришоара (Турда).

Слово *boreţele*, до настоящего времени этимологически оставшееся необъясненным, вне всякого сомнения является производным от *bour* + *eş* + *el*. До настоящего времени единственным свидетельством этого слова является, насколько нам известно, вышеприведенное указание, но производные от *bour* с тем же смыслом («сильный, твердый, острый как бычий рог») еще встречаются: *fişe bourii* (Цара Хацегулуй)<sup>13</sup>; *fişe bourele*<sup>14</sup>; производное *bourat*, *bouărat* (в прямом смысле — о рогах) засвидетельствовано еще Кантемиром<sup>15</sup>. Даже основная форма слова, использованного как прилагательное, встречается в том же выражении у Садовяну: «*sinişori bouri*» (соч., т. XIII, стр. 272).

Что же касается стяжения из *bour* в *bor*, оно встречается недалеко от места, где засвидетельствовано *boreţele* — в Медиаше<sup>16</sup>. Как в

<sup>10</sup> См. G. Brîncuş, в *SCL*, 2 (1961), стр. 200 и литература, цитированная в примечании 1 на первой странице данной статьи.

<sup>11</sup> G. Meyer, *Etymologisches Wörterbuch der albanesischen Sprache*, Штрассбург, 1891, стр. 27.

<sup>12</sup> E. Petrovici, в *ALRT*, II 60/0 (Texte dialectale), Сибиу, 1943.

<sup>13</sup> «*Revista Critică*», III, стр. 90.

<sup>14</sup> N. Păculescu, *Literatura populară românească*..., Бухарест, 1910, стр. 406.

<sup>15</sup> *Istoria ieroglifică*, Бухарест, 1833, стр. 101, 161.

<sup>16</sup> I. A. Candrea — O. Densuşianu, *Dicţionarul etimologic al limbii române. Elementele latine*. Бухарест, 1914, стр. 24.

отношении смысла, так и в отношении формы деривация слова *borețele* от *bour* не оставляет никакого сомнения.



Словарь Румынской Академии дает по рукописному вопроснику Хаждеу (VII, 424, Пояна—Яломица) слово, *crate* с.ж.р. мн. ч. — «пакля, употребляемая при кладке стен», без какого-либо этимологического пояснения. Вероятно это польское диалектное слово *kraty* (в множественном числе, как и *crate*), в литературном языке *graty*, имеющее среди многих своих значений и смысл «ветошь, лохмотья, тряпки» и т.п., с этим же смыслом вошедшее и в украинский язык *gratja*. Констатирование именно в Яломице польского или украинского слова объяснимо тем, что речь идет о «техническом» термине, случайно укоренившемся через занесших его мастеров.



По-видимому из-за суффикса *-iță*, а также и обманчивых омофонов, слово *cratiță* считалось до настоящего времени славянское происхождения. В качестве этимона были предложены производные от древнеславянского *КРАТЬКЪ*: сербское *kratica* — «укорочение, сокращение», *kratice* — «ботинки, короткие сапоги», чешское *kratica* — с тем же значением, болгарское *kraticka* «коротенькая»<sup>17</sup>. Фонетически допустимое происхождение от вышеуказанных форм представляет затруднения семантического характера. Правда, славянское слово иногда имеет конкретный смысл — «укороченный предмет», как, напр., в цитированных сербском и чешском языках. Данное Скрибаном (под сл.) пояснение, что *cratița* это половина кастрюли (*oală*), так же как ботинки — половина сапог, не представляется достаточным, чтобы обосновать деривацию. Ни у одного из славянских народов соответствующие слова либо другие той же семьи не обозначают кастрюлю или же какой-либо другой кухонный сосуд. С другой же стороны, в румынском языке слово *cratiță* не имеет и какие-либо иные значения, приближавшие бы его к значению славянских слов, допустив возможность смысловой филиации. Трудно предположить, что иностранное слово могло бы претерпеть в румынском языке сразу же после его заимствования столь необычное семантическое отклонение. Не могли же румыны взять из одного из славянских языков слово, означающее вообще «короткий», и сразу же присвоить его определенному предмету, с которым в исходном языке это слово не имело никакой связи.

Другие же авторы, не удовлетворенные, по-видимому, предложенной этимологией, оставили это слово без пояснений<sup>18</sup>. Между прочим, сам Тиктин, не удовлетворенный отнесением к вышеприведенным славянским формам, предлагает более приемлемое, с точки зрения семантической, этимологическое сближение, хотя и не подтвержденное ни фонетически и ни исторически, со славянским *krata*

<sup>17</sup> H. Titkin, DRG, под сл., CADE, под сл. и др.

<sup>18</sup> *Dicționarul Academiei Române*, под сл.; *DLRM*, под сл.

— «железная решетка». Бернекер<sup>19</sup> же считает это слово со всеми его многочисленными вариантами и производными заимствованным из итальянского языка: *grata* «Gitter, Fenstergitter», *graticola* — «то же», *gratella* (*gradella*) „Rost” — все происходящие от латинского *crātis*, *crātella*, *crāticula* и т.д. Но заимствование это недавнее, так как соответствующие славянские формы не предполагают единую общую славянскую форму. Действительно, ряд славянских форм объясняются упомянутыми итальянскими словами: *grātikula* (*krātikula*), *grādikule* «Rost zum Fischrösten», *grādelā* «Rost, Gitterwerk» < итальян. *graticola*, *gratella* и т.д. Даже и простая форма в сербском языке *krata*, *grata* — «решетка, плетение» и т.п. скорее объясняется итальянским языком, чем латинским. Но происхождение остальных славянских форм проследить представляется затруднительным, так как их нельзя с уверенностью вывести из итальянских, как это полагает Бернекер. Присутствие и даже преобладание некоторых форм с *kr-* вместо *gr-* еще не доказывает, что мы имеем дело с заимствованием из латинского, а не итальянского. Озвончение взрывных согласных перед *r* представляет собой явление свойственное многим языкам, а под аналогичным же влиянием является возможным также становление форм с *kr-* из *gr-*. Между прочим, даже итальянские словари дают как формы *grata*, *graticola*, *gratella*, так и *crata*, *craticola* и т.д.

Многозначительным является и тот факт, что семья этого слова не встречается ни в болгарском, ни в чешском или словацком языках, что также говорит за итальянское, а не латинское либо балкано-романское происхождение соответствующих сербских слов.

В польском языке, однако, семья слова *krata* хорошо представлена: *krata*, *kratka*, *kratkowy*, *kratkowany*, *kratkować* и т.д., с основным значением «железная решетка, прутья, решетка для жарения». В украинском языке также имеются формы как *крата*, так и, главным образом, *грата*, *гратка*, *гратчастий* (с тем же значением), а в белорусском же *крата*. Для польского языка итальянское происхождение представляется и исторически и по форме менее вероятным. Преобладание формы *krata* (варианты с *gr-* являются диалектными, народными) как бы говорит за латинское происхождение польского слова, как это указывает А. Брюкнер<sup>20</sup>. Ссылка на классическое латинское *crātes* является излишней, так как средневековые латинские словари дают чаще *crata*, чем классическое *crātes*. Что же касается украинских и белорусских слов, они, вне сомнения, заимствованы из польского, что доказывается и отсутствием соответствующих слов в русском языке. Украинские формы с *hr-* являются, по-видимому, отзвуком польских диалектных, народных форм (*grata* и т.п.), в то время как *крата* заимствовано скорее по культурной линии.

<sup>19</sup> E. Berneker, *Slawisches etymologisches Wörterbuch*, том I, Гейдельберг, 1908—1913, стр. 608—609.

<sup>20</sup> *Słownik etymologiczny języka polskiego*, Краков, 1927, стр. 265.

Как можно было усмотреть, ни одна из славянских форм слова *krata* не может объяснить формально румынское *cratiță*, хотя в смысловом отношении для некоторых из них это и возможно («железная решетка для жарения» > «кастрюля»). Романское либо латинское происхождение соответствующих славянских слов выдвигает и вопрос, не является ли румынское *cratiță* унаследованным словом, а никак не заимствованным из славянского. Единственным исследователем, выдвинувшим подобное предположение, является Л. Шейняну, поясняющий в своем словаре, что это слово происходит «из первоначального \**cratā* = лат. *crates*». К внутреннему, румынскому, а не славянскому источнику направляет и тот факт, что румынское *cratiță* заимствовано украинскими и польскими диалектами. Польский диалектальный словарь имеет под *grat* (< нем. *Gerade*) слово *gracica* — «широкий, низкий, сосуд», которое нам кажется заимствованным из румынского, так как, вероятно, не имеет ничего общего с польским *grat*, кроме простой омонимии.

Латинское происхождение *cratița* представляется весьма возможным. В семантическом отношении имеем смысловое сближение с *cratella* — «железная решетка для жарения» (см., напр., у Марциала, XIV, 221 и др.); возможна также контаминация со смыслом слова *crater*. С формальной точки зрения *cratiță* может быть объяснено двумя способами: либо от первоначального *cratā*, как предлагает Шейняну (< лат. *crates* или народное *crata*, засвидетельствованное в середине века и предполагаемое итальянским *grata*, к которому позже был добавлен суффикс *-iță*), либо скорее от формы женского рода прилаг. *craticia* (это слово кстати засвидетельствовано)<sup>21</sup> с аналогичным в дальнейшем перенесением ударения. Среди слов, оканчивающихся на *-iță*, имеют ударение на *i* главным образом уменьшительные формы, в прочих же ударение остается на корне; *cratiță* же, не представляясь производным, а тем менее уменьшительным, так как основная форма не сохранилась, получило такое же ударение как неуменьшительные слова.

В отношении формы возникает еще один вопрос. Из семьи *crates* в румынском языке имеются еще два слова: *gratie* < лат. *crates* и *grătar* < лат. *gratarium* (Кандря-Денсушиану) или *gratale* (С. Пушкириу). Оба эти слова отмечают переход *cr-* в *gr-*, имеющийся еще в латинском<sup>22</sup>. Но это явление случайное, оно не представляет собой абсолютную закономерность, доказательством чему служат латинские слова, сохранившие в румынском звукосочетание *cr-*: *crăpa*, *creastă*, *crede*, *crește*, *creștin*, *cruce*, *crud*, *crunt*, и т.д. Различие между *cratiță*, с одной стороны, и *gratie* и *grătar*, с другой, может быть объяснено их давним смысловым расхождением, каждое из них пройдя свою собственную, независимую эволюцию. Данные археологического

<sup>21</sup> REW, под № 2302 дает романские продолжения латин. *craticius*: итальян. *graticcio*, беллун. *gardiz* и т.д.

<sup>22</sup> O. Densușianu, *H.L.R.*, I, стр. 111; Al. Rosetti, *I.L.R.*, том I, изд. 3-е, Бухарест, 1960, стр. 93.

и исторического порядка по каждому из этих предметов могли бы помочь этимологическому уточнению слова. К сожалению, подобные сведения отсутствуют. Предложенная выше этимология, правдоподобная с лингвистической точки зрения, остается лишь вероятной, может быть с большей степенью вероятности, чем прочие этимологии этого слова.



Словари Кандря-Адамеску и Скрибан дают прилагательные *pórav* — «быстрый, прилежный, пылкий» и *púrav* — «вспыльчивый, придирчивый, злой», оставшиеся до настоящего времени необъясненными. Их ареалом указывается Трансильвания, без каких-либо уточнений. Кандря ссылается на тексты, не указывая точно их место. Ссылку на журнал *Convorbiri literare*, без других подробностей, невозможно установить. Наоборот, ссылка на Шт. Пашка, *Glosar dialectal*, Бухарест, 1928 г., отмечает для *pórav* местности Жина и Некрих (Сибиу), а для *púrav* — Загра (Нэсэуд).

Упомянутые прилагательные должны быть, вне сомнения, связаны с существительным *poară* — «сопротивление, ссора, спор», используемым особенно в выражении *a se pune în poară* — «противиться». К тому же гнезду относится и румынское слово *opor*, имеющее два значения: 1) «часть оси, на которую опирается колесо»; 2) «сопротивление, противодействие».

Все эти слова происходят, конечно, от одного и того же славянского корня *per-/por-* с многочисленными их глагольными и именными производными, имеющими два основных значения: 1) «поддержка», откуда 2) «сопротивление, противодействие». Румынские словари (TDRG, Кандря-Адамеску, Скрибан, DLRM), как для *opor*, так и для *poară* указывают прежде всего на болгарский, русский, польский, чешский *opor(a)* или другие производные формы, хотя *poară* определенно происходит от славянского ПОРА, охватывающего все румынские значения: 1) «укрепление, поддержка»; 2) «сила, насилие»; 3) «ссора, спор». Что касается *porav*, *purav*, они представляются нам скорее румынскими производными от *poară*, так как, поскольку нам известно, соответствующие им формы в славянском языке не отмечены. Но вызывает некоторое затруднение лишь *u* из *púrav* так как превращение *o > u* было бы естественным только в неударном слого. Все же форма *puráv* с ударением на конце, что оправдало бы затемнение гласной, представляется весьма возможной, учитывая игру ударения, которая встречается в подобных формах (*bolnáv* — *bolnáv*, *mîrşav* — *mîrşáv* и т.п.).

Но каким бы ни было положение, семантическая и фонетическая связь между *porav*, *purav* и *poară*, *opor* является несомненной.

## THE TOMBSTONE OF PRINCE CONSTANTIN BRÎNCOVEANU'S PHYSICIAN, PANTALEON CALIARHIS

by PAUL CERNOVODEANU

In the Stavropoleos churchyard museum in Bucharest there are about 40 tombstones, crosses, votive inscriptions, ornamentations and capitals of some ancient, destroyed churches of the city. The reminiscences are of the XVII<sup>th</sup>, XVIII<sup>th</sup> and XIX<sup>th</sup> centuries<sup>1</sup>; among them of special interest is the Pantaleon Caliarhis' tombstone, who was a well known chian physician who lived at the Court of the Wallachian Prince Constantin Brîncoveanu (1688—1714). The funeral inscription on that stone precisely states Pantaleon Caliarhis' death day, unknown till now, as well as his wife's name, Zoe, who was a member of a byzantian noted family.

The presence of Caliarhis' tombstone in the Stavropoleos churchyard museum is probably due to ist provenience from one of the bucharestian destroyed churches<sup>2</sup>, formerly situated in the neighbourhood of the Stavropoleos church, then monastery, founded in the summer of 1724 by Ioanichie of Ostanitza, Bishop of Stavropolis.

The physician's tombstone is very sober, without any ornamentations; it measures 1.70 × 0.78 m and bears on its superior part an inscription

<sup>1</sup> George D. Florescu, Petre Ș. Năsturel, Paul I. Cernovodeanu, *Lapidariul bisericii Stavropoleos din București* (The Stavropoleos churchyard Museum in Bucharest), in „Biserica ortodoxă română”, LXXIX (1961), no. 11—12, pp. 1055—1094.

<sup>2</sup> We are not certain whether Pantaleon Caliarhis was the father of the Great Ban Antonache Caliarhi, who took the name Florescu after his marriage with Ancutză, daughter of Istrate, the last descendant of an old family of boyars named Florescu (The States Archives of Bucharest, *The Radu Vodă Monastery*, XII/17). Yet we know that Antonache was buried at Mănăstirea sfîntul Ion cel Mare (St. John the Great Monastery), in the vicinity of the Stavropoleos church (according to G. D. Florescu, *Istoricul unei vechi case bucureștene: casa Floreștilor din mahalaua Scorțarului* (The History of an Old Bucharestian House: the Boyars Florescu's House, in the Scortzar suburb), Bucharest, 1935, p. 9) and we presume that Antonache was to be related to Pantaleon Caliarhis; therefore we consider that Brîncoveanu's physician too was probably buried at this monastery.

written in twelve lines with 5 cm long letters in relief; the inscription is enclosed by a 0.70 × 0.63 m cartouche. The stone is knocked in its superior right edge. The text drawn up in affected iambic verses, is the following :

1. Ἐνταῦθ' ἀκέστῳ ἔξοχος Παντολέων
2. Ὁ Καλλιάρχος τοῦ περικλην κοῖται ἄπνους
3. Χίου ποθεινῆς πατρίδος πόρρω πᾶν
4. Ὅπου τέθραπται καὶ δέμας Ζακαλλέος
5. Ζωῆς ἑαυτοῦ σφύγου τῆς φιλάτης
6. Δίας γυναικῶν τῷ γένει βυζαντίδος
7. Πολλῶν θανούσης πρὸ χρόνων τοῦ δ'εὐνέτου
8. Ἄμφω λιπόντες φιλάτοις ἄλγος τέκνοις
9. Οὐδ' ὀλβίσωμεν πάντες ἀξιοχρέως
10. Τὸν τῶν ἀπάντων ἀξιούντες δεσπότην
11. Τὰ πνεύματ' αὐτῶν ἐν χλ<ό>ης τάζαι τόπω
12. ✕ αψκε. Ἰανκουαρίου ✕.

We consider that some supplementary data about Pantaleon Caliarhis' life and activity would be of interest to the reader.

Caliarhis' name is often mentioned in The Register of Incomes and Expenses of The Treasury<sup>3</sup> especially as "doctor Pandele" or even "Pantaleon, the great doctor"<sup>4</sup>. He served in Great Wallachia as Prince Constantin Brîncoveanu's physician between 1692 and 1703<sup>5</sup>. He was born in Chios, as the inscription on his tombstone states, and was a descendant from a theologians' and learned men's family. Martin Crusius<sup>6</sup> asserts the existence of a certain Antonios Caliarhis πνευματικὸς καὶ πρωτεύδικος towards 1590; in 1639 lived in Izmir (Turkey) the priest (ἱερεύς) Antonios Caliarhis<sup>7</sup>; another Caliarhis — whose Christian name is unknown — is mentioned as priest in 1684<sup>8</sup>. Descending, as one would suppose, from this family of clergymen, Pantaleon was probably born in the middle of the XVII<sup>th</sup> century. Soon after Brîncoveanu's enthronement as Prince of Great Wallachia, Pantaleon, "The great doctor", received 1000 thalers as annual wage<sup>9</sup> for his attendance upon the Prince's and the Court boyars' health. Physician, philosopher and theologian, Caliarhis, as a real learned man of his time, had a beautiful library; an ex-libris of his books may be seen on a copy of

<sup>3</sup> Condica de venituri și cheltuieli a vistieriei.

<sup>4</sup> Pantaleon, doctorul cel mare.

<sup>5</sup> Ioan C. Filiti, *O pagină din istoria medicinei în Muntenia (1784—1828)* (A Page from the Medicine History in Great Wallachia (1784—1828)), Bucharest, 1929, p. 8.

<sup>6</sup> Martin Crusius, *Turco-Graecia*, Basel, 1585, p. 285; N. Katramis, *Φιλολογικά Ἀναλέκτα Ζαχύνθου*, 1880, pp. 190—193.

<sup>7</sup> A. Papadopoulos-Kerameus, *Ἱεροσολυμιτικῆ Βιβλιοθήκη*, IV, St. Petersburg, 1899, p. 284, no. 305.

<sup>8</sup> *Ibidem*.

<sup>9</sup> These wages were payed half yearly: 500 thalers on the 23<sup>rd</sup> of April (St. George's Day) and 500 thalers on the 26<sup>th</sup> of October (St. Demeter's Day) as stated by C. Aricescu in his study, *Condica de venituri și cheltuieli a vistieriei de la teatul 1702—1713* (The Register of Incomes and Expenses of The Treasury between 1694 and 1704) in "Revista istorică a Arhivelor României", Bucharest, 1873, pp. 9, 516, 539, 578, 621, 655, 660, 715 and 729 for the years 1694, 1700, 1701 and 1703.

Ioan Cariofil's "Enchiridion" printed at Snagov in 1697. This ex-libris<sup>10</sup> takes symbolical arms in, consisting of a crowned lion with a bird in its right paw. In the four edges of the arms there are the owner's initial letters: ΠΤ, ΛΩ, ΚΑ, ΑΧ <Παντολέων Καλλιόρχος>. In the upper part of the arms we can read: 'Εκ τῶν τοῦ Παντολέοντος Καλλιόρχου τοῦ Χιοῦ καὶ ἀρχιάτρου τῆς γαληνοτάτης αὐθεντείας Οὐγγροβλαχίας.

In the lower part is the translation of the text in latin: "Ex <libris> Pantaleonis Calliarhi philos <ophi> ac medic <inae> doct <oris> celsissimi principis Valach<iae> archiatri" and the date: ΑΧΨΒ' 'Ιουλίου, Β'.

We suppose that Pantaleon must be the "physician boyar" sent by Prince Constantin Brîncoveanu to Ioan Cariofil, the Chief Chancellor of the Patriarchate of Constantinople, in 1692, August 4, when the latter came out of sorts in Bucharest; here he died on September 28 and was buried at the Radu-Vodă Monastery<sup>11</sup>.

In 1694 "doctor Pantaleon" lived in Constantinople where he was sent together with A[l]ixandrache, overseer of ushers, in order to bring "the tents and other things belonging to the Court"; there he spent 500 thalers<sup>12</sup>.

Some years later, in 1702, seized by the scholarly zeal which reigned at the Wallachian Prince's Court, protector of culture, Caliarhis printed at his expense an *Acolouthy* in Greek and wrote a letter about it to his fellow countrymen in Chios<sup>13</sup>.

After 1703 we do not meet Pantaleon in Great Wallachia; from some of his letters we understand that he dwelt both in his native island, Chios, and in Constantinople, keeping up, all this time, durable relations with the Rumanian society. So, the exiled Prince of Moldavia, Contantin Duca, wrote in 1710, March 10, to Hrisant Notara, Patriarch of Jerusalem, that Pantaleon (Παντολέων), Brîncoveanu's physician, sent him news from Constantinople about his son, Şerban<sup>14</sup>. In 1712, October 12, the Patriarch received from Chios Caliarhis' request to condescend to insist at his protector, Prince Constantin Brîncoveanu, to marry the physician's daughter, Mariutza, to a young noble man of Chios, "Messer Leonis"; in the same way, Pantaleon transmitted to the Patriarch the respects of his old father and gave him notice about the death of his sister and of her son, carried away by the bubonic plague in Constantinople; also that

<sup>10</sup> C. Amantos, Οἱ Καλλιόρχαι τῆς Χίου, in "Ἐλληνικά", VIII, 1, 1935, p. 73.

<sup>11</sup> The Academy of the R.P.R., Greek mss. 974; Petre S. Năsturel, *Contribuții la viața lui Ion Cariofil în legătură cu biserica românească* (Contributions to Ion Cariofil's life in connection with the Rumanian Church), in "Mitropolia Olteniei", X (1959), no. 7-8, p. 523.

<sup>12</sup> C. Aricescu, *op. cit.*, p. 38; N. Iorga, *Chronicle*, in "Revista Istorică", XIII (1927), no. 1-3 (Jan.-Mar.), p. 92.

<sup>13</sup> C. Amantos, *op. cit.*, p. 74; L. Petit, *Bibliographie des acolouthies grecques*, Bruxelles, 1926, p. 186. In the preface of this writing, which is to be found in the library of the Academy of the R.P.R., Pantaleon assumes, here too, the affected professional title ἀκέστωρ (= the healer), term found also in the inscription on his tombstone.

<sup>14</sup> Hurmuzaki, *Documente privitoare la istoria Romnilor* (N. Iorga edition), XIV, Bucharest, 1915, p. 424, no. 449.



his brother, the priest Petre and Petre's daughter were cured<sup>15</sup>. The last news about Pantaleon are kept in his letter from 1715, September 23, addressed to Neofit Mavromatis<sup>16</sup>, the Metropolitan of Arta.

We don't know for the moment where and how lived Brîncoveanu's physician in his last years, nor when and in what circumstances he returned to Great Wallachia. His tombstone is the proof that he died in Bucharest in 1725, January 20, far from his beloved Chios, the island where had died, many years before, his wife Zoe.

---

<sup>15</sup> *Idem*, p. 472–475, no. 495.

<sup>16</sup> C. Amantos, *op. cit.*, pp. 75–77.

## ХРОНОЛОГИЧЕСКОЕ УТОЧНЕНИЕ ОДНОГО ИЗ ЭПИЗОДОВ БАЛКАНСКИХ СОБЫТИЙ В НАЧАЛЕ XIX В.

АУРЕЛИАН КОНСТАНТИНЕСКУ

Воспоминания о балканских событиях начала XIX в. живо сохранились в памяти и устной традиции румын, как это будет видно ниже; все же они должны быть дополнены и согласованы и с другими источниками, что всегда должны иметь в виду историки, изучающие эти события.

В подобном положении находится, например, вопрос о бое у с. Костешть. Первое упоминание о нем было сделано в 1882 г. В. Думитреску. Публикуя воспоминания олтенских «пандуров» о их борьбе с турками, автор передает рассказ одного из них, принимавшего участие в столкновении у с. Костешть с «бандами башибузуков, бродивших воровски в горах»<sup>1</sup>.

Другое свидетельство находим в Большом географическом словаре Румынии<sup>2</sup>, который обстоятельно сообщает об этом бое: «Говорят, что в этом селе произошла в 1807 г. битва с турецким отрядом, грабившим местности Клошань и Черна, под предводительством Аги-Аргира; при возвращении в Ада Кале отряд зашел в село Костешть<sup>3</sup> с целью ограбления сельского священника Маку. На ночь турки остались в селе. В это время из села Чернец власти выслали воинский отряд из русских и сербов под командой капитана Жифку; по прибытии отряд вступил в бой с турками. Через три дня турки отступили в Ада Кале, а высланный против них отряд под командой капитана Жифку вернулся

<sup>1</sup> V. Dumitrescu, *Note asupra monumentelor, ruinelor și locurilor însemnate istorice din jud. Mehedinți*, в „Revista pentru istorie, arheologie și filologie”, I, 1882, стр. 173.

<sup>2</sup> *Marele Dicționar Geografic al României*, Бухарест, 1899, т. II, стр. 676. В дальнейшем будет указываться M.D.G.R.

<sup>3</sup> Село Костешть находится на расстоянии 41 км от города Турнул Северин и 28 км от Байя де Араме. Оно расположено у подножья горы Бэниа. Село имеет хорошую стратегическую позицию, так как оно закрыто со всех сторон горами, а подъезд к нему идет через ущелье, по которому проложена дорога и течет Костештский ручей M.D.G.R., там же.

в село Чернец, где раненный в бою капитан Жифку скончался через шесть дней. Эта битва нагнала на турок из Ада Кале столько страха, что они на некоторое время прекратили свои набеги на Чернскую и Клошанскую волости».

Авторы Румынского географического словаря не заинтересовались проверить год, в котором произошел этот бой, так как во время русско-турецкой войны 1806—1812 гг. вместе с русскими дрались и пандуры из Олтении, и полагали, что 1807 г. вполне соответствует исторической правде.

Занимаясь вопросами истории русско-турецких войн и исследуя различные источники в связи с происшедшими в те времена битвами, мною было обращено внимание на весьма ценное сообщение, содержащееся в очень редкой, вышедшей в России книге. Речь идет о „Précis historique et chronologique des événements militaires pendant la seconde campagne contre les Turcs, depuis la prise de Varna, jusqu'à l'occupation d'Andrianople, le 8 août 1829", Saint-Petersbourg, 1829, vol. II. Предисловие подписано «Spada» — разумеется, псевдоним<sup>4</sup>. На стр. 52—53 читаем следующее:

«L'armée commandée par Son Excellence M<sup>r</sup> le général comte de Diebitch n'a pas encore commencé ses opérations; ainsi nous continuerons à donner les nouvelles des faits partiels des différents corps, telles que nous les trouverons dans le Journal d'Odessa, «Armée de Turquie», du 23 mars. Le 1<sup>er</sup> mars environ 100 Turcs sortirent d'Orsoff et se dirigèrent vers les montagnes. Mais ayant été atteints dans le village de Kistechty, par 150 Pandours, sous le commandement du capitaine Jivko, ils se retirèrent dans une maison de pierre à trois étages. Le capitaine Jivko fit entourer la maison par ses troupes, espérant forcer par la faim les Turcs à se rendre. Mais le 4 un autre corps turc de 400 hommes, sortis d'Orsoff, vint à Kistechty et y attaqua les Pandours, qui, malgré la résistance la plus vigoureuse, se virent obligés de céder aux forces supérieures de l'ennemi, et ne purent contenir les Turcs assiégés dans la maison. Ceux-ci se hâtèrent d'en sortir, se réunirent aux troupes venues à leur secours et regagnèrent en tout hâte le bourg d'Orsoff. Une compagnie du régiment de Kolyvane, envoyée pour soutenir les Pandours, les ayant rencontrés en route pour retourner à leur quartiers, rebroussa chemin et revint avec eux.

Les Turcs ont perdu environ 40 hommes dans cette affaire. Les Pandours ont à regretter la perte de leur brave commandant, le capitaine Jivko; ils ont eu en outre 5 hommes de tués et 11 blessés».

Первый вывод, который сам собой напрашивается, это необходимость исправить хронологическую ошибку: 1829 г. вместо 1807 г. Основанием для этого служит тот факт, что первые два упоминания устные, в то время как третий источник письменный, не вызывающий сомнений, современный описываемому событию. Так что Костешский бой включается в события войны 1828—1829 гг. Эта война была вызвана обостре-

<sup>4</sup> Этому же автору принадлежит и *Ephémérides russes politiques, littéraires, historique et nécrologiques*, Петербург, 1816 г., 3 тома, вышедшие под тем же псевдонимом.

нием «Восточного вопроса»<sup>5</sup>, который затрагивал как народы Балканского полуострова, так и румынский народ. Поэтому было вполне естественным в подобных исторических условиях, чтобы начатая в 1828 г. русско-турецкая война нашла бы мощный отклик как среди балканских народов, так и у румынского народа. Военные действия начались в апреле 1828 г. Кампания развертывалась до сентября 1828 г.<sup>6</sup> В начале 1829 г. командующий дунайскими армиями П. Х. Виттгенштейн был заменен фельдмаршалом И. И. Дибичем<sup>7</sup>. Вторая дунайская кампания началась в мае 1829 г.<sup>8</sup>

Рассматриваемый эпизод по времени занимал место между первой и второй военными кампаниями, когда еще «операции не были начаты», подразумевая общие военные действия, и когда в Россию поступали лишь сведения «об иволированных действиях отдельных воинских частей».

Отрядом пандуров командовал капитан со славянским именем Живко. Поскольку это имя распространено и среди болгар, и среди сербов, трудно установить этническую принадлежность командира<sup>9</sup>. Во всяком случае он был представителем южных славян, общая борьба которых за свое национальное освобождение была близка и румынскому народу.

Надеемся, что вышеприведенным уточнением будет положен конец имевшей до настоящего времени место хронологической ошибке.

---

<sup>5</sup> *Большая Советская Энциклопедия*, 2-ое изд., т. 37, стр. 465.

<sup>6</sup> *Там же*, стр. 466.

<sup>7</sup> Фельдмаршал Иван Иванович Дибич жил в 1785—1831 гг. (*там же*, т. 14, стр. 314).

<sup>8</sup> *Там же*.

<sup>9</sup> Указание *Большого румынского географического словаря* на «воинскую часть из русских и сербов» необходимо сопоставить с другими источниками. Путаница между болгарами и сербами встречается весьма часто в вышеуказанном словаре. Там же, например, говорится, что в селе Дудешть-Чопля у Бухареста — «Большинство жителей сербы и занимаются главным образом разведением овощных культур», (M. D. G. R., т. III, 1900, стр. 262), — тогда как известно, что в Дудешти-Чопля проживают болгары.

## LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DES ÉTUDES SUD-EST EUROPÉENNES DE MUNICH (novembre 1962)

A l'occasion du X<sup>e</sup> anniversaire de la « Südosteuropa Gesellschaft », une conférence internationale réunissant de nombreux savants a eu lieu à Munich du 7 au 20 novembre 1962. Les travaux de cette conférence se sont déroulés dans trois sections : 1) une section d'histoire ; 2) une section de linguistique, archéologie et histoire de l'art ; 3) une section de finances, économie et droit. Un grand nombre de rapports et communications furent présentés à cette occasion — témoignage de l'intérêt toujours plus vif accordé par les spécialistes dans ces domaines à la connaissance de l'Europe de sud-est, à la suite des grandes transformations sociales et économiques survenues après la deuxième guerre mondiale.

Les travaux de la section historique ont eu comme but de dresser le bilan des recherches sur le Sud-est européen pendant les vingt dernières années. Quelques-uns des participants ont présenté des rapports concernant l'organisation des études sud-est européennes dans certains centres scientifiques particulièrement importants : St. Fischer-Galatz, sur le centre de Detroit et, en général, sur ce genre de recherches aux Etats-Unis ; Em. Turczinsky, sur le centre de Munich et, de même, sur ces recherches dans la R. F. Allemande ; Thorvi Eckhardt, sur le centre de Vienne. Des spécialistes yougoslaves, ayant à leur tête Ljubomir Hauptmann — qui à l'occasion de cette conférence vient d'être honoré par la « Südosteuropa Gesellschaft » de la médaille d'or Jireček, pour ces recherches sur le Sud-est européen — ont présenté des communications au sujet des rapports très complexes entre l'Europe centrale et l'Europe sud-orientale à travers les âges. C'est avec un fort vif intérêt qu'on a suivi la communication du byzantiniste allemand Fr. Dölger sur les débuts des recherches concernant le sud-est de l'Europe et les rapports des spécialistes hongrois S. P. Pach, T. J. Berend, L. Zsigmond sur le développement pendant les vingt dernières années des recherches concernant l'histoire de la Hongrie, considérées du point de vue sud-est européen. C. Daicovicu et E. Stănescu ont contribué à faire connaître par leur rapport les progrès enregistrés par les études de l'espace carpatodanubien.

La section de linguistique, archéologie et histoire de l'art n'a pas eu de thème spécial pour ses discussions. Parmi les communications présentées ici, rappelons celles des romanistes de haute réputation tels que E. Gamillscheg et G. Reichenkronn, au sujet de la continuité de la population autochtone sur le territoire de l'ancienne Dacie — population devenue graduellement proto-roumaine et puis roumaine. Cette thèse, qui est aussi celle de la science

roumaine et qui a trouvé dernièrement un nouveau renfort dans les découvertes archéologiques, a réuni l'adhésion unanime des savants qui ont pris part aux discussions. E. Petrovici et Em. Condurachi, membres de la délégation roumaine, ont parlé, le premier des traits balkaniques communs dans le système phonétique roumain et albanais, le second des relations entre les Grecs et la population autochtone du Bas-Danube, à la lumière des dernières recherches et découvertes archéologiques et épigraphiques.

Les travaux de la section finances, économie et droit ont été consacrés à un seul thème : le droit bancaire et valutaire dans les pays de démocratie populaire de l'Europe de sud-est, dans le cadre du système économique socialiste. E. Deutsch et G. Comşa ont présenté un rapport sur le rôle du système bancaire et valutaire de la R.P. Roumaine, dans le domaine du commerce extérieur tout particulièrement.

Les rapports et les communications furent suivis d'amples et fructueuses discussions. Les organisateurs de la conférence, le président de la « Südostcuropa Gesellschaft », R. Vogel, les vice-présidents Th. von Užorinac-Kohary, H. Gross et A. König, le regretté professeur H. F. Schmid, ont eu le mérite de diriger les débats dans un esprit de cordiale collaboration scientifique.

*C. Daicoviciu*

## LA RÉUNION DU COMITÉ DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ÉTUDES BYZANTINES (Athènes, avril 1963)

A Athènes, entre le 16 et le 18 avril 1963, a eu lieu la réunion du Comité de l'Association internationale des études byzantines. Ont pris part à cette réunion, qui avait à prendre d'importantes décisions, les représentants de nombreux pays : D. Anghelov (Bulgarie), P. Charanis et A. Mongo (Etats-Unis), K. Kyrris (Chypre), Paul Lemerle et H. Glykatzis — Ahrweiler (France), J. Hussey et D. Obolenski (Grande-Bretagne), D. Zakythinos, A. Orlandos et E. Kryaras (Grèce), B. Lavagnini et G. Schiro (Italie), E. Condurachi et E. Stănescu (Roumanie), Z. Udaltzova (Union Soviétique), G. Ostrogorski et Fr. Barišić (Yougoslavie).

Les débats ont été dirigés par M. P. Lemerle, président de l'Association, aidé par le secrétaire général, M. D. Zakythinos.

Le principal problème à l'ordre du jour était de fixer la structure et les thèmes du XIII<sup>e</sup> Congrès international des études byzantines, qui aura lieu à Oxford en septembre 1966. (On se rappelle la décision prise à Ochride en 1961 de porter l'intervalle entre deux Congrès de trois à cinq ans). Les délégués britanniques ont informé le Comité des mesures prises en Angleterre pour le bon déroulement du futur congrès. Dans les discussions qui ont suivi, trois points de vue furent soutenus quant à la structure que devra avoir le Congrès d'Oxford : 1. un Congrès dirigé, dont les grands thèmes soient fixés d'avance ; 2. un Congrès où chaque participant soit libre de choisir le thème de sa communication ; 3. un Congrès mixte qui comportât aussi bien de grands thèmes choisis par le Comité que des communications au libre choix des savants qui prendront part.

C'est la troisième formule qui a été adoptée. Le Congrès d'Oxford va donc avoir deux grandes sections, l'une consacrée à la discussion des rapports et l'autre aux communications.

Des différents thèmes proposés pour la première section, on en a choisi deux, qui se sont imposés par leur importance et les nombreux problèmes qu'ils soulèvent : 1. Byzance au XI<sup>e</sup> siècle, et 2. Les rapports entre Byzance et l'Europe de l'Est du VI<sup>e</sup> siècle jusqu'à la conquête turque.

Le Comité a fixé aussi le thème du rapport qui va figurer au programme du Congrès international des sciences historiques de Vienne (1965). Il s'agit d'une ample présentation de Byzance dans la pensée historique européenne depuis la Renaissance jusqu'à nos jours.

Étant donné l'importance des deux Congrès, de Vienne et d'Oxford, il est indubitable que les décisions prises à Athènes vont avoir d'heureuses conséquences pour le développement des études byzantines. La réunion d'Athènes a permis aussi de nombreux échanges d'idées et de points de vue entre les byzantinistes qui y ont pris part et favorisé cet esprit d'entente et de collaboration entre les spécialistes, si nécessaire aux grands travaux scientifiques qu'ils ont à réaliser en commun.

*E. Stănescu*

## LES DÉBUTS DE L'AIIESEE, OEUVRE DE COMPRÉHENSION ET D'ENTENTE MUTUELLE PAR LA SCIENCE

En 1963 — année qui coïncide avec l'anniversaire d'un demi-siècle depuis que Nicolas Iorga, avec Vasile Pârvan et d'autres savants roumains, avait posé les fondements d'un Institut d'études de l'Europe sud-orientale à Bucarest — les délégués de 13 pays, répondant à une initiative roumaine, se sont rencontrés à Bucarest en vue de créer, par leurs efforts réunis, une Association Internationale d'Etudes du Sud-Est Européen (AIIESEE), dans le but d'une connaissance plus approfondie des civilisations de cette partie du monde.

Inaugurée dans l'atmosphère sereine et sous le signe d'une féconde collaboration, qui avaient aussi marqué les travaux du Colloque international des civilisations balkaniques de Sinaïa (1962), l'Association a prouvé pendant l'année qui a suivi sa création qu'elle est bien capable de conserver cette atmosphère bienfaisante et de développer une collaboration que les milieux scientifiques des différents pays se sont hâtés d'encourager, avec une sollicitude chargée de promesses.

A la réunion constitutive de Bucarest (22—24 avril 1963), des pays comme l'Albanie, la Bulgarie, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, le Liban, la Roumanie, le Royaume-Uni, l'Union Soviétique et la Yougoslavie ont été représentés au sein d'un Comité provisoire élu lors du Colloque de Sinaïa à la suite de la proposition faite par la délégation roumaine de créer une Association d'Etudes du Sud-Est Européen \*. La présence — aux côtés des délégués envoyés par tous les pays de l'Europe sud-orientale — des représentants de certains pays situés en dehors de cette zone géographique, pays où les études balkaniques jouissent pourtant d'une tradition de longue date, atteste le grand intérêt scientifique qui s'attache à cette initiative. Créée sous les auspices de l'Unesco, représenté par le chef de la Division de philosophie et des sciences humaines, Mr. N. Bammate — délégué personnel du directeur général de cet organisme international —, et du Conseil international de philosophie et sciences humaines (CIPSH), représenté par son secrétaire général, Sir Ronald Syme, dès son premier moment d'existence l'Association s'est vu assignée une double signification découlant de ce que la promotion des études du sud-est européen constitue une importante contribution à la réalisation du Projet Majeur lancé par l'Unesco pour l'appréciation mutuelle des valeurs culturelles de l'Orient et de l'Occident et de ce que — en même temps — l'étude des civilisations balkaniques est l'un des chapitres importants de l'histoire même de la civi-

\* Voir dans le précédent fascicule de cette revue la note de Em. Condurachi, *Le colloque international de Sinaïa sur les civilisations balkaniques*, p. 169.



lisation. L'Association entreprend donc une œuvre intégrée dans la large activité envisageant la connaissance réciproque et la compréhension que se proposent les organismes scientifiques internationaux présents à sa création.

Ce fait a été mis en lumière par le représentant de l'Unesco, Mr. N. Bammate, qui a salué « la création de l'Association Internationale d'Etudes du Sud-Est Européen, que nous considérons comme une contribution intéressante, pleine de promesses, concernant le programme de l'Unesco quant à la collaboration internationale en vue d'harmoniser les éléments divers en partant d'une base commune concrète, collaboration internationale qui trouve aussi son expression dans la structure même de l'Association. D'autre part, je suis convaincu qu'une des principales fonctions de l'Association sera de synthétiser harmonieusement les actions sur plan régional, balkanique proprement dit, et les actions sur plan international, sous la forme d'une intégration du premier au dernier ».

Cette idée d'une collaboration internationale, rendue possible par la création de l'AIESEE, a été soulignée par Sir Ronald Syme aussi, à cette même occasion : « L'Association Internationale d'Etudes du Sud-Est Européen répond à une nécessité impérieuse : je me réfère à la nécessité d'une collaboration entre les hommes de science de ces pays. Une telle collaboration s'imposait par l'essor de la recherche scientifique, dont la logique interne même exige à un moment donné la confrontation et l'harmonisation des résultats obtenus par l'effort des savants de différents pays. La nécessité impérieuse d'une collaboration scientifique découle, à son tour de la nécessité d'une collaboration des peuples du monde entier ».

Cette conviction, partagée par tous les délégués, a été exprimée à tour de rôle par :

Le professeur Aleks Buda — Albanie : « La création de l'Association représente le début d'une nouvelle étape de notre activité scientifique, l'activité des balkanologues. J'ai participé au colloque de Sinaia ; l'initiative roumaine nous a offert la possibilité de nous engager sur une voie positive. En tant qu'historien et représentant de la science albanaise, je salue les initiatives roumaines de collaboration dans la zone des Balkans. Nous sommes tous reconnaissants aux collègues roumains, qui ont organisé cette rencontre avec des prémisses si importantes pour notre activité future ».

Ernst Buschbeck — Autriche : « Les problèmes que nous avons à résoudre sont passionnants et d'une complexité extrême. Je suis sûr que nous arriverons au but et que par notre activité scientifique nous contribuerons à la compréhension mutuelle entre les peuples du sud-est européen ».

Vladimir Georgiev, vice-président de l'Académie des Sciences de la R. P. de Bulgarie : « Je ne puis que féliciter les collègues roumains pour leur brillante initiative d'avoir organisé l'année passée le colloque de Sinaia, ainsi que d'avoir convoqué cette conférence ; les fruits qu'elle va porter auront la signification d'un grand progrès pour la compréhension mutuelle entre les peuples balkaniques ».

Le professeur Denis Zakythinos — Grèce : « ... l'entente entre les peuples est un problème de compréhension réciproque. Et il n'existe pas de meilleure connaissance, pas de plus sûre compréhension que celles qu'on noue autour d'une table de travail. Je suis fermement convaincu que ce travail scientifique signifiera pour nous l'établissement d'une amitié solide en même temps qu'un moyen efficace de nous comprendre, de nous connaître, de vivre dans une atmosphère de paix durable ».

Le professeur André Mirambel — France : « Une meilleure compréhension entre les peuples est — pourrais-je dire — une préoccupation de premier ordre. La possibilité de la réaliser a été démontrée en grande mesure aussi au cours de nos séances de 1962, à Sinaia, et des séances actuelles, à Bucarest. Je veux cependant espérer que nos efforts ne se limiteront pas à

la table de travail et qu'ils pourront apporter un rayon de lumière aussi là où il existe encore certains problèmes épineux et divergents. Une attitude d'avant-garde de la part des hommes de science peut venir en aide aux peuples afin d'éliminer des obstacles artificiels se trouvant dans la voie de leur entente et de leur collaboration ».

Le professeur Nullo Minissi — Italie : « Selon moi, la fonction fondamentale de l'AIESEE réside premièrement dans le développement et l'élargissement des relations internationales entre les pays balkaniques et secondement entre les pays balkaniques et tous les autres pays du monde. La réalisation de cette œuvre scientifique et culturelle absolument nécessaire prendra une signification qui dépassera le niveau scientifique et culturel et pourra constituer à sa façon un exemple pour d'autres types de collaborations ».

Le professeur Franjo Barišić — Yougoslavie : « Je suis convaincu que ce début, qui a lieu ces jours-ci dans la belle capitale de la Roumanie, est plus que prometteur. J'espère que l'Association nouvellement créée apportera, au cours des années suivantes, une précieuse contribution à la réalisation des nobles tâches qu'elle se propose, en poursuivant sur la voie d'une bonne entente, d'amitié et de paix entre les peuples ».

Le professeur Faik Reşit Unat — Turquie : « Une pareille association était plus que nécessaire. L'histoire l'exige, par conséquent, connaissons-nous mieux, tendons-nous la main, comprenons-nous mieux par l'intermédiaire de la culture ».

Le professeur Joseph Perényi — Hongrie : « Au stade actuel de la science, il nous faut reconnaître l'existence dans tous les domaines de problèmes complexes, qui ne peuvent trouver leur solution adéquate que grâce à la collaboration des spécialistes embrassant plusieurs disciplines. Et c'est justement ce fait qui justifie la création de l'Association Internationale d'Études du Sud-Est Européen ».

Par quels moyens s'est affirmée, pendant cette première année d'activité, la principale fonction de l'AIESEE, qui est de promouvoir la collaboration scientifique dans le domaine les études du sud-est européen ?

Les premières mesures prises par le Secrétariat général de Bucarest (siège de l'Association) ont eu comme but l'intégration de l'AIESEE dans la vie scientifique internationale. Avec le concours de la Commission nationale de la R. P. Roumaine pour l'Unesco, on a procédé à la diffusion des Actes de la réunion constituante de l'Association aux commissions nationales pour l'Unesco et aux nombreux instituts scientifiques de différents pays, en vue de faire connaître la création de l'AIESEE et ses objectifs, et de solliciter le concours de ceux-ci pour la réalisation des buts qu'elle se propose.

La publicité réalisée par cette voie a eu échos non seulement dans les revues scientifiques et dans la presse d'information générale de nombreux pays, mais elle a suscité une série de demandes d'informations supplémentaires venant de plusieurs organismes scientifiques ou de personnes particulières préoccupées des études sud-est européennes et désirant participer aux travaux de l'Association.

Par ailleurs, le Secrétariat a pris des mesures en vue d'affilier l'Association à la Fédération internationale de langues et de littératures modernes, ainsi qu'au Comité international pour les sciences historiques et, par l'intermédiaire de ces organisations scientifiques, au Conseil international de philosophie et de sciences humaines. Ces demandes d'affiliation ont été favorablement reçues par les organisations en question.

En même temps, le Secrétariat a entrepris des actions destinées à stimuler la création de comités nationaux et leur affiliation à l'AIESEE. Aux termes de l'article 7 des Statuts de l'Association, le Secrétariat a lancé, en mai 1963, un appel pour la création de comités nationaux d'études du sud-est européen et leur affiliation à l'Association, adressé aux principaux

ganismes scientifiques (académies de sciences ou centres nationaux de recherches scientifiques) de 30 pays réputés pour leur tradition dans la recherche des civilisations sud-est européennes.

Six pays ont répondu jusqu'à présent à cet appel, à savoir : l'Autriche, la Bulgarie, le Danemark, la Roumanie, l'U.R.S.S. et la Yougoslavie. Les comités nationaux créés dans ces pays ont sollicité leur affiliation à l'AIIESEE. Ces demandes seront soumises, en conformité avec l'article 7 des Statuts, à la première réunion du Comité international de l'Association.

L'Académie Royale de Belgique et l'Académie de l'Allemagne Fédérale (Deutsche Forschungsgemeinschaft), tout comme l'Académie Nationale des Sciences de l'U.S.A. et l'Académie britannique, ont répondu favorablement à l'appel de l'Association, en communiquant qu'elles suivent avec intérêt l'activité de celle-ci en vue de prendre part à ses travaux.

Les demandes individuelles d'affiliation seront elles aussi soumises au Comité international pour être solutionnées en conformité avec les Statuts qui prévoient que de telles demandes ne peuvent être reçues que des pays où il n'existe pas de comité national d'études du sud-est européen ou un autre organisme scientifique considéré comme tel et affilié à l'AIIESEE. Des réponses dans ce sens ont été adressées aux sollicitants.

Une série de consultations, par correspondance ou par des conversations directes avec des savants de plusieurs pays sud-est européens ont été entreprises, en vue de constituer les commissions d'études dans les domaines de l'archéologie, de l'ethnographie, de la linguistique, de l'histoire de l'art, ainsi que de créer une commission interdisciplinaire concevant les problèmes de la pénétration des idées progressistes des Lumières dans l'Europe sud-orientale.

Les résultats de ces prises de contacts, ainsi que l'intérêt manifesté par les cercles scientifiques de partout pour la forme de collaboration scientifique préconisée par l'Association, montrent que toutes les conditions nécessaires à la constitution en 1964 des commissions citées et à la convocation des premières séances de travail sont d'ores et déjà réunies.

Le premier numéro du *Bulletin de l'Association Internationale d'Etudes du Sud-Est Européen*, inauguré par l'article du président de l'AIIESEE, Mr. Denis Zakythinos, continue l'action d'intégration de l'Association dans la vie scientifique internationale, en publiant dans ce but des articles sur le programme, les statuts et la formation des organes directeurs de l'AIIESEE. Le Bulletin, grâce à la contribution d'éminents spécialistes, souligne aussi l'importance des archives ottomanes et évoque des moments ou des personnalités de l'histoire des relations culturelles et des recherches scientifiques du sud-est européen. Une chronique sélective de la vie scientifique internationale énumère les principaux congrès, réunions, etc. à l'occasion desquels des problèmes concernant le passé de cette zone géographique ont été abordés.

L'intérêt envers l'AIIESEE s'est manifesté non seulement par les contacts que le Secrétariat a eus avec les organismes scientifiques mentionnés ci-dessus, mais aussi par les visites au Secrétariat d'un grand nombre de savants étrangers de passage en Roumanie, auxquels on a facilité l'étude des monuments et la recherche dans les archives et les bibliothèques qui pouvaient les intéresser, tout en les aidant à réaliser les objectifs scientifiques de leur séjour.

Des contributions similaires ont été fournies dans cet intervalle par les membres du Comité international et ceux des comités nationaux récemment créés.

Grâce à la sollicitude de l'Académie de la R. P. Roumaine, qui s'est offerte d'assurer les dépenses nécessaires à l'organisation et au fonctionnement du Secrétariat de l'AIIESEE, ce ressort technique a pris naissance au début du mois de mai 1963, avec un personnel de sept employés.

On a mis à la disposition du Secrétariat un siège approprié à son fonctionnement dans l'immeuble situé à Bucarest, rue I.C. Frimu 9, doté de tout l'équipement nécessaire. L'Académie de la R. P. Roumaine a également assuré les moyens financiers et techniques nécessaires à la réalisation du programme de publications de l'Association.

L'Association Internationale d'Etudes du Sud-Est Européen est un organisme scientifique destiné à mettre en valeur les créations plus récentes tout comme celles datant de la haute antiquité des civilisations fort anciennes, de mettre en lumière les relations culturelles millénaires qui ont existé entre elles, de faire renaître tout un passé commun d'échanges de biens matériels et spirituels des peuples habitant une région qui, depuis toujours, a servi de pont entre l'Orient et l'Occident. Nonobstant le fait que c'est surtout l'étude du passé qui fait l'objet de cette Association, il n'en est pas moins vrai qu'elle est la création du monde contemporain, mise à son service. Elle cherche à promouvoir les méthodes modernes d'investigation scientifique, à favoriser les études interdisciplinaires, à associer des spécialistes de différents pays et dans des domaines variés de la science, à faciliter les échanges de documents, à déployer une activité de recherches collectives. Fruit du désir de paix manifesté par les peuples du sud-est européen, dont notre pays s'est rendu encore une fois l'interprète, l'AIÉSEE représente dès à présent un facteur de compréhension et de collaboration internationales par la science et l'appréciation mutuelle.

*Em. Condurachi et Virgil Căndea*

GUBERINA, PETAR, *Le problème de la diphtongaison en vegliote*, « *Studia Romanica et Anglica Zagrabliensia* », 9—10, 1960, pp. 137—148.

L'auteur constate à juste titre l'insuffisance de notre documentation au sujet de la langue dalmate en général, ainsi que de l'idiome dalmate parlé dans l'île de Krk (Veglia). Dans cette langue, il distingue trois couches intermédiaires : 1° il est possible de reconstituer la plus ancienne à l'aide des toponymes, des noms propres figurant dans les documents latins et des emprunts faits au serbo-croate ; on peut la placer approximativement à une époque allant du VII<sup>e</sup> au X<sup>e</sup> siècle ; 2° la deuxième apparaît dans certains documents postérieurs aux XI<sup>e</sup>—XII<sup>e</sup> siècles ainsi que dans les termes empruntés au dialecte vénitien ; 3° la troisième couche, enfin, est attestée par des témoignages du XIX<sup>e</sup> siècle ; le plus récent de ces témoignages nous est fourni par Tüone Udaïna, le dernier survivant de la langue dalmate, mort en 1898.

Selon l'auteur on ne trouverait pas trace de diphtongaison dans la première couche. Dans la seconde on voit apparaître au début les formes *Pornaiba* et *Promontour*, que l'on retrouve plus tard sous celles de *Porniba* et *Promontor*, ce qui semble prouver qu'à la fin de cette période la diphtongaison avait cessé d'être active. Par contre dans le vegliote du XIX<sup>e</sup> siècle et dans la langue de Tüone Udaïna la diphtongaison est un phénomène fréquent. L'auteur attribue cet important changement à une forte influence des parlers croates du type čakavien. Dans ces parlers le phénomène de la diphtongaison est de date récente et remonte à peine au XIX<sup>e</sup> siècle. C'est donc uniquement pendant cette brève et dernière phase que les parlers en question ont pu exercer leur influence sur le dalmate sous le rapport de la diphtongaison, ce qui amène l'auteur à conclure que « c'était avant tout à cause d'une forte influence des parlers čakaviens, où la diphtongaison très vivante créait des conditions favorables dans le vegliote moderne pour la diphtongaison de n'importe quelle voyelle et dans n'importe quelle position » (p. 145).

Cette conclusion ne tient pas entièrement compte toutefois des recherches de Petar Skok, qui constate l'existence de la diphtongaison antérieurement au XIX<sup>e</sup> siècle, attestée par les exemples suivants : *cannetum* « jonchaie » — top. *Kanajt* dans l'île de Krk ou Veglia (*Dolazak Slovena na Mediteranu*, Split, 1934, p. 229 ; *Slavenstvo i Romanstvo na Jadranskim otocima. Toponomastička ispitivanja*, Zagreb, 1950, t. I<sup>er</sup>, pp. 24—25) ; *ceresetum* « cerisaie » — top. *Sarakajt* dans l'île de Krk ou Veglia (*Dolazak*, p. 229) ; *lacuna* « fosse » — top. *Lokajne* dans l'île de Veli Otok (*Slav. i Rom.*, p. 120) ; *mretum* « lieu planté de mûriers » — top. *Muraj*, dans l'île de Krk ou Veglia (*Dolazak*, p. 229 ; *Slav. i Rom.*, pp. 22, 27, 260) ; termes « branche coupée » — *čárma* « couche de branches ou de fleurs », dans la région de Kotor (*Dolazak*, p. 194) ; un top. *Rabasalj* dans l'île de Krk (Veglia) conserve la trace du suffixe latin *-etum*, en ancien dalmate *-aj(š)* > *-alj* (*Slav. i Rom.*, p. 32). Ainsi la toponymie prouve que, contrairement à la supposition de l'auteur, la diphtongaison est en dalmate un phénomène ancien

et originel. Le fait que les attestations sont rares pour la couche intermédiaire ne nous autorise pas à nier l'existence du phénomène, les arguments *a silentio* reposant sur une base fragile. Si l'on tient compte en outre des constatations de la linguistique générale, qui nous apprennent que les influences étrangères portant sur le système phonétique d'une langue sont toujours faibles ou ne sont manifestes qu'après une coexistence intime et prolongée, l'on est en droit de révoquer en doute la conclusion de l'auteur, selon laquelle la diphtongaison serait en dalmate l'effet d'une influence tardive et éphémère, du XIX<sup>e</sup> siècle.

H. Mihăescu

ZAIĀMOV, IORDAN, *Местните имена в Пирдопско* [Noms de lieux du district de Pirdop], Éditions de l'Académie des Sciences, Sofia, 1959, 300 p.+3 cartes

Le district de Pirdop est situé sur le même parallèle que Sofia, à environ 50–80 km à l'est de la capitale bulgare, et touche aux districts de Levskigrad (anciennement Karlovo) à l'est, de Panag'uriste et d'Ihtiman au sud, d'Elin Pelin à l'ouest, de Botevgrad et de Teteven au nord. Il s'appuie au nord sur les monts Balkans et s'étend, au midi, jusqu'à la Sredna Gora. Son territoire est arrosé par la Topolnitsa, la Smolska et leurs affluents. La voie ferrée Sofia-Kazanlâk passe par Pirdop, le chef-lieu du district, et les cours d'eau ouvrent l'accès au sud et facilitent les communications avec la plaine thrace.

De 1953 à 1956 l'auteur a visité 13 villages et 3 villes du district et a recueilli sur place un abondant matériel toponymique. L'ouvrage commence par une description du milieu géographique, suivie d'un historique sommaire de la région (1–24), après quoi l'auteur examine les noms de lieux au point de vue linguistique (25–35), procède à leur classification (37–86), en indique les origines (87–99) et dresse un index alphabétique de tous les toponymes, chaque terme faisant l'objet d'un commentaire substantiel appuyé par des faits linguistiques similaires constatés dans d'autres régions (101–293). L'ouvrage s'achève par une brève bibliographie et une liste des informateurs locaux auxquels l'auteur a eu recours dans ses investigations (249–300). Trois cartes complètent le volume.

Le matériel linguistique recueilli par Iordan Zaïmov est d'une importance considérable pour l'histoire de la langue et du peuple bulgares, en même temps qu'une précieuse contribution dans le domaine des études slaves ; il atteste en outre les rapports de la population autochtone avec les colons turcs et décèle dans la toponymie locale les traces qu'y a laissées une population d'origine romane. Sur ce dernier point l'auteur précise : « Par *population romane* nous entendons la population romanisée d'origine thrace (et grecque) de la Péninsule des Balkans. Assez nombreuse lors de l'arrivée des Slaves, elle était surtout répandue dans les régions montagneuses où elle menait une vie semi-sédentaire et s'occupait avant tout de l'élevage du bétail. Elle a laissé un grand nombre de noms de lieux et quelques noms de villages et de rivières » (p. 90). Il y a lieu de préciser qu'au VI<sup>e</sup> siècle cette population romanisée était établie dans les villes et les villages, en particulier dans les vallées fertiles, et qu'elle s'adonnait à l'agriculture et à l'élevage ; à en juger d'après les témoignages archéologiques, les inscriptions notamment elle était assez nombreuse au nord de l'Hémus et sporadique au sud de cette chaîne de montagnes. Ultérieurement elle s'est consacrée presque uniquement à la vie pastorale, et au X<sup>e</sup> siècle la littérature byzantine signale sa présence beaucoup plus au sud et la désigne sous le nom de *Vlaques*. Dans le district de Pirdop l'on trouve des vestiges romans non seulement dans les noms de montagnes et de cours d'eau, mais encore dans la flore et la faune, ce qui dénote que dans cette contrée la population romane a été relativement stable. L'auteur tient

à rectifier ici sa précédente affirmation touchant la vie semi-sédentaire de la population romanisée et précise : « Ce fait suffit à prouver que la population romanisée était solidement établie dans cette région. Il est malaisé de déterminer de quand datent ces noms, car nous manquons à cet égard d'un critère sûr ; en outre la population romane de nos jours, connue ici sous le nom de Vlaques, continue de parler son idiome roman particulier. Seuls quelques-uns de ces éléments peuvent être considérés comme étant relativement anciens » (p. 90). On trouve donc exprimée ici l'idée de la persistance et de la continuité de l'élément latin de l'époque romaine, qui s'est longtemps maintenu et a été finalement assimilé par la population slave, plus nombreuse. Théoriquement parlant il n'y a rien à objecter contre cette conception, qui, selon nous, contient une part de vérité. En fait ce processus historique a été des plus complexes et il est bon d'examiner avec soin les précieuses indications fournies par la toponymie.

Le terme *Vlah* apparaît en dix points différents : 1. *Vláv dol* (p. 130), vallée proche de la localité de Várlina, à 2 km au nord de Srednogorets (anciennement Petrič), aux sources de la Topolnitsa ; 2. *Vlávskata kabá* (p. 131), hauteur rocheuse voisine de Vláv dol, du côté de Čavdarsko zemlište ; 3. *Vláškata kabá* (p. 131), pâturage à 5 km de Mirkovo ; 4. *Vláški kollbi* (p. 131), pâturage à 5 km ouest de Koprivštitsa ; 5. *Vláškite kollbi* (p. 131), pâturage au sud de Kablevitsa, en face du pic d'Ostritza des monts Balkans, à 7 km nord-ouest de la localité d'Anton (anciennement Lážene) ; 6. *Vláškite kollbi* (p. 131) pente près de Goljamata reka, à 8 km sud-est de Kamenitsa, près du village de Poľbrene ; 7. *Vláškite kollbi*, près de Mirkovo ; 8. *Vláškite kollbi* (p. 131) sur une hauteur voisine de Kalugeritsa, proche de Smolsko, près du village de Rakovitsa ; 9. *Vláškite kollbi* (p. 131) près du défilé de Kašana dans le col d'Etrapol, à 5 km nord de Tsárskvište ; 10. *Vláško kládenče* (p. 131), fontaine de Rajevo, à 2 km nord de Gorno Kamartsi. La plupart de ces localités sont situées dans des régions de montagne et attestent la présence de Vlaques pasteurs sur tout le territoire du district de Pirdop, du nord au sud et de l'est à l'ouest.

Les éléments latins laissés dans la toponymie de la région par la population romane sont les suivants :

*amurca*, *amurga* : « marc, résidu noir des olives pressées » roum. *amurg*, « assombrissement, crépuscule », *murg* « bai » ; *Murgána*, pic élevé des monts Balkans, au nord de Čelopeč (p. 218) ;

*aurarius* « en or, qui contient de l'or », roum. *aurar*, « doreur, orpailleur, ouvrier d'une mine d'or » ; *Aroráé* ou *Roráé* (p. 244), rivière qui recueille de petits cours d'eau de la Sredna Gora, au nord-est de Pirdop, et se jette dans la Topolnitsa, au sud-ouest de Dušantsi, avec un *a* latin transformé en *o*, comme c'est le cas pour *acetum* > bulg. оцет, *altarium* > bulg. олтар ;

*barbatus* « mâle » (adj. ou nom propre), roum. *bárbat* « mâle » : *Barbátskata niva* (p. 115) « le champ de Barbat », près de Srednogorets (anciennement Petrič) ; cf. aussi le nom de famille *Barbátov* ;

*bonus*, « bon », roum. *bun* (même sens) ; *Bánovo* (p. 124), village situé entre les monts Balkans et Galabets, à l'ouest de Pirdop, attesté dès le XVII<sup>e</sup> siècle ;

*branca* « scrofulaire » (*Salicornia herbacea*), roum. *brńcá* et le diminutif *brńcuřá* : 1. *Brńnkáritsa*, affluent de la Gornokamárskata réka, qui se jette dans l'Iskár, près de Dolni Bogrov ; 2. *Brńnka kládenets*, fontaine située au nord de la Gornokamárskata (p. 122) ;

*caput* « tête, bout, extrémité », roum. *cap*, articulé *capul* ; *Kápola* (p. 179), pâturage sur une hauteur couverte de hêtres du versant méridional des monts Balkans, entre Kamena strága et le défilé de Kašana, à 7 km. nord de Tsárkvište ;

*catella* « chienne », roum. *cățea* : *Katsamár* (p. 182), cours d'eau prenant sa source dans les monts Balkans au nord de Čelopeč, et descendant des pentes abruptes couvertes de hêtres ; cf. le roum. *cățea mare* « grande chienne ». Le nom de la rivière pourrait s'expliquer par le bruit de l'eau courant parmi les rochers ;

*cervus* « cerf », roum. *cerb*, articulé *cerbul* : 1. *Čérbul* (p. 281), pente couverte de forêts de hêtres à Klimaš, sur la rivière de Kuforita, à 4 km nord-ouest de Koprivštitsa ; 2. *Čerebár* (p. 282), colline boisée de chênes à 4 km nord-ouest de Srednogorets (anciennement Petrič) ; cf. le roumain *cerbărie* « enclos aux cerfs » ;

*conforire* « souiller de ses excréments », roum. *a cufuri* « foier », *Kuforita* (p. 200) rivière prenant sa source dans la Ravna poljana sur le Mont Pop et coulant en direction nord-ouest le long de hauteurs couvertes de forêts de hêtres, pour se jeter dans la Topolnitsa, non loin de Dušantsi ; *Kuforiška ošojna*, dans la même région ;

*curvus* « courbe (adj.), recourbé » ; *Kúrbul* (p. 199), pic rocheux entre Mačeš et Padeš, à 2 km nord de Tsárkvište ; le roum. *curb* « courbe » (adj.) est un néologisme, mais le toponyme précité atteste que le terme, dérivé du latin *curvus*, a fait autrefois partie de la langue populaire ;

*formica* « cigale », roum. *furnică* « fourmi » : *Fárníc* (p. 276), pente verte à 2 km nord-ouest de Čovdar ;

*frater* « frère », roum. « frate » et le sobriquet *Frățilă* : *Fărči'l* (p. 276), 1. petit village à 2 km nord de Kamenitsa ; 2. hauteur pierreuse de la Granitsa, à 5 km. de Smolsko ; cf. aussi le nom de famille *Fratsil* à Teteven ;

*niger* « noir », roum. *negru* : *Négărštitsa* (p. 220), ruisseau qui prend sa source au pied de la Čelopeška Baba et coule en direction du nord, vers Etropol ;

*sursum*, *susum* « en haut », roum. *sus* : *Sūsula* (p. 264), hauteur couverte de forêts de hêtres et de chênes, à 6 km sud de Pirdop ;

*tilius* (forme classique : *tilia*) « tilleul », roum. *tei* ; *Teliš* (p. 266), plaine près de Galabets, à 4 km sud de Búnovo, cf. *anec Telišóra* près de Tatari dans le district de Svištov, et *Teliš*, village du district de Pleven ;

*ursus* « ours », roum. *urs* : *Ūrsulitsa* (p. 274), hauteur boisée près de Bič, à 6 km ouest de Koprivštitsa, à proximité du village de Dušantsi ;

*vallis* « vallée », roum. *vale* : 1. *Váloga* (p. 128), nom de deux vallées, l'une près de Benkovski, l'autre près de Čukata, à l'est de Srednogorets, selon l'analogie des mots bulgares en *-log*, tels que *слот*, *предлог* ;

*vallis sicca* « vallée sèche », roum. *vale seacă* : *Valesék*, *Velesék* (p. 127), vallée d'un cours d'eau ayant sa source dans les monts Balkans (Stara Planina), au nord de Zlatitsa ; le phonétisme *Velesék* a pris naissance sur le terrain de la langue bulgare par assimilation du *a* avec le *e* suivant ;

*vita* « vie », roum. *viță* « animal » ; *Vitlnja* (p. 130), hauteur boisée à 3 km. nord-ouest de Gorno-Kamartsi et, dans la même région : *Vitnaska poljana* « clairière du bétail » et *Vitnški răt* « colline du bétail ».

Un certain nombre d'autres noms sont d'origine roumaine, sans toutefois provenir du latin :

*căciulă* « bonnet fourré » : *Kačálnitsa*, *Kačálka* (p. 182), fontaine et campagne cultivée à 2 km sud-ouest de Čelopeč ; cf. aussi le nom de famille *Kačúlev* (Iambol) et le sobriquet *Toma Kačúlkina* (Kalofer) ;

*cior*, *cioară* « corbeau » : *Čoréitsa* (p. 285), campagne cultivée entre deux vallées au pied des monts Balkans, à 1 km nord-est de Búnovo ;



*creș*, articulé *creșul* « crépu, frisé, plissé » : *Krétsul, Górní Krétsul, Dólíni Krétsul* (p. 195), grand plateau à 5 km sud de Koprivštitsa ;

*cucu*, articulé *cucul* « coucou » : *Kukulévitsa*, hauteur couverte de forêts de hêtres et de pâturages, à 4 km ouest de Kamenitsa et, dans la même région, *Kukulévskata lókova*, terrain de pâturage, et *Kukulévski prjaslop*, col bordé de champs cultivés et de vergers ;

*măceș, măcieș* « églantier » : *Mačéš* (p. 211), pâturage entre Topomir-deré et Grošovskoto-deré, au nord de Tsárkvište ; *Mačéško-deré*, cours d'eau prenant sa source dans le Mačéš, affluent de la Klisekioiška ;

*mtnz* « poulain » : *Mánzul* (p. 210), clairière dans les montagnes, à 9 km sud-ouest de Koprivštitsa ; *Manzulitsa*, colline à proximité de Levunovo (Petričko) ;

*pătul*, pl. *pătúle* : « construction en planches ou en branchages entrelacés bâtie sur pilotis à une certaine hauteur au-dessus du sol et servant à l'engrangement et à la conservation des épis de maïs » : *Patúla* (p. 227), place publique de Búnovo où l'on collectait et entreposait autrefois la dîme destinée aux Turcs.

Les éléments toponymiques d'origine latine et roumaine sont répartis de la manière suivante : aspects géographiques : 1 (*vallis*) ; l'être humain, anatomie, accessoires de costumes, occupations : 7 (*aurarius, barbatus, capul, conforire, frater, căciulă, pătul*) ; qualités : 6 (*bonus, curvus, niger, siccus, creș, mare*) ; la flore : 3 (*branca, tilius, măcieș*) ; la faune : 8 (*calella, cervus, formica, ursus, vîta, cior* (fem. *cioară*), *cuc, mtnz*) ; adverbe : 1 (*susum*). Il apparaît de cette classification que la population romanisée vivait au milieu de la nature et que l'élevage du bétail était sa principale occupation ; ainsi la toponymie confirme en tout point ce que nous savons des Vlaques du moyen âge. Le mot même de *vlah* se retrouve dans dix noms de lieux du district de Pirdop.

Au point de vue chronologique, nous pouvons affirmer qu'un certain nombre de témoignages sont antérieurs au XV<sup>e</sup> siècle. Les mots latins *vallis sicca* sont devenus en roumain *vale seacă* ; la diphtongaison du *ĭ* (= e en latin vulgaire) en *ea* est fort ancienne et s'est certainement produite avant le X<sup>e</sup> siècle. En effet, si le toponyme *Valesék* avait été emprunté au roumain à une date plus récente, il serait devenu en bulgare *Vales'ák* ou *Valesák*. Il convient toutefois de tenir compte de ce que, une fois entré dans la langue bulgare, le mot s'est développé selon les lois de cet idiome, où le *la* accentué du slave ancien s'est transformé en *e* accentué avant le XV<sup>e</sup> siècle, sauf dans quelques dialectes du sud-est de la Bulgarie. Ainsi le diphtongue *ĕa* de *valea seacă* a été adaptée au phonétisme dominant du bulgare et s'est changée en *e*, ce qui n'a pu se produire qu'à partir du XV<sup>e</sup> siècle. Le latin *tilius* a donné en roumain *lei* : le mouillement et la chute du *l* intervocalique ont eu lieu avant le XV<sup>e</sup> siècle, de sorte que le toponyme *Tellš*, du lat. *tilius* + suffixe *-iș*, est antérieur au XV<sup>e</sup> siècle, ce qui prouve que la population romanisée était établie dans le district de Pirdop avant cette date.

H. Mihăescu

ПОПОВ, КОНСТАНТИН, *Местните имена в Белослатинско* [Toponymie du district de Beloslatino], «Годишник на Софийския Университет—Филологически факултет» (Annuaire de l'Université de Sofia—Faculté de Philologie), LIV, 2, 1959, p. 485—671.

Le district de Beloslatino est situé entre la rivière du Skăt et de l'Iskăr, en face de l'Olténie roumaine comprise entre le Jiu et la ville de Corabia. Il n'est pas riverain du Danube, dont le sépare le district d'Orjahovo. L'auteur a étudié en 1955—1956 une série de 29 loca-

lités comptant une population totale d'environ 88 000 habitants. Il y a recueilli 2304 noms dont 1956 toponymes, 319 noms de rivières et 29 noms de villages et de villes. Son travail comprend un historique des localités, une caractérisation linguistique des noms, une classification des noms de rivières et des noms de lieux, un dictionnaire de ces noms, accompagné de commentaires, une bibliographie, une liste des personnes interrogées et un résumé en français.

Le matériel ainsi réuni est important, non seulement pour l'histoire de la langue bulgare, mais aussi pour la connaissance de la vie sociale et du passé de la contrée. Au point de vue linguistique, l'auteur a constaté une influence turque, une autre roumaine, ainsi qu'une influence grecque, byzantine notamment, moins prononcée que les précédentes, mais il n'a pas essayé d'établir une chronologie des faits, qui lui eût permis de parler de leur stratification successive.

L'auteur considère d'origine latine ou roumaine les éléments suivants :

*cucuta*, littéralement *cicuta*, roum. *cucută* ; *Kukutánets*, nom d'une source ensoleillée à deux kilomètres ouest de Rógozen (p. 559) ;

-el : *Izvorèl* (Drašan et Várbitsa) ;

*gurgulio*, roum. *gurgul* ; *Gurgúl'a* ou *Gurgúla*, petite éminence à l'est de *Komarévo* ; *Gurgulét*, *Málák Gurgulét*, *Golém Gurgulét*, petites hauteurs dénudées au sud du village de Gabare ; *tufa*, roum. *tufă* : *Kaléeva tufa* (Dobralevo) ; *Elénkina tufa* (Dobralevo), *Iotkovska tufa* (Lazarevo, anciennement Strupen), *Ismailkova tufa* (Bjala Slatina), *Mekišóva tufa* (Enitsa), *Mišova tufa* (Tlacène), *Nejkova tufa* (Enitsa), *Petkáninata tufa* (Dobralevo), *Petkóvskata tufa* (Dobralevo), *Pétsova tufa* (Kameno pole), *Pri Táfite* (Lazarevo, anciennement Strupen), *Sálkova tufa* (Dobralevo), *Semiónova tufa* (Enitsa), *Sértovskite tufi* (Čomakovtsi), *Smilkova tufa* (Tárnava), *Tújata* (Dobralevo et Borovan), *Tsólova tufa* (Sirakovo), *Táfite* (Enitsa et Altimir) ;

*vallis*, roum. *vale* ; *Váloga* (Kojnare), formé sur le modèle des mots en -og de la langue bulgare ; *Márkov válog* et *Píráski válog* (Borovan).

A ces noms d'origine latine ou roumaine, nous pourrions ajouter les noms suivants, que l'auteur n'inscrit pas dans cette catégorie :

*amurca*, *amurga* « marc noir d'olives pressées », roum. *murg*, *murgă* ; *Murgínets*, fontaine à eau noire à quatre kilomètres à l'est de la commune de Borovan (p. 622). Au sujet de la fréquence du mot latin *amurca* dans la toponymie et le folklore balkaniques, cf. G. Šoptrojanov, *Amurca, murga, murk vo rumanskite i balkanskite jazitsi. Od romanskata i balkanskata lingvistika, patronimika i toponomastika*, dans « Godisnjak Naučno Društvo NR Bosne i Hercegovine, Balkanološki Institut », I, 1957, p. 105—178 ;

*casa*, roum. *casă* : *Kásata* (Bukovets et Altimir) ; *Kásite* (Brenitsa et Lazarevo). L'auteur les considère d'origine italienne, ce qui est peu probable ; d'ailleurs l'italien *casa* se prononce avec un *s* phonique, c'est-à-dire *z* ;

*cerrus*, espèce de chêne de plaine (*Quercus cerris*), roum. *cer*, alb. *q'ar*, ital. *cerro* (Meyer-Lübke, *Romanisches etymologisches Wörterbuch*, n° 1838) : *Tséra*, plaine où croissaient jadis des chênes, à deux kilomètres sud de Vranjak, et, dans la même région, *Visókila tser*, au lieu dit Polenite ; *Tserdka*, colline boisée à trois km ouest de Bárkačevo et à trois km sud de Gabare ; *Tsérov dol* (Borovan, Enitsa, Lepitsa, Tárnava) ; *Tsérova bára* (Vranjak), *Tsérova mogila* (Enitsa), *Tsérova padina* (Nivjanin, anciennement Djurilovo). Le mot roumain correspondant est rare et on le rencontre sporadiquement surtout dans le sud-ouest du pays. Le mot bulgare *tser* n'a pu être emprunté au roumain, et s'est sans doute développé directement du latin balkanique ;

*papyrus*, *papyrum*, roum. *pápură* « osier », bulg. *papúr* : *Papúrnița*, endroit riverain de l'Iskăr, commune de Kojnare ;

*pastio, pastionis*, roum. *pășune* « pâturage » : *Peșuno(v)skite koșari* ou *Peșunovite koșari*, à quatre kilomètres nord de Bjala Slatina ;

*pissiare*, roum. *pișa* « pisser » : *Pișurata*, nom de source dans les localités de Bjala Slatina, Bukovets, Dobralevo et Gabare ;

*tilius*, roum. *tei* « tilleul » : *Teliški păt*, chemin conduisant au village de Teliș, sur la rive gauche de l'Iskăr, à six kilomètres nord de Kojnare ;

*zanzalus*, roum. *fințar* « moustique » : *Tsintsárskița dol*, nom d'une vallée de la commune de Gabare.

Les éléments suivants sont entrés dans la langue par l'intermédiaire du roumain, mais ne sont pas d'origine latine :

roum. *baci* « chef d'une bergerie », hongrois *bácsi* « oncle, vieillard » : *Báčo(v)skata krúša*, terre cultivée au nord du village de Brenitsa ; *Bačișteto*, pâturage des villages de Borovan, Lepitsa, Rogozen et Sirakovo ;

roum. *gireadă* « rangée de paille » : *Djiréda*, dépression, à deux kilomètres sud-est de Čumakovtsi ; l'auteur range ce mot parmi les éléments d'origine incertaine (p. 569 et 594) ;

roum. *sălăș*, hongrois *szállás* « abri, habitation, étable » : *Saláșa*, emplacement d'un ancien village, près de Nivjanin (Djurilovo).

Le terme *vlah* (valaque) apparaît dans trois toponymes : *Vlădovskoto*, terre arable, à Čumakovski sur l'Iskăr ; *Vlák(o)skoto*, colline à Enitsa ; et *Vlăški păt*, route vers Orjahovo, dans la commune de Rogozen.

Si l'on totalise ces divers noms, on en trouve 58 d'origine latine ou roumaine, ce qui représente environ 2 pour cent des 2304 noms de la toponymie du district de Beloslatino.

Quant aux mots bulgares *papür* et *tser*, nous avons la certitude qu'ils ont été empruntés au latin balkanique immédiatement après l'arrivée des Slaves. Le terme *vlah* était connu des Slaves et des Byzantins dès le X<sup>e</sup> siècle. *Gurgúl'a* = *Gurgúja*, *Pișurata* (de *pissiare* = « pisser ») et *Teliș* = *teiș* sont des phonétismes roumains antérieurs au XV<sup>e</sup> siècle. *Djiréda* = *gireadă* et *Saláșa* = *sălăș* attestent la présence de pâtres valaques venus des Carpates à une époque plus récente. Par conséquent, la toponymie du district de Beloslatino montre que des rapports presque ininterrompus ont existé entre les Slaves et la population romane. Celle-ci était peu nombreuse et a fini par être complètement assimilée, mais elle a laissé dans la toponymie des traces, qui révèlent son genre de vie et qui ont trait à la flore (*cucută*, *papură*, *tei*, *tufă*), à la faune (*fințar*), à la terminologie géographique (*gurgui*, *izvorel*, *vale*), aux occupations (*baci*, *gireadă*, *pășune*, *sălăș*), ce qui permet de conclure que cette population s'occupait principalement d'élevage.

H. Mihăescu

MULJAČIĆ, ŽARKO, *O imenu grada Dubrovnika* [Du nom de la ville forte de Dubrovnik], dans « Zadarska Revija », XI, 1962, 2, p. 147—154.

A 12 km au nord d'Epidaurum, au bord de la mer, sur l'emplacement de l'actuel Dubrovnik, avait pris naissance à une époque reculée une nouvelle ville, *Epidaurum novum*. Le nom de l'ancienne ville, *Epidaurum vetus* a subsisté jusqu'à nos jours sous la forme de *Cavtat* (de *civitate*), mais pour celui de *Dubrovnik* les spécialistes ne pouvaient l'expliquer par un nom pré-slave, comme c'est le cas pour les principales localités du littoral de l'Adriatique. Petar Skok avait d'abord songé à un adjectif slave \**dubroviniŭ* (sc. *gradu*) « de forêt, boisé », mais il a finalement renoncé à cette interprétation, considérant que l'actuel Dubrovnik n'a jamais pu se trouver dans une région de forêts. Il s'est ensuite arrêté à l'idée de deux

localités parallèles : l'une romaine du nom de Raguse, l'autre slave, du nom de Dubrovnik située sur une hauteur voisine ; avec le temps les Slaves auraient assimilé la population romane et imposé le nom de leur ville à tout le territoire. L'auteur de l'article dont nous nous occupons ici (lequel a fait l'objet d'une communication au VII<sup>e</sup> Congrès international d'onomastique tenu en 1962 à Florence) propose une interprétation différente. Le nom de (*Castellu de Epi*)*dauro-novo* aurait subsisté après l'arrivée des Slaves, sous la forme de \*ДЪВРЪ-нѠв. La ville étant protégée par des fortifications de bois (comme l'ont prouvé les recherches archéologiques), les Slaves auraient fait tout naturellement le rapprochement entre ДЪВРЪнѠв et l'adjectif \**dobrovinŭ* (sc. *gradu*) de leur propre langue. C'est ainsi que, par un procédé linguistique populaire et l'adjonction du suffixe *-nik*, aurait pris naissance la forme *Dubrovnik*, dans laquelle subsisterait par conséquent l'ancien nom de la ville forte, *Epidaurum novum*. La diphtongue AU se serait transformée en *av* sous l'influence byzantine (comme P. Skok l'a prouvé par de nombreux exemples) et le groupe *-vr-* aurait évolué pour devenir *-br-*, comme dans *Lovro* > *Lobro*, *Sovra* > *Sobra*, *vrabac* > *bravac*, *vrijèma* > *brijèma*, etc. L'article contient de nombreux renseignements historiques ; l'interprétation de l'auteur est ingénieuse et semble plausible, bien qu'elle laisse subsister quelques difficultés au point de vue de la forme.

H. Mihădescu

PAPAHAGI, TACHE, *Dicționarul dialectului aromân, general și etimologic. Dictionnaire aroumain (macédo-roumain), général et étymologique*. 36 photographies, 1 dessin et, 1 carte. Éditions de l'Académie de la R.P.R., Bucarest, 1963, 1264 p.

Le dictionnaire comprend une brève introduction en roumain et en français (p. 5—48), le matériel lexical proprement dit avec la traduction française des termes (p. 49—1151), un index alphabétique des racines latines (p. 1153—1171), grecques (p. 1172—1199), albanaises (p. 1199—1204), slaves (p. 1204—1211), turques (p. 1211—1229), italiennes (p. 1229—1233), françaises (p. 1233—1234) et de divers autres idiomes (p. 1234), un second index « de mots qu'on retrouve dans d'autres langues balkaniques sans que l'on puisse préciser de quelle langue ils ont passé en macédo-roumain » et « de mots pour lesquels on a proposé une étymologie qui n'est pas convaincante » (p. 1235—1248), ainsi que quelques explications supplémentaires et une bibliographie des sources et des ouvrages consultés, avec les abréviations sous lesquelles ceux-ci figurent dans le corps du dictionnaire (p. 1250—1264).

L'auteur, originaire du village d'Avdela, dans le Pinde, est Aroumain de naissance ; il a fait ses études secondaires au lycée de Bitolj et, de 1912 à 1948, a été successivement étudiant, assistant, maître de conférences, enfin professeur à l'Université de Bucarest. De ce fait il a couramment parlé dès l'enfance le dialecte macédo-roumain et a connu de près la vie des Aroumains, avec ses alternances périodiques entre la montagne et la plaine, tout comme il a été à même, plus tard, d'étudier par des méthodes scientifiques ce genre d'existence. Ce faisant, il n'a pas porté son attention uniquement sur la langue, mais s'est également occupé des problèmes ethnographiques et intéressant le folklore.

Les Aroumains sont connus dès le X<sup>e</sup> siècle comme pâtres et caravaniers. Leur vie dans les montagnes a favorisé chez eux la persistance de nombreux caractères archaïques ; la transhumance ainsi que le métier de conducteurs de caravanes les a mis en contact avec d'autres peuples balkaniques, auxquels ils ont emprunté un certain nombre de termes et de coutumes. En raison de ce fait, l'étude du dialecte macédo-roumain intéresse non seulement la langue roumaine et la linguistique romane, mais aussi l'histoire d'autres idiomes du sud-est de l'Europe.

Le dictionnaire contient 1628 racines latines (sans les dérivés respectifs), 2534 racines grecques, 1620 turques, 924 autochtones ou balkaniques, 577 slaves, 350 albanaises, 300 italiennes et environ 1250 d'origine inconnue. Il découle de là que l'ossature de la langue est romane et que c'est en premier lieu avec les Grecs et les Turcs, et en second lieu avec les Slaves et les Albanais, que les Aroumains se sont trouvés le plus longtemps en contact. Les 294 termes autochtones ou balkaniques révèlent la persistance d'un fonds de culture très ancien, et les 1250 racines d'origine inconnue prouvent qu'il reste encore beaucoup à faire pour l'étude scientifique du groupe des langues sud-est européennes.

Le dialecte macédo-roumain est assez bien connu et a été étudié tant par ceux qui s'intéressent à la langue roumaine que par les romanistes et les spécialistes des idiomes balkaniques. L'étude scientifique du latin vulgaire et du monde romain oriental ne saurait ignorer les résultats de ces recherches. Il arrivait néanmoins que les divers recueils de textes et de matériaux dialectaux étaient éparpillés et difficilement accessibles, et d'autre part l'étude d'ensemble de Th. Capidan *Aromânii. — Dialectul aromân* [Les Aroumains. — Le dialecte aroumain] (Bucarest, 1932) contient un certain nombre d'inexactitudes. C'est pourquoi le dictionnaire de Tache Papahagi est appelé sans aucun doute à devenir un instrument de travail indispensable, du fait qu'il réunit en un seul ouvrage le trésor lexical du dialecte macédo-roumain, avec un grand nombre de citations et de variantes, d'exemples de parallélisme avec d'autres idiomes balkaniques et de précieuses indications étymologiques. L'auteur est d'avis que la prothèse *a-* a son origine dans le latin vulgaire (lat. *se duxit ad venare* > *si duse a vinare* > *s'duse avinare* « il alla chasser »), mais n'exclut pas la possibilité d'une influence grecque. L'étude de François Thomas (*Recherches sur le développement du préverbe latin ad-*, Paris, 1938; cf. notre compte rendu du « Buletinul Institutului de filologie română A. Philippide », Jassy, V, 1938, p. 282—284) établit que *ad-* a pris une grande ampleur dans le latin tardif et y est parfois devenu un simple élément prothétique.

La détermination des racines latines est en outre malaisée en raison du fait que nous ne disposons pas encore d'un répertoire complet du latin oriental. L'auteur déclare (p. 15) : « Il est des cas où les étymologies proposées ne comportent pas de précision absolue quant au temps. Ainsi des mots comme *sărbătoare* « fête », *scaldătoare* « baignade, endroit d'une rivière où l'on peut se baigner », *vigl'itoare* « rossignol » peuvent avoir pris naissance en latin vulgaire à partir des formes *\*servatoria*, *\*excaldatoria*, *\*vigilatoria*, mais cette dérivation aurait pu se produire dans des conditions identiques au cours de l'évolution ultérieure de la langue romane balkano-carpatique ». Il s'agit d'établir en principe dans quelle mesure demeure justifié le procédé de la reconstruction du latin vulgaire. Ce procédé s'est avéré utile et ses résultats ont été maintes fois confirmés par les recherches ultérieures, néanmoins il convient de ne l'appliquer qu'avec mesure. D'une manière générale l'auteur est circonspect lorsqu'il s'agit d'établir une étymologie, et ne manifeste pas de préférences préconçues pour une origine ou l'autre; mais le terrain de l'étymologie est un terrain difficile et périlleux entre tous, et il arrive aux chercheurs les plus expérimentés de s'y fourvoyer. C'est pourquoi il est recommandable de réunir un matériel documentaire aussi abondant que possible.

*\*abellona*. Dans le *Thesaurus linguae Latinae* = ThesIL., I, 64—65, on trouve attestées les formes *avellana*, *avallana*, *aballana* et *avollana*. Cette diversité ainsi que l'existence de la forme roumaine *alună* « noisette, aveline », justifie la reconstruction des formes latines *\*aballona* et *\*abellona*.

*ad\* doliosus*. Le daco-roumain *duios* « doux, tendre, sensible » est issu d'un *\*doliosus* présumé, dérivant de *dolus* et l'aroumain *adil'ios* proviendrait d'un *ad\* doliosus* présumé, le préverbe *ad-* ayant laissé des traces profondes dans le dialecte macédo-roumain.

\**allargare*, de *ad* + *largus*, dr. *alerga* « courir », aroum. *alăgare* « course, fuite », mégléno-roumain *lagare*, a également des parallèles dans les dialectes italiens : génois *alargarse*, logoud. *allargarse*. W. Meyer-Lübke, REW 352.

*ad modo* > *a modo* > *amó*, *amú* « maintenant », à comparer avec les exemples du latin tardif : ThesL., I, 1960 = Itala gen. 46,30 *moriar amodo* (ἀπὸ τοῦ νῦν), *quoniam vidi faciam tuam*; Vulg. Is. 9,7 *amodo* (ἀπὸ τοῦ νῦν) *et usque in sempiternum*.

*ad-tunc(ce)*, dr. *atunci* « alors », aroum. *atumŝea*, *atunŝea*, *atunŝ*, que nous avons discuté dans notre article *Beiträge zur Kenntnis der tum-, tunc-Partikeln*, dans « Buletinul Institutului de filologie română A. Philippide », IV, 1937, p. 1—51.

\**aerugina* a pu donner naissance aux formes *rugîná* et *arudgîná* « rouille ». G. Ivănescu (« Buletinul Philippide », I, 1934, p. 87) propose un post-verbal de *a rugini* « rouiller » dérivé d'un *rúgine* plus ancien, et A. Graur (*Etimologii românești*, Bucarest, 1963, p. 136) est d'avis que *rugîná* et *arudzîná* sont les résultats du croisement de deux racines : *aerugo* + *robigo*.

\**allevatum* n'a pas à être précédé d'un astérisque, le verbe *allevare* figurant dans le ThesL., I, 1675.

*albina* dans l'acception de « ruche » a survécu dans les dialectes rhéto-romains sous la forme *albina*, comme le note G. B. Pellegrini dans *Omagiu lui Iorgu Iordan*, Bucarest, 1958, p. 667.

*ambidui* est attesté par les textes latins : Plin., Nat. hist., XXI 55 *duo genera... ramosa ambo*; XXVII 5 *ambo... duo*; Fronto, p. 122, 2 Naber *inter duos, ambos meos*; Schol. Arat., p. 182, 22 (VII<sup>e</sup> siècle) *habet (Helice) stellae... in ambas aures duas*; p. 296, 8 *ambaeduae quidem subtiles videntur stellae*, Cf. ThesL., I, 1863—1866.

\**animalium* est une reconstruction superflue, car *nămal'iu* (n.n.) « menu bétail, bêtes à laine » a pour base la forme latine *animalia*, dont l'aroum. a fait un singulier.

*apprehendere* « allumer » : Compos. ad. ting. mus. 143 *tolle carbones minutos, adprehende illos in focario*.

\**aquatosus* est justifié par des dérivés tels que *aquator* « qui cherche de l'eau », *aquatus* et *aquosus* « plein d'eau, aqueux », ThesL., I, 380—382.

*berbecarius* « berger qui garde les bœufs » figure dans le Gloss. Reichenau 19 *opilio : custos ovium vel berbecarius*.

\**bovus* est également confirmé par l'acc. sing. *bobum* dans la *Mulomedicina Chironis* 974, bien que la forme roumaine *bou* puisse s'expliquer de façon satisfaisante à partir du pluriel *boi* < *boves*.

*bracchiatum* > *brăŝát* « brassée » est attesté par les auteurs suivants : Colum. V. 5, 9, *capitata vineas et bracchiatas*; Plin. Nat. Hist. XVI 123 *alia ab radice bracchiata, ut ulmus, alia in cacumine ramosa, ut prunus*; Prisc. gramm. II 441, 25 *a brachii bracchiatus*.

*brumarius* a existé en latin et est attesté par quelques-uns des manuscrits de l'œuvre d'Isidore de Séville, *Orig. V, 35, 6 edacitas... graece βρεῖμα appellatur, unde et brumatici (in-brumati, brumatici vel brumarii cod.)*, ThesL., II, 2210.

\**bustinus*, -a, *búŝtină* n.f. « suie », cf. *bústar*, *locus ubi cremantur mortuorum corpora, busticetum, bustio, bustum* « roguis deflagratus ». ThesL., II, 2255.

\**caballaricius* n'apparaît pas dans les textes et inscriptions. Le mot *căláreŝu*, *căláreŝ* « cavalier » peut également s'expliquer par *călare* « à cheval » < *caballaris* + suffixe -eŝ.

\**caiuulus* n'est attesté nulle part et, le pour des raisons d'ordre phonétique, ne saurait être à l'origine de *cair* « quenouillée ».

*capisteria* > *căpisteáre* n.f. « huche à farine » est le pluriel de *capisterium*, *vas in agricultura frumento mundando inserviens*, Colum. II, 9.11, ThesL., III, 343.

*carraria*, attesté à peine au IX<sup>e</sup> siècle, a certainement existé bien avant cette date. E. Hochuli, *Einige Bezeichnungen für den Begriff « Strasse », « Weg », « Kreuzweg » im Romani-schen*. Aarau, p. 75.

*cottidiare*, de *cottidie* (CGL V 186, 3) *cottidiantes* : *assiduantes*, peut être considéré comme étant à l'origine du roum. *cuteza* « oser », et de l'aroum. *cutidzare* « audace, hardiesse » tout aussi bien que *cottizare* (gr. κοττιζειν).

\**cucullius* est superflu, car *cucul'iu* « houppe, sommet, pointe d'un capuchon », peut aussi bien être le pluriel du lat. *cuculli* transformé en singulier.

\**cucuta* : l'astérisque est injustifié, car le mot est attesté par les inscriptions de Pompéi, cf. V. Väänänen, *Le latin vulgaire des inscriptions pompéiennes*, Berlin, 1959, p. 26.

*degetare* = *algere*. ThesIL., V, 379, Orib. Syn., 6,42 *aliqui... cum degetaverint, singultiant*.

\**demanitia* nous paraît peu probable. Le mot roumain *dimineața* « matin » est dérivé du lat. *de mane* « valde mane » + suffixe *-eață*, sur le modèle de *tinir* < *tenerus* — *tinereață* « jeunesse », etc.

\**deramare* n'a pas à être précédé d'un astérisque, cf. ThesIL., V, 626 *deramare* = *succidere*; Hieron. psalt. sec. Hebr. 80, 17 (vineam) *succensam igni et deramatam*. Le mot a également laissé des traces dans d'autres langues romanes, cf. W. Meyer-Lübke, REW 2578.

\**desertare* peut être affranchi de son astérisque, cf. ThesIL., V, 69 *desertare* = *deserere*, *relinquere*, Apon. 7, p. 136 (VI<sup>e</sup> siècle) *hortus paradisi, qui desertatus fuerat per primum Adam; desertare* = *neglegere, incultum relinquere*, Petr. Chrys. serm. 4, p. 194<sup>B</sup> (V<sup>e</sup> siècle) *erat in agro (frater filii prodigi) terram percolens, se desertans*.

*disculcius* est attesté par la *Lex Salica*, ms. D., édition de Karl August Eckhard, Weimar, 1953, art. C, § 3, p. 240. Cf. ThesIL., I, 1247 et M. Niescu, « Studii și cercetări lingvistice », IX, 1958, p. 411.

\**disfacere* ne figure pas dans le ThesIL. Il y a donc lieu de supposer que *disfafire* « action de défaire » est plutôt un produit aroumain formé du préfixe *dis-* et du verbe *fafire* « faire ». Il en va de même pour \**disfasciare*, \**disfingere*, \**disglaciare*, \**disiugare*, \**dismerdare*.

\**doi*, \**doae*. On trouve dans les inscriptions les formes suivantes : CIL V 8768, *doa*; CIL V 8776, *doas*.

*ecce* - \**illus* > *ațel*, *ațea*, *ațeale* « ce, celui, ceux, celle, celles » : Plaüt, Mil. 789 *habeo eccillam meam clientam*; Plaüt, Rud. 1066 *vidulum eccillum tenet*; Plaüt, Merc. 524 *ovem tibi eccillam dabo*; Apul. Apol. 53 *libertus eccille, qui...*; Apul. Apol. 74 *socero eius eccilli Herennio Rufino*.

\**excarminare* ne figure pas dans le ThesIL.

*extra-nepotus* a été reconstitué par W. Heraeus dans une glose du CGL IV 504, 9 *extra ne < pot > us, v.* « Archiv für lateinische Lexikographie », XII, 1902, 62 sqq.

\**fele* (de *fel*) astérisque à supprimer : Diosc. II, 59 nom. et acc. *fele*, cf. ThesIL., VI, 422.

*filix*, *-icem* : Pelagon. 252, 338 sqq. gén. sing. *feclae*; Orib. Syn. 3,14 acc. pl. *filicas*; cf. aussi P. Thomas, *Mélanges Havet*, Paris, 1909, p. 510, fr. dial. *feuze*.

\**frondia* ne figure pas dans le ThesIL. où l'on trouve par contre l'adj. *frondeus*, *-a*, *-um*. L'aroum. *frundză* « feuille » pourrait s'expliquer à partir du pluriel dr. *frunze* « feuilles » < *frondes*, *frondium*.

\**illus* est attesté dans Virg. gramm., p. 45, 3 H *quaedam nominativum et genitivum habent ut illus illius, illa illea, illum illi*. Cf. ThesIL., VII, 340.

\**inaltiare* a sans doute existé dans la langue parlée à côté de *inaltare* = *in altum erigere* ThesIL., VII, 816. Vulg. Sirach 15,4 *inaltabit eum*; 20,30 *inaltabit acervum frugum*; Paulin. Nol. Carm. 24,739 *qui superbos deprimit, humiles inaltat*.

\* *ploppus*, astérisque à supprimer : *pluppi*, *Compositiones ad tingenda musiva* 145 ; ἄχρη τῶν πλοῦπων, en Calabre en 1124, v. G. Alessio, dans « *Studi bizantini e neo-ellenici* », V, 1939, p. 350.

\* *sambata* a certainement existé dans le latin parlé, car il est attesté par les inscriptions grecques contemporaines : Σαμβαταίς en Thessalie (« *Athenische Mitteilungen* », VIII, 124), Σαμβαταίς, (*Corpus inscriptionum Atticarum* III 2225), Σαμβατάις (*Corpus inscriptionum Atticarum* III 3525). Voir la discussion sur les formes Σάμβατον et Σάνβατον chez K. Dieterich, *Untersuchungen zur Geschichte der griechischen Sprache von der hellenistischen Zeit bis zum 10. Jahrhundert n. Chr.*, Leipzig, 1898, p. 92 sqq.

*subgluttire* « hoqueter » et *subgluttius* « hoquet » sont attestés par Orib. Lat. VI 42 (VI<sup>e</sup> siècle). *turbulare* apparaît dans *Compositiones ad tingenda musiva* 164 (« herausgegeben . . . von Hjalmar Hedfors, Uppsala, 1932) : . . . *urina dispumata et teres diutius donec turbuletur ipsa urina*.

Imprimé dans d'excellentes conditions techniques, le *Dictionnaire aroumain général et étymologique* de Tache Papahagi est un ouvrage capital de la linguistique roumaine.

H. Mihăescu

BASLER, DURO et JANEKOVIĆ, DURO, *Paleolitisko nalaziste Lusčić u Kulasima* [L'établissement paléolithique de Lusčić près Kulasi], dans « *Glasnik* », Sarajevo, 1961, p. 27—38.

L'accroissement du nombre des fouilles et recherches d'archéologie paléolithique en Yougoslavie est d'une réelle utilité pour l'approfondissement des problèmes du paléolithique de Roumanie, notamment de ceux qui concernent le Banat.

Le présent article fait connaître les importants résultats des fouilles archéologiques pratiquées dans l'établissement paléolithique de la colline de Lusčić, près Kulasi.

Les auteurs ont réussi à présenter un tableau aussi clair et détaillé que possible de la situation géologique de la région et essayent de résoudre, en faisant preuve de beaucoup d'attention, les questions paléo-pédologiques de la station. Ils analysent dans le menu les conditions des accumulations géologiques et signalent certains dérangements (phénomènes de solifluction) dans les dépôts supérieurs qui auraient affecté la couche de l'habitat paléolithique (?).

La méthode paléo-pédologique leur a permis de déterminer les caractères principaux des associations de climat au haut pléistocène, ainsi que les conditions de vie dans lesquelles s'est développée la station paléolithique de Lusčić.

Si l'on compare les profils stratigraphiques de Kulasi et ceux des établissements paléolithiques du Banat, on constate que la succession des dépôts de loess en alternance avec ceux des sols fossiles, depuis le gravier de base jusqu'à l'humus actuel, ainsi que les empreintes de certains phénomènes périglaciaires sont presque les mêmes dans les deux régions situées du point de vue géographique dans la même zone limitrophe du vaste bassin de Pannonie. Pareillement, tout comme dans les profils yougoslaves, on constate chez nous aussi, à savoir dans le Banat, l'absence du carbonate de calcium (CaCO<sub>3</sub>) et l'abondance, dans certains dépôts, des concrétions ferro-manganiques (FeMn).

Si, en ce qui concerne les considérations géologiques, tout nous semble clair, nous exprimons certains doutes quant à la date proposée pour la couche de civilisation. L'article parle de la translocation de la couche de civilisation en trois étapes : a) le premier mouvement des silex serait dû à un puissant phénomène de solifluction survenu au début du dernier stade (W III) ; b) le second serait le résultat d'une élévation, sur la verticale, des silex dans un dépôt plus jeune, par suite de gels prononcés ; c) enfin, le remplacement des silex dans leur position horizontale actuelle, sous l'influence des derniers processus de solifluction de W III.



Les auteurs estiment que l'intelligence de ces processus de translocation leur permettrait de déterminer un âge plus élevé à la couche de civilisation. Mais aussi bien que l'on saisisait certains phénomènes géologiques et aussi bien que l'on maîtriserait certaines méthodes de recherche, il est assez téméraire d'arriver à de telles conclusions archéologiques, surtout si l'on tient compte du fait que la méthode paléo-pédologique est utilisée ici pour la première fois en Yougoslavie et que cette méthode mène d'ordinaire à des opinions contradictoires. L'odyssée des 1 774 pièces en silex demeure pour nous un fait difficile à admettre. Nous ne sommes nullement convaincus de l'existence de ces processus de solifluction, surtout si nous tenons compte de la parfaite horizontalité de la couche de civilisation (voir pl. 3).

L'effort des auteurs pour fixer un âge plus reculé à la couche de civilisation serait dû, à notre avis, soit à une chronostratigraphie erronée, soit — plus précisément — à une impression déterminée par l'étude typologique du matériel archéologique qui plaide en général pour une date plus reculée. Nous nous sommes heurté nous aussi à cette situation au cours de nos recherches, notamment au Banat, en Olténie et en Valachie, où nous avons rencontré des formes aurignaciennes précoces persistant jusque vers la fin du pléistocène. Ce fait a été expliqué par l'isolement où se trouvaient ces territoires depuis le milieu du paléolithique supérieur et en raison de l'absence de certaines influences à même de précipiter ou de modifier d'une manière ou d'une autre le processus de développement des civilisations à cette période.

Les auteurs, armés d'une abondante information bibliographique qui mérite d'être prise en considération, réussissent pourtant à compliquer la question de l'appartenance culturelle de l'établissement de Lusčić en essayant de découvrir dans l'inventaire lithique une série d'éléments aurignaco-széléto-gravettiens. Ce qui les éloigne des réalités archéologiques de Lusčić. De la lecture des dessins — assez peu clairs du reste — il ressort d'une manière évidente la prépondérance des formes qui caractérisent l'aurignacien moyen. Nous songeons aux ciseaux à bec, aux curettes et même aux lames larges, tant discutées et si fréquentes à l'aurignacien précoce. Ni le contenu de l'article, ni les planches qui l'accompagnent ne permettent de constater le moindre élément qui appartienne exclusivement à ce que l'on appelle le « szélézien ». Quant à la pointe atypique à retouches abruptes, elle est totalement non concluante en faveur du gravettien. Il est vrai que ces trois civilisations (l'aurignacien, le « szélézien » et le « gravettien ») renferment maints éléments communs, lesquels apparaissent du reste tout au long du paléolithique supérieur tout entier, mais cela ne nous permet pas de négliger les pièces les plus caractéristiques et les plus sûres qui permettent l'identification d'une civilisation, surtout quand il s'agit d'une zone où il existe une forte tradition aurignacienne, avec ses divers aspects régionaux. Le Banat a livré plusieurs découvertes de ce genre où, à côté d'éléments typiquement aurignaciens, il est apparu aussi des pièces nouvelles, comme les lames microlithiques du type Dufour. Nous avons attribué ces établissements à l'aurignacien du groupe Krems-Dufour. Si l'on tient compte de la présence des lames microlithiques signalées par les auteurs et que nous constatons nous aussi sur la figure VI, celles notamment des nos 51 et 56, il n'est pas exclu qu'il s'agisse d'une seule et même civilisation.

En dehors de ces quelques observations, qui expriment notre point de vue dans cette question, nous tenons à accentuer une fois de plus l'importance de ces découvertes, car elles nous ont permis de déterminer certains rapports de l'établissement de Lusčić et de certains autres du Banat appartenant au paléolithique supérieur final. Il s'agit de la présence dans les deux territoires d'outils, comme les lames larges ou microlithiques, les curettes, les ciseaux et notamment les « haches primitives », qui constituent à nos yeux une preuve supplémentaire de la pénétration de certaines influences venues des contrées du Sud-Ouest de l'Europe, vers la fin du paléolithique.

Cet article demeure indubitablement un travail d'un vif intérêt scientifique et c'est, à notre avis, l'une des contributions les plus amples de ce genre parues en Yougoslavie, car ses auteurs y abordent avec courage les problèmes si complexes du paléolithique de plein air.

*Fl. Mogoşanu*

STOIAN, IORGU, *Tomitana. Contribuţii epigrafice la istoria cetăţii Tomis* [Tomitana. Contributions épigraphiques à l'histoire de la cité de Tomis], (Biblioteca de Arheologie VI), Editions de l'Académie de la République Populaire Roumaine, Bucarest, 1962, 379 pages dont LXXII planches, in-8°.

Au cours des vingt dernières années, le passé des villes du Pont Euxin est devenu l'objet d'investigations multilatérales qui ont donné naissance à des monographies archéologiques (tels les volumes consacrés à Histria) ou à des études spéciales (comme, par exemple, D.M. Pipidi, Contributions à l'histoire ancienne de la Roumanie [en roumain], Bucarest, 1958).

Réunissant en un seul volume des travaux déjà publiés en général sous forme d'articles de revue, I. Stoian, maître de conférences à l'Université de Bucarest, accompagne d'un commentaire une ample moisson épigraphique qui permet de tirer au clair une série de questions intéressant la structure sociale et économique de Tomis.

Le premier des six chapitres du volume offre une esquisse historique suggestive du développement de cette cité pontique depuis ses origines jusqu'à sa destruction au VII<sup>e</sup> siècle de n.è. (p. 13—55). Y fait suite une discussion, reposant sur une ample documentation, relative aux *tribus tomitaines* (chap. II, p. 56—74). Il y est montré que la cité était divisée en quatre tribus, d'après le critérium gentilice. Cette division se rencontre comme un élément traditionnel dans la plupart des πόλεις ioniennes. Comme cela représentait un « élément essentiel de l'organisation interne de toute πόλις », elle a subsisté, « même après la formation de l'Etat esclavagiste tomitain ». Deux autres chapitres déterminent : la *structure des organes délibératifs* et passent en revue, à l'aide de témoignages épigraphiques, les attributions et la nature des *magistratures tomitaines* (chap. III, p. 75—146 et chap. IV, p. 147—185).

Utilisant une documentation variée, l'auteur essaye de démontrer, au chapitre V, sa thèse sur les *relations esclavagistes à Tomis*. La cité ne s'est pas contentée d'un simple développement de l'esclavage endogène ; elle présente un stade assez avancé des relations esclavagistes, comparable, à bien des égards, à la situation des métropoles classiques. Il est vrai qu'on ne conteste pas le fait que, à l'époque de l'autonomie surtout, l'agriculture a connu, à côté d'autres formes d'exploitation, des relations de dépendance, « réminiscences des relations de communauté des indigènes ». Il existe néanmoins des faits probants qui démontrent que, à partir du III<sup>e</sup> siècle av.n.è. notamment, Tomis s'engagea dans la voie de l'économie marchande et utilisait à cet effet dans le processus de production un nombre d'esclaves toujours plus grand.

Une série de témoignages nous informe au sujet de l'état florissant des métiers et du commerce (ἐμπορία, commerce sur mer et καπηλεία, petit commerce ; sont également attestés les armateurs — ναύκληροι) ; quant à la composition ethnique et sociale de la population urbaine, elle est typique pour les conditions créées dans cet important centre portuaire.

Les arguments invoqués par l'auteur semblent moins convaincants lorsqu'il plaide en faveur de l'existence de relations esclavagistes avancées dans le domaine de l'agriculture. L'attestation fréquente de l'existence des affranchis et la documentation extrêmement pauvre au sujet du nombre des esclaves ne permettent pas d'accorder la prépondérance aux relations esclavagistes du type classique, fortement entravées du fait de la coexistence des colons et des indigènes de la Scythie mineure.

Les spécialistes trouveront en tout cas dans les *Contributions* de I. Stoian un commentaire circonstancié des textes relatifs à l'esclavage tomitain (voir par exemple l'interprétation des inscriptions des pages 187—197, planches XLVII—XLVIII, ainsi que la discussion du terme *alumni*, p. 188 et suiv.). L'interprétation des représentations plastiques des monuments funéraires où, à côté des silhouettes de maîtres, on distingue fréquemment l'image d'un esclave domestique est assez convaincante.

Les conclusions, formulées assez sommairement au chapitre VII, reprennent plus particulièrement les idées développées aux pages consacrées à l'esclavage. Un tableau plus clair des résultats découlant de l'interprétation des documents épigraphiques est inclus dans le résumé annexé à l'ouvrage (p. 241—252 en russe et p. 253—264 en français).

Pour compléter cette rapide énumération des chapitres, nous nous bornerons à attirer l'attention sur l'impression d'ensemble que laisse la lecture du volume. Il n'y a pratiquement pas de stade dans le développement de Tomis qui ne nous mette en présence de situations significatives pour l'évolution des régions du sud du Danube.

A l'époque de subordination — prédominance de *Callatis* ou du *royaume des Odryses*, influences thrace, macédonienne, celtique — fait suite l'obtention de l'autonomie avec l'appui de Byzance, pour contrecarrer la puissance des deux cités alliées, Istros et Callatis. Vers l'an 260 av.n.è., Tomis est proclamé port franc et frappe sa propre monnaie. L'intensification du commerce avec le reste du monde grec et avec les autochtones, accompagnée du développement des relations esclavagistes, assurera aux Tomitains la suprématie sur les cités voisines et ils la conserveront même après l'instauration de la domination de Rome.

Aux premiers siècles de notre ère, la position du *centre politico-administratif* au sein de la *confédération* des cinq ou six cités du *Pont gauche* (πεντάπολις), constituée d'Istros, Tomis, Callatis, Dionysopolis et Odessos, se consolidera au point de former une *ἐξάπολις*, par suite de l'adjonction de Mésembria. La dénomination de *métropole* apparaît de plus en plus fréquemment sur les monnaies et les inscriptions, à partir d'Antoninus Pius (138—161). Une série de phénomènes historiques de l'époque romaine sont signalés dans leur contexte et interprétés par Iorgu Stoian d'une façon qui emporte la conviction du lecteur.

Les documents connus, tels les décrets relatifs à la garde de la ville, ainsi que d'autres inscriptions, assez peu accessibles ou d'une publication récente, ont été soumis par l'auteur à un examen minutieux qui a permis de relever, surtout aux chapitres consacrés aux magistratures et aux relations esclavagistes, les phénomènes de crises social-économiques. Dans ces conditions, l'oligarchie tomitaine, représentée par quelques familles aisées, tend à concentrer entre ses mains les magistratures les plus importantes et à intensifier la subordination à la puissance romaine. Les mesures politico-administratives destinées à faciliter la pacification et la romanisation des territoires du voisinage de la métropole ne parviendront cependant pas à mettre fin au processus d'*assimilation par les Gètes* de la population urbaine et d'instauration de nouvelles relations de dépendance dans le territoire rural de la cité.

Certes, l'évolution historique de Tomis revêt au ssi d'autres aspects; il y a encore des circonstances qui attendent d'être mises en lumière et expliquées scientifiquement. Les *Tomitana* de I. Stoian offrent, en tout cas, d'ores et déjà, de sérieuses contributions et de sûrs jalons aux recherches de synthèse réservées à l'avenir.

Quelques mots encore sur la présentation graphique et l'économie de l'ouvrage. Les illustrations et l'impression extrêmement soignées font de ce volume un album d'art. Mais les reproductions d'objets se ressentent de l'absence d'indications d'ordre chronologique, et d'autres précisions: le secteur où ces pièces ont été trouvées, le musée qui les conserve, etc. Même dans le cas des planches hors-texte reproduisant des incipitions, de tels repères auraient facilité la consultation rapide des reproductions.

A l'abondance des notes et des références l'auteur ajoute de nombreuses annexes : listes de sources littéraires, épigraphiques et archéologiques, bibliographie des travaux d'intérêt général et des monographies spéciales se rapportant à l'histoire de Tomis et divers index (*index nominum, index rerum et grammatica quaedam*).

M. Nasta

BEŠEVILIEV, V., *Les inscriptions protobulgares*. Édition française par Henri Grégoire, « Byzantion », tome XXV, XXVI, XXVII (1955—56—57), fasc. 2 (Mélanges Ejnar Dyggve), p. 853—880; XXVIII (1958) (Mélanges R. Guillard), p. 255—323; XXIX—XXX (1959—1960), p. 677—700.

Le savant de Sofia a le mérite d'avoir réuni toutes les inscriptions protobulgares connues jusqu'à présent, de faciliter ainsi la recherche, l'étude de ces matériaux documentaires si précieux à beaucoup d'égards. L'éminent et infatigable chercheur qu'est Henri Grégoire a assuré de son côté une plus large circulation à la remarquable étude de Beševliev par l'édition française qu'il nous en a donnée. Il a collaboré aussi à maintes reprises au rétablissement du texte quelquefois dégradé.

L'auteur présente d'abord chronologiquement les inscriptions en précisant l'endroit de leur découverte et leur époque (indiquée par le nom du Khan), de même que les circonstances de leur exécution.

On connaît du premier royaume bulgare cinquante inscriptions grecques gravées sur pierre par ordre de khans bulgares, trois appartenant au règne du khan Krum (803—814), onze à celui du khan Omurtag (816—831), trois au règne de son fils et successeur Malamir et deux du temps du successeur de ce dernier, Persian. Les autres inscriptions ne se laissent pas dater avec précision, mais, de l'avis de l'auteur, la majeure partie appartient « très vraisemblablement à l'époque d'Omurtag ». La plus ancienne est, selon toute probabilité, celle qui est gravée de part et d'autre du cavalier de Madara. Elle remonte à l'époque du second souverain bulgare, Tervel (701—718). La dernière en date est l'inscription de Philippos, mentionnant le khan Persian.

La plupart de ces inscriptions ont été trouvées dans les environs du village d'Aboba, au cœur de l'ancien État protobulgare, et sont gravées sur des colonnes en pierre de dimensions très diverses. Elles sont presque toutes exécutées avec une très grande négligence, relevée en détail par notre savant, qui présente même le tableau des formes les plus importantes des lettres, et le tableau des ligatures usitées dans les inscriptions. La langue a été bien caractérisée par Beševliev, qui précise qu'elle ne présente rien d'extraordinaire : c'est la langue parlée, vivante, vulgaire évidemment, de l'époque, et en somme la dernière étape de l'ancienne *κοινή* sur la route du néo-grec. Le savant bulgare relève en quelques pages ses particularités les plus importantes. Il précise aussi l'origine grecque des auteurs des inscriptions : cette origine se révèle dans la manière dont ils ont grecisé les noms et les titres protobulgares, de même que dans les subtilités linguistiques argumentées par l'auteur. Les formules byzantines ont leurs parallèles dans les inscriptions.

Beševliev examine ensuite quelques questions auxquelles on n'a pas encore donné de réponse satisfaisante : 1. Pourquoi les inscriptions sont-elles rédigées en grec ? (L'influence de Byzance n'est pas exclue). 2. L'endroit où avaient été posées les diverses inscriptions. (Les réponses données à cette question sont, naturellement, différentes).

L'auteur retrace aussi l'histoire assez intéressante de la découverte des dites inscriptions. Avec la libération de la Bulgarie commence la seconde période des découvertes, au lieu

des trouvailles auparavant absolument fortuites. Pendant cette seconde période inaugurée par K. Jireček, de nouvelles inscriptions furent découvertes. Les frères Škorpil trouvèrent en Bulgarie un assez grand nombre d'inscriptions protobulgares qui parurent (1891—1895) dans la revue archéologique de Vienne. Beševliev signale enfin la contribution de Zlatarski et de Balasčev concernant quelques-unes des inscriptions, ensuite les fouilles d'Aboba entreprises en 1899—1900 par l'Institut Archéologique Russe de Constantinople, et dont les résultats, avec toutes les autres inscriptions protobulgares, furent publiés dans le tome X des « *Izvěstija* » de l'Institut, d'une manière qui ne satisfait pas Beševliev, tandis qu'il n'a que des éloges pour l'édition de Kalinka comprenant dix inscriptions protobulgares.

L'auteur présente plus loin les publications d'autres savants (Dvornik, Filov, Nikov, Fehéer, K. Škorpil, Moravcsik) et ses propres articles. Après cette introduction assez instructive, Beševliev nous donne le texte des inscriptions. Il commence par les *Inscriptions funéraires*, au nombre de 9. Les textes de chaque chapitre sont accompagnés d'un excellent commentaire, d'une richesse peu commune, dans lequel l'auteur clarifie d'abord l'orthographe caractéristique de l'inscription, et éclaircit ensuite les noms propres, les dignités protobulgares, les formes grammaticales élucidées toujours par les parallèles classiques et néo-grecs, en s'appuyant sur la littérature de la question qu'il connaît à fond ; en somme, le commentaire fait preuve de l'érudition étonnante de l'auteur.

Le chapitre II renferme les *Inscriptions mentionnant des édifices*. Celle qui figure sous le n° 10 montre qu'Omurtag se fit construire un palais magnifique au bord du Danube.

Le III<sup>e</sup> chapitre porte le titre : *Annales ou chroniques épigraphiques*. Le n° 13, très détérioré, n'a pu être lu qu'en partie : il s'agit dans cette inscription, selon Beševliev, de l'expédition malheureuse de l'empereur Nicéphore I<sup>er</sup>.

Le n° 15 de ce groupe contient un fragment d'inscription trouvé à Silistrie et publié par N. Iorga dans la « *Revue historique du Sud-Est européen* », VIII, p. 226. Trop sommaire, ce fragment nous dit que le khan Krum « vainquit et s'en alla... il fit un sacrifice sur la mer ».

L'inscription n° 17 a été trouvée à Madara. On nous donne l'explication du mot *ταγγρα*. Primitivement il signifiait *ciel*, mais plus tard il a acquis la signification de « Dieu suprême » ou simplement de « Dieu ». L'inscription parle de rites sacrés, de sacrifices en tout cas. Le khan est Omurtag.

Celle présentée sous le n° 19 fait mention de *Persianòs*, fils du fils d'Omurtag, Zvinitza, qui régna de 826 à 852. Le nom de ce prince bulgare chez Const. Porphyrogénète, de *Adm.* 154 II, 8, 16, prend la forme *Περσιανός* que Jireček, « *Archiv f. slav. Philologie* », XXI, 609, identifie au *Προσιανός* de Cedréus II, 469 et 483 (mais Zlatarski préfère l'identifier à *Πρεσιανός*, dans Prokič, *Die Zusätze in der Handschrift des Johannes Skylitzes*, p. 36).

N. Bănescu

LIPŠITZ, E. E., *Очерки истории византийского общества и культуры. VIII — первая половина IX века*, Moscou-Leningrad, Editions de l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S., 1961, 482 p.

L'auteur nous est connue par ses importantes recherches antérieures sur les relations agraires dans l'Empire byzantin. Le présent ouvrage, fruit de son activité des dix dernières années, renferme aussi certains chapitres déjà parus dans le « *Vizantijskij Vremennik* », mais il se caractérise, d'une façon générale, par l'étude approfondie des problèmes abordés et par des conclusions nouvelles.

L'érudite soviétique commence par les arguments d'une thèse personnelle, plus ancienne selon laquelle l'Empire byzantin a vu apparaître les premières formes des relations féodales aux IV<sup>e</sup> et V<sup>e</sup> siècles, période au cours de laquelle les relations esclavagistes propres à la société antique ont commencé à se désagréger. Pour argumenter cette thèse, l'auteur se fonde en particulier sur le fait que les sources historiques du IV<sup>e</sup> et du V<sup>e</sup> siècles renferment certaines indications sur la décomposition du mode de production esclavagiste et que la condition sociale des colons apparaît semblable à celle des serfs du moyen âge.

La thèse soutenue par E. E. Lipšitz quant à la période d'apparition des relations féodales dans la société byzantine n'est pas reçue par la majeure partie des chercheurs soviétiques pour qui le passage de l'esclavagisme au féodalisme s'est effectué, dans l'Empire byzantin, du VII<sup>e</sup> au IX<sup>e</sup> siècle. La question demeure donc pendante. Le colonat est apparu dans l'Empire romain d'Orient bien avant les IV<sup>e</sup> et V<sup>e</sup> siècles et il ne constitue pas l'un des traits essentiels de la société byzantine du temps.

L'auteur aborde ensuite *Le régime économique et social à Byzance au VIII<sup>e</sup> siècle et dans la première moitié du IX<sup>e</sup> siècle* (p. 18—131). Elle montre que la société byzantine a connu, à l'époque, des transformations ethniques dues à la pénétration des Arabes et surtout des Slaves sur le territoire de l'Empire. Elle met en lumière les informations des sources historiques au sujet de la pénétration des Slaves dans la Péninsule balkanique et en Asie mineure. Le principal effet social de la pénétration des Slaves dans l'Empire fut de renforcer les communautés villageoises. On y constate aussi des débuts de stratification sociale.

Tout en se maintenant encore à cette époque, les villes byzantines perdent de leur importance, phénomène lié à la féodalisation de la société. Il existe en même temps de nombreuses preuves de l'importance croissante des villages dans l'économie byzantine aux VIII<sup>e</sup> et IX<sup>e</sup> siècles. Le fait s'explique aussi par l'apport massif des Slaves dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage.

La structure de la société byzantine au VIII<sup>e</sup> siècle et au IX<sup>e</sup> siècle, ainsi que son organisation administrative, sont caractérisées, en essence, par la formation d'une nouvelle classe dominante et par l'extension de l'asservissement des paysans. L'auteur identifie dans les sources des formes de rente, certains éléments de hiérarchie et des mouvements sociaux propres au régime féodal. Elle utilise à cet effet les informations historiques demeurées inaperçues de ses devanciers.

Examinant ensuite *Les mouvements sociaux à Byzance au VIII<sup>e</sup> siècle et dans la première moitié du IX<sup>e</sup> siècle* (p. 132—228), Lipšitz éclaire le caractère social du mouvement des Pauliciens et montre qu'il fut dirigé contre les éléments abusifs et intolérants de la classe dominante et du clergé byzantin. Ce fut un puissant mouvement, surtout dans les régions où l'exploitation des classes s'était intensifiée. Cette recherche est remarquable pour ce qui concerne l'analyse de l'idéologie sur laquelle ce mouvement reposait.

Etudiant le mouvement iconoclaste, l'auteur en explique la durée et l'intensité par ses causes sociales. Elle examine les interprétations que l'historiographie bourgeoise en a proposées et mentionne les opinions susceptibles de servir à une interprétation scientifique des contradictions sociales qui sont à la base de l'iconoclasme. Il est regrettable que l'auteur n'ait point connu les recherches de Nicolas Iorga au sujet des causes du mouvement iconoclaste. L'historien roumain a critiqué les explications données auparavant aux origines de l'iconoclasme, parvenant de la sorte à des constatations qui anticipent sur certaines conclusions de la savante soviétique. Iorga a fait ressortir les rapports de l'iconoclasme avec le mouvement des Pauliciens, avec celui des monophysites et celui des monothélites d'Asie mineure ; il a relevé l'influence de l'islam sur les iconoclastes et il tenait pour une des causes du mouvement iconoclaste la réaction populaire contre la fiscalité byzantine, contre les moines.

qui appauvrissaient les masses et dont il fallait renverser l'hégémonie (*Les origines de l'iconoclasme*, dans les « Etudes byzantines », II, Bucarest, 1940, p. 224—225).

A propos du soulèvement de Thomas le Slave, des années 821—823, l'auteur mentionne en essence ses conclusions de 1940. Elle analyse la structure ethnique et sociale de la population de l'Empire byzantin au début du IX<sup>e</sup> siècle et montre que la révolte dirigée par Thomas reflète les contradictions sociales provoquées par l'extension de l'exploitation féodale, que le mouvement se déclencha en Asie mineure où vivaient de nombreuses communautés slaves et que dans cette guerre civile les révoltés luttèrent aussi contre l'exploitation de classe et le régime d'oppression de l'administration impériale.

Pour caractériser *La législation et le droit byzantin aux VIII<sup>e</sup> et IX<sup>e</sup> siècles* (p. 229—257), Lipšitz commence par analyser le contenu historico-juridique de la législation de l'empereur Justinien I<sup>er</sup> (527—565). Elle apprécie justement que les codes et œuvres juridiques des VIII<sup>e</sup> et IX<sup>e</sup> siècles sont fondés dans une large mesure sur les codifications de Justinien I<sup>er</sup>. En ce qui concerne l'utilisation du code Justinien par l'Etat byzantin aux VIII<sup>e</sup> et IX<sup>e</sup> siècles, les explications fournies par l'auteur sont sommaires. De la bibliographie qui s'y réfère manque l'important ouvrage de I. S. Pereterskij, *Le Digeste de Justinien*. Pereterskij a expliqué le fait de la durée du droit codifié par Justinien le Grand et montré pourquoi l'étude scientifique du droit féodal doit commencer par l'étude des codifications entreprises par cet empereur.

L'analyse du contenu de l'Eclogue des Isauriens de 726 permet à l'auteur de montrer que ce code reflète le caractère des relations sociales au début du VIII<sup>e</sup> siècle et l'adaptation du droit de Justinien I<sup>er</sup> aux nouvelles conditions sociales. Elle montre que certaines des dispositions de ce code ont été utilisées aussi au moyen âge par la société féodale de Russie et de Bulgarie. Nous ajouterons à cela que la dite Eclogue l'a été aussi dans les Pays roumains, où elle constitue l'une des sources byzantines du droit féodal roumain.

L'auteur se penche ensuite sur les informations des chroniques byzantines relatives à certains monuments juridiques peu connus des VIII<sup>e</sup> et IX<sup>e</sup> siècles. Il s'agit de quelques nouvelles impériales concernant les obligations fiscales de la population byzantine et quelques institutions familiales. En général, la législation byzantine au VIII<sup>e</sup> et au IX<sup>e</sup> siècles protège les intérêts des grands propriétaires de domaines fonciers et reflète la transformation du droit conformément aux nouvelles conditions sociales caractérisées par le développement des relations féodales et aussi par la longue durée de quelques traits propres au régime esclavagiste.

*La littérature, les sciences et l'enseignement au VIII<sup>e</sup> siècle et dans la première moitié du IX<sup>e</sup> siècle* (p. 258—366) permettent à l'auteur de mettre en lumière le caractère social des créations culturelles byzantines. On y trouvera du nouveau sur le polémiste Nicéphore de la fin du VIII<sup>e</sup> siècle, sur Jean le Grammairiën et Ignace le Diacre, qui ont laissé des écrits iconoclastes. On y trouvera également des informations nouvelles sur la poétesse Cassia, sur Léon le Mathématicien et sur l'Université de Constantinople au IX<sup>e</sup> siècle. On y relève la lutte que se livrent les conceptions matérialistes et idéalistes dans la pensée byzantine. On y fait voir l'influence arabe sur les sciences à Byzance. L'idéologie religieuse a continué à régner sur la société byzantine, mais l'influence des conceptions laïques et scientifiques s'est ressentie effectivement dans les mouvements sociaux de la période considérée.

Etudiant *L'art byzantin aux VII<sup>e</sup> et IX<sup>e</sup> siècles* (p. 367—420), l'auteur insiste sur le fait que les créations artistiques sont conditionnées par le social et elle montre que même les recherches du savant V. N. Lazarev ont, à les considérer sous cet angle, besoin d'une révision. Elle met en lumière les caractères de la peinture byzantine de l'époque iconoclaste. Elle relève l'utilisation des sujets profanes dans la peinture et la miniature. Elle examine les particularités de l'architecture et de l'art de la mosaïque. Enfin, elle étudie le développement du théâtre et de la musique qui, estime-t-elle, représentent « une véritable renaissance » (p. 420).

L'ouvrage renferme encore une ample bibliographie (p. 423—455) et s'achève avec un index des noms et un autre des matières (p. 456—481). Il représente un travail original appelé à promouvoir à bien de points de vue les recherches d'histoire de la société et de la civilisation byzantines aux VIII<sup>e</sup> et IX<sup>e</sup> siècles. Cette étude a un caractère critique et repose sur un examen rigoureux et direct des sources.

Gheorghe Cronț

DRAGOMIR, SILVIU, *Vlahii din nordul Peninsulei Balcanice în evul mediu* [Les Vlaques du nord de la Péninsule Balkanique au moyen âge]. Editions de l'Académie de la R.P.R., Bucarest, 1959, 277 pages + 2 cartes (Commission pour l'étude de la formation de la langue et du peuple roumain, II).

Traitant un sujet qui préoccupait depuis longtemps Silviu Dragomir<sup>1</sup>, l'ouvrage représente une tentative de présenter de façon critique, en un tout unitaire, le matériel le plus significatif touchant les Vlaques du nord de la Péninsule Balkanique, « descendants de l'ancienne population thraco-illyrienne et romanisés jusqu'au début du VII<sup>e</sup> siècle ». L'étude, qui va jusqu'au XVII<sup>e</sup> siècle, porte aussi bien sur les sources historiques que sur la toponymie et l'onomastique, ce qui la rend particulièrement utile tant à l'historien qu'au linguiste et permet en même temps de formuler, par analogie, d'importantes conclusions sur la formation de la langue et du peuple roumains.

Le premier chapitre est consacré aux *Vlaques de Bulgarie* (p. 11—15) plus nombreux — selon l'auteur — dans la région montagneuse des Balkans et dans le prolongement de leurs vallées, dans la vallée de la Maritza, à l'intérieur des Monts Rhodopes et, au XIV<sup>e</sup> siècle, sur le cours inférieur de la Strouma. Au sud, par contre, leur nombre est plus restreint, ce qui, selon l'auteur, s'expliquerait par le voisinage de la zone grecque.

Le chapitre suivant traite des *Vlaques de la Serbie médiévale* (p. 16—68), et porte sur les mentions tirées des documents serbes, sur l'étendue géographique, sur les localités situées entre Vidin et la Morava, sur celles du Monténégro, de l'Herzégovine et de la Bosnie, et enfin sur les éléments de la toponymie et de l'onomastique serbes. Puis viennent *Les Vlaques d'entre Vidin et la Morava*, que l'auteur nous présente comme une population nombreuse, bien que les mentions documentaires soient plus restreintes qu'en Serbie. *Les Vlaques du Monténégro et de l'Herzégovine* y sont établis depuis fort longtemps, fait qui ressort également de ce que les documents les présentent comme formant des tribus (*plemena*) et des phratries (*bratsvo*).

Bien entendu, il s'agit d'une forme d'organisation qui acquiert un caractère de plus en plus territorial, perdant du même coup son caractère gentilice. Leur existence peut s'expliquer comme étant due non pas à un simple emprunt d'institutions, mais bien comme étant une survivance de l'ancienne forme d'organisation, survivance correspondant au stade économique et social relativement peu développé dans lequel ces populations étaient demeurées, car l'empire esclavagiste romain, bien qu'il eût laissé des traces profondes dans le langage, n'avait pourtant pas réussi à supprimer complètement les survivances de la commune primitive.

<sup>1</sup> S. Dragomir, *Vlahii din Serbia în sec. X—XV* [Les Vlaques de Serbie du X<sup>e</sup> au XV<sup>e</sup> siècles], paru dans « Anuarul Institutului de istorie națională », Cluj, I<sup>ère</sup> année (1921—1922), p. 279—299; idem, *Originea coloniilor române din Istria* [L'origine des colonies roumaines d'Istrie], paru dans les « Analele Academiei Române », Mém. Section d'histoire, S. III tome II, 1924; idem, *Vlahii și Morlacii* [Les Vlaques et les Morlaques], Cluj, 1924, 135 pages; idem, *Über die Morlaken und ihren Ursprung*, paru dans le « Bulletin de la Section d'histoire de l'Académie Roumaine », tome X, 1924, p. 115—126.



Intéressantes, également, sont les références aux Kući et aux Popovci — habitants de Popovo Polje (en Herzégovine inférieure, de Hutovo, jusqu'à Poljica) — qui portent aussi le nom de Vlasī, et qui habitent une région nommée Vlaska.

En Bosnie, l'auteur décèle l'existence d'une couche plus ancienne de pasteurs vlaques venus avant la bataille de Kossovo Polje, les uns de l'Est, c'est-à-dire de la région de la Dvina inférieure, les autres de Starivlah en passant par Foca et Osat en direction de Strajevo, Vogosce et Visoko, jusqu'au nord de Trevnica, où leur présence est attestée par l'existence du toponyme Tasic Planina. Une couche plus récente est formée par les Kalemberci et les Drakulovići, qui, partis de Zeta, arrivèrent d'abord en Herzégovine, puis, de là, en Bosnie.

Les *Vlaques de Croatie* sont cités la première fois dans des documents en 1322, à propos des luttes qu'ils livrèrent au ban Mladen Subić, de Bribir. Dans une série d'actes ultérieurs des familles Nelipići et Frankopane, il est constamment parlé des Vlaques et des Morlaques. Particulièrement précieux est un privilège du ban Hanz Frankopane, où il est fait mention des lois des Vlaques de Croatie, «lois honnêtes, bonnes et justes».

Plus loin, l'auteur nous présente les *Vlaques royaux*, c'est-à-dire ceux qui appartenaient au royaume de Croatie et étaient soumis à une série d'obligations militaires. Les *Vlaques de Lika*, ancien comté situé aux abords de la rivière du même nom, avaient leurs propres knèzes, voïvodes et hérauts et, de plus, leurs localités (*opscine*) étaient, paraît-il, groupées dans une organisation semblable à celle des Vlaques de Cetinie. Les *Morlaques de Dalmatie* cités dans quelques documents dès le XIV<sup>e</sup> siècle, loin d'être uniquement des pasteurs, s'occupaient également d'agriculture, témoin, entre autres, un document datant de 1465 et qui atteste que, sur les terres de la ville de Šibenico, on trouvait également des «Morlaques ou paysans» (*Mortaci seu rustici*). Les *Vlaques de Voglie* sont cités dans les documents du XV<sup>e</sup> siècle comme étant sous la domination de la puissante famille des Frankopanes. Ceci dit, l'auteur nous expose le processus de pénétration des Vlaques en Istrie et la chronologie des mentions de localités vlaques, d'après Attellio Tamaro. De plus, il analyse les mentions concernant les «cici», et les «uscoci». Selon lui, la dispersion et la slavisation des Vlaques de Croatie serait due aux attaques dévastatrices des armées féodales turques.

Le chapitre intitulé *La vie et les formes d'organisation des Vlaques* (p. 110—138) comprend une analyse détaillée des conditions de vie économiques et sociales de la population respective. L'auteur, partant de diverses sources, établit que leur occupation de prédilection était l'élevage, fait qui n'exclut pas l'existence de localités stables ni celle de la pratique, parallèle et constante, de l'agriculture. Une étude plus [détaillée des formes de propriété nous eût aidés à mieux comprendre le stade de développement social de ces populations<sup>2</sup>.

Analysant le mot «cătun» (hameau) — terme emprunté à la vie militaire — l'auteur fait remarquer que sa diffusion «est exclusivement liée aux migrations pastorales respectives» (p. 113). En ce qui concerne l'étendue de sa diffusion, cette aire «comprend le territoire de la Serbie ancienne (avec, au nord, une ligne de démarcation qui va jusqu'à la Morava occidentale), puis la partie nord-est du Monténégro, l'Herzégovine, le littoral de la Dalmatie, la région de Cetinie et de Velebet» (p. 114). Délimitation particulièrement intéressante, car elle permettra à l'auteur de délimiter également l'aire de diffusion de la population vlaque.

En ce qui concerne *Le caractère ethnique des Vlaques* (p. 139—160), l'auteur est d'avis que nous nous trouvons devant des «restes de Thraco-illyriens romanisés de la moitié [nord de

<sup>2</sup> Par exemple, l'auteur aurait pu montrer que seule la terre entourant la maison se trouvait généralement sous le régime de la propriété privée, alors que les pâturages demeuraient sous celui de la propriété commune, fait constaté jusque fort tard à Kući, Vasojevici, Drobujaci, et chez les populations albanaises de Klimenti, Hotti et Grudi (voir I. Cvijić, *La Péninsule Balkanique*, Paris 1918. p. 175).

la Péninsule Balkanique » (p. 139). Ce disant, l'auteur supprime toute confusion entre les éléments qui servirent de base à la formation de la langue et du peuple roumains, et ceux qui entrèrent dans la composition des peuples et des langues balkaniques, lesquels ont eux aussi un substrat ancien sur lequel l'influence romane se fit sentir, et par-dessus lesquels se superposèrent des populations slaves dont le mélange a donné naissance aux peuples modernes<sup>3</sup>.

Quant au terme de « vlaque », l'auteur explique qu'il était employé par les Slaves pour désigner toute la population romane qu'ils avaient trouvée là à leur arrivée.

En ce qui concerne le mot « morlaque », il reconstitue l'étymologie suivante : « Maurovlahos > Maurovláco > Morovlaco > Morlaco ». L'auteur explique ensuite avec force détails comment le mot « vlaque », au cours du moyen âge, prit différentes significations et fut tour à tour synonyme de « pasteur », d'« habitant du littoral », de « réfugié qui a fui devant les Turcs » (*profugii Valachy vel Rasciani*), de « paysan » (*abitanti della campagna*), de « citoyen dalmate d'origine romane », de « chrétien », de « serbe orthodoxe », etc., perdant ainsi de plus en plus sa signification ethnique.

Le fait présente une grande importance pour l'étude de la population respective : son ignorance a conduit de nombreux chercheurs à des conclusions erronées touchant le nombre et la répartition de cette population.

Quant à *La langue des Vlaques*, l'auteur la reconstitue à l'aide de l'onomastique et de la toponymie. Du matériel qu'il nous présente, il ressort, qu'il s'agit non pas de dialectes de la langue roumaine, mais bien d'idiomes romans qui étaient encore fort proches de la langue primitive commune parlée du IV<sup>e</sup> au XI<sup>e</sup> siècles, ce qui d'ailleurs concorde pleinement avec les conditions sociales et économiques dans lesquelles la population s'est développée, et qui, dans des conditions favorables, eussent pu se transformer en langues proprement dites<sup>4</sup>.

L'opinion selon laquelle les Vlaques auraient, au moyen âge, parlé deux langues — la slave dans la vie publique et une langue romane dans la vie privée —, est repoussée par l'auteur pour la raison que le bilinguisme mène à la disparition de la langue originelle au bout de quelques générations ; or, les Vlaques se sont maintenus pendant tout un millénaire, ce qui prouve que la langue slave ne pénétra que fort tard dans leur vie familiale.

Partant de diverses caractéristiques de l'idiome parlé par les Vlaques, l'auteur établit que ceux-ci n'étaient pas des Aroumains venus du Pinde. Qu'ils n'étaient pas des Aroumains, est également prouvé par le fait qu'une bonne partie des Vlaques connaissaient le rotacisme et qu'en Istrie leurs descendants le pratiquent encore aujourd'hui. L'aire initiale du rotacisme est, selon l'auteur, constituée par le territoire compris entre la Morava et la Drina, au sud, depuis les Monts Rudnik jusqu'à Kosovo Poljc, et à l'est, [depuis Starivlah jusqu'aux Monts Šar ; c'est là que, selon lui, nous devons « chercher la patrie d'origine des Istroroumains, qui sont rotacisants, ainsi que celle des Vlaques de Croatie et de la Veglia, ceux-ci s'étant mis en branle aux XI<sup>e</sup> et XII<sup>e</sup> siècles » (p. 158).

La conclusion qui découle de la comparaison entre la diffusion du mot « cătun » et le phénomène du rotacisme est des plus intéressantes : « Quoi qu'il en soit, l'aire du rotacisme coïncide avec celle de la diffusion du mot « cătun », ce qui nous autorise à diviser le terri-

<sup>3</sup> Gh. V. Georgiev, *Тракийският език* [La langue thrace], Sofia, 1957, p. 3. Voir aussi V. Carici, *Serbia*, chez Delatimoc, *Romnii din Serbia. Studiu etnic și statistic* [Les Roumains du Serbie. Etude ethnique et statistique], dans *Romnii din Timoc* [Les Roumains du Timoc], Bucarest, 1943, p. 118 et suiv. ; Stoian Romanski, *Romnii dintre Timoc și Morava* [Les Roumains d'entre le Timoc et la Morava], *op. cit.*, p. 233 et suiv.

<sup>4</sup> Voir à ce sujet les discussions entamées dans les revues « *Limba română* » et « *Studii și cercetări lingvistice* », entre 1956 et 1959.

toire habité au moyen âge par les Vlaques balkaniques en deux zones bien distinctes. La première et la plus ancienne est celle qui s'étend à l'ouest de la Grande Morava, au sud, depuis les Monts Rudnik jusqu'à Vranje, à l'ouest jusqu'au Drin et sur tout son parcours. La seconde comprend le territoire de contact avec les Dacoromains, au sud du Danube, du Timoc jusqu'à la Morava, et, vers l'est, de Niš jusqu'au-delà des Monts Balkans. C'est dans ces deux zones, étroitement liées entre elles, qu'il faut situer la patrie d'origine des deux dialectes balkaniques : l'istroroumain et le méglénoroumain » (p. 158—159).

L'ouvrage se termine sur des *Considérations historiques* (p. 161—180) touchant l'ancienneté des localités vlaques, la direction des migrations et les rapports entre les dialectes. Essayant de délimiter la zone où la population vlaque s'est formée, l'auteur est d'avis que la latinité de la Mésie inférieure avait cessé d'exister dans la seconde moitié du moyen âge, et que les deux Dacies du sud du Danube ne conservaient plus que quelques vestiges de leur ancienne latinité. Le nord de la Mésie supérieure, étroite bande de terre qui s'étend de Margum (Morava) jusqu'à Sirmium, à peu de distance du Danube, fut également perdu. Par contre, au sud, cette province devait abriter pendant près de mille ans les descendants des autochtones romanisés. De même, en Dardanie, la latinité semble s'être maintenue sans grandes pertes, alors qu'en Prévalitaine elle ne se maintint probablement qu'en partie. Les vestiges dont on constate l'existence au-delà de l'ancienne frontière de la latinité — dans les Rhodopes, dans la vallée de la Maritza et sur le bord de la mer Noire, y compris ceux des environs de Sofia — sont des contaminations ultérieures dues principalement au mode de vie des pasteurs vlaques, mais aussi à la pénétration slave et bulgare. Tel est aussi le cas des Vlaques et des Morlaques de Dalmatie, de Bosnie et de Croatie.

L'auteur repousse la thèse de G. Weygand selon laquelle le berceau de la population vlaque serait constitué par le triangle Prizren — Niš — Sofia. « Weygand n'admet qu'une faible partie du territoire occupé par les Vlaques balkaniques, néglige tout l'espace qui s'étend du Niš au Danube, restreint l'étendue des régions de Starivlah, de Durmitor et de Visitor, et enfin attribue (dans son *Ethnographie von Makedonien*) une densité inexistente à l'élément vlaque de la Bulgarie occidentale sur un territoire qui n'appartient pas à la zone roumanisée, mais à la zone grecque » (p. 172).

L'ancienneté de la symbiose vlaque-albanaise est prouvée par la pénétration du mot «cătun» dans la langue albanaise et par l'évolution des phratries vlaques à la tribu, fait qui s'explique quand on sait que les Vlaques représentent les ultimes vestiges de la population romanisée des anciennes provinces de Dardanie et de Prévalitaine. L'auteur aboutit à la conclusion que la région comprise entre Scutari et Raguse n'est pas un centre d'irradiation des Vlaques, mais bien le point extrême de la route parcourue par leur migration pastorale <sup>5</sup>.

Quant au contact entre les Vlaques et les Aroumains, il dut avoir lieu en Macédoine, peut-être même en Albanie. L'auteur partage l'opinion de T. Capidan sur les superpositions de populations, mais en y apportant un correctif, à savoir qu'en réalité ce ne sont pas les Vlaques, mais bien les Aroumains qui arrivèrent plus tard, vers le XIV<sup>e</sup> siècle.

<sup>5</sup> Bien entendu, en ce qui concerne les ressemblances, il faut également tenir compte de l'existence d'un fonds commun et du fait qu'il a existé une langue, aujourd'hui disparue, dont la forme actuelle est, du moins en partie, représentée par l'albanais contemporain, et qui a laissé des traces dans le vocabulaire de la population romanisée du nord de la Péninsule Balkanique (A. Rosetti, *Istoria limbii romine* (Histoire de la langue roumaine), tome II, II<sup>e</sup> édition, Bucarest, 1943, p. 130. Voir également A. Sérébrennikov : *О взаимодействии языков*, dans « Вопросы языков », 1955, n<sup>o</sup> 1, 7—25 ; ou encore Niels Åge Nielsen, *La théorie des substrats et la linguistique structurale*, dans « Acta linguistica », VII, 1952, fascicule 1—2, p. 1—27.

Exposant les rapports existant entre les Vlaques balkaniques et les Dacoroumains, l'auteur souligne à plusieurs reprises la ressemblance existant entre les deux idiomes, fait qui prouve non seulement l'existence d'un fonds et d'un développement communs, mais aussi celle d'un contact prolongé. Un déplacement massif de population après le X<sup>e</sup> siècle vers le nord du Danube lui paraît impossible. « Au contraire, tout plaide en faveur d'un mouvement parti de la région du Danube en direction du sud, et de la Morava en direction de l'ouest, plus précisément dans la période même de la pénétration des Slaves dans la Péninsule Balkanique, mais aussi aux siècles suivants, par vagues successives. Si une migration vers les régions du nord du Danube s'était produite, elle n'aurait pu avoir lieu qu'avant le X<sup>e</sup> siècle, pendant la période obscure de notre histoire. Au XI<sup>e</sup> siècle, on constate le caractère diffus des Vlaques « de toute la Bulgarie » ce qui prouve implicitement qu'il était impossible que la population dacoroumaine irradiât vers le nord » (p. 178—179).

A l'appui de l'affirmation selon laquelle il s'agirait d'éléments épars d'une masse romane commune qui se sont développés par des voies différentes, l'auteur apporte quelques exemples sur l'organisation sociale — « jude » et « judecie », « impôt sur les moutons » (*quinquagesima ovium*), « refrains de Noël » (*ler*) — que l'on peut expliquer comme étant une « réminiscence de l'organisation archaïque ». Dans d'autres cas, la ressemblance est purement formelle : la « loi valaque » (*jus valachicum*) de Serbie comprend un registre des obligations féodales, alors qu'au nord du Danube elle « constitue une norme juridique valable pour les rapports internes des communautés roumaines et par conséquent constitue le vestige d'un antique droit consuetudinaire » ; le « kneaz », chez les Vlaques balkaniques, est le chef du « cătun » ou de la tribu territoriale ; en Valachie, il est membre d'une classe sociale formée de paysans libres ; en Transylvanie, les « knezi » remplissent la fonction de représentants des féodaux et ne se confondent pas avec les « juges » ou maires de villages.

Enfin, une annexe nous offre une bibliographie détaillée, un index de noms et de lieux, et deux cartes indiquant les localités habitées par les Vlaques balkaniques ainsi que la direction de leur migration.

*Liviu P. Marcu*

MACÛREK, JOSEF, *Valaši v západních Karpatech v 15.—18. století* [Les Valaques des Carpates occidentales aux XV<sup>e</sup>—XVIII<sup>e</sup> siècles], Krajské nakladatelství v Ostravě. Slezský ústav ČSAV v Opavě, vol. 32, 1959, p. 527 + 15 reproductions.

Le titre du présent ouvrage ne reflète qu'un aspect de l'ensemble de problèmes qui concernent la colonisation des Valaques dans les contrées montagneuses des Carpates orientales et occidentales. L'historiographie bourgeoise — tchèque, slovaque, hongroise, polonaise, ukrainienne, roumaine et allemande — a surtout mis l'accent, parfois en insistant, d'autres fois seulement en passant, sur l'origine ethnique de ces colons arrivés jusqu'aux zones carpatiques de la Moravie orientale. Malheureusement, dans la mesure où la sphère des recherches s'est étendue, on a émis de nombreuses hypothèses et affirmations, parfois inconciliables, sur ce problème compliqué. Depuis Miklosić et jusqu'à ce jour, c'est-à-dire pendant quatre-vingts ans, l'histoire des Valaques de Moravie a été surtout examinée sous l'aspect des rapports linguistiques, en laissant de côté les conditions sociales et économiques qui présidèrent, dans le temps et dans l'espace, au processus de ces colonisations.

A ce sujet, le professeur MacÛrek a énoncé dans l'*Introduction* de son ouvrage (p. 5—25) une série de problèmes, les uns partiels, d'autres d'ordre général, découlant d'une part de l'insuffisance des recherches faites jusqu'à ce jour, et, d'autre part, de l'application des prin-

cipes marxistes à l'interprétation de ce phénomène social et économique. Par exemple, on dispose actuellement d'un trop petit nombre de données sur la colonisation de la Moravie, du Teschen méridional et des territoires du nord-est de la Slovaquie. On ne sait pas exactement si les Valaques avancèrent vers le nord de leur propre initiative, ou s'ils y furent poussés par es propriétaires des domaines féodaux, et cela dans le but d'exploiter autant que possible les terrains montagneux qui ne rentaient pas.

On ignore l'importance économique de ces colons dans le système des différents domaines féodaux, dans le cadre des tendances économiques et des relations de production. On ignore totalement quelle était la nature des relations sociales et économiques qui prédominaient dans les communautés de colons valaques. Quelles étaient leurs obligations pécuniaires et en nature dans le système des relations féodales ? Comment évoluèrent leur liberté et leurs rapports de dépendance envers leurs maîtres et l'Etat ? De même, on n'a pu encore élucider les relations entre les colons et la population autochtone, ni leur attitude à l'égard de cette dernière. Quelle était la situation sociale et juridique des colons, et surtout celle de leurs chefs ?

En dépit de toutes les recherches entreprises jusqu'à présent, on ne connaît pas suffisamment la situation du droit et des institutions en vigueur dans le système de vie pastorale des Valaques. Dans quelle mesure l'élément valaque pénétra-t-il, aux XVI<sup>e</sup> et XVII<sup>e</sup> siècles, dans les villes, quelle fut sa contribution au mouvement des haïdouks, forme active de la lutte de classe ? Enfin, le problème de la colonisation dans la zone des Carpates occidentales n'a pas encore reçu de solution définitive et demeure l'une des préoccupations de l'historiographie moderne (p. 10—11).

Nous avons seulement rappelé quelques-uns des nombreux aspects et problèmes étroitement liés à l'ensemble du processus de colonisation. Leur examen, selon le professeur Macùrek, devrait être repris dès le début, car nous nous trouvons devant un phénomène historique qui a de profondes implications dans la structure sociale et économique de l'Europe centrale, devant une puissante vague de colonisation, également facilitée, en partie, par la richesse des forêts des versants des Carpates occidentales, — forêts fort peu exploitées jusqu'à la fin du XVII<sup>e</sup> siècle.

Ce phénomène social et économique a donné naissance à un paysage ethnographique tout à fait spécifique sur une zone assez étendue, qui comprend la Moravie orientale, le sud du Teschen, le nord-ouest de la Slovaquie et le sud-ouest de la Pologne. Cette zone constitue une forme originale d'économie extensive, qui a permis d'acquérir, sans grands investissements un grand nombre de terrains improductifs, créant ainsi une nouvelle source de revenus. Le processus de la colonisation valaque nous apparaît ainsi comme un facteur important, aussi bien en ce qui concerne les « relations inter slaves », qu'en ce qui concerne les relations « slavo-roumaines », dont la connaissance nous aidera à comprendre aussi bien l'évolution des phénomènes économiques en Europe Centrale aux XVI<sup>e</sup>, XVII<sup>e</sup> et XVIII<sup>e</sup> siècles, que le caractère des luttes antiféodales de la dernière période de la féodalité (p. 12).

Partant de ces prémisses, l'auteur se propose de nous présenter « une synthèse de la colonisation valaque dans les Carpates occidentales, le sud-ouest de la Pologne (Živečka), le nord-ouest de la Slovaquie et l'est de la Moravie — en remontant aux mentions les plus anciennes, c'est-à-dire à celles qui vont de la seconde moitié du XV<sup>e</sup> siècle jusqu'au début du XVIII<sup>e</sup> » (p. 12). Dans ce but, l'auteur divise son ouvrage en quatre grands chapitres, étudiant dans l'ordre chronologique les phases de cette colonisation.

Le premier chapitre traite des *Prémisses de la première phase de la colonisation valaque dans les Carpates occidentales et des plus anciennes attestations concernant les Valaques (seconde moitié du XV<sup>e</sup> siècle et première moitié du XVI<sup>e</sup>)* — (p. 26—66). Examinant de nombreuses pièces d'archives, tout à fait nouvelles et recourant à la méthode comparative dans l'analyse

des phénomènes sociaux, le professeur Macúrek reprend le problème de l'origine et de l'évolution de la colonisation des Valaques dans les Carpates occidentales. L'auteur affirme, à juste titre, que l'on ne saurait comprendre l'évolution de leur colonisation en Moravie et dans le Teschen qu'à condition d'étudier en même temps les phénomènes du même genre constatés dans le nord de la Slovaquie et le sud-ouest de la Pologne. A ce propos, l'auteur traite également de quelques problèmes pour la plupart d'ordre économique, telles l'évolution de l'économie rurale dans les Carpates occidentales à la fin du XVI<sup>e</sup> siècle et dans la première moitié du siècle suivant, l'évolution de la grande propriété foncière, les luttes entre les différents domaines féodaux, la tendance de la population autochtone à remonter aussi loin que possible les vallées des montagnes, etc., toutes questions étroitement reliées à la compréhension de ce phénomène historique.

Mais le professeur Macúrek apporte des points de vue nouveaux par rapport aux recherches antérieures. A la différence de certaines conclusions de l'ancienne historiographie — qui soutenait que, du moins en ce qui concerne la Moravie orientale, il ne saurait être question d'un commencement de colonisation valaque avant la fin du XVI<sup>e</sup> siècle — l'auteur affirme que, dans les Carpates occidentales et en Moravie orientale, l'action de colonisation peut être considérée comme datant des dernières décennies du XV<sup>e</sup> siècle et du début du siècle suivant. L'action de colonisation coïncida donc avec le processus du passage, à l'intérieur des grands domaines féodaux, au travail en régie.

De même, certains chercheurs ont affirmé qu'il existait déjà des Valaques en Slovaquie septentrionale au XIV<sup>e</sup> siècle, mais le professeur Macúrek souligne que les premières sources qui attestent la présence des Valaques dans ces régions datent à peine de la seconde moitié du XV<sup>e</sup> siècle. Et il ne s'agit pas là de cas isolés. Quant à la colonisation de la Slovaquie occidentale — dans sa phase la plus avancée — on peut la situer d'une manière certaine aux XVI<sup>e</sup> et XVII<sup>e</sup> siècles. Seule la Slovaquie orientale connut une colonisation valaque dès le XIV<sup>e</sup> siècle. Ces constatations nous permettent de conclure que la migration des Valaques dans ces territoires eut lieu par étapes et dans des proportions inégales.

Le déplacement de cette population depuis les Carpates centrales jusque vers l'ouest de la Slovaquie, le sud du Teschen et la Moravie orientale serait dû à des causes dont l'ancienne historiographie a donné diverses explications : plusieurs historiens ont tenté de le mettre au compte de certains phénomènes métanastatiques, tandis que d'autres étaient d'avis que les féodaux des Carpates se sont servis des Valaques pour exploiter les terres dépourvues de rentabilité.

Pour sa part, le professeur Macúrek affirme que, en réalité, les causes sont multiples. Tout d'abord, il est certain que la migration des colons vers l'ouest est liée à l'accroissement de la population et au caractère particulier de l'économiste valaque. A cela s'ajoute la recherche continue de pâturages et le développement des nouveaux moyens de production. De plus, il est certain que leur avance vers l'ouest fut également influencée dans une large mesure par les relations politiques et militaires de l'époque, par le fardeau des obligations économiques, ainsi que par les difficultés auxquelles les Valaques se heurtaient dans la recherche de pâturages en Slovaquie centrale et orientale.

Toutefois, leur présence dans les Carpates occidentales n'est attestée, jusqu'au milieu du XVI<sup>e</sup> siècle, que par un très petit nombre de sources. Les informations sont fragmentaires et apparaissent chaque fois à l'occasion des conflits survenus entre les propriétaires des domaines féodaux ou lors de l'enregistrement des dîmes. Dans ces régions, le gros de la colonisation eut lieu à peine dans la seconde moitié du XVI<sup>e</sup> siècle. Elle s'est produite par étapes et les établissements des colons ne furent nulle part compacts, surtout jusqu'au milieu du XVI<sup>e</sup> siècle, mais formaient de petits flocs.

En ce qui concerne le caractère ethnique de cette population des Carpates occidentales, l'auteur nous avertit qu'il ne faut pas identifier la notion de *valaque* à celle de *pasteur*. Cette dernière dénomination se rencontre souvent dans les sources des XV<sup>e</sup> et XVI<sup>e</sup> siècles à côté du terme *valaque*. Mais pour la population autochtone, le terme de *valaque* signifiait quelque chose de nouveau, une population nouvelle, qui se livrait à l'élevage dans les régions montagneuses et tirait les produits du lait selon des procédés valaques (p. 58).

Le II<sup>e</sup> chapitre est intitulé : *Les tendances sociales et économiques dans les Carpates occidentales pendant la seconde moitié du XVI<sup>e</sup> siècle et au début du XVII<sup>e</sup> et l'extension de la colonisation valaque* (p. 67—126). De la multitude des problèmes qui font l'objet de ce chapitre, nous ne choisirons que quelques-uns qui, d'une manière ou d'une autre, continuent l'exposé ou complètent, du point de vue historique, le déroulement de la colonisation. Dans les conditions créées par de sensibles transformations d'ordre économique, à une époque où les domaines féodaux prennent de l'extension, la colonisation valaque des Carpates occidentales dans la seconde moitié du XVI<sup>e</sup> siècle apparaît renforcée par une nouvelle vague de population valaque venue de l'Est. Celle-ci fait la liaison avec les éléments avancés de la colonisation qui défrichaient alors les forêts. Le professeur Macúrek repousse l'opinion de l'historiographie ancienne, selon laquelle nous serions en présence d'un prolongement ou d'un résultat de la colonisation valaque. Entre ces deux séries de colons une fusion finit par se produire, sans que l'une soit le résultat de l'autre.

Partant de documents, par exemple de celui qui parle du « drap valaque », de 1560, ou de celui qui concerne le bétail des valaques du domaine de Hukvaldy, l'auteur établit avec approximation que, aussi bien dans le Teschen méridional qu'en Moravie orientale, les éléments les plus nombreux de la colonisation valaque se fixèrent dans ces contrées pendant la seconde moitié du XVI<sup>e</sup> siècle. D'autres renseignements concernant en général les obligations pécuniaires et le « bétail » des Valaques des Carpates occidentales, les attestent également au début du XVII<sup>e</sup> siècle. Mais pour connaître l'évolution, le caractère, l'importance et les résultats de la colonisation valaque dans les Carpates occidentales, l'auteur estime nécessaire de répondre d'abord à quelques questions touchant la situation de ces colons dans la seconde moitié du XVI<sup>e</sup> siècle. C'est ainsi qu'il se demande où les Valaques firent leur apparition pour la première fois ? Quel était le sens de la notion de Valaque ? Quelle était leur principale occupation et quelle était leur importance économique ? Que peut-on dire au sujet de ce que l'on appelle le droit valaque ? etc. (p. 94—95).

Chacun de ces problèmes exige une réponse, mais celle-ci n'est guère facile à donner. Par exemple, on ne peut pas dire exactement combien de Valaques vivaient dans les Carpates occidentales avant la guerre de Trente Ans. Nos renseignements sont incomplets et imprécis, et cela d'autant plus que les « *urbaria* » n'ont enregistré que la population sédentaire. A ce sujet, un acte datant de 1580 atteste l'existence de 30 familles valaques dans les villages situés sur le domaine de Frýdek — soit le onzième de la population locale. Quelques « *urbaria* », dressés entre 1600 et 1619, mentionnent également des établissements de Valaques sur divers domaines dans les Carpates occidentales, mais la pauvreté des sources ne nous permet pas de tirer des conclusions au sujet des établissements situés sur des espaces plus étendus.

Quant à l'appartenance ethnique de ces colons de la seconde moitié du XVI<sup>e</sup> siècle et du début du siècle suivant, elle se reflète dans les sources contemporaines dans une mesure qui autorise l'auteur à admettre que, pour la population locale, les Valaques constituaient un élément totalement étranger. Un renseignement datant de 1570 nous informe que dans les régions montagneuses — depuis Mukačevo jusqu'à Trenčín et surtout, le long de la frontière polonaise, — des milliers de Valaques venus d'Ukraine et de Moldavie s'étaient établis bien des années auparavant. Les Valaques de la région d'Orava sont nommés dans un acte datant

de 1576 « Rutheni seu Valachi », « Valachi et Rutheni ». L'important est que les actes de cette époque différencient nettement la population locale des étrangers des contrées d'où venaient les Valaques.

Plus loin, l'auteur traite du nombre de têtes de bétail (moutons et chèvres) possédées par les Valaques et met l'accent sur les dîmes imposées à cette population. Un élément très important est l'existence de l'institution du voïvodat, en tant qu'organisation propre à ces colons. L'existence de cette institution est attestée sur les deux versants des Carpates aux XVI<sup>e</sup> et XVII<sup>e</sup> siècles, et cela sur un espace très étendu. A partir du milieu du XVI<sup>e</sup> siècle et jusqu'à l'époque de la guerre de Trente Ans, les documents nous donnent des indications sommaires, mais sûres, sur quelques-unes des attributions des voïvodes. Ceux-ci vivaient loin des domaines des féodaux, dans les régions montagneuses, au milieu des colons. Il est très probable que le voïvode était élu par la communauté et avait pour mission d'assurer la liaison entre les colons et les propriétaires des montagnes ou des pâturages. Au voïvode incombaît la tâche d'encaisser les dîmes en argent ou en nature, afin de les remettre aux ayants droit, et de défendre les intérêts des Valaques. Il avait aussi un pouvoir juridictionnel sur ses hommes, dans le cadre de ce que l'on appelait le « tribunal valaque », dont l'existence fut longtemps mise en doute. Une organisation de ce genre a pourtant existé et se composait de neuf membres élus par la communauté du village.

Le III<sup>e</sup> chapitre est intitulé : *La guerre de Trente Ans et la situation des colons valaques dans les Carpates occidentales (1620—1648)*. Avant de passer à l'examen des problèmes reliés au phénomène de la colonisation valaque pendant la période de la guerre de Trente Ans, l'auteur analyse la situation économique et sociale des territoires de la région des Carpates occidentales. De vastes domaines s'y forment et la corvée se transforme en impôt. En même temps, l'exploitation féodale va croissant.

Etudiant la présence des établissements valaques dans la première moitié du XVIII<sup>e</sup> siècle, le professeur Macûrek constate que, en ce qui concerne certaines régions, nous disposons d'une foule de renseignements sur ce sujet. Pour d'autres, par exemple le nord-ouest de la Slovaquie, les informations sont moins nombreuses que celles concernant la période d'avant la guerre de Trente Ans. L'événement le plus important dans la vie de ces colons fut certainement leur participation aux révoltes de l'époque ou, plus précisément, à celles des années 1620—1648. En effet, de nombreux colons prirent part aux soulèvements contre les Habsbourg qui commencèrent en Moravie orientale en janvier 1621. A cette occasion, les Valaques eurent le courage d'attaquer plusieurs garnisons impériales cantonnées dans l'est de la Moravie. Après quoi, les mouvements reprirent à de longs intervalles, pour culminer avec la révolte des années 1642—1644.

Certains historiens ont voulu voir un rapport entre ce mouvement social et l'entrée des troupes suédoises en Moravie, mais le professeur Macûrek prouve qu'il s'agit en réalité de troubles populaires qui avaient des racines beaucoup plus profondes. Passant à l'analyse des documents qui concernent ces événements sociaux, l'auteur conclut que, à ce sujet, il existe une étroite collaboration entre les Valaques de la Moravie orientale et ceux du nord-est de la Slovaquie. Tous luttèrent aussi bien contre les Habsbourg que contre le régime social et économique. L'auteur estime que cette collaboration antiféodale constitue un chapitre encore trop peu connu de l'histoire des relations moravo-slovaques.

En ce qui concerne les témoignages documentaires relatifs à la présence des Valaques dans le second quart du XVII<sup>e</sup> siècle, ils sont beaucoup plus nombreux que ceux qu'a connus l'ancienne historiographie. A ce sujet, l'auteur étudie la fluctuation des groupes de Valaques dans les différentes régions des Carpates occidentales. Son exposé est accompagné d'une



documentation onomastique et toponomastique des territoires respectifs. Cependant, le nombre des Valaques existant pendant cette période ne peut être déterminé avec précision du fait que de nombreux « *urbaria* » n'indiquent pas la population sédentaire et encore moins ceux qui se déplaçaient constamment. Cependant, l'auteur tente de se documenter à l'aide d'informations indirectes : références aux participants à la rébellion, punitions infligées aux rebelles, recrutement des Valaques dans l'armée impériale, dîmes assignées aux colons, etc. Dans le second quart du XVII<sup>e</sup> siècle, on ne comptait, en Moravie orientale et dans le Teschen, qu'environ quelques centaines de familles valaques. La situation était à peu près la même en Slovaquie de nord-ouest.

L'auteur nous fournit également des données toutes nouvelles sur la stratification sociale des Valaques pendant cette époque. Une différenciation sociale avait d'ailleurs déjà commencé à se manifester auparavant au sein de la population valaque. Vers le milieu du XVII<sup>e</sup> siècle, une couche sociale supérieure, formée de voïvodes, d'hommes libres et de gens aisés avait pris naissance. En outre, il y avait des « *coloni* », des « *inquilini* » et des « *sub-inquilini* » (p. 207).

Passant au IV<sup>e</sup> chapitre, l'auteur présente *L'évolution sociale et économique après la guerre de Trente Ans (jusqu'au commencement du XVIII<sup>e</sup> siècle) et la phase contemporaine de la colonisation valaque* (p. 216—325). Tout d'abord, le professeur Macurek analyse la situation désastreuse créée par la guerre de Trente Ans dans la zone géographique respective. Nous sommes arrivés à la période de la formation des latifundia. Les obligations féodales augmentent et la corvée continue d'exister à côté de la rente en argent. L'exploitation s'intensifie et les serfs des domaines féodaux s'enfuient dans les montagnes dans l'espoir de s'y tailler un lopin de terre. Cette forme active de la lutte des classes suscite de grands troubles aussi bien à l'intérieur des domaines féodaux que dans la masse des colons. En d'autres termes, après la guerre de Trente Ans, on constate, dans ces contrées, une ruée des serfs vers les montagnes.

A la lumière de ces nouveaux éléments, l'auteur étudie l'existence des colons dans les Carpates occidentales au cours de la seconde moitié du XVII<sup>e</sup> siècle et au début du XVIII<sup>e</sup>. De nouvelles vagues de colonisation, généralement composées d'autochtones, se produisent. Ceux-ci, de pair avec les Valaques, prennent à bail, à des conditions très variées, les terres arables provenant des défrichements. Tout cela aboutit finalement à un système de location héréditaire, semblable à l'emphytéose.

Sur ces territoires, la colonisation est également renforcée par une population flottante qui, pour des raisons économiques et sociales, se déplace d'un endroit à l'autre. Etudiant ensuite les informations existant sur les Valaques de cette époque, l'auteur nous montre que, dans certaines régions de la Slovaquie, la colonisation valaque était en baisse. Par contre, dans le Teschen et en Moravie, elle était en plein essor.

Plus loin, il analyse de rechef les phases de la colonisation, à partir des éléments onomastiques, géographiques et techniques. Bien que les Valaques aient été, en beaucoup d'endroits, assimilés par la population locale, ils conservent pourtant leurs caractères propres jusqu'au début du XVIII<sup>e</sup> siècle, grâce au fait qu'ils bénéficient d'une administration autonome et conservent leurs droits et leurs organisations. Toutefois, dans la région de Teschen, qui forme pour une bonne part l'objet de ce chapitre, l'institution du « *voïvodat* » subit de grandes transformations au cours de la seconde moitié du XVII<sup>e</sup> siècle. Par exemple, le voïvode n'est plus élu par la communauté du village, mais nommé par les autorités féodales pour les représenter dans toutes questions intéressant les Valaques. Les documents à ce sujet sont très explicites. Cependant, certes, les colons proposaient parfois, dans leurs « *réunions* », un candidat, mais les féodaux n'étaient pas obligés de l'accepter (p. 296 sq.).

Enfin, à la fin du même chapitre, l'auteur traite des différentes formes de la lutte des classes dans les Carpates occidentales, lutte à laquelle participèrent aussi les Valaques, qui combattirent aussi bien contre les exactions féodales que pour la liberté.



Un chapitre de « Notes et compléments », riche de données et d'informations supplémentaires, complète cet ouvrage imposant. Suivent 38 annexes et des pièces d'archives rédigées en tchèque et en allemand. Mais avant de clore ces lignes, disons quelques mots de la méthode minutieuse et rigoureusement scientifique du professeur Macdrek. En effet, il a étudié chaque problème en partant des documents historiques, et cela pour chaque unité géographique, voire pour chaque domaine féodal. Sa documentation est faite de renseignements provenant de témoignages écrits, de bornages, de contrats de travail d'emphytéose, de registres de dîmes, de testaments, d'achat de domaines, d'affermages, d'expertises, de doléances, de termes toponymiques et onomastiques, de conflits de classes, de conflits entre féodaux, etc. Ces données éclairent, sur des étendues géographiques assez vastes, l'évolution et le déroulement de la colonisation valaque dans les Carpates occidentales.

La documentation et la structure de cet ouvrage témoignent d'une vaste érudition scientifique. L'auteur est au courant de tout ce qui a été écrit à ce propos par l'historiographie tchèque, slovaque, polonaise, hongroise, allemande et roumaine (pour celle-ci par D. Mototolescu, T. Holban, I. Nistor). L'ouvrage comprend enfin trois résumés en langues russe, française et allemande, ainsi qu'un index toponymique et un index onomastique. Les quinze reproductions qui l'accompagnent sont en majorité des cartes des régions des Carpates occidentales où eut lieu la colonisation des Valaques.

*Tr. Ionescu-Nișcov*

GÖLLNER, CARL, « *Turcica* ». *Die europäischen Türkendrucke des XVI. Jahrhunderts*, T. I<sup>er</sup>, MDI—MDL. Bucarest, Editions de l'Académie de la République Populaire Roumaine—Berlin, Akademie-Verlag GmbH, MCMLXI, 458 [-464] p., avec 30 fac-similés.

L'apparition du premier volume des « *Turcica* », qui comprend la description des publications européennes relatives à l'Empire ottoman parues dans la première moitié du XVI<sup>e</sup> siècle dans ce domaine, constitue un événement bibliographique important. Carl Göllner, l'auteur de l'ouvrage, est un bibliographe connu par ses travaux antérieurs<sup>1</sup>.

Le volume est précédé d'une préface, où l'auteur formule une série de remarques sur le matériel bibliographique contenu dans son ouvrage. Une grande partie de cette préface est consacrée à l'intérêt manifesté par l'Europe du XVI<sup>e</sup> siècle pour les Turcs, intérêt « déterminé surtout par les grands événements guerriers... » (Préface, p. 13), tels que la bataille de Mohács (1526), le premier siège de Vienne (1529), la bataille navale de Lépante (1571), etc. Dès le commencement de la deuxième moitié du XV<sup>e</sup> siècle, à l'époque des premiers livres imprimés par Gutenberg, on voit paraître une série de publications sur les Turcs ; celles-ci reflètent, sans aucun doute, l'intérêt grandissant de l'Europe entière pour l'Empire ottoman à la suite de la chute de Constantinople (1453). Les premières publications relatives aux Turcs sont : un « Calen-

<sup>1</sup> *Michael der Tapfere im Lichte des Abendlandes. Berichte « Neuer Zeitungen »*, Hermannstadt, 1943 ; *Fehlerquellen in Hammers Bibliographie der abendländischen Türkendrucke*, dans le « Bulletin de la Section historique » (Académie roumaine), t. XXV, 2, 1944, p. 214—224 et extrait ; *Die Auflagen des « Tractatus de ritu et moribus Turcorum »*, dans « Deutsche Forschung in Südosten », n° 1/1944 et extrait.

drier turc \* (*Türkenkalender*), édité en 1455<sup>2</sup> et une bulle \* du Pape Calixte III, publiée en 1456<sup>3</sup>, pour l'organisation d'une croisade contre l'Empire ottoman. Ces deux publications ont été imprimées par Gutenberg à Mayence.

Dans la première moitié du XVI<sup>e</sup> siècle, grâce au développement de l'imprimerie et à l'intérêt grandissant pour les Turcs, le nombre des publications relatives à l'Empire ottoman s'accroît très sensiblement par rapport à la seconde moitié du XV<sup>e</sup> siècle. Les Turcs deviennent un sujet d'intérêt constant pour l'opinion publique de l'Europe du XVI<sup>e</sup> siècle. Les nombreuses feuilles d'information courante non périodiques, décrites dans *Turcica*, en sont la preuve. Jusqu'à l'apparition des publications périodiques et même longtemps après leur apparition, l'opinion publique de l'Europe centrale et occidentale était informée des événements importants par de petites publications, qui d'ordinaire ne dépassaient pas quatre pages et étaient connues sous divers noms, et en particulier sous ceux de *Neue Zeitungen* en Allemagne<sup>4</sup>, *avvisi* en Italie, *avisos* en Espagne, etc. Très rares, on ne possède souvent aujourd'hui qu'un seul exemplaire (unicum) de ces feuilles et parfois même simplement une copie manuscrite.

C. Göllner n'a pas fait place dans son ouvrage aux publications du XV<sup>e</sup> siècle en raison de ce que « les imprimés antérieurs, du XV<sup>e</sup> siècle, — les incunables — ont été consciencieusement décrits par Hain, Proctor et d'autres bibliographes, tandis que le XVI<sup>e</sup> siècle est en grande partie un terrain bibliographique inexploré » (Préface, p. 15). Néanmoins le fait que les incunables ont été catalogués « par Hain, Proctor et d'autres bibliographes » ne suffit pas à justifier leur exclusion de l'ouvrage de Göllner. En effet, le chercheur qui s'intéresse aux sources européennes publiées au XV<sup>e</sup> siècle touchant l'Empire ottoman, se voit obligé de parcourir des dizaines de milliers de titres dans les catalogues de ces deux auteurs mentionnées et d'autres bibliographes, pour essayer de découvrir les matériaux dont il a besoin. Les catalogues généraux d'incunables ou ceux d'une seule bibliothèque, — ces derniers contenant d'ailleurs des descriptions très sommaires comparés aux premiers — ne contiennent que la reproduction de l'*incipit*, du colophon et des détails techniques relatifs à l'ouvrage respectif. Or ces indications sont souvent insuffisantes pour donner une idée du contenu de certains imprimés.

Si C. Göllner avait inclu dans *Turcica* les incunables, il aurait rendu grand service aux chercheurs, en leur permettant de trouver sans peine les titres des ouvrages qui les intéressent, accompagnés d'une présentation sommaire de leur contenu.

Beaucoup de bibliographies précédemment parues font d'ailleurs place aux incunables.



<sup>2</sup> *incipit* : « Eyn manüß d' cristtheit widd' die durkē ». Le seul exemplaire connu se trouve à la Bayerische Staatsbibliothek de Munich. Cf. Arthur Wyß, *Der Türkenkalender für 1455. Ein Werk Gutenbergs*. (Festschrift um 500 jährigen Geburtstage von Johann Gutenberg, Mayence, 1900, p. 305); Aloys Ruppel, *Johannes Gutenberg—Sein Leben und sein Werk*, Berlin, 1939, p. 127—130.

<sup>3</sup> *incipit* : « Dis ist die bulla vnd der ablas zu || dutsche die vns vnßer aller heil- || gister vater vnd herre babst calist<sup>9</sup> || gesant vnd geben hat widder die || bosen vñ virfluchten tyranen die || turcken Anno MCCCC lvj || & cetra » ; *finit* : « Gegeben zu Rome by || sant Peter In dem iare noch goddes || geburt Dusent vier hundert lvi des || rij Kalend Julij Pontificatus nostri || Anno secundo (f. 13<sup>v</sup>), 14 f. non numérotées ; f. 14 blanche. Le seul exemplaire connu de cet imprimé se trouve à la Deutsche Staatsbibliothek de Berlin. Cf. Paul Schwenke, *Die Türkenbulle Pabst Calixtus III. Ein deutscher Druck von 1456 in der ersten Gutenbergtype. In Nachbildung herausgegeben und untersucht von... Mit einer geschichtlich-sprachlichen Abhandlung von Hermann Degering*. Berlin 1911. 3 f + 13 f facs. + 38 p. + 1 f ; *Gesamtkatalog der Wiegendrucke*, Band VI. Leipzig, 1934, n° 5916, p. 62 ; Aloys Ruppel, *op. cit.*, p. 132—134.

<sup>4</sup> Sur les différents termes *principaux* qui indiquent ou caractérisent l'origine ou la nature des « Neue Zeitungen » publiés en allemand au XVI<sup>e</sup> siècle, cf. Karl Schottenloher, *Bücher bewegten die Welt. Eine Kulturgeschichte des Buches*. Stuttgart, 1952, t. II, p. 322.

Les règles de description bibliographique employées par Göllner dans *Turcica* sont celles en usage pour la description des imprimés rares et anciens, la reproduction fidèle de la feuille de titre et, le cas échéant, du colophon, l'indication du format du texte, du nombre des pages, des préfaces, postfaces et dédicaces, et celle de la cote de la bibliothèque où l'imprimé décrit est conservé, et des références aux bibliographies et aux ouvrages d'un autre genre contenant des indications sur l'imprimé en question, etc.

Sous ce rapport il y a lieu de signaler quelques lacunes dans la description que donne Göllner de certains imprimés.

### 1. Reproduction de la feuille de titre <sup>5</sup>.

N<sup>o</sup> 259 : « ... ¶ Le. XVIII iour... (Le. XXVIII iour); N<sup>o</sup> 286 : « Ein Sendbrief dar jnn angezeigt... » (« Ein Sendbrief dar jnn angetzeigt... »); N<sup>o</sup> 537 : « ... al ultimo di Maggio... » (« ... al ultimo di Maggio... »); N<sup>o</sup> 705 : « ... wie im Leger... » (« ... wie es im Leger... »). Ces fautes ont été constatées par nous en comparant la transcription de Göllner avec le facsimilé respectif de *Turcica*.

N<sup>o</sup> 616 : « ... Herrschaft... » (« Herrschafft... ») vid. ex. de la bibliothèque de l'Académie de la R.P.R., cote 2800/15/; n<sup>o</sup> 613 : la seconde lettre n'est pas datée du 26, mais du 24 février (« Schreyben aus Ragusa 24 Februar anno 1537 », vid. ex. de la B.A.R.P.R., cote 2800/16/) La transcription du titre de l'imprimé n<sup>o</sup> 783, p. 367—368, est la suivante :

« Neue zeytung von Con// stantinopoli // Von einem Comet der bis in die 40 Tag am hymel ober des Turck// en Pallast gestanden ist von einem fewren Trachen, der dem Turcken seinem schatz und das new Schloß verderbt hat » — tandis que la transcription complète et correcte est la suivante :

« Neue zeytung von Con= // stantinopoli // ¶ Von ainem Comet der biß inn die 40. tag am hymmel ober deß // Türkē pallast gestanden ist. // ¶ Von ainem fewren Tracken der dem grossen Türcken seine schatz // verprent vnd verderbt, und das new schloß verbrent hat. // ¶ Von donnem, windten, hagel vnd schaut, vnd was schaden sie // gethon haben. // Von grossen Erdtbidmen. // ¶ Was zu Constantinopoll, Andrianopoli vñ Gallipoli, geschehē ist. Von dem grausamen sachen und Rumorn Kriege geschray, // vnd von der grossen summa Wolfen so 3. tag in der stat Constan // tinopoli, vnd was schaden sie gethon haben. // ¶ Die außlegung aller obgemelter geschenen sachen, ist geschenen durch // zwolff deß Türkischen Kayzers fürnembste Astronimi, // vñ wie sie sich Christen erzaygt haben, daruñ sie der groß Türck // hat wöllen verbrennen lassen, vnd wie sie der wun // derbarlichen bey dem leben erhalten sein wor= // den, vnd wie sie der groß Türck zum hey // ligen grabe verornet habe. & c. // Von der grossen Summa kewschrecken die alles das inn weytten biß in die 20. Welschmeagl verderbt haben (Xylogravure — positif) <sup>6</sup>.

Bibliothèque de l'Académie de la R.P.R., cote 2800/24/; format du texte 165 × 107 mm, (Göllner indique par erreur 155 × 107 mm).

Il eût été normal en outre d'employer dans *Turcica* le système moderne de bibliographie en usage pour les imprimés anciens : quand une gravure ou un élément décoratif apparaît sur la feuille de titre d'un ouvrage, ils doivent être signalés dans la description bibliographique, entre parenthèses rondes encadrées de barres.

<sup>5</sup> Après le numéro de la publication nous reproduisons la transcription erronée des *Turcica* et, entre parenthèses, la transcription correcte.

<sup>6</sup> Le dessin étant profondément creusé dans le bloc de bois il n'a pas été recouvert par l'encre typographique, de sorte que l'impression n'a fait apparaître que les parties non creuses.

## 2. *Renvois bibliographiques*

A la fin de la description de chaque imprimé, l'auteur indique les ouvrages bibliographiques ou autres qui font mention ou donnent la description de l'imprimé. La liste des titres abrégés de ces bibliographies ou d'autres ouvrages fréquemment cités, est publiée aux p. 457—459 (*Abkürzungen*). Des ouvrages importants ne figurent pas dans cette liste. Ainsi, on y constate l'absence de l'ouvrage de Benda Kálmán sur la littérature « de presse » allemande à l'époque turque de l'histoire de la Hongrie (XV<sup>e</sup> — XVII<sup>e</sup> siècles)<sup>7</sup>, ou de l'article d'Adolphe Schmidt complétant la bibliographie d'Emile Weller<sup>8</sup>, etc.

Le texte latin de la relation de Nicolas Durand de Villegaignon, relatif à l'expédition de Charles-Quint contre Alger, avec sa traduction en français moderne<sup>9</sup>, a été publié par P. Tolet<sup>10</sup> en 1874, ce que C. Göllner a omis d'indiquer. En décrivant les deux éditions du discours de Louis Hélian, *De bello suscipiendo adversus Venetianos & Turcas oratio...* Augsbourg, 1510, il était nécessaire de préciser qu'une partie importante de ce discours a été éditée par le savant russe Vladimir Lemansky<sup>11</sup>.

Quoiqu'une série de publications conservées dans la bibliothèque James de Rothschild<sup>12</sup>, à Paris, soient décrites dans *Turcica* et que cette bibliothèque possède un catalogue imprimé, dressé par Emile Picot<sup>13</sup>, C. Göllner n'en fait pas mention et omet de la faire figurer dans la liste bibliographique des abréviations.

La Bibliothèque « Condé » de Chantilly possède également un catalogue imprimé pour les livres du XV<sup>e</sup> siècle et de la première moitié du XVI<sup>e</sup>, que C. Göllner devait citer en décrivant les ouvrages conservés dans cette bibliothèque (nos 259, 525, 550, 759, 817, 819 et 842)<sup>14</sup>.

## 3. *Indication des dépôts de conservation*

La liste des bibliothèques où sont conservés les imprimés décrits dans *Turcica* figure aux p. 451—453 (*Verzeichnis der Bibliotheken*), mais une série de cotes et de bibliothèques sont erronées. Ainsi pour l'imprimé décrit sous le n° 92, p. 66, la liste indique la bibliothèque de l'Académie de la R.P.R. (cote 2800/4) ce qui est inexact. L'imprimé qui figure sous cette cote à la B.A.R.P.R. est d'ailleurs décrit sous le n° 93, p. 67, où Göllner indique, par erreur, comme dépôt de conservation, la Bibliothèque Marciana de Venise. L'imprimé décrit sous le

<sup>7</sup> Budapest, 1942.

<sup>8</sup> Adolf Schmidt, *Fünfte Nachlese zu Weller: Die ersten deutschen Zeitungen. Aus der Grossherzoglichen Hofbibliothek in Darmstadt*, dans « Centralblatt für Bibliothekswesen », IX, 1892, p. 544—567.

<sup>9</sup> Il existe également une traduction française de 1542 : *L'expédition & voyage de Lempereur Charles le Quint en Affricque*... Lyon, 1542 (*Turcica* n° 759). Autre éd., Paris, 1542 (*Turcica* n° 760).

<sup>10</sup> *Relation de l'expédition de Charles-Quint contre Alger, par Nicolas Durand de Villegaignon, suivie de la traduction du texte latin par P. Tolet. Publiées avec avant-propos, notice biographique, notes par H. D. Grammont*. Nogent-le-Rotrou, 1874.

<sup>11</sup> Vladimir Lemansky, *Secrets d'Etat de Venise. Documents, extraits, notices et études servant à éclaircir les rapports de la Seigneurie avec les Grecs, les Slaves et la Porte ottomane à la fin du XV<sup>e</sup> siècle et au XVI<sup>e</sup> siècle*, St.-Pétersbourg, 1884, p. 417—421. Lemansky qualifie le discours d'Hélian de «... monument de la littérature pamphlétaire du siècle... » (p. 417), faisant remarquer que jusqu'à lui les historiens de la République de Venise n'avaient pas accordé à ce discours toute l'importance qu'il mérite.

<sup>12</sup> nos 256, 257, 760 et 780.

<sup>13</sup> *Catalogue des livres composant la bibliothèque de feu M. le Baron de Rothschild*, rédigé par Émile Picot, membre de l'Institut, Paris, D. Morgand et Ed. Rahir, 1884—1920, 5 vol.

<sup>14</sup> Chantilly, *Le cabinet des livres. Imprimés antérieurs au milieu du 16<sup>e</sup> siècle*, Paris, 1905.

n° 296, p. 158—159, en lui attribuant la cote II, 135.849 de la B.A.R.P.R., a en réalité la cote II, 135.840.

Bien que des bibliothèques de la R. P. Roumaine possèdent beaucoup de publications décrites dans *Turcica*, Göllner ne signale ce fait que pour une partie d'entre elles, indiquant pour le reste uniquement des bibliothèques étrangères avec leurs cotes respectives.

Nous citerons à titre d'exemple les ouvrages suivants, pour lesquels Göllner n'indique que des dépôts de conservation étrangers, bien qu'on en trouve également des exemplaires à la Bibliothèque de l'Académie de la R.P.R. :

Mathias Kretz : *Ein sermon von dem Türkenzug*, 1532 (n° 441), cote I 347.575 ; Benedetto Ramberti, *Delle cose de Turchi Libri III*, Vinegia, 1541 (n° 698) cote I 142.167 ; *Historie di Messer Marco Guazzo ove se contengono le guerre di Mahometto...* Venezia, 1545 (n° 855), cote I 2726.



C. Göllner reconnaît qu'un tel ouvrage pourrait difficilement être complet : «... il existe sans doute—dit-il—des imprimés du XVI<sup>e</sup> siècle qui ne sont pas décrits dans la présente publication...» (Préface, p. 15). Nous indiquerons ci-dessous quelques textes ou éditions qui n'y figurent pas :

1. [Brenz, Johann]. *Homiliae. XXII. D. Johannis Brentii, sub incursionem Turcarum in Germania ad populum dictae. Jam ab authore Ipso... recognitae et auctae. Haganoae, in officina Seceriana [= P. Brubach], 1533, 8°.*

[Dr. R. Penninck, *Catalogus der niet-nederlandes drukken : 1500—1540, Aanwezig in de Koniglijke Bibliotheek 'S-Gravenhage*, 1955, p. 34, col. II, n° 336].

Edition inconnue à Göllner.

2. [1535] *LEs monstres et quantites des // Turcs et Gens darmes de lar = // mee du roy Barberousse. Quil meine // côte la treccsainte chrestiente. Et plim // perialle mageste victorieusement defai // cte et expulcee de Thunes. // Cum priuilegio // (Xylogravure représentant « un Roi et une Reine près d'une fontaine »).*

Impression en caractères gothiques.

Cette publication a paru en juin 1535. Paris, Bibliothèque Nationale, cote : Rés. 8° 0<sup>3</sup> i. 392.

J. P. Seguin, *L'illustration des feuilles d'actualité...*, dans la « Gazette des Beaux-arts », juillet-août 1958, p. 41, fig. 8 (fac-similé de la feuille de titre).

3. [1536] *EXEMPLVM PROTESTATI = // ONIS QVA CAESAREA MAIESTAS VSA // est apud Rom. pont. collegiumq3 Card. & lega — // tos regum ac principum, atq3 alios complu // res uiros tum ecclesiastica tum secu- // ari dignitate insignes. // ITEM // DE CLADE TVRCARVM A SOFI ACCE // pta, & de Persarum praesenti imperio quae // dam scitu incunda. // ITEM // DE RECENTI MONTIS AE tnae incendio // Omnia ex Italico in latinum transcripta. // M. D. XXXVI.*

Bibliothèque de l'Institut d'histoire de l'Académie de la R.P.R., cote : I 2739 L. 24 p. Format du texte : 175 × 135 mm.

Cet exemplaire fait partie d'une édition ou d'un tirage différent de celui de l'exemplaire décrit par C. Göllner dans *Turcica*, p. 280, n° 582 (Bayerische Staatsbibliothek München, cote : 4° Turc. 82).

4. [1536]. *Newe zeitung des rat = // schlags vnd reyss der kriegsrüstung, // so der Türk newlich wider Karolum den Romischen // Keyser vnd die Cristen fürgenommen, mit an // zeigung der niderlag, so er von dem So // phi erlitten hat auch mit warhafftige beschreyben der religion und // weys zû kriegem, so die // Persier gebrauch // end. // Wirt auch angezeygt, warumb*

Abraim der oberist || Bassa von dem Türkischē. Keyser getödet sey. || Jm Junio MDXXXVI  
Bibliothèque de l'Académie de la R.P.R.,  
cote : P.I.15.701

9 f. non numérotées ; signature : Aij, Aij,  
B, Bij, Bii, 1<sup>re</sup> f. blanche.

Format du texte : 145 × 104 mm.

A la fin : « Gedruckt zu Strassburg bey || Wendel Rihel » (f. 9<sup>v</sup>).

Seule l'édition imprimée à Dresde par Wolfgang Stöckel, la même année, est décrite dans  
*Turcica* (n° 586, p. 282).

5. [1538]. ¶ Les Chapitres ou articles || de la tressaincte confederation faicte entre n<sup>re</sup>  
sainct || pere le Pape, La Maieste Imperiale, et les Venetiens, || Contre les Turcqz (xylogravure)  
|| ¶ Par Guillame Vorster man en la Licorne dor. || ¶ Cum Gratia et Priuilegio.

A la fin : « ¶ Ilz se vendent en Anuers  
par Guillame Vorster- || man a lenseigne de  
la Licorne dor. || Auec Grace et Priuilege ».  
(f 4<sup>v</sup>).

4. f. non numérotées. Impression en caractères gothiques.

[Emile Picot, *Catalogue des livres composant la bibliothèque de feu M. le Baron James de Rothschild*, t. III, Paris, 1893, p. 508, n° 2728 (2459 a) ; la feuille de titre est reproduite en fac-similé à la p. 509].

Emile Picot fait la remarque suivante sur la xylogravure de la feuille de titre de l'ouvrage décrit précédemment : « Le titre... est orné du même bois que le titre de *la Couronnement* <sup>23</sup> (n° 2717) ; cependant la planche, déjà fatiguée, a été retouchée. Le fond a été aplani et les tailles en ont disparu » (p. 508).

6. [1541] Auffgebot vnd warnung- || schrift, So die Chur, vnd Fürsten zû Sachssen etc.  
an alle jre Chur vnd Furstlichen gna- || den Lanndstende, vnd Vnterthanen, derselben Für- ||  
stenhumb vnd Lannde, des graßsamen Erbfeyns || der Christenhait, des Turcken, personlichen  
an- || zugs halben, sich in furstehender not, in Rü || stung vnd Beraitschafft finden zu lassen,  
offentlich haben außgehen || vnd verkundigen || lassen. || M.D. XLXI (sic pro XLI).

Bibliothèque de l'Académie de la R.P.R.,  
cote : S 3190/2/.

A la fin : « Datum || Torgaw Donnerstags am  
tag Michaelis 1541 » (f. 14<sup>r</sup>).

4 f. non numérotées ; signature : Aij, Aij, f. 1<sup>v</sup>  
et 4<sup>v</sup> blanches ;

Format du texte : 140 × 100 mm.

Edition différente des deux éditions du même ouvrage décrites dans *Turcica* sous les n°s  
708—709, p. 334.

Malgré ses lacunes et les erreurs qui ont pu s'y introduire, la riche bibliographie donnée par C. Göllner demeure la première tentative sérieuse de réunir en un seul ouvrage tous les écrits relatifs aux Turcs et imprimés au XVI<sup>e</sup> siècle.

Dinu A. Dumitrescu

<sup>23</sup> *La couronnement de Lempe || pereur Charles cinquiesme de ce nom faicte a Boloingne la grasse || le Mardy vingtdeuziesme de Feburier. Lan de grace. || Mil cinq cens & trente. ||* (xylogravure représentant le pape et l'empereur entourés de hauts dignitaires ecclésiastiques et laïques) || Cum gratia et priuilegio || [Emile Picot, *Catalogue...*, t. III, Paris, 1893, p. 496 et 499 (description de l'imprimé) ; la feuille de titre est reproduite en fac-similé à la p. 498].

*Cartea românească de învățătură*<sup>1</sup>, 1646, édition critique ; *Îndreptarea legii*, 1652<sup>2</sup>, dans « Adunarea izvoarelor vechinului drept românesc », VI et VII. Editions de l'Académie de la R.P.R. Bucarest, 1961, 431 p. et 1962, 1013 p.

Rappel des éditions critiques parues dans la même Collection (I—V), 1955—1959.

Dans son vaste programme relatif à la publication des sources de l'histoire de la Roumanie<sup>3</sup>, l'Académie de la R.P.R. a, dès le début, fait figurer une « Collection des sources de l'ancien droit roumain », dont l'utilité était d'autant plus grande que dans le passé ce secteur d'activité scientifique avait été particulièrement délaissé.

Les deux derniers volumes (nos VI et VII) de ce *Corpus*, contiennent les deux grandes *pravile* (codes) imprimées du XVII<sup>e</sup> s., celle de Vasile Lupu en Moldavie (1646) et la *Grande Pravila* de Mathieu Basarab (1652) en Valachie. On peut les appeler aussi Le Code de Moldavie et de Valachie (en y ajoutant l'année de leur publication), à condition de donner au terme de code (et aux rapports d'un tel code avec l'Etat) le contenu féodal très nuancé, qui résultera de la suite de cet exposé.

Monuments de la langue, de la culture en général et du droit, ces deux importantes sources sont, tout d'abord, le point d'aboutissement d'un long processus de réception nomocanonique et aussi, sous une forme de début, laïque, du droit byzantin. Cette réception a constitué un véritable mode de formation du droit féodal, déterminé — dans ses caractères communs et dans certaines particularités locales significatives — par le développement économique et par les conditions sociales et politiques de la société féodale envisagée<sup>4</sup>. L'analyse profonde que Marx et Engels ont donnée tout d'abord de la fonction bourgeoise de la réception du droit romain en Occident et aussi de sa fonction féodale, constitue une méthode de recherche valable également pour l'étude de la réception du droit romano-byzantin en Orient<sup>5</sup>.

Ce qui définit l'essence des *pravile* du XVII<sup>e</sup> s., c'est qu'elles constituent, avec la *Pravila ateașă* d'Eustratie ([Choix de lois], Jassy, 1632), restée en manuscrit, et avec la petite « *pravila* » imprimée à Govora (1640), un tournant dans l'histoire de la réception et du développement du droit féodal roumain.

Les causes profondes de ce tournant ont été bien définies dans l'introduction de chacune des deux éditions : développement des forces productives, des relations marchandises-argent et des villes ; aggravation du servage et accentuation de la lutte de classe, poussant la classe dominante à forger des moyens juridiques de répression supérieurs à ceux dont elle disposait<sup>6</sup> ;

<sup>1</sup> « Livre roumain d'enseignement » ; cf. l'éd. S. G. Longinescu, 1912 « ... de préceptes » (A. Patrogné).

<sup>2</sup> « Le guide de la loi » ou « Directorium legis », donc Nomocanon et non « Redressement (réforme) de la loi » ; cf. « Studii și Cercetări juridice », 1963, n° 1.

<sup>3</sup> Sur ce programme et les résultats obtenus, cf. Andrei Oțetea, *Le problème de l'édition des anciens textes*, dans *Studii privind relațiile româno-ruse și româno-sovietice* [Etudes concernant les relations roumano-russes et roumano-soviétiques], Buc., 1958, pp. 18—39.

<sup>4</sup> Voir notre étude dans *Mélanges H. Lévy-Bruhl*, Paris, 1959, pp. 373—391 ; Gh. Cronț, « R.E.S.E.E. », 1963, n° 1. comp. A. V. Soloviev, *L'influence du droit byzantin dans les pays orthodoxes*, *Relaz. del X Congresso Intern. di scienze storiche*, VI, 1955, p. 599—650 ; *Der Einfluss des byz. Rechts auf die Völker Osteuropas*, « Z.S.S. », R.A., LXXXI, 1959, pp. 432—479.

<sup>5</sup> M. Andreev, *Das bulgarische Gewohnheitsrecht*..., « Jahrbuch f. Ges. d. UDSSR u.d. volksdem. Länder Europas », Bd. 6, Berlin, 1962, p. 414—415 ; Gh. Cronț, *op. cit.*

<sup>6</sup> Voir L. V. Čerepnin, « *Sobornoe Ulaženie* » de 1649 et « *Pravilele lui Vasile Lupu* » de 1646, comme source pour l'histoire de l'asservissement des paysans en Russie et en Moldavie (en roum.), *Studii privind relațiile româno-ruse și româno-sovietice*, Bucarest, 1958, p. 30—41 ; Gh. Cronț, « Studii », 1960, n° 1 ; Al. Negoită, « *Justiția nouă* », 1960, p. 153—160 ; *Istoria României*, III, 1<sup>ère</sup> partie, chap. VII (sous presse).



centralisation de l'État dans les conditions du régime nobiliaire et de la domination ottomane; entrée en scène de nouvelles catégories sociales — petits boyards, citadins aisés, paysans libres propriétaires de petits lots de terre et même d'éléments plus modestes encore — intéressés à renforcer le pouvoir central, à lutter (en même temps que les grands boyards autochtones, menacés, eux, par la concurrence des éléments étrangers), contre l'immixtion de ces éléments dans l'économie et les affaires politiques du pays, enfin, intéressés à la création d'une culture en langue roumaine ?.

C'est à l'ensemble de ces besoins que les codes de 1646 et de 1652 ont essayé de répondre. Dans ce but, on a utilisé en Moldavie d'une manière créatrice, une élaboration grecque — qui ne nous a pas été conservée — de l'œuvre de Farinaccius, le grand pénaliste italien de l'époque, que l'on a fait précéder du code de police rurale qu'était le célèbre *Nómos geórgikós*.

Tout le code moldave a passé, tel quel, dans l'*Índreptarea legii*, où il fut intercalé dans le texte provenant du Nomocanon de Malaxos. Ce dernier était suivi du *Commentaire* d'Aristène, sous le nom de *Nomocanonul cu Dumnezeu* [ Le Nomocanon avec Dieu ] et d'autres matériaux canoniques. En Moldavie, la principale partie nomocanonique du code 1652, en commençant par Malaxos, qui manquait dans le code de 1646, se retrouvait dans la *Pravila aleasă* de 1632. De ce fait, l'identité de la législation écrite des deux Pays roumains était frappante; elle s'étendait partiellement aux Roumains de Transylvanie, où le code de 1652 sera la législation canonique de l'Église orthodoxe. Tout comme aux XV<sup>e</sup> et XVI<sup>e</sup> siècles, sous le régime de réception des *pravile* slavo-roumaines, la coutume du pays (*legea țării*) n'a pas été écartée par l'apparition des grands codes de 1646 et 1652, car, selon la formule des éditeurs, la *pravila* (le droit reçu) n'avait pas le caractère d'une législation obligatoire et exclusive et elle n'incorporait pas dans son texte les anciennes coutumes juridiques, dont elle reconnaissait expressément la force de loi<sup>7</sup>.

La tâche des éditeurs est loin d'avoir été facile.

Le texte a été transcrit en général avec beaucoup d'attention, en adoptant la méthode interprétative, la seule qui a semblé appropriée pour une édition de large circulation à la fois scientifique et culturelle<sup>8</sup>. Elle reçoit aujourd'hui l'assentiment des linguistes<sup>10</sup>.

L'introduction historique de chaque volume — substantielle et documentée — s'ouvre par un bon aperçu de la situation économique, sociale et politique du pays dans la première moitié du XVII<sup>e</sup> siècle. On expose d'après le même plan que les éditions précédentes et d'une manière concise les conditions dans lesquelles les codes furent rédigés et publiés; on détermine les véritables auteurs du travail entrepris et le rôle qui revient à des collaborateurs étrangers, probablement M. Syrigos en Moldavie, et certainement Ignace Petritzis et Pantéléimon Ligaridès en Valachie. Cependant, la personnalité des auteurs ainsi que le problème de la collaboration auraient mérité de plus amples développements et une analyse plus poussée.

La présentation du code moldave au public, dans une brève préface, par Eustratie, le logothète de troisième classe qui l'avait traduit, et qui, pour ce faire s'autorisait de l'ordre (*dzisa* = le dit) du prince (auquel le code est dédié et qui en avait pris l'initiative, dans le cadre d'un programme législatif plus vaste qui n'aboutira pas), ne saurait être interprétée, ainsi que le font les éditeurs, comme un acte de promulgation (fût-elle tacite). Et il en est de même, selon nous, du code valaque. Présenté dans un avant-propos par le traducteur, le moine Dani I, au métropolite Ștefan, c'est celui-ci qui, dans une préface où celle de Blastarès est largement mise à contribution,

<sup>7</sup> Comp. « Studii și Cercetări juridice », 1962, n° 2, p. 361—5; 1963, n° 1.

<sup>8</sup> Pour notre point de vue, cf. ci-dessus.

<sup>9</sup> Cf. acad. A. Oșetea, *op. cit.*, p. 23—4.

<sup>10</sup> I. Rizescu, « Limba română », 1962, p. 698 et 1963, p. 697—701 qui y signale certaines solutions discutables et certaines inadvertances; cf. les remarques de Dan Simonescu, « Studii », 1962, n° 1, p. 208—212.

présente et confirme le code. C'est le métropolitain qui y déclare avoir eu l'accord du prince et de son conseil. N'empêche que les deux recueils étaient destinés à la justice de l'Église, autant qu'à celle du prince. Jamais, dans le passé, le prince n'avait joué un rôle aussi actif dans l'acte de réception, que lors de l'élaboration et de la publication de ces codes. Mais ne perdons pas de vue qu'à cette date le droit « récepté » (byzantin), indépendamment de ses sources documentaires, était considéré comme ayant force obligatoire par lui-même (dans des limites nulles part précises).

Les éditeurs actuels, en relevant l'orientation erronée de l'ancienne historiographie, ont demandé avec raison à une analyse de l'action réelle des facteurs internes du développement historique, la solution des problèmes fondamentaux que soulève l'étude des codes édités<sup>11</sup>.

En réservant aux recherches futures une plus ample solution du problème de l'application effective des *pravila*, les éditeurs ont rendu évidente, par des exemples probants, que telle a été cette application ; à partir d'un certain moment, le code valaque, en tant que législation canonique, a été appliqué aussi en Moldavie ; il est demeuré en vigueur jusqu'au milieu du XIX<sup>e</sup> siècle. Il convient de noter qu'il fut appliqué en Moldavie au XVIII<sup>e</sup> siècle<sup>12</sup>.

On doit souligner le caractère laïque plus accentué du code moldave, ce que les éditeurs ont mis en lumière. Par contre, le code valaque a pu être défini comme étant un nomocanon élargi. Ces justes caractéristiques sont nécessaires, mais forcément relatives. Le problème qu'elles soulèvent se rattachant d'ailleurs à celui de la juridiction canonique, il doit être réservé en vue d'une étude spéciale.

Les deux éditions dont nous nous occupons ici réalisent un progrès notable par rapport aux précédentes : la publication (dans les annexes) des sources de chaque *pravila*. Par contre, on a renoncé à y faire figurer, comme précédemment, des documents relatifs à l'élaboration, aux modifications ultérieures et à l'application du texte édité, ou encore à la personnalité des auteurs du texte. La partie documentaire des volumes I à V a été appréciée par tous les chercheurs. Il importe donc qu'à l'avenir elle soit maintenue, à côté de la publication — indispensable — des sources du texte édité (là où les simples références aux éditions existantes de la source utilisée ne suffisent pas).

Pour le code de 1646 on a publié : a) le *Nómos geórgikós* (sans indications de la version choisie), texte grec et traduction roumaine ; les mss. gr. 532 et 385 de la Bibliothèque de l'Académie de la R.P.R., datant du XVIII<sup>e</sup> siècle et contenant une élaboration de l'œuvre de Farinaccius, très proche de celle, plus vaste, utilisée par Eustratie, pour sa traduction, texte grec et traduction roumaine : le texte latin des extraits de l'œuvre de Farinaccius (1544—1618), *Praxis et theoriae criminalis*, d'après la concordance établie par Longinescu, collationnés avec le

<sup>11</sup> Voir dans ce sens le compte rendu de T. V. Gorianov sur l'édition du Code de 1646, « *Istoriia SSSR* », 1962, n° 2, p. 200—202.

<sup>12</sup> L'exemplaire du Code valaque, rehaussé d'une reliure artistique exécutée à Jassy par Michel Strelbitsky, dont Dan Simonescu, *Lit. rom. de ceremonial*, p. 252, n° 1, a signalé l'existence en 1939, se trouve à la Bibliothèque d'État, filiale N. Bălcescu (deux autres exemplaires ordinaires appartiennent à la même bibliothèque).

L'extrait contenant 8 chapitres d'une *pravila* inconnue, signalé par Gh. Ungureanu, *Justiția în Moldova, 1741—1832* [La justice dans la Moldavie, 1741—1832], Jassy, 1934, p. 14—15, représente le texte de l'*Indreptarea legii*. Il a été retrouvé dans les papiers d'Antoși Jora, juge régional en 1768, mais avait appartenu à son père, le hetman du même nom (*loc. cit.*). Sur le problème de l'application effective du code de 1652, cf. « *Studii și cercetări juridice* », 1963, n° 1.

Voir le doc. moldave s.d. (sous Gr. Callimaque, N. Iorga, *St. Doc.*, VI, p. 134, n° 26), relatif à la dissolution des fiançailles, avec référence à « Harménopoulos dans la sainte *pravila*, ch. 187 dit : . . . » ; le texte reproduit n'est que le ch. 177 du code valaque de 1652, sans correspondance dans celui de 1646.

texte de l'édition de Venise (1609—1614 ; 1607—1621). Tous ces textes étant valables aussi comme sources du code de 1652, l'édition de ce dernier ne comporte que la publication du ms. gr. 307 de l'Acad. de la R.P.R., texte grec et traduction roumaine, contenant une importante version (1613) du Nomocanon de Malaxos, signalée par C. A. Spulber comme la plus proche<sup>13</sup> de celle que Daniil Panoneanu a eue entre les mains. Les textes grecs ont été établis et traduits avec compétence par Vasile Grecu et Gh. Cronț, et nous voudrions souligner cette contribution qui facilitera pour beaucoup l'étude des sources des deux codes.

Un riche index alphabétique des matières, un autre des mots anciens ou ayant une acception périmée, une bibliographie, des résumés en langues russe et française, des reproductions du texte des éditions originales et des figures font de ces ouvrages d'appréciables instruments de travail, établis avec soin.

Nous ne pouvons insister ici sur l'esprit créateur dont les sources byzantines ou autres ont été adaptées aux besoins du pays où elles devaient être appliquées pour la défense et la promotion des intérêts de la classe dominante. Les introductions illustrent ce processus à l'aide d'une brève analyse et d'exemples caractéristiques. Mais l'aspect décisif du problème consiste à déterminer dans quelle mesure les différentes dispositions de chaque *pravila* étaient ou non appliquées effectivement<sup>14</sup> et la manière dont elles étaient interprétées. Les textes subissaient ainsi une nouvelle adaptation aux réalités locales ; elle avait lieu dans le cadre d'une action mutuelle très complexe — que l'on connaît encore imparfaitement — de la *pravila*, de la coutume et du droit princier. Après 1652, la coutume, conservant une large sphère d'application, connaît des créations nouvelles et se manifeste encore comme un système indépendant de la *pravila* ; elles s'affronteront pendant plus d'un siècle et demi, dans une hiérarchie imprécise et toujours remise en question. N'empêche que la *pravila* demeurait indiscutablement « réceptée » et étendait son emprise, en tant qu'expression suprême du droit de l'État, auquel elle fournissait des principes de subordination de la coutume et d'intégration du droit princier. Ce processus correspondait aux exigences du développement historique, à cette note d'originalité près que finalement coutume et *pravila* seront reçues dans le droit princier, le droit direct de l'État. C'est celui-ci qui se trouvera consolidé, au fur et à mesure que s'accomplissait le passage au mode de production capitaliste, vers l'État national de la bourgeoisie, vers le droit bourgeois, avec sa suprématie formelle de la loi émanant d'un organe compétent.

A ce compte rendu nous croyons utile d'ajouter une brève présentation des volumes précédents de la Collection (I—V)<sup>15</sup>, à savoir :

I. *Legiuirea Caragea*, 1955, 339 p. C'est la législation du prince Jean Georges Karadja, contenant les codes civil, pénal et de procédure civile et pénale de la Principauté de Valachie, rédigée en grec et en roumain (chaque version étant imprimée séparément), sanctionnée le 9 août 1818 et entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> décembre 1818.

II. *Pravilniceasca Condică, 1782*, 1957, 268 p. Ce petit code civil et de procédure, contenant peu de droit pénal, avec renvoi pour le reste au LX<sup>e</sup> livre de *Basiliques*, au *Nómos geōrgikós* et aux *Nomoi stratiotikoi*, en attendant la codification locale de ces matières, fut rédigé en grec et en roumain (avec le titre seulement en grec) et sanctionné par Alexandre Ypsilanti en Valachie.

Les éditeurs estiment que le code — rédigé dès 1775, copié partiellement par Photéinos dans son manuel de 1777 — n'a pu être sanctionné qu'en 1780, lorsque, grâce à l'appui russe,

<sup>13</sup> Exceptée celle du ms. 1400 d'Athènes.

<sup>14</sup> Comp. N. G. Svoronos, « Rev. Intern. de dr. comp. », 1961, p. 893 et suiv.

<sup>15</sup> Caractéristiques communes : éditions critiques ; Éditions de l'Académie de la R.P.R. ; parues sous la direction de l'académicien A. Rădulescu ; la composition du collectif de rédaction a subi certains changements d'un volume à l'autre.

l'opposition de la Porte ottomane aura été écartée. Il est permis d'en douter fortement. Le prince et ses conseillers semblent avoir repoussé la rédaction achevée en 1777 par Michel Photéinos, dont le byzantinisme didactique et excessif était quelque peu dépassé et devait se heurter à une forte opposition (son *Manuel* était rédigé exclusivement en grec). La chrysobulle de confirmation elle-même déclare que la nouvelle *pravila*, le texte définitif actuel, a été établie («*aşzât*») dans la sixième année du règne, 1780. La *Pravilniceasca Çondică* a connu une large application, sans toutefois supplanter la coutume, ce à quoi elle ne visait même pas. La préface du code se rattache déjà aux doctrines du droit naturel qui avaient cours à l'époque en Europe.

III. *Codul Calimach*, 1958, 1016 p. C'est le vaste Κώδιξ πολιτικός – Code politique, c'est-à-dire civil – de la Moldavie. Sa préparation commença en 1812. D'une facture moderne, suivant de près le plan et, en grande partie, le texte du code civil autrichien de 1811, avec un appréciable apport du droit «récepté» et des coutumes locales, il comporte des scholies explicatives, des résumés marginaux et un riche glossaire. Son principal auteur, Christian Flechtenmacher (aidé pour la rédaction du texte grec par Ananias Cauzanos), a élaboré une œuvre pleine de mérite. La traduction roumaine traînant en longueur, le texte grec, imprimé en 1816 et 1817, et sanctionné le 1<sup>er</sup> juillet 1817, entra en vigueur le 1<sup>er</sup> octobre de la même année.

L'application du nouveau code ne devint effective qu'à partir de la publication (1833–4) d'une bonne traduction roumaine officielle, qui marquera une date dans le développement de la langue juridique roumaine.

IV. *Sobornicescul Hrisov*, 1785, 1835, 1839, 1958, 110 p. Cette chrysobulle synodale du 82 décembre 1785 réunissait deux rapports votés par une assemblée générale (Sfat de obşte) ou synode. Le premier rapport concernait : a) l'interdiction des donations immobilières que les *pauvres* (răzeşi, petits propriétaires) avaient l'habitude de faire aux riches et aux puissants ; b) l'introduction d'un nouveau régime des transmissions immobilières, avec réglementation de la protimésis, de l'échange, de la vente aux enchères et de l'hypothèque. Le second rapport concernait le partage des familles de tziganes (esclaves), ainsi que le mariage entre ces derniers et les Moldaves. Ce décret normatif, le plus important du XVIII<sup>e</sup> siècle après celui de 1749 relatif à la suppression du servage (vecinia), a été refondu en 1835, 1836 et 1839 et publié chaque fois sous sa nouvelle forme. Les éditeurs, qui le considèrent comme « une pure œuvre juridique roumaine », ont attribué à cette législation féodale des caractères positifs trop marqués.

V. *Manualul juridic al lui Andronachi Donici*, 1959, 183 p. Sous ce titre conventionnel est publié le recueil de « lois » qu'en 1814 Donici faisait paraître à Jassy sous le titre de « Recueil contenant un résumé des lois impériales, etc. » (*Adunarea cuprinzătoare şi scurt...*, etc.). Donici (né vers 1760–1765) avait une forte instruction juridique, grecque et latine. Il occupa de hautes fonctions publiques. Participant au mouvement des *carbonari* moldaves, il était animé d'un profond sentiment national. Son *Manuel* avait un caractère pratique et il s'adressait aux juges, à la jeunesse *legum cupida* et à tous les citoyens. A certaines erreurs matérielles près que l'édition signale, sans les identifier, Donici renvoie d'une manière précise aux sources de ses textes.

VI. *Observations communes*. Tous les volumes de la Collection contiennent : une introduction historique (cf., pour le plan, les éditions des codes du XVII<sup>e</sup> siècle) ; le texte roumain (I–V) et grec (I–III) avec l'appareil critique, exigé par la nature spéciale des textes édités ; un riche choix de documents (inédits ou déjà édités) concernant la rédaction, l'interprétation et les modifications ultérieures du texte de chaque code ; la jurisprudence de la Cour de cassation (après 1860) y relative ; les autres instruments de travail cités à propos des éditions des codes du XVII<sup>e</sup> siècle.

On a déjà signalé (Gh. Cronţ) que l'analyse et la définition du contenu social-historique de chaque monument étaient insuffisantes. La publication des sources ou, selon les cas, leur indication analytique, selon la méthode consacrée pour ce genre d'éditions, eussent été indispensables.

Un inventaire (régestes, extraits ou reproduction intégrale, selon les cas) aussi complet que possible des documents relatifs à l'application du code respectif eût constitué une contribution inestimable à l'étude de ce problème capital.

Les codes de 1780, 1817 et 1818, tout comme le *Hrisov* de 1785 et le *Manuel* de Donici tendent à réaliser, à un niveau différent, une synthèse entre le droit byzantin (récepté), la coutume et le droit princier (*ius novum*). Dans le *Code Callimaque* la coutume occupe déjà moins de place que dans les codes valaques de 1780 et 1818 et dans la synthèse qu'il essaie de réaliser, la réception du droit bourgeois prévaut sur celle du droit byzantin. L'influence du code civil français se fait sentir dans les codes de 1817 et de 1818.

Toutes ces législations, dans leur essence, ont encore un caractère féodal qui reflète progressivement le processus de décomposition du système. Ce caractère est plus atténué dans le cas du *Manuel* de Donici et du *Code Callimaque*.

Parmi les problèmes généraux sur lesquels l'étude des textes du *Corpus* juridique de l'Académie de la R.P.R. peut projeter une vive lumière, il convient de signaler celui du droit populaire, ou plus exactement celui des rapports de ce droit avec le droit impérial (*Reichsrecht*), avec le droit savant (tantôt doctrine, tantôt *Juristenrecht*), avec le droit « récepté » (en tant que droit écrit savant de l'État).

Malgré sa brièveté, notre aperçu permet de comprendre pourquoi l'étude objective des œuvres du *Corpus* ne peut que leur rendre la place qui leur revient dans l'histoire du droit roumain, en tant que monuments de ce droit. Cette étude, qui a déjà commencé à porter ses fruits, possède désormais une base solide dans les éditions établies avec soin et qui ont déjà donné des résultats remarquables, unanimement reconnus, telles que la Collection de l'Académie de la R.P.R. les met à la portée de tous les chercheurs, dans une excellente présentation typographique.

Valentin Al. Georgescu

SÉRÉMÉTIS, D. G., 'Η δικαιοσύνη ἐπὶ Καποδίστρια. Α'. Πρώτη περίοδος 1828—1829. Μετ' ἀνεκδότων ἐγγράφων [La justice au temps de Capo d'Istria. I. Première période, 1828—1829. Avec des documents inédits], Thessalonique, Imprimerie Hellenismos, 1959, 484 pages.

*La justice au temps de Capo d'Istria* par D. G. Sérémétis a paru dans la collection d'études historiques et juridiques intitulée « Contributions à l'étude historique du droit des Grecs et des Romains et du droit d'autres peuples de l'antiquité ». Cette excellente collection est dirigée par les professeurs G. I. Pétropoulos et N. I. Pantazopoulos.

L'ouvrage est précédé d'une ample bibliographie (p. 3—10) et d'une brève introduction (p. 11—16). Dans la première partie, l'auteur examine le régime judiciaire de la Grèce au temps de la domination ottomane et de la révolution grecque (p. 17—42), mettant l'accent sur la lutte menée par le peuple grec pour conserver ses institutions juridiques en dépit de la domination turque. Ainsi, l'Église grecque obtient de conserver son autonomie administrative dans le cadre de l'Empire ottoman. De même, les communautés grecques obtiennent le droit d'être administrées par leurs élus, mais l'ingérence turque réduit plus d'une fois à néant cette autonomie administrative.

En ce qui concerne les instances judiciaires, celles-ci sont formées de religieux et de laïcs grecs, sous la conduite des hiérarques de l'église, et ont une large compétence en matière de droit privé. Ces instances appliquent les *Basiliques* et le code de droit byzantin de 1345

connu sous le nom d'*Hexabiblos* d'Harménopoulos, de même que les coutumes juridiques. Ces instances emploient la même procédure que les tribunaux ottomans, et leurs décisions sont exécutées avec le secours des autorités turques.

Quant à eux, les révolutionnaires grecs de 1821 organisent la justice conformément au principe de la souveraineté du peuple. Le gouvernement formé dans le Péloponnèse confie les attributions judiciaires à l'Assemblée Nationale, aux éphores des éparchies et aux sous-éphores. Pendant la révolution, on ne peut organiser qu'un petit nombre de tribunaux, faute de personnel possédant une formation juridique. En 1826, un tribunal pénal est constitué à Nauplie. L'auteur explique que, du fait de l'instabilité de la justice, on ne saurait dire que les droits de l'homme aient été respectés pendant la révolution. Pourtant, si l'auteur avait également examiné les aspects sociaux du mouvement révolutionnaire grec, il aurait compris du même coup les véritables causes pour lesquelles les droits ci-dessus mentionnés ne furent pas respectés.

Dans la seconde partie (p. 43—282), l'auteur étudie l'organisation de la justice grecque en 1828—1829. Il attribue à Capo d'Istria un rôle important dans l'organisation de la justice, énumérant dans les détails les mesures prises par celui-ci pour le recrutement des juges, la formation des tribunaux, la réglementation des procédures. Cette partie de l'ouvrage a le caractère d'une savante étude technique. On y trouve une analyse minutieuse des décrets et des instructions du gouvernement grec qui eurent force d'actes normatifs dans l'organisation de la justice.

Mais ce qui contribue sensiblement à la valeur de cet ouvrage, c'est le matériel documentaire présenté dans les annexes (p. 283—463). Les actes inédits publiés par l'auteur reflètent dans leurs grandes lignes les débuts historiques de la justice du nouvel État grec. L'ouvrage comprend aussi un index de documents, un index de noms et un des matières (p. 473—484).

L'ouvrage de Sérémétis est solidement documenté. Nous ne lui ferons qu'un reproche, de refléter un peu trop l'admiration que l'auteur nourrit pour Capo d'Istria. La personnalité de ce dernier n'aurait pas dû reléguer au second plan les forces sociales sur lesquelles reposait la grande œuvre d'organisation de la justice dans le nouvel État grec.

Il est donc nécessaire que nous connaissions mieux les conditions sociales sur lesquelles l'œuvre d'organisation juridique prit appui au temps de Capo d'Istria. L'auteur met l'accent sur l'important décret du 15 décembre 1828 qui porte sur l'organisation des tribunaux, et montre que, avec ce décret, l'*Hexabiblos* d'Harménopoulos, pour le droit civil, et le *Code de commerce français*, pour les questions d'ordre commercial, devinrent les législations fondamentales de la Grèce, mais néglige d'analyser le contenu social de ces législations. Or, celles-ci reflètent la stratification sociale du peuple grec au début du XIX<sup>e</sup> siècle et correspondaient aux nécessités sociales d'un peuple qui venait tout juste de sortir du régime féodal ottoman et se dirigeait vers l'organisation d'un État moderne, où les éléments bourgeois devaient devenir la classe dominante.

Sérémétis utilise une littérature historique et juridique abondante. Pour mieux mettre en lumière la tentative du législateur grec d'adopter les législations des Pays Roumains du début du XIX<sup>e</sup> siècle, l'auteur mentionne le *Code Callimachi* de 1817 et la *Législation de Karadja* de 1818, mais semble ignorer les récentes éditions de ces législations publiées par l'Académie de la R.P.R. L'ouvrage de Sérémétis est original. Il rendra de grands services à l'étude comparée des institutions juridiques de la Grèce et des Pays Roumains, et surtout à celle des institutions comprises dans l'*Hexabiblos* d'Harménopoulos, devenu le code officiel du nouvel État grec et qui continua également d'être appliqué dans les Pays Roumains soit directement, soit indirectement, par la voie des législations gréco-roumaines.

Gheorghe Cronț

KATARGIEV, Dr. IVAN, Серската област 1780—1879. Економски, политички и културен преглед. [La situation économique, politique et culturelle de la région du Sérès entre 1780 et 1879]. Institut d'histoire nationale, Skopje, 1961, 322 pages.

La monographie sur la situation économique, politique et culturelle de la région du Sérès au XIX<sup>e</sup> siècle n'est pas le premier ouvrage de ce genre où le Dr. Ivan Katargiev, de Skopje, se montre un chercheur assidu et un bon connaisseur des problèmes essentiels de l'histoire de la Macédoine<sup>1</sup>.

Les questions traitées dans cette étude concernent également l'histoire de la Bulgarie, de la Grèce, de la Serbie ainsi que, à certains égards, celle de la Roumanie.

Le sandjak de Sérès — ainsi se nommait cette région sous l'occupation ottomane — englobait au XIX<sup>e</sup> siècle un vaste territoire à cheval sur la Grèce, la Bulgarie et la Yougoslavie.

L'ouvrage compte quatre chapitres, plus des conclusions. L'auteur concentre surtout son attention sur la situation économique (création des grands domaines, essor des métiers, des manufactures, des bourgs, etc.), ainsi que sur l'étude du mouvement révolutionnaire à Sérès, Demirhisar, Melnik, Petrič et Razlog. Tout un chapitre est réservé à la révolte qui souleva, en 1878, le sandjak de Sérès.

L'auteur fait également quelques références à notre pays et expose quelques éléments d'histoire commune macédo-bulgaro-serbo-roumaine, par exemple, quand il retrace pour nous l'itinéraire suivi par les marchands macédoniens pour aller à Braşov : Nish (ou Sofia) — Vidin — Orşova — Braşov (p. 103). Ailleurs, la Valachie est citée parmi les pays importateurs de coton du Sérès dans la première moitié du XIX<sup>e</sup> siècle (p. 82). De même, des marchands de Macédoine (p. 101) poussaient jusqu'à Hermannstadt (c'est-à-dire à Sibiu que l'index, par erreur, situe en Allemagne).

L'auteur regrette de ne pouvoir, faute de données concrètes, parler plus longuement des « vieilles et traditionnelles relations commerciales », qui s'étaient établies entre la région du Sérès, d'une part, et la Valachie et la Moldavie d'autre part (p. 105). A juste raison, d'ailleurs, car c'est là, justement, un problème d'histoire balkanique qu'une collaboration entre les spécialistes permettrait d'éclaircir avec succès.

Il ne fait aucun doute que les archives turques doivent renfermer des données sur les relations du sandjak de Sérès et de la Macédoine en général avec les Pays Roumains. Pour leur part, les archives roumaines renferment, touchant ces relations, des données et des mentions qui, dépistées avec soin, pourraient enrichir nos connaissances, jusqu'ici insuffisantes, sur ce sujet. Ainsi, dans les documents roumains, un terme revient assez souvent, celui de « Serezli », qui désigne les personnes — généralement des marchands — qui venaient du Sérès. De même, dans les dossiers de nos archives qui concernent les exportations de bétail au sud du Danube, et les importations de différentes marchandises de Macédoine, la région du Sérès revient fréquemment<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Ainsi, dans une monographie intitulée *Ајдутското движење и Карпошовото востание во XVII век*, parue à Skopje en 1958, Ivan Katargiev apportait des lumières nouvelles sur l'un des principaux événements de la guerre austro-turque de 1688—1689, et sur un aspect important de la lutte livrée par les peuples des Balkans pour secouer la domination ottomane. Ainsi, Ivan Katargiev y rappelait que le haidouk Karpos, qui fut à la tête d'une vaste révolte et qui proclama l'indépendance de toute la région de Kumanovo, vécut pendant un certain temps en Valachie, exerçant le métier de mineur.

<sup>2</sup> Vers 1848—1850, le monopole des exportations de bétail de Valachie était détenu par un certain G. Gherman, membre de la famille Gherman, qui était justement originaire de la région du Sérès (voir, entre autres, les dossiers nos 698/1848, 1.299/1850, 1.483/1850, etc. du département du Trésor, aux Archives de l'Etat de Bucarest).

A propos de la Transylvanie, l'auteur mentionne également que, au temps de l'occupation ottomane, des mineurs slovaques de cette province furent transférés dans la région du Sérès. Leurs traces subsistent encore dans la localité de Lehova (p. 70).

Mais le livre de Katargiev traite aussi d'autres aspects des relations entre cette région et notre pays. Ainsi, dans un exposé sur le mouvement culturel dans la région du Sérès jusqu'en 1860 (p. 112—186), on trouvera des détails sur la famille Gherman et sur l'un de ses membres qui joua un rôle important dans la révolte serbe de 1804—1813, accomplissant d'importantes missions diplomatiques, pour devenir ensuite l'émissaire de Milosh Obrénovitch à Bucarest, et enfin, à partir de 1836, le premier représentant de la Serbie en Roumanie. L'auteur se contente de dire quelques mots sur l'activité déployée en Serbie par ce Gherman qui eut aussi, entre autres, le mérite de contribuer à l'organisation de l'activité éditoriale dans ce pays. Originaire de Bansko, dans la région du Sérès, M. Gherman était le cousin de Neofit de Rila et, pour cette raison, l'aïda de ses deniers à faire imprimer ses œuvres en Serbie. Quant à son frère, Lazare T. Gherman, établi à Vienne, c'est lui qui fournit à Vuk Karadžić, le réformateur de la langue serbe, les sources concernant le dialecte de Razlog (p. 114). Enfin, notons encore que la femme de M. Gherman fonda une école à Bansko (p. 117).

D'autres données sur les relations avec notre pays datent de 1862. Exposant largement l'activité politique déployée par l'émissaire serbe Stefan I. Verhović dans le Sérès, l'auteur précise, entre autres, que celui-ci était abonné au journal «Българска пчела» qui paraissait à Braila, et qu'il en recevait 12 exemplaires qu'il distribuait aux chefs du mouvement de libération de la région du Sérès et de Salonique (p. 140).

Plus tard, à l'automne 1878, quand, dans la région du Sérès, la révolte provoquée par les décisions du Congrès de Berlin — décisions qui désavantageaient la Macédoine — battait son plein, les Macédoniens émigrés en Roumanie envoyèrent un secours de 2.100 francs au mouvement de libération ainsi qu'une lettre collective de solidarité, dont l'auteur reproduit d'ailleurs un passage (p. 254).

Mentionnons également, pour l'intérêt qu'elles présentent, ses références à la situation des Macédoroumains dans le sandjak du Sérès. Venus là après la destruction de Moscopole en 1788, les Macédoroumains (ou les Vlaques) formaient des colonies plus ou moins importantes à Sérès, Demirhisar, Nigrita, Drama, Kavala, Nevrokop, Melnik, Petrič, Džumaia, Razlog, etc. (p. 17, 56, 147, 149). L'été, les Aroumains habitaient des maisonnettes à Papas, Čair, Ali-Botuš, Iapova, Bodjovo, Satrovo, etc. (p. 17). Le bey du sandjak du Sérès, Ismaïl, s'efforça d'attirer dans le Sérès les Macédoroumains qui avaient des entreprises commerciales à Vienne (p. 80). Mais scus le gouvernement de Iusuf, à l'époque de la révolte grecque de 1821, un grand nombre de Grecs, de Macédoniens et de Macédoroumains furent massacrés.

Destinée à l'éclaircissement de diverses questions intéressant l'histoire de la Macédoine, la monographie du docteur Ivan Katargiev, peut-être même à l'insu de l'auteur (qui fait reposer toute son étude sur l'étroit critérium d'une unité géographique artificiellement créée par l'administration ottomane), déborde le cadre qu'il s'était fixé, ce qui en fait un ouvrage qui doit avoir sa place dans toute bibliothèque consacrée à l'histoire des Balkans.

S. Iancovici

BOURMOV, A., *Таен централен Български Комитет* [Le Comité central bulgare secret], paru dans «Исторически Преглед», Sofia, XVI, 1960, 2, p. 41—65; 3, p. 59—84.

L'un des problèmes les plus importants parmi ceux qui concernent l'histoire du mouvement de libération de Bulgarie, qui activa sur le territoire de la Roumanie pendant la seconde moitié du XIX<sup>e</sup> siècle, est sans aucun doute celui de la formation et du fonctionnement des



différents comités révolutionnaires. L'activité déployée par ces comités n'est pas encore suffisamment connue ; en particulier, des lacunes existent touchant l'histoire du Comité central bulgare secret, fondé en mars 1866 à Bucarest.

Etudiant divers matériels documentaires (publications de documents et surtout journaux bulgares parus en Roumanie, ainsi que les mémoires de quelques-uns de ceux qui prirent part à ces événements (Iv. Kasabov, P. Hitov, P. Kisimov, etc.), le professeur Bourmov apporte une série de précisions sur l'activité déployée par le Comité central bulgare secret entre 1866 et 1868, activité qu'il divise en deux phases.

La première phase englobe l'activité de ce comité depuis sa fondation jusqu'au début du mois de novembre 1866, quand Ivan Kasabov, ne pouvant plus rien entreprendre, quitte Bucarest et se retire à Ploiești. Ce qu'il faut retenir au sujet de cette période, ce sont les pourparlers menés entre le groupe des révolutionnaires bulgares, ayant à leur tête G. Sava Rakovski, et les protagonistes de la politique libérale de Roumanie, qui militaient pour une action commune dans les Balkans contre les Turcs (C. A. Rosetti, E. Karada, C. Ciocrlan, G. Serurie). Ces négociations aboutirent à la conclusion d'une entente connue sous le nom de « Coalition sacrée » et à la formation de deux comités d'action, l'un roumain, l'autre bulgare.

Il paraît qu'à la fin du mois de mars 1866, l'organisation proprement dite était définitivement mise au point. Analysant l'acte conclu entre les deux parties, l'auteur en extrait les attributions et les tâches communes des deux comités. Entre autres, on décida la création de deux autres comités centraux, l'un en Bulgarie, l'autre en Serbie, l'un comme l'autre étant subordonnés au comité bulgare secret de Bucarest. En même temps, un statut du Comité central bulgare était rédigé dans les langues roumaine et bulgare. Résumant les points essentiels de ce statut, l'auteur reproduit en entier la formule du serment que devaient déposer les révolutionnaires bulgares, décidés à donner leur vie pour la libération de leur patrie. Des matériaux présentés par le professeur Bourmov et conformément au statut, il résulte que d'autres comités bulgares furent fondés en 1866 à Giurgiu, à Braïla « et dans d'autres villes de Roumanie » (2, p. 61).

Cependant, la figure la plus représentative de la communauté de révolutionnaires bulgares demeure G. Rakovski. Celui-ci était connu aussi bien dans les cabinets diplomatiques d'Europe que dans les rédactions des grands quotidiens du temps pour un révolutionnaire décidé et que rien ne pouvait fléchir. Aussi les milieux réactionnaires, et surtout les autorités ottomanes et autrichiennes, le surveillaient-ils constamment. Les dernières années de son séjour en Roumanie ne lui apportèrent qu'amertume et déceptions. En octobre 1867, il s'éteignait dans un village du département d'Ilfov, sans avoir pu mener à bonne fin ses plans révolutionnaires. Les deux dernières années de sa vie — 1866 et 1867 — présentent encore des points obscurs. A cet égard, l'étude du professeur Bourmov nous apporte de précieux éclaircissements sur la marche des événements à Bucarest, que le grand révolutionnaire bulgare y ait ou non participé. Nous voulons parler de ses relations avec Alexandre Jean Couza, de la position bien définie de Rakovski à l'égard de la question agraire de Roumanie, de sa fuite à Galatz et, de là, à Odessa, pour échapper à la police, de ses rapports avec Ivan Kasabov, etc. Cependant, nous sommes mal informés des motifs qui, à un moment donné, brisèrent son élan révolutionnaire.

La seconde phase englobe l'activité du comité au cours des années 1867 et 1868. Tout d'abord, dans la seconde moitié de février 1867, le Comité central bulgare secret élabore un nouveau statut, que l'auteur reproduit d'ailleurs en entier (p. 62). Toujours en février 1867, les membres du comité rédigent un mémoire qu'ils adressent au sultan, sur la question bulgare.

L'auteur eut fait sûrement œuvre utile et instructive s'il avait comparé entre eux, d'une part, les différentes rédactions du statut, et, d'autre part, les deux mémoires, c'est-à-dire celui que nous venons de citer plus haut et qui a été envoyé au Sultan au commencement du

mois de mars 1867 et la brochure, rédigée déjà en décembre 1866 par le même auteur, P. Kissimov (*La Bulgarie devant l'Europe*).

Plus loin, l'auteur évoque les rapports entre le comité central et la « Dobrodetelna družina » (Société philanthropique) et souligne les mésententes survenues entre ces deux organisations. Commencé quelques années plus tôt, pour des raisons d'ordre social mais intéressant également le problème du mouvement de libération de la Bulgarie, le conflit survenu entre les gros bonnets de la bourgeoisie bulgare et les chefs des révolutionnaires bulgares de Roumanie s'aggrava davantage encore pendant cette période. Les informations et les matériaux fournis par le professeur Burmov sont très intéressants et viennent compléter nos connaissances sur l'histoire de l'émigration bulgare en Roumanie.

Tr. Ionescu-Nișcov

BOUVIER, BERTRAND, *Volkslieder aus einer Athos-Handschrift des 17. Jahrhunderts*, dans « Probleme der neugriechischen Literatur », III, Berlin, 1960, p. 21–26 (Berliner Byzantinische Arbeiten, 16).

Au début des années 90 du siècle passé, Spiridion Lambros découvrait au Mont Athos, au monastère d'Iviron, un petit manuscrit renfermant des chansons populaires grecques. Il en publiait le texte en 1914 et signalait en même temps à l'attention des spécialistes l'importance philologique et historico-musicale de ce manuscrit.

Quarante ans plus tard, B. Bouvier reprend l'examen du manuscrit, en accordant une attention spéciale au côté poétique et musical. C'est dans ce but qu'il transcrit, dans la notation européenne, les mélodies notées selon le vieux système byzantin. Avant de confier son travail à l'impression, l'auteur présente, sous forme d'une courte communication, les points les plus importants de sa recherche et souligne l'intérêt particulier du recueil.

Le premier côté envisagé concerne l'ancienneté du manuscrit. Sp. Lambros l'avait immédiatement daté du XVIII<sup>e</sup> siècle. B. Bouvier confronte ce manuscrit, d'une part, avec un Kratématorion auquel il avait servi de reliure et, d'une autre, avec une série d'autres manuscrits de différentes provenances, ce qui lui permet d'établir que le manuscrit a pu être écrit entre 1650 et 1670.

C'est encore en le comparant à d'autres codices et, en premier lieu, au Kratématorion en question, que Bouvier établit que l'auteur du recueil fut un certain Athanase, ancien moine d'Iviron, établi par la suite à Thessalonique et auquel on doit différents chants ecclésiastiques qui ont pénétré au début du XVIII<sup>e</sup> siècle dans les anthologies de psaltique.

Nous tenons à observer à ce propos qu'il existe aussi à la Bibliothèque de l'Académie de la R.P.R. deux manuscrits où l'on rencontre le nom de cet Athanase. Le manuscrit grec 564 renferme des chérubica, des kinonica et un polychronion portant la subscription του Ἀθανασίου ἱερομονάχου καὶ ἡμετέρου διδασκάλου. Parfois l'indication est plus complète et spécifie l'appartenance de ce dernier au monastère d'Iviron : ἐκ τῆς μόνης Ἰβήρων. Quant au manuscrit grec 953, un stichérarion pour toute l'année, du XV<sup>e</sup> siècle, il porte la note suivante : Τὸ παρὸν ὑπάρχει τοῦ μουσικωτάτου κυρίου Ἀθανασίου τοῦ ἐκ Θεσσαλονίκης. D'où il ressort qu'Athanase était un excellent musicien, ce qui garantit la valeur de ses notations.

Le second point important sur lequel se penche B. Bouvier est relatif au contenu poétique du manuscrit : chansons et ballades akritiques, chants historiques des XV<sup>e</sup>–XVI<sup>e</sup> siècles, chansons d'amour et chants patriotiques (Heimatlied). Un très grand nombre d'entre eux ont été recueillis — plus ou moins contaminés — au début de notre siècle.

L'auteur ne se prononce pas définitivement sur l'authenticité des mélodies. Il considère cependant qu'Athanase les a notées assez fidèlement, même s'il les a fleuries de ci de là. Il invoque à l'appui de son opinion la structure des strophes des chansons : le vers politique de 15 syllabes, la ligne mélodique qui s'étend sur un vers et demi, tout comme la chanson de klephtes, la répétition intérieure et les refrains que l'on peut rencontrer aussi dans les chansons grecques actuelles.

*Gheorghe Ciobanu*

VALSA, M., *Le Théâtre grec moderne de 1453 à 1900*, Akademie-Verlag, Berlin, 1960, 384 pages.

L'évolution du théâtre grec a préoccupé bien des historiens grecs, particulièrement N. Lascaris qui orienta avec passion ses recherches vers ce domaine. Il a écrit à ce propos plusieurs articles, ainsi qu'une œuvre de synthèse qui comprend une partie des résultats de ses recherches.

Récemment a paru l'important ouvrage de M. Valsa étayée d'une riche bibliographie. Le travail de Valsa qui s'occupe d'une aussi longue période du théâtre grec, est une étude très utile, dont le besoin se faisait sentir. On a beaucoup écrit jusqu'ici sur le théâtre grec, mais par fragments, par périodes et par régions. L'étude de Valsa vient combler les vides et retracer l'évolution historique du théâtre grec depuis la chute de Constantinople jusqu'à la fin du XIX<sup>e</sup> siècle.

L'ouvrage comprend deux parties. La première traite de l'époque 1453–1821 et finit avec les représentations grecques données à Bucarest et à Odessa ; quant à la seconde, elle va de 1821 à 1900.

Après la chute de Constantinople, les représentations théâtrales disparaissent aussi bien en Grèce qu'à Constantinople. La première œuvre dramatique après 1453 est la comédie *Νέαιρα* (*Néaira*) écrite par D. Moschos et jouée peu avant 1478 à Mantoue. Son auteur, D. Moschos, appelé le dernier poète de la Grèce ancienne, fait partie d'une famille d'intellectuels. Il émigra en Italie vers 1470, du vivant de son père, Jean Moschos, lui aussi un intellectuel qui composa un discours funèbre à l'occasion de la mort tragique du grand duc Lucas Notaras. D. Moschos fit ses études à Venise et à Ferrare et, en 1478, il se trouvait à Mantoue, à la cour de Louis de Gonzague. Moschos bénéficia de la faveur et de la protection du duc, auquel, en signe de reconnaissance, il dédia sa comédie *Néaira*.

Après une ample analyse, Valsa conclut que « La pièce de Moschos, d'un intérêt plutôt historique que littéraire, marque une transition nette entre l'époque où l'on jouait encore en latin les pièces de Plaute ou de Térence, à Ferrare, sous la maison d'Este, à Mantoue, sous les Gonzague, d'une part, et la période suivante où le drame pastoral s'imposa sur les tréteaux, d'autre part. Elle clôt une longue période de décadence et d'imitation stérile tout en inaugurant une nouvelle ère d'efforts et de tâtonnements, d'où prit naissance le théâtre moderne européen » (p. 21). L'importance de la pièce de Moschos consiste donc dans le fait qu'elle inaugure le théâtre moderne.

Aux chapitres II et III l'auteur s'occupe du théâtre crétois et ionien. Il y donne le répertoire dramatique, les biographies des auteurs des œuvres jouées, l'analyse des pièces ; il montre leur valeur littéraire et établit une comparaison entre le théâtre crétois et ionien.

Au répertoire du théâtre crétois qui « pendant presque deux siècles, le XVI<sup>e</sup> et le XVII<sup>e</sup>, tient à lui seul le flambeau presque éteint — le tison — du génie dramatique grec » (p. 22), ont figuré les pièces suivantes dont se sont occupés à plusieurs reprises non seulement les spécialistes grecs du moyen âge, mais bien d'autres encore : 1) *Le Sacrifice d'Abraham*,

mystère, 2) *Le Fortounatos*, comédie, 3) *Le Zinon*, tragédie, 4) *Le Stathis*, comédie, 5) *Le Yiparis*, comédie pastorale, 6) *L'Hérophili*, tragédie, 7) *Le Roi Rhodolinos*, tragédie, 8) *Le Kalzourlos*, comédie.

Passant au théâtre ionien, l'auteur montre que sa plus ancienne représentation remonte à 1532; elle eut lieu à Corfou durant le carnaval. D'autres suivirent : *Les Perses* d'Eschyle, plusieurs comédies de Plaute, quelques pièces de Sénèque et deux tragédies d'Euripide. Les pièces puisant leur sujet dans la mythologie grecque furent les plus appréciées. Celles écrites par des auteurs italiens étaient représentées pour un public restreint, connaissant cette langue imposée par la domination vénitienne, qui avait banni l'étude de la langue grecque. Mais la conscience nationale grecque constitua l'obstacle principal à l'italianisation complète des Îles ioniennes. Ainsi donc, deux siècles durant, contrairement à la manière de développement du théâtre crétois, on ne constate dans le théâtre ionien aucune manifestation autochtone. Ce n'est qu'à peine au XVIII<sup>e</sup> siècle — nous dit l'auteur — que « nous signalons les efforts de toute une pléiade de poètes pour créer et pour fixer la langue poétique et en même temps nous révélons un petit nombre d'auteurs scéniques dont les œuvres attestent l'existence d'une émulation dramatique assez sérieuse » (p. 165). Il ne nous est resté du répertoire ionien que le texte d'une pièce, *le Hasis*, sorte de dialogue satirique par Démétrios Ghouzélès. Des autres pièces du répertoire, on ne connaît que les titres. La seule pièce du répertoire ionien analysée par Valsa est donc *le Hasis* (p. 172—180).

Au IV<sup>e</sup> chapitre, l'auteur s'occupe du théâtre grec de Bucarest et d'Odessa. Nous nous permettrons d'apporter quelques précisions et rectifications aux affirmations de Valsa. Ce dernier adopte (p. 186 et 189) l'affirmation de G. V. Tzocopoulos (bien qu'il ne le cite point) et de N. Lascaris, que la première représentation en langue grecque donnée à Bucarest eut lieu en 1810 avec le drame *Phocion*.

G. V. Tzocopoulos, qui fut le premier à lancer cette affirmation, invoquait à l'appui de ses dires une lettre écrite de Bucarest par Constantin Arghyropoulos à sa sœur, Cornélie Mayer, lettre contenant jusqu'aux moindres détails de cette représentation. Il y est dit que la représentation eut lieu le « 7 janvier 1810 », à l'occasion de l'anniversaire du prince régnant. Mais, en 1810, pendant la guerre russo-turque (1806—1812), la Valachie n'avait point de prince régnant; ainsi ne pouvait-on pas donner une représentation à l'occasion de la fête de sa naissance.

Ce document parle de Constantin Iatropoulos, de Moundaniotis, ainsi que de Photidis, qui auraient interprété les rôles principaux. Mais, en 1810, ils ne se trouvaient pas dans la capitale de la Valachie pour être en mesure de contribuer à cette représentation théâtrale. Iatropoulos fut sollicité d'occuper un poste de professeur à l'Académie grecque de Bucarest dans le courant de l'année 1818<sup>1</sup> et l'on sait qu'il fut chargé en 1819 de la préparation des futurs acteurs. En ce qui concerne Moundaniotis, il était professeur à l'Académie de Bucarest en 1819. Il s'y trouvait, toujours en ce temps-là, un autre professeur, Photilas, et nous croyons que C. V. Tzocopoulos a fait une erreur en lisant son nom Photidis. Tout ceci nous fait estimer que la pièce *Phocion* ne fut pas la première représentation grecque sur la scène bucarestoise car, comme il ressort de l'analyse du document, cette représentation ne pouvait pas avoir lieu en 1810. Les arguments susmentionnés plaident en faveur d'une date plus proche de 1819. Nous croyons que la représentation de *Phocion* eut lieu le 7 janvier 1820 et qu'on s'est mépris ou qu'on a mal lu la date du document, qu'il s'agissait de 1820 et non pas de 1810<sup>2</sup>. Les représentations du théâtre grec à Bucarest ne commencent donc pas en 1810.

<sup>1</sup> Voir la revue viennoise *Δόγμος Έρμής*, 1818, p. 210.

<sup>2</sup> Ariane Camariano, *Le théâtre grec à Bucarest au début du XIX<sup>e</sup> siècle*, dans « *Balcanica* », VI, 1943, p. 390—394.

A la p. 185, Valsa déclare que « le mouvement insurrectionnel d'Ypsilantis dérive plus ou moins directement de la renaissance dramatique dans la petite cour de Bucarest en 1815 ». Nous estimons cette affirmation de l'auteur quelque peu exagérée. Le mouvement d'Ypsilanti fut projeté et mis en œuvre par l'Hétérie. Il est vrai que la scène bucarestoise joua un grand rôle dans la préparation des esprits pour la révolution grecque, mais plus tard, en 1819—1820. En 1815 il n'existait pas encore de scène théâtrale ; en 1817 quelques fragments ou des pièces entières furent joués sur une scène improvisée dans l'appartement de la princesse Ralou Karadja, l'initiatrice et l'organisatrice du Théâtre de Bucarest. L'assistance à ces représentations était constituée par un nombre restreint de boyards ; ce n'est qu'en 1818 que commencent les véritables représentations théâtrales dans la nouvelle salle de Cişmeaua Roşie — « la Fontaine Rouge » — avec la troupe allemande de Johann Gerger<sup>3</sup>. La première représentation eut lieu dans la soirée du 8 septembre 1818 avec l'opéra de Rossini, *l'Italienne à Alger*. Mais l'enthousiasme avec lequel fut accueillie cette troupe se calma après les premières représentations, étant donné que parmi les boyards de Valachie peu nombreux étaient ceux qui connaissaient l'allemand et qui assistaient avec plaisir à ces représentations<sup>4</sup>. C'est alors que furent organisées et préparées les véritables représentations en langue grecque qui alternaient avec celles en langues allemande et roumaine de la troupe de Gerger. Ceci toutefois ne put être fait qu'en 1819, sous Alexandre Soutzo, qui constitua un comité théâtral pour le choix du répertoire et la préparation des acteurs dilettantes<sup>5</sup>. On ne peut donc pas parler, comme le croit Valsa, d'une renaissance dramatique à Bucarest en 1815.

Il y aurait bien des choses encore à rectifier dans le chapitre sur le théâtre de Bucarest, car Valsa s'est trop fondé sur les affirmations de l'historien du théâtre grec N. Lascaris. Dans notre étude *Le Théâtre grec à Bucarest*, nous avons rectifié bon nombre d'affirmations erronées de Lascaris. Nos rectifications sont également valables pour celles de Valsa. Nous nous bornerons seulement à préciser que la première représentation effective en langue grecque, confirmée par des sources contemporaines, eut lieu le 23 février 1819, lorsque l'on joua la tragédie de Voltaire la *Mort de César*, traduite en grec par Georges Serouios<sup>6</sup>.

A la p. 189, Valsa cite parmi les représentations grecques données à Bucarest *Hécube*, d'Euripide. Pourtant cette pièce ne fut pas jouée à Bucarest en 1817 mais en 1819 ou 1820, et non pas en grec, mais en roumain, dans la traduction de Nănescu, le rôle d'Hécube étant interprété par Eliade Rădulescu<sup>7</sup>. En 1816—1817, *Hécube* fut jouée en grec, non pas à Bucarest, mais dans la ville grecque de Kydonia<sup>8</sup>, en Asie Mineure.

A la page 188, note 2, l'auteur fournit quelques données biographiques sur Aristia. Il dit, entre autres, qu'en 1821 on le trouve à Corfou, interprétant le rôle d'Oreste (Alfieri) ». L'affirmation que, en 1821, Aristia se trouvait à Corfou ne semble point probable. Nous savons que le 17 mars 1821, lors de la solennité qui eut lieu dans la maison de Belio, quand fut hissé le drapeau de la lutte pour l'indépendance du peuple grec, celui qui tenait ce drapeau était Aristia, qui parcourut les rues de la capitale de la Valachie, suivi par une foule de militaires et de civils qui entonnaient la marche de Rigas. Après la liquidation du mouvement

<sup>3</sup> Ioan Massof, *Teatrul romnesc* [Le théâtre roumain], vol. I, Bucarest, 1961, p. 91.

<sup>4</sup> W. Wilkinson, *Tableau historique, géographique et politique de la Moldavie et de la Valachie*, traduit de l'anglais par M\*\*\*, Paris, 1821, p. 127. C'est le même Wilkinson qui dit que la troupe de Gerger jouait également des comédies en langue valaque ; Ioan Massof, *op. cit.*, p. 94.

<sup>5</sup> Ariane Camariano, *op. cit.*, p. 398.

<sup>6</sup> Ariane Camariano, *op. cit.*, p. 400.

<sup>7</sup> D. Olănescu, *Teatrul la români* [Le Théâtre chez les Roumains], II<sup>e</sup> partie, Buc., 1898, p. 11, et I. Massof, *Teatrul romnesc* [Le théâtre roumain], Buc., 1961, p. 95—96.

<sup>8</sup> A. Firmin Didot, *Notes d'un voyage fait dans le Levant en 1816—1817*, Paris, p. 387.

en Valachie, Aristia fut engagé comme professeur dans la maison de Scarlat Ghica<sup>9</sup>. Donc, aussi bien durant le soulèvement de 1821 qu'après sa fin, nous trouvons Aristia à Bucarest ; il ne pouvait pas, par conséquent, contrairement aux dires de Valsa, se trouver à Corfou. Il est vrai qu'Aristia passa quelque temps dans cette belle île de l'Archipel ionien et qu'il y organisa une troupe de dilettantes avec laquelle il donna quelques représentations, mais ceci arriva ultérieurement, en 1825<sup>10</sup>.

Valsa clôt le chapitre concernant les représentations du théâtre grec à Bucarest, en ajoutant en note : « Nous avons omis à dessein de faire mention des drames de Kotzebue montés par la troupe d'Aristia. Il nous a été impossible de trouver la date exacte de ces représentations » (p. 191). Nous ne croyons pas que les pièces de Kotzebue aient figuré au répertoire d'Aristia, mais l'une des pièces de l'écrivain allemand, *Misanthropie et pénitence*, fut jouée dès 1803 dans la florissante ville de Thessalie, Ampelakia<sup>11</sup>.

Passant au théâtre d'Odessa (p. 192—196), dont les débuts datent de 1814, Valsa cite es appréciations suivantes d'un périodique viennois : « On a représenté depuis quelques années sur le théâtre d'Odessa plusieurs drames écrits en grec moderne et qui ont obtenu non seulement les applaudissements des Grecs, mais ceux aussi des étrangers de toutes les nations que le commerce attire dans cette ville » (p. 193). Plusieurs comptes rendus sur les représentations d'Odessa furent publiés dans la revue viennoise *Λόγιος Ἑρμῆς*. Les pièces du répertoire avaient pour la plupart un contenu historique et on y mettait en évidence le patriotisme et l'abnégation des héros. Par exemple, *Thémistocle*, le drame historique de Métastase, *Philoctète*. de Nikolaos Pikkolos, *La Mort de Démosthène* du même Pikkolos, et d'autres encore. L'auteur mentionne seulement les représentations données jusqu'à l'hiver 1818—1819. Le chapitre aurait pu continuer avec d'autres représentations données en 1820. Nous savons avec certitude qu'en octobre 1820 deux tragédies de Voltaire furent également représentées à Odessa : *le Phanatisme* et *la Mort de César*. Ces représentations eurent un tel succès, que des comptes rendus furent publiés dans plusieurs périodiques du temps.

Les rôles principaux furent interprétés par Spiros Dracoulis, qui jouait également dans les représentations italiennes et était applaudi par les étrangers mêmes comme un seconds Damarin<sup>12</sup>. Dracoulis s'enrôla en 1821 dans le Bataillon Sacré et tomba à la bataille de Drăgășani. Un an après, en 1822, quelques compagnons d'armes de Dracoulis, de retour à Odessa, y donnèrent en sa mémoire une représentation de la tragédie de Sophocle, *Philoctète*, dans la traduction néo-grecque de N. Pikkolos<sup>13</sup>. L'auteur clôt le chapitre sur *Le théâtre à Odessa* avec les appréciations suivantes : « Notons, pour terminer, que la communauté grecque d'Odessa, loin du contrôle turc, n'avait nullement à se préoccuper de ne pas déplaire au Divan. Tout au contraire, le gouvernement russe, pour les fins de sa propre politique, devait favoriser en sous-main pareilles manifestations patriotiques » (p. 197).

I. Philimon, *Δοκίμιον ιστορικὸν περὶ τῆς ἑλληνικῆς ἐπικρασίας* [Récit historique sur la révolution grecque], Athènes, 1859, vol. II, pp. 133—134 ; Ioan Ghica, *Scrisori către Vasile Alecsandri* [Lettres adressées à Vasile Alecsandri], Buc., 1887, p. 44.

<sup>10</sup> Ariadna Camariano, *Spiritul revoluționar francez și Voltaire în limba greacă și română*. [L'esprit révolutionnaire français et Voltaire dans les langues grecque et roumaine], Bucarest, 1946, p. 125.

<sup>11</sup> J. L. S. Bartholdy, *Voyage en Grèce, fait dans les années 1803 et 1804*, traduit de l'allemand par A. du C\*\*\*, Paris, 1807, vol. I, p. 112.

<sup>12</sup> Voir « *Λόγιος Ἑρμῆς* », 1821, p. 114 ; « *Zeitung für die elegante Welt* », Leipzig, 5 juillet, 1821, colonne 1032, et « *Revue Encyclopédique* », III<sup>e</sup> année, 1821, vol. IX, p. 605.

<sup>13</sup> « *Revue Encyclopédique* », IV<sup>e</sup> année, 1822, vol. XIV, p. 191, et « *Zeitung für die elegante Welt* », Leipzig, 23 juillet 1822 ; cf. aussi Ariadna Camariano, *Spiritul revoluționar*, p. 121.

Dans la seconde partie, divisée en 5 chapitres, l'auteur traite les sujets suivants : chap. I — *Le Théâtre grec jusqu'à 1840* ; chap. II — *De l'arrivée d'Aristias à Athènes à la chute d'Othon* ; chap. III — *De 1862 au « Komeidyllion »* ; chap. IV — *Le « Komeidyllion »* et chap. V — *Le Théâtre grec autre que le « Komeidyllion » à la fin du XIX<sup>e</sup> siècle.*

A ce que dit Valsa, à la page 277, concernant les représentations de Constantinople, il faut également ajouter le fait que le consul russe Zaharov a beaucoup encouragé les jeunes acteurs dilettantes et leurs représentations patriotiques. Dans sa maison se rassemblaient, en 1815, plusieurs grecs qui s'occupaient des représentations des pièces de Rizo Neroulos : *Aspasie* et *Polyxénie*. Mais les autorités, informées que dans la maison du consul se rassemblaient des jeunes gens portant des casques et des armes, bien que ces casques fussent en carton et les armes de bois, interdirent les réunions et, ainsi, les représentations prirent fin <sup>14</sup>.

Les quelques observations faites ci-dessus ne modifient nullement la valeur de ce travail. L'importante étude de Valsa est très intéressante également en raison de la méthode utilisée pour traiter le sujet. Elle n'est pas uniquement l'histoire de la scène grecque dans divers coins de l'Europe. On y trouve le répertoire des différentes scènes, l'analyse littéraire des pièces et la biographie, plus ou moins complète, des dramaturges grecs. Dans ce travail de valeur, le lecteur trouve une riche moisson d'informations.

*Ariadna Camariano-Cioran*

*Poezii Văcărești. Versuri alese. Ediție îngrijită de Elena Piru, cu o introducere de Al. Piru* [Choix de poésies des Văcărescu. Edition publiée par les soins d'Elena Piru, avec une introduction d'A. Piru], Bucarest, 1961, Editions pour la littérature, in-8°, LXXXI + 316 pages, et 13 planches.

Cette édition des poésies des Văcărescu était attendue avec impatience. En effet, le œuvres poétiques des membres de cette famille ont donné lieu à tant de confusions que le besoin se faisait sentir d'établir enfin clairement la paternité de chacun d'entre eux.

L'ouvrage s'ouvre sur une introduction d'A. Piru, (p. V à LXXVII) où nous trouvons une biographie de chacun d'entre eux ainsi que des appréciations critiques sur l'activité littéraire, historique et poétique de Ienăchiță, Alecu, Nicolae et Iancu Văcărescu. Suit un « Avant-propos » où Elena Piru (LXIX—LXXXI) énumère les manuscrits dans lesquels elle a sélectionné les poésies présentées dans l'ouvrage, puis nous expose la méthode choisie pour la publication de ces textes du XVIII<sup>e</sup> et du XIX<sup>e</sup> siècles. Viennent ensuite les poésies des Văcărescu, suivies d'une bibliographie élaborée par A. Piru (p. 291—295), d'un glossaire de mots anciens ou d'origine étrangère (p. 297—303), d'une table des illustrations et enfin d'une table des matières.

Pour mieux faire comprendre la poésie des Văcărescu, A. Piru estime nécessaire de diviser l'histoire de cette famille en deux époques distinctes : l'une qui va de 1770 à 1800, avec Ienăchiță et Alecu Văcărescu, où l'influence grecque est dominante, l'autre qui va de 1800 à 1847, avec Nicolae et Iancu Văcărescu, et où c'est l'influence occidentale qui l'emporte, mais où l'inspiration comme la facture de chacun d'entre eux demeurent le plus souvent originales.

Parlant de Ienăchiță Văcărescu, A. Piru souligne combien sa grammaire eut d'importance pour l'unité et le progrès de la langue roumaine. Prenant le contre-pied des philologues latinisants, Ienăchiță Văcărescu ne propose pas d'éliminer les mots slaves du roumain. Au

<sup>14</sup> Voir Ariane Camariano, *Le théâtre avec . . .*, p. 385.

contraire, il le veut aussi riche que possible, de sorte que l'on puisse plus facilement traduire les ouvrages scientifiques en roumain; aussi recommande-t-il, pour enrichir le vocabulaire, d'y introduire des néologismes pris à la langue grecque.

En ce qui concerne le poème antiottoman, *Trîmbița romînească* [Le Clairon Roumain] nous avons établi, il y a déjà quelques années, que nous sommes en présence d'une adaptation à la cause roumaine, et nullement d'une traduction de la célèbre marche d'Adamantis Coray, et que cette adaptation fut faite après 1821, et non pas après 1800<sup>1</sup>. Parlant de la poésie *Amârîtã turturea* [Triste tourterelle], A. Piru admet, comme nous l'avons montré, que Văcărescu prit incontestablement pour modèle une poésie grecque parue dans un livre d'Athanase Psalidas, *Les Effets de l'Amour*. Cependant, il est bon de savoir que la poésie grecque parue dans *Les Effets de l'Amour* n'est pas l'œuvre d'Athanase Psalidas, mais celle d'un auteur inconnu, que Psalidas tira de l'un de ces recueils anonymes dénommés «pêle-mêle», qui circulaient alors sous forme de manuscrits.

Aux pages XXIV et XXV, A. Piru, influencé par un article de N. H. Gheorghiu<sup>2</sup>, écrit que : « Parmi les poésies grecques de Ienăchiță Văcărescu, l'une d'elles, un chant intitulé *Mê δυστυχίας πολεμῶ*, fit le tour de l'Europe, grâce au livre de P. A. Guys, *Voyage littéraire de la Grèce, ou Lettres sur les Grecs anciens et modernes*, Paris, 1771. G. L. S. Bartholdy en donna une traduction en français en 1805, puis une autre en allemand en 1807. Le manuscrit original de la poésie étant tombé dans la possession de l'orientaliste G. A. Buchon, celui-ci le prêta à L. J. N. Lemercier, qui traduisit à son tour la poésie en français et la publia dans le second tome de son recueil *Chants héroïques des montagnards et matelots grecs*, Paris, 1825 ».

Or, comparant le texte de Guys avec la traduction de Bartholdy, nous constatons des différences assez sensibles. Si libres qu'aient été ces traductions, nous avons peine à croire que les traducteurs se soient permis de changer certaines idées fondamentales de la poésie grecque. Par exemple, la fin diffère complètement de l'une à l'autre traduction. Alors que dans la poésie de Guys, le poète exclame : « Désespéré, je cours à mes voiles que j'embrasse pour m'abîmer ou pour me sauver avec elles », celle de Bartholdy se termine de la façon suivante : « Oui, à l'instant même où tout semble perdu pour toi, et où tu te figures qu'il ne te reste plus qu'à t'abandonner au désespoir, peut-être que le destin travaille à préparer la délivrance ».

Dans la première poésie, le poète met son dernier espoir dans le mât du bateau; il sera sauvé, ou il s'abîmera avec lui. Dans la seconde, c'est dans le destin qu'il place toutes ses espérances.

Ces différences, et d'autres encore, nous firent soupçonner que Guys et Bartholdy ne traduisirent pas la même œuvre. Et, en effet, nous avons découvert deux poésies grecques; l'une qui est l'original de la traduction de Guys, l'autre, celui de la traduction de Bartholdy. Par conséquent, les traductions de Guys et de Bartholdy n'ont pas le même prototype grec. Les deux poésies, aussi bien l'original de Guys que celui de Bartholdy, figurent dans le livre d'Athanase Psalidas, *Les Effets de l'Amour*<sup>3</sup>. Or, comme nous l'avons déjà montré à d'autres occasions, l'auteur des *Effets de l'Amour* a pris plusieurs poésies parmi celles qui circulaient alors sans nom d'auteur et les a intercalées dans son livre. Quant à la troisième traduction;

<sup>1</sup> Voir Ariadna Camariano-Cioran, *Despre poema patriotică anti-otomană « Trîmbița romînească »* [Au sujet du poème patriotique antiottoman « Le Clairon Roumain »], dans « Studii și materiale de istorie medie », tome II, 1957, p. 461.

<sup>2</sup> Voir « Viața Romînească », n° 12, 1939, p. 43—57.

<sup>3</sup> L'original grec traduit par Guys se trouve à la page 154, celui de Bartholdy à la page 104—105.



celle de Lemercier, bien que nous ne connaissions pas le prototype grec, les différences par rapport aux deux autres textes nous font penser que Lemercier ne traduisit ni l'original de Guys, ni celui de Bartholdy. En effet, dans la traduction de Lemercier, le poète n'attend le salut ni des mâts, ni du destin, mais il croit que la persévérance sera plus forte que la mort, que le courage sauvera l'homme du naufrage.

Ceci dit, voyons si la poésie traduite par Guys peut être attribuée à Ienăchiță Văcărescu. Pour notre part, nous doutons que cette poésie grecque soit l'œuvre du premier des poètes de la famille Văcărescu. En effet, aucune précision, aucune preuve n'est venue jusqu'ici témoigner que Ienăchiță ait écrit des poésies en langue grecque. Tout au plus lui a-t-on attribué quelques poésies religieuses, mais, même là, A. Piru (p. XX) doute qu'il en soit réellement l'auteur. Si la poésie „Μὲ δυστυχίας πολέμῳ” était l'œuvre de Ienăchiță Văcărescu, elle devrait pour le moins figurer dans l'un des manuscrits de la Bibliothèque de l'Académie de la R.P.R. où l'on trouve, avec d'autres œuvres, les poésies des Văcărescu. Or, Elena Piru, qui a pourtant étudié minutieusement tous les manuscrits des poésies des Văcărescu pour élaborer la présente édition, n'a sûrement dû trouver aucune poésie grecque de Ienăchiță Văcărescu, puisque son ouvrage ne comprend aucune poésie de ce genre<sup>4</sup>.

Quant aux œuvres poétiques d'Alecu Văcărescu, nous constaterons que l'ouvrage d'Elena Piru, outre ses poésies roumaines, nous donne 9 traductions en roumain de ses poésies grecques. Précisons que ces poésies grecques d'Alecu Văcărescu, de concert avec des poésies érotiques dues à des poètes grecs, circulaient dans ces « pêle-mêle » si recherchés à l'époque, et d'où Athanase Psalidas, Rigas Velestinlis, Zisi Dauti et D. Fotino tirèrent tout ce qui leur parut susceptible d'être introduit dans leurs propres ouvrages.

Ainsi, la poésie n° 3 (p. 45—46) : *Ciel, entendas-tu jamais* (Εἰς τὰς ἀκούας σου πότε θεὸς ἠὲ φθάσων οὐρανῷ) figure dans *Le Nouvel Erotocrite* de D. Fotino, tome I, p. 37; de plus, outre les copies existant dans les manuscrits roumains n°s 287 et 3.238, qui fournirent à Elena Piru les textes publiés par ses soins, une autre copie figure également dans le manuscrit roumain n° 322, p. 22. La poésie n° 4 (p. 46) *Cœur malheureux, tu es fou de croire encore* (Κοκορλιζικό μου στῆθος ἂν καὶ τῶρα πᾶ ἀφρονῆς) figure elle aussi dans *Le Nouvel Erotocrite*, tome I, p. 92—93.

En ce qui concerne la poésie satirique du numéro 8 (p. 47—51), *Sans timidité ni calcul, le monde entier te ment, te trompe* (Τὸ ἀσυστόλωσ ὁ κόσμος ὅλος ἐφθασε νῆναι ψευτιᾷ καὶ δόλῳ) nous tenons à faire quelques précisions. Cette poésie d'Alecu Văcărescu connut une vogue extraordinaire. Nous la retrouvons soit publiée, soit dans plusieurs manuscrits et dans plusieurs pays. Zisi Dauti nous l'a donnée dans son anthologie *Διάφορα ἠθικά καὶ ἀστεῖα στιχογραφήματα* (*Choix de poésies morales et plaisantes*), Vienne, 1818, p. 88. Dans la préface à son anthologie, Dauti rappelle que, du temps où il se trouvait, bien des années auparavant, à Jassy et à Bucarest, il recueillit, dans divers « pêle-mêle » appartenant à ses amis, plusieurs poésies, dont il nous donne un certain nombre dans son édition de 1818, le reste devant paraître à une autre occasion. Cette déclaration de Dauti prouve éloquemment que les poésies d'Alecu Văcărescu circulaient sans nom d'auteur sous la forme de manuscrits. Des copies de cette poésie satirique figurent dans le manuscrit roumain de la Bibliothèque de l'Académie de la R.P.R. n°s 287, 3.238 et dans le manuscrit grec n° 653, f. 47. Une autre se trouve au Mont Athos (voir Eustratiadis Sophronios and Arcadios, *Catalogue of the Greek*

<sup>4</sup> Pour plus amples détails sur cette poésie grecque, voir Ariadna Camariano-Cioran, *Cîntece populare și versificații fanariote ale Grecilor și ale Românilor din sec. al XVIII-lea și al XIX-lea* [Chants populaires et versifications phanariotes des Grecs et des Roumains du XVIII<sup>e</sup> et du XIX<sup>e</sup> siècles], dans « Διογرافία », tome XVIII, 1959, p. 96—102 et p. 108.

*manuscripts in the library of the monastery of Vatopedi on Mt Athos*, Cambridge, 1924, p. 141, manuscrit 722, f. 17<sup>r</sup> — 19<sup>r</sup>). Dans l'excellent ouvrage de L. Vranoussis, *Οἱ Πρόδρομοι* (Les Précurseurs), Athènes, 1955, p. 73, l'auteur nous donne une abondante bibliographie de cette poésie d'Alecu Văcărescu. Nous y apprenons que ces vers figurent dans le supplément grec n° 729 de la Bibliothèque Nationale de Paris, f. 76—77; or, cette copie est d'autant plus intéressante que, en tête de la poésie, nous trouvons également le nom de son auteur : Ἀλέξανδρος Βακαρέσκος. Dans un manuscrit qui se trouve à la métropole d'Arghyrocastron, la poésie porte le titre suivant : Στίχοι ὠραιῖτατοι εἰς τὴν ματαιότητα τοῦ κόσμου (*Très beaux vers sur l'inanité de ce monde*)<sup>5</sup>. Tirés d'un vieux manuscrit de Thessalie, les mêmes vers ont paru dans la revue « Προμηθε΄ς », à Valos (I<sup>ère</sup> année, 1898, n° 125, p. 288—290), sous le titre : Ὁ κόσμος. Ποίημα Δημητράκη Τζιλάκογλου (*Le monde, poésie de Démètre Gilacoglou*). Une autre copie figure dans un manuscrit de la bibliothèque d'Almiros et a paru, présentée comme étant également l'œuvre de Démètre Gilacoglou, sous le titre Σάτυρα τοῦ κόσμου (*La satire du monde*)<sup>6</sup>. Dans la bibliothèque de Cozani, figure un manuscrit de Michel Perdicaris, écrit en 1805; à la fin du manuscrit, l'auteur a également transcrit la poésie de Văcărescu, sous le titre Ἄνων. ἴμου ποιημάτων (*Poésie d'un auteur anonyme*). A côté de cette poésie, sur la même page, Perdicaris a écrit une parodie des vers du poète roumain, sous le titre : Εἰς τὸ αὐτὸ ἀντροπή Μ. Π. (*Contre cette poésie*, M.P.).

Comme on le voit, la poésie d'Alecu Văcărescu fut copiée ou publiée sous différents titres, accaparée par un certain Démètre Gilacoglou, et parodiée par M. Perdicaris. De plus, nous possédons aussi deux traductions en roumain de la poésie d'Alecu Văcărescu. L'une figure dans le manuscrit roumain n° 1139 de la Bibliothèque de l'Académie de la R.P.R., f. 377—378<sup>7</sup>. L'autre, indépendante de la première, figure, avec le texte grec, dans un manuscrit qui appartient à Octav Erbiceanu<sup>8</sup>. Cette copie est intéressante en ce sens que son titre confirme la paternité d'Alecu Văcărescu. En effet, elle est intitulée : Ἡ κάτωθεν σάτυρα Ἀλεξάνδρου Βακαρέσκου (*La satire ci-dessous est d'Alexandru Vacarescoglou*).

Si nous avons jugé nécessaire de faire toutes ces précisions, c'est parce qu'elles soulignent que la poésie d'Alecu Văcărescu connut une très grande vogue. Alors qu'en ce qui concerne Ienăchiță Văcărescu, nous ne saurions dire qu'il « fut populaire en Occident » puisque la poésie qu'on lui attribue n'est pas de lui, par contre, nous pouvons le dire d'Alecu Văcărescu, car sa satire le fit en effet largement connaître tant en Occident qu'en Orient.

Le manuscrit roumain n° 332 renferme plusieurs poésies grecques des Văcărescu, ainsi que des copies. On ne peut que regretter qu'Elena Piru n'ait pas résolu la question de savoir si ces poésies grecques sont l'œuvre des Văcărescu et plus exactement duquel d'entre eux et si Alecu Văcărescu, seul, écrivit des poésies grecques, ou bien si les autres poètes de sa famille en firent autant, vu que nombre de ces poésies furent largement répandues.

<sup>5</sup> N. Bees, Κατάλογος τῶν χειρογράφων κωδ.κων τῆς ἀγιωτάτης Μητροπόλεως Ἀργυροκάστρου (Catalogue des manuscrits de la sainte métropole d'Arghyrocastron), manuscrit n° 17, f. 145<sup>r</sup>, dans « Ἐπετηρὶς τοῦ Μεσαιωνικοῦ Ἀρχείου », tome IV, 1951—1952, Athènes, 1953, pp. 194—195.

<sup>6</sup> At. I. Spiridachis, Ποίησις ἐν Θεσσαλίᾳ κατὰ τὸν ΙΗ' αἰῶνα (*La poésie en Thessalie au XVIII<sup>e</sup> siècle*), paru dans la revue « Ἀθήναι », IV<sup>e</sup> année, 1911, p. 3.005.

<sup>7</sup> Publiée par Ion Vîrtosu dans *Correspondența literară între Nicolae și Iancu Văcărescu, 1814—1817* [La correspondance littéraire de Nicolae et Iancu Văcărescu, 1814—1817]—Bucarest, 1953, p. 49—50.

<sup>8</sup> Cette traduction ainsi que le texte grec ont été publiés par les soins de Constantin Erbiceanu dans « Biserica ortodoxă română » [« L'Eglise orthodoxe roumaine »], an XXI, 1897, p. 324—325.

Il serait également intéressant de savoir comment les poésies grecques des Văcărescu furent appréciées de leur temps.

Cette édition des poésies des Văcărescu, exécutée avec beaucoup de soin, sélectionnant leurs poésies les plus représentatives, et qu'accompagne une ample étude introductive, vient combler un vide depuis longtemps ressenti.

*Ariadna Camariano-Cioran*

NOVAK, VYLKO, *Die Erforschung der slovenischen Volksdichtung in den Jahren 1920—1959*, dans « *Zeitschrift für slavische Philologie* », XXIX, 1960—1961, cahier 1, p. 183—199.

Ce rapport rédigé par V. Novak (Ljubljana) donne un aperçu quasi complet de l'évolution des études consacrées au folklore slovène au cours de quarante années, jusqu'à une date des plus récentes. L'auteur prend non seulement en considération les travaux publiés en volume, mais aussi ceux dispersés dans les pages des revues les plus diverses. De même, il ne se contente point de passer en revue l'activité des chercheurs slovènes, mais mentionne également les folkloristes étrangers qui se sont occupés de la création populaire slovène.

Considérant peu fructueuses les recherches effectuées au XIX<sup>e</sup> siècle, du fait de leur tendance aux interprétations mythologiques, V. Novak estime que l'étude du folklore slovène « a emprunté la bonne voie » à peine au commencement du XX<sup>e</sup> siècle. Là est la raison pour laquelle il a choisi l'année 1920 comme point de départ de son rapport, car c'est depuis lors que se fait sentir l'activité de deux des représentants les plus marquants de l'étude « réaliste » du folklore slovène : K. Stakelj et M. Murko. En quoi consiste cette direction réaliste, c'est ce que l'on apprend des appréciations admiratives portées sur l'activité d'Ivan Grafenauer, slaviste et germaniste, historien de la littérature et linguiste, qui utilise ces disciplines dans la recherche ethnographique considérée surtout comme une histoire de la culture populaire. Pareillement, V. Novak nourrit de l'estime à son égard du fait que « contre la thèse de A. Götze et J. Meier relative à une distinction entre les « chants primitifs » des peuples à l'état de nature et le « chant populaire » des peuples civilisés, I. Grafenauer établit, grâce aux faits ethnographiques, qu'il n'y a pas de différence entre eux ». Citant l'étude dont France Kotnik a fait précéder son recueil de prose populaire slovène, l'auteur souligne que ce dernier « tire au clair le fond historique et local des êtres relevant du domaine des mythes et de celui des contes, qui apparaissent dans ces récits ». Pour le reste V. Novak est d'avis que traiter scientifiquement le folklore consiste à le recueillir fidèlement, à l'éditer avec appareil critique, à en indiquer les variantes, à déterminer l'origine, culte ou populaire, des différentes créations orales et de leur circulation d'un peuple à l'autre, à l'aide de la méthode du folklore comparé.

Les travaux des folkloristes cités par V. Novak — même quand il n'a en vue que la création orale des Slovènes — peuvent être utiles dans une large mesure aux spécialistes du folklore des autres peuples balkaniques, par suite des étroites relations politiques et culturelles de ces derniers à travers leur histoire. De la très longue énumération d'auteurs et de travaux dont fourmille ce bulletin, nous choisirons de préférence les moments qui trouvent un parallélisme dans le folklore roumain.

C'est ainsi que nous signalerons les études du slaviste Alojzij Res et de l'historien de la littérature France Kidrič à propos des prémisses et de l'évolution du concept de folklore chez les romantiques slovènes. Les études d'Ivan Grafenauer au sujet de la ballade populaire *Lepa Vida* et du thème du « Maure » qui repose à sa base, sont très utiles, car des héroïnes de jeunes filles enlevées par des Turcs ou des Tartares, où de femmes séduites sur le vaisseau de l'« Arabe », ou encore de celles qui préférèrent se jeter dans le Danube ou dans la mer plutôt que de devenir esclaves.

ves, ne sont par rares non plus dans les chansons épiques roumaines du genre de *Kira, Ilincuța Sandrului*, etc. Si la ballade slovène *Lepa Vida* reflète, d'après les recherches de I. Grafenauer, des circonstances des environs de la Méditerranée, datant des IX<sup>e</sup>—XI<sup>e</sup> siècles, notre cycle danubien — si étroitement apparenté à celui des Serbes et des Bulgares — reflète des événements historiques bien plus tardifs, des XV<sup>e</sup>—XVII<sup>e</sup> siècles, qui se sont déroulés à proximité du grand fleuve. De même, si les ballades akritiques grecques dont parle St. Kyriakidès dans d'autres études ont leur source historique dans les escarmouches de frontière, à l'Euphrate, entre Byzantins et Sarrazins, le cycle héroïque du Danube regarde des luttes beaucoup plus récentes des peuples de ses bords avec les Turcs, notamment au voisinage de cette artère.

Le travail consacré par Gregor Čremošnik à la « chanson militaire slovène » présente lui aussi un large intérêt, car il détermine « les événements historiques de l'évolution de l'armée et de la guerre qui ont trouvé leur expression » dans cette chanson. La méthode du folkloriste slovène — qui essaye de dater les différents chants à l'aide de détails relatifs à l'uniforme, à l'armement, aux drapeaux, etc. qu'on y retrouve — est pleine de suggestions aussi pour l'étude de nos chansons de soldats. Tout aussi intéressante pour les folkloristes des peuples balkaniques s'avère de même l'étude du même auteur sur les gens du peuple — notamment sur les chanteurs et les poètes issus des rangs des paysans slovènes — qui ont écrit, compilé ou copié des livres populaires.

L'introduction de Jakov Kelemina à la prose populaire slavonne — étude d'un type plutôt comparatiste — est suggestive pour la façon dont elle range en système les récits populaires, système proposé sur le modèle de celui de Tylor, lequel a à sa base les principaux personnages desdits récits. Dans ses études sur la prose populaire slovène, Ivan Grafenauer applique une fois de plus sa méthode historico-culturelle qui lui permet de suivre les différentes couches historiques de cette prose. Son étude sur les croyances slovènes relatives aux fées qui prédisent au nouveau-né son destin (« ursitoare » en roumain) offre maintes contingences avec nos préoccupations dans ce domaine et plus d'une érudite digression comparative dans le folklore universel. Les recherches de I. Grafenauer et celles de Milko Matičetov au sujet des légendes slovènes axées autour de la figure historique du « kral [roi] Mathias » ouvrent des perspectives nouvelles à l'étude parallèle du cycle similaire roumain, celui des traditions se rattachant à Etienne le Grand avec lequel elles présentent des motifs communs, comme celui du glaive du héros enfoui sous terre ou celui de la vierge, adroite et pauvre, qui sait gagner l'estime du héros et s'en fait épouser.

Signalons encore pour l'intérêt qu'il présente pour les folkloristes des peuples balkaniques le travail de Sergij Vilfan sur les institutions sociales et juridiques, telles qu'elles se reflètent dans la création orale slovène, ainsi que les études de Milko Matičetov sur l'état actuel du récit chez les Slovènes.

Le rapport de V. Novak contribue par conséquent non seulement à nous informer au sujet de la création orale de l'un des peuples de la communauté historique des Balkans, mais aussi à développer un fécond échange de vues relativement à l'étude du folklore de chacun de ces peuples.

*Ovidiu Papadima*

KORDATOS, IANIS, *Histoire de la littérature néo-grecque de 1453 à 1961*, Préface de Costas Varnalis, Athènes, 1961, 446 p.

A l'encontre des histoires littéraires précédentes, de Ilias Vutieridis, Aristos Kambanis, K. Th. Dimaras et Glaukos Alithersis, Ianis Kordatos entreprend l'étude du développement de la littérature néo-grecque sur la base de la méthode de recherche marxiste, l'auteur insistant sur les

conditions politiques, économiques et sociales dans lesquelles ont été conçues les œuvres étudiées et en fonction desquelles il analyse leur contenu. La méthode utilisée conduit à des conclusions nouvelles et intéressantes, différentes de celles des historiens et critiques littéraires connus jusqu'ici, dont les analyses et les interprétations sont toujours stéréotypées.

Les problèmes traités sont les suivants : Poésies politiques créées pendant les deux premiers siècles de la domination turque ; Littérature cyprote et rhodienne ; Littérature crétoise ancienne ; Littérature grecque des années qui ont suivi la chute de Constantinople ; Période de transition. Recherches spirituelles et orientations venues de l'extérieur ; Chants populaires ; L'éveil national et Rigas Velestinlis ; La lutte des idées ; La littérature néo-grecque des années d'avant la Révolution de 1821 ; Le problème de la langue avant la période de 1821 ; Le théâtre néo-grec dans les dernières années d'avant la Révolution ; La lutte ; Andréas Kalvos ; Dionysios Solomos. Coup d'œil critique ; Les écrivains phanariotes et le romantisme ; L'école athénienne ; L'école de l'Heptanèse ; Les premiers prosateurs ; Les concours poétiques et la critique ; La nouvelle école d'Athènes ; Le problème de la langue et la nouvelle offensive du démoticisme ; Les premiers pallikares de Psycharis ; Le théâtre néo-grec des années qui ont suivi la révolution de 1821 ; L'influence du mouvement ouvrier sur la poésie ; L'orientation de la prose vers la description des mœurs ; Le mouvement démoticiste et les remous spirituels du début de notre siècle ; Costis Palamas et la critique de son œuvre ; Les écrivains rouméliotes contemporains de Palamas ; Les derniers écrivains de l'Heptanèse ; Remous et tendances nouvelles de l'École athénienne ; La prose aux environs des premières années de notre siècle ; Les écrivains groupés autour de la revue « Numas ».

Le volume s'achève sur la présentation de la revue « Numas » qui, surtout entre les années 1907—1917, fut une tribune du haut de laquelle retentirent les idées socialistes et progressistes et la seule revue qui ait fait preuve d'esprit combatif.

Parmi les problèmes posés par le regretté Kordatos, nous mentionnerons en premier lieu celui de la périodisation de la littérature grecque. Ianis Kordatos ne recherche pas les débuts de la littérature néo-grecque dans l'ancienne Hellade ou à Byzance, se distinguant de la sorte nettement de ceux qui ont soutenu et soutiennent encore cette théorie.

Il considère que les débuts de la littérature néo-grecque datent pourtant du XVIII<sup>e</sup> siècle, ce qui nous semble justifié, puisque aux deux premiers siècles de la domination turque la Grèce continentale gisait dans le marasme. Des milliers de Grecs avaient pris le chemin de l'Italie, de la France, de l'Autriche, de la Hongrie, des Pays-Bas, des Pays roumains et de la Russie.

Les îles Ioniennes et l'île de Crète faisaient exception à cette situation. Mais le hasard avait voulu que les Grecs qui s'étaient expatriés n'aient pas mis leurs œuvres au service du peuple, mais à celui des Grecs instruits et du clergé. C'est pourquoi leurs œuvres n'ont eu aucun écho dans la conscience des masses du peuple. Ainsi, alors que les pays d'Occident étaient à l'aube du capitalisme, en Grèce persistait encore l'économie en circuit fermé, les produits ne satisfaisant que les besoins du marché interne. L'existence de l'homme se déroulait en stricte dépendance des éléments de la nature (Introduction, p. 19). Cette dépendance conférait aux masses un sentiment d'impuissance, d'insuffisance, ce qui les détermina à diriger leurs regards et leurs espoirs vers des puissances divines, surnaturelles. Une autre idée développée dans l'« Introduction » est celle du rôle du Patriarcat constantinopolitain, considéré par certains érudits comme le sauveur de l'hellénisme. « B'en des érudits grecs — déclare Kordatos — ont soutenu que le Patriarcat œcuménique est celui qui a maintenu vive la flamme de l'hellénolâtrie par l'entremise de l'École du Patriarcat, ainsi que par les autres écoles qu'il avait créées ». Mais l'auteur réduit le rôle du Patriarcat à ses véritables proportions de défenseur de la tradition chrétienne orthodoxe,

contre le credo et l'offensive catholiques. Cette perspective n'empêche pas Kordatos de reconnaître l'attitude nettement patriotique et progressiste de certains ecclésiastiques (p. 20).

Sur la ligne de la reconnaissance de l'apport des facteurs progressistes, l'auteur situe dans une lumière nouvelle des personnalités telles que Démètre Catargi ou Photiadis, parvenu, en Valachie, au rang de grand logothète, précurseur du courant psycharien pour l'introduction de la langue du peuple comme langue littéraire, à la place de la « katharevousa » qui freinait la démocratisation de l'enseignement et de la culture en Grèce. Démètre Catargi ou Photiadis, né vers 1720—1725 à Constantinople, bien qu'éduqué dans les traditions créatrices qu'il avait reçues dans l'aisance de sa famille, fut influencé par l'illuminisme français et par les encyclopédistes. Son ouvrage provoqua un vif intérêt. Il élaborait une métrique néo-grecque, une grammaire du grec ancien en grec nouveau et une grammaire de la langue néo-grecque (p. 116).

Mettant en valeur les dernières études, telles que celles de G. Lafo concernant Athanase Psalidas, Kordatos présente ce dernier comme un adversaire décidé des idées révolutionnaires françaises et des démocrates grecs de Trieste, dont il poursuivait l'extermination.

Dans le chapitre intitulé « l'Histoire de la littérature néo-grecque des années d'avant la Révolution de 1821 », il étudie les œuvres des écrivains enrégimentés dans la fameuse « Hétaïrie », dont l'activité littéraire et conspirative s'est déroulée et s'est fait sentir dans les Balkans, tels que Panaïotis Andronicos, Stephanos Canellos, K. Kokinakis.

L'évolution de la nouvelle néo-grecque est étudiée en tenant compte des conditions nouvellement créées à la prose néo-grecque (chap. 25). Comme on le sait généralement, la prose néo-grecque s'est développée indépendamment de la poésie — qui s'était orientée vers le romantisme. Les écrivains renoncent à s'inspirer de l'histoire, s'intéressant aux aspects de la vie contemporaine. C'est le chemin que prennent Démètre Vikelas avec Loukis Laras, Georges Drosinis, Arghyris Ephtaliotis, Ianis Psycharis, Michel Mitzakis. Drosinis est attiré par la vie de province. Arghyris Ephtaliotis s'impose à l'attention par ses *Contes insulaires*, Ianis Psycharis suscite l'intérêt avec *Le rêve de Ghianiris* (1898), *La vie et l'amour dans la solitude* (1904). Un nouvelliste de valeur est Michel Mitzakis (1868—1916), disciple du réalisme en Grèce, écrivain de talent et doué de beaucoup d'esprit critique ; progressiste du point de vue des sujets qu'il traite, il s'avère rétrograde en ce qui concerne le problème de la langue, son opinion étant que les écrivains ont la liberté de créer leurs œuvres dans une langue quelconque, que les lecteurs sont obligés de comprendre. L'écrivain se bornait à cette affirmation, sans approfondir les choses. Il soutenait que la langue est « un problème d'idiosyncrasie littéraire, ce qui, finalement, signifie que chacun peut écrire comme il a envie ». En 1892 il fit même paraître une brochure sur les problèmes de la langue en Grèce. Bien qu'il fût un adepte de l'anarchie dans le problème de la langue, il ressort des pages écrites par lui en langue populaire qu'il était un véritable esthète. Son œuvre lyrique en prose *La Sainte-Vierge aux grands yeux* et quelques autres morceaux produisirent une forte émotion esthétique. Il n'a pu parachever son œuvre à cause d'une maladie psychique ; à partir de 1896 ses facultés intellectuelles ne le servirent plus pour créer.

Après avoir passé en revue l'œuvre d'Em. Lykoudis (1849—1925) et Ioanis Damverghis (1862—1928), l'auteur soumet à une critique minutieuse l'œuvre d'Alexandre Papadiamandis, considéré jusque récemment comme le coryphée de la prose néo-grecque, et dont le trait caractéristique est l'attachement à la tradition religieuse byzantine. Dépourvu d'idéal, se contentant de peu, Papadiamandis peina durement, faisant des traductions des langues modernes et écrivant des contes. Il vendait aux journaux tous ses produits littéraires — dit Kordatos — « pour un plat de lentilles » (p. 333). Kordatos dévoile même le fait que l'écrivain Ianis Vlachioianis lui arracha son ouvrage *l'Histoire de la révolution grecque* de Finlay, traduite en grec, pour une somme infime. Sur Papadiamandis, Kordatos est d'avis que son attitude d'isolement, diamétralement

opposée aux intérêts de la société qui lui imposait de servir ses intérêts, ainsi que l'attachement à l'égard des traditions religieuses, sont des éléments rétrogrades qui empêchent de lui conférer le titre de chef spirituel de la littérature néo-grecque (p. 339—340).

Un chapitre qui suscite un intérêt particulier est celui intitulé « La lutte » (p. 164—171), consacré à la littérature populaire créée pour soutenir la lutte révolutionnaire de 1821, et représentée par Panaïotis Kalas de Dimitzana, Théodorakis Grivas, Kolokotronis, Macryianis.

Le chapitre XXIV, intitulé « L'influence du mouvement ouvrier sur la poésie » (p. 326—330), nous fait découvrir que la première poésie reflétant les remous des masses ouvrières appartient à K. Zisios et qu'elle a paru en 1876 dans une revue (« L'ouvrier ») d'Athènes. Dans les rangs des poètes sympathisants du mouvement ouvrier à ses débuts, se trouvent Basile Doudoumas, originaire de Patras, Cléantis Triandaphilou, Dinos Théotokis, K. Hagiopoulos, Rigas Gollis, C. Varnalis, C. Paroritis. Bien des poésies de Basile Doudoumas, d'un contenu mobilisateur, étaient récitées aux fêtes ouvrières et ont vu la lumière de l'imprimerie dans la revue « La lumière », à Patras (1859).

Parmi les points de vue nouveaux qu'il établit sur bien des problèmes, le livre de Kor-datos, qui est une étude aux perspectives larges, animée d'un puissant esprit combatif, nous permet d'acquérir une vue d'ensemble du développement de la littérature néo-grecque, ainsi que de ses rapports avec le développement culturel des autres pays balkaniques et du sud-est de l'Europe.

Maria Marinescu-Himu

*Известия на Географския институт*, « Bulletin de l'Institut de Géographie », tome V, 1961, Editions de l'Académie bulgare des Sciences, Sofia, 1961, 224 p. Българска академия на науките. Отделение за геологически географски науки (Académie bulgare des Sciences, Département des sciences géologiques et géographiques).

Ce bulletin comprend, presque dans une mesure égale, des études de géographie physique et de géographie économique, avec un article nécrologique (l'académicien Strachimir Dimitrov) signé par le professeur I. Gylybov.

La partie de géographie physique débute par un article du géomorphologue soviétique Iu. A. Mestériakov, *Les surfaces d'aplanissement polygénétique et leur importance dans l'analyse des mouvements néotectoniques*. En se fondant sur des recherches effectuées sur le terrain par l'Institut de géographie de l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S. dans la région de la Volga inférieure, on arrive à la conclusion qu'on peut y dénombrer au moins quatre surfaces d'aplanissement (pliocène supérieur, pliocène inférieur — miocène supérieur, paléogène, crétacé). Toutes ces surfaces déformées se trouvent entre 600 m et — pour la surface paléogène — 500—600 m au-dessous du niveau de la plaine caspienne.

Les résultats obtenus permettent à l'auteur de faire certaines généralisations : toutes les surfaces d'aplanissement sont polygénétiques ; elles se forment surtout dans la zone labile située entre la terre et la mer et sont dues à une longue activité de compensation presque totale des processus endogènes et exogènes. Les études sur les déformations post-orogènes de ces surfaces doivent commencer par l'élaboration de *cartes de la structure géomorphologique*. L'article comprend quelques cartes de ce genre.

La seconde étude appartient à Ion Rădulescu : *Observations sur la géomorphologie de la côte roumaine de la mer Noire*. On insiste dans l'étude, qui a fait l'objet d'une communication présentée par l'auteur à Sofia, sur la géomorphologie du liman de Tatlageac.

Dans l'article *Le less et les formations lessoides délimitées par les vallées de l'Isker et de l'Ogosta* — étude analytique effectuée sur le terrain — l'auteur, Tz. Mikhailov, différencie

trois types de loëss (loëss typique à faible contenu de sable, loëss légèrement argileux et loëss argileux) et trois types de loëssoides (dans les zones de partage des eaux, sur les versants et sur les alluvions). Différents horizons de loëss sont également indiqués sur la verticale. En se fondant sur des analyses granulométriques et qualitatives on dénombre : des aleurites éoliennes aux approches du Danube ; plus au sud, des aleurites torrentielles et fluviales provenant des Balkans ; enfin, sur les versants des vallées du Skot et de l'Isker, des formations de loëss résultant des accumulations diluviales, proluviales et alluviales.

Dans une étude, complétée par une carte à l'échelle de 1/600 000, sur les caractéristiques générales de l'écoulement moyen des eaux en Bulgarie, R. Russev utilise des données de la période 1936—1955, afin d'établir *Le volume de l'écoulement moyen annuel des rivières de Bulgarie et certaines caractéristiques de ces écoulements*, telles que l'alimentation de l'écoulement fluvial, la répartition territoriale mensuelle du coefficient d'écoulement dans la variation annuelle de l'écoulement moyen. La recherche hydrographique est intégrée dans le complexe des facteurs physico-géographiques influant sur l'écoulement. Pour l'hydrographie roumaine, non seulement le texte, mais aussi la carte — comparée à celle de l'écoulement pluviannuel de la *Monographie géographique de la R.P.R.* — sont d'un intérêt particulier.

Tout aussi intéressantes sont les études de géographie économique.

Dans son article *Sur quelques problèmes de la répartition économique de la Bulgarie*, E. B. Valev prend comme point de départ la situation géographique propre à la Bulgarie et poursuit son reflet dans la nouvelle répartition des forces de production de ce pays. D'accord là-dessus avec la plupart des géographes bulgares, il envisage dans la R. P. B. 6 régions géographiques-économiques : 3 au nord et les 3 autres au sud des Balkans. Compte tenu des recherches en cours, l'auteur est d'avis que la solution proposée actuellement ne saurait être considérée définitive. Même s'il en est ainsi, le besoin d'une esquisse des 6 régions géographiques économiques se fait sentir.

Dans l'étude signée par I. Zafarizev et Gh. Gherozov, *L'exploitation agricole du fonds agraire en Bulgarie*, on poursuit et explique la répartition du fonds agraire par unités administratives économiques et on propose quelques solutions pratiques en vue de l'accroissement du pourcentage des terrains exploités — lesquels représentent aujourd'hui 54,51 % du fonds agraire total du pays : « L'organisation d'une mise en valeur rationnelle des terrains aura pour conséquence la mise à jour de réserves appréciables qui contribueront à augmenter la production agricole ».

Dans leur article sur *Le problème du développement et de la répartition géographique des raffineries de sucre en Bulgarie*, V. Valev et N. Mitchev montrent que la production de sucre est passée, en R.P. de Bulgarie, de 32 000 t par an avant la nationalisation, à 156 000 t en 1959/60 et qu'elle dépassera 332 000 t en 1970. On relève toutefois que la durée de la campagne est trop longue (113 jours) et que les terrains où l'on cultive la betterave à sucre sont trop éloignés des raffineries. L'auteur préconise la construction de raffineries de capacité moyenne (de 1 500 à 2 000 t de betterave à sucre par jour) dans le voisinage des champs de betterave (surtout dans le Nord de la Bulgarie, où l'on rencontre les conditions les plus favorables à la culture de la betterave à sucre).

Vintilă Mihăilescu



---

## Notices bibliographiques

Rédigées par : ABLAI. MEHMET (M.A.); ALEXANDRU. TIBERIU (T.A.); ALEXANDRESCU. PETRE (P.A.); ALEXANDRESCU. SORIN (S.A.); BARNEA. ION (I.B.); BERINDEL. IOANA (I.R.B.); CAMARIANO-CIORAN. ARIADNA (A. Cr.); CAMARIANO. NESTOR (N. Cr.); CONSTANTINESCU. AURELIAN (A.C.); CONSTANTINESCU. NICOLAE (N.C.); CRONT. GHEORGHE (G.C.); DAN. MIHAIL (M. D.); DIACONU. PETRE (P. D.); DUTU. ALEXANDRU (A.D.); FOCHI. ADRIAN (A.F.); FRANCES. ENRIC (E. Fr.); GIURESCU. DINU (D.C.G.); HERDA. SIMONA (S.H.); IANCOVICI, SAVA (S.V.); ILIESCU, VLADIMIR (V. Il.); MEHMET. MUSTAFÁ (M.M.); MIHĂESCU, HARALAMB (H.M.); PĂTRUTIU. ION (I.P.); POPA. RADU (R.P.); SIMIONESCU. PAUL (P.S.); STAN. APOSTOL (A.S.); TULLIU. VENERA (V. T.); VILCEANU. DUMITRU (D.V.); VOICANA, MIRCEA (M.I.V.); VULCU MARIA (M.V.); VULPE. RADU (R.V.).

### Linguistique

PETROVICI, E. *Etymologie du toponyme VÎRCIOROVA*, «Studia Universitatis Babeş-Bolyai», series IV, fasc. 2, 1961, Philologia, p. 7-12.

*Vîrciorova* est le nom de deux villages, de deux ruisseaux et d'une forêt, tous situés dans la région sud-ouest de la République Populaire Roumaine (districts de Caransebeş et de Turnu-Severin). Le nom est d'origine sud-slave, *Vrcarevo* ou *Vrcareva*, d'un adjectif possessif dérivé de *vrcari*, *vrcuci* «pot».

L'auteur formule quelques importantes conclusions au sujet des idiomes parlés par les Slaves qui vécutent dans la région de *Vîrciorova* : le terme *vrcari* a pu exister aussi bien dans l'idiome des Slaves qui avait les réflexes *u*, *e*, *g* pour le sl. comm. *o*, *e*, *dj*, que dans celui où les mêmes sons ou groupes de sons du slave commun étaient représentés par *tn* (*tm*), *ea*, *jd*, *št* (*tj*, *kt*). L'isoglosse des deux idiomes slaves traversait la région où se trouve le toponyme *Vîrciorova*.

I. P.

BĂCESCU, MIHAI C., *Păsările tn nomenclatura și viața poporului romîn* [Les oiseaux dans la nomenclature et la vie du peuple roumain], Editions de l'Académie de la République Populaire Roumaine, Bucarest, 1961, 441 p., 38 figures et 5 planches.

L'ouvrage de M. C. Băcescu renferme dans sa première partie un index des noms populaires d'oiseaux recueillis à travers la littérature roumaine et complété à l'aide de termes nouveaux recueillis par l'auteur ; puis, des considérations critiques portant sur la

pseudo-nomenclature roumaine en matière d'ornithologie. La seconde partie s'attache à des considérations portant sur les oiseaux plus largement répandus et mieux connus du peuple roumain. Quant à la troisième partie, elle montre les rapports existant entre l'homme et les oiseaux du point de vue pratique, ainsi que le reflet que les volatiles ont laissé dans la poésie et l'art populaire roumains. La fin renferme une bibliographie détaillée, un index des localités enquêtées et une liste alphabétique des noms latins des oiseaux de la République Populaire Roumaine, accompagnés de leurs principales appellations populaires. C'est là un ouvrage bien composé et d'une sérieuse documentation et appelé à rendre des services non seulement aux naturalistes, mais même aux linguistes, aux ethnographes, etc.

H. M.

RUSSU, I. I., *Dacius Appulus, Contribuție la onomastica traco-dacică și illiră* [Contribution à l'onomastique thraco-dace et illyrienne], dans «Acta Musei regionalis Apulensis», Studii și Comunicări, IV, 1961, p. 85—95 (avec un résumé en français).

*Appulus* est un nom de tribu dace attesté par la poésie *Consolatio ad Liviam*, v. 387. Il se trouve à l'origine du nom de la localité *Apulum* (Alba-Iulia). Sa ressemblance avec le nom de la population messapienne des *Apuli*, en Italie méridionale, n'est pas due à un rapport direct, mais à la dérivation d'un seul et même thème indo-européen, qui, selon l'opinion plausible de l'auteur, devrait être *apel-apol* — «force», «puissance». L'épithète de «forts», «braves», pour le nom d'une vieille population d'origine indo-européenne n'est que dans l'ordre normal des choses.

R. V.

### Archéologie, Histoire

ZONTSCHIEW, D., *Der Goldschatz von Panagjurischle*, Berlin, 1959, Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Schriften der Sektion für Altertumswissenschaft, 16, 22 p. et des planches contenant 72 photographies en couleurs, prises par Helga Reusche.

Cet ouvrage du regretté savant bulgare Dimităr Tzontcheff, qu'une mort soudaine vient d'arracher à la science archéologique, est un splendide album consacré au fameux trésor découvert en 1949, près de la ville de Panaghiorishtë, en Bulgarie et conservé actuellement au Musée de Plovdiv. Les neuf vases en or qui composent cet ensemble archéologique (quatre rhytons, trois oenochoés anthropomorphes, une amphore et une phiale), sont, par l'exubérance de leur décor figuré, leur travail minutieux et précis et leur art raffiné, autant de chefs-d'œuvre de la toreutique hellénique. Leurs détails sont si nombreux, si délicats et si savamment ciselés, qu'il fallait une technique toute spéciale pour en rendre une image graphique satisfaisante. C'est ce que le présent volume, avec ses nombreuses planches en couleurs, a parfaitement réussi. Le texte contient des renseignements essentiels sur les circonstances de la découverte, une description exacte des vases, une interprétation sommaire des scènes représentées et un bref exposé du problème de la date (D. Tzontscheff s'est occupé plus amplement de ce trésor dans B. Svoboda — D. Cončev, *Neue Denkmäler antiker Toreutik*, Prague, 1956, p. 115—172 et pl. I—XX). Selon lui, il s'agirait d'une production de l'art grec de la seconde moitié du IV<sup>e</sup> siècle av.n.ère, devant provenir d'un important centre de civilisation hellénique — de l'Attique ou de l'Asie Mineure, — et qui aurait appartenu à un prince thrace.

R. V.

OGNEENOVA, LJUBA, *Les fouilles de Mesembria*, dans « Bulletin de correspondance hellénique », 84, 1960, p. 221—232.

Après un court historique des fouilles pratiquées avant 1956 dans ce vieux centre de l'antiquité balkanique, l'auteur présente le résultat des recherches entreprises de 1956 à 1959 : 1) Découvertes de l'âge du bronze confirmant — à son avis — l'origine thrace du nom de la ville et l'existence d'un établissement thrace préhellénique ; 2) Etude stratigraphique des étapes historiques du développement de la ville : le premier niveau appartient au VI<sup>e</sup> siècle ; les autres, étudiés également, s'étendent jusqu'à l'époque romaine ; 3) Signalement de l'existence d'un temple dédié à Zeus et à Héra à la suite de la découverte d'un *bothros* du V<sup>e</sup> siècle av.n.è.

P. A.

SALVIAT, FR., *Le bâtiment de scène du théâtre de Thasos*, dans « Bulletin de correspondance hellénique », 84, 1960, p. 300—316.

Cette étude confirme une fois de plus la large vogue dont a joui dans l'espace balkanique le culte des divinités d'origine thrace. L'auteur se livre à l'examen de deux fragments d'entablement dorique en marbre découverts à Thasos à la fin du siècle passé et portant la dédicace [Λυσί]στρατος Κόδ[ι]δος Διονύσι[ωι], ainsi que de trois métopes représentant le cavalier thrace, Dionysos à la panthère et un guerrier revêtu d'une armure (ces pièces ne figurent pas dans la liste des reliefs du cavalier thrace dressée par G. Kazarow, R. E. Suppl. III, s.v. Héros, 1908, col. 1144 sqq.). H. Seyrig supposait que les deux fragments provenaient d'un trésor construit dans le sanctuaire de Dionysos. L'auteur, après examen d'une série d'autres pièces architectoniques et des restes du théâtre de Thasos, a abouti à l'intéressante conclusion que lesdits fragments et d'autres encore proviennent du *proskénion* en pierre du théâtre, édifié au III<sup>e</sup> siècle av. n.è. Les reliefs mentionnés précédemment ne sont toutefois pas contemporains de la construction ni de l'inscription ; ils ont été exécutés à peine au II<sup>e</sup> siècle de notre ère. L'apparition du cavalier thrace sur un édifice de ce genre dénote la popularité de cette divinité à Thasos. Un dernier détail : le troisième relief figurant un guerrier sous les armes est identifié par Fr. Salviat avec Arès sous l'aspect que ce dieu revêt sur certains reliefs de Thrace. On est donc bien en présence, sur ces sculptures, du cavalier thrace associé à Dionysos, à Arès et à une quatrième divinité dont la métope s'est perdue.

P. A.

MIRTSCHEV, M., *Към въпроса за мястото на сеченето на скитските монети* [Où battait-on les monnaies scythes ?], dans « Известия на варненското Археологическо Дружество », XII, 1961, Varna, p. 132.

Analysant la similitude existant entre une monnaie en bronze émise à Dionysopolis (inédite ; collection du Musée archéologique de Varna) et une monnaie du roi scythe Kanitès, l'auteur renforce l'opinion que les monnaies des souverains scythes ont été frappées dans les villes grecques du littoral de la mer Noire, entre autres à Dionysopolis.

D. C. G.

ERNOUT, A., *Sur une inscription métrique*, dans « Studii Clasice », II, Bucarest, p. 73—76.

Intéressantes observations relatives à l'inscription découverte à Corinthe en 1926 et republiée par A. Degrassi dans un recueil d'inscriptions latines (*Inscriptiones Latinae Liberae Rei Publicae*, a cura di Attilio Degrassi, Florence, 1957).

L'inscription (le n° 342 de Degrassi) de 10 vers (distiques élégiaques) glorifie les exploits du proconsul Marc Antoine qui, à son retour en Cilicie en l'an 101, franchit avec sa flotte l'isthme de Corinthe.

V. T.

OGNENOVA, L., *Една мозаика от Пауталия* [Une mosaïque de Pautalia], dans « Известия », XXIII, Sofia, 1960, p. 231—236.

Cette mosaïque a été découverte fortuitement en 1953 dans la ville de Kiustendil (l'antique Pautalia). Elle enrichit la série des mosaïques de cette localité. Sa composition unit l'élément géométrique à l'élément floral. Elle utilise trois couleurs. L'exécution est celle de l'époque classique. Pour l'auteur, la mosaïque en question date, en vertu d'analogies, de l'époque des Sévères (193—235).

D. V.

IVANOV, TEOFIL, *Паметници от Пауталия* [Monuments de Pautalia], dans « Известия », XXIII, Sofia, 1960, p. 205—228.

Présentation d'une série de pièces archéologiques de l'époque romaine, découvertes, les unes dans des fouilles assez anciennes et, les autres, par hasard dans l'actuelle ville de Kiustendil. Outre les menus objets de l'inventaire, on retiendra une intéressante mosaïque multicolore datée par l'auteur de la première moitié du IV<sup>e</sup> siècle de n.è., quelques éléments architectoniques dont une architrave en marbre, de style corinthique, à inscription (aujourd'hui disparue) sur métal, un relief mithriaque et un vase en céramique à décoration appliquée, remontant au II<sup>e</sup> — III<sup>e</sup> siècle de n.è. Les problèmes d'histoire abordés par l'auteur sont d'intérêt local.

D. V.

KERÉNYI, ANDRAS, *Viminaciumban vert antoninianusok* [Antoniniani frappés à Viminacium], dans « Folia archaeologica », XIII, 1961, p. 81—93.

La publication d'un trésor de monnaies romaines en argent du III<sup>e</sup> siècle de n.è., trouvé il y a assez longtemps au voisinage de la ville de Szalacska, permet à l'auteur d'apporter certaines précisions à propos des *antoniniani* frappés à Viminacium (Cosolets). Passant en revue les différents points de vue y relatifs, A. Kerényi dresse une liste d'*antoniniani* que l'état actuel de la recherche permet d'attribuer à l'atelier monétaire de Viminacium.

R. P.

Τὸ ἔργον τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας κατὰ τὸ 1960, ἐπιμελεῖα Α. Κ. Ὀρλάνδου, γενικοῦ γραμματέως τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας [Activité de la Société Archéologique en 1960. Par les soins de A. Orlandos, secrétaire général de la Société], Athènes, 1961, 255 p.

Présentation des résultats enregistrés par les 39 chantiers archéologiques ouverts au cours de l'année 1960 en divers points de la Grèce, sous la direction de la Société Archéologique d'Athènes (p. 5—219). La seconde partie du rapport expose les travaux d'anastylose mis en œuvre pour la conservation de certains monuments antiques (p. 220—228) et byzantins (p. 228—250), etc.

I. B.

IAZDZEWSKI, K., *Wzajemny stosunek elementów słowiańskich i germańskich w Europie środkowej w czasie od najścia Hunów aż do usadowienia się Awarów nad Dunajem środkowym* [Rapports des éléments slaves et germaniques en Europe centrale depuis l'invasion des Huns jusqu'à l'établissement des Avars sur le Moyen Danube], dans «Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Archeologiczna», Łódź, 5, 1960, p. 51—77.

L'article du professeur Iazdzewski traite la même question que le travail de l'académicien Tymieniecki, (v. notre revue N° 1, 1963) à cette différence près que la présente étude se livre — outre une nouvelle interprétation de deux passages célèbres de Jordanès et de Procope — notamment à des considérations d'ordre archéologique, la période sur laquelle elle porte étant d'approximativement trois siècles plus récente.

Au début K. Iazdzewski constate le manque d'informations de certains chercheurs occidentaux et scandinaves (remarquables du reste à bien d'autres égards) quant aux découvertes archéologiques des 25 dernières années. Ce qui contribue à maintenir l'opinion erronée de l'existence d'un vide dans la documentation relative aux Slaves des territoires situés à l'est de l'Elbe, pour les années 600 à 900 de notre ère. Un autre point de vue inexact consiste à conditionner l'expansion des Slaves vers l'ouest et le sud par l'établissement des Avars sur le cours moyen du Danube et sur la Tisa.

L'auteur esquisse ensuite la situation géographique de l'espace carpto-danubien et des régions avoisinantes au début du VI<sup>e</sup> siècle de notre ère, en se fondant sur les informations laissées par Jordanès. Il souligne à cette occasion l'existence d'une nombreuse population slave au nord du Danube, attestée par les multiples invasions enregistrées dans la Péninsule des Balkans entre les années 520 et 558. Proposant une traduction audacieuse du passage bien connu «iuxta quorum sinistrum latus... venetum natio populosa consedit» (Jordanès, Get. V, 34) et donnant une nouvelle interprétation au texte de Procope relatif au retour des Hérules en Scandinavie (De bellis, VI, 15, 1—2), et tout en combattant l'itinéraire à travers la Roumanie proposé par L. Schmidt — le savant polonais déplace les «limites traditionnelles des contrées occupées par les Slaves». Pour lui, les Vénètes s'étendent jusque dans la région de la Porte morave; on trouve les Slavènes au nord de la Moravie et même plus au nord. La comparaison du matériel archéologique mène aux mêmes conclusions. Ce matériel consiste en sa majeure partie en céramique, trouvée dans divers établissements et cimetières de Pologne — surtout celui de Biskupin — et de Moravie.

La conclusion qui synthétise la situation ethnographique des régions situées à l'est de l'Elbe depuis l'époque des grandes migrations permet à l'auteur de souligner le fait que depuis la fin du IV<sup>e</sup> siècle et jusqu'au VII<sup>e</sup> siècle il se produit un mouvement de retrait de la part de l'élément germanique et un mouvement en avant de l'élément slave, du bassin de la Vistule

et de l'Oder en direction de l'Ouest. Par suite de ce processus, l'afflux de monnaies d'or byzantines cesse en Scandinavie — comme cela ressort du récent travail de O. Klindt-Jensen — selon les régions, entre 475 et 520 environ et les derniers exemplaires trouvés proviennent des années 495—565. A cela certes ont contribué aussi la puissante expansion des Slaves vers le sud, dans les régions du Danube, processus qui dure depuis le second quart du VI<sup>e</sup> siècle jusqu'à l'an 800 et l'apparition des Avars sur le Moyen-Danube en 568. Leur expansion ultérieure et l'affaiblissement de l'Empire byzantin à la fin du VI<sup>e</sup> siècle ont tari eux aussi le courant de l'or byzantin vers la Scandinavie, mais la cause première et fondamentale demeure toujours l'expansion des Slaves vers l'ouest. Quant à l'accroissement démographique, condition indispensable d'une expansion de telles proportions — laquelle est parfaitement explicable chez une population sédentaire qui pratiquait l'agriculture depuis plus d'un millénaire — il est prouvé par les multiples nécropoles et établissements slaves attestés pour une période de plusieurs siècles dans les régions situées au nord des Sudètes et des Carpates.

Les théories avancées par l'auteur sont illustrées à l'aide de 13 figures et d'une carte de la situation ethnographique.

V. II.

LIAPOUCHKINE, I. I., *К вопросу о культурном единстве славян*, dans «Исследования по археологии СССР (Сборник статей в честь профессора М. И. Артамонова)», Leningrad, 1961, p. 203—209.

L'archéologue soviétique bien connu I. I. Liapouchkine, parfait connaisseur des antiquités slaves fait ressortir dans cet article la forte unité des monuments archéologiques slaves de la haute époque, dispersés sur un territoire immense, qui s'étend entre le Don et l'Oder, le centre de la Pologne et le sud du Danube.

L'unité de ces monuments datant de la seconde moitié du I<sup>er</sup> millénaire de notre ère se reflète dans le type de l'habitation, la céramique, les nécropoles, etc. Certes, il n'a pas non plus échappé au savant soviétique les diverses particularités des phénomènes culturels attribués aux Slaves de la haute époque — particularités qui sont en fonction, notamment, de conditions d'ordre chronologique ou climato-géographiques. Mais, dans leur ensemble, ces particularités ne diminuent pas le caractère unitaire des monuments archéologiques.

La similitude des monuments archéologiques attribués aux Slaves de la haute époque est définie, selon I. I. Liapouchkine, non par des éléments isolés, dénués de signification et en quelque sorte fortuits, mais par des caractères essentiels que l'on saisit dans toute une série d'établissements et de nécropoles.

Selon l'opinion de l'archéologue soviétique, l'unité des civilisations matérielles de certaines populations disséminées à travers un vaste espace géographique peut s'expliquer à l'aide des raisons que voici : existence prolongée de relations économiques étroites, unité politique du territoire considéré, unité ethnique de la population de ce territoire, etc.

Quant à l'unité de la civilisation matérielle des Slaves de la haute époque, elle serait plutôt le résultat de la longue cohabitation des populations respectives sur un territoire assez réduit et bien déterminé.

I. I. Liapouchkine estime que c'est seulement ainsi que l'on peut expliquer le type de l'habitation (cabanes à demi souterraines) et le rite funéraire (incinération, à urnes exécutées à la main), qui sont communs à tous les Slaves.

Les caractères généraux des monuments archéologiques slaves jusqu'au X<sup>e</sup> siècle permettent au professeur de Leningrad d'exprimer son opinion, selon laquelle le moment où commence la diaspora des tribus slaves se situe approximativement au milieu du I<sup>er</sup> millénaire de notre ère.

C'est le point de vue auquel se sont arrêtés aussi certains linguistes, qui fixent le moment de la dissociation de la langue slave également vers le milieu du même millénaire.

Plus loin, I. I. Liapouchkine attire l'attention sur le fait que ses assertions relatives à l'unité des monuments archéologiques slaves de la haute époque ne concernent que les Slaves méridionaux, ceux de la sylvo-steppe. Par Slaves du sud on entend tous les Slaves qui se sont répandus en Europe dans une zone délimitée au nord par la sylvo-steppe (cette limite prolongée passerait aussi au cœur de la Pologne).

I. I. Liapouchkine s'est gardé de se livrer à de plus amples considérations sur les Slaves du nord aussi, cela, du moins jusqu'à présent, faute de monuments archéologiques susceptibles d'être attribués avec certitude aux Slaves septentrionaux. Mais on peut d'ores et déjà affirmer, en se fondant sur les rares observations faites jusqu'ici, qu'il existe entre les monuments archéologiques des Slaves du nord et ceux des Slaves du sud des ressemblances et aussi des différences.

Ces dernières se reflètent surtout dans le type des habitations. Chez les Slaves septentrionaux, la maison de plain-pied est caractéristique.

Les différences des monuments appartenant aux deux groupes slaves sont en fonction des conditions physico-géographiques qui existaient à la limite de la sylvo-steppe et de la zone des forêts, à l'époque de cohabitation de tous les Slaves.

En conclusion, I. I. Liapouchkine insiste sur le fait que, sans être pleinement précisé, la division des Slaves en Slaves méridionaux et septentrionaux d'après les pièces archéologiques remontant à la seconde moitié du I<sup>er</sup> millénaire de notre ère, concorde en quelque sorte avec les derniers résultats enregistrés par la linguistique.

Quant à la division des Slaves en orientaux, occidentaux et méridionaux, elle s'est produite, au plus tard, vers la fin du I<sup>er</sup> millénaire de notre ère et résulte des importantes transformations sociales, économiques, politiques, religieuses, etc.

Les problèmes que soulève cet article ont aussi une importance considérable pour l'archéologie roumaine.

Les résultats des recherches effectuées jusqu'ici en Roumanie confirment dans une certaine mesure la justesse des thèses de I. I. Liapouchkine. En effet, la civilisation matérielle des Slaves de la haute époque dans l'espace balkano-carpatique ne diffère pas, dans ses éléments fondamentaux, de celle des Slaves des autres contrées d'Europe.

Mais il n'en est pas moins vrai que les mêmes monuments portent le sceau de particularités plus évidentes que partout ailleurs. Ceci est le résultat probable du contact direct avec la population autochtone. C'est peut-être pour cette raison que les Slaves du sud se sont individualisés un peu plus tôt que les autres.

P. D.

PIGOULIEVSKAJA, N. V., *Die byzantinische Diplomatie und die Araber (vor dem VII. Jahrhundert)*, dans « Akten des XI. Internationalen Byzantinischen Kongresses, München, 1958 », C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, Munich, 1960, p. 458—465.

Les rapports des Ghassanides avec Byzance et leur organisation retiennent l'attention de la byzantiniste soviétique dans sa communication au Congrès d'Études byzantines de Munich.

Les Ghassanides constituaient une union militaire de tribus, reposant sur de solides relations gentilices, auxquelles étaient soumis les membres de chaque famille. L'armée était formée d'hommes libres qui avaient leurs propres assemblées où l'on observait de vieilles traditions tribales. La vie nomade avait imprimé à ces Arabes un caractère combatif et une grande mobilité. Leur valeur militaire détermina Byzance à se les attacher comme fédérés pour la garde de ses frontières. Au VI<sup>e</sup> siècle Aréthas, son fils Moundar et son petit-fils Niman se succédèrent à la tête de l'union ghassanide.

Sous Léon I<sup>er</sup>, un autre chef arabe, Imrulkeis (Amorkès), joua un rôle important : il passa du camp des Perses dans celui des Byzantins. Désireuse de le maintenir dans sa zone d'influence, Byzance lui décerna le titre de phylarque et de protopatrice, et lui envoya de nombreux présents.

A l'époque de Justinien, Aréthas, le chef des Ghassanides, occupe une place bien plus grande dans la politique orientale de Byzance, car il est l'allié des Byzantins dans leur guerre contre la Perse. L'importance politique des Arabes dans les relations byzantino-perses se manifeste notamment dans les nombreuses clauses du traité conclu en 561 entre les deux Puissances, lequel fait l'objet d'une minutieuse analyse de la part de N. V. Pigoulievskaja.

Ledit traité met en lumière aussi l'importance du commerce caravanier pratiqué par les Arabes entre Byzance et la Perse.

Les prétentions toujours plus fortes des chefs ghassanides conscients du prix de leur appui pour la sécurité des frontières byzantines, provoquèrent un conflit sous le règne de l'empereur Justin II. Le résultat en fut le sac des territoires byzantins dont tout le système de couverture fut désorganisé.

Le prix attaché à l'alliance ghassanide résulte aussi des ménagements avec lesquels Constantinople traite les monophysites que soutenaient les Ghassanides. L'auteur se livre à toute une série d'appréciations sur le monophysisme qui dérive, selon elle, du point de vue idéologique, du platonisme oriental. En tant que phénomène politique, le monophysisme a exprimé les tendances séparatistes des provinces orientales et l'aide que lui accordèrent les Ghassanides s'explique par leur désir de se maintenir indépendants de Byzance.

E. Fr.

SIOUZIOUMOV, M. IA., *K' вопросу ob osobennostjx genevixa i razvitiia feodalizma v Vizantii*, dans «Византийский временник», XVII, 1960, p. 3—16.

L'auteur expose des opinions déjà exprimées dans d'autres de ses travaux, mais qu'il étaye ici d'arguments nouveaux, dans le but de présenter une conception unitaire de la genèse et du développement de la féodalité byzantine.

L'auteur estime qu'à Byzance le développement des relations féodales a parcouru trois phases. La première est constituée de deux étapes. La première étape (324—602) voit les nouvelles relations de production commencer à se frayer chemin. La place de la grande économie domestique esclavagiste est occupée par la petite économie domestique individuelle, de l'esclave possédant un pécule ou du colon. La petite propriété foncière libre croît également. Mais, dans les limites de la superstructure esclavagiste, toutes ces tendances acquièrent une nuance esclavagiste.

C'est à peine pendant la seconde étape (602—824) que, commence l'écroulement de la grande propriété esclavagiste. Sa place est prise par les communautés de paysans libres, propriétaires à titre individuel des lopins de terre et en indivision du pré communal, des forêts et des terres en friche. Les Slaves ont donné à cette communauté la cohésion fondée sur les liens de parenté. Durant toute cette période, l'autorité de l'Etat et tout son coûteux appareil



se sont maintenus, l'Etat touchant de la part des paysans des communautés le surproduit sous la forme d'impôts. L'auteur est d'avis que ceci ne saurait être pris pour une rente féodale.

La classe dirigeante à Byzance n'était pas homogène, aussi les voies de féodalisation ont-elles été différentes en fonction de la couche sociale qui réussit à mettre la main sur l'appareil de l'Etat.

Au cours de cette étape l'aristocratie foncière s'efforce de s'emparer du pouvoir détenu par le patriciat de Constantinople. Elle utilise à cette fin les masses dressées contre leur exploitation par l'Etat et l'Eglise. C'est ce qui entraîna la consolidation de la petite propriété foncière et renforça l'aristocratie des thèmes qui mit la main sur l'appareil de l'Etat.

Le deuxième stade est intitulé par l'auteur la monarchie féodale primaire. Durant la première étape (824—1081), la peur des mouvements paysans fait cesser pour un certain temps les luttes qui opposaient entre eux les éléments de la couche dirigeante. La grande propriété foncière féodale se développe par suite de la victoire remportée sur les Pauliciens ; en même temps, les relations commerciales se développent.

A partir du X<sup>e</sup> siècle et surtout du XI<sup>e</sup>, l'antagonisme qui mettait aux prises le patriciat constantinopolitain et l'aristocratie provinciale s'avive de plus en plus dans le sens du développement du régime féodal. C'est pourquoi la communauté trouve appui dans le patriciat. En invoquant le droit de préemption on essaye de freiner le développement de la grande propriété foncière provinciale. Mais le résultat est tout autre que celui escompté : il se forme au sein des communautés une couche de gros propriétaires fonciers qui, alliés à l'aristocratie des thèmes, s'emparent de l'appareil de l'Etat. C'est ainsi que triomphe à Byzance la voie carolingienne de développement de la féodalité.

A la seconde étape (1081—1204) les contradictions entre l'aristocratie foncière provinciale et les villes s'aggravent du fait de la politique d'alliance des empereurs Comnènes et des villes commerçantes italiennes. Le morcellement féodal, typique pour le troisième stade, empêche l'unification du pays, la création d'un marché national. Cette époque assiste au développement de la production des marchandises dans les grands centres seigneuriaux, celle notamment des produits agraires. Byzance devint ainsi un pays exportateur de céréales, ne possédant pas une flotte propre et n'ayant point de conditions favorables à la formation d'une bourgeoisie.

C'est à peine au XIV<sup>e</sup> siècle que l'on observe la tendance qu'ont certaines villes de mener la lutte pour l'autonomie contre les éléments féodaux et les marchands étrangers. Les éléments citadins ne furent soutenus que passagèrement par la direction centrale de l'Etat. En raison aussi de leur faiblesse, la lutte prit fin par la victoire des éléments féodaux.

Le mouvement dirigé contre la domination économique étrangère revêtit une forme religieuse, anticatholique, ce qui permit aux chefs de la réaction d'en prendre la tête. La faiblesse des éléments progressistes et l'oppression des masses les mirent, aux heures décisives de l'offensive turque, dans l'impossibilité d'opposer la résistance nécessaire.

E. Fr.

KOVRIG, I. et KOREK, J., *Le cimetière de l'époque avare de Csáka*, dans « Acta archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae », XII, 1960, p. 257—297.

La nécropole de Csáka a été fouillée en 1907—1913 par le Musée de Timișoara qui avait délégué à cette fin F. Móra et E. Orosz. Publiées d'une façon incomplète lors de leur découverte, les 80 sépultures de ladite nécropole sont décrites cette fois en détail par les

auteurs qui ont eu à leur disposition les anciens journaux de fouilles. La majeure partie de leur étude renferme des observations relatives au rite funéraire et à la culture matérielle de la population avare de la région de la Tisa et du Mureş dans la deuxième moitié du VIII<sup>e</sup> siècle et au début du IX<sup>e</sup>, époque à laquelle on date ce cimetière.

R. P.

MILTICHEV, AT., *Ракопки в Плиска западно от вътрешния град, през, 1959*. [Les fouilles de Pliska de 1959 à l'ouest de la ville intérieure], dans «Археология», Sofia, II, 1960, n° 3, p. 30—43.

Description de deux huttes souterraines, à fours en pierre, fouillées à Asardare-Pliska en 1959 et renfermant de la céramique et des ossements d'animaux domestiques et sauvages. L'auteur observe la ressemblance de ces huttes, qu'il date du VIII<sup>e</sup> siècle, avec celles de Tchécoslovaquie et de Roumanie (Garvăn et Moreşti). La céramique gris-noir, à la surface lustrée et à ornements en réseaux, indiquerait, selon lui, la présence à Pliska, à l'époque en question, d'une population slave — et non pas proto-bulgare — qui s'adonnait à l'agriculture.

D. C. G.

ZLATARSKI, D., *Колектива находка на славянски сечива от с. Длъгопол* [Découverte de plusieurs outils de l'époque slave au village de Długopol], dans «Известия на Варненското Археологическо дружество», XI, 1960, Varna, p. 103—109.

Des labours effectués à l'aide de tracteurs ont ramené au jour en 1958 au lieu dit « Topalova Vodenitsa », à 3 km du village de Długopol (district de Varna), un grand vase en céramique et une foule d'outils, à savoir des instruments agricoles (socs et coutres, pelles, houes, faucilles, serpettes); des objets ménagers (douves de tonneaux, poignées de seaux, tisonniers, crochets); des armes (haches, pointes de lance). Datant des VIII<sup>e</sup> et IX<sup>e</sup> siècles, ces outils et ces armes constituent des témoignages intéressants de la vie matérielle des anciens Slaves, dans cette zone.

D. C. G.

VRANUSI, ERA, «Κομισκόρτης ὁ ἐξ Ἀρβάνων», σχόλια εἰς χωρίον τῆς Ἄννης Κομνηνῆς. Εκδόσεις Ἐταιρείας Ἑπειρωτικῶν Μελετῶν [«Comiscortis d'Arvana», commentaire d'un passage de l'*Alexiade* d'Anne Comnène. Editions de la Société d'études épirotes], Janina, 1962, 29 p.

Etude fondée sur une abondante bibliographie dont l'auteur tire une nouvelle interprétation d'un passage de l'*Alexiade* d'Anne Comnène. Tous les historiens qui se sont occupés de la défaite et de la retraite de Dyrrachium de l'empereur Alexis I<sup>er</sup> Comnène, en 1081, ont donné une interprétation du texte de l'*Alexiade*, selon laquelle l'empereur ne pouvant revenir dans la ville de Dyrrachium, aurait chargé l'Albanais Comiscortis de la garde de ladite ville (τῷ ἐξ Ἀρβανῶν Κομισκόρτη). Cette interprétation adoptée par les éditeurs, les traducteurs, les commentateurs, les byzantinistes et les balkanologues s'avère erronée, ainsi que le démontre l'auteur, qui donne une toute autre interprétation du texte, logique et juste, en précisant que l'expression Κομισκόρτης, n'indique point une personne, mais une fonction

de l'époque byzantine : κόμης (τῆς) κόρης, dignitaire militaire dont les attributions étaient aussi multiples que variées. Il occupait le deuxième ou le troisième rang après le gouverneur de district, et les textes des X<sup>e</sup> et XI<sup>e</sup> siècles abondent en relations concernant ce dignitaire de l'armée byzantine. De même, l'auteur affirme que, dans l'*Alexiade*, les mots « ἐξ Ἀρβάνων » ne signifient, en aucun cas, « ἐξ Ἀλβάνων » ou « ἐξ Ἀλβανιτῶν » (d'origine albanaise) comme on les avait interprétés jusqu'à ce jour. « Ἀρβανα », et « Ἀρβανον », ou « Ἀλβανον » désignent dans les sources byzantines et post-byzantines, un vaste territoire situé au centre et au nord de l'Albanie. L'auteur a donc le mérite d'avoir combattu la fausse interprétation de nombreux spécialistes et de soutenir que l'expression du texte de l'*Alexiade* qui désigne une fonction a été confondue avec un nom de personne. L'expression « ἐξ Ἀρβάνων » ne veut donc point dire que la personne en question était d'origine albanaise, mais originaire d'*Arvanon* ou d'*Alvanon*.

A. Cr.

OIKONOMIDÈS, N. A., *Un décret synodal inédit du patriarche Jean VIII Xiphilin concernant l'élection et l'ordination des évêques*, dans « Revue des Etudes Byzantines », Paris, XVIII 1960, p. 55—78.

L'auteur publie le texte en langue grecque d'une décision synodale de 1072, par laquelle le patriarche de Constantinople Jean VIII Xiphilin édictait que les élections d'évêques pouvaient se faire à Constantinople aussi, c'est-à-dire dans la capitale de l'Empire byzantin et non pas uniquement dans les provinces où intervenaient des vacances épiscopales. Cette mesure constituait une dérogation à l'ancienne discipline canonique selon laquelle les élections d'évêques devaient avoir lieu dans les circonscriptions des métropoles en cause. La mesure fut déterminée par le fait qu'au XI<sup>e</sup> siècle les attaques des ennemis de l'Empire byzantin s'étant multipliées, bon nombre d'épiscopats demeuraient sans hiérarques.

Le texte grec de la décision synodale de 1072 a été relevé, pour la première fois, par P. A. Revilla, dans son *Catálogo de los códices griegos de la Biblioteca de el Escorial*, I, Madrid, 1936, p. 117—126. L'importance de l'acte consiste également dans la liste nominale des hiérarques qui participèrent au synode en question. Oikonomidès en accompagne le texte d'une judicieuse analyse historique.

G. C.

WYJAROVA, JIVKA, *Les investigations archéologiques dans les villes du haut moyen âge en Bulgarie*, dans « Slavia Antiqua », VII, Varsovie-Poznan, 1960, p. 444—452.

Présentation synthétique des recherches des dix dernières années dans le domaine de l'archéologie féodale (IX<sup>e</sup>—XIV<sup>e</sup> siècles) sur le territoire de la R. P. de Bulgarie.

L'auteur passe en revue les objectifs étudiés par les archéologues bulgares et souligne les principales découvertes faites à *Pliska*, *Madara* et *Preslav*, *Tirnovo* (*Tzarievек*) et *Dulovsko* (*Tzar Asenovо*), puis à *Vratsa*, *Mostici*, *Loveci*, *Lukovit* et *Cerven*. Elle indique en même temps la bibliographie s'y rapportant.

Du rapport de l'érudite bulgare il ressort que l'attention des spécialistes de son pays s'attache avant tout aux problèmes relatifs à la base matérielle de la société féodale du IX<sup>e</sup> au XIV<sup>e</sup> siècles (production et vie économique), mais elle insiste sur le fait que les lacunes concernant

l'étude des villages, beaucoup moins avancée que celle des centres urbains (fortifications, formation des villes médiévales, relations commerciales, etc.) devront être éliminées par les prochaines recherches systématiques des archéologues.

N. C.

KATIĆ, LOVRE, *Staseljenje starohrvatske Podmorske župe* [La colonie de la žoupa vieux-croate de Podmorje], dans « Starohrvatska Prosvjeta », III, 7, Zagreb, 1960, p. 159—182.

Brève présentation topographique, historique et archéologique de la région vieux-croate de Podmorje, déjà mentionnée par Constantin Porphyrogénète sous le nom de *Parathalassia* (= Podmorje) et appelée ultérieurement le *žoupanat de Klis*, du nom de son centre administratif. Ce dernier s'étendait sur la côte de l'Adriatique, depuis *Mosoc* jusqu'à *Trogir* (à l'ouest de Split)

L'auteur mentionne les points qui ont fait l'objet de recherches, fondées sur les sources écrites également (du IX<sup>e</sup> siècle et suivants). Il signale un cimetière à *Majdan*, sur la rivière de Salona, daté du IX<sup>e</sup> siècle grâce à de nombreux bijoux en or (130 tombes), ainsi que la découverte à l'ouest de *Solin*, d'un établissement rural (y compris un cimetière dont les inhumations s'étendent sur une longue période allant du règne de Dioclétien jusqu'au XVI<sup>e</sup> siècle).

Il cite pareillement l'existence, près de l'église de *Radun*, d'un cimetière comptant de nombreux monuments funéraires en pierre (stečak — typiques pour la Bosnie et l'Herzégovine), remontant aux XIV<sup>e</sup>—XV<sup>e</sup> siècles.

La partie finale de l'article comprend la description de la ville de *Klis*, centre du žoupanat et l'on arrive à la conclusion qu'il a existé des « colonies », c'est-à-dire des établissements très anciens, dans la vallée de Podmorje, fertile et, par conséquent, favorable aux établissements humains. On retiendra qu'un petit nombre seulement d'objectifs de cette région ont été étudiés par la voie des fouilles archéologiques.

N. C.

DINIĆ, MIHAJLO, *Шпански најамници у српској служби* [Mercenaires espagnols au service de la Serbie], dans « Сборник радова », књ. LXV, Византолошки Институт, књ. 6 Београд, Научно дело, 1960, p. 15—28.

Les mercenaires espagnols dont on enregistre la présence dans les Balkans à partir de l'an 1301, participèrent à la bataille de Velbužd (1330) qui mit aux prises Serbes et Bulgares.

Const. Jireček (*Geschichte der Serben*, I, p. 361) fut le premier à constater, à l'aide de documents des archives de Raguse, que les mercenaires qui prirent part à cette bataille furent des Espagnols, et non pas des Français, des Allemands ou des Italiens, comme l'ont fautivement consigné Nicéphore Grégoras, Jean Cantacuzène, M. Orbini et J. Resti. Une exploration plus attentive des archives ragusaines a permis à M. Dinić de découvrir de nouvelles informations qui montrent d'une façon certaine que le roi Etienne de Detchani engagea, par l'entremise de ses intermédiaires de Raguse, de nombreux mercenaires espagnols. Les données concrètes les concernant datent des mois d'avril, juin et août 1330 et de juillet 1331.

Le savant yougoslave constate qu'une partie des mercenaires espagnols engagés arrivèrent à temps sur le champ de bataille et qu'ils participèrent à cette journée. Mais la plupart ne réussirent pas à quitter Raguse, où ils demeurèrent, provoquant certains troubles, ce qui obligea le Conseil de la République à adopter des mesures contre eux.

S. J.

BATOVIĆ, SIME, *Starohrvatska nekropola u Škabrnji* [La nécropole vieux-croate de Škabrnja], dans « Starohrvatska Prosvjeta », III, 7, Zagreb, 1960, p. 228—229 (résumé français, p. 228—229).

Présentation d'une fouille de sauvegarde exécutée à l'occasion de la construction de la voie ferrée Knin-Zadar, sur le territoire du village de *Škabrnja*, à 24 km à l'est de Zadar.

On y a trouvé 18 tombes, dont 17 étaient délimitées à l'aide de pierres. Leur modeste inventaire se résume à des bagues et à des boucles d'oreilles en bronze. Une mention particulière est accordée aux bagues à « couronne » trouvées dans la tombe n° 3 (fig. 6) et datées du XII<sup>e</sup> siècle.

N. C.

GUILLAND, R., *Etude sur l'histoire administrative de l'Empire byzantin. Le commandants de la garde impériale, ὁ ἐπὶ τοῦ στρατοῦ et le juge de l'armée*, dans « Revue des Etudes Byzantines », Paris, XVIII, 1960, p. 79—97.

Avec sa compétence bien connue en ce qui concerne l'administration byzantine, l'auteur étudie les rangs et les fonctions des commandants de la garde impériale sous les Paléologues (1261—1453).

Il examine successivement le rang d'ἀκόλουθος du commandant des Varègues, celui d'ἀλλαγάτωρ du chef de l'escorte impériale et celui de μέγας ἀρχῶν du commandant de la garde durant les campagnes militaires.

Pour ce qui est du sens du titre d'ὁ ἐπὶ τοῦ στρατοῦ, il était attribué à l'officier chargé de l'approvisionnement des camps.

Le titre de κριτής τοῦ φοσσάτου signifiait juge de l'armée.

L'auteur mentionne les noms des nombreux titulaires de ces rangs et fonctions militaires, dont certains ne semblent pas avoir été recrutés dans les rangs de l'aristocratie byzantine. L'étude est accompagnée d'un index de noms, d'un index des dignités et d'un index géographique.

G. C.

GHINIS, DÉMÉTRIOS S., 'Ο ἐπ' ἀριθ. 121 κῶδιξ τῆς μονῆς Ἀγ. Νικάνορος (Ζάβορδας) καὶ δ'ο χρονολογίαι τῆς Ἐκλογῆς τῶν Ἰσαύρων καὶ τοῦ Προχείρου Νέμου [Le manuscrit 121 du monastère de St. Nicanor (Zavorda) et deux chronologies : celle de l'Éclogue des Isauriens et du Procheiron], dans « Ἐπετηρίς Ἐταιρείας Βυζαντινῶν Ἐπουδῶν », XXX, 1960—1961, p. 351—352.

Le codex qui fait l'objet de cette étude date du XIII<sup>e</sup> ou XIV<sup>e</sup> siècle et contient des recueils juridiques byzantins.

De son examen, l'auteur retient la date précise de l'Éclogue des Isauriens : l'an 726, et celle du Procheiron, l'an 872. Ainsi l'auteur y trouve la confirmation de la date de l'Éclogue, date déjà proposée par lui en 1924. Celle-ci, telle que l'avait proposée l'érudite grec, fut acceptée en Roumanie par C. A. Spulber, *l'Éclogue des Isauriens*, Cernautzi, 1929, p. 83, et Șt. Gr. Berechet, *Istoria vechiului drept romnesc* [Histoire de l'ancien droit roumain], I, Jassy, 1933, p. 46.

G. C.

DENNIS, GEORG T., *The reign of Manuel II Palaeologus in Thessalonica, 1382—1387*, Rome, 1960, 179 p., dans «*Orientalia Christiania Analecta*», 159.

L'intérêt suscité parmi les historiens occidentaux par les dernières décennies de Byzance s'affirme par toute une suite d'ouvrages nouveaux, qui essaient de faire la lumière sur cette période où l'Empire s'orienta bien des fois vers les pays d'Occident. C'est dans le cadre de ces préoccupations qu'il faut considérer le présent ouvrage, dédié à la politique antiottomane de Manuel II.

G. T. Dennis présente tour à tour la situation politique de l'Etat byzantin dans les années d'avant 1382 ; la création du «*nouvel Empire*» en Thessalie (avec bon nombre de précisions se rapportant à la lutte pour Serrès) ; la situation de la ville pendant le siège (avec un paragraphe utile sur les préoccupations administratives et littéraires de Manuel) ; les efforts de celui-ci pour organiser une coalition antiottomane ; le conflit avec Pierre IV d'Aragon ; les relations de Manuel avec le pape Urbain VI (connu pour la rigidité et l'inefficacité de ses plans).

L'ouvrage se termine par un chapitre consacré à la capitulation de la ville et à la fuite de Manuel, suivi d'un épilogue synthétisant ses conclusions.

L'analyse attentivo et pénétrante des documents et la riche bibliographie utilisée ont permis à l'auteur de reconstituer magistralement les faits. Mais l'étude insuffisante et superficielle des conditions sociales et économiques à Thessalonique a empêché G. T. Dennis de trouver le vrai sens de cette étape de l'histoire byzantine : les initiatives de Manuel II et leur avortement demeurent sans justification à travers ces pages qui évoquent toujours, au premier plan, la figure de l'empereur.

Dans une telle perspective, les affirmations ayant trait à la «*fierté blessée*» de l'empereur et les vues de l'auteur sur la fatalité de la chute de Byzance (p. 162) se rattachent organiquement à l'exposé, mais contribuent peu à l'explication des événements historiques.

A. D.

DJOURDJEV, BRANISLAV, *Нови подаци о најстаријој историји брдских племена* [Données nouvelles concernant l'histoire ancienne des tribus montagnardes] «*Историски записи. Орган Историског Института Н. Р. Црне Горе и Историског друштва Н. Р. Црне горе*». Titograd, XIII, 1960, livre XVIII, fasc. 1, p. 3—20.

Chaque fois qu'il est question de tribus montagnardes dans l'historiographie monténégrine, c'est de la population du Monténégro, du nord de l'Albanie et d'une partie des Alpes Dinariques qu'il s'agit.

Le Dr. Branislav Djurdjev est l'un des historiens yougoslaves qui se sont occupés, ces derniers temps, de l'important problème des populations de ces territoires. L'étude portant le titre ci-dessus a pour base les données d'un «*defter*» turc, datant de 1477, découvert aux Archives d'Istamboul et concernant le sandjak d'Herzégovine (en l'espèce les contrées de Gornja et Donja Morača, Rovci, Bielopavlići et Nikšići).

La première constatation de l'auteur est que dans ce «*defter*» les contribuables sont enregistrés comme *Valaques*. Au début de l'acte, figure la loi concernant les «*Valaques* du vilayet de Hersek» (Herzégovine). Les Valaques devaient, conformément à cette loi, payer annuellement un ducat par maison (à la St. Georges), une brebis, un agneau et un bélier ou bien leur contrevalet en argent ; deux béliers et une couverture pour 50 maisons, ou leur contrevalet en

argent. A part cela, les Valaques n'avaient point d'autres obligations. Ces impôts étaient les mêmes qu'avant la domination turque et semblables à ceux des Valaques d'autres régions (Smederevo, Bosnie, etc.).

Le recensement répartit les Valaques en quatre « nahi » et dans le cadre de celles-ci, ils sont enregistrés par hameaux, les hameaux par familles et par individus. A chaque famille ou individu revient, pour l'été, une aire fixée où ils s'établissent avec leur bétail ; de même pour l'hiver.

Après avoir analysé et commenté les données fournies par ce « defter », Branislav Djurdjev souligne sur conclusion antérieure que les tribus montagnardes se sont formées pendant la seconde moitié du XIV<sup>e</sup> siècle par la réunion de hameaux en un seul territoire, sous le nom de « knéjje » (кнежинство).

Cette thèse concorde avec les données puisées aux Archives de Raguse, au sujet des tribus de l'Herzégovine, et avec les données de la tradition populaire. habituellement si tenace dans ces régions.

Un fait significatif : l'établissement des Valaques au nord de la Serbie y crée l'institution de la « knéjje ».

Le processus de formation du territoire des hameaux, c'est-à-dire celui de la formation des « knéjjes », s'avère assez compliqué et c'est pourquoi l'auteur s'abstient pour l'instant de tirer une conclusion catégorique, bien que la tendance vers la formation des tribus soit évidente.

S. I.

KABRDA, JOSEF, *K problematice Studia feudalismu v Bulharsku v 16 stoleti. Kanunname nikopolského sandžaku* [Quelques problèmes de l'étude du féodalisme en Bulgarie au XVI<sup>e</sup> siècle. Le code du sandjak de Nikopolis], dans « Slovanské Historické Studie », III, 1960, p. 215—262.

L'érudit turcologue tchèque J. Kabrda qui, à plusieurs reprises, a signalé des sources ottomanes concernant l'histoire des Roumains, est l'auteur d'importantes études consacrées à la féodalité en Bulgarie sous l'occupation turque. Fondé sur une impressionnante bibliographie, l'auteur étudie maintenant le problème sous l'angle du code des lois régionales du sandjak de Nikopolis, au XVI<sup>e</sup> siècle.

En confrontant ce « Kanunnamé » avec d'autres similaires de la Bulgarie de la même époque, et avec le code des lois générales de l'Empire ottoman, Kabrda esquisse les traits fondamentaux du féodalisme ottoman, en insistant dans le détail sur les diverses institutions féodales, telles qu'elles ressortent des dispositions du code de Nikopolis, à savoir : le système des bénéfices militaires ; les relations entre les féodaux ottomans et les paysans chrétiens asservis ; les formes de la rente féodale ; diverses autres obligations fiscales ou impôts occasionnels ; l'attachement à la glèbe des paysans chrétiens, etc.

Des informations extrêmement riches qu'apporte l'auteur résulte le caractère de la domination ottomane en Bulgarie. L'antagonisme de classe — entre [la classe dominante militaire et féodale osmano-turque et les grandes masses de la population agricole dépendante — se compliquait dans le cas des paysans bulgares, de rapports sociaux-politiques d'un caractère discriminatoire, résultant de la division religieuse de la société en croyants (*muslin*) et mécréants (*kiafiri*). Dans ces conditions, la partie la plus lourde des obligations féodales reposait sur les épaules des paysans bulgares, mais l'inégalité de traitement affectait également l'exercice du culte, les rapports sociaux, les droits politiques, etc.

M. D.

DARRICAU, RAYMOND, *Mazarin et l'Empire ottoman. L'expédition de Candie (1660)*, « Revue d'histoire diplomatique », 1960, 4, p. 335—355.

Etude apologétique de la politique orientale de la papauté, politique dont les traits généraux, soutient l'auteur, se retrouvent dans les plans de croisade dressés par Mazarin. L'étude de certaines sources inédites fournit des données intéressantes concernant l'expédition de Guillaume Millet de Jeure en Crète, assaillie par les Ottomans. Précieuse aussi, l'information au sujet de l'édition, que prépare l'auteur, de la chronique des événements de l'île, écrite par Guillaume de Millet. Il est dit dans la conclusion, que les projets d'une croisade de Louis XIV furent abandonnés, après la mort de Mazarin, sur les instances de Colbert, qui fit voir les suites d'une campagne antiottomane pour le commerce français au Levant.

L'affirmation de la page 338 que : « La Turquie comprenait en 1660, outre les anciennes provinces de Thrace, de Macédoine et de Crète, la Bulgarie, la Serbie, la Moldavie, la Valachie... » aurait dû être plus nuancée:

A. D.

TOTOIU, I., *Contribuții la problema stăpînirii turcești în Banat și Crișana* [Contribution au problème de la domination turque au Banat et en Crișana], dans « Studii », 1960, 1, p. 5—37.

L'auteur fournit d'intéressantes informations sur la situation des « pachaliks » de Timișoara et d'Oradea dans la seconde moitié du XVII<sup>e</sup> siècle. Il s'occupe tout spécialement de celui d'Oradea, créé par le grand vizir Mehmet Köprülü, après ses campagnes victorieuses des années 1658—1660.

Les sources dont on dispose — y compris les sources magyares — sont rares. Par contre, deux livres de comptes des « vakufs » des villes d'Oradea et d'Arad constituent de précieux documents à ce propos. De même, l'auteur a soigneusement consulté les relations fournies par Evliya Çelebi.

L'étude de I. Totoiu apporte de précieuses informations sur la situation géographique des villes du « pachalik » d'Oradea (situation, étendue, nombre des familles), sur les institutions musulmanes de cette région, ainsi que sur l'organisation et le mode d'existence des « vakufs ». On nous apprend en même temps quelles furent les fluctuations de la population chrétienne des sandjaks, en insistant sur sa tendance à se déplacer en masse vers les domaines des villes possédant des « vakufs » (vakufs : fondations pieuses, administrativement indépendantes et exemptes d'impôts), afin d'échapper aux impôts et à l'oppression. Néanmoins, même sous la protection des vakufs, la situation matérielle des sujets demeurait précaire et celle des paysans restés en dehors de ces domaines privilégiés était encore plus difficile. D'où les diverses formes de la lutte menée par les paysans, telle l'insoumission au travail, le non-paiement des impôts, voire le pillage à main armée des « vakufs ».

M. A.

VALENTIN AL. GEORGESCU, *Protimisul în Manualele de legi din 1765, 1766 și 1777 ale lui Mihail Fotino. Cu o analiză generală a operei sale juridice și a raporturilor ei cu « Suplimentul » publicat de Frații Tunusli în 1806* [La Protimisis (droit de préemption) dans les manuels de lois de Mihail Fotino (1765, 1766 et 1777). Suivi d'une analyse générale de son œuvre juridique et de ses rapports avec « Le Supplément » publié par les frères Tounouslien 1806], dans « Studii și materiale de istorie medie », tome V, Bucarest, Editions de l'Académie de la R.P. Roumaine, 1962. p. 281—333.



Le droit de préemption, que les Byzantins nommaient *protimisis*, reflète le phénomène de la solidarité familiale à l'époque où les communautés villageoises se décomposent et pendant la période où les relations féodales font leur apparition, puis se développent. Par cette institution, les communautés villageoises défendent leurs terres contre les empiètements des féodaux, mais les processus d'individualisation de la possession foncière et de différenciation sociale au sein même des communautés facilitent peu à peu, toujours du fait de la pratique de la préemption, la concentration des terres paysannes dans les mains des féodaux. Les éléments aisés des communautés villageoises mettent à profit leur droit de préemption, fondé sur les relations de parenté et sur le voisinage des terres, pour acheter les terres situées sur le domaine des communautés respectives. Les terres des membres des communautés sont également achetées par les féodaux qui, s'appropriant les terres paysannes, finissent par se considérer comme assimilés aux gens de l'endroit en ce qui concerne l'exercice du droit de préemption.

Le droit de préemption remplit donc des fonctions juridiques et sociales contradictoires, puisqu'il fut exercé tant par les paysans libres, pour défendre leurs terres sur la base de la solidarité familiale, que par les paysans aisés et par les féodaux, qui mirent à profit le fait que leurs terres étaient voisines de celles des paysans pour déposséder ces derniers, contraints, par le besoin, de se dessaisir de leurs terres. Tels sont les traits caractéristiques sous lesquels le droit de préemption fut connu chez un grand nombre de peuples pendant la période qui marqua le passage de la société des relations gentilices aux relations de classe. Les Byzantins réglementèrent l'institution du droit de préemption en édictant des lois précises et détaillées.

Se fondant sur le fait que, sous son nom byzantin de *protimisis*, cette institution figure également dans les codes usités par la société féodale roumaine, certains chercheurs grecs et roumains sont allés jusqu'à soutenir que le droit de préemption figurant dans les lois roumaines aurait été, en fait, emprunté aux Byzantins. Or, nous avons déjà montré, à d'autres occasions, que ces affirmations ne reposent absolument sur rien, et expliqué l'existence de la *protimisis* dans le droit féodal de la société roumaine par la structure interne de cette société au cours du processus de décomposition des communautés villageoises, phénomène que l'on retrouve d'ailleurs, en ce qui concerne le recours au droit de préemption, chez d'autres peuples à cette période de leur développement social (Gh. Cronț, *Pravilniceasca Condiică a lui Ipsilante în ediția Zepos din 1936* [Le code d'Ypsilantis dans l'édition Zepos de 1936], paru dans les « Analele Facultății de Drept din București », V<sup>e</sup> année, 1943, n<sup>o</sup> 1—4, p. 5—6 ; voir également notre compte rendu de l'édition, publiée par les soins de Pan. I. Zepos, de *Manualul de legi al lui Mihail Fotinopoulos din 1765* [Manuel de lois de Mihail Fotinopoulos de 1765], compte rendu paru dans « Studii », XIII<sup>e</sup> année, 1960, n<sup>o</sup> 2, p. 273).

Valentin Georgescu nous donne une étude fondamentale de l'institution connue sous le nom de *protimisis* à la lumière des manuels de lois de 1765, 1766 et 1777 de Michel Photeinos (Fotino). Ces manuels renferment les dispositions de droit byzantin ainsi que les coutumes juridiques appliquées en Valachie dans la seconde moitié du XVIII<sup>e</sup> siècle. Or, la *protimisis* nous apparaît dans ces manuels comme une institution comportant d'importants traits autochtones, mais présentés dans le cadre d'une systématisation juridique byzantine et incluant certaines dispositions byzantines. Les réglementations qui figurent dans ces manuels correspondent aux relations sociales de la période de passage du féodalisme au capitalisme et reflètent le souci de Michel Photeinos d'établir des règles juridiques plus étendues pour consolider la propriété foncière. L'auteur met en lumière les facteurs internes qui donnèrent lieu à cette introduction du droit byzantin au XVIII<sup>e</sup> siècle dans la réglementation de la *protimisis*. Les résultats obtenus par l'auteur apportent du nouveau à l'étude historique de la *protimisis*.

Importantes également, pour l'étude du droit féodal roumain, sont les explications qu'il nous donne touchant la paternité du *Supplément* de l'Histoire des Daces de 1806. Ce *Supplément*,

bref résumé du droit féodal roumain rapporté au droit byzantin, était attribué, par l'ancienne historiographie roumaine, tantôt aux frères Tounousli, tantôt à Michel Cantacuzène. Attribuant, pour sa part, ce *Supplément* à Michel Photeïnos, l'auteur se fonde principalement sur son analogie avec les manuels de Photeïnos en ce qui concerne la réglementation de la *protimisis*. L'hypothèse de Valentin Georgescu est très proche de celle que nous avons soutenue dans notre préface au IV<sup>e</sup> Livre du Manuel de Michel Photeïnos de 1777, édition que nous avons élaborée en 1958, en collaboration avec Vasile Grecu. Mais pour faire accepter par les historiens la paternité de Michel Photeïnos sur ce *Supplément*, d'autres recherches sont encore nécessaires.

En ce qui concerne les rapports existant entre le *Code d'Ypsilantis* de 1780 et les *Manuels de Michel Photeïnos*, nous avons soutenu dès 1948 que l'œuvre de Photeïnos a servi à l'établissement de la législation d'Ypsilantis (G. Cronț, *Curs de istoria dreptului românesc* [Cours d'histoire du droit roumain], lithographié, Bucarest, 1948, p. 205). Nous sommes donc également d'accord avec l'auteur sur ce point.

L'étude des textes sur lesquels l'auteur fonde son raisonnement est ample et convaincante. Elle est accompagnée de résumés français et russe.

G. C.

LIMONA, E. et LIMONA, D., *Aspecte ale comerțului brașovean în veacul al XVIII-lea. Negustorul aromân Mihail Țumbru* [Aspects de la vie commerciale de la ville de Brașov au XVIII<sup>e</sup> siècle. Le commerçant macédo-roumain Mihail Țumbru], dans « *Studii și Materiale de Istorie medie* », vol. IV, Editions de l'Académie de la R.P.R., Bucarest, 1960, p. 525—564.

La correspondance commerciale de Mihail Țumbru est extrêmement riche en renseignements relatifs à la vie commerciale de la ville de Brașov au XVIII<sup>e</sup> siècle, ainsi qu'aux grands centres commerciaux compris dans la zone délimitée par Venise, Trieste, Vienne, Jassy, Constantinople, Serrès, Salonique, Trikkala et Larissa.

Il résulte des archives commerciales de M. Țumbru, qu'il était originaire de Seatîște, localité de Macédoine, fondée au XII<sup>e</sup> siècle par des pères valaques. E. Limona et D. Limona déduisent que M. Țumbru quitta sa ville natale vers 1773, à l'âge de 21 ans, pour s'engager dans une compagnie commerciale ayant son siège à Belgrade, avec son concitoyen Hagi Trandafir Dosiou, lui aussi natif de Seatîște.

Les auteurs indiquent qu'aussi bien au début de sa carrière, que plus tard, M. Țumbru entretenait des relations commerciales des plus étroites avec bon nombre de commerçants macédo-roumains répandus à travers les principaux centres commerciaux des Balkans. En 1782, ayant épousé la fille du commerçant roumain Ion Boghici, M. Țumbru s'installe définitivement à Brașov.

En octobre 1789 — précisent les auteurs — M. Țumbru, avec Ion Boghici, son beau-père, et Hagi Stan Jianu, de Craiova, fondent une compagnie de commerce. Les années durant lesquelles fonctionna cette compagnie sont les plus fécondes de l'activité du grand commerçant de Brașov. En sa qualité de représentant de la compagnie, il pratique le commerce d'exportation, d'importation et de transit de marchandises provenant de Brașov, de Turquie, de Venise, etc. Il s'adonne également au commerce des valeurs mobilières — lettres de change et monnaies — à Vienne, Constantinople, Bucarest, Serrès, Zemlin et sur les marchés de Transylvanie. Il avait à son service de nombreux correspondants et commissionnaires qui visitaient régulièrement les marchés autrichiens, hongrois, ainsi que ceux des Principautés roumaines et des Balkans. Dans d'autres centres, il possédait des comptoirs permanents de vente.

L'activité commerciale de M. Țumbru et, en général, celle des compagnies de commerce de l'époque — soulignent les auteurs — a contribué à la dissolution de l'économie féodale, en accé-

lérant le processus de formation des relations capitalistes de production. En même temps et grâce à son activité, la compagnie fondée par M. Tumburu contribua à la création du marché international dans la zone des Balkans et du centre de l'Europe.

A. S.

PROTOPSALTIS, EM. GH., 'Η επαναστατική κίνηση των 'Ελλήνων κατά τὸν δεύτερον ἐπὶ Αἰκατερίνης Β' ρωσοτουρκικὸν πόλεμον (1787—1792). Λουδοβίκος Σωτήρης [Le mouvement révolutionnaire grec pendant la deuxième guerre russo-turque (1787—1792) sous Catherine II. Loudovikos Sotiris], dans Δελτίον τῆς 'Ιστορικῆς καὶ 'Εθνολογικῆς 'Εταιρείας τῆς 'Ελλάδος, Athènes, vol. XIV, 1960, p. 33—155.

L'étude de Em. Protopsaltis, directeur des Archives générales de Grèce, comprend trois grands chapitres : I. La situation interne de la Grèce continentale depuis la paix de Koutchouk-Kaïnardji jusqu'à la deuxième guerre russo-turque. II. La politique de la Russie à l'égard des Grecs depuis la paix de Koutchouk-Kaïnardji (1774) jusqu'à la déclaration de la nouvelle guerre russo-turque. III. La vie et l'activité révolutionnaire du commandant Louizis (Loudovikos) Sotiris, qui fut un certain temps au service de la Russie. L'étude de l'activité du commandant Sotiris permet à l'auteur de s'étendre sur le mouvement révolutionnaire grec au cours de la deuxième guerre russo-turque.

L'auteur publie, à la fin de son étude, une série de 28 documents relatifs à son sujet (p. 109—145), ainsi que 8 fac-similés (p. 146—159).

Les documents publiés proviennent des archives du commandant Sotiris ; ils se trouvent actuellement aux Archives générales de Grèce. La plupart sont écrits en grec et quelques-uns en français. Le premier document date du 10 février 1770 et le dernier du 27 décembre 1794. Nous trouvons, parmi les fac-similés présentés, une page du manifeste de Catherine II imprimé et adressé aux Grecs le 17 février 1788, par lequel on annonce que les armées russes sont parties en guerre contre les Turcs et aideront le peuple grec ainsi que tous les peuples chrétiens orthodoxes à se libérer.

N. Cr.

NEACȘU, I. *Cu privire la componența socială a locuitorilor din Oltenia, participanți la lupta împotriva pazvanșilor și la războiul ruso-turc (1806—1812)*. [De la composition sociale des habitants de l'Olténie qui prirent part à la lutte contre les bandes de Pazvantoglou et à la guerre russo-turque (1806—1812)], dans « Studii », XIV, 1961, n° 5, p. 1203—1210.

Des soldats recrutés dans les Principautés roumaines furent constamment utilisés dans les luttes qui opposèrent — vers la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle et durant les premières années du XIX<sup>e</sup> siècle — les troupes régulières turques aux puissantes bandes de Pazvantoglou. A part certains « aschkerlis » de Moldavie, les unités les plus importantes étaient assurées par les « pandours » d'Olténie.

En 1798 déjà, 2 000 paysans roumains participent aux luttes de Vidin, place forte du pacha rebelle à l'autorité du sultan. Dans les années qui suivirent et surtout durant le règne de Constantin Ypsilantis, un nombre considérable de « pandours » actionnèrent contre les bandes de Pazvantoglou et les « cfrjalis ».

L'auteur analyse l'état social des capitaines de « pandours » et conclut qu'ils étaient dans leur grande majorité des paysans libres (« moşneni »). Pendant la guerre russo-turque de 1806—1812, Constantin Ypsilantis, puis le commandement russe, eurent recours à des troupes de « pandours », qu'ils utilisèrent contre les Turcs. L'armée des « pandours » subit des pertes considérables et les impératifs militaires exigeant un accroissement incessant de ses effectifs, on observe une modification dans la composition sociale des « pandours », tout particulièrement pendant les dernières années de la guerre, quand leurs effectifs sont complétés au moyen d'enrôlements massifs d'hommes provenant des rangs de la paysannerie corvéable.

I. R. B.

IANCOVICI, SAVA, *Date noi despre bimbaşa Sava* [Nouvelles données sur le bimbaşa Sava dans « Studii », XIV, 1961, n° 5, p. 1187—1201.

Cette note offre toute une série de détails inédits concernant la biographie du fameux commandant hétéariste durant la période antérieure au soulèvement de 1821. Le bimbaşa Sava se trouvait en Valachie depuis 1800 et se distingua dans les luttes contre les troupes de Pazvantoglou à Craiova et sur les deux rives du Danube. Il prit part en 1802 au siège de Negotin. Ses faits d'armes lui valurent la possession d'un modeste kiosque à Bucarest. En 1802, il exigeait du prince de Valachie l'acquittement de la solde des 1 600 hommes qu'il commandait.

Pendant la guerre russo-turque de 1806 à 1812, le bimbaşa Sava lutte au sud du Danube ; puis on le retrouve à Bucarest en 1812 ; il s'établit pour quelques années à Jassy — il y était encore en 1814 — pour revenir à Bucarest pendant les années qui précédèrent le soulèvement de 1821. En 1821, pendant les événements révolutionnaires, Sava est nommé commandant de la garde à Bucarest, où il s'adonne à une politique de duplicité qui finalement le conduira à sa perte. Une annexe reproduit les quatre documents inédits qui sont la source des détails, intéressants et jusqu'ici inconnus, apportés par l'auteur à la biographie du « căminar » Sava Phokianos.

I. R. B.

*Documente privind istoria României. Răscoala din 1821.* [Documents concernant l'histoire de Roumanie. La révolte de 1821], Tome V, Editions de l'Académie de la R.P.R., Bucarest, 1962, 627 p. (Académie de la République Populaire Roumaine, Institut d'Histoire).

La collection de documents (en partie déjà parus et en partie inédits) relatifs à la révolte de 1821, publiée ces dernières années (1959—1962), rassemble en cinq volumes des matériaux répartis comme suit : trois volumes de documents internes, un volume de documents concernant l'activité de l'Hétéairie dans les Pays roumains et, enfin, un volume réservé aux sources narratives intéressant cette période. Les rapports consulaires russes, autrichiens, anglais, etc. sur les événements de la période 1821—1822 feront, comme l'avertit la préface du premier volume, l'objet de publications ultérieures. Les documents de la collection, présentés dans l'ordre chronologique, qu'il s'agisse des événements de Valachie ou de ceux de Moldavie, renferment quelquefois, outre les informations directes sur la révolte conduite par Tudor Vladimirescu, des données sur des événements antérieurs ou postérieurs à l'année

1821, mais qui, en raison de leur contenu, expliquent non seulement les causes, mais aussi les conséquences de la révolte.

Le présent recueil représente non seulement le fruit d'un nouvel examen critique de toutes les sources existantes, mais aussi la mise en valeur de nouvelles sources demeurées ignorées jusqu'à sa parution.

Signalons également que, en général, le groupe de spécialistes qui a élaboré cette collection n'a pas considéré la révolte de 1821 comme un phénomène isolé, mais en a envisagé tous ses antécédents, ainsi que les mouvements de libération enregistrés au sud du Danube.

Voici les sources narratives du cinquième volume : I. *Revoluțiunea de la 1821, de biv vel serdar Ioan Dirzeanu* (La révolution de 1821, par l'ancien grand serdar Ioan Dirzeanu), chronique parue pour la première fois dans la *Trompeta Carpaților*, en 1868, puis republiée par N. Iorga dans *Izvoarele contemporane asupra mișcării lui Tudor Vladimirescu* (Les sources contemporaines sur le mouvement de Tudor Vladimirescu), publiées en 1921, lors du centième anniversaire de la révolte. La nouvelle édition a été reproduite d'après le manuscrit original, provenant de la bibliothèque de Cezar Boliac. II. *Răscoala pandurilor sub conducerea lui Tudor Vladimirescu în anul 1821 și începutul acțiunii eteriștilor în Principatele dunărene sub conducerea lui Alexandru Ipsilanti precum și sfârșitul lamentabil al ambelor acestor mișcări în același an, de I. P. Liprandi* (La révolte des pandours sous la direction de Tudor Vladimirescu en 1821 et les débuts de l'action des membres de l'Hétairie dans les Principautés danubiennes sous la conduite d'Alexandre Ypsilantis, ainsi que la fin lamentable de ces deux mouvements la même année, par I. P. Liprandi). Le volume contient pour la première fois en langue russe avec traduction roumaine, les œuvres inédites de I. P. Liprandi sur le mouvement révolutionnaire de 1821.

Comme chef du service d'espionnage et contre-espionnage d'une division d'infanterie casernée à Kichinev, I. P. Liprandi remplit diverses missions : surveillance des membres de l'Hétairie et des Moldaves réfugiés en Bessarabie, observation des mouvements des troupes turques dans les Principautés roumaines, description des frontières russo-turques et des forteresses des Balkans, etc. En 1827, I. P. Liprandi dirigea un vaste réseau d'espionnage ayant des ramifications dans les Balkans et en Autriche et, en 1828, il fut nommé chef de la police spéciale secrète pour les Balkans : plus tard, il rédigea, pour le gouvernement russe, toute une série de longs mémoires sur la situation des Principautés. Le large mouvement populaire de 1821, la lutte des masses asservies contre la domination ottomane et l'exploitation féodale, le caractère national et social de la révolte — rien n'a été saisi ou l'a été d'une façon déformée par Liprandi. La façon dont il présente certains événements du temps de la révolte trahit l'influence des frères Démètre et Paul Makedonski ; certains passages du texte dénotent même clairement son profond mépris du peuple.

III. *Căpitanul Iordache Olimpiotul. Acțiunea eteriștilor în Principate în anul 1821, de I. P. Liprandi* (Le capitaine Iordaki l'Olympiote. L'action des membres de l'Hétairie dans les Principautés en 1821, par I. P. Liprandi) ; IV. *Notele lui I. P. Liprandi despre : Lizgara, Mihail Suțu, Gh. Cîrjaliu, Al. Ipsilanti, G. M. Cantacuzino, Cuciuc Ahmed și Const. Herescu* (Les notes d'I. P. Liprandi sur Lizgara, Mihail Suțu, G. Cîrjaliu, Al. Ipsilanti, G. M. Cantacuzène, Koutchiuk Ahmed et Const. Herescu) ; V. *Declarația fraților Dimitrie și Pavel Macedonski* (La déclaration des frères Démètre et Paul Makedonski) ; VI. *Obșteasca tînguire. O expunere în versuri și în proză asupra situației grele a Țării Românești sub domnia fanarioși, de un Anonim* (Plainte générale. Exposé en vers et en prose de la dure situation de la Valachie sous les princes phanariotes, par un auteur anonyme) ; VII. *Voroadă asupra țării Moldaviei, de Vasile Murguleț* (Propos sur la Moldavie, par Vasile Murguleț) ; VIII. *Tînguirea Moldovei. Versuri despre situația grea a Moldovei în vremea fanarioșilor și a Eteriei, de un Anonim* (La plainte de la Moldavie. Vers sur la dure

situation de la Moldavie au temps des princes phanariotes et de l'Hétairie, par un auteur anonyme). Les trois pamphlets inédits des points VI, VII et VIII, exemples parfaits du pamphlet politique de la période postérieure à la révolte, diffèrent en général des autres œuvres du même genre en ce que leurs auteurs dénoncent non seulement l'aggravation de la domination ottomane à l'époque en question, mais aussi l'exploitation sans merci pratiquée par les boyards du pays en étroite complicité avec l'aristocratie du Phanar); IX. *Amintirile lui Dumitrache Protopopescu din Severin despre răscoala din 1821* (Les souvenirs de Dumitrache Protopopescu, de Severin, sur la révolte de 1821); X. *Amintirile lui Iordache Otetelișanu despre atacul pandurilor asupra boerilor la Benești în 1821* (Souvenirs de Iordache Otetelișanu sur l'attaque des pandours contre les boyards à Benești en 1821).

P. S.

DOSTIAN, J. S., *Борьба сербского народа против турецкого ига XV—начало XIX в.* [La lutte du peuple serbe contre l'oppression turque du XV<sup>e</sup> jusqu'aux débuts du XIX<sup>e</sup> siècle], Académie des Sciences de l'U.R.S.S., Institut d'Etudes Slaves, Moscou, 1958, 194 p.

Cette monographie, de petit format, de l'érudit soviétique J. S. Dostian, spécialiste des problèmes concernant l'histoire de Serbie, représente une synthèse de tout ce qui a été écrit jusqu'à présent par les historiens serbes et russes sur la lutte séculaire du peuple serbe contre la domination ottomane.

L'auteur se propose de montrer et d'expliquer, dans les grandes lignes, les étapes de la lutte du peuple serbe, depuis sa soumission par les conquérants turcs jusqu'à la révolte de 1804—1813, qui fera l'objet d'une autre étude.

L'ouvrage est divisé en sept chapitres presque égaux en étendue. Le chapitre I parle de la conquête du sud-est de l'Europe par les Turcs ottomans et de la lutte du peuple serbe. Le chapitre II porte sur la situation des régions serbes sous la domination ottomane. Le chapitre III traite du « mouvement de libération » dans les territoires serbes au XVI<sup>e</sup> siècle et au début du XVII<sup>e</sup>. Le chapitre IV est consacré à la lutte des Serbes pour la liberté à l'époque de la « Sainte Ligue ». Suit, au chapitre V, « le mouvement de libération des Serbes pendant la guerre de la Russie et de l'Autriche avec la Turquie, au XVIII<sup>e</sup> siècle ». Le chapitre VI fait état des caractères propres au développement social et économique du nord de la Serbie dans la seconde moitié du XVIII<sup>e</sup> et au début du XIX<sup>e</sup> siècle, ainsi qu'au commencement de la révolte de 1804.

L'exposé respecte, on peut le constater, le déroulement chronologique de l'histoire. Le XVIII<sup>e</sup> siècle marque une nouvelle époque dans l'évolution de la lutte du peuple serbe contre les Ottomans, lutte qui, dès lors, mettra au premier plan les intérêts économiques, politiques et nationaux. Tout en expliquant quels sont les facteurs généraux, sociaux et économiques, qui déterminèrent la lutte de libération nationale dans les Balkans, l'auteur ne manque pas d'insister également sur les facteurs particuliers qui contribuèrent à créer des conditions favorables à la révolte qui justement devait éclater dans le pachalik de Belgrade.

Du point de vue géographique, l'auteur s'occupe, en principe, des événements relatifs au territoire de la Serbie proprement dite et aux régions du nord du Danube et de la Save, bien que, dans son exposé, il se livre à de fréquentes incursions dans l'histoire de la Macédoine, de la Bulgarie, de l'Albanie, du Monténégro, de la Bosnie, de l'Herzégovine, etc. De même, les

références à l'histoire de la Valachie, de la Moldavie et de la Transylvanie n'y sont pas rares. Il en résulte que la monographie de J. S. Dostian ne se borne pas seulement à un exposé de l'histoire des Serbes, mais devient en quelque sorte un traité d'histoire balkanique.

S. I.

GRITZOPULOS, TASOS AT., Γρηγόριος Ε' ὁ Πατριάρχης τοῦ Ἑθνους [Grégoire V, patriarche de la nation], dans *Δελτίον τῆς Ἱστορικῆς καὶ Ἐθνολογικῆς Ἐταιρείας τῆς Ἑλλάδος*, Athènes, vol. XIV, 1960, p. 164—230.

On sait combien l'activité du patriarche de Constantinople Grégoire V, pendu par les Turcs lors de la révolution grecque de 1821, a préoccupé nombre d'historiens grecs, dont certains voient en lui un héros et un martyr national, alors que d'autres le tiennent pour un prélat obscurantiste menant une politique philo-turque et agissant à l'encontre des intérêts du peuple grec.

La présente étude est la plus récente qui ait été publiée à la défense de Grégoire V ; Gritzopoulos le présente, ainsi que le laisse voir le titre de son étude, comme le « patriarche de la nation ». Aussi l'auteur essaye-t-il de justifier la collaboration de Grégoire avec les Turcs. Il ne discute aucunement l'attitude philo-turque que manifeste Grégoire V dans ses lettres où il condamne la Révolution française et ses idées, ou exhorte les Grecs à ne pas se fier aux promesses des Russes. Au lieu de confondre ses adversaires à l'aide d'arguments sérieux, il soutient que Grégoire V était persuadé que la nation grecque était tombée en esclavage à cause de ses péchés (Dieu voulant l'éprouver) et que par la volonté de Dieu seulement, elle pouvait recouvrer sa liberté (p. 187). L'auteur soutient plus loin que Grégoire fut initié à l'Hétairie, lors de sa retraite au Mont Athos, mais qu'il n'a pas prêté le serment accoutumé aux hétéaristes, car, estimait-il, l'Eglise ne devait pas connaître ces actions, afin de pouvoir maintenir son influence sur la Porte.

Gritzopoulos est d'avis que la Porte a pendu Grégoire non par conviction de sa complicité avec les hétéaristes, mais pour se livrer à un simple acte de terreur.

Très précieuse est la liste bibliographique (p. 198—230) des actes, encycliques et lettres de Grégoire V ayant trait à différents problèmes ecclésiastiques et culturels, à ses relations personnelles ou à celles avec les autorités turques, publiés dans d'autres travaux ou périodiques ou même encore inédits.

N. Cr.

PEPO, P. et MASLEV, S. Dr., *Страници от историята на българо-албанските дружески отношения през XIX в.* [Pages de l'histoire des relations amicales bulgaro-albanaises au XIX<sup>e</sup> siècle], dans «*Исторически Преглед*», XVI, 1960, n<sup>o</sup> 3, p. 113—122.

Les auteurs publient pour la première fois la traduction intégrale et fidèle de deux documents originaux qui se trouvent à la Bibliothèque Nationale « Vasil Kolarov » de Sofia, et qui révèlent les relations amicales de deux illustres représentants des peuples bulgare et albanais, I. D<sup>r</sup> I. Seliminski et N. Vekilhardji. Il s'agit d'un appel aux Albanais, ainsi que d'une lettre adressée à Jean Tsaly, qui demeurait à Vienne. Ces deux documents furent rédigés par I. Seliminski—comme il l'affirme lui-même plus tard par écrit—à la prière de Naum Vekil-

hardji. I. Seliminski et N. Vekilhardji étaient animés des mêmes idées généreuses au sujet de l'élévation des peuples bulgare et albanais par l'instruction et la culture. L'appel déplore les conditions difficiles dans lesquelles se trouvait le peuple albanais et montre l'importance de l'instruction du peuple dans sa langue maternelle.

Les auteurs sont d'accord que l'appel — dont l'original de la Bibliothèque Nationale de Sofia ne porte point de date — a été rédigé en 1846 ou vers cette date. Cette conclusion nous semble la bonne, du fait aussi que cette date se situe après les deux éditions de l'abécédaire albanais publié par Vekilhardji<sup>1</sup> à Constantinople (en 1844—1845).

Les idées dont s'est inspirée la publication de cet abécédaire figurent aussi bien dans l'appel que dans la lettre adressée à J. Tsaly. Celui-ci, neveu de Vekilhardji, se trouvant à Vienne, n'avait pas compris combien les sacrifices matériels nécessaires à l'édition de l'abécédaire étaient profitables au peuple. La lettre porte la mention : « 7 avril 1846, de Bucarest à Vienne ».

L'idéal similaire des deux représentants des peuples bulgare et albanais relève de leur lutte commune pour la libération nationale. La publication de ces lettres constitue en même temps un encouragement à découvrir d'autres liens qui ont dû exister entre I. Seliminski et N. Vekilhardji et dont les témoignages doivent attendre dans quelques archives inexplorées d'être découverts.

A. C.

ANINEANU, MARTA, *Din activitatea diplomatică a lui Vasile Alecsandri. Corespondențe inedite, 1859, 1862* [De l'activité diplomatique de Vasile Alecsandri. Correspondance inédite, 1859, 1862], dans « Studii și materiale de istorie modernă », vol. II, Editions de l'Académie de la R.P.R., Bucarest, 1960, p. 257—281.

L'auteur s'occupe de quelques-unes des lettres de Vasile Alecsandri qui présentent un intérêt politique. Jusque-là inédites, ces lettres, datées de janvier et mai 1859 et février 1862, furent expédiées de Turin et de Paris. A l'exception d'une seule, adressée au prince régnant Couza, les autres sont envoyées par le poète à son frère, Iancu Alecsandri, qui était alors le correspondant du gouvernement de Moldavie à Paris et à Londres. L'article relève l'attitude de Vasile Alecsandri après l'Union, lorsque, en sa qualité de ministre des Affaires Etrangères de Moldavie il déploie une activité soutenue en vue d'attirer l'attention des diplomates étrangers et de l'opinion publique sur les Principautés roumaines. L'auteur montre — avec, à l'appui, des citations extraites de la correspondance annexée à son article — comment Vasile Alecsandri est parvenu à mener à bonne fin deux missions difficiles découlant des complications diplomatiques du début du règne de Couza : la reconnaissance, par l'Occident, de la double élection de Couza comme prince régnant de Moldavie et de Valachie, acte qui contrevenait à la Convention de 1859, et l'obtention de l'adhésion de la France et de l'Italie à l'union complète des deux principautés.

Il faut, en même temps, signaler un fragment de la lettre du 25 mars 1859, adressée à Iancu, où ce dernier est prié par son frère d'obtenir de Cavour la création à Turin d'une chaire de littérature roumaine et l'admission d'élèves roumains à l'Ecole militaire du Piémont. Il ressort également de ce fragment qu'une bibliothèque italienne avait été offerte à l'Université de Bucarest.

<sup>1</sup> Cf. V. Papacostea, *Sur l'abécédaire albanais de Vekilhardji*, « Balcania », I, 1938.



Récemment Turin a célébré le centenaire de la création de la chaire de langue roumaine à l'Université de cette ville (1863) par le gouvernement des Principautés roumaines, par l'intermédiaire de Giovanale Vegezzi-Ruscalla. Cet événement culturel et scientifique d'une haute importance pour l'étude des langues romanes, réalisé il y a un siècle, a été probablement une conséquence des démarches de Vasile Alecsandri reflétées dans sa correspondance.

S. H.

GALKINE, I. S., *Дипломатия европейских держав в связи с освободительным движением народов европейской Турции 1905—1912*, Moscou, 1960, 266 p.

La monographie d'I.S. Galkine est consacrée à la lutte de libération nationale en Crète, en Albanie et en Macédoine au cours des sept années qui précédèrent les guerres balkaniques. Grâce à une abondante documentation, puisée dans de nombreuses publications parues à Londres, Berlin, Paris et Leipzig, et complétée à l'aide des données fournies par les archives soviétiques, et plus particulièrement par les fonds des consulats russes des territoires en question, l'auteur réussit à élucider quelques aspects mal connus du mouvement antiottoman.

Galkine étudie parallèlement l'action diplomatique des grandes Puissances (Angleterre, France, Autriche-Hongrie et Russie) et des milieux dirigeants des États balkaniques (Serbie, Bulgarie, Grèce et Monténégro). Pour réaliser ses visées expansionnistes, la bourgeoisie nationaliste des pays balkaniques entre en collusion avec les impérialistes étrangers, faisant ainsi de la question des territoires de la Turquie d'Europe un problème central de la politique européenne des années 1905—1912.

L'ouvrage de Galkine comprend trois parties. Dans la première, consacrée à la question crétoise et à la position adoptée par les États européens au cours de la période 1905—1912, l'auteur rappelle que la réunion de la Crète à la Grèce a été réalisée grâce à la lutte des masses populaires contre les spahis et l'administration turque, et qu'elle déjoua les projets de l'Angleterre, qui se proposait d'occuper la Crète pour ses propres buts stratégiques.

Les II<sup>e</sup> et III<sup>e</sup> parties sont consacrées à la lutte de libération de l'Albanie et de la Macédoine de sous la domination ottomane et à la politique des États européens dans ce problème.

Les forces révolutionnaires sont groupées autour des organisations de lutte d'Albanie et de Macédoine ; le Comité révolutionnaire central d'Albanie et l'Organisation révolutionnaire intérieure macédonienne. Une série de faits évoqués par l'auteur attestent que les forces révolutionnaires albanaises et macédoniennes entretenaient des rapports permanents en vue d'une action commune.

Les grandes puissances européennes, incapables d'endiguer le mouvement de libération des peuples balkaniques, s'appliquèrent à le faire servir à leurs propres fins. Tel fut l'objet de l'activité fébrile de la diplomatie européenne, que l'auteur retrace d'une façon détaillée.

Les rivalités entre les grandes puissances influencèrent en grande partie les résultats de la lutte antiottomane en Albanie et en Macédoine, qui n'acquiescent pas une vraie indépendance. Si les Albanais réussirent du moins à créer en 1912 un État national, par contre les Macédoniens, par suite d'un ensemble de circonstances d'ordre extérieur et intérieur que l'auteur analyse en détail, ne purent pas accéder à l'indépendance. Le problème macédonien fut résolu non point par la voie démocratique, mais par les guerres entre les États balkaniques (en 1913), avec l'immixtion des États impérialistes (p. 246).

L'ouvrage d'I. S. Galkine intéressera tous ceux qui s'occupent du problème des mouvements de libération nationale dans les Balkans. Les conclusions auxquelles aboutit l'auteur

par l'étude de la lutte de libération des masses populaires de Crète, d'Albanie et de Macédoine, prouvent combien peu scientifiques sont les thèses de l'historiographie bourgeoise (représentée par St. Protić, Vl. Djodjević, G. Gooch, R. Poincaré, H. Wendel, etc.), selon lesquelles les masses populaires des pays en question se seraient montrées passives, attendant leur libération de la part des grandes puissances.

S. I.

BIYCKHOĞLU, TEVFIK, *Birtinci Türkiye Büyük Millet Meclisi' nin hukukt statüsü ve ihtilâlcî karakteri* [La première Grande Assemblée Nationale Turque. Son statut légal et son caractère révolutionnaire], « Belleten », Ankara, n° 96, 1960, p. 637—664.

L'auteur commence par passer en revue les circonstances historiques qui ont donné naissance à la première Grande Assemblée Nationale Turque.

La défaite de la Turquie dans la première guerre mondiale, les conditions humiliantes imposées au gouvernement turc par les traités de San Remo et de Sèvres, ont provoqué la révolution nationale bourgeoise de caractère antiféodal et antiimpérialiste, dirigée par Atatürk.

De novembre 1918 à mars 1919 les puissances victorieuses — l'Angleterre, la France et l'Italie — auxquelles se joignit ultérieurement la Grèce, occupèrent les régions d'une importance économique et stratégique vitale de la Turquie d'Europe et de l'Anatolie. Seules les régions de l'est et une partie de l'Anatolie du Nord — soit qu'elles fussent peu intéressantes économiquement, soit qu'elles fussent difficiles à occuper — avaient échappé au contrôle des vainqueurs. Or cette région non occupée était habitée par une population turque compacte, nourrie d'une vigoureuse tradition nationale. Ici s'étaient retirées, avec tout leur armement, quatre des meilleures divisions de l'ancienne armée ottomane. Le gouvernement d'Istanbul, le sultan en tête, était complètement compromis aux yeux du peuple turc, qui le considérait comme une marionnette entre les mains des occupants. Dans les régions libres comme dans les régions occupées, la population désirait l'abolition du régime corrompu des sultans et réclamait des libertés démocratiques. Le souffle de la Grande Révolution d'Octobre encourageait ces aspirations et leur imprimait un vigoureux élan.

C'est dans ces conditions historiques qu'au lendemain du congrès de Chiraz (4—11 septembre 1919) prenait naissance l'Association pour la défense des droits de l'Anatolie et de la Roumélie. L'occupation d'Istanbul par les puissances alliées, l'arrivée en Anatolie d'Atatürk, que son activité antérieure faisait considérer comme le leader de la lutte de libération, sont les facteurs qui hâtèrent la constitution de la Grande Assemblée Nationale d'Ankara. Cette importante institution politique de caractère bourgeois naissait dans les conditions de la lutte de libération nationale contre les envahisseurs et, sur le plan intérieur, dans les conditions de la lutte contre le pouvoir réactionnaire du sultan et contre les partisans de l'ancien état de choses.

Quelle était la base légale de cette assemblée? La réponse à cette question nous est fournie par le II<sup>e</sup> chapitre de l'étude de M. Biyckhoğlu.

La Grande Assemblée Nationale Turque représentait en premier lieu les intérêts de la bourgeoisie nationale et, d'une manière générale, les aspirations du peuple turc à la liberté. La Grande Assemblée Nationale représentait en une assez grande mesure le peuple turc, si l'on tient compte du ralliement ultérieur des groupes de députés d'Istanbul, de Roumélie et de Malte. Elle était enfin un organe exécutif adéquat, grâce au caractère actif que lui imprimaient les circonstances historiques de l'époque. Les lois et les décisions adoptées par elle étaient mises en application sans délai. « En ceci résidait son caractère révolutionnaire » remarque l'auteur avec raison, compte tenu du caractère national bourgeois de cette révolution.

On a reproché à la Grande Assemblée Nationale d'avoir accordé des pouvoirs trop étendus à son président Mustapha Kemal Atatürk. « La chose s'explique précisément par le caractère révolutionnaire dont nous avons parlé » répond l'auteur à cette objection. En ces moments critiques, le système de la séparation des pouvoirs au sens constitutionnel bourgeois eût mis en péril l'existence même de la Grande Assemblée Nationale et celle du peuple turc tout entier.

C'est également par ce caractère révolutionnaire que l'auteur explique l'inexistence, dans cette phase, des partis politiques.

Cet état de choses est illustré par le « Programme politique, social, administratif et militaire » de l'Assemblée — organe de la bourgeoisie nationale — programme exposé en substance en ces termes, le 13 septembre 1920, par le Président Atatürk :

1. La Grande Assemblée a la ferme confiance qu'avec l'appui de la nation elle réussira à affranchir le peuple turc du joug « de l'impérialisme et du capitalisme ».

2. Dans les problèmes sociaux, la Grande Assemblée Nationale tiendra compte en premier lieu des besoins pressants du peuple turc.

3. Le pouvoir appartient au peuple, sans conditions ni limites.

4. L'armée est l'armée du peuple.

L'auteur relate ensuite les premiers succès remportés par la Grande Assemblée Nationale dans la lutte de libération et met en relief la personnalité de son président, Kemal Atatürk.

L'étude de M. Biyckhoğlu nous fait connaître les circonstances historiques réelles qui entourèrent la fondation de cette institution moderne de la vie politique du peuple turc, ainsi que certains traits spécifiques de la Grande Assemblée Nationale Turque, et par là elle nous aide à comprendre les événements politiques, militaires et sociaux ultérieurs.

M. A.

AVRAMOVSKI, ŽIVKO, *Sukob interesa Velike Britanije i Nemačke na Balkanu uoči drugog svet-skog rata* [Le conflit entre les intérêts de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne dans les Balkans à la veille de la deuxième guerre mondiale], Institut društvenih nauka. Odeljenje za istorijske nauke. Poseban otisak iz Zbornika radova. Istorija XX veka, II, 1961, 158 p.

L'étude de Živko Avramovski contient beaucoup de choses intéressantes touchant l'histoire contemporaine des Balkans. En dépit des difficultés considérables auxquelles il s'est heurté pour se documenter sur les divers aspects du problème, — à défaut notamment de matériaux d'archives accessibles dans les pays balkaniques — l'auteur a néanmoins réussi à embrasser ces aspects et à apporter ainsi une contribution sérieuse à la connaissance de l'histoire des Balkans dans une période dont trop peu de chercheurs se sont occupés jusqu'à ce jour.

Partant du conflit qui opposait les intérêts économiques des deux grands États capitalistes, l'auteur retrace d'abord l'expansion économique de l'Allemagne dans les Balkans et indique la position adoptée par la Roumanie.

La Grande-Bretagne a tenté de contrecarrer l'influence économique de l'Allemagne en accroissant le volume de son propre commerce avec les pays balkaniques, en consentant des emprunts à ces pays et en essayant d'obtenir l'affiliation de la Bulgarie au Pacte Balkanique. Mais le gouvernement Chamberlain adopta une politique de concessions à l'égard des régimes fascistes, laquelle aboutit aux accords de Munich et aux conséquences qui en découlèrent, dont l'uné fut l'accord économique roumano-allemand du 23 mars 1939, que l'auteur considère comme

l'un des plus remarquables succès de l'Allemagne, visant à lui assurer une balance de devises favorable (p. 56).

L'action de la Grande-Bretagne pour la constitution d'un bloc antiallemand en Europe de l'Est était dictée avant tout par la crainte de voir l'Allemagne attaquer la Roumanie. Cette tentative ayant échoué, l'Angleterre offrit des garanties unilatérales à la Grèce, à la Roumanie (p. 76—81) et à la Yougoslavie, et accorda des crédits à certains de ces pays. L'auteur décrit d'autre part les actions entreprises par l'Allemagne pour empêcher la formation d'un bloc pro-britannique dans les Balkans et surtout pour faire sortir la Yougoslavie du Pacte Balkanique et obtenir son adhésion à l'axe Berlin-Rome (p. 120—132). A cet effet l'Allemagne a exercé sur la Yougoslavie une pression indirecte et encouragé de tout son pouvoir les mouvements séparatistes.

Hitler nourrissait la plus vive méfiance à l'égard de la Roumanie et usa de tous les moyens et de toutes les pressions possibles pour l'amener à renoncer à ses obligations envers ses alliés (p. 145—150).

L'une des idées directrices de l'étude de Ž. Avramovski est d'indiquer les raisons pour lesquelles la guerre a surpris les pays balkaniques divisés, ce qui empêcha la constitution d'un bloc balkanique antiallemand.

L'auteur souligne avec raison (p. 156) que cet état de choses avait pour cause première la néfaste politique antisoviétique des gouvernements bourgeois des pays balkaniques, hostiles à tout accord ou pacte avec l'Union Soviétique. « Or — constate l'auteur — sans la participation de l'U.R.S.S., tout système de sécurité dans l'est et le sud-est de l'Europe était illusoire à cette époque » (p. 156).

La politique conciliante de la Grande-Bretagne envers l'Allemagne a également contribué aux hésitations des pays balkaniques et, d'autre part, l'Allemagne disposait de nombreux moyens pour empêcher l'affiliation de ces pays à un bloc antiallemand. Sa position stratégique, beaucoup plus favorable que celle de l'Angleterre, lui a permis d'exercer sur eux une pression directe, — et cela plus spécialement à l'égard de la Yougoslavie et de la Roumanie —, misant sur les contradictions qui opposaient entre eux plusieurs de ces pays. Dans ces conditions, et tenant compte en outre de l'attitude antifasciste des masses populaires, les gouvernements des pays balkaniques n'osèrent ni adhérer à des blocs antiallemands ni se joindre à l'Allemagne, mais adoptèrent une politique de non participation à des blocs.

Pratiquant les uns envers les autres une politique égoïste, les gouvernements des pays balkaniques se trouvèrent pratiquement isolés et furent pour les forces fascistes une proie facile.

Cette idée essentielle se dégage clairement de l'étude, généralement bien documentée, de Ž. Avramovski.

S. I.

## Culture

VULCĂNESCU ROMULUS, *Caractere tnrudite între portul popular român și cel slovac* [Caractères apparentés du costume populaire roumain et slovaque], dans « Studii și cercetări de istoria artei », IX, 1962, n° 2, p. 307—333, avec résumés en russe et en français.

Les données historiques du sujet se rapportent aux éléments du substratum antique (Illyres, Celtes, Scythes, Sarmates et surtout Daces) et du commencement du moyen âge (Slaves); au déplacement et à l'établissement des pâtres roumains en Slovaquie — XV<sup>e</sup> — XVII<sup>e</sup> siècles

— (l'auteur s'appuie dans ses recherches sur les conclusions et les documents de la récente monographie du professeur Joseph Mačurek, *Valasi v zapadnich Karpatech v 15.—18. stoletr.*, Ostrava, 1959, 527 p.); aux éléments fournis par les artisans et travailleurs slovaques établis en Crișana et au Banat (XVIII<sup>e</sup> et XIX<sup>e</sup> siècles).

Partant de ces données et après une caractérisation d'ensemble des costumes des deux peuples, l'auteur analyse les influences roumaines sur le vêtement populaire slovaque ainsi que les influences slovaques sur le vêtement populaire roumain. De même, on trouve mentionnés certains éléments communs aux régions sud-danubiennes comme, par exemple, la chemise à fustanelle ou encore un type de pantalon que portent les pâtres et qui dérive selon toute probabilité du « cioarec » illyro-thrace.

En vue d'une étude plus approfondie des circonstances historiques qui viennent à l'appui de telles influences, voici quelques données s'y rattachant :

1. La circulation de certains produits de Bohême et de Hongrie vers le Danube inférieur, au X<sup>e</sup> siècle déjà, confirmée par :

a) le témoignage du knéaz Sviatoslav, datant de 969, dans *Повесть временных лет*, Moscou-Leningrad, 1950, p. 48 ;

b) les découvertes effectuées au cours des fouilles de Garvăn-Dinogetia, où l'on a trouvé, entre autres, trois pendentifs et deux anneaux datant du XI<sup>e</sup> siècle, du type de ceux provenant de Bohême, Hongrie et Pologne : Petre Diaconu, *Un pendentiv globular descoperit la Bisericuța-Garvăn* [Un pendentif globulaire découvert à Bisericuța-Garvăn], avec résumés en russe et en français, dans « Studii și cercetări de istorie veche », IX, 1958, n<sup>o</sup> 2, p. 445—449 ; E. Comșa et G. Bichir, *O nouă descoperire de monede și obiecte de podoabă din secolele X—XI în așezarea de la Garvăn (Dobrogea)* [Une nouvelle découverte de monnaies et de pièces de parure des X<sup>e</sup> —XI<sup>e</sup> siècles à Garvăn — Dobroudja], avec résumés en russe et en français, dans « Studii și cercetări numismatice », III, 1960, p. 227—231.

2. La circulation du sel de Transylvanie en Slovaquie, à la haute époque féodale, attestée par plusieurs toponymes : V. Chalupecky, *Dve studie k dějinám Podkarpatska*, dans « Sborník Filosofické Faculty », Université de Bratislava, III, 1924—1925.

3. La présence des Roumains dans toute la zone des Carpates de nord-est, inclusivement la Slovaquie, aux XI<sup>e</sup> —XIV<sup>e</sup> siècles : N. Drăganu, *Romnii în veacurile IX—XIV pe baza toponimiei și a onomasticeii* [Les Roumains aux IX<sup>e</sup> —XIV<sup>e</sup> siècles, sur la base de la toponymie et de l'onomastique], Bucarest, 1933, chap. V et la carte.

Soulignons, pour conclure, que le travail de Romulus Vulcănescu, fondé sur une analyse compétente, fait ressortir, dans le domaine du costume populaire, les éléments de contact des civilisations du sud-est de l'Europe.

D. G. G.

*Etnološka i folkloristička ispitivanja u Livanjskom Polju* [Recherches ethnologiques et folkloriques effectuées en Livanjsko Polje], dans « Glasnik zemaljskog Muzeja u Sarajevu. Etnologija », N. S. XV—XVI, 1960—1961, p. 3—330.

Livanjsko Polje est une dépression karstique, à 700 m d'altitude, de 65 km de long et d'approximativement 6 km de large, située à l'est des Alpes dinariques dans le sud-est de la Bosnie. Elle compte quelque 34 000 habitants groupés autour de la petite ville de Livno, mais est isolée du reste du monde par les montagnes qui l'entourent de tous les côtés. C'est ce qui explique comment ce territoire a conservé de nombreux caractères archaïques qui font l'objet de la présente étude, fruit des recherches de 11 spécialistes de Sarajevo.

Ils y ont constaté, entre autres, les traces laissées par une population romane, aujourd'hui slavisée, dans des noms tels que *Arnaut, Bailo, Bobani, Cincar, Cincerovac, Katun, Urse, Ursici, Ursina Košara, Vlahovič*, etc. La langue slave de la population locale conserve encore certains vocables d'origine romane, comme, par exemple : *brzar, brzdar, bruzar* ou *bronzar* « outre pour le fromage », *fugirati* « fuir », *kantati* « chanter », *paškula* « pâturage », *šudar* « fieu de femme », *turta* « petit pain rond ». L'un des auteurs, Špiro Kulišić, conclut comme suit : « Comme le montrent les sources et de nombreux toponymes, vivait là également au Moyen Âge une importante population ancienne, valaque. Nos recherches ont considérablement éclairé le processus même du mélange ethnique des populations slave et valaque » (p. 324). Ou encore : « Comme l'indiquent les recherches ethnologiques et linguistiques effectuées, la population valaque a grandement contribué à la formation des deux groupes essentiels (ikavien et iékavien) de la population de Livno » (p. 20).

H. M.

NIKO KURET, *Der Weihnachtsblock bei den Slovenen*, « Schweizerisches Archiv für Volkskunde », 57. 1961, p. 153—159.

Cet article est une réponse, tardive mais bien venue, à une affirmation faite en 1925 par Edmund Schnceweis (*Die Weihnachtsbräuche der Serbo-Kroaten*, paru dans « Ergänzungsheft XV zur Wiener Zeitschrift für Volkskunde », 1925, 16—28, 175—194), et selon laquelle cette coutume aurait complètement disparu en Slovénie depuis 1850. Or, les nombreux documents que l'auteur transcrit avec attention et méticulosité sont là pour prouver qu'au contraire cette coutume fait preuve d'une grande vitalité, au point qu'on peut, aujourd'hui encore, en constater l'existence. Sur 102 villages étudiés ces dernières années, la coutume subsiste encore dans 12 d'entre eux, avec tous ses détails. Une carte établie par Niko Kuret nous montre d'ailleurs que les localités où elle est encore pratiquée sont situées dans l'ouest de la Slovénie, près de la frontière italienne, plus exactement de la province du Frioul et de la zone de Trieste. L'auteur fait remarquer que la coutume a disparu là où les poètes modernes ont remplacé les âtres d'autrefois, et montre l'importance de ce rapport de causalité. L'idée avait d'ailleurs déjà été exprimée par le chercheur et folkloriste roumain A. Vieiu dans *Colinde din Ardeal, datini de crăciun și credințe populare* [Chants de Noël transylvains, coutumes de Noël et croyances populaires], Bucarest, 1914, p. 15 —, où il mentionnait que cette coutume existe également chez les Roumains de Transylvanie. Selon lui, sa disparition est étroitement liée à celle des « âtres à l'ancienne mode ». En fait, l'existence de cette coutume en Slovénie n'est pas non plus sans rapport avec celle des zones slaves limitrophes : Croatie, Bosnie, Herzégovine ; comme on le voit, cette pratique est largement répandue dans les Balkans (voir, sur le même sujet, l'article de Radmila Kajmaković : *Božićni običaji*, dans « Glasnik zemaljskog Muzeja u Sarajevu. Etnologija », 15—16 (1960—1961), p. 221—227, où elle montre la vitalité de cette coutume chez les Croates de la zone Livanjsko Polje). A l'appui de ses affirmations, l'auteur décrit la façon dont la bûche est préparée, dont on l'apporte à la maison, le cérémonial avec lequel elle est placée sur le feu, les rites annexes consistant en offrandes d'aliments et en réunions familiales autour de la bûche, le tout assorti d'une foule de croyances touchant la prévision du temps et de superstitions au sujet de l'avenir. Ainsi, nous dit l'auteur, les gens essaient de deviner l'avenir d'après la rapidité plus ou moins grande de la combustion, les ombres jetées par les flammes, la direction du feu, la façon plus ou moins régulière dont il brûle. Même chose avec la braise, alors que la cendre,

elle, est jetée sur les champs, le but pratique, ici, s'ajoutant aux superstitions. De leur côté, les filles à marier ont aussi leurs croyances et, dans certains villages, pratiquent une variante assez bizarre. Ainsi, elles croient que la durée de la combustion indique le moment où elles se marieront (dans les fêtes de Noël, il existe des pratiques divinatoires autour de cette bûche). Aussi organise-t-on de véritables concours entre les filles, chacune apportant sa bûche dans la même maison où, ensuite, elles surveillent toutes ensemble la combustion et en tirent certaines conclusions sur leur avenir. Même s'il ne venait pas combler une lacune dans la littérature internationale de spécialité, l'article de Niko Kuret n'en serait pas moins intéressant, car il apporte, avec force détails, une foule de précisions et de descriptions nouvelles, ainsi que des interprétations remarquables autant que prudentes.

A. F.

EPPELSHEIMER, HANS W., *Handbuch der Weltliteratur von den Anfängen bis zur Gegenwart*, Frankfurt/Main, Vittorio Klostermann, 1960, 808 p.

Bien connu pour ses contributions à la bibliographie courante de la littérature allemande, l'auteur a essayé d'englober dans un seul volume les données nécessaires à l'étude de l'histoire de la littérature mondiale. En tâchant de grouper les indications bibliographiques de la manière la plus propre à faciliter l'orientation claire et complète dans cet important domaine de la culture universelle, il présente d'abord les littératures orientales, les littératures classiques (grecque et romaine), puis les littératures occidentales au moyen âge et, finalement, les littératures réparties par siècles, du XVI<sup>e</sup> au XX<sup>e</sup> siècle. Deux chapitres ont pour objet de regrouper les données et de servir en sorte de guides synthétiques : les littératures des différents peuples (par ordre alphabétique) et les contributions à divers thèmes, motifs, problèmes littéraires (par ordre alphabétique du problème : almanachs, anecdotes, littérature ouvrière, etc.).

L'ouvrage représente assurément une introduction utile à l'étude de cette matière ; aussi une série de lacunes était-elle inévitable. Sans entrer dans les détails, insistons toutefois sur certains aspects importants ayant trait à la méthode de travail et au but poursuivi par le manuel.

Nous estimons que les auteurs choisis pour figurer dans des paragraphes spéciaux auraient dû l'être selon des critères précis et bien clairs. De même, nous ne pouvons pas comprendre l'absence de Fr. Engels et de V. I. Lénine, ni comment Bismarck y figure à titre d'écrivain, ni pourquoi ne figurent point d'autres théoriciens remarquables, comme par exemple A. Gramsci. La liste des rubriques consacrées aux écrivains du sud-est de l'Europe dénote, par ailleurs, que l'ouvrage continue certaines vieilles tendances occidentales qui ravalent les littératures de cette région au rang des littératures mineures. Un manuel qui se propose de présenter la littérature universelle devrait procéder à une judicieuse mise en valeur de la contribution des écrivains de partout au trésor mondial de la civilisation et établir les vraies proportions qui s'imposent entre l'œuvre d'un Chatterton, d'un Sénancour (cités dans le manuel) et d'un H. Botev, d'un C. Palamas, d'un I. Vazov, d'un Dj. Iakšič (non cités dans le manuel). Du reste, la littérature roumaine n'y est représentée que par M. Eminescu. Nous considérons néanmoins que la circulation mondiale de l'œuvre de I. L. Caragiale, Creangă, Sadoveanu et bien d'autres, imposait une sélection moins étroite. (Les données relatives à M. Eminescu sont surannées ; ne figurent pas non plus les volumes parus depuis 1944, la libération de la Roumanie, ni l'édition fondamentale de Perpessicius). Les concepts périmés dont use l'auteur du manuel sont également la cause de l'absence totale de la littérature byzantine, bien que toute une série d'écrivains aient acquis droit de cité dans la littérature mondiale grâce aux recherches

des dernières dizaines d'années. Nous formulerons également des réserves quant à la façon dont l'auteur a cru opportun de caractériser chacun des écrivains, dans l'introduction, ou certaines œuvres, en notant ses observations entre parenthèses rondes. De telles caractérisations sont d'une utilité manifeste pour tout chercheur, mais il importe qu'elles soient faites dans un esprit scientifique ; autrement elles ne font que déformer et minimisent la valeur d'un pareil effort.

En ce qui concerne les données bibliographiques, l'auteur incline, comme il fallait s'attendre, vers les traductions ou les références parues en langue allemande. Certaines lacunes concernant des études notoires (au paragraphe sur Shakespeare, aux paragraphes bibliographiques consacrés aux littératures française, russe, soviétique, etc.) sont toutefois assez graves.

Le travail de H. W. Eppelsheimer aboutit pourtant à des énoncés et des solutions intéressants, surtout par l'exposé des courants littéraires, et des tendances communes à des siècles entiers. De cette manière, le progrès constant de la littérature universelle s'ébauche au long des chapitres, bien que les lacunes, que nous n'avons signalées qu'en partie, n'offrent parfois que l'image de la littérature comme fragment des fragments.

Introduction utile, plutôt que manuel, l'ouvrage du bibliographe allemand fera probablement l'objet d'une nouvelle édition, où les défauts de méthode, les défauts théoriques et ceux concernant certains énoncés doivent être éliminés.

A. D.

ŠANDROVSKAĪA, V. S., *Die byzantinischen Fabeln in den Leningrader Handschriften-sammlungen*, « Probleme der neugriechischen Literatur », III, Berlin, 1960, pp. 10—20 (Berliner Byzantinische Arbeiten, 16).

L'auteur décrit les variantes des fables byzantines Πωρικολόγος, Πουλολόγος et Διήγησις περὶ τῶν τετραπόδων ζώων des mss. 202, 488 et 721 de la Bibliothèque publique d'État de Leningrad et les compare aux variantes publiées jusqu'à ce jour. Le *Porikologos* est contenu dans les mss 202 et 488, la *Fable des Oiseaux* et la *Fable des Quadrupèdes* dans les mss 202 et 721, ce dernier ms étant l'ancien *Codex 92 Lesbicus* de la bibliothèque du couvent de Limon, décrit par A. Papadopoulos-Kerameus dans 'Ο ἐν Κωνσταντινουπόλει ἑλληνικὸς φιλολογικὸς σύλλογος, Παράρτημα τοῦ ἑ'τόμου, Μαυρογορδάτειος Βιβλιοθήκη... , Constantinople, 1884, t. I, p. 18' et 80—81, manuscrit acquis en 1915 par la Bibliothèque de Leningrad. V. S. Šandrovskaja donne également une description complète de chacun de ces manuscrits.

Pour la variante du *Porikologos* du ms. 488 de la bibliothèque de Leningrad, outre la version publiée par A. Papadopoulos-Kerameus dans « Byz. Zeit », 20, 1911, pp. 137—139 et citée par V. S. Šandrovskaja (p. 13), il y a lieu de mentionner également la version publiée par A. Camariano dans son étude *Porikologos și Opsarologos grecesc. Condamnarea strugurelui și răzvrătirea Țitului în limba bizantină și preluările lor în neogreacă, slavă, turcă și română. Cu o introducere despre Povestea pășărilor și Povestea patrupedelor* [Porikologos et Opsarologos græcs. La condamnation du Raisin et la Rébellion du Hareng-saur en langue byzantine et leurs adaptations en néo-grec, en slave, en turc et en roumain. Avec une introduction sur la Fable des Oiseaux et la Fable des Quadrupèdes], « Cercetări Literare », III, Bucarest, 1939, p. 106—107. V. S. Šandrovskaja suppose (p. 14) que le texte du ms. 488 part d'une rédaction différente de celle du ms. th. gr. 244 de Vienne qui est à la base des éditions du *Porikologos* publiées par C. Sathas et G. Wagner. C'est également ce qu'affirme et démontre d'une manière circonstanciée A. Camariano qui, dans l'ouvrage cité analyse cette



fable et établit l'existence de 4 rédactions différentes éditées ou manuscrites — la première rédaction correspondant au ms. viennois (v.p. 53) et la troisième au texte du *Porikologos* du ms. 488 (v.p. 58). A. Camariano ne s'occupe pas du texte du *Porikologos* du ms. 202 de Leningrad, qu'elle n'a pas eu l'occasion d'examiner.

Comparant le texte du *Porikologos* des deux manuscrits de Leningrad à celui de la variante publiée par G. Wagner (*Carmina graeca medii aevii*, Lipsiae, 1874) d'après le ms. de Vienne précité, l'auteur conclut que ces trois variantes partent de trois rédactions différentes (cf. p. 18). En ceci il s'écarte des conclusions de Camariano qui, sans avoir connu intégralement les variantes des mss. de Leningrad, mais en comparant entre eux le ms. de Vienne, l'édition de G. Wagner, l'interprétation de D. C. Hesselting (*Notes critiques sur deux poèmes grecs du Moyen Age*, dans « Byzantion », I, 1924, p. 305—316) et les variantes de la *Fable des Oiseaux* du *Codex Lesbiacus 92*, publiées par A. Papadopoulos-Kerameus ('Ο ἐν Κωνσταντινούπολει ἑλληνικὸς φιλολογικὸς σύλλογος, Παράρτημα τοῦ 13' τόμου, Παλαιογραφικὸν δευτεῖον), Constantinople, 1885, p. 65—68), établit « une dépendance certaine entre le *Codex Petropolitanus CCII* et le *Codex Lesbiacus 92* », respectivement entre les mss. 202 et 721 de la Bibliothèque de Leningrad (cf. *op. cit.*, p. 38, note V).

En étudiant les variantes de la *Fable des Quadrupèdes* d'après les mss. 202 et 721 de Leningrad, le ms. 244 de Vienne et le ms. 2911 de Paris, V. S. Šandrovskaja aboutit à la conclusion qu'il s'agit de deux groupes distincts de mss., l'un comprenant les 2 mss. de Leningrad et celui de Vienne, et un autre dont fait partie le ms. de Paris utilisé par G. Wagner pour son édition (cf. p. 19—20), conclusion qui concorde avec celle de A. Camariano (cf. *op. cit.*, p. 44, notes III et IV).

M. V.

HAZAI, G., *Textes turcs du Rhodope*, « Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae », t. X, 1960, fasc. 2, p. 185—229.

L'auteur reproduit en écriture phonétique un certain nombre de contes et d'autres textes folkloriques recueillis chez la population turque des montagnes de Rhodope (R.P. de Bulgarie). Un glossaire joint aux textes facilite la connaissance des dialectes turcs de cette région.

R. P.

GÁLDI, L., *Un grand disciple roumain de J. Kochanowski, le métropolitain Dosithée. Contribution à l'histoire de l'ancien vers roumain*, « Studia Slavica », VI, 1960, fasc. 1—2, p. 1—21

Dans cette étude, L. Gáldi, justement réputé pour ses recherches sur la littérature roumaine, allie une fois de plus l'information historique et littéraire à l'étude minutieuse des particularités de style et de langue.

Alors que beaucoup de ses prédécesseurs dans ce domaine, mentionnés dans l'Introduction, ne se sont occupés que fugitivement de la métrique de Dosithée, Gáldi aborde le premier l'étude approfondie de cette métrique, dans le dessein d'établir jusqu'à quel point l'auteur du *Psautier en vers* a subi l'influence du poète polonais Kochanowski. L'auteur rappelle à ce propos qu'au temps de Kochanowski la poésie polonaise passait du type anisosyllabique (dont use Miron Costin dans sa *Viața lumii* [Vie du Monde], au type isosyllabique. Dosithée adopte ce dernier mètre et note les termes techniques respectifs : *slovenitură* (syllabe), *păreche*, *dvoită* (2 syllabes), *celverodvoită* (hémistiche octosyllabique).

L'auteur passe ensuite en revue toutes les formes de vers du Psautier de Dosithée et les compare à celles de l'original polonais, en signalant et expliquant les modifications apportées à celui-ci par Dosithée. Il groupe dans une première catégorie les vers qui conservent dans la traduction roumaine le mètre de l'original. Ainsi les vers octosyllabes à césure médiane sont transcrits fidèlement, parce qu'ils correspondent à l'octosyllabe trochaïque des poésies populaires roumaines. L'alexandrin à césure médiane est communément employé dans la poésie slave, mais inconnu des Roumains. Dosithée use parfois du rythme amphibrachyque :

Auzi-va Domnul din sfînta lui slavă	U   U   U   U   U   U   U   U
A lui rugămintea fără de zăbavă	U   U   U   U   U   U   U   U

Lorsque les hémistiches amphibrachyques font partie du même vers, l'on a le schéma suivant :

U - U U - U | U - U U - U

qui a des correspondances italiennes et espagnoles, mais que l'on rencontre également dans la ballade populaire roumaine *Miorița* (\*De ce ești năzdrăvană... \*).

Dosithée use en outre de l'alexandrin à 2 césures 4/4/4 que l'on ne trouve pas chez Kochanowski mais qui est commun dans la métrique polonaise. L'alexandrin du type 7/5 et toutes les formes du décasyllabe 5/5, 4/6, 6/4 ont des équivalents exacts dans la versification roumaine.

Un second groupe comprend les vers qui traduisent les originaux polonais sur un mètre différent. Gáldi analyse tous les types de vers, de l'hexasyllabe au vers de 14 syllabes, et indique pour chacun, avec exemples à l'appui, par quel autre rythme et par quels vers d'un autre psaume ils ont été remplacés. Ainsi dans certains cas l'hexamètre est remplacé par le décasyllabe, l'heptamètre par l'alexandrin, l'hendécasyllabe par l'octosyllabe, etc. Les mètres préférés sont l'octosyllabe et le décasyllabe à césure médiane, qui se rapprochent le plus de la versification populaire roumaine.

Il est intéressant de noter la manière dont Dosithée traduit les strophes polonaises composées de vers de mètres différents. Ses efforts tendent généralement à la simplification. Ainsi une strophe formée de 2 hexasyllabes et de deux hendécasyllabes est traduite en vers décasyllabes ; la strophe de 2 vers hendécasyllabes et de deux pentamètres est remplacée par des vers octosyllabes.

Dosithée élimine partout la division en strophes, néanmoins on trouve dans deux de ses psaumes la tendance à introduire une nouvelle strophe. La strophe du Ps. 54 est faite de vers de 7 et 6 syllabes à rimes croisées *a b a b*, la strophe du Ps. 57 se compose de 4 alexandrins 4/4/4 et de 2 octosyllabes 4/4 à rimes embrassées *a b b a*. Aucune de ces formes n'existe dans le Psautier de Kochanowski, et Gáldi croit en trouver des modèles possibles dans les *Piesni* de Kochanowski, dans un chant populaire polonais et dans les vieux cantiques religieux polonais.

Tout ceci tend à prouver que Dosithée a été non pas un imitateur servile, mais un homme doué du sens de la poésie et que ne satisfaisait pas un travail de pure forme, mais qui cherchait des innovations artistiques propres à conférer la richesse et la variété aux textes destinés aux auditeurs roumains. Ces innovations ne sont pas faites au petit bonheur, mais tiennent compte des lois de la langue et concordent avec la versification populaire roumaine. Les différences que l'on constate entre les textes polonais et roumain des psaumes — et que l'on est tenté d'attribuer à des sources autres que Kochanowski — attestent la culture du métropolitain qui opère un choix raisonné entre les modèles qu'il a sous les yeux et ne retient que ceux qui se rapprochent de la tradition folklorique roumaine. Ce sont d'ailleurs précisément ces vers-là qui sont entrés dans le folklore sous la forme des *colinde* (cantiques populaires de Noël).

Gáldi signale en concluant qu'Eminescu a utilisé dans deux de ses poésies — *Sara pe deal* [Le soir sur la colline] et *Mortua est* — des mètres tombés dans l'oubli depuis Dosithée.

L'article de L. Gáldi est précieux pour les idées originales qu'il contient et l'argumentation serrée qui les impose.

S. A.

POLITIS, LINOS, 'Ο Σολωμός και η γερμανική φιλοσοφία και ποίηση. "Ένα χειρόγραφο με μεταφράσεις για τὸ Σολωμό. [Solomos et la philosophie et la poésie allemande. Un manuscrit avec des traductions pour Solomos]. « Probleme der neugriechischen Literatur », Akademie-Verlag, Berlin, 1959, t. IV, pp. 3—19.

L'article de Linos Politis offre un intérêt particulier pour ceux qui étudient l'influence de la littérature et de la philosophie allemandes dans la péninsule des Balkans. Comme l'indique son titre, l'article prend pour point de départ un manuscrit contenant des textes traduits de l'allemand en italien, destinés à Dionysos Solomos, l'auteur de l'hymne national grec. Politis signale notamment que l'influence exercée sur Dionysos Solomos par la philosophie idéaliste allemande a été longuement étudiée et discutée. Sous cette influence, Solomos a abandonné le vers naturel qui était le sien, pour s'assujettir à certaines théories qui ont empêché sa création poétique.

Le manuscrit en question compte 240 feuillets et contient plusieurs traductions de l'allemand, faites par Nicolas Loungis et adressées à Solomos. Beaucoup de ces textes ont été traduits à la demande du poète grec, désireux de connaître les œuvres des classiques allemands. Les auteurs des œuvres philosophiques sont Fr. Schiller, J. G. Fichte et Fr. W. J. Schelling ; l'auteur des poésies lyriques est Fr. Klopstock, l'un des premiers représentants du classicisme allemand. L'époque du « Sturm und Drang » est représentée par deux poètes : Gottfried August Bürger avec sa célèbre ballade *Lenore* et Fr. Leopold Stolberg avec son poème *Heil dir Homer*. Le manuscrit contient en outre de nombreuses traductions de poésies de Goethe et de Schiller.

Dionysos Solomos a laissé 14 volumes manuscrits de traductions de l'allemand en italien. L'étude de ces manuscrits permettra de mieux connaître les préférences de Solomos touchant la poésie philosophique et lyrique allemande.

A. Cr.

PETROV, STOIAN, *Bulgarian Popular Instruments*, « Journal of the International Folk Music Council », Londres, 12, 1960, p. 34—35 (Texte abrégé d'une communication accompagnée d'enregistrements et de projections, présentée à la XII<sup>e</sup> Conférence annuelle du Conseil International de Musique Populaire — Sinaia, 1959).

Actuellement les instruments à cordes des Bulgares sont la *gadulka*, à archet, et la *bulgaria* ou *tambura*, à cordes pincées. La *gadulka*, dont le nom dérive du verbe *gaiditi* « chanter », est en forme de poire. Elle est faite en bois de poirier, de cerisier, etc. et sert à accompagner, notamment en Bulgarie occidentale, les beaux chants de l'époque des luttes pour la libération nationale. La *gadulka* a trois cordes :  $re^2$  —  $la^1$  —  $la^2$  (que le joueur raccourcit à son gré par la pression latérale de l'ongle), superposées à 3—10 cordes harmoniques de résonance. Notons toutefois que dans le texte complet de sa communication l'auteur signale que d'autres cordages sont également utilisés (cf. à ce sujet les indications des époux Kutev, qui affirment que le nombre des cordes harmoniques de l'instrument va parfois jusqu'à 12).

Le groupe des instruments à vent comprend la *gaida* ou cornemuse, le *caval* — qui est le plus répandu de ces instruments, — la flûte à anche ou *svirka*, une flûte jumelée à anche, la *dvolanka*, le *duduk*, d'autres encore. Ajoutons que selon d'autres auteurs (Vasile Stoîn, Manol Todorov) la *dvolanka* est une flûte jumelée à « bouchon » et à six trous avec la flûte d'accompagnement à l'unisson d'égale longueur, et à « bouchon », mais sans trous.

Les cornemuses le plus généralement en usage sont de deux sortes : l'une à sonorité grave, l'autre à sonorité aiguë. Le son de l'accompagnement à l'unisson est à un intervalle d'un onzième au-dessous du son fondamental du petit tuyau à anche libre, nommé *gaidanitza*. Ainsi, pour une cornemuse dont le grand tuyau donne le *ré*, la *gaidanitza* donnera une gamme chromatique allant de *sol*<sup>1</sup> à *la*<sup>2</sup>, sans les deux premiers demi-tons *sol dièze*<sup>1</sup> et *la dièze*<sup>1</sup>. Ajoutons, pour être explicites, qu'à l'aide des huit trous de la *gaidanitza* — sept à la partie supérieure du tuyau et le huitième sur la face opposée, à la hauteur du septième —, il est possible, en découvrant les trous successivement de bas en haut et par le doigté en fourche, de réaliser l'échelle *sol*<sup>1</sup>, *la*<sup>1</sup>, puis la gamme chromatique complète *si*<sup>1</sup> — *sol*<sup>2</sup> et *la*<sup>2</sup>. Signalons à ce propos que parmi les cinq types de cornemuse utilisés par les Roumains, l'un des deux en usage en Valachie est identique à celui que nous venons de décrire.

Le *caval* se compose de trois tuyaux en bois de cornouiller. Il est pourvu de sept trous à la partie supérieure et d'un huitième sur la face opposée, au-dessus des précédents. Son registre fondamental s'étend de *ré*<sup>1</sup> à *ré*<sup>2</sup>-*mi*<sup>2</sup>, sans les sons *ré dièze*<sup>1</sup>, *do*<sup>2</sup>, *do dièze*<sup>2</sup> et *ré dièze*<sup>2</sup>, que l'on peut produire en découvrant partiellement certains trous et par le doigté en fourche. Nous pensons que l'auteur aurait dû décrire au moins sommairement l'embouchure de l'instrument et son exécution : son tuyau, entièrement ouvert, à la paroi extérieure amincie sur toute la circonférence ; l'exécutant, pointant les lèvres, souffle vers le rebord du tuyau qu'il tient légèrement de biais, de sorte que la colonne d'air est fendue par le côté aminci de l'extrémité. La technique de l'exécution permet au joueur de *caval* une modulation rapide de toutes les tonalités. Les artistes experts, ceux de l'école thrace notamment, passent avec aisance d'un registre à l'autre.

T. A.

YÖNETKEN, HALIL BEDI, *Mehter hakkenda* [De la mehterkhana], « Türk Folklor Hraştermalari », Istanbul, yel 12, cilt 6, n° 135, Ekim 1960, p. 2240—2241 ; Idem, *Mehter repertuari hakkenda* [Du répertoire de la mehterkhana], *ibidem*, n° 137, p. 2281—2282.

Évoquant un aspect de la musique du temps de l'Empire Ottoman, l'auteur rappelle que la *mehter* ou *mehterkhana* avait un long passé en Asie, mais qu'elle n'a atteint le plus haut point de la perfection qu'à l'époque des Turcs osmanlis, sous la forme d'un ensemble militaire propre aux janissaires, et que cette formation musicale au rôle particulièrement important dans les batailles, à exercé une profonde influence dans d'autres pays que la Turquie et a laissé des traces dans la musique de plusieurs peuples.

Cette influence s'est manifestée entre autres par la création, en Europe, d'instruments à vent et à percussion analogues à ceux de la *mehterkhana* des janissaires, et leur diffusion sous le nom de « musique turque ou musique de janissaire », ainsi que par la naissance d'un genre musical particulier nommé « turquerie ». Il n'est pas jusqu'aux grands classiques de la musique européenne tels que Mozart, Beethoven, d'autres encore, qui n'aient subi cette influence.

Parlant des *mehterkhanas* attachées aux ambassadeurs ottomans à Vienne, et rappelant que ces orchestres exécutaient à certaines heures des programmes musicaux qu'écoutaient

les Viennois, l'auteur invoque le témoignage de musiciens étrangers (par exemple celui du musicologue hongrois Emil H̄araszti), qui reconnaissent l'influence que la musique turque exerça sous des formes diverses sur la musique d'autres peuples.

L'auteur admet néanmoins qu'il est extrêmement difficile de reconstituer exactement la composition de la *mehterkhana*, aussi bien touchant l'aspect des chanteurs et les instruments utilisés, que sous le rapport du répertoire, du fait que lorsque le sultan Mahmoud II prononça la dissolution du corps des janissaires et remplaça la *mehterkhana* par des formations musicales de facture européenne, aucune mesure ne fut prise pour enregistrer sous une forme quelconque le répertoire de la musique des janissaires.



Reprenant dans un deuxième article le problème du répertoire proprement dit de la *mehterkhana*, et plus particulièrement celui de la musique exécutée par les janissaires pendant les assauts, l'auteur considère comme un important point de repère à cet égard la découverte faite en 1948 par des spécialistes turques, au British Museum de Londres, d'une collection de chants et de marches militaires, œuvres d'un certain Ali-Ulki, écrits de droite à gauche en notation européenne et publiés le 24 zilkadé de l'an 1079 de l'Hégire (25 avril 1669).

Rappelons ici que les voïvodes roumains possédaient eux aussi à leur cour des *mehterkhanas*, et que les œuvres de nos chroniqueurs contiennent quelques indications relatives au costume et aux instruments, aux chants et aux coutumes de ces musiciens. L'étude de ces sources pourrait aboutir à d'intéressantes conclusions sur quelques problèmes mal élucidés de la formation musicale ottomane connue sous le nom de *mehter* ou *mehterkhana*.

M. M.

NIKOLOVA, IANKA, *Принос към средновековната българска пластика* [Contribution à la connaissance de l'art plastique médiéval bulgare], dans « Археология », Sofia, II, 1960, no 4, pp. 14—18.

Descriptions de sculptures (des têtes) du XIV<sup>e</sup> siècle représentant des gens d'église, découvertes à proximité de Trnovo, en 1957, sur le territoire de l'ancien monastère de la Sainte Vierge-Нодэгэtrie. Le sculpteur, un moine demeuré anonyme, a travaillé sous l'influence de l'art gothique. En dehors des œuvres trouvées antérieurement (des ornements en relief, en pierre et en terre cuite, provenant du complexe architectonique de Čarevač, et une pierre tombale en relief de l'église des Quarante Martyrs à Trnovo), les trois sculptures en question attestent l'existence de la plastique tridimensionnelle dans l'art bulgare au moyen âge.

A titre d'élément de comparaison, nous signalons l'existence en Valachie, également sous l'influence de la sculpture occidentale, de pierres tombales du XIV<sup>e</sup> siècle, décorées de représentations humaines en relief : l'une, qui recouvrait la tombe attribuée à Negru Vodă, est conservée maintenant à Bucarest, au Musée d'art de la R.P.R. ; l'autre est celle du maire — « comes » — de Cimpulung et date de l'an 1300 (Voir l'article, en roumain, d'Emile Lăzărescu, *A propos de la pierre tombale du comte Laurent et de quelques problèmes archéologiques et historiques s'y rattachant*, dans « Studii și cercetări de Istoria Artei », Bucarest, IV, 1957, nos 1—2, p. 109—127).

D. C. G.

STANTCHEVA MAGDALINA, *Турски фаянс от София* [Faïence turque de Sofia], dans «Известия на археологически институт», Sofia, XXII, 1960, p. 111 — 144 + 4 planches en couleurs.

Description de 97 vases et fragments de céramique turque découverts à Sofia ces dernières années. L'ensemble est présenté par groupes (brocs, vases, couvercles, assiettes, coupes, supports de tasses à café, petits vases et fragments d'objets de forme indéterminée); le catalogue renferme les données techniques et la description de chaque pièce.

Cette faïence date du XV<sup>e</sup> au XVIII<sup>e</sup> siècle et appartient aux types Kiutakhie, Damas, Rhodes, Corne d'Or. L'ample bibliographie renvoie aux récentes découvertes de céramique orientale faites en Roumanie (Bucarest et Suceava). Signalons l'existence au Musée d'Art de la R.P.R., à Bucarest, de quelques fragments de céramique turque similaire à celle étudiée par l'auteur.

D. C. G.

### Bibliographie. Documentation

ADHAMI, STILIAN, *Les musées albanais*, dans «Museum», vol. XIII, n° 2, 1960.

L'histoire de l'apparition et du développement des musées albanais est étroitement liée aux fouilles archéologiques commencées au siècle dernier. Parmi les réalisations enregistrées dans ce domaine après la victoire de la révolution populaire (novembre 1944) il faut mentionner la fondation de 4 musées centraux, de 8 musées régionaux, de 2 musées archéologiques dans les vieux établissements de Butrinti et de Pojani (Apollonia), de 10 habitations historiques et d'une galerie d'arts figuratifs. En 1948 on a créé à Tirana le Musée d'archéologie et ethnographie, dont les collections présentent un classement par sujets et chronologique illustrant les particularités du peuple albanais et les caractères propres à son existence. C'est ainsi que le département archéologique composé de 4 salles, reflète le développement de la civilisation en Albanie des temps les plus reculés jusqu'au moyen âge. La variété sans égal des costumes nationaux albanais (140 costumes pour une population de 1 500 000 habitants), 13 000 pièces ethnographiques, 7 000 documents et dessins sont l'orgueil du département ethnographique. On a également fondé à Tirana un musée de sciences naturelles et encore un autre consacré à la guerre de libération nationale de 1944, lequel est constitué de photographies et divers documents offerts par les anciens partisans. Les musées régionaux (Shkodra-Scutari-Durrësi, Korça, Elbasani, Vlora, Gjirokastër) comptent également des départements consacrés aux sciences naturelles, à l'archéologie, à l'histoire, à l'ethnographie et à la guerre de libération nationale. Des collections archéologiques représentant la civilisation illyrienne et les arts médiévaux albanais se trouvent aux musées de Durrësi, Shkodra, Vlora, Pojani et Butrinti. En dehors de ces musées spécialisés, il faut également citer le musée de Kruja, dédié à la lutte que le peuple albanais mena sous la conduite de son héros national Georges Castriot (Skanderbeg), au XV<sup>e</sup> siècle.

S. H.

ZORAS G. TH. — BOUBOULIDÈS, F. K., Βιβλιογραφικόν δελτίον νεοελληνικής φιλολογίας Β', 1960 [Bulletin bibliographique de la littérature néo-grecque], Athènes, 1961, 76 p.

Le Séminaire de littérature byzantine et néo-grecque de l'Université d'Athènes édite périodiquement, par les soins des professeurs Zoras et Bouboulidès, un très utile bulletin biblio-

graphique. Le second fascicule de cette publication renferme 517 titres de publications parues en 1960. Les auteurs mentionnent également les travaux ou articles imprimés à l'étranger, s'ils concernent les Byzantins ou les Grecs. C'est ainsi que la présente livraison enregistre les études et comptes rendus publiés en 1960 par G. Moravcsik, J. Irmscher, H. G. Beck, V. Grecu, Fr. Dölger, R. Guiland, A. Kajdan.

En ce qui concerne certains travaux, on donne également de courtes indications sur leur contenu, mais celles-ci se maintiennent trop dans des termes généraux, sans tâcher de caractériser l'apport de ces études au développement des recherches dans le domaine considéré. La large information bibliographique des auteurs permettra à ce bulletin de rendre de réels services à tous ceux qui s'intéressent aux problèmes des rapports entre la culture byzantine et néogrecque et la culture des autres peuples du sud-est européen.

G. C.

«DEMOS», *Volkskundliche Informationen*. Herausgegeben vom Institut für deutsche Volkskunde an der Deutschen Akademie der Wissenschaft zu Berlin, 1, 1960, H. 1—2, 248 colonnes.

Guide d'information et de documentation scientifique dans le domaine de l'ethnographie, de l'art plastique populaire et du folklore des pays de démocratie populaire de l'Europe, «Demos» comprend des contributions roumaines, tchécoslovaques, allemandes, polonaises et hongroises, ainsi qu'une abondante bibliographie bulgare qui présente pour notre revue un intérêt tout particulier.

Cette contribution bulgare compte 74 notes bibliographiques amples, soit 21 % du total des 350 que comprend le fascicule en question. Le matériel a été rédigé par 16 des représentants les plus marquants du mouvement folklorique et ethnographique de la République Populaire de Bulgarie.

La présentation repose sur une sélection rigoureuse des matériaux. On n'a retenu que les plus importants travaux de spécialité. L'attention des auteurs des notes s'est portée exclusivement sur la période d'après-guerre et a embrassé tous les domaines de la culture populaire bulgare. Les notes bibliographiques ont, en dépit de la concision de rigueur, la qualité d'exprimer fidèlement le contenu des travaux pris en considération et d'orienter le lecteur sur la voie des idées maitresses de chaque étude.

Pour souligner le large caractère informatif de cette publication, nous tenons à mentionner qu'elle met, entre autres, à la disposition des chercheurs deux importants instruments de travail : la bibliographie des travaux relatifs à la philologie slave parus dans la presse bulgare entre 1931 et 1942 et la bibliographie ethnographique et folklorique bulgare pour les années 1943—1952. Cette dernière, à côté de la bibliographie de folklore et ethnographie parue dans le *Deutsches Jahrbuch für Volkskunde*, 1959, parachève, surtout pour le spécialiste étranger, l'image de l'activité scientifique des savants bulgares.

A. F.



La partie bibliographique (COMPTES RENDUS et NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES) est assurée par les soins de *Mircea Voicana*.

**PRINTED IN RUMANIA**

[www.dacoromanica.ro](http://www.dacoromanica.ro)



La «Revue des études sud-est européennes» paraît en quatre fascicules par an.

Le prix d'un abonnement est de 48 lei.

En Roumanie, les demandes d'abonnement peuvent être adressées aux offices postaux, aux agences de poste et aux facteurs.

Toute commande de l'étranger (fascicules ou abonnements) sera adressée à

CARTIMEX

Boîte postale 134-135

Bucarest

Roumanie

ou à ses représentants à l'étranger.